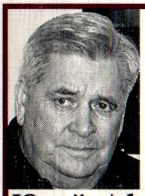
КОНТИНЕНТ

138 2008
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 138



У нацизма, большевизма, сталинизма и тому подобных «измов» есть одно общее основание: вакантное место Бога и морали в головах и душах человека-массы занимают культы Гитлера, Сталина, Муссолини, Франко, Салазара, Мао, Фиделя, Тито…

Юрий Афанасьев

Наши начальники надеются по-пацански конкретно договориться с Западом о разделе сфер влияния: вы, мол, не ходите в наш двор без разрешения, и мы не будем ходить к вам, а иначе будет, типа, холодная война.



Павел Фельгенгауэр



Адам Михник

Читая «Архипелаг ГУЛаг», я чувствовал, что русский перестает быть для меня деревянным языком большевистской лжи и становится моим собственным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи
Елены Аксельрод и Ларисы Миллер

Роман
Владимира Кормера «Предания случайного семейства»

Статьи и очерки
Евгения Ермолина, Лешека Колаковского, Игоря Меламеда, Вячеслава Моисеева, Андрея Пионтковского, Евгения Плимака, Григория Померанца, Арсения Рогинского, Ирины Роднянской, Валерия Сойфера, Виктора Шендеровича

Материалы Круглого стола «ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА»

А также наш постоянный раздел **БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»**

У мусульманских фанатиков убийство-самоубийство стало рутинным. В корне лежит презрение к человеческой жизни, и вообще свойственное Востоку…

Александр Мишулович





Русская революция стала, по слову Солженицына, великим позорищем нации. И церковь – как духовное сердце этой нации – в полной мере ответственна за него.

Владимир Можегов

КОНТИНЕНТ



КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

138

2008, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

ВНИМАНИЕ! Рукописи принимаются по адресу:
119121, Москва, ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(499) 248-62-35

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
http://continent-rus.ru/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА, Александр КЫРЛЕЖЕВ,
Сергей ЛЕБЕДЕВ, Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Александр и Татьяна Сергиевские
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
62-bis, Avenue du general Leclerc
78230 LE PECQ, FRANCE
☎ (1) 30-61-11-24

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Памяти Святейшего Патриарха Алексия II 9

К 90-летию со дня рождения Александра Солженицына (1918–2008)

Адам МИХНИК
Легенда и беспокойная совесть России 11

Лешек КОЛАКОВСКИЙ
Свидетель коммунистического зла 20

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Лариса МИЛЛЕР
Нужны слова, которых нет в природе. *Стихи* 22

Владимир КОРМЕР
Предания случайного семейства 27

Елена АКСЕЛЬРОД
Время не тороплю. *Стихи* 130

РОССИЯ И МИР

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР
Первая часть войны с Грузией 135

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
Бабочка Чжуан Чжоу 154

У нас в гостях «Новая газета» и журнал «The New Times»

Юрий АФАНАСЬЕВ
Мы — не рабы? 161

Арсений РОГИНСКИЙ
Чем Сталин жив? 219

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни */август — ноябрь 2008 г./* 222

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской современности *в русской сетевой и бумажной периодике третьего квартала 2008 г.* 238

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Вячеслав МОИСЕЕВ
Репетиция Апокалипсиса 258

РЕЛИГИЯ

Христианская культура и светская культура:
проблема взаимоотношений. *Круглый стол
в Культурном центре «Духовная библиотека»* 296

Александр МИШУЛОВИЧ
О пророках и пророчествах 320

Владимир МОЖЕГОВ
Конец эпохи. От тоталитаризма к фундаментализму 331

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*сентябрь — ноябрь 2008*) 365

ГНОЗИС

Григорий ПОМЕРАНЦ
Сквозь звездный ужас 374

Ирина РОДНЯНСКАЯ
Несколько философских вопросов к современной версии
«православного энергетизма» 379

ПРОЧТЕНИЕ

У книжной полки

Евгений ПЛИМАК
Как писался и печатался «Василий Теркин» 394

Игорь МЕЛАМЕД
Поэт и Чернь 417

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Владимир Кормер, его время и его герои 427

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература
Третий квартал 2008 г. 434

РАЗНОЕ

По следам наших публикаций
«Есть истинные ценности»? 449

Письмо в редакцию
«Кто виноват?» и «Что делать?» 454

ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

5 декабря 2008 года скончался предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Прощание с почившим патриархом вылилось в событие не только общенационального, но и международного масштаба. Это неудивительно: прощались с главой самой крупной Православной Церкви, объединяющей православных христиан практически всего бывшего СССР, и с человеком, уже давно входившим в десятку ведущих политиков России. Вопрос в том, что стоит за этими протокольными особенностями.

Алексий II был шестнадцатым патриархом со времени основания патриаршества в 1589 году и пятым — после восстановления патриаршества в 1917-м. Все патриархи минувшего века, в отличие от допетровских, были историческими фигурами — по исторической необходимости. И последний — не исключение. Скорее патриарх Алексий II фигура даже сугубо историческая в том смысле, что соединял в себе и собою сразу несколько эпох и несколько России, на которые распался XX век. И, соединив, ввел Русскую Церковь в новое столетие.

Он родился и провел детство в русской пореволюционной эмиграции, в семье петербуржца, учителя, потом священника, но окончил уже Ленинградскую духовную академию в 1953-м — на излете т. н. сталинского *возрождения Церкви*. В годы новых «хрущевских гонений» стал епископом, а позднее — многолетним управляющим делами Патриархии, вплоть до уже «перестроечного» 1986 года оставаясь Таллиннским архиереем. И, наконец, после краткого пребывания на Ленинградской кафедре, был избран на первом свободном церковном соборе в 1990-м, еще советском, году патриархом — практически одновременно с избранием в качестве лидера РСФСР Ельцина, которого патриарх Алексий напутствовал во время президентской инаугурации год спустя — уже в постсоветскую эпоху, на которую и пришлась бóльшая часть его патриаршества. И, наконец, эта роль — быть связующим церковным звеном разных измерений русского XX века — нашла свое отражение и в акте воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом в 2007 году.

Обобщая и несколько заостряя все перечисленное, можно, таким образом, сказать, что историческая участь, которая выпала Алексию II, — это участь быть *патриархом переходного периода* в новейшей российской истории. Периода сложнейшего, заставившего нашу Церковь пройти через ту общую для всей страны зону бурных штормов, которая так памятна всем нам и по девяностым, и по нулевым. И если, отбросив все крайности — и «новодельного» сверхблаговоления перед православием и православностью, и страстно-раздраженного, неутомимого отторжения всего «клерикального», непредвзято посмотреть на то, как прошла наша Церковь через этот нелегкий исторический период, — что мы увидим?

Мы увидим, что церковный корабль прошел мимо многих очень и очень опасных рифов, которые подстерегали его на пути и которые вряд ли удалось бы обойти, если бы его вел менее осторожный, осмотрительный, спокойный и искусный кормчий.

Древний и довольно банальный образ церковного корабля в мирском, житейском море остается в данном случае вполне уместным. Патриарх может быть и пророком, и реформатором, и идейным вдохновителем, но прежде всего — он просто кормчий. И он ведет не *свой* корабль, а тот, который совершает плавание уже две тысячи лет.

Этот метафорический корабль в каком-то смысле равен миру: он есть мир в его духовно-религиозном измерении. Иначе говоря, это не плавание какой-то отдельной команды, преследующей свои частные цели, — хотя так и думают некоторые секуляристы-антиклерикалы. «Команду» этого корабля составляют очень разные люди, и их очень много. Это люди, которые одновременно совершают и свое индивидуальное странствие — к истине, как они ее понимают, к правде и благу, то есть к Богу.

И вот если помнить об этом, то нельзя не признать, что, будучи верховным кормчим церковного корабля в последние два десятилетия российской жизни и истории, патриарх Алексий II не только смог держать и удержать курс, который не позволил церковному кораблю не налететь ни на один из рифов, грозивших расколом, тем более катастрофой, но сумел помочь и «команде» своей не выйти из того общего состояния духа, которое в существе своем определяется пониманием надмирности Церкви в мире.

Патриарх Алексий II действительно был политиком, но прежде всего — именно церковным. Таким и должен быть патриарх. То есть «лидером», который смотрит на устроение общей жизни людей с особой, сегодня уже малопонятной многим людям, точки зрения — исходя из христианского понимания смысла человеческой жизни, источником и исполнением которой является Бог, во Христе открывшийся миру. И который прежде всего должен быть озабочен состоянием того церковного корабля, который он ведет.

Из сказанного совсем не вытекает ни того, что в своем патриаршем служении Алексий II был непогрешим, ни того, что многие важнейшие исторические задачи, стоявшие перед Русской Православной Церковью переходного периода, были при нем адекватно увидены и решены, ни тем более того, что реальная жизнь нашей сегодняшней Церкви представляет собою что-то вроде «рая на грешной земле». Мы говорим о другом: о той реальной и очень важной роли, которую действительно сыграл почивший патриарх Алексий в предложенных ему новейшей историей обстоятельствах.

Да упокоит Господь душу его в селениях праведных!

К 90-летию со дня рождения Александра Солженицына (1918–2008)

Ниже мы печатаем три текста, которые прислали нам из-за рубежа к 90-летию А. И. Солженицына их авторы — знаменитый польский журналист и общественный деятель, один из лидеров легендарной «Солидарности», а ныне главный редактор варшавской «Газеты Выборчей» и член редколлегии «Континента» **Адам Михник**, выдающийся ученый-генетик, академик РАЕН, в прошлом известный правозащитник, а ныне профессор Университета им. Дж. Мейсона (США) и тоже член редколлегии «Континента» **Валерий Сойфер** и всемирно известный польский философ, писатель и публицист **Лешек Колаковский**.

Статьи Адама Михника и Лешека Колаковского перевел для «Континента» Борис Филиппов.

Адам МИХНИК

ЛЕГЕНДА И БЕСПОКОЙНАЯ СОВЕСТЬ РОССИИ

Для России XX века Солженицын был тем же, кем для России века XIX был Лев Толстой, — легендой России и ее беспокойной совестью. Он стал для мира первым знаком Другой России — России несоветской.

Для меня и моих друзей, людей демократической оппозиции, он тоже был легендой. Он доказывал российской интеллигенции и нам, полякам, что возможно невозможное — можно переломить барьеры оппортунизма и страх, можно выплюнуть кляп цензуры и самоцензуры, можно заговорить голосом свободного человека.

«Один день Ивана Денисовича» потряс Россию. А вскоре эту повесть в переводе Ирэны Левандовской и Витольда Домбровского напечатал и крупнейший польский еженедельник «Политика». «Один день» выходил по частям, вызывая к жизни болезненные воспоминания о сталинских преступлениях. Однако больше в центральных издательствах Солженицын не появлялся, и следующие его публикации (например, рассказ «Случай на станции Кречетовка») проскальзывали только в журналах. Затем в российских эмигрантских изданиях появились «Раковый корпус» и «В круге первом»; в переводе на польский они были напечатаны в парижской «Культуре» — «ополячивал» Солженицына Ежи Помяновски[1], работавший в ту пору под псевдонимом Михал Канёвский. В числе прочего был переведен и «Архипелаг ГУЛаг». Так писатель из России стал полноправным участником польских споров о коммунизме.

Дискутировать с Солженицыным было нелегко. К Польше он относился с уважением, о чем свидетельствует памятный фрагмент из «Архипелага

[1] Ежи Помяновски (1921 г. р.) — польский писатель и переводчик с русского и немецкого языков.

ГУЛаг». Бесценным было и заявление о катынском преступлении советской власти, сделанное им в эмиграции. Однако Солженицын смотрел на Польшу глазами великоросса, считающего Украину частью России. Поэтому украинские обиды в трудных отношениях между нашими народами он относил на счет России, искажая таким образом польско-российские отношения. Вспоминаю лишь для порядка этот маргинальной факт в творчестве великого писателя и необыкновенного человека.

Его жизнь была полна страданий. Он был солдатом Красной Армии в войне с гитлеровским Третьим Рейхом. За критические мысли о советской власти, высказанные в частном письме, он в 1945 году был заключен в тюрьму, где и встретил День победы, о чем с горечью вспоминал в «Архипелаге ГУЛаг». Затем — долгие годы тюрем и лагерей. После освобождения, уже в эпоху Хрущева он написал книги, преобразившие духовный климат России и изменившие самый ее образ в мире. Это капризу Хрущева обязан Солженицын публикацией своих первых рассказов в «Новом мире», литературном журнале российской интеллигенции, рожденной Оттепелью. Падение Хрущева, для Солженицына означало принудительное молчание. Тогда закончился для него и период компромисса с властью. Солженицын обратился к съезду советских писателей с письмом, в котором осуждал цензуру и напоминал о жертвах сталинских репрессий. О большевиках он написал то, что вошло в историю: «Они умеют любить только мертвых».

Солженицын поражал бескомпромиссностью и отвагой. Он ежедневно бросал вызов руководителям Советского Союза. Советский режим его ненавидел. Ему устраивали ловушки, организовывали коллективные сеансы ненависти, поносили с той особой жестокостью, на которую были способны советские чиновники. Сегодня можно рассказывать, как анекдот, об инструктаже в КГБ, где растолковывалось, что Солженицын — это Солженицер (иными словами — еврей, сионист, безродный космополит, но только не подлинный сын русской земли). КГБ завербовал первую жену писателя, которой надиктовали пасквиль о его личной жизни. Его обвиняли в оскорблении и измене родине.

Однако КГБ, такой изобретательный и удачливый в своих начинаниях, на этот раз оказался бессилен. Солженицын был несгибаем; на кагэбэшные уловки он отвечал насмешкой и презрением.

И тогда Солженицын — вместе с еще одним гигантом Другой России, хотя и во всем от него отличающимся, Андреем Сахаровым — стал символом свободной России; России, которая сбрасывает маску большевизма и открывает собственное лицо; России, которая заговорила собственным голосом. Совершенно по-своему Солженицын сказал миру: Россия — это не Брежнев, а я. Так говорили пророки, сознающие свою великую миссию.

Я хорошо помню те годы. Ошеломленные и потрясенные наблюдали мы, люди бунтующей Польши, за действиями Солженицына. Мы глотали его книги, слушали по «Радио Свободная Европа» его заявления. День, когда он получил Нобелевскую премию, стал нашим праздником.

Александр Солженицын был нашим героем.

Никогда не забуду, как я впервые читал «Архипелаг ГУЛаг». Продирался через книгу, написанную по-русски, и чувствовал, что этот язык пере-

стает быть для меня деревянным языком большевистской лжи и все больше становится моим собственным. Солженицын писал по-русски языком человека, который в заключении открыл путь к свободе и совести. На всю оставшуюся жизнь я понял тогда, что лучше быть свободным в тюрьме, чем рабом за ее стенами.

Этого солженицынского урока я не забуду никогда, пусть после своего изгнания из России он и начал писать то, чего я одобрить не мог. Меня шокировала его апология царской эпохи, великорусского национализма и православной исключительности; я не понимал его презрения к западной демократии. И позднее, после возвращения писателя в Россию в эпоху Ельцина, меня шокировали его высказывания на тему чеченской войны или смертной казни. Это уже был другой Солженицын, иной, чем кумир моей молодости.

Впрочем, сегодня я не считаю это главным.

И вот его не стало. Ушел один из гигантов XX века, писатель огромного масштаба, разоблачитель сталинских преступлений и большевистского тоталитаризма, потрясший совесть России и всего мира.

Александр Солженицын восстанавливал наше достоинство. Говоря словами Чехова, Солженицын учил нас день за днем по капле выдавливать из себя раба. Поэтому сегодня мы все склоняемся перед его памятью с благодарностью.

Валерий СОЙФЕР

СОЛЖЕНИЦЫН: ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА

Двадцать лет назад, в декабре1988 года, в Нью-Йорке проходила международная конференция «А. И. Солженицын и его творчество», приуроченная к 70-летию писателя. В том году я после почти десятилетнего периода жизни в СССР в бесправном состоянии безработного сумел вырваться из навязанного властями плена, поселиться в США, в Коламбусе, где с первого дня и начал работать профессором в Охайском университете. 4 декабря, в день открытия конференции, я приехал в Нью-Йорк, чтобы поучиться одному новому экспериментальному методу в лаборатории Джеймса Уотсона, позвонил утром своему давнему приятелю А. М. Серебренникову, одно время работавшему помощником Александра Солженицына в Вермонте, и тот предложил мне хоть ненадолго приехать вместе с ним на открытие этой конференции и принять в ней участие. Я с радостью согласился.

Объяснялась эта радость просто. С момента первой публикации в «Новом мире» короткой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а затем «Матренина двора» нашу жизнь буквально перевернул этот совершенно до того не известный нам и совершенно особый писатель. Сейчас, наверное, уже надо объяснять, каким важным было честное печатное слово в СССР в середине прошлого века, как надоели всем казенные «ползухи» мастеров «социалистического реализма» и конъюнктурщиков,

как жаждали люди прочесть книгу, не пронизанную духом официоза, как искали между строк хоть какую-то реальную информацию о жизни. А тут писатель заговорил вдруг не эзоповым языком, а совершенно открыто и страстно, не таясь и не пряча смысл за осторожными фразами. Это было так необычно, так брало за душу, что имя Солженицына мгновенно стало невероятно известным и почитаемым.

А потом по рукам пошли гулять в фотокопиях «Раковый корпус» и «В круге первом». Те, кому удавалось заполучить на пару ночей эти романы, прочтя их, становились другими людьми. Жуткий образ того уголовного строя жизни, который принесла России большевистская власть, навсегда оставался в душе у всех, кто читал эти вещи, и число таких людей росло как снежный ком.

Довершил крушение наших коммунистических иллюзий «Архипелаг ГУЛаг». Эту книгу люди рвались прочесть, но обсуждать ее между собой даже в узком кругу поначалу мало кто решался. Уже было известно, что за одно чтение «Архипелага» КГБ арестовывал, а суд назначал тюремные сроки, хотя автор книги не призывал к свержению власти, не уговаривал идти на баррикады, не сгущал краски. Просто он выступал в роли объективного летописца эпохи, но летопись эта была страшнее любого обвинительного акта, настолько жуткой она оказалась по сути и настолько достоверной, фактологически обоснованной — в изложении.

Когда я стал задумываться о защите прав человека на достойное существование и стал участвовать в правозащитном движении, мне открылись и иное значение творчества Александра Солженицына, более широкий диапазон его воздействия. Я понял, как много сделал он для осознания всем миром морального уродства советского коммунизма.

Именно поэтому я сразу же согласился на предложение Саши Серебренникова, именно поэтому так обрадовался ему. До этого мы с Сашей не раз обсуждали влияние Солженицына на людей нашего поколения. Не раз говорили и о тех статьях, которые все чаще стали появляться в советской печати, — их авторы не просто осуждали писателя, но обвиняли его в самых разнообразных нравственных грехах и нечистых побуждениях. Из этих публикаций всегда торчали, впрочем, «уши КГБ».

Но, оказавшись на Западе, я обнаружил, что и в эмигрантской печати подобного рода нападки на Солженицына нередки. И здесь нашлось достаточно людей, которых, возможно, язвила всемирная слава писателя, а неутоленное тщеславие толкало на разные обвинения — и в чрезмерной, на их «просвещенный» взгляд, литературщине, и в якобы двигавшем Солженицыным болезненном самомнении, и в тайном русофобстве и даже в неприкрытом антисемитизме. Когда мы обсуждали все это с Сашей, я все время старался сформулировать аргументы, которые, как казалось мне, способны опровергнуть подобного рода домыслы. Наверное, поэтому он и решился пригласить меня принять участие в той конференции.

Мне первому предоставили возможность выступить. Я не готов был к этому и чисто спонтанно высказался о главных, на мой взгляд, уроках Солженицына.

Сегодня, когда я задумываюсь о судьбе Солженицына и о роли его творчества в развитии и российского, и мирового общественного сознания, и

нашего индивидуального мировоззрения, я прихожу к тем же выводам и снова готов повторить сказанное тогда. Мне и сегодня хочется сказать прежде всего о тех действительно важнейших общественных изменениях, к которым привели многолетние упорство и воля Солженицына, вновь вернуться к обсуждению уроков, о которых я говорил двадцать лет назад.

Я начал свое выступление с рассказа о том, как в январе 1988 года, перед самым выездом из СССР на Запад, мне посчастливилось опубликовать в «Огоньке» очерк «Горький плод»[2], в котором я рассказал о том, как коммунистическая партия и прежде всего Сталин запрещали генетику, объявляя ее «буржуазным извращением», и поддерживали шарлатана Лысенко. Я привел данные о гибели Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, об арестах крупнейших ученых, «виноватых» только в том, что противостояли Лысенко. Статья была сразу же замечена читателями, меня пригласили выступить в Центральном доме работников искусств, где собралось несколько сотен человек. По окончании выступления я получил гору записок. Примерно в четверти их слушатели задавали такие вопросы: «Что вы думаете о творчестве А. И. Солженицына?», «Считаете ли вы, что нужно немедленно издать его книги в СССР?». И даже — «Сегодня мы стыдимся того, что затравили Ахматову, Зощенко, мы должны стыдиться того, что творили Сталин и Лысенко с Вавиловым, Кольцовым и другими учеными. Не будем ли мы завтра стыдиться того, что сегодня творим с Солженицыным, не пуская его на родину?» Десятки людей писали тогда это открыто, под этими словами стояли подписи, я зачитывал записки со сцены и чувствовал, как единодушен был в своем негодовании зал.

Настоящее, подлинное признание роли писателя выплеснулось в тот вечер прилюдно и показало, сколь мощным было воздействие Солженицына на общественное сознание. Гласность, объявленная Горбачевым и Яковлевым, уже тогда придала смелости жителям страны советов, и они не таясь выражали свое отношение к судьбе Александра Солженицына.

На Руси весьма популярно утверждение, что «нет пророка в своем отечестве». Солженицын им стал. И поразительно, что это случилось в стране, где практически совершенно перестало звучать живое слово правды, и тогда, когда казалось, что честная мысль задавлена вконец, разрушена и принижена.

Еще ни один писатель советской поры не становился при жизни столь широко известен и столь ценим, несмотря на то, что его произведения квалифицировались властями как антисоветские и надежно скрывались от читателей. Я уже говорил, что за чтение книг Солженицына можно было угодить в тюрьму. Однако отвратить людей от его книг режим не сумел; вольномыслие не могли остановить ни те, кто поливал грязью его имя в печати, ни те, кто по заказу КГБ шпионил за читателями его произведений. Его книг ждала изголодавшаяся по правде Россия. Солженицын стал (не побоюсь этого слова) выдающимся общественным *деятелем* страны, показавшим ей путь к свободному волеизъявлению.

Первый урок писателя Александра Солженицына в том и заключается, что, несмотря на всю мощь административных запретов, он сумел стать

[2] «Огонек», 1988, №№ 1–2.

небывало известным в своей стране, всенародно известным. Своими произведениями он доказал, что правдивое писательское слово находит дорогу к читателю вопреки всем запретам, что цена такого слова исключительно высока и что значение писателя, честно и смело рассказывающего о творящемся в СССР, о преступлениях власти, возвышается в глазах читателей до небывалой высоты. Литература стала силой, способной опрокидывать административные барьеры и способствовать нравственному очищению общества.

Внецензурная, «подпольная» литература, сумевшая обрести столь массового читателя, — это был феномен, никому прежде не известный. Популярность Солженицына ставила под сомнение саму действенность запретов. Распространение «Архипелага ГУЛага» в СССР, сначала тайное и осторожное, а затем все более открытое, массовое, придало людям смелости. Страх, еще недавно полностью парализовавший души, стал потихоньку отступать; мало по малу люди смелели, кое-кто даже стал относиться к запретам пренебрежительно. Ведь всех не пересажаешь, рассуждали тогда многие — и почти что вслух. Вместе с тем для тысяч и тысяч читателей «Архипелага» открывалась суть советской системы как системы преступной, использовавшей аппарат ОГПУ-ЧК-НКВД-КГБ для арестов, казней и мучений миллионов.

Солженицын приобрел такое широкое признание, что власти сочли за благо выдворить его из страны, закрыть все возможности для личного контакта с читателем. И Солженицын перебрался с семьей в США.

Он, нобелевский лауреат, стал жить в Америке, и здесь он подал всем еще один высокий пример. Он не успокоился на том великом, что уже сделал, не удалился в башню из слоновой кости, а целиком отдал себя новой великой творческой задаче — «Красному колесу». Кое-кто обвинял его, правда, в том, что он строит из себя затворника, затаившегося в келье, но на деле он лишь предпочел не мельтешить перед камерами телеоператоров или ищущих сенсаций корреспондентов. Просто диву даешься, как не суетлив он был, как избегал встреч не только с журналистами, но и с власть имущими, как стойко переносил испытания популярностью, не прерывая писательского труда, как не сник он под тяжким бременем славы. Устоял. И это ли тоже не подвиг!

Он выпускал одну за другой новые книги. Многие принимали и принимают их неоднозначно, но он и не гнался за всеобщим признанием, а писал только о том, в чем был убежден, как бы ни было это кому-то непривычно, для кого-то неприемлемо. Но это были его линия и его ход мыслей. Он свято исполнял взятую на себя миссию писателя и не изменял ей до последней минуты. Нельзя не признать величие Александра Солженицына и в этом его уникальном служении. Нельзя не выразить уважения к этому уроку — трудиться до последнего вздоха, не давать себе снисхождения.

Не требует доказательств, что имя Солженицына стало широко известно при его жизни в его стране. Но его слава шагнула необычайно далеко и за пределы СССР, стала всемирной. И чтобы по достоинству оценить масштаб подвига Солженицына, стоит вспомнить, как много людей в мире оказалось ослеплено идеями социализма, как много их, ослепленных, с 20-х годов про-

шлого века рвалось в СССР строить самое совершенное общество, как ширилось левое движение повсюду на земле.

Будущий нобелевский лауреат Герман Мёллер поехал в Россию из США, будущий академик Дончо Костов — из Болгарии. Этим двоим посчастливилось унести ноги и не погибнуть в кровавом болоте советских лагерей. А сколько их, наивных верователей в идеалы социализма, погибло! Тысячи, если не десятки тысяч! Даже такие крупные писатели, как Ромэн Роллан, Лион Фейхтвангер или Анри Барбюс, побывав в СССР, умудрились не заметить кровавого колеса, катившегося по стране. Их обворожили ум и манеры Сталина. Они не внимали тем, кто говорил о кровожадности советского режима, они не замечали ГУЛага. Коммунистическим вождям преступного режима приписывали стремление спасти человечество, заблудившееся и запутавшееся в тенетах капитализма.

Долгое время коммунистические партии во Франции, в Италии, во множестве других стран разрастались и завоевывали своими демагогическими лозунгами внимание и симпатии миллионов молодых людей. Кремлевским правителям можно было только радоваться такому успеху марксистской идеологии. Разумеется, советские лидеры тратили огромные деньги на подпитку левого движения, но и само по себе оно было мощным, всепроникающим. И вот появился «Архипелаг ГУЛаг». Переведенный на многие языки, он сорвал пелену с глаз миллионов людей и сыграл поистине планетарную роль — разрушил левое движение во всем мире. Да, книги с описанием репрессий в СССР существовали и прежде, — но они оставались почти незамеченными. И только труд Солженицына доказал документально, чем оборачиваются мифы о «светлом будущем», к чему ведут на самом деле «идеалы мира, дружбы и социализма». Мир очнулся от наваждения, прозрел.

В значительной мере благодаря книгам Солженицына молодежь во всем мире отвернулась от левого движения, раздувшийся пузырь выпустил воздух, и интерес к нему угас. Труд Солженицына, причем труд, созданный не в условиях гласности и открытости, а в условиях, используя его же термин, «разговора из-под глыб», действительно сыграл космическую роль. Может ли действенность писательского слова быть более высокой? Может ли быть более мощным, и через полвека не теряющим своего значения, влияние слова на массы во всем мире?

Таков, на мой взгляд, еще один важный урок Солженицына.

Разрушение образа коммунизма, совершенное Александром Солженицыным, нельзя свести только к идеологии или политике. Разрушение это мультифасеточно, оно содержит в себе много плоскостей измерения, и мы знаем, что поток исследований, посвященных роли Солженицына-художника в развенчании мифологии коммунизма, не только не затухает в мире, а, напротив, расширяется. Многие ученые и публицисты продолжают обращаться к этому важнейшему феномену XX века, изучая многообразие воздействия «Архипелага» на общество. В поисковой системе Google ссылки только на англоязычные упоминания имени Alexander Solzhenitsyn достигли 1 млн 770 тысяч. Для сравнения: ссылки на Leo Tolstoy и Anthon Chechov содержатся в 1 млн 820 тысячах источников, на Fyodor Dostoyevsky — в

914 тысячах работ, на Vladimir Nabokov — в 111 тыс., и ни один из живших в XX веке в СССР писателей, кроме Михаила Булгакова (1 млн 140 тыс.) и нобелевского лауреата Бориса Пастернака (585 тыс.), не приблизился к такому уровню интереса, как Солженицын. Даже другой российский нобелевский лауреат по литературе Михаил Шолохов отмечен только в 53 900 ссылках.

Непреходяще значение феномена Солженицына состоит и еще в одном важнейшем уроке. Своей жизнью, своими поступками он показал современникам, что личность может сохраниться несокрушенной даже в условиях крайней несвободы, даже в полицейском государстве. Своим поведением и до суда, и после тюрьмы, лагерей и освобождения он продемонстрировал возможность оставаться самим собой, открыто конфронтируя с идеологическими нормами, которые власть объявляла краеугольными, непререкаемо верными и единственно допустимыми.

Урок личного мужества и победы над собой, над своими страхом и слабостью был исключительно важен для современников. Более полувека большевики взращивали особую породу людей — послушных, забитых и безропотных, с одной стороны, и мстительных, злобных, коварных, — с другой. Доносы и наветы стали могучим средством для воспитания этой породы. Культ безответственности, отвержение идеи о неминуемом в будущем ответе перед Всевышним (а для атеистов — перед судом истории) за свою моральную суть и свои земные грехи довершили эту жуткую по своим последствиям селекцию homo soveticus.

С Солженицына потихоньку начался обратный процесс. Сначала распрямился он сам, превратившись из раба в Свободного Человека. Осмелел настолько, что вслед за Пастернаком решился на шаг, прежде для советского литератора немыслимый, — отправил рукописи своих книг на Запад. Казалось бы, ничего не стоило раздавить его, как клопа. Но этот человек воспитал свою волю, решился на неслыханную дерзость, и ни весь состав КГБ, ни вся партийная машина не смогли ничего поделать с ним. И тогда они нашли единственно приемлемый для себя выход — убрать этого несгибаемого человека с глаз долой.

Этот урок, преподанный нам Солженицыным, был особенно важен для тех, кто, перестав бояться собственной тени, а затем и вполне осязаемых опасностей, встал на путь защиты прав человека в СССР. Для правозащитников, тех, кто примкнул к так называемому *диссидентскому движению*, личная судьба Солженицына стала мощным вдохновляющим примером. Общественное поругание, вламывающиеся в дом непрошенные гости из КГБ, обыски и задержания на улице, конфискация всей корреспонденции на твое имя, т. е. своего рода изоляция от внешнего мира, а порой и самая что ни на есть реальная изоляция — арест и тюрьма, — все это, казалось бы, не могло не порождать страха — если не за себя, то за ближайших родственников... Но Солженицын прошел через все это, не сломившись и не поддавшись запугиваниям, какие бы полицейские меры к нему ни применялись. Собственным примером он доказал, что человек, убежденный в своей правоте, — невероятно, непредсказуемо крепок. Гораздо крепче, чем можно было бы, кажется, ожидать! Выстояв, отстояв себя в одиночку, он раскрыл нам глаза на то, какую мощную силу

может представлять собою личность одинокого борца с системой. И противостоять этому одиночке система оказалась бессильна.

Помню, как, будучи студентом, я услышал доклад Хрущева о культе личности. Это было как раз перед отъездом домой на каникулы. В первый же день в родном Горьком я встретил на улице школьного учителя логики и психологии и стал с восхищением и волнуясь говорить о выступлении Хрущева против сталинизма, об открывающихся перед нами свободах. Учитель сначала озирался по сторонам: не подслушивает ли кто из прохожих, а потом сказал: «Знаешь, мы в наши студенческие годы боялись не то что вслух рассуждать на эти темы, хотя бы и на своей собственной кухне, — о таких вещах мы боялись даже про себя подумать». Да, боялись, но, к счастью, не все, и свидетельство тому — работы Солженицына. Как мы вслушивались в голоса зарубежных дикторов, читавших по радио «Свобода», Би-Би-Си или «Голосу Америки» беспредельно смелые обращения писателя к властителям России!

Рассказ о его личном подвиге и его личное отношение к собственному творчеству мы находим в книге «Бодался теленок с дубом». В ней Солженицын рассказал, как учился превозмогать страх, как ступенька за ступенькой поднимался к пониманию своей роли в обществе. Это пример того, как огромно и всепобеждающе в человеке моральное начало, как торжествует оно над тем, что советская власть 70 лет вбивала в головы людей, заставляя их считать себя лишь «винтиками в государственном механизме».

...Мне не довелось встретиться с Александром Исаевичем или хотя бы поговорить с ним по телефону. После возвращения в Россию он нередко выступал в телевизионных программах, которые я смотрел, внимательно вслушиваясь в его слова. Признаюсь, иногда его заявления казались мне неверными, хотя и произносились искренне, страстно и с душевной болью. Я знаю, что сегодня есть немало людей, готовых обвинить Солженицына и в элитарности, и в непоследовательности, и в непонятном преклонении перед Путиным (что, впрочем, и мне кажется не совсем объяснимым), и даже в откровенном антисемитизме. Не заметить подобного рода суждений о нем нельзя. Должен признаться, что, как и многим ожесточившимся критикам Солженицына, мне показались ошибочными некоторые высказывания в книге «Двести лет вместе». Однако зачастую эти критики делают свои обобщения на основании частностей, каких-то мелочей. Но несогласие с теми или иными деталями или отдельными произведениями, во-первых, не дает оснований к тем огульным оговорам Солженицына, которые позволяют себе недобросовестные критики писателя, а, во-вторых, не эти частности составляют суть его творчества и его вклада в цивилизацию.

Я уверен, что в обозримом будущем от этих обвинений не останется ничего, а уроки Солженицына, о которых я попытался сказать в этом очерке, сохранят свое непреходящее значение на долгие годы. И сегодня, отмечая 90-летие Александра Солженицына, мы не можем не склонить голову перед гением этого замечательного человека. Мы отдаем должное его подвигу на ниве литературы и общественной жизни и не можем не признать величия этого писателя, его выдающейся роли в развитии всего человечества в XX веке.

СВИДЕТЕЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЗЛА

Среди гигантов культуры XX века Солженицын занимает особое место как потому, что он был чрезвычайно талантливым писателем, так и потому, что он был Свидетелем — великим свидетелем горестнейших минут, пережитых этим веком. Каждое его слово пропиталось страданием и горем миллионов людей, теми страданиями, которые перенес и сам писатель, не пожелавший отказаться от правды, когда слово правды было так жестоко наказуемо. В полной мере невозможно оценить вес и значение этой правды для судеб мира.

На Западе и до Солженицына начали появляться книги, в которых описывались советские концентрационные лагеря и тюрьмы, — произведения Вайсберг-Цибульского, Херлинг-Грудзинского, Евгении Гинзбург. Но только Солженицын сумел действительно сокрушитть лицемерие Запада, особенно западных левых — прежде всего коммунистов. После его «Архипелага ГУЛаг» и других произведений никто уже не мог делать вид, будто не знает, что представляет собою советский мир. Это он сорвал занавес молчания и лжи. Он точно указал место, где таилось отравленное ядро коммунизма. В письме к советским вождям он не требовал, чтобы они отказались от власти. Он требовал, чтоб они отвергли идеологию, которая столько лет отравляла душу народа. Разумеется, это было безнадежное предложение: в том мире отказаться от идеологии означало отказаться от власти, ибо только идеология служила основанием законности или видимости законности власти коммунистов.

Но Солженицын не был политическим аналитиком. Он боролся за Россию. К западной культуре он относился весьма критически, осуждая не только коррумпированность Запада и его жадность, но и свойственную западному миру погоню за удовольствием в ущерб остальному. При этом он был великим российским патриотом, не потому, что поддерживал традиционный российский и советский империализм, но потому, что понимал зловещую роль коммунизма в разрушении русской культуры, и потому, что хотел эту культуру возродить. Оживляя русский язык, вливая в него множество забытых или полузабытых слов, он стремился воскресить все то, что дало духовную силу российской культуре.

Недавно мы узнали, что, вручая Солженицыну государственную награду, президент Путин хвалил писателя за его вклад в изучение русского языка, но не вспомнил об «Архипелаге ГУЛаг»: видимо, власть по-прежнему нуждается в лживых замалчиваниях. Видимо, и сегодня ей выгодно укрывать преступления и отказываться от ответственности за них.

Но Солженицын хотел показать подлинную Россию, а не Россию, пропитанную ложью и лакейством. Он не терпел книги маркиза А. де Кюстина о николаевской России[3]. Коммунизм, по убеждению Солженицына, был

[3] Речь идет о книге «Россия в 1839 году».

совершенно чужд духовной сущности России, и писателя неотступно занимал основополагающий вопрос: почему стала возможна большевистская революция? На этот вопрос Солженицын ответил историческим циклом, начало которому положил роман «Август 1914». Впрочем, как кажется, осилить эту громадную проблему до конца писателю удалось не вполне.

Хорошо помню, как мы читали «Один день Ивана Денисовича», когда его опубликовали в «Новом мире». Мы уже много тогда знали о советском мире, и само существование лагерей не было для нас новостью. Но это была первая повесть о лагерях, изданная в Советском Союзе, и впечатление от прочитанного было огромным: советский мир меняется. Уже само разрешение напечатать эту повесть можно считать бессмертной заслугой Хрущева, — даже если бы он не имел других.

Позднее дошел до нас и «Архипелаг ГУЛаг», который мы читали в польском переводе Ежи Помяновского (еще под псевдонимом).

Благодаря Солженицыну, этому великому Свидетелю, описанный им зловещий мир не будет забыт: великое зло не должно быть забыто, если мир стремится стать лучше.

Лариса МИЛЛЕР

НУЖНЫ СЛОВА, КОТОРЫХ НЕТ В ПРИРОДЕ

* * *

На вазе лошадка на стройных ногах.
Лошадка участвует в древних бегах.
Лошадка бежит. Развевается грива.
Она нарисована так кропотливо.
Давай перед нею еще постоим.
Согреем лошадку вниманьем своим.
Ведь бегать и бегать ей, бедной, веками,
Коль ваза не грохнется, став черепками.

* * *

Не под музыку, нет, а под звон тишины
И при свете колеблемой снежной стены
Жизнь идет и идет, на ходу истончаясь.
День текущий, от прежнего не отличаясь,
Заманил, закружил меня, посеребрил.
Ты когда-то о времени мне говорил.
Говорил мне когда-то, что времени нету,
И, о сроках забыв, я блуждаю по свету,
За кружащимся ангелом белым слежу
И сквозь снежную стену легко прохожу.

* * *

Бытие двух тонких линий —
Серой той и этой синей.
Повстречались, разбежались
И опять тесней прижались,

Лариса МИЛЛЕР — родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг «Безымянный день», «Земля и дом», «Стихи и проза», «Стихи о стихах», «Сплошные праздники», «Заметки, записи, штрихи», «Между облаком и ямой», «Мотив. К себе от себя», «Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

Тихо радуясь друг другу,
А потом опять по кругу
Побежали. А в итоге
Небо, путник на дороге,
По которой одиноко
Будет он идти без срока.

* * *

Маме

Хочу туда, где снишься ты.
Ведь там сирень — твои цветы.
Там гости, возгласы, объятья.
Там ты в каком-то пестром платье
Танцуешь, каблучком стуча,
И сполз цветастый шелк с плеча.

* * *

Столько нежности, Господи. Воздух, крыло.
Третий день снегопад. Даже ночью бело.
Столько нежности, Господи, маленьких крыл,
Будто Ты мне все тайны сегодня открыл.
Не словами, а прикосновеньем одним
К волосам и губам, и ресницам моим.

* * *

Погоди, я с тобой, я с тобой.
Даже если ведут на убой,
Даже если там морок и плаха.
Я не ведаю большего страха,
Чем вдруг выпустить руку твою
И остаться навеки в раю.

* * *

А он в один прекрасный миг
Почти из воздуха возник —
Тот снимок, где кусочек сада,
Скамейка, лютики, ограда.
В саду ребенок лет пяти.
Теперь попробуй, улети,
Мгновенье канувшего лета
С игрой его теней и света.

* * *

А мне-то казалось, что я навсегда,
И люди для счастья приходят сюда,
Для счастья, для праздника и для веселья,
Устраивать свадьбу, справлять новоселье.
А праздников выпало наперечет,
И ветер лицо мне так больно сечет,
И трудно идти, да и некуда вроде,
И силы и время мое на исходе.

* * *

Выходит, они мне в любви объяснялись —
Снежинки, что нежно к губам прикасались,
И листья, что, падая, шепчут: «Лови»,
И дождики мне объяснялись в любви,
И небо, что зарозовело с рассветом, —
Я только сейчас догадалась об этом,
Сейчас, на исходе и жизни и дня,
Когда уж ответа не ждут от меня.

* * *

Я правда жила или только помстилось?
Ворона на ветке сырой примостилась.
Уселась и каркает так вдохновенно.
Подумай, как жизнь пролетела мгновенно,
Как будто она не была, а казалась,
И что я к вороне, скажи, привязалась?
Сидела она, а потом улетела,
А я наблюдать за ней долго хотела.

* * *

Мне так плохо с собой. Можно возле тебя
Посижу, твой помятый рукав теребя?
Занимайся, чем хочешь: работай, звони,
Кушай яблоко, только меня не гони.
Буду тихо сидеть и не буду мешать,
И не буду я планов твоих нарушать.

* * *

И этот день кончается,
А жить не получается,
Но коль еще помучиться,
То, может, и получится.

* * *

Уходить нельзя отсюда,
Здесь не вымыта посуда,
Не застелена постель,
Не вполне понятна цель
Пребывания земного,
Завтра буду думать снова
И, наверное, опять
Мало что смогу понять.

* * *

Я тихонечко лежу,
Я тебе принадлежу.
Мне твой сон сегодня снится,
На щеке моей ресница
Соскользнувшая твоя.
Ровно дышим ты и я.
Сон наш хрупок, но и бденье
Не прочнее сновиденья.

* * *

Какие у меня права
На небо, воздух, дерева?
И кто я им? Случайный житель,
И временна моя обитель.
И все же каждую зарю
За что-то их благодарю,
Хоть знаю — радуют и светят,
А пропаду, и не заметят.

* * *

Мне важно, чтоб этот кузнечик скакал
И чтобы в росу свои лапки макал,
И чтобы роса серебрилась, блестела,
И чтобы душа не просилась из тела,
И чтобы жила с моим телом в ладу,
И чтобы писались стихи на ходу.

* * *

Жизнь, душа, дорога, вечность...
Боже, как нужна беспечность,
Детскость, легкость, тру-ля-ля,
Жить, танцуя и шаля.
Чтобы, если рыкнут грозно,
Удивиться: «Ты серьезно?»

* * *

Там ветка качнулась, там капля упала.
Я медленно шла, осторожно ступала.
Я так не хотела кому-то мешать,
Кого-то тревожить, покоя лишать.
Вот ива плакучая — гибкое древо.
Листвы не задев, обойду его слева.
А вот незабудка, что с миром в ладу.
Я справа, пожалуй, ее обойду.

* * *

А мне нужны слова, которых нет в природе.
Ни рядом — на земле, ни там — на небосводе,
Ни на небе седьмом, ни где-то выше, выше,
И хочется сказать: «Пожалуйста, потише».
А вдруг случится так, что слово народится,
Короткое, как вдох, пугливое, как птица.

* * *

Загрустили лопухи.
Приглашу-ка их в стихи.
Да и мак поникший алый
Позову туда, пожалуй.
Лист опавший золотой
Мне послужит запятой,
Кошку здешнюю хромую
С юркой птичкой зарифмую.

* * *

Спим, работаем, гуляем,
Словом, землю населяем
Вместе с бабочкой, жучком
И стрекочущим сверчком.
Хоть из разного мы теста —
Нам вполне хватает места.
Тот летает, скачет тот,
Но у всех полно забот.
Ведь нужны на этом свете
Всем жилье, продукты, дети.

От редакции

Первого февраля исполнится 70 лет со дня рождения прозаика, философа и публициста **Владимира Федоровича Кормера** (1939—1986). Творчество этого глубокого и оригинального литератора известно в России незаслуженно мало: ни одной прижизненной публикации на родине Кормер так и не увидел. В 1979 году парижской премии Даля удостоилась его повесть «Крот истории, или Революция в республике S=F»; замечательный роман «Наследство» увидел свет уже после смерти автора и тоже за границей; роман «Человек плюс машина» был опубликован в самом конце 90-х в «Вопросах философии» (журнале, в котором Кормер работал и из которого был изгнан после получения парижской премии).

Мы печатаем первый роман писателя «Предания случайного семейства». Текст этот несколько лет пролежал в 60-е годы в портфеле «Нового мира», но разрешения на его публикацию редакция не получила. Полагаем, что главная тема писателя — метафизика повседневности — не утратила и никогда не утратит своей важности для читателя любого времени и любого поколения. Подробнее об этом читатель «Континента» узнает из статьи Евгения Ермолина, опубликованной в этом номере журнала в разделе «Литература и время».

Владимир КОРМЕР

ПРЕДАНИЯ СЛУЧАЙНОГО СЕМЕЙСТВА

Глава первая. 1941–1942

-1-

Александру, сыну Николая Владимировича Стерхова, оставался один год действительной службы, когда началась война. Однако на фронт он попал не сразу, но долго еще пробыл в Москве. Вначале он служил прожектористом, а потом оканчивал офицерские курсы.

Его родители и обе сестры уехали в эвакуацию. Он впервые, ему шел двадцать второй год, остался в Москве один, без надзора, и довольно скоро решил жениться. Любил он свою суженую или нет, неизвестно было и ему самому: они и виделись-то по-настоящему всего лишь несколько раз. Его редко отпускали из части; он бегал в самоволку, утешаясь, что, мол, в наказанье — «дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Белокурый, высокий малый, часто слышавший в лицо сказанные комплименты своей наружности, он хотел еще быть и ухарем, но скорее был просто ребячлив и, шаля, обычно не превышал меры. Начальство и приятели ценили в нем общительность и легкость, отец же в недобрую минуту сожалел, что сын умнеет слишком медленно и, обладая многочисленными способностями, не имеет ясно выраженного к чему-либо призвания.

Сначала Александр не собирался жениться. Будущее течение его романа представлялось ему несложным увлечением прифронтовой полосы: «Что будешь тут делать? — Война. Полюбились, разошлись. Она, конечно, немного поплачет — бабы привязчивы, но быстро утешится...» Суженая жила в том же подмосковном поселке, где была расквартирована их часть, и многие в части были знакомы с нею или с ее подругами, от которых знали, что называется, всю ее подноготную: что живет она с отцом, горьким пьяницей, а мать ее умерла, и что до Стерхова у нее был еще кто-то, с кем она встречалась. Не бывало дня, чтобы кто-нибудь не подошел к Стерхову с значительной миной: «Ну ты как, все с етой? Видал сегодня ее»... Чтобы в постороннем разговоре кто-нибудь, случайно вспомнив о ней, не посоветовал бы ему «не теряться», или чтоб его не позвали к окну посмотреть, как она идет по поселку своей неровной под взглядами походкой. Эти постоянные напоминания против воли создавали ощущение непрерывности отношений; казалось, что отношения развиваются каким-то образом в те промежутки, пока он не видел ее; нередко, придя к ней, он заставал ее обиженной, хотя перед тем, он хорошо помнил, они расстались мирно. В другой раз ему самому сообщали нечто компрометирующее о ней — что, дескать, говоря о нем с подругой, пренебрежительно хмыкнула, или улыбнулась тому-то, — и тогда уже наставал ее черед удивляться, встретя его не таким, каким ожидала встретить. Так он думал о ней, чаще, чем ему хотелось. К тому ж, будучи непоследователен в своих намерениях, он желал также испытать и всякие иные чувства, о которых слышал или читал, желал быть ревнивым, подозревать, мучиться, быть пылким и тому подобное. Эта потребность романтической любви оказывалась сильнее намеренья равнодушно покинуть свою возлюбленную. Та, что была объектом, не имела тут большого значения. В отдельные моменты он мог находить ее малоподходящей, грубой, с дурным характером, мог размышлять о том, что не мешало бы ему обзавестись женой покультурней, мог, наконец, страшиться гнева родителей — не потому, что они лишили бы его наследства, — никакого наследства не было, а так, необъяснимо. Но стоило ему от безделья и скуки подумать о ней: о том, как равнодушно взглянула она последний раз, вспомнить намеки, что делала ее подруга, затосковать по дому и по ласке, — и он тут же, упуская нить разумных своих рассуждений, начинал взвинчивать себя, нервничал, пробовал писать ей письма, затем не выдерживал и бежал к ней домой.

Ее отец обыкновенно спал на диване или грезил, уставив в потолок мертвые глаза и не отвечая на приветствия Александра, и без того предполагавшего, что меж отцом девушки и ее возлюбленным должны существовать какие-то определенные неприязненные отношения. Дочь, впрочем, не обращала на отца ровно никакого внимания, и возлюбленный за нею научился тому ж.

Они садились за полотняную ширмочку, в угол, где висела полка с посудой и стоял кухонный столик. В полутьме электричество отключали, Александр говорил трагическим шепотом, пытался что-то доказать, в

чем-то убедить ее, она делала вид, будто не понимает его, улыбалась с чувством превосходства, наверняка зная, что слова можно и опустить. Она не отрицала того, что о ней говорили, но и не особенно распространялась, умолчаниями и обиняками заставляя своего любовника подозревать за этим еще более глубокую тайну. Он сам уже иногда отчаивался дознаться, где правда, где ложь и насколько далеко зашла их связь, зато осознавая все лучше, что возлюбленная не то чтобы умнее, но в чем-то действительно выше его, а те немногие приемы и хитрости, которыми он владел, здесь жалки и ненужны. Она не была так уж естественна, но мир ее был гораздо менее выдуман, нежели его, и, может статься, она лучше знала, чего добивается.

Он брал ее за руки, притягивая к себе и пытаясь обнять. Она сидела напротив него на табурете, и колени ее упирались в его колени: ему никак не удавалось прижать ее крепко. Некоторое время они возились в тишине, молча. Ему становилось жарко в шинели. Все усмехаясь, она накидывала на плечи пальто, и они выходили в холодный неосвещенный тамбур перед входной дверью. Там было три ступеньки. Она подымалась на среднюю, чтобы их головы были вровень, он обвивал руками ее тело под незастегнутым пальто, и так они стояли, целуясь, полчаса или час, допоздна, прядали прочь, в темноту, заслыша в доме или на улице шаги соседей, и сходились снова, пока тревога от сознанья совершаемого должностного преступления не побеждала у него вожделенья.

Она не тянула, обещая отдаться лишь после того, как они распишутся, наоборот, отдалась ему легко и свободно, едва представился случай, словно заведомо зная, что этим привяжет его еще сильнее.

Положение на фронте меж тем продолжало оставаться тяжелым. Немцев отогнали от Москвы, но впереди было еще лето сорок второго года, его ждали и к нему готовились с нехорошим предчувствием. В середине зимы в части прошел слух, что, по всей вероятности, на передовую их не отправят до лета, до выяснения ситуации. Стерхов, к тому времени уж и не чаявший иного способа вырваться из затянувшихся уз, кроме фронта, был разочарован, раздосадован, подавлен, примерно через неделю понял, что дожидаться лета — невыносимо, и женился, женился, забыв все на свете, отца, мать и наставления друзей, как не надо потакать ей и показывать, что любишь ее, и как нужно повести себя, если она скажет, что у нее будет ребенок. Его не могло остановить даже то, что от недоедания и тяжелой работы она занедужила, похудела и подурнела. Они расписались, она перебралась на квартиру его родителей.

-2-

Квартира родителей, куда она переехала, была, собственно, не квартира, а две, правда большие, комнаты в коммунальной квартире, самой по себе огромной и безалаберной. Посторонний, попавши сюда впервые, долго не мог прийти в себя и сориентироваться средь бесчисленных ответвлений, коридорчиков и закоулков. Когда-то, возможно, план ее был яснее, но за длинные годы от запроектированной последовательности столо-

вых, детских и гостиных не осталось ничего. Парадный вход, это лицо дома, был давно разломан; лестница перекрыта, так что получилось по комнате в двух этажах (дом был двухэтажный), а нижние жильцы соорудили себе нечто вроде террасы на бывшем парадном крыльце. В жилую была превращена и ванная комната, а саму ванну отнесли на чердак, где она и проржавела насквозь за двадцать лет. Уборная, перенесенная с прежнего места, несуразно была прилеплена близ кухни. Тоже и вход в квартиру был теперь через бывший черный ход, там же и умывались, и стояла сбоку здоровенная, в треть всей кухни печь, — газа еще не провели. Маленький коридорчик вел из кухни в бывшую прихожую. Было темно, оттого что коридор освещался одною тусклой лампочкой, и грязно.

Население порою достигало здесь тридцати пяти человек. Народ жил самый пестрый: мелкие служащие с женами — домашними хозяйками, старая дева-библиотекарша со своею пожилою уже племянницей, железнодорожный кондуктор, вдова-фельдшерица, капитан речного флота, маляр, две или три жены были уборщицы и подрабатывали стиркой (стирали на той же кухне), — все это не считая детей. Некоторые были коренные москвичи, вроде тетки Анастасии, покойные родители которой имели профессию, ныне уже не ведомую: зажигали свечи в залах, в Кремле; другие, таких было семьи три, явились в столицу в начале тридцатых годов из деревни, на заработки. Мужья в этих семействах давно уже стали городскими и забыли и думать о той поре, но жены, как это и положено, хранили традицию, часто томились по прошлому своему сельскому житью, собравшись на кухне, пытались петь старые песни, а подвыпив, и плакали. Николай Владимирович, отец Александра, всегда повторял, что ему удивительно, что именно эти женщины стали как бы главными в квартире, определяя ее лицо и, почти обязательно, мнение, и полагал, что это приверженность преданию, традиции дает им такую силу.

Сами Стерховы считались в квартире интеллигенцией и чуть ли не разложившимися аристократами, хотя Татьяна Михайловна, супруга Николая Владимировича, была такая же, как и те, домашняя хозяйка, как и те, ходившая вечно в замызганной и засаленной на груди вязаной кофте, с вытянувшимися от скверной привычки прихватывать ими кастрюли и сковороды рукавами, давно забывшая и то немногое, чему когда-то училась. Сам Николай Владимирович был, пожалуй, интеллигентом, но лишь в первом поколении, потому что отец его, рано умерший, был всего-навсего провинциальным конторщиком в Медыни и никакой благородной крови в его жилах не текло; откуда же взялся этот тонкий, изысканный, словно бы и впрямь породистый облик у Стерховых, было совершенно неизвестно. Смеясь, Николай Владимирович говаривал, что значительную долю аристократичности придают ему в суждении соседей и знакомых две его комнаты, достаточно необычные и лучшие в квартире. Когда-то в них помещались кабинет и библиотека бывшего владельца дома, и теперь от прежней роскоши сохранилась сплошная деревянная резная обшивка потолка и стен. На стенах и потолке за долгие годы нарос слой грязи и копоти от печек и

керосинок, скрывший ранее светлый тон дерева, зато почерневшая старая мебель, вовсе не стильная, но сборная, не смотрелась неказистой, даже зеркало от времени стало темным, — и знакомые восхищались, попадая сюда впервые: «Ах, у вас как в старом замке!..» Тем не менее, постоянные обитатели соглашались, что в комнатах слишком мрачно и стены «давят», не говоря уже о том, что темно заниматься.

— Ну, как тебе у нас? — сентиментально спросил Александр, привыкший все же несколько гордиться своими комнатами, приведя (уже со всеми вещами!) молодую жену к себе в дом, и, не дождавшись ответа, стал вслух вспоминать, как они все собирались покрасить стены, чтобы стало посветлее (в одном месте, в углу, даже сохранились широкие, в ширину доски, мазки — пробы разных охряных колеров), но однажды решили, что вымыть проще. Всею семьею потратили несколько воскресений подряд, каждую доску терли отдельно, щетками и мылом, грязная вода текла по рукам и затекала под платье на тело; в стенах оказалось множество маленьких незамеченных гвоздиков, они раздирали ладони, и отец боялся заражения. Зато очищенные места засияли, обнаружились надписи и рисунки, процарапанные детьми, — и ими самими, и теми, прежними, — на лакированной поверхности, сразу стало веселее, и только потолок так никто и не решился мыть: не было стремянки, да и не могли себе вообразить, чтобы та же грязь полилась на лицо и волосы, и потолок так и остался висеть над головами со всеми своими шишечками, инкрустациями и рельефами.

Молодая жена оглянулась. Мужнин восторг был ей достаточно чужд. Человек практический, она заметила скорее то, что окнами обе комнаты выходят одна во двор, другая на улицу, а рамы сгнили, отчего ветер гуляет как хочет, насквозь, а на подоконниках наросли наледи. Поэтому она вяло и невпопад ответила ему:

— Ничего...

Он обиженно посмотрел на нее, и только тут ему в первый раз пришла мысль, что не единственно его родители могут отнестись к ней плохо, но и с ее стороны может что-то быть: она может не поладить с его родителями, она может не признать семейных убеждений, домашние идолы могут не вызвать у ней уважения. Это несложное соображение неприятно поразило его. Он еще раз украдкой посмотрел на нее. Она, избегая его взгляда, поежилась:

— Давай топить печку.

Печка была старой голландкой с прорубленным еще в ту войну очагом для варки пищи, одна на обе комнаты. Дрова лежали, сложенные в поленницу, тут же, за буфетом, отодвинутым на середину комнаты. Александр все так же пространно принялся объяснять, в чем именно состоит норов их печки, наслаждаясь описанием всех этих маленьких семейных правил: насколько нужно открыть трубу, чтоб как следует протопить, насколько поддувало, что делать, когда вьюшка в соседней комнате начнет дымить, да как не упустить тепло — и все прочее, некогда объясненное ему отцом, считавшим, что лишь он один умеет топить эту печку.

Жена слушала его по-прежнему неохотно, но теперь в комнате совсем стемнело, и он не различал ее выражения. Легкомыслие мужа раздражало ее все более. Она и сама прежде никогда не задумывалась, как встретит ее этот дом. Муж действительно волновал ее и нравился ей, она действительно стремилась в Москву, но не видела перед собой никаких сложностей, после того как убедилась, что он не бросит ее. Сейчас она вдруг подумала о том, о чем в былые времена рыдала всякая деревенская девушка, тем более сирота, выдаваемая замуж, — о том, что идет она в чужой дом, к чужим людям, возможно, враждебным ей. Впервые померещилось ей, что лучше б ей не трогаться с места, остаться у себя, пусть с опостылевшим отцом, пусть в бараке, разгороженном на клетушки, но у себя. Она снова повела взором: без сомнения, этот дом, наполненный вещами, ей не принадлежавшими, внушал ей недоверие. И то, о чем так самозабвенно толковал ей муж, обилие историй детства, связанных у него с этим домом, обилие каких-то обстоятельств, которые ей приходилось теперь поневоле затверживать («А у нас это принято так», «а у нас это хранится тут», — все время повторял он) и которые она, если б умела выразить словами свои ощущения, назвала бы «жалкими», лишь укрепляло это первоначальное недоверие и порождало еще иное, совсем уже враждебное чувство. Невежливо перебив мужа, она встала и прошлась по комнатам, заглянув мимоходом в темное зеркало и отшатнувшись при виде своего заострившегося, постаревшего лица.

— Ты бы лучше последил за печкой, — сказала она, когда муж тоже встал и подошел к ней. — Вон печка дымит.

Он ощущал, что она была в чем-то права, так презирая восторги и истории, что он выкладывал ей. Все они в самом деле показались ему ничтожны: мебель — рухлядью, а что до комнат, то он ясно видел, как жена, с ее циническим, здравым умом, думает: «Если бы твой отец это сделал, тогда другое дело, а так: вас сюда поселили, могли б и в другое место... это все равно что не ваши, то есть сегодня ваше, а завтра не ваше, чужое...» Но он уже не в силах был оставить своего тона и, покраснев и натуженно улыбаясь, позвал ее поглядеть, «остальные их владения».

Владения эти был чердак. Они взяли свечку, по скрипучей деревянной лестнице поднялись на антресоли и оттуда на чердак через маленькую, с высоким порогом дверцу. Там было сыро и очень холодно. Выбитое слуховое оконце заделано было фанерой и тряпками. Снег сквозь щели намел на усыпанном сгнившей корою и опилками полу небольшие сугробы. Вокруг валялись обломки железных кроватей, стоял полуразвалившийся сундук и какая-то иная металлическая рухлядь, деревянную начали уже жечь соседи. Сбоку виден был проход еще дальше, там тянулся «чужой» чердак.

— Пойдем вниз, — коротко и злобно сказала она.

Он покорно отозвался: пойдем. Ему было отвратительно на душе до того, что он внезапно как бы лишился речи.

В темноте, осторожно, они стали спускаться. На повороте Александру помстилось вдруг, что там внизу их поджидает кто-то.

— Ну что еще?! — спросила она, натолкнувшись на него.

— Подожди. Эй, кто там?!

— Да чего там кто там, — передразнила его снизу соседка, тетка Анастасия по голосу. — Привел жену, а нам не покажешь. На чердак повел.

Она была внизу не одна: рядом с нею Александр различил двух других соседок: Татьяну, квартирную парию, и Зинаиду Ивановну, пожилую бабу, знаменитую тем, что, прожив в Москве пятнадцать лет, она так и не выучилась ни читать, ни писать и без посторонней помощи не умела набрать номер телефона.

— Да-а, — пошутила Зинаида, — на чердаке тебе теперь что делать? Ты сам в своих комнатах себе хозяин. Это когда родители дома были, иное дело! — И, захохотав, она толкнула в бок Таньку.

Тетка Анастасия и Танька засмеялись.

— Ну, давай, показывай невесту-то. — Анастасия взяла у него из рук свечу и поднесла к самому невестиному лицу.

— Гляди, не спали невесту, — сказала Танька.

— Какая ж она ему невеста, — заметила Зинаида. — Я-чай, расписались уже?

Александр, привыкнув побаиваться соседок и желая как-то скрасить сумрачный женин вид, сказал нарочито празднично:

— Расписались, расписались.

— Поздравляем, поздравляем вас. Живите хорошо, не ссорьтесь. Друг друга любите. Родителей уважайте, — хором заговорили бабы.

Потом наступила неловкая пауза. Стерхов знал, что должен был бы пригласить их выпить, две бутылки у него даже были припасены, не специально для них, но на всякий случай, — жена, однако, явственно и для бабок, потянула его за рукав. И снова он, хотя и был напуган и раздосадован ее поведением, понял вдруг, что это она права, а не он, и что все эти тети Анастасии, Зинаиды Ивановны, Таньки, к которым он всегда, невзирая на то, в ссоре или в мире была с ними его мать, сам привык относиться снизу вверх; невзирая на то, что слышал, конечно, как отец в разговоре с матерью называет их полуграмотными, дикими бабками, сам привык выслушивать их сентенции, — нынче все они стали даже не то чтобы ему ровней, но значительно как-то ниже его. Он внезапно только сейчас сообразил, что это так и есть на самом деле, что они, в сущности, простые, неграмотные бабы, тогда как он... И, стремительно взрослея, он стал думать о разнице их социальных положений, то находя ее меж собой и ими, то теряя вновь, когда его несчастный нищий отец или зачумленная от кухонного чада мать рисовались ему. Все люди, все вещи и все взаимодействия людей и вещей вдруг заплясали перед ним в разнообразных сочетаниях и стали иными. До сих пор все длилось детство. Сейчас оно вдруг кончилось, и другая жизнь, к которой он не был подготовлен ни школой, знать ничего не желавшей

об этой другой жизни, ни родителями, надеявшимися, что она его минует, жизнь с мелочными расчетами авансов и получек, долгами, болезнями детей, соседскими и семейными ссорами, «неприятностями на работе» и прочими неприятностями, связанными с неопределенным социальным положением, вмиг открылась ему.

Меж тем бабы, так и не выпустив его молодую жену из рук, продолжали расспрашивать и разглядывать ее, и Зинаида, держа ее за плечо и тихонько поворачивая лицом к слабому колышущемуся свету, недоброжелательно говорила:

— Ну ты сме-е-лая, в такое время ребенка заводить. Я вот так вот в двадцать восьмом году с ребенком на руках в Москву заявилась! Боже ж ты мой, ни гвоздя, ни стекла! Сестра все писала: приезжайте, приезжайте. А что было приезжать-то?! Лучше бы весь век свой в деревне прожила.

— Ладно тебе, — оборвала ее Танька, — ты всех по себе меряешь. У тебя своя жизнь, у ней своя.

— Ты родителям письмо отослал? — поинтересовалась тетка Анастасия.

— Отослал. — Александр кивнул так же вяло, как минутами прежде кивала его жена. — И письмо, и фотокарточку.

— Отослать-то отослал, да неизвестно, как примут, — вмешалась Зинаида.

Жена опять потянула его за рукав, но в это время входная дверь отворилась. Стерхов уже догадался, кто это: во всей квартире оставалась еще только одна — фельдшерица Полина Андреевна, ближайшее Стерховым лицо в квартире, под надзор которой с отъездом они оставили ключи от комнат и кое-что из имущества, а заодно и сына. Александр, ставший за эти полчаса хитрым и умудренным жизнью, почтительно шагнул вперед к этой смешной, с тщательно уложенными седыми буклями (поговаривали, что у ней парик) старушке, никогда не имевшей никакого влияния ни в их квартире, ни, поэтому, на него самого:

— Здравствуйте, Полина Андреевна. Вот моя жена — Людмила.

— Эх, — сказала Зинаида, едва Полинины шаги затихли на антресолях, — ты опасайся ее. Очень опасайся. Сейчас она Татьяне Михайловне напишет, уж это ты приготовься.

Не попрощавшись, толком ничего не сказав больше бабам, они пошли к себе, в комнаты. Печка, покинутая без присмотра, горела плохо, не успела еще нагреться, и от больших кафельных плит, которыми она была облицована, тянуло затаенным холодом. Александр полез на стул, задвигал заслонкой, схватил кочергу, чтобы шуровать ею в печке, но жена так и не обратила на него больше внимания. Сев на стулья, перед раскрытой дверцей, она смотрела неотрывно в огонь, и, лишь когда долгожданное тепло пробрало первой сладкой дрожью иззябшее тело, она заплакала вдруг беззвучно и сильно, сетуя на свою несчастную судьбу и не предвидя для себя ничего хорошего в этом доме.

-3-

Николай Владимирович и Татьяна Михайловна получили сообщение о сыновней женитьбе в феврале сорок второго года и, возмущенные этой военной скоропалительностью, жену не признали. И донесения интеллигентной Полины Андреевны, и фотокарточка, присланная с надписью «Дорогим маме и папе от любящей Люды», откуда глядела на них с маленьким на широком и простом лице носом девица из пригорода, убеждали их, помимо родительской интуиции, что брак этот — типичный мезальянс, и сын их обыкновенным манером попался.

«Много лет зная Вашу семью, — и в самом деле писала им Полина, — я не сомневаюсь, что Вы не имеете претензии водить дружбу лишь с людьми важными и чиновными. И, мечтая о будущем сына, не рассчитывали приобрести богатую родню, но надеялись лишь, что женится он достойно, если и не так удачно, чтобы поддерживать в старости родителей. Дорогая Татьяна Михайловна, я не имею права скрывать от Вас тот печальный факт, что супруга Шурика глубоко разочаровала меня. Я слишком его хорошо знаю, чтобы поверить в возможность для него счастья с этой женщиной. Не хочу Вас пугать напрасно, но хуже всего мне подозрение, что женщина эта окрутила Шурика из корыстных соображений, из-за жилплощади...»

В совершенном ужасе Николай Владимирович и Татьяна Михайловна хватались от писем снова за фотокарточку, не решаясь ни разорвать ее, ни выбросить, и открывали в лице, запечатленном там, все новые черты порока.

— Что-то есть истовое в ее лице, — говорила младшая дочь, то поднося фотографию к самым глазам, то удаляя ее на вытянутую руку. — Пап, ты не находишь этого?

— Нет, точно есть какое-то кликушество, — соглашался Николай Владимирович. — Боюсь я этого, ох как боюсь. И зачем ему это?!

— Не мог с улицы привести, верно? — говорила младшая дочь, хорошо понимающая юмор.

Глава вторая. 1942 — 1943

-1-

Письмо первое

27 июня 42 года.

Дорогая сестричка!

Последнее мое письмо тебе было с изложением моего нового положения как женатого человека. А теперь не пришлось бы играть обратно. Дело вот в чем. Вчера был в Москве, попал туда самовольно, но все обошлось благополучно, не засыпался. И там поругался с Людой всерьез и надолго, и причем я не жалею об этом, а даже хочу довести дело до форменного разрыва. Признаться, она мне надоела уже, да, видать, и я ей тоже.

Неужели все ваши догадки были правильны, и она вышла за меня, польстясь квартирой? Если бы не ее характер, то с ней жить можно было бы. Конечно, мне приятней было бы иметь не такую жену. Нинка Г. остается для меня в этом отношении идеалом. Как бы мне ни тяжело было, а мне уже тяжело, я все же ни за что не напишу первым и вообще не выскажу желания примириться. Или она должна примириться первой, или развод. Только чтобы не получилось так: развестись развелся, а она возьми да и останься жить на вполне законном основании. Вот будет ужас — мать сбесится.

Пока что ничего не ощущаю, т. е. не болею сердцем. Может быть, это пока дело не зашло далеко, но это факт.

Вот какие дела. Остальное по-прежнему. Жду у моря погоды. Может быть, скоро наше положение прояснится. Ну, до свидания.

Твой брат Шура

Письмо второе
18 августа 42 года.

Мама!

Признаться, долго вам не писал, что-то не было настроения, но сейчас есть что писать, и очень много. Дело в том, что я был у нас на даче в поселке «Путь» и мне тяжело писать об этом посещении тебе, так как я сам был расстроен зрелищем нашей разрушенной и растащенной дачи. Да, к сожалению, это факт. Все сломано, исковеркано и растащено. Осталась только крыша, часть стены, забор и тот утащен. У меня сердце кровью облилось, как я увидел это разрушение. Рушат дома только тех, кто, я так полагаю, вроде нас, не может вступиться, потому что живут не в Москве. Тебе, если бы ты смогла приехать, удалось бы отстоять остатки, и мы как-нибудь реставрировали бы их.

Был я там вместе с Людой. Получила ли ты ее фото, она отправила уже по счету второе? А потом я хочу тебе написать о твоей нетактичности по отношению к Люде. Хочешь обижайся, хочешь нет, но я был этим удивлен, если не сказать больше. Ей-богу, я этого не ожидал. Мне и Люде ты пишешь, чтобы она взяла кой-какие вещи у Полины Андр. и отправила их тебе, и негодуешь, что она их долго не высылает, хотя и живет у нас и т. д. А Полине пишешь, чтобы она из твоих вещей не давала Люде ни одной тряпки, так как ты не знаешь, кто она такая и пр. и пр. И вот Люда приходит за вещами, а та ей, конечно, со злорадством показывает твое и Катино письмо и добавляет от себя несколько сентенций о том, что постороннему человеку и тем более именно ей нельзя давать вещи во избежание, ну и т. д. Я хорошо представляю себе самочувствие и настроение Люды после этого, уверен, что и папа поймет и оценит ваше милос с Катей поведение. Мне было страшно неудобно и стыдно перед Людой, и за кого? За свою мать. Ей-богу, так не поступают даже с незнакомым человеком, как ты поступила с женой твоего

сына. Ты жестоко обидела Люду и, главное, незаслуженно, очень незаслуженно. И я, который всегда находил оправдание всем твоим поступкам, на этот раз был вынужден молчать, ибо я осуждал свою мать. Извини, что это письмо получилось таким, но мне не хочется видеть тебя неправой. Я так мечтал, чтобы ты с Людой как-нибудь сблизилась, и вдруг такой случай.

Дорогая мама, в дальнейшем поступай как тебе хочется, но лучше вообще забудь о Людином существовании, только не нужно обижать. Мне горько писать тебе об этом, но я вынужден.

Вот вроде и все. Как твое и папино здоровье? Как поживает Катя? Я ей на днях напишу.

Шура

Папа! Извини, что долго не писал, зато сегодня расписался за все разы.

Внимательно прочти мое письмо, и я уверен, что ты встанешь на мою сторону. Мое положение пока без перемен, т. е. живу неплохо. Хочется, как никогда, увидеть тебя и о многом, очень о многом поговорить с тобой. Боюсь, что нам, если ты в сорок втором не приедешь в Москву, уже не придется увидеться вообще. Когда же ты выберешься? Мне очень хотелось бы, отправляясь к дяде Саше, увидеть тебя напоследок. Ничего, однако, не поделаешь.

Будь здоров. Береги себя и маму.

Целую крепко.

Твой Александр

P. S. Мне очень хотелось бы получить твою и мамину фотокарточку. Снимитесь и пришлите мне, я вам вышлю свою через месяц. Пожалуйста, выполни эту мою просьбу.

А.

Письмо третье

1 сентября 42 года.

Дорогие!

Вчера получил ваше общее письмо. Большое спасибо вам за поздравления и пожелания ко дню рождения, они немного запоздали, но это не суть важно.

Встречал я его в Москве с Людой. Дела мои по-прежнему, т. е. плоховато — нет определенного занятия, а это очень погано — чувствовать себя между небом и землей. Что будет в дальнейшем, не имею понятия. Очень бы хотелось, чтобы двадцать третий год моей жизни был более счастливым, чем двадцать второй. Ведь за этот год я столько ударов принял на свою голову, что приходится удивляться, как я все это вытерпел. Мне хочется, чтобы это все поскорей кончилось.

Мама не совсем справедливо упрекает меня и Люду в невнимательности, совершенно забывая, что я служу в армии и не могу свободно

распоряжаться своим временем, а Люда до недавнего времени работала по 10–12 часов в сутки и сильно уставала. А кроме того, на вещах, которые находились у П. А., лежало материнское «veto», запрещавшее давать вещи Люде, так как якобы неизвестно, кто она такая. А теперь мать снимает свой запрет и негодует на нашу медлительность и невнимательность. Все это можно устранить, если мама не будет так заметно высказывать свое недоброжелательство к ней. Вообще говоря, мне многое приходится регулировать благодаря маминой и Катиной нетактичности и П. А. болтливости. И я был бы очень рад, если бы папа приехал, он бы мне сильно помог.

Ну, вот вроде и все. Целую вас всех крепко. Пишите чаще.

Ваш Шура

Четвертое письмо, в котором сообщалось о рождении сына, не уцелело, — видимо, разорвал его в приступе гнева осчастливленный дед.

Письмо пятое

29 ноября 42 года.

Дорогие мои мама, папа и сестренка!

Ну, как живете? Скоро ли отчалите в Москву? Между прочим, я сейчас от вас ближе, чем раньше. Может, судьба устроит так, что и свидимся. Верно?

Я жив и здоров, за трое суток проделал пеший марш в 250 км, конечно, сильно устал. Ноги разбиты в кровь, в общем, вы можете себе представить, как устают люди, прошедшие столько пешком. А главное, мне не пришлось спать, так как на привалах надо было устроить людей, и только по прибытии на место я малость выспался.

Зато научился ездить верхом, ведь вы знаете, что я раньше в жизни не садился на лошадь, а теперь езжу, как Буденный, только сбита ж...

Видишь, как стали бить фрицев и у Сталинграда, и на Центральном, скоро и наша дивизия будет делать прорыв фронта, вот, может, и услышите обо мне. Конечно, летом бы лучше, так как сейчас в холоде в степи чуть подранит, и замерз. Но фрицев надо гнать, время не ждет, а потом, немцы не отлили еще ни снаряда, ни бомбы, ни мины для меня.

Должен сказать вам, что иду на фронт со своими верными друзьями-товарищами. Мы вместе служили и теперь будем воевать вместе. Они многие москвичи, а один из них, Сережа Павлов, человек прекрасной души, живет возле нас, у Новинского бульвара. Мы обменялись адресами на тот случай, если что-нибудь с кем-нибудь произойдет. Ребята всегда сообщат. Вот вам адреса, на всякий случай, прилагаю.

Людке отослал немного денег на обзаведение для пацана. Писем ни от кого не получаю, видать, вы ленитесь писать.

Ну, бывайте здоровы, пишите чаще. Целую и обнимаю вас крепко.

Ваш Шура

Письмо шестое
4 декабря 42 года.

Дорогие, любимые!

Через час в бой!

Вот и хочу написать всем, может, в последний раз.

Мы, гвардейцы, должны прорвать вражескую линию обороны, а дальше будут действовать другие части. Враг стоит на правом берегу Дона с июля с. г., укрепился здорово, выбить его из укреплений — тяжелое и трудное дело, потому и пишу вам — прощайте!

Тяжело и больно писать вам такие вещи, но вы понимаете, что это правда, а лучше правды нет. Так что живите, не забывайте Людку и сына, вспоминайте меня.

Я ей не пишу, неохота, да и времени не хватит: надо подготовиться, чтобы недешево продать свою молодую жизнь поганым фрицам. Но вы все же пишите, так как я просил друзей отправить вам письмо в случае моей гибели, да и, может, меня не убьют.

Целую и обнимаю вас крепко.

Ваш Александр

Письмо седьмое
31 декабря 42 года.

Дорогие мои!

Поздравляю вас с Новым годом. Думаю, он будет счастливее, чем прошедший. Может, в сорок третьем и увидимся.

Я сейчас болею цингой, распухли десны, шатаются зубы, язык не умещается во рту, совершенно из-за этого не могу говорить, но, несмотря на это, остаюсь в строю и воюю. Эх, дорогие, если бы видели, как вчера нас — тридцать человек, засевших в трехэтажном доме, атаковывало шесть немецких танков и до батальона пехоты! Я думал — конец, танки бьют термитными снарядами, все горит, а мы бьемся и отбились, сожгли три их танка, расстреляв человек 200 немцев.

Кончаю писать. Подробней напишу, видать, когда ранят и отправят в тыл, в госпиталь.

Целую крепко. Шура

Письмо восьмое
13 января 43 года.

Дорогой папа!

Из письма Кати узнал, что ты 24.12.42 г. выехал в Москву. Очень рад за тебя. Может, вскоре удастся перетащить маму и Катю. Я от вас не получал писем несколько месяцев, и вот только сегодня принесли письмо от Кати. Меня интересует, как ты нашел Люду и как вы там живете. Боюсь, ты будешь мерзнуть, так как не уверен, что дрова завезли. Но хорошо, что Люда и покормит тебя вовремя, постирает белье и т. д. Как тебе понравился Митя?

Я нахожусь сейчас при санроте, контужен, оглох на правое ухо совершенно и, вероятно, буду хромать — вышибло правую ногу из сустава в колене, нога не гнется, ну да это не беда, голова цела. Ведем бой уже 1/2 месяца за ст. Чертково, которую по газетам заняли 28 декабря 42 г. Крепко окопались немцы, почти все СС-овцы, которые решили биться до последнего, но капут им скоро так и так.

Как тебе понравилась Люда? Ругни ее хорошенько — я не получал от нее писем, как уехал из Москвы.

Ну, будь здоров.

Твой Шура

Письмо девятое

20 января 43 года.

Мама!

Ну, как у вас дела? Как с отъездом в Москву?

Приехал уже папа в Москву или нет?

Я писем ни от кого не получаю, от тебя получил только одно за все время да от Кати одно. Чем объяснить ваше молчание, не пойму.

Я все жив и здоров, гоним немца по Украине, как зайца, может, скоро и кончится война. Итальянцы уже не хотят воевать и сдаются пачками.

Ну, до свидания, дорогая. Целую тебя крепко.

Твой Шура

Письмо десятое

26 января 43 года.

Дорогая мама!

Получил от тебя письмо, которое вы с папой писали 29 ноября. Ты, пожалуйста, пиши поаккуратней и, главное, почаще. Ведь письма для меня единственное развлечение.

Три дня назад заняли город Старобельск, а сейчас продвинулись уже вперед км на 30—40. Немцы тикают на машинах, а итальянцы пешком. Очень уж они друг друга ненавидят — немец не пускает итальянца в хату обогреться. Население обобрали дочиста, а молодых ребят и девчат угнали в Германию. В общем, жизнь, как детская рубашка...

Как доехал папа? Что пишет Люда?

Ну, целую, пиши.

Твой Шура

-2-

Как раз в том феврале 1942 года Николаю Владимировичу исполнилось пятьдесят пять лет. Он получил образование еще до революции и служил теперь по юридическому ведомству, экономистом, слывя там работником способным и трудолюбивым, но чрезмерно скромным; как говорили — себе во вред. Действительно, сколько ни называлась его

кандидатура при различных назначениях и перемещениях, сколь хорошо к нему ни относились бывшие его подчиненные, сделавшиеся теперь большими начальниками, во мнении высокого начальства ему всегда чего-то все-таки недоставало, и он неизменно ухитрялся остаться в тени, обманув надежды жены и симпатизировавших ему сослуживиц, находивших, что Николай Владимирович слишком уж мягок, добр, не может закричать, топнуть ногой, предпочитает делать все сам, а не просить подчиненных, что в такое время, когда в руководителе хороши только строгость и твердость, он никогда не продвинется. Но он казался на редкость нечестолюбив и лишь иронизировал, когда, соболезнуя, дамы сослуживицы подсаживались к нему поближе потолковать о недостатках конкурента, и шутил точь-в-точь как у любимого им Пушкина старик, «по-старому шутивший, — отменно тонко и умно». Все соглашались, что нынче это и впрямь несколько смешно и что Николай Владимирович — старомоден, но прибавляли — очарователен, и, льстя ему: «Вам бы жить в деликатном осьмнадцатом веке, Николай Владимирович», — избирали его, чтоб утешить, в местный комитет.

Но точно ли он и мягок и скромен, не знал он и сам. В том году он много думал об этом. В какой-то мере причиной тому были внешние обстоятельства: то, что весь тот год ему пришлось разъезжать: то по Оренбуржью, где раскидано было по мелким городкам и станциям их эвакуированное учреждение, то по Сибири даже, куда отнесло от них старшую их дочь, мыкавшуюся там с четырехлетним сыном. Все эти бесконечные переезды начисто разрушили ему сон. Совершая их, — в том, что касалось работы, большей частью вместо кого-то другого (не потому, что ему очень этого хотелось, а, скорее, по слабости характера), — он первые разы нервничал, злился на свою нерасторопность и житейскую неприспособленность, но потом притерпелся и привык проводить полночи бодрствуя, — это, впрочем, с ним нередко случалось и прежде, — предаваясь неясным своим полусомнениям-полумечтам, перебирая свою жизнь, вспоминая чужие, с ней соприкоснувшиеся, и какие-то будто совсем истершиеся из памяти события. Так прошли лето и осень. Когда зимой, в декабре, ему предложили одним из первых возвращаться в Москву, он наружно отнесся к этому так же, как и к обычной поездке, боясь верить, что война уже переломилась, и что не придется больше мотаться взад и вперед, и что он будет наконец один у себя дома. Он ехал без семьи.

Махнув своим рукой, он влез в вагон, мимо теснившихся к подножке отчаявшихся женщин, которых ему было нестерпимо жалко, пред которыми — стыдно, но помочь которым хоть чем-нибудь он был бессилен, и, задохнувшись мгновенно в душном, плотном воздухе, притулился где-то в углу на чьих-то узлах, надеясь только быстрее уснуть, чтобы не видеть этого страшного человеческого смятения, столь явного здесь, на железной дороге.

Вагон был большой, четырехосный, с верхними полками, которые раскрывались надвое, образуя сплошной помост, где возились дети и

лежали, свеся головы или ноги, взрослые. Другие дети бегали, грязные и замурзанные, по вагону, протискиваясь через чемоданные нагромождения, или, пробравшись к окну, дышали на замерзшие стекла. Оттого, что станционные строения застили свет, было сумрачно; несмотря на детей, многие курили, синий дым плавал в казавшемся нескончаемым проходе.

Паровоз дернул, как дергают обычно товарные составы: долго слышался сухой отвратительный перезвон буферных тарелок удлиненного против нормы поезда, потом сильный, с ног валящий удар докатился до этого вагона. Тотчас же раздался крик: женщина на верхней полке неосторожно опрокинула чайник с кипятком, принесенным со станции, и предупреждала соседей. Вода быстро бежала по щели и, достигнув какой-то точки, стекала тонкой, дробящейся книзу струйкой. Бранясь, баба внизу смахивала ее со своих тюков полотенцем. За окном растревоженный войною старый мещанский городок отъехал назад, по обе стороны внезапно развернулась степь, в вагоне стало светло от снега, и все затихло.

Простодушные сыновьи письма с соображениями, которых сын не имел ума хотя бы скрыть до поры до времени от родителей, никак не шли из головы у Николая Владимировича: теперь, когда возможность мирной жизни как будто снова забрезжила, все те проблемы, что стали ни к чему с войной, возникали снова. Сколько он ни пробовал, он не мог прийти к чему-то одному, не мог вполне отдаться какому-то одному чувству. То он страшился, что сын будет неудачником, или что жена настроит его против них, или, что еще хуже, окажется воровкой, как это мстилось иногда Татьяне Михайловне, или заразит его дурной болезнью, то вдруг Николая Владимировича охватывало безразличие, и он, замечая, как вообще непрочны все их надежды, как вообще вокруг всякая жизнь еще висит на волоске, готов был махнуть на все рукой и сказать: «Ах, какое все это имеет значение!» — то вдруг опять принимался сравнивать свою биографию с биографией сына и обнаруживал большое сходство: он был лишь чуть постарше, когда началась та война, но тоже успел уже обзавестись семьей. Но более всего его мучило, что сам для себя он никак не мог определить: хорошо ли он прожил свою жизнь, правильно ли? — а между тем все требовало от него оценить итог. Сомнения же насчет правильности восставали у него потому, что в этот год, не зная, что будет завтра ни с ним самим, ни с его сыном, ни с другими людьми, ни даже со всем миром, он впервые обозрел свою жизнь всю целиком, как бы снаружи, открыл в себе какие-то забытые качества, припомнил старые свои грехи, в чем-то оправдал себя, но не мог не признаться себе, что смолоду по крайней мере хотел прожить жизнь не так, как прожил.

Да, и он смолоду собирался сделаться Наполеоном, а не титулярным советником. Его самолюбие не умерло еще и теперь и готово было уязвиться по ничтожному порою поводу. Что же заставило его перемениться? Когда именно случился этот переход от юношеских надежд к нынешнему состоянию? Что за разочарования сломили его? И как

поселилось в его душе это постоянное беспокойство, беспричинное и бесцельное, не имеющее пред собой реального объекта, это ощущение неустойчивости, непрочности бытия? «Хорошо, — говорил он себе, — сейчас война, и беспокойство мое, и ощущение непрочности — понятны. Но ведь и до войны было то же самое! В чем же дело?» Может быть, в том, что он просто ленив, недеятелен, мечтал быть Наполеоном, а сам всю жизнь предпочитал плыть по течению, отдаваться на волю случая и не делал попыток переломить эту волю, противопоставив ей свою — волю к власти, к успеху? И впрямь: почему он не делал карьеры? — ведь возможности какое-то время приоткрывались. Почему, скажем, не вступал в партию? — ведь ему предлагали (русский, анкета чистая, трудолюбив, исполнителен, умен, морально устойчив). Были у него на этот счет какие-нибудь общие соображения — нет, не было. По ироническому складу ума он подчас с иронией же относился ко многому, что вызывало у остальных прилив безудержного энтузиазма и восторга, но глубоких и твердых убеждений, идей, которые делали бы для него допустимыми определенные шаги, у него, конечно, не было. Так почему же он топтался на месте? Почему люди, те же его сослуживцы, рвавшиеся к успеху и власти, возбуждали в нем — не слишком сильное, но все же — презрение? Почему доставляла ему — опять-таки не слишком сильное, но все же — удовлетворение мысль, что сам он не таков?.. Нет, он не понимал, не познал сам себя!

Многие знакомые без околичностей считали виною всему его ранний и неудачный брак. «Как это Николай Владимирович, человек тонкий и интеллигентный, живет с этой малообразованной и грубой женщиной? — огорчались они. — Ведь настоящая жена и дом поставит как следует, и мужа сумеет направить так, чтоб он быстрее продвинулся, познакомит его с кем нужно, кого нужно примет, а кому нужно откажет... Надо было бы ему другую жену...» Татьяна Михайловна, и правда, после замужества, когда пошли дети, скоро-таки опустилась и перестала следить за собой. К сорока годам нельзя было уже и предположить, какой она была в молодости, чем привлекала она когда-то. Она рано поседела, не отдельными прядями, не кое-где на висках, а как-то сразу, всей головой сделавшись пепельно-серой, под стать своей вечной кофте. Ее редко кто видел иначе, как снующей из комнат в кухню и из кухни в комнаты со сковородами и кастрюлями, угоревшую от кухонного чада, повязанную полотенцем от головной боли. Иногда еще ее видели за швейной машинкой: она подрабатывала шитьем, шила не без фантазии, но не слишком аккуратно, поэтому клиентура не была постоянной. Вообще, как ни странно, Татьяна Михайловна была довольно бесхозяйственна и непрактична, за долгие годы так и не усвоив надлежаще ремесла экономии. Быть может, оттого и сочувствовали ей немногие, а остальных она раздражала своей неопрятностью, своей крикливостью и нелепицей своих предприятий.

Знакомые качали головами в знак сожаления. Напрасно, — сам Николай Владимирович редко опускался до того, чтобы в чем-то винить

ее, а не себя. «Что принес я ей, прежде милой и умнице? — пытал он себя. — Что она видела со мной, кроме вечного безденежья, кроме стирки, стряпни и беготни по магазинам?.. Так нет же, взвалив на нее все это, я сам же позволял себе быть недовольным ею, угрожал ей, что брошу ее и буду жить от них отдельно...» Знакомые (самые доверенные) говорили: «Конечно, это жестоко, но еще более жестоко так губить себя... И затем, помогая ей со стороны, вы принесете ей даже больше пользы, потому что едва будете освобождены от семейных забот, как сразу же сделаете успехи по службе. У вас останется время на самого себя»... Но лишь однажды намеренье Николая Владимировича бросить все и жить от них отдельно было действительно серьезно. Но в тот раз (тогда детей было еще только двое: старшая и умершая потом во младенчестве вторая), едва он начал собирать свои вещи и самые ценные книги, как тяжело заболел, свалился и пролежал около полугода в постели, чуть ли не отдав Богу душу. Тогда Татьяна Михайловна, продав с себя во времена самые крутые почти все до последней нитки да и помимо этого явив достаточно самоотвержения, выхаживала его и кормила только что не с ложечки. Выздоравливая, он сравнивал ее с другими женщинами, добивавшимися его благосклонности, и понял, что вряд ли кто из них был способен на такое. «Оказывается, мне никто не нужен, только пока я здоров, — размышлял он тогда. — А если я буду болен? Как страшно одному, когда болен». Смерть, так близко пронесшаяся возле, его напугала. Не будучи религиозен, он был, однако ж, достаточно суеверен, чтобы связать эти два события, увидеть в них поданный ему тайный знак, и навсегда зарекся помышлять о побеге.

Сейчас, в поезде, Николай Владимирович вдруг подумал, что неоднократно, и тогда, и особенно с началом войны, жалел не на шутку, что вырос в неверии, — ему было бы легче. Он назвал бы тогда свои болезни искуплением, смиренности своей не стыдился бы и знал, что отвечать знакомым на укоры о его жене. Он даже пытался сказать себе иногда, что верит, но следом, тут же, возникало у него некое чувство, всегда одно и то же, которое определить он затруднялся, но которое говорило ему твердо: «Ты лжешь», — и он оставлял свои попытки. «Так уж я воспитан», — повторял он одной близкой своей знакомой, верующей, которая особо трудилась над его обращением. Ему и в самом деле претило серьезно объяснять свои неудачи действием каких-то космических сил, когда проще и прямее (и честнее, главное!) было объяснить их, предположим, скверным воспитанием, ну, отчасти — характером. Да, когда он упорствовал в своем материализме, скверное воспитание становилось у него пунктиком, идеей-фикс. То есть, по его мнению, его беды наполовину, не меньше, проистекали оттого, что не было рядом с ним хорошего наставника и потому он не ведал, где истина, чувствуя, что вот это — не истина, и это тоже не истина, но так и не зная: а что же она такое? Если б у него был кто-то, кто указал бы ему, что хорошо, что плохо, кто избавил бы его от необходимости, теряя время, разбираться во всем самому; пусть даже это была бы женщина, мать, тетка (он рос у теток

лет с шести, после смерти матери, последовавшей скоро за отцовой), но такая, которая сама бы понимала что-нибудь, а не просто повторяла заученное.

Поезд встал. Николай Владимирович потерял было мысль, долго и безуспешно вглядывался в мрак за стеклами, скорее догадываясь, чем видя, что это какой-то глухой разъезд посреди леса, потом поймал нить рассуждений опять и сказал себе то, что не раз уже говорил прежде: «Видит Бог, что если я и жалел когда-то, что не родился дворянином, или вообще в какой-нибудь хорошей старой семье, то это не потому, что я кичлив и хотел бы еще кичиться своими предками, но потому лишь только, что хотел бы иметь возле себя человека с традициями, с достоинством. Такого, который бы незаметно, с детства, научил бы меня правильному взгляду на мир, сказал бы: это дóлжно, этому следуй, а это презирай, не пристало тебе радоваться такому вздору... Вот примерно и все, ведь тут и не надо многого. И пусть бы меня не учили ни языкам, ни истории, ни чему другому, пусть бы даже ничего не говорили, но только чтобы я видел, что эти люди, мои близкие, что-то имеют внутри себя, какой-то стержень, что они в чем-то непреклонны, не сбиты с толку всеми этими событиями, не боятся ответить на недоумение ребенка...»

Николай Владимирович представил себе давно уже знакомый ему в мечтах образ: маленького, серьезного, пытливого мальчика, идеального себя самого, такого, каким он не был, но хотел бы быть. Он ясно видел, как этот мальчик гуляет по лесу, как он читает книжки, как он разговаривает со взрослыми или со своими сверстниками, — обладая словно от рождения некоей волшебной интуицией, позволяющей ему, такому, казалось бы, еще несмышленышу, проникать ближе к сути вещей, чем иному взрослому, и отыскать свое призвание уже с детства, не увлекаясь чем ни попадя, не восторгаясь всем без разбора и не раскаиваясь потом в потраченном зря времени, как это было всегда с ним самим. Знал ли он когда-нибудь похожего мальчика? Или кого-нибудь близкого идеалу, кому завидовал бы, наблюдая исподтишка его жизнь год за годом? Нет, такого человека не существовало: этот мальчик был чистый синтетический образ, мечта, но только мечта очень странная, отличная от обычных людских, ибо обращена она была не как у всех прочих людей — в будущее, но в прошлое. «В юности я мечтал, — усмехнулся Николай Владимирович, — о том, каким я буду, когда я вырасту, а когда вырос, так стал мечтать, каким мог бы быть в юности... Что изменилось? По существу — ничего. Только разочарование, которое прежде являлось регулярно лишь вослед обольщению, теперь сделалось почти непременным...»

Он очнулся. Все вокруг уже спали, только из соседнего отделения, за стенкой, доносился чей-то тихий голос. Прошла проводница, поправляя над переборками тусклые керосиновые фонари, в желтом мерцаньи которых чудилось, что воздух неимоверно сгустился и что глаз воспринимает это. Раскрасневшиеся, тяжело дышавшие открытыми ртами дети зашевелились, потревоженные, в бессознательном своем эгоизме сталкивая с лавки прикорнувшую мать.

«Итак, каково же было относительное содержание моей жизни?» — спросил он себя. На мгновенье ему помстилось, что такого вообще не было, а было одно лишь эфемерное мечтанье, надежда на что-то, в чем-то разочарованье, и так они сменяли одно другое, непрерывно, без промежутков заполняя время. Затем он вспомнил — дети. Однако в эту минуту мысль о них не могла утешить его вполне, потому что в соответствии с ходом своих рассуждений ему надлежало сейчас же ответить: а помог ли он, например, своему собственному сыну приблизиться к своему идеалу, помог ли избегнуть тех ошибок, которых сам не избежал когда-то, и ежели нет, то почему?

Он представил себе свое семейство, всех — одного за другим. Потом пред ним вдруг возникли образы обеих его сестер, Лизы и Оли, и брата Александра, которых, увы, не было уже на свете. Николай Владимирович не мог не подумать в эту минуту, что жизнь их сложилась тоже не слишком удачно и чем-то напоминала его собственную, и дети их напоминали чем-то его детей.

Изо всего клана (если можно было назвать это кланом) выделялся лишь один Мишка Рыбаков, сын сестры Лизы, который еще с младых ногтей обнаружил неслыханную у Стерховых житейскую хватку и жестокость, вплоть до того, что выставил после смерти матери на улицу престарелую двоюродную свою тетку, с детства бывшую ему фактически нянькой. Николай Владимирович пришедшему к ним как ни в чем не бывало племяннику заявил тогда, что тот подлец, выгнал его из дома и даже рассорился с братом, который пытался племянника защищать... Хотя и сам немало поражался, откуда взялась в Мишке вся эта пакость.

Вообще они часто спорили и ссорились с братом в последние годы из-за Мишки. Но ссоры эти не были серьезны и, умирая, брат, будучи холост и сердечно привязан к их семье, оставил им в завещании десять тысяч рублей, неизвестно как им накопленных (почти ничего на себя не тратил, не пил, не курил), — целое состояние... Все семейство Николая Владимировича тогда и плакало, и радовалось, и поминало добрым словом дядю Сашу. Отложив толику денег ему на памятник, они и купили тогда ту злосчастную дачку.

Николаю Владимировичу нарисовался вечер того дня, когда закончились хлопоты с оформлением пая в кооперативе; им разрешили строиться, выделили место в ряду других сослуживцев Николая Владимировича и даже обещали помочь с материалами. Тем вечером, словно в детстве, усевшись все вместе на старом их диване, они мечтали: какой у них будет сад, как они будут качаться в гамаке, разобьют клумбы, как их дети будут бегать по дорожкам. Пришла с кухни мать, ее обняли, втиснули меж ними, зацеловали: «Мамочка, как, милая, у нас все хорошо, правда?» Все шутили, что стали теперь собственниками, что Маркс прав: все зависит от экономики, — что ныне каждый из них ощутил себя свободнее, и новые горизонты раскрылись им. А Анна, вдруг затуманясь, говорила: «Боже мой, как унизительна бедность!» И на нее набрасывались: «Ну, что ты? Нашла о чем вспомнить! Да если мы когда и жили

плохо, то все равно этого почти не замечали, потому что всегда были вместе и поддерживали друг друга!.. Мы не такие, как этот подлец Мишка! Вот, небось, кусает теперь себе локти...» (Это уже кричала, конечно, младшая, Катерина.)

Вообразив себе неожиданно московское свое жилище и себя самого на диване под тогда же прикнопленной фотографией брата, а чуть левее, на полочке, в красном углу, вместо икон, стоял бюстик Пушкина, а справа от дивана — шкафчик с книгами, Николай Владимирович даже засмеялся от удовольствия вслух, потому что книги, или вообще литература, действительно были его страстью, и он даже удивился, как это он мог позабыть о них, задаваясь вопросом о положительном содержании своей жизни. Ему припомнились ссоры с Татьяной Михайловной, когда он растрачивал деньги на книги, припомнились кое-какие, иногда подлинно удачные находки, затем припомнились любимые стихи любимых его поэтов и, наконец, стихи свои собственные, ибо он всегда писал стихи и не прекращал их писать совершенно и по сию пору, хотя теперешние его стихи были, разумеется, уже не те — все больше шуточные, ко дням рождения и другим торжественным случаям дома и на работе. Последнее соображение вновь огорчило его. Настроение его опять ухудшилось, и он подумал, что и сама страсть его к литературе становится весьма специфичной или, правильнее сказать, сомнительной: он все сильнее интересуется мемуаристикой, а собственно романическое волнует его мало и все меньше и меньше. Он в самом деле любил теперь не столько первые, сколько последние тома собраний сочинений, читал какие только попадались юбилейные сборники, знал генеалогические древа отечественных особенно писателей, обязательно любопытствовал, если встречалось ему в книге описание пейзажа: где это, уж не тверское ли имение Н-ых? С. мог жить там летом восемьсот пятьдесят третьего года. Если дан был словесный портрет, то он интересовался всегда: реальное ли это лицо, и узнало ли оно себя в романе, и если да, то в каких отношениях остался с ним автор. Любил он также вникать в чужие дневники и черновики. Прочие обстоятельства, косвенно отразившиеся на процессе создания вещи, как то: семейное и материальное положение, здоровье, степень достигнутой к тому времени известности, — тоже не ускользали от него. Про себя он и раньше догадывался, что это увлечение его не совсем чистого свойства, что для него существенен не один лишь исторический интерес, не столько важно проникнуть через мемуары в чужую эпоху, но преимущественно важно проникнуть в чужую жизнь и сравнить ее с своей собственной. Но и стыдясь своего анализа, он не мог решиться совсем запретить себе чтение такого вида, потому не мог, что всегда (и сейчас, в поезде, тоже) начинал оправдывать себя, и оправдывать удачно, что, мол, честолюбие его на литературу никогда не распространялось, никогда не претендовал он на то, чтоб быть поэтом, не испытывал ни зависти, ни недоброжелательства к другим, успевшим, а значит, имеет право спокойно и непристрастно исследовать их жизнь. Правда, иной раз сомнение: точно

ли он никогда не собирался быть поэтом или писателем и не имел здесь честолюбия, — одолевало его. Он силился вообразить себе то время, когда он юношей делал выбор, но схема этого выбора, все, о чем он грезил тогда, какими рассуждениями руководствовался, как-то истерлись из его памяти. Сам ли он сказал себе, что лучше заняться положительным делом, а талант, если он есть, обнаружится, или так говорил его старший брат, тоже колеблясь, этого Николай Владимирович вспомнить не мог. «Был у меня талант или не был — как это теперь проверить? — улыбнулся он в вагонный сумрак. — Если и был, то от неупотребления наверное уже исчез... Но неужели, — ужаснулся он через несколько секунд, — неужели я тот самый ленивый и лукавый раб, зарывший свой талант в землю?! Всякому имущему дается, а у неимущего отнимется и то, что имеет... Неужели это произошло со мной?!..»

«Нет, — сказал он себе твердо: его клонило в сон, он почувствовал необходимость именно сказать себе что-то окончательное, веское. — Нет, этого не может быть! Мой талант заключался в другом. Я призван был прожить жизнь скромно, но достойно, не в обманчивой и призрачной погоне за совершенством. Стремления моей юности были соблазном. Я был глуп, суетен, я не знал как следует, что такое сострадание, — сама жизнь научила меня всему. А если дел моих и не увидало человечество, то ведь и не для себя я живу. Как быть, если мне выпало родиться в такое время? Вероятно, бывают эпохи, когда люди должны лишь молча страдать, а всякое творчество есть лишь ложь и самообольщение»...

-3-

Перед самым Новым годом, на шестые сутки пути, Николай Владимирович возвратился к себе домой, в Москву, где встречали его невестка и внук. Он знал, разумеется, что они там, в квартире, что ему придется жить с ними бок о бок, но ничего конкретного на этот счет в уме не держал, даже не попытался ни разу представить себе, как произойдет их встреча, словно некий охранительный механизм запрещал ему это, оберегая от потрясения. Войдя в дом, он даже постарался, вопреки тому, что решили они с Татьяной Михайловной, быть любезен. Это удалось ему, однако, лишь в первые мгновения. То, что держалась она настороженно, почти враждебно, то, что была, очевидно, непроходимо вульгарна, могло бы отвратить его от нее, но со временем — лишь после того, как он несколько раз объяснил бы ей, что такой быть нельзя. Здесь же он ощутил внезапно настоящую злобу, гнев, и уверен был, что чувства его в данном случае несправедливы, ибо справедливо было породившее их убеждение: именно от этой подозрительной враждебности, именно от этой безнадежной вульгарности так рвался на фронт его сын, именно от этого он там теперь безумствовал и лез под пули. Боясь сперва взглянуть на нее прямо, чтоб не совсем она стала ему противна, сейчас Николай Владимирович взглянул на нее открыто, и тут же, каким-то звериным чутьем, она уловила все, о чем он думал. Они сказали друг другу что-то незначащее, по поводу неотложных каких-то дел, но назавтра уже

не разговаривали вообще. Об осложнениях с сыном он не заботился, веря, что если все же тому придется выбирать меж отцом и женой, сын выберет отца.

...В эту вторую военную зиму и прочие обитатели квартиры потихоньку стали съезжаться. За два года квартира совсем пришла в запустение. От взрыва бомбы, упавшей неподалеку, треснула стена, весь дом немного покривился, и, чтоб он не рухнул совершенно, со двора, рядом с парадным крыльцом, возвели тройной контрфорс из толстых бревен, о который теперь всегда спотыкались, ворочаясь поздно домой. Однако опасность, что весь дом может вдруг упасть, и не представлялась никому особенно реальной — гораздо хуже считалось то, что пол в кухне, и прежде всегда осклизлый возле раковины, нынче стал угрожающе покатым. Как раз перед приездом Николая Владимировича старик Фролов, умываясь, на этом месте упал и сильно рассадил себе голову. «Хорошо еще, что утром, — вздыхали бабы, — все дома были, а то так бы и лежал, покуда кто не пришел». Не менее страшно прогнило все и в уборной, и вывалились плиты на лестничной площадке, а дефицитных досок, чтоб заложить дыры, было жалко, их берегли на крайний случай.

— Что ж, так и будем, как кенгуру, прыгать? — спросил Андрей-кондуктор, тоже однажды чуть не упав в расселину на лестнице.

— Да, тебе хорошо, над тобой Полина, на тебя не льет, — тотчас же откликнулся другой сосед, Новиков, у которого были, по общему предположению, и доски. — А на меня в первую же оттепель польет так, что и не обрадуешься. Кто мне тогда тазы подставлять будет? Ты, что ли?

— Досками ты крышу не зашьешь, — пробормотал Андрей. — Господи, что за люди?.. Что за люди, а, Николай Владимирович?

— Ну, а что, действительно, дадут его доски? — Николай Владимирович обвел глазами кухню, ужасающе зеленоватый пол, торчавшую там и сям дранку, обнажившиеся водопроводные трубы, кое-как обернутые паклей и бумагой, чтобы не замерзала вода, и обсыпавшуюся холодную печь. — Нет, тут все равно ничем не поможешь, — сказал он. — Дом-то ведь мы не выпрямим. Да и пол даже не перестелим. Потом, быть может...

— А ты думаешь, он сколько простоять может? — неожиданно смешно по-детски встревожился Андрей.

— На наш с тобой век хватит, — засмеялся Николай Владимирович. — Нас с тобой еще по этой лестнице понесут. Еще через эти расселины перепрыгивать будут.

В двадцатых числах января жена Андрея, тетка Анастасия, как и муж ее, расположенная к Николаю Владимировичу, принесла ему от домоуправления талоны на дрова, а седьмого числа, в воскресенье, накануне его дня рождения, пришла машина с дровяного склада на Молчановке. Весь день во дворе мужчины мерили кубометры железной меркой и таскали дрова, а женщины на кухне первый раз после такого перерыва разожгли общую плиту и, — благо, всем надо было, — принялись варить, жарить и стирать белье.

В мирное время дрова держали в подвале или, частью, на чердаке, а теперь несли в комнаты и складывали за шкафами и только в исключительных случаях — в коридоре, в нишах меж кухонными столами. Полдня до обеда входные двери то и дело распахивались со скрипом, сначала одна, потом вторая, и в облаке пара, цепляя за косяки, входили мужчины с большими вязанками. Бабы испуганно сторонились, чтобы их не задело, жались от холода к плите и кричали: «Дверь, дверь за собой затворяй, дверь! У-у, черт, шалава, морозу напустил! Танька, б..., да закрой ты за ним дверь!» Застревая и обдирая засаленную до черноты штукатурку в узких проходах, мужчины влачили свою тяжелую ношу дальше и где-то с грохотом сваливали.

Николай Владимирович тоже сам носил свою долю и против ожидания не слишком устал. Может статься, она не была так велика, как раньше. В один момент ему даже показалось, что он способен носить еще и еще, и все так же ему будет хорошо выскакивать на улицу в валенках и старом ватнике, наталкивать в мерку полена, набивая поплотнее, расстилать по снегу веревку и, поспешно, но тщательно уложив ровно столько, сколько можно унести зараз, бежать наверх, а потом возвращаться опять, после тяжести чувствуя в ногах приятную легкость и дрожь.

— Ну как, Николай Владимирович, — подмигивали ему соседки. — Теперя получше будет с дровами-то?! А то, небось, и не был рад, что вернулся?.. Да-а. А нам-то каково здесь было? Вторую зиму щепочками пробавляемся...

— Да у нас-то там не лучше было, — откликнулся Николай Владимирович.

— Это верно, — согласились бабы. — Ты скажи, Николай Владимирович: «Как там ни хорошо, а дома все лучше».

Они все покачали головами в знак согласия, но большого согласия тем не менее меж ними не получилось, и долго еще, проходя взад и вперед по кухне, Николай Владимирович слышал, как они спорят, где было лучше, а заодно, и не должны ли вновь приехавшие теперь некоторое время одни только убирать квартиру, поскольку весь этот год ее убирали оставшиеся. В речах их можно было даже различить какую-то гордость тем, что они никуда не уехали, а оставались здесь, словно бы геройствовать. Николай Владимирович выругался про себя, но не решился встрять в их разговор и отчитать их. Но вздорная их спесь раздражила, очевидно, не его одного, потому что, очередной раз подымаясь по лестнице, он услыхал снизу, как старик Фролов невнятным своим после падения голосом (в квартире считали, что он повредился разумом) цыкнул на них. Напряжение это, кажется, причинило ему боль: когда Николай Владимирович вошел на кухню, тот сидел на подоконнике, поматывая головой, и еще невнятней прежнего что-то мычал, с лицом, выражавшим страдание, и в самом деле немного похожий на идиота. Притихнув, бабы трусливо поглядывали на него и через несколько минут, устыженные, решили вдруг, что надо собраться-то по старинке — и выпить.

— За стречу, за возвращение... — Марья Иннокентьевна, у которой решено было собраться, подозрительно осмотрела Николая Владимировича: не станет ли он отказываться, — и прибавила: — Да и за отсутствующих тоже...

Николай Владимирович отказываться не стал.

Он внес свою лепту деньгами, но к началу нарочно запоздал, чтобы все уже успели выпить и не обращали бы на него внимания.

Ему оставили место. Он сел, отнеся неуверенную тишину в комнате на свой счет, и, ссутулясь, спрятался почти совсем за теткой Анастасией и Анной Фроловой, от которой пахло недавно оконченной стиркой.

— Ну что? — спросила его Анастасия, не удовлетворенная давешним разговором о жизни дома и в эвакуации. — Ну что, где лучше-то? До-о-ма! Вот то-то и оно!.. Ох, а как жили, Николай Владимирович! Как жили, не приведи господи. Картошка доходила чуть не ста рублей кило. Масло сливочное — до тысячи!

— Масло? И не видали такого, — вставила Анна, родившая не так давно четвертого. — А мясо я раз покупала, так триста рублей просил мужик.

— Да, ужасно, — Николай Владимирович кивнул. — Как живем, это черт знает что такое!

Сидевший наискосок от них Новиков, сын Марьи Иннокентьевны, услыхав последнюю фразу, перегнулся к ним:

— Ничего, русский народ все вынесет.

Как всегда, у него это было сказано так, что нельзя было сразу разобрать, смеется ли он над этим долготерпением или всерьез восхищается им.

Николай Владимирович и женщины снова одобрительно кивнули, побаиваясь этого человека.

— Вынесет-то вынесет, — вполголоса сказала Анастасия, когда Новиков отвернулся, — а сам, небось, из Москвы пешком ушли с папашей.

— Как же это пешком? — изумился Николай Владимирович. — Не может быть. У него бронь была, наверно.

— Э-э, милый, все может быть. Тут такое творилось, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Девятнадцатого октября, вот как сейчас тебя вижу, так это помню. Как они и папаша их с мешками уходили, помню. Все помню.

— Все равно, у этого-то, наверно, бронь была, — упорствовал Николай Владимирович. — Иначе б его расстреляли как дезертира.

— Это у тебя представление такое, — ответила Анастасия, — потому что ты сам человек подвластный, а он сам себе голова.

Сраженный таким точным и безжалостным определением, против которого он мог бы спорить, пожалуй, с кем-нибудь другим, но не с теткой Анастасией, Николай Владимирович замолчал. Их разговор пресекся, и только Фролова заметила еще:

— Вроде бы есть у них бронь, — распространяя понятие «бронь» как бы на всю могущественную семью Новиковых, — мне Марья сказывала, что есть.

В это время за столом вдруг загалдели:

— Марь Иннокентьна, Марь Иннокентьна, Марья! Расскажи про Бугульму-то!..

Марья, низенькая и квадратная, ровесница примерно Стерхову, самодовольно улыбнулась:

— Да я ж сказывала!

— Еще, еще!!!

История про Бугульму сводилась к тому, что в эвакуации, в Бугульме, родственники мужа устроили Марью Иннокентьевну кладовщицей на склад, одинаково продовольственный и промтоварный. «Иди, мол, подкормишься!» — сказали они. Но сначала у нее ничего не получалось — настолько, что она хотела вообще бросить все дело, опасаясь угодить в тюрьму.

— Приняла я, к примеру, восемнадцать кило мяса, это с утречка. К вечеру свесила, — рассказывала Марья Иннокентьевна, — ан, уже семнадцать только! Кило нехватки! А куда оно делось-то? Я и не знаю. Крупу взяла, с крупой обратно история! Мужнин-то брат говорил как: знай, мол, вешай, да не прошибайся!.. А как тут не прошибешься?! Тут того и гляди в тюрьму сядешь!..

Природная сметка, однако, помогла ей. Освоясь к тому времени в городишке, она пошла на поклон к одному, как она определяла, «опытному человеку», и тот, в самом деле, выучил ее всем приемам и все «тонкости», какие сам знал, показал без утайки. «Мясо, — учил он ее, — мокрыми тряпками укрой, хлеб — водой сбрызни. Ежели компот из сухофруктов у тебя имеется, водой сбрызгивай регулярно...» Научил обращаться с весами и, главное, преподал, что за большим прибытком гнаться не надо: «В этом деле копейка свой прибыток дает...»

— Верно, верно, курочка по зернышку клюет, — поддакивали бабы.

— Ничего, была у воды и не замочилась, — гордясь за подругу, воскликнула Зинаида. — Четыре ревизии пережила, комар носу не подточил.

— Мань, Мань, — просили бабы, — ты разобъясни, как материю режут-то.

— Да ведь я объясняла уже, — удивилась Марья Иннокентьевна. — Материю режут так. Она сложена напополам в штуке-то, с одного края каемочка. Каемочка не растягивает, а аршином мериют с другого края, где тянется. Натягивать посильней надо. Глядишь, метра два на штуке и сэкономишь. Это меня тоже старик выучил. Своим-то умом рази до всего дойдешь.

Женщины снова были изумлены, и самая глупая из них, Валька, капитанская жена, воскликнула:

— Вот, так они и нас обжуливают!

Сказано это было отнюдь не в порицанье Марье Иннокентьевне, а просто от избытка чувств, но на нее ополчились:

— Как же, тебя обжулишь! Ты сама кого хочешь обжулишь! Спекулянтка проклятая, ведьма!

Не видав эту комнату около года, Николай Владимирович огляделся. Почему-то он любил бывать в соседских комнатах, загроможденных старьем, доставшимся после разделов имущества или купленным на Преображенском рынке по случаю: огромными неказистыми шкафами из бывших господских гардеробных, буфетами с затейливой резьбой и буфетами простыми, фанерными, высокими никелированными кроватями, застланными белыми покрывалами. Обилие всяких дешевых безделушек, салфеточек, вышитых или вырезанных из бумаги, обрамленных журнальных картинок и семейных фотографий нравилось ему. Так же примерно было в доме у его теток, и Николай Владимирович теперь так и не знал, чем влечет его к себе эта скудная жизнь вещей: напоминают ли они ему детство или же видит он в них реликты другого уклада, полнокровного, целостного. Однако здесь, у соседей, желая порой восстановить в памяти истершиеся детали, Николай Владимирович стеснялся таращить глаза на весь их утлый быт, стеснялся рассмотреть их обстановку как-нибудь однажды во всех подробностях, к тому же у всех жильцов висели между шкафами ситцевые занавесочки или стояли ширмочки, которые что-то отгораживали. Поэтому всякий раз он старался пройти в комнату немного подальше или стать как-нибудь иначе, и всякий раз открывал для себя что-то новое.

Возле одной из ширмочек он сидел и сейчас, пытаясь сквозь просвечивающую ткань угадать: что там, за ней. Материя пахла чем-то приятным. Он принюхался и вспомнил: еще прежде он обращал внимание на этот специфический запах соседских комнат: то ли пахли старые вещи, то ли цветы в горшках на подоконниках, то ли у многих горели лампадки, то ли, наконец, что хозяева по деревенской привычке, ложась спать, не открывали форточек, и к утру спертым воздухом нельзя было дышать, а стекла запотевали.

Внезапно сожаление, что все то, что его сейчас окружало, не было укладом и не было стилем, а только какими-то ошметками уклада и смешением стилей, дикой сумятицей и распадом, стало острее. Он с новой тоской обвел глазами комнату, различив теперь за занавеской огонек лампадки и затем, — уже специально рассматривая, — на морщинистой, медно-красной, будто летом, шее Марьи Иннокентьевны почерневшую веревочку, на которой, должно быть, висел крестик. Николаю Владимировичу вдруг стало особенно жаль, что все здесь пред ним утратило свою чистую определенность: и крестьяне пред ним — были не крестьяне, и сказки, что они рассказывали, были не сказки, и сам он, — в конце-то концов! — в каком качестве сидел между ними?! Среди прачек, торговок, кухарок или их мужей, пусть более симпатичных, пусть менее, какая разница? Спрашивалось: зачем он здесь, а не в кругу себе подобных? Но, как и сын его годом раньше, он тоже не ведал, кто он таков. Он лишь усмехнулся тому, насколько прежде все-таки было все четче: барин был барином, мужик — мужиком, и интеллигент — интеллигентом, не то что нынче, когда он и сам не понимал, кто он таков, и никто за столом не понимал этого. «Скорей всего, я здесь просто чужак, — сказал

он себе, — несмотря на то, что рос, как и они, среди полотняных ширмочек и ситцевых занавесочек, а жена моя, как и они, кухарка. В этот демократический век не осталось больше ни черной, ни белой кости, остались только чужие и свои». Но, говоря это, он не ощутил в себе той отчужденности, какую должен был бы по своим же словам ощутить. Ее не было, и он даже попытался вызвать ее, но не смог. И он не уловил, почему это так, почему эти люди, бранящиеся и восторженно внимающие мерзкому повествованию своей ловкой товарки, с которой и сидеть-то за одним столом было, казалось, противно совести, все равно, невзирая ни на что, не только не чужды, как он было подумал, но близки ему. Он не мог их ни осуждать, ни презирать, ни весело посмеяться над ними, не мог вообще отнестись к ним просто так. И этого нельзя было объяснить ни тем, что он прожил с ними двадцать лет бок о бок в одной квартире, ни тем, что его жена была, как и они, кухарка, ни тем, что сын его воевал за них, ни даже тем, что с детства его воспитывали в почитании простого народа, — но лишь чем-то большим, значительнейшим, чего все перечисленное было лишь элементами. «У нас у всех одна судьба, — наконец нашел он, снова не вполне веря, что это объяснение действительное. — Одна судьба при всей той разнице, которую каждый из нас видит меж собой и другими. Я тоже принадлежу, как и они, к этому распаду времени, я тоже, как и они, нечто еще промежуточное между тем, что было, и тем, что будет. Я, как и они, — никто. Никто перед какими-то грандиозными мировыми событиями, сущности которых соприкоснуться мы не в силах, и только чувствуем, что они захватывают нас в свою орбиту. Пред ними мы все равны, и единственное желание здесь — прибиться к остальным, не быть вовне. Личная история каждого из нас не важна. Именно, чтобы подчеркнуть мне это, я и помещен сюда, к этим людям, только по видимости мне чужим. Разница меж нами лишь та, что я осознаю все это, а они нет. Мне тяжелее или им?..»

Он запьянел от водки, выпитой на голодный желудок, и с нежностью разглядывал теперь постаревшие, окаменевающие от старости и вина лица соседок (видя в них будто лицо жены, Татьяны Михайловны), их туго заплетенные полуседые косы, уложенные венчиками вкруг головы, поредевшие, аккуратно расчесанные проборы, руки с узловатыми изуродованными пальцами и бесформенные, обвязанные крест-накрест шалями, оттого что изо всех щелей дуло, тела.

За столом прекратили ругаться, но молчали недружелюбно, подъедая остатки селедки и мороженой картошки в мундире, и Фролов, напившийся скорее обычного, однако разума, как стало видно, не потерявший, чтоб загладить перед капитаном, сидевшим тут же, неловкость, получившуюся в отношении его супруги, предложил:

— Ты нам сыграй чего-нибудь, Вась.

Все тоже обрадованно вступили:

— Сыграй, сыграй, чего там!

— Ой, да он не умеет. — Валька, забыв только что перенесенную обиду, покраснела за мужа.

— Да ладно, сыграет как умеет! Мы люди не гордые, чего там! За год разучился, что ли?!

Капитан прежде всегда играл на квартирных праздниках, если только не был в рейсе. За последний год он обрюзг, в лице его появилось какое-то разочарование, и Валька по секрету говорила бабам, что новый большой корабль его «не удовлетворяет». Вздыхая, он сходил и принес балалайку, облезлую и запыленную, и сел в сторонку на сундучок. Валька стала тут же рядом, выпрямясь, как на фотографии, и положив ему на плечо руку, пытаясь другой рукой причесать ему всклокоченную шевелюру. Играл он слабо, школа видна была, но многое стерлось без практики, и он часто ошибался. Для разгона он исполнил «Светит месяц». Его слушали, затаив дыхание, глядя во все глаза, как его заскорузлый короткий указательный палец порхает по струнам. Затем потребовали «Барыню», которую уже слегка подпевали тоненькими срывающимися голосами. Тут ему поднесли рюмку. Капитан хотел было поставить ее на деку и выпить, не касаясь руками, как однажды у него на пароходе пил цыган, — подняв рюмку ко рту с инструментом, — но испугался пролить или, того хуже, разбить хозяйскую рюмку, и, крякнув, махнул рукой и выпил как обычно.

— Ну, что сыграть? — Он был недоволен собой и потому презрителен. — «Ах, вы сени, мои сени»? А плясать кто будет?

— Будем, будем, — отвечали ему, и вправду расступаясь и образуя круг.

На середину выталкивали худенькую Фролову.

— Нет, нет, — закричала, обменявшись взглядом с своим сыном, Марья Иннокентьевна. — Плясать давайте в коридор! А то опять снизу Волковы придут.

Все повалили в коридор.

— Дом-то не развалится? — потревожилась Евгения, библиотекарша-племянница.

Николай Владимирович на миг представил себе, как рушится их ветхий дом, и следом за тем — что вот так же, где-нибудь под развалинами может погибнуть и его сын (ведь писал же он «отбивались, засев в трехэтажном доме»), — с антресолями здесь было как раз три этажа.

Незаметно, как бы для того, чтоб дать место, Николай Владимирович отступил назад, в темноту, и скользнул к своей двери. Людмилы не было. Он накинул крючок и прилег на диван, но сейчас же поднялся снова и развернул карту. Прямая Чертково — Старобельск шла чуть южнее Харькова, и не нужно было быть стратегом, чтобы уразуметь, что они, то есть войска, в которых был его сын, пойдут на Харьков, не минуют его. Под Харьковом еще в мае прошлого года было предпринято неудачное контрнаступление, о котором Совинформбюро, в надежде повлиять на англичан и американцев с открытием второго фронта, сообщало очень подробно, но о котором еще больше ходило слухов, сколько там погибло людей. Новому сражению нехорошо было иметь такую предысторию. Николаю Владимировичу нарисовалась битва, неосмысленная и беспо-

рядочная, как драка, из тех битв, где ни широта маневра, ни случайность не определяют исхода; разведка знает все о противнике, тылы обеспечивают подвоз продовольствия и боеприпасов, резервы вводятся, — все впустую. Все пропадает незамеченным, как в прорву. Войска, сошедшись лоб в лоб, истощенные до предела, захлебываясь в крови своей и чужой, не могут пройти ни шагу вперед, но и не уступают. Все решает выносливость, но особого толка — выносливость в крови... Так мог ли он судить: даром ли эти жертвы? Мог ли он судить тех, кто послал туда, на эту бойню его сына, когда, быть может, только тогда и выигрываются войны, когда полководцы достаточно смелы и жестоки, чтобы послать разом на гибель триста тысяч человек?!.

Он включил репродуктор. Передавали сводку. Бой шел почти у Харькова. «О боже! — воскликнул Николай Владимирович. — Но ведь там мой сын!.. Почему именно мой, почему именно там, в городе?!» Он сознавал, что несправедлив, что, в конечном счете, у всех дети были там или в другом месте, ненамного лучшем, но от выпитой ли водки или просто под воздействием минуты настроения он уже желал быть несправедливым, не слушаться рассудка, упиваться своею несправедливостью. Благие мысли о том, что все равны перед мировыми событиями, и о том, что он не может судить, отлетели прочь. «Мой сын, мой сын!» — повторял он уже бессмысленно, ударяя себя кулаком по колену. В воображении его сын вместе с друзьями, так же как он со своими соседями сегодня, собрался где-то в блиндаже или подвале выпить, вспомнить старину и повеселиться немного. Александр сидел в ватнике, накинутом на плечи, с папиросой в зубах и смеялся, иногда морщась и мотая забинтованной головой, как старик Фролов; видно это было так отчетливо, что Николаю Владимировичу захотелось представить себе также и тех, кто сидел рядом с его сыном. Какое-то мгновение он был уверен, что ему удастся это сделать, но пред глазами встала только бумага, где были написаны их адреса, и, привстав, он потянулся к висевшему в головах у дивана старому портфелю, где между других драгоценных вещей — облигаций, счетов за квартиру, писем и документов — хранилась и эта бумага.

От слабого толчка портфель не соскочил с гвоздя, а только закачался, и нужно было толкнуть его еще раз. Тут в дверь кто-то дернулся, сперва будто нечаянно и спьяну, потом второй и третий раз уже явственней. Николай Владимирович решил было, что это Людмила, но мужской голос закричал:

— Николай Владимирович, открой! Спишь, что ли?

Это был теткин Анастасиин Андрей, повадившийся с приезда Николая Владимировича ходить к нему пить чай вечерами. Он приходил, иногда сидел молча и быстро уходил, если видел, что Николай Владимирович не в духе, но чаще всего ему удавалось разговорить хозяина, который скоро начал ловить себя на мысли, что прежде ни с кем, кроме покойного брата, не разговаривал так много и так связно. Точнее, никому не излагал так последовательно своих размышлений, как этому бессловесному Андрею, вряд ли понимавшему и половину из того, что

исходило из уст Николая Владимировича, или понимавшего по-своему. У этого удовольствия, какое он получал от бесед с Андреем, была, однако, — Николай Владимирович знал это, — еще подоплека, та, что он почти не умел рассуждать сам с собою, в одиночестве: он больше грезил, и невысказанные вслух и незаписанные выводы его обычно забывались. Записывал же он что-нибудь очень редко, и, в основном, все блестящие мысли или логические конструкции, которые он помнил за собой, являлись ему среди разговора.

— Так ты что, спал что ли? — спросил Андрей, садясь к столу и пробуя ладонью, горяч ли чайник. — А то я пойду, тоже спать лягу. У меня от их крику голова трещит.

За дверью, в коридоре, действительно слышен был уже топот и со взвизгами хоровое пение:

А у милашечки в светелочке лампадочка горит!
Она ребеночка качает и меня благодарит!

— Вот, много ли людям надо? — сказал Андрей. — Вчера думали, что помираем, свет был не мил, а сегодня такое веселье пошло, что и помирать не надо!

Он покосился на развернутую карту на диване и, вероятно, догадываясь, о чем без него тосковал хозяин, подстраиваясь под его настроение, покачал головой:

— А ведь это еще не прошло, верно, Николай Владимирович, а? Надо бы нам быть серьезнее...

— Ты знаешь, Андрей Евлампиевич, — сказал Николай Владимирович, вспоминая, что тот с теткой Анастасией бездетен, — я сейчас впервые жалею, что у меня есть дети.

— Вот как? — Андрей хмыкнул неопределенно.

— Представь себе. Я всегда, как и все, конечно, полагал, что дети — это счастье, дети — цветы жизни, утешение в старости, ну и так далее... Но теперь я вижу, что это глупо. — Николай Владимирович почувствовал, что и впрямь начинает верить в свои слова. — Ведь я же не могу защитить своих детей?! Я дал им жизнь, я оставил часть своей жизни в них, но сделать им жизнь счастливой я не могу! Как не могу их спасти от невзгод, от несчастий, от смерти, наконец.

— Зачем им умирать? — заметил Андрей.

— Зачем?.. А вот ты знаешь? Был такой римский поэт Овидий Назон. Две тысячи лет тому назад уже. Так вот, он написал однажды, что... вот был век золотой, за ним серебряный, за серебряным, скажем, медный, а наступит когда-нибудь такой век, в котором дети будут рождаться стариками.

Андрей захохотал беззвучно и покрутил головой с выражением, с каким прежде мужики говорили: «Веселый барин!»

Николай Владимирович продолжал:

— Так вот. Мне иногда кажется, что этот век уже наступил. Что я и сам родился стариком уже, да и дети мои испытали за свою недолгую жизнь столько, сколько иному и на сто лет не отпущено.

— Это верно. — Андрей склонил свое лицо, длинное и в крупных, что называется, фельдфебельских складках. — Это верно. Я и сам родился — так как будто все знал! В деревне это быстро! Первый раз это дело сделал, к примеру, так восьми лет еще не было... а может, было, уж теперь и не помню. — На этот раз он захохотал уже по-настоящему, громко. — А потом и пошло!.. Уж на ту войну я пошел — круглый сирота! Все померли! — заорал он, странно воодушевляясь. — Да я и сам чуть не помер, милок, под газовой атакой! Вот как меня немец травил!.. Эх, да что говорить, разве это жизнь: подай, принеси, сортир почисти! А у меня, может, внутри весь организм отравлен еще с той войны?! А я туда, я сюда, туда — сюда, с поезда на поезд, дома я ведь не живу, Николай Владимирыч! Ты говоришь: детей у меня нету... А они, может, и были бы, дети, да только: я приеду, а у ней... Приеду другой раз — опять невпопад. Это не жизнь, скажу я тебе, это собачья жизнь!..

Он пьяно заскрипел зубами, глотая слюну и свирепо хрипя, но Николай Владимирович перебил его, сам поддавшись очарованию этой хмельной откровенности и желая от него выведать нечто:

— Скажи, Андрей Евлампиевич, а ты задаешься когда-нибудь таким вопросом...

Андрей не разобрал:

— Что, что?!

— Я говорю: задаешься ли ты когда-нибудь вопросом: а что будет со мною дальше?.. Я не имею в виду ни смерти, ни загробной жизни, вовсе нет. Но в самой жизни, в ее течении, принимаешь ли ты жизнь как нечто данное, то есть не помышляешь о ней далее очередного, непосредственного шага: пойти туда-то, сделать то-то, — или ты загадываешь, что с тобою случится, допустим, через год, каким ты станешь через несколько времени, что будет с людьми тебе близкими?..

— А что загадывать-то, все равно не угадаешь.

— Это-то верно, но вот я, например, всю жизнь лишь об этом и думал.

Андрей изобразил деликатно удивление, но явно сомневался.

— Нет, правда, — подтвердил Николай Владимирович. — Я всегда строил какие-то планы, как я буду жить дальше, на небольшой период, на всю жизнь, так сказать, планы «максимум» и планы «минимум», — пошутил он, становясь самому себе жалок. — Планы, конечно, несбыточные, как потом оказывалось. В радости я склонен был предаваться всяким необузданным мечтам, что отныне вся жизнь моя переменится и пойдет по иному руслу, воображал, как именно это случится...

— Так вот видишь, не случилось же, — вставил Андрей.

Николая Владимировича задела какая-то назидательность в его голосе.

— Почему ты так решил? — спросил он, немного обидясь.

— Ну, это ты не говори, — Андрей засмеялся хитро, и в самом деле несколько торжествуя. — Сам знаешь, что не случилось!

Этим он сразу же сделался Николаю Владимировичу неприятен.

Николай Владимирович подумал, что, в сущности, они сейчас разыгрывают какую-то комедию на сюжет «барина и верного слуги», но что

это только спьяну, и ситуация, как и получасом раньше, когда он сидел у Новиковых, ложна: сам он никакой не барин, и Андрей не его крепостной мужик и навряд ли понимает о себе меньше, нежели о нем, — может статься, даже испытывая некоторое своеобразное удовольствие от исповеди Николая Владимировича ему, неотесанному, а после, наверняка, рассказывая о том своей жене, которая сегодня уже сказала что-то похожее на то, что теперь сказал Андрей. У Николая Владимировича в уме составилась картина вовсе невероятная: как тетка Анастасия и Андрей, лежа в кровати, засыпая, обсуждают его, и, оборвав разговор, он поднялся, поставил чайник на электрическую плитку и, прислушиваясь к шуму за дверью, кивнул Андрею суше, чем хотелось:

— Пойдем, посмотрим.

Он поколебался секунду, не прибавить ли, что, дескать, чайник все равно будет долго греться, но, кажется, Андрей все понял и, опять заскрипев зубами, опираясь о затрещавший стол, поднялся тоже.

Николай Владимирович раскрыл дверь и, пропустив его вперед, вышел следом.

— Ха, друзья-приятели! — прыснула где-то Танька.

Зинаида, с багровым румянцем во всю щеку, жестом показала ей: не надо, оставь его в покое.

— Давай, крути дальше! — воскликнула Зинаидина дочь, молодая девка, расплывшаяся раньше времени оттого, что работала в столовой. — Давай, крути дальше! — повторяла она, хотя это была балалайка, а не патефон.

— Девке замуж пора, — заключила Анастасия.

Николай Владимирович вспомнил почему-то, как лет пятнадцать назад Зинаидин муж, теперь давно уж бросивший ее и ставший большим человеком, вытаскивал свою супружницу за ноги в коридор, бия ее смертным боем за то, что она не желала учиться.

— Обожди, обожди! — капитан с широкого, скобленного подоконника погрозил пальцем, заваливаясь то и дело на сторону. — Обожди. Здесь нужно делать вот такой проигрыш:

Девки по лесу бродили,
Любовалися на ель...

— Эх, твою мать!.. — не выдержала Зинаида.

— Тс-с-с! — капитан поднял палец, призывая к молчанию, все притихли, и он протренькал, сколько положено.

— Он, наверно, ничего дальше не знает, — презрительно заметила Евгения-библиотекарша, младшая.

— Я не знаю?! — возмутился капитан. — У нас в деревне было двенадцать наигрышей! Во! Поняла?! Я их вот с такого, — он показал от пола, — вот с такого играл и помню. Большие танцуют, а мы, маленькие, играй! Во как дело было... Вот первый наигрыш, слушай. — Он низко наклонился над балалайкой и мелко затряс грифом. — Вот наигрыш второй... Вот третий...

На четвертом он сбился, не мог дальше вспомнить. Изображая, будто играть ему надоело, он вскинулся и заорал, не в такт ударяя по струнам:

Пришла курица в аптеку
И пропела ку-ка-ре-ку!..

— Перестань, перестань, — строго приказала ему Марья Иннокентьевна, пребывавшая в лирическом настроении. Тоненьким голоском, неправильно, она стала вытягивать про скворушку, который пел в саду и с которым не унимался и Егорушка.

Умильно, слышавши эту песню еще от своих бабушек, остальные подхватили:

Ах-ахти-ахти-ахти,
Ахти-охтюшки...
Оборвал он ей все пуговки на кофтюшке.
Ну что же здесь такого,
Ну что здесь озорного?
Оборвал он ей все пуговки
И боле ничего!

Капитан ухмыльнулся, но перебить их не посмел и лег растрепанной головой на балалайку.

— Трень-брень балалайка, под кустом сидит малайка, — пошутил Андрей, садясь с ним рядом, почти в таком же, как у капитана, только чуть голубее, форменном кителе, и обнимая его за плечи. — Ты сыграй что-нибудь такое...

Капитан сыграл «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и «Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный». Затем бросил и это и, весь погрузясь в себя, стал подбирать какие-то далекие мотивы. Скоро на мотив «Кирпичиков» он нашел свою когда-то любимую и дико и счастливо ощерился сам себе, как мог позабыть ее:

Как заходим в порт, разгружаемся,
Солнце сядет, опустится флаг.
И с веселою мы компанией
Держим путь на ближайший кабак.

Там мы водку пьем, про моря поем,
И красотки танцуют для нас.
Все бы отдал бы за безденежье
И за пару чарующих глаз.

«Безденежье» тут было вопреки всякому здравому смыслу, но капитан всегда пел именно так, как, вероятно, услыхал однажды, свято веря в тайный смысл этих слов, сочиненных неизвестным ему великим поэтом.

— Уводи его, — показала Марья Иннокентьевна Вальке. — Уводи.

Говорят про нас люди добрые,
Что мы много гуляем и пьем,
Но поверьте же, жизнь моряцкую
По морям мы, скитаясь, ведем, —

с особым наслаждением, проникновенно выводил капитан, основной порт которого находился в городе Касимове, а маршрут был до Астрахани.

Бабы давились со смеху:

— Батюшки, ну и ну!

— А ты знаешь, как называлось ихнее село до революции? — в тысячный, пожалуй, раз за эти двадцать лет спросила Анастасия Николая Владимировича.

Зинаида толкнула ее в бок:

— А теперя?!

— Хи-хи-хи... хи-хи-хи... Ой, не могу, и сказать стыдно! Педуново! Надо же такое название, а?! Хи-хи-хи-хи!..

Поп монашенку святую, —

запел капитан им назло, —

Повалил в траву густую!
Скинул ризу, скинул крест...
.....

Глава третья. 1943–1947

-1-

Письмо от двадцать шестого января сорок третьего года было последним. Некоторое время Стерховы надеялись, что по инерции он продолжает писать им в Чкаловск, а там нелюбезные соседи медлят с обратной отправкой в Москву. Татьяна Михайловна написала туда, но те ответили им довольно скоро, что писем не получали. Еще неделю или две положили ждать, уповая, что он ранен, пусть тяжело, пусть лежит в госпитале и не может сам написать, ни даже продиктовать адреса или попросить кого-нибудь, но во всяком случае жив, и не пройдет и двух недель, как все разъяснится. Еще некоторое время Николай Владимирович подозревал, уж не пожаловалась ли Александру на что-нибудь Людмила, в результате чего он обиделся на них и по малолетству решил помучить и проучить молчанием. Это, однако, уж совсем мало было похоже на правду.

— А может, и проще все гораздо, — говорила рассудительная младшая, Катерина. — Это мы тут напридумали бог знает чего, а на самом деле все проще, наверно. Это ведь фронт, передовая, там вполне могут произойти тыщи всяких случайностей, и с почтой, и вообще... Шурка, допустим, написал сразу два письма, и отцу и нам, а машину с почтой разбомбило. Он еще написал, и опять какая-нибудь передряга. Вон, рассказывала же Полина, как у них в госпитале у одного майора представления к наградам и в следующий чин терялись. Командование пошлет, а где-то документы потеряют. Оно пошлет, а где-то опять потеряют. Так ведь то — особая почта, а у нас?

— Да, да, — соглашался Николай Владимирович и кричал Татьяне Михайловне: — Мать, взгляни, за какое число последнее письмо от Шурки?!

Татьяна Михайловна покорно лезла в комод, где в особой коробочке, среди обрывков старых кружев, шелковых лент и прочих остатков своего приданого и нарядов, хранила сыновьи письма.

— Зачем ты их туда спрятала?! — сердился Николай Владимирович. — Дай-ка сюда!

Но прочесть числа он все равно не мог: слезы застилали ему глаза, — а впрочем, этого и не надо было, потому что он и так знал его наизусть.

Присутствие старшей дочери, Анны, мешало ему поверить в счастливый исход. Тем летом под городом Омском у нее умер муж. Анна всегда была скорей от природы печальна и славилась своей правдивостью; теперь перенесенное горе и совсем отучило ее притворяться. Николай Владимирович сравнивал двух своих дочерей и удивлялся сквозь слезы, откуда такая разница. Младшая, склонная к полноте, блондинка, унаследовала неизвестно от кого в их фамилии практицизм, была бойка, отлично училась и порою пугала отца своим чрезмерным благоразумием. Анна была, как он сам, мечтательна и за свою жизнь навлекла немало огорчений сама на себя своею фанатической преданностью близким и почти сумасшедшей готовностью к самопожертвованию. В несчастье, как знал это Николай Владимирович, ее качества были прекрасны и не было человека нужнее ее, но в обыденности ее любовь становилась тяжела и все норовили ее избегнуть, с годами раз от разу заставляя Анну скорбеть о людской неблагодарности.

«Надо быть готовым к худшему», — читалось теперь на ее худом, суровом резковатом лице. «Ты знаешь, папа, — рассказывала она ему както, — я так и вижу перед собой этот сельский погост, край леса, поросший малиной, подсохшую землю, крест с чернильной надписью и увядшие уже цветы, в сердцевине у которых ползают какие-то черные лесные жучки... Так я все это помню»...

— Нет, папа, ты опять плачешь! — восклицала Катерина, становясь перед ним на колени и с силой отрывая его ладони от уткнутого в них лица. — Ты у нас прямо какой-то пораженец! Так нельзя. Давай вместе посмотрим карту.

Теперь уж Николай Владимирович покорно лез за картой. Первый раз Харьков был взят нашими войсками шестнадцатого февраля сорок третьего года. Далее, по смыслу сообщений Информбюро, немцам удалось, собрав на узком участке фронта до двадцати пяти дивизий, организовать контрнаступление в районе Донбасс — Харьков, после чего города Харьков и Белгород были временно оставлены. Вторично и уже окончательно их освободили в августе сорок третьего года.

— Представляешь, что там делалось в эти месяцы?! — Катерина взмахивала руками, изображая словно бы взрыв. Фразу эту неоднократно повторял, утешая жену, и сам Николай Владимирович.

Он кивал:

— Да, конечно представляю.

— Видишь, и Елена Андреевна тоже говорит, что надо надеяться.

Елена Андреевна была мать одного из тех, чьи адреса прислал им сын; у нее бывали чуть не ежедневно. Впрочем, со всеми, чьи адреса были указаны в списке, виделись нынче очень часто: или договаривались встретиться, или случайно встречались в присутственных местах: военкоматах, управлениях, архивах, где часами просиживали вместе, ожидая ответа.

Чудно было то, что никто из них (их детей) не написал с конца января ни строчки, но и похоронная не пришла ни на кого. То ли вправду накрыло их одним снарядом в блиндаже, так что ничего и не осталось, и неясно было тем, кто разглядывал потом это место: были здесь люди или нет; то ли взяли их в плен, или же разорваны были они при штурме поодиночке — ничего не было известно. Кто-то предположил, что они могли попасть в окружение и оттуда уйти в партизаны, но по мере того, как освобождалась территория, и эта надежда исчезала. Но то и дело у той же Елены Андреевны или у кого-нибудь другого из списка появлялись новые идеи, либо их знакомили с новыми людьми, долженствующими помочь узнать что-то, и тогда снова оживали все надежды, снова все с нетерпением ждали весточки, звонили, забегали на минуту вечером и давали телеграммы тем, у кого не имелось телефона.

— Все будет в порядке, — повторяла Катерина. — Ты мне веришь? Ведь всегда, как я скажу, так и будет, а?

Николай Владимирович непроизвольно улыбался. Она обрадованно вскакивала на ноги:

— Вот видишь, вот видишь! Ты уже улыбаешься! Верь мне, все обойдется!

— Я тебе верю.

Успокоенная, она отходила к печке, греясь возле которой, твердила какое-то задание. Николай Владимирович тоже брал со стола книгу, но читать не мог.

— Ну папа, папа! Что это такое?! Перестань сейчас же! — Катерина сама кривилась, готовая разреветься.

Николай Владимирович не выносил плача, женский плач в нем самом страгивал какую-то струнку, и он начинал чувствовать себя где-то на грани истерики. Поэтому и сейчас он не мог пересилить себя и, начиная истериковать, тихо шептал:

— Впустую все это.

— Нет, ты не смеешь так говорить! — ненатурально из-за присутствия Анны, которая, ей чудилось, осуждает ее, кричала Катерина. — Анна, почему ты молчишь?! Скажи что-нибудь. Нельзя же так. Он и маму всю издергал, и нас, и сам весь издергался!..

«О, я знаю цену твоему оптимизму!» — как бы про себя произносила одними губами Анна и выходила курить в коридор.

В начале той зимы, сорок третьего — сорок четвертого года, они жили еще все вместе, то есть Людмила с сыном жила с ними еще (Николай

Владимирович с Татьяной Михайловной и с Анной в первой, проходной комнате, а Людмила с сыном и Катериной — во второй, по размеру меньшей; пятилетний Аннин сын жил неподалеку, у своей тетки по отцу), но в середине зимы положение изменилось, потому что Людмилин мальчик умер, не доживя и до двух лет.

Он вообще рос ребенком нездоровым, систематически простужался, кашлял и переболел, кажется, всеми болезнями. Он с трудом вынес и первую зиму; возможно, что постоянный холод действовал на него все ж благотворней, нежели то неоднородное и непостоянное распределение температур в комнатах, которое установилось, когда завезли дрова. У самой печки, где его купали, была жара, но из окон дуло по-прежнему, и стоило за ним недосмотреть, как он оказывался где-нибудь около окна или, лежа в постели, скидывал одеяльце, и все начиналось сначала, так что и сама Людмила, и Татьяна Михайловна заметно устали и нервничали, не предвидя этому конца. Николаю Владимировичу грезилось тогда, что если б отец мальчика был жив, пусть и не близко, они все, и он в том числе, чувствовали бы какую-то ответственность или, лучше сказать, так объясняли бы себе особую необходимость заботиться о ребенке: вот, вернется отец, а уж мы обязаны представить ему ребенка как следует быть. Но поскольку известия от отца являться переставали и в сердце тайно заползала мысль о его смерти, то эта мистическая необходимость будто отпадала, звено за звеном, и мальчик оставался как бы лишенным покрова и никому не нужен — ни своей матери, потому что оказывался для нее лишь обузой, завещанной ей человеком, которого она едва знала и мало любила, ни бабке с дедом, ибо был еще слишком мал, чтобы походить на их сына, чтобы они могли узнавать в нем уверенно милые черты и чудесно передавшиеся ему, никогда не видевшему отца, отцовые привычки. К тому ж у них был другой внук. Конечно, если б сын вернулся, все было бы по-другому: и невестка примирилась бы со свекровью, и свекровь, хоть и бранилась бы, будучи вспыльчивой и несдержанной на язык, но души не чаяла бы в маленьком, и дед радовался бы внуку и, искупая вину свою перед его матерью, баловал бы его, любя, быть может, даже больше своих детей, видя в нем преемника рода, продолжение своей жизни. Но сына не было, невестка как будто виновата даже была в его гибели (от этой мысли Стерховы так и не ушли), из-за нее якобы он лез под пули и сумасбродствовал, желая забыться, и внук лишился для бабки с дедом всякой прелести.

Незадолго до Нового года, вечером, Людмила собиралась куда-то идти. И она сама, и свекровь считали всякий раз это чем-то криминальным, чем-то вроде измены. Возбужденная донельзя, Людмила прихорашивалась и мазала губы в большой комнате перед зеркалом, хотя тут было темно, но она ждала, не заговорит ли с ней Татьяна Михайловна, тут строчившая на машинке и искоса взглядывавшая на нее.

Татьяна Михайловна и точно не выдержала первой:

— Уходишь? — она придержала рукой колесо машинки. — А с ребенком кто останется?

Невестка сделала такое движение, словно хотела подойти к столу и повиниться, но не ступила и шагу, как, покраснев под пудрой пятнами, сорвалась:

— Я не какая-нибудь!.. Я ребенка с собой возьму!..

В гостях было жарко. В крохотной комнатке набилось много народу, сидели друг у друга на коленях. Мальчик лежал тут же, на кушетке за спинами. И когда из душного, прокуренного помещения его вынесли на мороз, под ветер, он простудился.

Хорошие врачи из детской поликлиники, те, что лечили и его отца, были все, наверно, на фронтах, в госпиталях, — пришла молоденькая, только что окончившая курс девчонка, не сумевшая ничего предпринять, ни даже определить, что у него воспаление легких. В три дня он угас.

Николай Владимирович не мог позабыть тот вечер, когда с улицы (мальчик в тот день был уже в больнице), замерзшая, утомленная холодом, появилась Татьяна Михайловна, но не вошла сразу в комнаты, а стала на пороге. Николай Владимирович недоуменно поднял голову, хотел даже спросить: «Ты что, Танек?» — его первой мыслью было, что случилось что-то с ней самой, и он все не мог сообразить, что же именно. Пока Татьяна Михайловна, как-то вяло шевельнув губами, не произнесла негромко:

— Всё, всё...

— Как? Уже всё? — вырвалось тогда у Николая Владимировича, и этот нелепый возглас вдруг напомнил ему ту детскую игру, в которой нужно было, разделившись на партии и одной из них, спрятав куда-нибудь вещь или загадав какое-то слово, звать другую из соседней комнаты: «Уже всё, идите». — «Как, уже всё? Так быстро?» — спрашивали те, кто отгадывал. — «Да, уже всё»...

Через минуту, столпившись в соседней комнате, четыре женщины плакали взахлеб, обнимая друг друга; потом разошлись, и под конец плакала тихо одна лишь Анна, а Людмила урезонивала ее:

— Ну что вы, что вы, Анна Николаевна. Что вы так убиваетесь? Он и не человек еще был...

И Анна, захлипаясь, повторяла с укором:

— Ах, Люда, Люда!..

-2-

— Ну, что ты скажешь по этому поводу, а, папа?!

Николай Владимирович держал перед собой свежеизмятую сегодняшнюю (за 10 июня 1947 года) газету и не мог прочесть ни строчки, потому что Катерина, навалясь сзади ему на плечи, водила пальцем по строчкам, заранее отмечая то, что, казалось ей, наиболее важного он должен прочесть.

— Подожди, — раздраженно просил Николай Владимирович, — ты так мельтешишь передо мной, что я и не вижу ничего.

— А тебе и видеть ничего не нужно. Тут все ясно. Вот, гляди... Передача всех итальянских граждан происходила по именным спискам... так...

делегация ознакомилась... так... Затем ген.-лейт. Голубев подробно рассказал об условиях жизни итальянцев в советских лагерях... Члены делегации задали ряд вопросов... Вот отсюда. Читай!.. Информировал о положении советских граждан в Италии, объяснил те причины, которые мешают им возвратиться на родину. Вот. По состоянию на 10 июня 1947 года в Италии находится 1124 советских гражданина... В лагерях, состоящих в ведении итальянских властей, Фарфа Сабина, Липары и тюрьмах — 170 человек; проживают на частных квартирах в различных городах Италии — 908 человек; местопребывание остальных 46 человек советским органам по репатриации не известно...

— Ну, что ты скажешь? — спросила Татьяна Михайловна, напряженно ожидавшая, пока они кончат читать.

— Н-ну, что ж, может быть... — пробормотал Николай Владимирович.

— Что «может быть»?! — толкнула его в плечо Катерина. — Может быть, он там на частной квартире, а?! Каково?!

— Я и сказал, что может быть. Все возможно.

— По-моему, — настаивала Катерина, — вполне! Парень он красивый, свободно мог найти себе какую-нибудь итальяночку. — Она засмеялась характерным своим, чуть грубоватым смехом. — Он же блондин, а там блондины редкость: свои-то все больше чернявые. Они, наверно, итальянкам обрыдли знаешь как! А тут высокий, красивый, блондин, я говорю! Ну, представь себе! Ну что ты как мертвый?!

Николай Владимирович представил себе ту Италию, куда в девятнадцатом веке посылали учиться русских художников: лазурное небо с синими облаками, море, гроты, виноградники, — в этой стране не было места его сыну.

— Все мог бы дать о себе знать. — Татьяна Михайловна сердито перекусила зубами нитку, стянув весь шов складками.

Николай Владимирович усмехнулся:

— Нет, уж тут не до писем.

— Конечно, не до писем! — Лицо Катерины стало хитрым и залихватским, как у профессиональной рассказчицы. Она и вправду рассказывала хорошо и понимала юмор, особенно юмор положений. — Конечно, не до писем! Он, скорее всего, себя от счастья там не помнит. Это ж не Людка тебе, это итальянка! Греются там на солнце, купаются в море! Замечательно! Ты подумай: война, кровь, окружение, плен, грязь — столько лишений, и вдруг!.. После всего этого такой рай земной! Где уж тут быстро очухаться? Да и, самое главное, как дать о себе знать? Может, он и пробовал уж сотни раз, да все не выходило? По почте-то не напишешь?! А?!

— Мог бы с оказией передать, — глупо уперлась Татьяна Михайловна и, спохватясь, что не больно много видит вокруг итальянцев, добавила: — Хоть бы и с этой делегацией даже.

Катерина, войдя в раж, не унималась:

— С какой это с этой?! Да ты пойми: делегации формируются в одном городе, а он — в другом. Например, делегация едет из Рима, а он живет где-нибудь в Неаполе, или в этой... Фарфа-Сабине...

Она назвала это красивое сочетание, Фарфа-Сабина, забыв о том, что там лагерь.

— Что за неистребимая веселость, Катерина?! — Николай Владимирович чертыхнулся. — А ты тоже хороша. Дожить до седых волос и так поддаваться на любые выдумки. Наивность тоже, мне так кажется, должна иметь какие-то пределы, иначе это уже не наивность, а идиотизм.

Татьяна Михайловна обиделась. В своих очках с маленькими круглыми стеклами в зыбкой проволочной оправе она выглядела смешной (она надевала очки, лишь когда шила) и в самом деле немного наивной. Николаю Владимировичу сейчас же стало жалко, что он обидел ее и, различив, что она что-то бормочет про себя, вроде: что здесь такого? или что-то в этом духе, он поспешил объяснить свою реакцию:

— А то, что, к твоему сведению, если уж он где-то там, то лучше уж ему сюда не возвращаться!

— Тише, папа, тише. — Катерина оглянулась, боясь, что из-за тонкой филенки двери их могут услышать. — Тише, мы поймем тебя, если ты будешь говорить тише. Совершенно незачем так кричать. Подожди...

По мягким, пружинящим доскам пола в коридоре раздались быстрые, резкие шаги — это была Анна.

— Да, я уже читала, — сухо, с порога предупредила она движение Катерины.

— И что ты скажешь?

Анна пожала прямыми по тогдашней моде плечами.

— Вот-вот, — передразнила Катерина, — от тебя другого чего-нибудь дождешься! Эх ты!..

Однако спорить она с Анной не решилась, а только, убежав в соседнюю комнату, будто за делом позвала оттуда: «Мам, поди-ка, чего скажу!» — зная, что этим наверно заденет сестру больше, нежели словами.

Анна подошла к отцу и села рядом.

— Твоя мать, — съязвил Николай Владимирович, — по недоразумению своему все надеется, что мы — какое-то исключение из общего правила. Ты что, думаешь, она не знает о законе? Знает, великолепно знает, только надеется почему-то, что этот закон ее минует.

Анна кивнула: если б Александр действительно вернулся, то за колючую проволоку угодил бы не он один, ибо закон об ответственности родителей за детей, попавших в плен, реально существовал, о том знали все.

— Да я думаю, что его там и нет. Тысяча человек из миллионов — вероятность слишком ничтожна... К счастью, — тихо добавила она.

-3-

Приютившись рядышком на пыльном вытершемся ковровом продавленном диване, в неверном августовском закатном свете, проникавшем из соседней комнаты через полуприкрытую дверь, они долго молчали, отдаваясь той сладкой атавистической тоске, которая всегда охватывает человека на закате, стоит лишь отрешиться от дневных дел, отложить в сторону книги и уступить зову солнца. Сейчас оно было у них за спиной,

они видели лишь его отблески в дереве стен и любовались печально ими, не смея оторвать глаз, потому что, вследствие какой-то оптической иллюзии, им блазнилось, что эти пламеневшие отсветы не отражения вовсе, но что дерево, подобно раскаленному металлу, само, изнутри себя, создало их. Лишь когда стенные часы с шипением (там имелся специальный флюгерок, нарочито вращавшийся для того, чтоб получалось шипение, — о каковом открытии их в свое время оповестил Александр) пробили восемь, Анна, развлеченная их шипением с боем, спросила, встряхиваясь:

— Ну, хорошо, папа, расскажи лучше, как у тебя на работе? Как дела с аттестацией?

— Да, с аттестацией, — как эхо откликнулся Николай Владимирович. — Боже мой, еще и это!..

Он сжал ладонями свои начавшие западать старческие виски, с горечью ощущая, как то, растворенное в пространстве, блаженное закатное состояние испаряется, а взамен возвращается другое, мелочное и суетливое дневное, и без того уж истерзавшее его.

Частично еще в конце войны и широко после нее, оценив по достоинству всю выгоду воинской дисциплины, единообразия и субординации, Сталин начал проводить реформу гражданских государственных учреждений по типу реформы Петра Великого, известной под названием «Табели о рангах». Подобно Петровской Табели, разделившей всех государственных служащих на четырнадцать классов: от 14-го — самого низшего — коллежского регистратора, и далее, вплоть до 2-го класса — действительных тайных советников, и 1-го класса — канцлеров, — подобно этому предполагалось ввести во всех министерствах, а впоследствии и во всех прочих госучреждениях соответствующие занимаемой должности звания и, равным образом, строгую форму с погонами, кантами, нашивками и шевронами. Каждое ведомство получало свой цвет, имевший градации от нежно-серого у энергетиков до иссиня-черного у угольщиков. Цвет юридического ведомства, где служил Николай Владимирович, был коричневый. Вся эта процедура присвоения чинов именовалась аттестацией. Особенность ее состояла в том, что она шла не сплошь, а как-то выборочно и сверху вниз, и некоторые на работе у Николая Владимировича уже были аттестованы и сшили себе мундиры: китель со стоячим воротничком и узкими золотыми погончиками с надлежащим числом звезд и щитов с перекрещивающимися мечами — символом правосудия. На зиму и осень полагались также шинель или шуба того ж коричневого сукна.

Николай Владимирович с некоторым испугом наблюдал, как сослуживцы его, исключая, быть может, женщин, казались все очарованы прелестями мундира и знаком различия. Не раз за те дни, пока приближалась аттестация, он изводил их шутками об «игралище страстей» (опасаясь, разумеется, сказать хоть что-либо в осуждение реформы), а также тем, что сам умел казаться абсолютно незаинтересованным в деле. Но в глубине души он, увы, знал, что шутка эта относится и к нему самому, потому что не только предвидел множество неудовольствия для своего

развитого самолюбия от неизбежных встреч с теми, кто выше чином, но и опасался еще быть в той или иной мере обойденным, страшился вдруг («что, если всех в отделе аттестуют, а меня еще нет!») остаться так явно белой вороной. Страшась того и успокоительно воображая себя в мундире, аттестованного по форме, немедленно начинал беспокоиться о материальной стороне дела, сулившей не столько выгод, сколько убытков: и материал на китель, брюки, пальто и фуражку, и пошивка всех этих вещей — шло целиком почти за свой счет, и все вместе должно было обойтись в крупную сумму. Правда, этой весной они продали за неплохие деньги остатки полуразрушенной своей дачки вместе с участком, но сумма, которая была вначале, истаяла так угрожающе быстро, что теперь Николай Владимирович не хотел трогать оставленного на черный день куска. С другой стороны, кто-то из их финансистов принес слух, что в высоких сферах решились провести девальвацию, то есть замену денег, обесценившихся с войной, с целью приведения их номинальной стоимости к фактической. Если слух был истинным и это случилось бы, то несколько тысяч, вырученных за дачку, обратились бы, скорей всего, в несколько сот рублей, и семейство, только-только вздохнувшее свободней, стало бы снова нищим. С этой точки зрения хранение свободных денег было безумием, и, раз уж недальновидная операция с продажей дачи все равно осуществлена и потерянного не воротишь, надо было как можно быстрей вложить деньги во что-то еще, например, в тот же мундир, если уж, так или иначе, его надо приобретать. Поэтому Николай Владимирович был кровно заинтересован, чтобы аттестация у него произведена была насколько возможно раньше, так как просто пойти в магазин, купить сукна и начать шить он не имел права: во-первых, все это распределялось централизованным порядком, прямо на службе, посредством так называемых заборных (от слова забирать) книжек; во-вторых, выглядело бы вообще нелепо и недостойно, как извне (если б кто-нибудь на службе пронюхал об этом), так и изнутри, для самого себя.

Помимо всего прочего слух о денежной реформе, несомненно, был государственной тайной, и, если уж тот, кто сказал ему об этом, был болтлив или не боялся получить десять лет тюрьмы, то сам Николай Владимирович не мог себе позволить поделиться с кем бы то ни было узнанным, посоветоваться с кем-то из людей практичных и опытных, какова вероятность того, что так все и будет, и как ему при этих обстоятельствах поступить. В семье вопроса, как поступить, он также не обсуждал, хотя Анна, работавшая в нефтяном Министерстве, была в сходном с ним и даже, пожалуй, в еще худшем положении.

Сегодня он, однако не выдержал и заговорил с ней: таиться он был более не в силах, да и время уже подпирало: назавтра у них была назначена аттестационная комиссия, и если его аттестуют, он должен был знать, что предпринять ему.

— Папа, я ведь очень хорошо тебя понимаю. — Анна ласково посмотрела на него. — Я очень хорошо понимаю, что волнует тебя. Конечно, все это очень унизительно, но что же делать?

— Да, но ведь ты сама не собираешься шить? — Он нарочно спросил без обиняков, грубовато, потому что ее всепонимающий, сентиментальный тон не понравился ему.

— У меня просто нет на это денег, — ответила она.

— Но позволь, те деньги, что остались от продажи дачи, принадлежат тебе в такой же степени, как и мне. Я уже довольно на себя истратил.

— Нет, нет, — она категорично замотала головой, — это совершенно ни к чему. Их все равно не хватит, а в результате мы оба останемся без формы. Да и зачем мне эта форма, зачем мне ходить в кителе и погонах? Я только недавно, всего одну зиму, как сшила себе шубу. Зачем мне снова выкладывать тысячи рублей?!

Николай Владимирович поинтересовался, ходит ли у них уже кто-нибудь в форме.

— Савицкий ходит в генеральской, — стала перечислять Анна, — Петровичев, Квасов...

— А ты сказала у себя определенно, что не хочешь шить форму?

— Сказала, что у меня нет денег. — (Это означало, что она сказала, что у нее нет денег и что она одна с восьмилетним ребенком на руках, — надеясь, что они ей предложат безвозмездную ссуду.)

— А они? — спросил Николай Владимирович.

— А они сказали: мы вас тогда не аттестуем.

Разволновавшись, Николай Владимирович заерзал на месте, безотчетно ударяя по столу.

— Ну и что будет, если тебя по-настоящему не аттестуют? Тебе же придется уйти... И потом, слушай, — он понизил голос, — ведь это государственное постановление. Ты же не можешь выступать против правительственного постановления.

— А я и не выступаю против правительственного постановления, — зло сказала она, серея лицом.

— Да, но твой шаг может быть расценен именно как обструкция. Это очень опасно. Не мне тебе объяснять, какие отсюда могут проистечь последствия.

Анна побледнела еще, но по-прежнему хотела настоять на своем.

— Нет, я все равно не могу себе этого позволить. У меня ребенок, в конце-то концов! Ребенок, которого я должна кормить и одевать! — закричала она. — Я не могу бросаться такими деньгами!

Николай Владимирович поразился лишь тому, что даже такой аргумент, какой он только что привел ей, отступив от своего же слова никогда не говорить с ней на эту тему, не способен переубедить ее, всегда мучимую страхом и ждущую неприятностей из-за того, что покойный муж ее, Дмитрий, совсем мальчишкой еще отсидел по «пятьдесят восьмой статье». «Неужели ж это забота о ребенке произвела такую трансформацию? — Он взглянул на Анну, казавшуюся ему подчас сумасшедшей из-за своих страхов, как-то по-новому, признаваясь про себя, что сам он все-таки никогда б не решился на такое. — Впрочем, это всего лишь неразумно, — тут же поправил он себя. — Если ее уволят с работы и

она месяца два пробегает, пока устроится, как это бывало и раньше, то и выйдет как раз баш на баш, эти самые деньги и уйдут».

— Да нет же, — продолжала меж тем Анна, уже совершенно раздосадованная, — мне эта форма не нужна, не нуж-на, понимаешь?!

— Почему? — преувеличенно удивился Николай Владимирович. — У тебя стройная, хорошая прямая фигура. Форма тебе очень пойдет. Ты ведь любишь быть хорошо одетой. Мне, например, нравится ходить в форме и нравятся женщины в форме.

— Ты совсем другое дело, — пожала она плечами.

— Почему? Почему я — другое?

— Потому что тебе надо получать хорошую пенсию. Ты сам знаешь, какое это имеет значение для пенсии. Поэтому тебе надо сейчас затратить известную сумму денег, сделать, так сказать, известные капиталовложения, чтобы потом они окупились сторицей, чтобы ты не ведал горя всю остальную жизнь. И тебе-то как раз и шла очень форма. Я помню еще, первые мои впечатления были от твоей формы. — Анна воодушевилась. — У нас ведь есть эта фотография, где ты сидишь в мундире, а я у тебя на коленях. Давай найдем ее.

Николай Владимирович попросил:

— Не надо... Извини, просто лень куда-то лезть и искать.

Татьяна Михайловна вошла при этих словах в комнату и долго копалась в буфете, перекладывая мешочки с припасами, желая услышать, конечно, о чем говорят муж с дочерью: она чувствовала, что это нечто важное. Затем, презрительно фыркнув, вышла.

— Скажи, почему мама так не любит меня? Если б мама любила меня, вся жизнь моя сложилась бы иначе!.. — сказала Анна, принявши материнское фырканье на свой счет: должно быть, мать хотела показать, что от Анны толкового совета не добьешься.

— Ты считаешь, что жизнь твоя не удалась? — Николай Владимирович устал и поймал себя на том, что спросил это тем же немного нарочито испуганным голосом, каким спрашивала она его, если он произносил кощунственные вещи.

— А чем она удалась?! — воскликнула возмущенно Анна. — Чем? Что я видела в жизни? Не мне тебе рассказывать, как мы жили. Я вышла замуж, и что же? Три года мы скитались, не имея своего угла, потому что мужу моему запрещено было жить в Москве. Вечно без денег, вечно под страхом увольнения. Господи, пока не забралась в такую дыру, где уж все было безразлично. Я очень любила Дмитрия, ты в этом не можешь сомневаться, я поехала за ним, я разделила его жизнь, не колеблясь... Но когда он умер, я вздохнула облегченно, честное слово. Мы смогли наконец оттуда уехать. Но ведь и здесь я не вижу ничего хорошего! Что меня ожидает в ближайшие годы? Я с ужасом думаю об этом.

— Но ведь тебе только тридцать лет, тридцать лет. Тебе еще очень мало. Ты еще молода, жизнь твоя впереди. — В неверном закатном свете Николай Владимирович попытался разглядеть мелкие дочернины черты, впервые замечая, как низко надвинулась у нее кожа век на внешние

углы глаз, ставшая, почти как у него, дряблой. Вообще с возрастом его любимая дочь становилась все более похожей на него: гуще, в него, а не в мать, стали у нее брови, выпрямился нос, и вся ее фигура, с небольшой головой на наклоненной вперед шее и несколько широкими плечами, была теперь под стать его фигуре.

Однако эта улыбка природы в настоящую минуту не обрадовала его и даже показалась ему слегка ироничной.

— Нет, так нельзя, — возразил он. — Что ж из того, что мать тебя не любила? Зато я тебя любил больше всех и больше всех баловал!

Но Анна упорствовала:

— Нет, ты не представляешь, но для меня материнская нелюбовь имела очень большое значение! Это была первая несправедливость, с которой я столкнулась!..

Николай Владимирович рассердился:

— Ну что за глупости?! Какое это может иметь значение: любила, не любила? При чем тут несправедливость? Какая нелепая у тебя требовательность! С чего ты взяла, что тебя все должны любить? Откуда это следует? Разве у тебя такой обаятельный нрав? Нельзя так высоко заноситься, чтобы считать, что тебя все должны любить...

Он собирался еще прибавить, что нужно быть смиренней, но подумал, что не ее, и так низведенную почти до нуля, учить этому, поэтому сказал только, что применительно к себе самому он всегда руководствовался правилом быть скромнее, смиренней, ибо так легче.

Анна гневно сдвинула брови, но взяла затем себя в руки:

— Я тебя не понимаю, папа. При чем здесь смиреннее? Откуда эта библейщина? Ведь ты не веришь, по-моему, в Бога?

Николай Владимирович замотал отрицательно головой:

— Нет, нет, это здесь ни при чем, — он не убедил ее и поэтому спросил еще: — А ты разве веришь? — хотя и без того тон ее показывал, что она не верит.

— Нет! — В ее голосе прозвучали решительность и еще что-то, чего Николай Владимирович сначала не понял и лишь мгновения спустя разобрал: презрение. — Нет, я не верю! — продолжала она. — Потому что если б Он был, то должен был бы осуществлять одну функцию — справедливость. А что делает Он? За что Он наказывает тебя или меня? Конечно, ни ты, ни я — не совершенства. Пусть. Но ведь есть же и большие, чем мы, грешники. Мы не пользуемся властью, не воруем, не угнетаем своих ближних, не убиваем, и ты и я, мы знаем массу людей, о которых заведомо, безо всякой ложной скромности, можно сказать, что они хуже нас. Даже среди наших знакомых. И, тем не менее, они живут припеваючи. Возьми хотя бы небезызвестную тебе мою золовку. Чем заслужила она такие блага? Тем, что не пустила меня жить к себе, хотя живет одна в двадцатипятиметровой комнате, или тем, что несколько раз выходила замуж, прежде чем остепенилась?

Николай Владимирович не знал, что ответить ей на страстные ее вопросы, и только кивал: «Да, да, я согласен с тобой. Это действительно

так. Вероятно, я употребил неправильное выражение; надо было сказать: не смирение, а твердость. Надо тверже принимать невзгоды. Ты еще молода, у тебя много сил...»

— А если уж ты заговорил о смирении, — нанесла напоследок жестокий удар Анна, — то надо, и правда, давно отбросить ложную гордость и обратиться к Мишке Рыбакову!

Николай Владимирович покраснел и стал смотреть в окно. Мишка Рыбаков, племянник Николая Владимировича, когда-то выгнанный из их дома, окончательно сделался теперь большим начальником по партийной и литературной части, имя его мелькало в «Литгазете», и Стерховы в глубине души жалели, что так опрометчиво рассорились с ним: со своими связями он, вероятно, способен был бы помочь, в частности, при розысках Александра, а то и в каких-нибудь еще могущих возникнуть ситуациях.

— Так что ж?! По-твоему, я не права?! — требовала ответа Анна. — Что ж ты молчишь?! Ты ведь еще весной сказал, что позвонишь ему! Я не напоминала тебе об этом, но сейчас, если ты уж заговорил о смирении...

Николай Владимирович внезапно для себя самого хихикнул, и она воззрилась на него с изумлением:

— Что?!

— Да я... был... у него, — выдавил он из себя.

— Был?!! Почему же ты не сказал нам ничего?! Ты говорил по поводу Шурки?! Он отказался помочь?! Оскорбил тебя?! — крикнула она, догадавшись, и приготовилась уже удариться в слезы.

— Нет, нет, успокойся, — вяло и криво усмехнулся Николай Владимирович. — Он, по-моему, спятил... Он сказал: «А ты знаешь, дядя, что у товарища Сталина старший сын Яков тоже попал в плен?» Я сказал, что знаю, — и что же? «Вот именно, что ничего, — сказал он. — Вы знаете, как ответил товарищ Сталин, когда ему предложили обменять Якова на Паулюса? "Я солдат на генералов не обмениваю!" — Берите, дядя, пример с товарища Сталина!..»

-4-

Утром, по дороге на службу, Николай Владимирович постарался выбросить из головы неприятный разговор с дочерью и целиком предался мыслям о том, какого примерно чина он удостоится и каков будет в мундире. По всем признакам чин выходил ему где-то на уровне восьмого — десятого класса, соответственно старорежимной иерархии, то есть вроде коллежского асессора — коллежского секретаря, что равнялось прежде ступеням, если считать вниз, от капитана и ротмистра до поручика, а нынче от капитана до младшего лейтенанта. В витринном зеркальном стекле он подмигнул сам себе и, оглядывая свою заметно сутулую фигуру, подумал, что китель обязательно плохо сошьют и он будет сзади короче и оттопыриваться хвостиком. «Впрочем, — утешил он себя, — мне некого больше прельщать своей осанкой. Дей-

ствительно, дотянуть бы до пенсии, а там уж моими регалиями хоть ж... подтирай»...

С этими мыслями, машинально раскланиваясь в широком коридоре с полузнакомыми из других отделов, он вошел в свою тесно уставленную столами комнату. Все были уже на своих местах; его стол находился у самого окна, лицом и впритык к столу заместителя начальника отдела, назначенного недавно, снова в обход Николая Владимировича. В комнате стоял крик, — как вник сразу же Николай Владимирович, — всё об аттестации, и Вениамин Вячеславич, так звался заместитель начальника, сидел не на обычном своем месте и не на стуле даже, а на столе, по-мальчишечьи, забыв, что ему пристало держаться солидно и сохранять, как это говорится в педагогике, «пафос дистанции» со своими подчиненными. Общее направление спора насторожило Николая Владимировича: Соленкова, дама, работавшая в учреждении лет пятнадцать и когда-то хорошенькая, а потому имевшая некоторые связи, узнала откуда-то, что начальство не расположено, по меньшей мере сейчас, аттестовывать экономические отделы. Остальные не желали этому верить.

— Конкретнее! — азартно кричал Вениамин, опасавшийся, что из-за того, что он назначен лишь недавно, его могут обойти аттестацией или дать меньшее звание, чем то, какое полагалось ему по занимаемой должности. — Конкретнее! Ведь известно все же, что сегодня комиссия будет!

— Да, будет, но аттестуют очень скромно, может быть, всего лишь несколько фамилий. А прочих — нет, поскольку не выяснено отношение экономических отделов к собственно юриспруденции.

— При чем здесь юриспруденция? — вмешался с порога Николай Владимирович. — Аттестуются служащие определенного ведомства, вот и все. Поскольку ведомство юридическое, постольку все его служащие, до швейцара включительно, имеют отношение к юриспруденции.

Соленкова обиделась:

— Ну вот, вы всегда шутите, Николай Владимирович.

Заикаясь, самый молодой сотрудник их отдела, глуповатый Родионов, спросил:

— Ра-а-азве в ста-а-а-рину ш-швейцары получали чин?!

Другой их сотрудник, Анатолий Петрович Мырков, начавший в последнее время очень быстро продвигаться, так что Вениамин побаивался теперь его как соперника, а все кругом соглашались, что Мырков вот-вот обойдет Вениамина, сказал строго:

— Или мы государственные служащие, или нет! Иначе получится разнобой, беспорядок вместо порядка. Форма на то и вводится, чтобы в ней ходили. А то одни будут в пиджачках, другие в кофточках, третьи в мундирах — это ни в какие ворота не лезет, черт знает что!

Николай Владимирович засмеялся. Мырков взглянул на него подозрительно. У него было характерное лицо, в котором при общей тонкости и хрупкости конструкции чудилось что-то обезьяноподобное благодаря выпяченной вперед грани рта. У Николая Владимировича были

с ним свои отношения. Придя к ним в отдел года за два до войны, Мырков был очень симпатичен Николаю Владимировичу. Николай Владимирович опекал его и образовывал и имел, кажется, на него влияние. Потом Мырков ушел на фронт, откуда возвратился в сорок четвертом году, демобилизованный после ранения. Их дружба возобновилась и продолжалась еще года два, пока Мырков, вдруг что-то там такое решив для себя насчет принципов жизни, не перестал быть мил, повел себя грубо и жестко и из приветливого молодого человека превратился в сущего волка. Отдельские, привыкшие относиться к нему по-свойски, не могли сразу адаптироваться к этой перемене, и двое скоро за то поплатились. Мырков выжил их методично и грамотно: сначала предельно сбавил им нагрузку (что эти дураки восприняли с радостью, как дружескую, свойскую помощь: оба крепким здоровьем не отличались), а потом подсказал начальству, что эта нагрузка и вообще может быть распределена без ущерба меж остальными работниками отдела, и тем подвел своих бывших приятелей под сокращение штатов, — в то время аккурат была кампания. Дальше на очереди у него, конечно, был Вениамин (у Вениамина хоть и была рука наверху, но не особенно крепкая). За Вениамином же мог последовать и сам Николай Владимирович, который хвалил себя теперь лишь за то, что верно уловил еще самое начало перемены в Мыркове и, едва она случилась, стал держать себя с ним подчеркнуто официально, ровно, избегая вопросов и выражений недоумения. Кажется, Мырков сперва оценил его такт, но затем — по мере того, как новизна превращения забывалась, — этого стало мало и требовалось уже, по-видимому, полное, безоговорочное и раболепное подчинение. Поскольку же такового не наблюдалось, то...

— Нет, я целиком согласен с Анатолием Петровичем, — поспешил Вениамин. — Разнобой, беспорядок недопустимы! Но согласитесь и вы, Анатолий Петрович, — он попытался продемонстрировать и свою независимость, — согласитесь, что у руководства могут быть и особые соображения!..

Известие о том, что аттестуют не всех, слова Вениамина об «особых соображениях» почему-то связались у Николая Владимировича со вчерашним газетным сообщением, и он ощутил, как в душе его пробуждаются неясные страхи.

«Что ж это? — спросил он себя. — Неужели я боюсь, что сын мой окажется жив и вернется? Нет, разумеется, нет». Он и в самом деле этого не боялся — он как раз просто не верил в это. Если б его сын вернулся, то все было б, наоборот, очень несложно, и к этому-то он был готов: сын получил бы десять лет лагерей, а он сам с Татьяной Михайловной тоже мог бы отправиться куда-нибудь на поселение, не чая для себя уж ничего в жизни, радуясь лишь тому, что сын жив, и лишь одно соображенье держа в уме: сколько же будет их сыну лет, когда он выйдет, и как он по выходе устроит свою судьбу. Но в то-то все и упиралось, что всерьез он не верил в возвращение сына: вероятность была ничтожна, как сказала Анна, слишком ничтожна после четырех лет. Зато

эта-то ничтожная вероятность делала сейчас положение Николая Владимировича непропорционально неустойчивым. Хотя ему сочувствовали, его жалели, хотя таких случаев, как у него, были миллионы и хотя многие из тех, кто решал его судьбу, сами воевали и, следовательно, знали, как это бывает, когда без вести пропадают люди, однако ясно было, что все равно они обязательно запнутся, как не раз уже запинались прежде на его случае. Хоть и посочувствуют, но отведут его, — из осторожности, из черт знает чего, но отведут: «Давайте не будем торопиться с этим делом. Конечно, он работник достойный, кто говорит, и дома у него такое несчастье, но тут, знаете ли, нужна осмотрительность. Вот, вы читали вчерашнюю газету?..» — Вот и все; ничего, кроме этого, не будет даже сказано, и упаси бог, чтобы у кого-нибудь повернулся язык не пожалеть его. «И первый, кто сегодня вспомнит об этом, будет Мырков, — подумал Николай Владимирович, — потому что он когда-то бывал у нас дома, был посвящен во все перипетии розысков сына и, значит, может живо представить себе, как реагировали вчера наши на сообщение в газете».

Он еще раз взглянул на Мыркова. На секунду глаза их встретились, и Николай Владимирович хоть и помнил, что этого делать не следует (еще в двадцатых годах один бывалый человек учил его: «Не смотри ты так на людей, они этого не любят, а коли будешь так смотреть на блатных, то и вовсе пропадешь...»), не отводил своих глаз каким-то мгновением дольше, чем надо было, видя, как стремительно меняется выражение его визави, как взгляд холодеет и становится все более злобным.

— Ах, зачем вообще эта форма?! — кокетливо вздохнула Соленкова.

— Как это — вообще зачем?! — Мырков откинулся на стуле, предвкушая торжество. — Вот, предположим... Идет некто по улице. Так? А ведь неизвестно, кто идет! Простой человек или, допустим, начальник. Распознавание, а также отбор и отсев затруднены. Некоторые могут маскироваться. На вид, посмотришь, как благородный, а на самом деле... тьфу!..

Николай Владимирович онемел, потому что слова эти относились, конечно, непосредственно к нему и были намеренным оскорблением. Остальные в комнате тоже были поражены и, вытаращив глаза, смотрели, как будет выкручиваться Стерхов из этой ситуации: вспылит или отделается обычными шуточками. Но шуточек у Николая Владимировича на сей раз не находилось, вспылить — недоставало сил. Молчание затянулось. Мырков, внезапно вызверясь, бросился вон из комнаты. Но и теперь никто не осмеливался произнести ни слова.

Николай Владимирович отвернулся и притих над столом. Затем отпер стол, достал папку с решением, которое надлежало отнести начальству на подпись, и, показав ее издали Вениамину, чтобы тот понял, в чем дело, вышел.

— Николай Владимирович! — пройдя половину коридора, услышал он за собой крик. Запыхавшийся Вениамин догнал его.

— Какой подлец, Николай Владимирович, а?! Какой подлец! Нет, этого нельзя так оставлять, а? Я этого так не оставлю! Я должен руководству

доложить, — твердил он, ежесекундно оглядываясь, нет ли кого в коридоре. — ...Николай Владимирович, вы хотите узнать, да?!. Они не говорят, Николай Владимирович. Они говорят, ждите приказа, еще ничего не утверждено. Я спрашивал у Лиды, секретарши Лешакова, но она ничего не успела посмотреть. Перепечатывала не она и вот... не успела.

Николай Владимирович сдержанно поблагодарил.

— Так что вот, Николай Владимирович, — повторил Вениамин, — ничего не известно...

— Хорошо, спасибо, Вениамин Вячеславич. — Чувствовалось, что Вениамину ужасно по-детски не хочется пускать его к начальству, в какой-то момент он даже сделал такое движение, будто собрался вырвать папку из рук Николая Владимировича и побежать с ней самому. — Спасибо, Вениамин Вячеславич. Я иду, собственно, по делу...

— Конечно, конечно, — пробормотал Вениамин, несоразмерно страдая, — конечно, вы идете по делу. Я сам, однако, должен был зайти к Евсееву, — нашелся он. — Что ж, пойдемте теперь вместе, это ничего.

Николай Владимирович знал, что тот, кто должен был подписать ему бумагу, начальник их управления, Иван Андреевич Евсеев, был мужик чрезвычайно грубый и не терпел Вениамина. Вполне правдоподобно было поэтому, что Вениамин мог опасаться, если ему и надо было, идти туда один. Николай Владимирович же работал с Евсеевым не первый год и пользовался, по некоторым признакам, симпатией того.

Кабинет Евсеева был уже на чистой половине, где чуть подальше начинались ковры перед кабинетами замминистров, но был, однако же, очень мал, явно только прилепясь к кабинету другого, более крупного начальника. Секретарша, одна на двоих (на Евсеева и того, второго), в этот суматошный день была взвинчена, весела и, пользуясь всеобщим послаблением дисциплины, не встала и не пошла в кабинет, а лишь мигнула им, чтобы они стучались и спрашивались сами; каким-то чутьем, которое всегда безошибочно вырабатывается у подчиненных, она, хоть через толстую перегородку кабинета не проникало ни звука, точно угадывала, работает ее начальник или просто в беседе с кем-то проводит время. Они поскреблись в маленьком тамбуре.

— Входи! — крикнул из-за двери Евсеев, тоже сразу угадавший, что идут его подчиненные (она бы предупредила его, если б визит был незауряден), и тоже взбудораженный сегодня, оттого что повседневная рутина прерывалась, да еще так славно, как он надеялся.

По стенке они обошли стол для заседаний, слишком громоздкий для такого маленького помещения, и стали возле второго, письменного стола. Евсееву, уже в течение двух лет исполнявшему обязанности начальника управления, но по причине интриг так и не получавшему на сей пост назначения прямого, неоднократно клятвенно обещали предоставить по крайней мере другой, более достойный кабинет, но вследствие тех же интриг дело каждый раз где-то наверху замирало. Впрочем, все знали, что ждать Ивану Андреевичу осталось недолго: главный враг его состарился и вот-вот должен был уйти на пенсию; прошел слух, что

тому могут предложить сделать это даже сегодня, не откладывая и не давая ему чина, потому что он раздражил уже всех своею старческой вздорностью; с его уходом брала верх партия Ивана Андреевича.

— Садись! — указал Иван Андреевич своею широкой белой рукою; он был не один и немного бравировал. Они уселись возле стола в низкие мягкие кресла. Не предоставляя Евсееву нового кабинета, ему разрешали зато отыгрываться на мебели: она вся была красного дерева, тяжелая, обширная, с инкрустацией и заполняла комнату так, что для проходов оставались лишь узкие извилистые лазы. Поставив наискось через печатный текст резолюцию, Евсеев растянул большое, мясистое лицо в доброжелательной, слегка насмешливой гримасе.

— Простите, пожалуйста, Иван Андреевич, — ободренный Вениамин сделал паузу, рассчитывая, что тот сам догадается, о чем его хотят спросить, и деликатно избавит их от необходимости продолжать. Но Иван Андреевич, хоть и обтесался за годы службы в этом требовавшем деликатности и обходительности ведомстве, сейчас почему-то не пожелал догадываться, и Вениамину пришлось, покраснев, кончать самому:

— Нам очень любопытно было б узнать, м-м... о результатах, — при этом он очень упер на слово «нам» и даже показал глазами на Николая Владимировича.

— Не терпится? — добродушно спросил Иван Андреевич. — К сожалению, пока ничего определенного сказать не могу. Приказ еще не утвержден. Утвердят — увидим. Я тоже еще не в форме. Или вам кажется, что я в форме?! — внезапно разъярился он.

Он взялся за лацканы пиджака и оттянул их так, что стали видны подтяжки:

— Так в форме я или не в форме?!

Вениамин слабо улыбнулся. Увидя этот знак робкого подчинения, Евсеев смягчился и кивнул тому, второму, что стоял все это время у шкафа, к ним спиной, разглядывая подборку каких-то внутриведомственных номерных изданий для специального пользования:

— Видел? Интересуются, а?!

Этот второй был только что назначенный со стороны начальник соседнего управления, молодой еще для такого поста, неполных сорока лет человек; как говорили про него — «очень деловой». На слова Евсеева он обернулся и с живой улыбкой длинного, хорошо выписанного рта, похожего на опрокинутый рожками вверх полумесяц (так что рот его, казалось, всегда был в улыбке), внимательно посмотрел на каждого из них в отдельности.

— Ну что ж, это дело понятное, — начав пробираться к столу, он не добрался, застрявши меж диваном и журнальным столиком, и, засмеявшись над собой, уселся на ручку дивана. — Это дело понятное, — протянул он, — чины, должности, наградные... все это интересует нас и не может не интересовать.

— Естественно, — весело буркнул Иван Андреевич, заранее одобряя все, что тот ни скажет.

Тот секунду помедлил, потом вдруг глаза его блеснули, видно было, что какая-то мысль осенила его. Он рывком перебросил небольшое свое, нераздобревшее тельце на соседнее кресло.

— А вот вы, например... — Полумесяц не распрямился, рожки, наоборот, подскочили еще выше, но как-то истаял, обратившись будто в тонкое лезвие; деловой ткнул указательным пальцем в Николая Владимировича. — Вот вы, например, должны получить, допустим, какое-то звание... Вы давно здесь работаете? Давно. Хорошо-о-о... А что будет, — быстро и звонко спросил он, — что будет, я повторяю, если вы вдруг не придете на работу? А?!

— То есть как не приду?.. — холодея, пролепетал неслушающимся языком Николай Владимирович.

— Ну, вот так. В один прекрасный вроде сегодняшнего день не явитесь на службу. Что изменится?

— Не знаю, — прошептал Николай Владимирович. — П-план не будет выполнен в моей части...

— Ну вот, план, — разочарованно скривился тот, показывая Ивану Андреевичу, — сами, мол, видите, что тут спрашивать.

— Да, план, — уже не слыша даже собственных слов, пошевелил губами Николай Владимирович, скорее, чтоб почувствовать, что он еще не упал на пол, что еще способен хоть немножко управлять своими движениями. Ему внезапно поблазнилось, что все то, что здесь происходит, — заговор. То есть что его решили уволить, не давая ему чина, чтоб не платить зря государственных денег (как того, главного врага Евсеева), но, чтоб не тратить на него времени, не вызывали даже специально, предупредить, подготовить, а просто положили сказать при первом же удобном случае, когда он к ним сам придет, зная наверняка, как знает это опытный добытчик-охотник: чего за ним бегать, сам придет; сказали только Вениамину: «Ты уж, как увидишь, что он ползет к нам (мы там ему поручили готовить один матерьялец, так вот, когда увидишь, что он его несет к нам), то ты уж будь любезен, явись заодно. Субординация должна быть соблюдена. Здесь между делом и объявим с тобой вместе. Тут тоже ведь нужна осторожность, а то кондрашка его хватит тут, хлопот не оберешься». И вот они сговорились все таким манером, и Вениамин разыграл перед ним комедию, и Евсеев, всегда хорошо относившийся к нему, нарочно зазвал к себе этого, делового, чтоб все-таки начал тот, потому что у него самого не хватило все ж духа. «Ну что ж, этого следовало ожидать... — Николай Владимирович одернул на себе пиджак и стал подыматься из кресла. — Вот сейчас они скажут: "Рассмотрев по существу... руководство, исходя из интересов... сочло нужным"»...

— Ладно тебе, — пробасил вместо того Евсеев своему приятелю, не добавив, правда: «Чего ты к нему привязался». — Идите, Стерхов. И ты, Вениамин, иди себе...

Нетвердо ступая, все еще бледный, удивив секретаршу, чутье которой на сей раз отказало и не могло определить, что же произошло в

кабинете, что привело старика Стерхова в такое расстройство, Николай Владимирович вышел и только тут, не потому даже, что его отпустили, не причинив ему вреда, но больше по реакции мудрейшего и опытнейшего Евсеева догадался, что они вовсе не составляли заговора против него и что цель вопросов делового была иная. Тот, второй, действительно был деловой, действительно со всем пылом свежеиспеченного начальника искал искоренить зло и в качестве такового действительно был осенен мыслью: что же изменится во вверенном ему государственном подразделении, ежели подведомственный ему сотрудник А или В вдруг не явится на работу? Он не намеревался, конечно, уволить всех, кто не мог вразумительно ответить ему; то была лишь острая и оригинальная постановка вопроса (заострение вопроса), прельстившая его именно своей необычностью, каким-то особым углом зрения, под которым все производственные проблемы начинали смотреться иначе. И наверняка, конечно, Николай Владимирович был всего-навсего просто первым, кто подвернулся под руку, первым, кому задана была эта каверза, и, остынув, без труда можно было предсказать даже, что, увлеченный своею идеей, деловой станет задавать этот вопрос всем подряд, каждому своему или приятельскому подчиненному, а потом будет рассказывать в своем кругу, как он спрашивал и (представь себе!) никто не мог ответить сколько-нибудь связно! И все будут удивляться его даровитой активности, его цепкости и добродушно, вроде Ивана Андреевича, качать головами (ловок, черт, ишь как закрутил!), пока кто-то из их круга, немного повыше, чем они, чином, сам не пошутит над ними: «Ну, а если тебя самого не будет, что изменится? А?!» И только тогда деловой, смущенный, затихнет. Но и тому, высшему в их кругу, не придет, в свою очередь, в голову спросить себя: «А что изменится, если и меня не будет?» Поэтому и он станет, похохатывая, всем рассказывать на своем, чуть высшем по отношению к тем, остальным, уровне, как деловой придумал всех подцепить на крючок хитрой своею каверзой и как сам он здорово подрезал его, — станет рассказывать до тех пор, пока не нарвется на кого-то еще более опытного и мудрого и еще чуть старшего его чином, который, подмигнув, спросит его: «Ну, а что в самом деле изменится, если кого-то из них... зачем из них? если тебя — не будет?! А?! Ха-ха-ха-ха!..» Но и этот затем... на своем уровне... — Николай Владимирович почувствовал, что ему становится жутко уже возвести глаза к вершине пирамиды, куда уровень за уровнем он карабкался.

Едва не поскользнувшись, когда неожиданно кончился постеленный ковер, он, потеряв вдруг дыхание и не умея никак набрать в грудь воздуху, остановился, опершись плечом о холодную, крашенную масляной краской, казавшуюся липкой стену. Куда девался Вениамин, он не заметил; сам он был на площадке глухой начальской лестницы, по которой руководство спускалось лишь вниз, в специальный буфет, а ход наверх был перекрыт.

Николай Владимирович не был аттестован ни в тот раз, ни к осени, и на октябрьских праздниках, после очередного разговора с Анной, решил, что надо действовать. На третий день праздников, в воскресенье девятого числа, уединившись в задней комнате и сказав, что ему нужно поработать и он специально взял бумаги домой, он сел писать письмо на имя заместителя министра.

Семейство пило чай в соседней комнате. Николай Владимирович долго не мог никак настроиться и для успокоения сначала ходил по комнате, потом-таки стал писать, то и дело рвя лист, который он считал уже беловым, но механически сделал на нем помарку. После многих помарок, на третьей или четвертой редакции он составил наконец вариант, который хотел показать уже Анне.

Заместителю министра...
Советнику юстиции I класса
Товарищу...

Позволю себе обратиться непосредственно к Вам по личному вопросу.

Я в 1913 году окончил экономическое отделение Ленинградского (Петербургского) политехнического института. В течение пяти лет пребывания в институте студенты изучали юридические дисциплины. У нас читались лекции и сдавались экзамены и по общей теории права, и по истории права, по государственному, гражданскому, международному праву и по целому ряду других юридических дисциплин. Правда, по римскому праву, считавшемуся основой современного (до нашей революции) права, лекций у нас не читалось и мы его не изучали.

Некоторые профессора-юристы, читавшие у нас, были одновременно профессорами в Университете, и читаемый ими курс был один и тот же.

По окончании института, в 1913 году, я работал в Государственном контроле; после революции — в КН РКИ, до его ликвидации в 1934 году. Потом я работал год в ЦК Союза рабочих-строителей, а с декабря 1935 года работаю у Вас, в финансовом отделе, в должности сначала ревизора, а теперь экономиста.

Позволю себе предположить, что и мое образование, и стаж практической работы в течение тридцати четырех лет, из них тридцать один год при Советской власти, дают мне основание считать себя несправедливо обойденным тем, что аттестование меня не коснулось.

Вся моя работа в Государственном аппарате была неразрывно связана с юриспруденцией, а в ЦК Союза строителей я также проработал правовым инспектором труда.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о присвоении мне классного чина.

10 ноября 1947 года
Н. Стерхов.

Николай Владимирович собрался уж звать Анну показывать ей бумагу и лишь немного замедлил, соображая: все ли он написал как надо, но в этот миг из соседней комнаты вдруг услыхал:

— Батюшки, Людмила-то, Людмила какая стала! Смотри-ка, откуда что берется?!

Он осторожно выглянул и убедился, что, точно, дочери приветствуют там Людмилу. Она неплохо выглядела, пополнела, носила высокую прическу, была в хорошем клетчатом, какой-то толстой материи костюме, и против воли Николай Владимирович подумал, что она не так уж дурна была бы в качестве жены его сына, а следом, робко о том, зачем она пришла.

— Ну, рассказывай, рассказывай! — требовала там Катерина, усаживая ее за стол и сама садясь к ней поближе и боком к столу. — Нет, погоди, сейчас Анька чай поставит. Ты не торопишься?

Татьяна Михайловна, которой померещилось, что Людмила поздоровалась с ней суше, чем то следовало, за маленьким, когда-то ломберным столиком у стены зажгла бра и пустила машину.

Людмила, в молчанье ожидая, пока Анна на кухне ходит доливает чайник, с новым любопытством, будто впервые озирала комнату, где прожила два с лишним года.

— У нас все по-старому, — сказала Катерина. — Ты-то как поживаешь?

— Что ж ты не заходила так долго? — упрекнула Анна, вернувшись.

— Да я заходила как-то... вас дома не было...

— Иди ты! — закричала Катерина. — Дома не было. Уж у нас-то всегда кто-нибудь дома. А не то соседи б тотчас же передали. А то вдруг... — Она хотела прибавить: «А то вдруг мы получили бы тем временем какое-нибудь известие», — но удержалась и сказала только: — А мы даже адреса твоего толком не знаем.

Анна, понизя голос и краем глаза взглянув на мать, спросила:

— А ты где сейчас живешь?

Машинка застучала шибче, и Татьяна Михайловна в своих стареньких очках с маленькими круглыми стеклами и зыбкими проволочными дужками прильнула почти к самой ткани.

— Я все там же, с отцом, — Людмила в улыбке показала зубы, которые были у ней несколько великоваты. — Ничего, притерлись. Вторую комнату себе отхлопотали в том же бараке.

— Это у вас барак, не дом? — переспросила Катерина.

— Это так называется — барак. У нас как считается: если с фундаментом, то, значит, будет дом, а если без фундамента, то барак. Когда-то, конечно, так все вместе вповалку и жили, а теперь-то уж перегородили давно, а кто — уехал...

— Ну, а отец твой? — поинтересовалась Анна.

— Отец? Можно сказать — хорошо. Тихий стал, смирился...

Анна подозрительно сощурилась, различив в ее словах оттенок гордости:

— Что значит «смирился»?

— А вот курить бросил: ему врачи запретили. Выпивает редко.

— Так в чем же смирился? — допытывалась Анна.

— Ну, может, я не те слова сказала.

— Вот то-то, что не те слова, — заметила Катерина. — Ну да это ладно. Ты о себе скажи, ты где работаешь-то?

Обрадованная, что неприятная заминка так легко окончилась, та повернулась быстро к одной и другой сестре, чуть смущенная:

— Я? Я теперь в торговой сети работаю...

— Да что ты?

— Да, в Мосторге.

Сестры изумились: по тем временам это значило очень много, и даже Татьяна Михайловна подняла голову от шитья.

— Так ты теперь полезный человек! — с своим грубоватым юмором пошутила Катерина.

Людмила кивнула:

— Если что — я пожалуйста. Я там, правда, не так давно, но если что нужно — сделать можно.

— Сделай, конечно. Для своих как не постараться, — веселилась Катерина. — Мы ведь свои все же, а?

— Да. А то так ни черта не достанешь, — сказала Анна, — такие очереди с утра прямо, только измучаешься вся.

— С утра особенно, — подтвердила Людмила. — Вчера при мне одного чуть не задавили дядьку. Он упал, бедный, забыл, что купить хотел. Отошел потом весь бледный. Вот какие дела.

— Вот стыдно ему было, наверно! — прыснула Катерина. — Бабы на ногах остались, а он упал! Я б на его месте со стыда сгорела.

Людмила наморщила лобик:

— Да нет, там не одни бабы были... Это как случится. Так завертит, бывает, что самой страшно делается, хоть и за прилавком стоишь. Когда двери открывают, а они бегут...

— А в каком отделе ты работаешь?

— В пальтовом... Ой, да что же я заболталась?! — спохватилась она. — Все говорю да говорю, а у вас ничего не спрошу. Вы-то как живете?

— Да у нас-то все в порядке, — ответила Анна. — Катерина вон диплом заканчивает и замуж выходить собралась... У меня тоже, тьфу-тьфу-тьфу не сглазить, — в лице ее отобразился мгновенный и суеверный страх, — все в порядке. Сын большой уже, в школу пошел.

— А живет все там?

— Да вот, жил здесь долго, а теперь Катерина замуж выходит, так им вроде тоже жить негде. Я его снова туда отправила.

Загрустив, она побежала на кухню за чайником, принесла, но разговора связного дальше почему-то не вышло. Людмила не знала больше, что спросить, сама отвечала односложно, стала смущаться, взглядывала исподлобья, и скоро всем сделалось ясно, что пришла она не случайно.

Скоро беседа и совсем прервалась: наступила необычайная, предшествовавшая решительному объяснению пауза. Чувствовалось, что Людмила злится, не смея начать и теряя время. Потом, совсем взяв себя в руки, покраснев, призналась:

— А я к вам пришла вот за каким делом... Я тут тоже замуж выходить собралась.

Николай Владимирович, не прячась уже, подошел к двери, лишь сейчас поздоровался с невесткой и стал у косяка, как бы греясь возле печки. По тогдашнему закону ей нельзя было просто так выйти замуж, поскольку она считалась все еще замужем и для расторжения брака требовалась либо официальная похоронная, либо нечто вроде бракоразводного процесса, с обращением в суд и так далее.

Она объявила между тем сестрам, что зовут его Борис, что он мастер спорта и преподает в школе физкультуру и что живет он не у них в поселке, а познакомилась она с ним у подруги.

— Мы вроде бы сначала так встречались, — виновато поведала Людмила. — Я и не надеялась особенно, что он захочет: к работникам торговли, знаете, некоторые относятся не очень... ну, а потом он говорит: давай поженимся.

— Ну и что же ты собираешься делать?

— Вы знаете, — еле слышно вымолвила она, обращаясь уже к одной только свекрови. — Я хочу потерять паспорт.

Потеря паспорта тогда была тоже серьезным делом, но, конечно, все же менее серьезным, чем заводить процесс. Бросив шитье на колени, Татьяна Михайловна оцепенело (не потому что она была так поражена ее решением, но в последнее время у нее часто случался этот оцепенелый, столбнячный взгляд) смотрела на нее. Потом вдруг встала, отчего тряпки свалились на пол:

— Хорошо.

Путаясь в ткани, она шагнула вперед, и дочери с мужем и с Людмилой, испугавшись, что она сейчас упадет, тоже все шарахнулись к ней.

— Подите от меня к черту! — заорала она, отстраняя их и повелительно протягивая руку к Людмиле. — Давай, мы сожжем его в печке.

Поспешно, трясущимися неожиданно руками, смеясь сама над собой, Людмила стала рыться в сумочке, вытаскивая паспорт и второпях вместе с ним еще кипу каких-то пропусков, квитанций и денег. Анна с Катериной, тоже обе вдруг возбужденные и облегченно смеющиеся, наперебой затараторили, хватая друг друга, мать и Людмилу за руки:

— Ах, какая умница все-таки у нас мамаша. Так и надо, конечно, сделать. Отговоришься как-нибудь, скажешь — обокрали. Побегаешь в милицию, поплачешься, что ж тут такого.

— Я в кино недавно видела, — потешалась Катерина, — как Калинин одной девке паспорт вручал: «Не теряй, — говорит, — больше». Ничего, и ты, в крайнем случае, до Верховного Совета дойдешь!

— Да я уж у нас в отделении милиции заплачу кому надо, я там знаю одного...

Татьяна Михайловна уже перед печкой перелистывала Людмилин паспорт. Она задержалась на особых отметках, на штампе с пропиской (она и впрямь не была церемонна), затем, сунув его под мышку, наклонилась к печке. У печки от многочисленных переделок железная рама, в которой крепилась дверца, к этому времени совсем расшаталась и перекосилась. Если дверцу захлопывали нечаянно чересчур плотно, то она заклинивалась и переставала открываться. Сейчас, нервничая, Татьяна Михайловна сделала как раз не то, что нужно: прихватив рукавом щеколду — обожглась, от боли нечаянно дернула рукой, и дверца плотно заскочила в пазы.

— Ах, черт, сволочь! — Она схватила клещи, норовя поскорее ухватить ими обломанную давно головку щеколды, от которой, в сущности, остался один завиток.

— Подожди, подожди, еще хуже закроешь! — закричала Катерина, выхватывая у нее клещи. — Куда ты так всегда торопишься? — воскликнула она, безуспешно так и сяк дергая дверцу.

— А потому что вас никогда не дождешься! — отвечала Татьяна Михайловна. — Проще все самой сделать!

Катерина предложила снять конфорочные кольца и кинуть его туда сверху, но Татьяне Михайловне и Анне нужно было видеть, как он сгорит.

— Дайте-ка мне теперь, — попросил, не выдержав, Николай Владимирович. — Подопри-ка раму.

— Давайте лучше я, Анна Николаевна. — Людмила взяла полено у кинувшейся было выполнять отцовское распоряжение Анны. — Где держать-то?

«Это мы с ней в первый раз говорим», — мелькнуло у Николая Владимировича.

— Держи вот здесь.

Людмила налегла. Николай Владимирович покрутил на заклепке обломок головки щеколды, устраивая поудобнее клещи, потом резко рванул. Заслонка отскочила. Пламя заплясало в нерешительности и взметнулось наружу, и дым без тяги, завиваясь, пополз вдоль белого кафеля к потолку.

Присев на корточки, Татьяна Михайловна пошуровала кочергой, разгребая угли. Затем еще раз перелистнула с некоторым будто сожалением паспорт и, взявши его аккуратно щипцами, положила поглубже в огонь.

Почти касаясь своим плечом Людмилиного плеча, Николай Владимирович наклонился вперед, и, словно по его знаку, все семейство тоже наклонилось вперед, теснясь и сближаясь головами, к топке, к огню, и так, сгрудившись, смотрело неотрывно, до слез, до рези в глазах, как скручиваются, корежатся и темнеют маленькие странички гербовой бумаги.

Глава четвертая. 1953–1954

-1-

— Мне кажется, папа, ты отдаляешься от нас, — сказала Катерина, — я просто тебя не узнаю.

— Это естественно, — отвечал Николай Владимирович, — я состарился, и мать тоже состарилась. Мы оба стали равнодушнее и заняты своими немощами. Наверно, так оно и бывает.

— Нет, я тебе не верю, — она погрозила ему пальцем, — ты сам признавался недавно, что чувствуешь себя сейчас много лучше, чем первое время после войны. Да я и сама вижу, что это так. Сколько ты болел тогда, дня не проходило, чтоб у тебя не было головной боли... А теперь, особенно когда звонит Галина Васильевна, у тебя находится и время, и... все остальное. Я ничего не говорю, она прекрасная женщина и мне очень нравится, но мне жаль, что ты из-за нее забываешь порою и нас и маму... Кстати, правда ли, Анна мне сказала, что ты...

— Да, правда, — поспешно перебил ее Николай Владимирович, хотя в глубине души не был совершенно в этом уверен.

Это было в самом конце пятьдесят третьего года, уже в двадцатых числах декабря. Действительно, он чувствовал себя весь этот год очень хорошо, ни разу не простудился, не свалился, когда в Москве свирепствовал грипп, и к декабрю находил в себе достаточно сил, чтобы ввязаться в некое предприятие. Предприятие это возникло из того, что сын Галины Васильевны, молодой, уже двадцатичетырехлетний человек, жил все последнее время не с нею, а довольно все ж далеко, хотя и в Европейской еще части России, в Предуралье. В этом году Галина Васильевна вдруг вознамерилась взять среди зимы отпуск за свой счет и ехать туда, к нему. Сначала из чистой куртуазности, не особенно веря в то, что ей удастся-таки выбраться, не особенно задумываясь даже над тем, что говорит, Николай Владимирович сказал, что он, разумеется, не отпустит ее ехать туда одну и будет сопровождать ее. Несколько недель разговор этот (сентябрьский) не возобновлялся, и Николай Владимирович почти напрочь забыл о нем, но в начале декабря с тревогой заметил вдруг, что Галина Васильевна как-то возбуждена, нервничает, а где-то в середине месяца она объявила ему, немного смущенно, но блаженно улыбаясь, что едет и что, конечно, не попрекнет его данным сгоряча обещанием.

— Отчего же, — подтолкнутый тем же неведомым бесом и даже придав своему голосу несвойственную ему твердость, ответил Николай Владимирович, — я сдержу свое слово и поеду с вами.

— Ах, боже мой, Николай Владимирович, — она смутилась уже по-настоящему, — я вовсе не хотела провоцировать вас, поверьте, что этого вовсе не нужно... Зачем вам это? Для того, чтоб выдержать только характер? Нет, нет, это, конечно, вздор! Это никак невозможно. Да и что скажет Татьяна Михайловна, как я покажусь ей на глаза после этого? Что скажут здесь, на службе? Мне-то объяснить все очень просто, у них не хватит духу мне отказать... А как объясните это вы? Пойдут разговоры... Нет, нет, вам этого совсем не нужно.

— Мы не в таком возрасте, Галина Васильевна, чтобы о нас могли пойти разговоры, — усмехнулся Николай Владимирович, — уж вы извините меня. Кроме того, я полагаю, что у них не хватит смелости отказать и мне тоже; они именно не осмелятся не понять моих и ваших чувств или толковать их ложно. Я и вообще могу в любую минуту выйти на пенсию, оставим это... Так вы хотите ехать к Новому году?

— А Татьяна Михайловна?

— А с Татьяной Михайловной как-нибудь уж мы разберемся.

Предвидя все толки и недоразумения, что вызовет его намерение, он, тем не менее, не переоценивал их, и в тот же день сказал о нем и жене и начальству. В согласии с его ожиданиями, все оказалось не так трудно, как представлялось Галине Васильевне. Начальство было весь тот год в сплошной прострации, ожидало к Новому году коренных перестроек и, пожалуй, даже радовалось, когда кто-то, хоть на время, переставал мозолить глаза. Что же касалось Татьяны Михайловны, то она и впрямь год от году делалась все равнодушнее как к себе самой (так, у нее обнаружилась какая-то скверная болезнь почек, но она не желала сколько-нибудь серьезно лечиться, хотя страдала сильно), так и к окружающим, близким своим, к мужу, родной сестре, переехавшей на старости лет под Москву, старшей дочери, ко всем, кроме, быть может, четырехлетней внучки — Екатерининого чада — и самой Екатерины. Таким образом, все серьезные препятствия отпадали и оставался лишь общий легкий налет экстравагантности: путешествие, которое собрался он совершить и о котором неосторожно уведомил прежде времени Анну, было, бесспорно, и романтично, и, возможно, даже полезно, чтобы развлечься, но одновременно чересчур именно что экстравагантно, если не сказать больше.

В таком духе и должна была поговорить с ним Катерина, потому что сама Анна была буквально взбешена его планами и, хоть и сдержалась тогда, но не могла ручаться за себя в дальнейшем, при обсуждении подробностей, и боялась испортить отношения с отцом окончательно.

Но Николай Владимирович уклонился, однако, от какого бы то ни было разбирательства. Екатерина была права: он, воистину, сильно изменился за последние два-три года. При этом причина, конечно, заключалась не в том, что здоровье его улучшилось и мучительный нервный спад, начавшийся у него в конце войны, прошел; причина, без сомнения, была не здесь, ибо перемена его была такого свойства, что казалось, что будь его здоровье плохим, будь он хуже прежнего истощен, обессилен, он еще скорее сдвинулся бы в эту сторону. С ним случилось что-то из области чудесного, что-то такое, чего он и сам не мог определить вполне точно и во всем объеме: что же это? Но на частных примерах, на отношениях с семейством особенно, это было заметно очень хорошо.

Семья неожиданно перестала, по крайней мере в той степени, что раньше, занимать его, более того — поглощать целиком. Как говорится, идея семьи словно бы изжила себя в его душе, и он внезапно ощутил себя от них освобожденным, свободным. Это было новое, странное и

даже не совсем приятное поначалу чувство. Николай Владимирович не мог сказать, что так уж рад ему. Скорее наоборот: когда это одиночество, эта отчужденность, к которым он в течение всей жизни так безнадежно стремился, в конце концов явились, они показались ему не столько обесцененными вообще, сколько обесценивающими почему-то его самого. Не потому, что смысл прошлой жизни его снова становился чрез это под подозрение, — это было б еще полбеды: он сам ставил его невысоко, — но снова подвергались сомнению самые основы его личности, точь-в-точь как одиннадцать лет назад, после письма сына. От того кризиса, растянувшегося на одиннадцать лет, у Николая Владимировича остались весьма дурные воспоминания, вдобавок из-за того, что все это было так или иначе связано с той печальной любовью и судьбой. Теперь, когда он говорил себе: «Наконец-то я от них освободился!» — и торжествовал свою независимость, то выходило, что вся эта его любовь к ним, все эти беспокойства, все терзания не нужны были ему, он лишь играл по сути дела какую-то несвойственную ему роль, надевал чью-то чужую личину, тогда как ему нужно было всегда что-то совсем иное, на что он не решился единственно из трусости, по слабости. Это было слишком сильно, — он знал, что это опять соответствует истине только в некоторой доле, но невольно соскальзывал в эту крайность. В ней, если только он осмеливался остаться там, и еще немного за нею разверзался у него перед глазами жуткий провал, бескрайняя бездна, бездна свободы, манящая, но равно и устрашающая и для самого храброго, решившего не то что измерить ее шагами, но исследить хотя бы только взглядом.

К счастью для него, смущение его перед нею длилось недолго. Не потому, что привык к ней, — к ней нельзя привыкнуть, — но потому, что охранительный разум у ее края в самый последний момент всегда приходит на помощь, мигом переустраивая и переиначивая это бесконечное пространство, спуская по крутым откосам деревянные шаткие лесенки, перекидывая навесные мостки и канатные дороги, сколачивая временные досчатые перегородки, а где можно, где удается, возводя и кирпичную стенку. Соответственно этому побуждению независимого рассудка, сохранявшего за обладателем его свободу, придавая ей значение необходимости (не это ли и обесценивало приобретение?), Николай Владимирович скоро догадался, что он все же просто устал от них, что вечные страхи, волнения, вечная обремененность так измучили его и приелись ему, что чувство реального облегчения должно вскоре затмить все остальные чувства. (Почему он и думал, что, чувствуй он себя хуже, он еще быстрей стремился бы отдалиться от них.) Они все, без исключения, могли прожить без него, и, главное, им не было б хуже ни без него, ни друг без друга, так как всегда у них то взаимное участие, которое они принимали друг в друге, к сожалению, оборачивалось обязательно взаимным деспотизмом. Они все (и он, конечно, в первую очередь) были плохо воспитаны, воспитаны в любви, может статься, но и в неуважении, поэтому их желание принести другому как можно боль-

ше добра, блага, уберечь другого от какой-то опасности оказывалось слишком часто нарушением каких-то глубочайших, суверенных прав. Понятно, что сказать им: «Живите теперь сами», — было жестоко, но, с другой стороны, в этом была и правда, поскольку фактически они все и так жили сами по себе, меж ними и так уж были разорваны какие-то внутренние связи, и они лишь боялись себе в этом признаться. Но тут важно было осознать, что и с самого начала эти связи, эта подчеркнутая зависимость и не нужны были вовсе, каждому из них мешая. «У нас получилось так, что вы, подрастая, усваивали себе незаметно какие-то права, на меня, на мать, друг на друга, — пытался втолковать Николай Владимирович Анне, но она не поняла его. — Теперь вам с Катериной представляется, что вы обладаете какими-то особыми правами над своими детьми... Это верно, вы, несомненно, любите их, вы привязаны к ним, но я заклинаю вас, будьте осторожнее... И еще одно...»

— Да, папа, — как всегда в таких случаях, преувеличенно внимательно и с каким-то подобострастием откликнулась Анна. — Я слушаю тебя.

Но он не стал продолжать. Он хотел добавить, что теперь-то он, слава Богу, хоть и поздновато, но может отойти от них, его долг, пусть давний, пусть по его же вине, теперь выплачен и можно быть свободным. Но что-то удержало его: он подумал, что все-таки каждое слово здесь потребует обстоятельных разъяснений, а понять с полунамека его вовсе не обидную мысль она не захочет, повернув в худшую сторону. Перемена, происшедшая в нем, сделала также его и мудрее, и он постиг вдруг, что нужно вообще поменьше объясняться, ни в коем разе не пускаться в оправдания и гордо даже и отрешенно нести открывшееся ему.

Анна была поражена. Печать обиды не сходила с ее лица. Но и Николай Владимирович был на нее зол за то, что она так упрямо не хочет понять его, поверить, что он все-таки устал. И то же самое Катерина. Его возмущало больше всего то, что наружно ни для кого, ни для каких знакомых или, тем паче, соседей, его перемена никак не проявлялась — ни в поведении, ни в домашних делах, ни в чем, и если он собрался ехать сейчас куда-то, то опять же об этом не знал никто, и отсутствие его ничего не стоило оправдать несложной какой-нибудь выдумкой. Он стал лишь несколько ироничней, иногда острее в шутках, которые отпускал на их счет, — впрочем, весьма невинных, — он меньше читал, больше размышлял, вот и все. Он даже не стал продолжать своего «мемуара», или записок, как было собрался вначале, потому что это чрезмерно раздражало их любопытство, а то, что он отказывался рассказать, о чем он пишет, оскорбляло их. Так что по всему перерождение его было сугубо внутренним, по объективированным своим результатам как нельзя более скромным.

Отчасти для того, чтоб это потаенное ощущение свободы и выразилось как-то вовне, он и решился на эту затею с поездкой. Он был действительно неравнодушен к Галине Васильевне, ему действительно нравился ее сын, которого он к тому же давно не видел, ему в самом деле хотелось встретить Новый год не в Москве, а где-нибудь в деревне

или глухом поселке, среди леса, хотелось и отдохнуть несколько дней, но еще больше и больше всего, — он не скрывал от себя этого, — его радовала мысль встретить праздник без них, вдали от них, чтобы совсем уж ясно показать и им, и себе самому, что отныне в жизни каждого из них появилось новое свойство. Он согласен был терпеть и оскорбленность Анны, и насмешливое недоумение Катерины, но лишь реакция Татьяны Михайловны беспокоила его серьезно. Мать тоже, в сущности, устала от этих вечных семейных тягот, тоже хотела высвобождения и даже по-своему достигла его, но только у нее оно проступило совсем незаметно: с Анной у нее никогда не было хорошего согласия; любовь к Катерине перенесена была на девочку, и Катерина, радуясь, остального замечать не хотела; зять (Катеринин муж) был человек хоть и неплохой, но совершенно им чужой, — так что перемену в Татьяне Михайловне замечал только он сам, страдая порою от образовавшейся обоюдной невозможности исправить что-либо. Состояние Татьяны Михайловны, чудилось ему, было нехорошим признаком, оно было иного рода, нежели у него: эти две линии лишь пересеклись в одной точке и вскоре должны были разойтись. Собираясь на Новый год покинуть ее, Николай Владимирович все-таки тревожился поэтому, и если бы дочери сказали, что будут встречать праздник где-то вне дома, он наверняка бы остался. Они, однако, решили на этот раз встречать именно дома, всей семьей, полагая, что, разумеется, раз решено всей семьей, то и он будет тоже. Но эта-то претензия и разозлила его: сколько раз они уходили под праздник, бросая их с матерью одних, теперь же им взбрело в голову побыть дома, и, значит, он обязан присутствовать!

-2-

Так он постановил твердо: ехать, — и по обыкновению уже заранее воображал себе во всех деталях свое путешествие, свой приезд, встречу, их разговоры с Сергеем Васильевичем, братом Галины Васильевны, тоже грозившимся приехать (до сих пор, хотя они оба нравились друг другу, найти вполне общий язык им не удавалось, и они испытывали известное смущение при встречах); воображал, как выглядит деревня, дом, его комнаты, воображал застолье и прогулку по лесу наутро. Среди этой прогулки по узкой заснеженной дороге, — втроем нельзя было идти, и они с братом, споря без устали, шли впереди, сын Галины Васильевны чуть сбоку и позади, внимательно вслушиваясь, а сама она, немного отстав от них и почти забыв о них, — среди этого спора Николай Владимирович вдруг должен был вспомнить и о своих и снова мысленно доказать им, зачем он, человек, стоящий где-то уже на грани между жизнью и смертью, пустился в это путешествие. Застигнутый этим вопросом, он, дома ли, у кухонной плиты, где ставил чайник, по дороге ли в магазин, куда посылала его Татьяна Михайловна, в полутемном ли коридоре на службе, торжественно распрямлялся и в сотый, наверно, уж раз начинал для самого себя: «Я поехал вот для чего...», — но всегда появившиеся некстати люди мешали ему кончить так же сильно, как он начинал.

Сборы причинили много хлопот, и это было нескладно: он предпочел бы уехать незаметно. Но это была не простая командировка, — да и в командировках-то он уже давно не был, — поэтому обычная экипировка не подходила. Требовалось и то и другое, чего он сам достать не мог. Остальные члены семейства вовлекались невольно в приготовления, все начинало снова зависеть не от него самого, а от кого-то другого, кто должен был пойти попросить соседей, сходить на рынок, и Николай Владимирович склонен был подозревать умысел, когда Татьяна Михайловна или Анна возвращались с пустыми руками, объявляя, что, например, валенок его размера (его прежние валенки давно износились) ни у кого из соседей нет и в магазинах тоже нет. Он чувствовал себя немного беспомощным, решался ехать с тем, что есть, и не обращать никакого внимания на нарочитую суету вокруг себя. Единственно, он не мог справиться с своим нетерпением, не в силах был заставить себя не считать дни до отъезда. Оставалось дотерпеть всего неделю, потом вдруг пять дней, потом четыре, три...

В этот третий от заветной черты день взвинченное настроение его, вероятно, проступило наружу, причем сперва не дома, а на работе, где все и так были начеку, а к нему самому приглядываться, интересуясь, что же такое с ним творится, стали много раньше, чем он это заметил.

— Вы прямо помолодели, Николай Владимирович, — восхищенно тараща с соседнего стола перекрашенные свои обесцветившиеся глаза, восторгалась, наоборот, сильно сдавшая за эти годы (у нее действительно было много неприятностей в семье) Соленкова. — Скажите, нет, правда, что с вами такое? Откуда что берется?! Может быть, это и впрямь... м-м... простите, я на правах старого друга спрашиваю... может быть, это действительно ваше увлечение произвело такое превращение? Вот видите, ха-ха, я заговорила в рифму. Я удивляюсь потому, что сама на себе, пардон, такого благотворного действия любви не ощущала. Поверьте, опыт у меня в этом отношении был.

Она ревновала его к Галине Васильевне, и тем сильнее, что та была ей сверстница. Николаю Владимировичу это льстило чуть-чуть; у них всегда были такие отношения, которые как бы предполагали возможность романа меж ними, хотя теперь, конечно, все эти возможности были упущены. Поэтому он особенно серьезно и честно отвечал:

— Что ж скрывать? Галина Васильевна мне нравится. Смешно было б отрицать то, о чем половина министерства и так осведомлена. Но назвать это любовью?.. В нашем возрасте, — я говорю, разумеется, о себе — какая любовь?! Нет, вероятнее, тут другое. Я просто, видимо, переступил уже за какую-то грань, где начинается высвобождение человека ото всего слишком мелочного, земного или, как теперь говорится, бытового. Меня словно кто-то позвал уже: пора, мол, готовься. Другие, более совершенные, нежели я, умели достичь этого раньше, умели творчески использовать это. Но я слабый человек, и хотя я всю жизнь к этому стремился, но сумел задавить в себе свою слабость только сейчас... Вот и здесь, на работе. Я уже больше ничего не жду от своей карьеры. Вы-то все, прав-

да, и без того считали, что я к ней равнодушен, но честно вам скажу, это было не совсем так. Так вот, я наконец-то ничего не жду, и вы не представляете себе, какое это замечательное состояние: ничего не ждать, ни на что не надеяться!..

Будучи не очень умна, пораженная, она раскрывала глаза, а также теперь и рот с выпавшими уже клыками и на их месте золотыми коронками, стараясь запомнить дословно то, что он ей сказал.

Самому же Николаю Владимировичу было несколько стыдно: он-то знал в глубине души, что искренность его лишь кажущаяся, ибо вся эта объяснительная версия если и не была нарочно придумана для обмана ближних, то, по крайней мере, была лишь верхним слоем, под которым залегали иные, глубочайшие пласты. Там, в глубине, хотя эти «пора» и «готовься», безусловно, прозвучали, они имели какой-то совсем другой смысл, отличный от того заурядного, какой он придал им, беседуя с сослуживицей. Подлинное же его ощущение было как раз таково, что он на самом деле позван, как это ни странно, к чему-то новому, что, верно, он помолодел и что все земное и даже бытовое не утратило вовсе для него интереса и цены, но будто стало отчего-то смотреться иначе, лучше, чем во всю прежнюю его жизнь. Те радостные хлопоты, в которых он ожидал наступления праздника, были убедительней всего. Все было так, словно он и не был дряхл и немощен, словно жизнь, с ее надеждами и стремлениями, вовсе и не умирала в нем, но, напротив того, вдруг расцветала. Расцветала так же, как расцветала она в его пятнадцатилетнем внуке, за которым он исподтишка наблюдал, сравнивая его с собою и сам в этом сравнении сравниваясь с ним.

-3-

Внуку его, Николаю Кнетъирину, пятнадцать лет исполнилось только-только, и он впервые собирался праздновать Новый год вне семьи, с своими приятелями и девушками, обещанными каким-то более расторопным и великовозрастным их дружком, — это было время раздельного обучения в школах. Дома, хорошо зная остальных, главным образом одноклассников Андрея, никогда не слышали ни о молодом человеке, у которого и предполагалось, кажется, собраться, ни о девушках, и для Анны было тем труднее отпустить сына, — первый раз под Новый год, да еще в незнакомое место, к незнакомым людям. (Он благоразумно скрыл от нее, что уже дважды — на май и на октябрьские праздники — бывал в подобных компаниях.) Осторожно, боясь перейти какую-то намеченную здравым рассудком линию, но уже переходя ее всем своим видом и тоном, она выспрашивала сына, кто все-таки этот юноша, кто его родители, где будут они в эти часы, во сколько намечено у них собраться, когда он вернется домой и знает ли он, наконец, адрес и номер телефона.

Это было уже 29 числа. В этот год мальчик жил не с ними, а у своей тетки, лишь изредка ночуя у них, но большей частью прибегая на час или на два время от времени, благо тетка жила недалеко. Сегодня он прибежал днем, занятия кончились рано, и он хотел узнать, во сколько

ему надо прийти, чтоб присутствовать на семейном обеде, а потом ехать провожать, как было условлено: Николай Владимирович уезжал вечером, в девятом часу.

— Послушай, это у тебя буквально какая-то прямо болезнь, — заметил Николай Владимирович Анне, имея в виду ее расспросы.

Они на несколько минут остались в комнате одни: Катерина с матерью были на кухне, внук пошел позвонить кому-то. Анна приготовляла пресное тесто прямо в большой миске, наполненной до краев мукой: сделав там неглубокую лунку, плеснув туда воды, медленными ласковыми движениями тонких пальцев осыпая с краев муку и перемешивая. Занятие это нравилось ей, напоминая, вероятно, детство, и теперь, медля и желая растянуть эти мгновения подольше, она неохотно откликнулась:

— Почему?.. — страдальчески сморщив брови.

Николай Владимирович и без того уж подумал, что урезонивания эти напрасны; он бы мог заключить это и из собственного опыта. Сам он когда-то не позволял себе (вернее, теперь говорил, что не позволял, а тогда считалось — не мог) лечь спать и бродил по комнатам или даже во дворе порою до трех часов ночи, пока дочь его не возвращалась домой со свидания. Тогда он оправдывался обычной бессонницей или тем, что изнурительное беспокойство это поселилось в его душе с войны, с той еще, Гражданской войны, со времен разорения и беспорядка, когда все могло случиться, когда вот так же люди уходили, хотя бы в гости, и не возвращались. Ему нечего было возразить, когда Анна теперь тоже оправдывала себя войной, только уже этой войной.

Анна наконец отодвинула миску в сторону:

— Конечно, ты прав, вполне возможно, что ты прав и что это нервы или даже болезнь, — начала она еще в том темпе. — Да... может быть. Но в то же время в этом нет и ничего такого уж оскорбительного. — Она должна была теперь на скрипевшем и тяжело раскачивавшемся столе руками разминать тестовый ком, и физическое это усилие, и скрип заставляли ее ужесточать и подымать голос. — Нет ничего оскорбительного, — твердо повторила она. — Он должен понять, что мои требования законны, мое беспокойство за него тоже законно. Они продиктованы желанием уберечь его от лишних ошибок, от опрометчивых поступков, присущих его возрасту. У него нет опыта, почему же я не могу передать ему свой?.. Почему вы позволяете себе иронизировать надо мной, да еще в его присутствии? Катерина просто еще молода и не испытала того, что испытала я, но она еще, безусловно, со временем вспомнит, как она была не права... когда собственный ее ребенок подрастет... Тебе же я удивляюсь...

Она говорила чрезвычайно рассудительно, тщательно строя и выговаривая фразы, но сама затрудненная ее речь выдавала странное ее волнение и, как казалось иногда Николаю Владимировичу, близость настоящего безумия. Она никогда, ни в молодости, во время трагического своего замужества, ни позже, уже после смерти Николая Владими-

ровича, так и не впала в это безумие, хотя поводы для того были (в пятидесятых годах она, например, тяжело болела и нервы ее были истощены до предела), — но безумие это было как-то всегда почти рядом с нею, словно отделенное тонкой перегородкой, словно сосед, невидимый и неизвестный гостям, присутствие которого хозяева, тем не менее, мучительно стыдясь, ощущают ежесекундно, кожей слыша в паузах посреди милого разговора, как он ворочается за стенкой на своем продавленном неопрятном ложе.

То, что было у Анны, было отчаянным, сумасшедшим страхом не перед чем иным, как перед случаем, то есть перед тем, что какая-то случайность, каких много было уже в ее жизни, какое-то стечение обстоятельств, нелепое совпадение, вдруг став орудием чьей-то злой или вовсе бездушной воли, могут в одно мгновение разрушить все возводимое годами с таким трудом, с такими мучениями, могут вообще сделать бессмысленным все дальнейшее существование. Своей рассудительной речью она именно надеялась всегда сама перед собой преодолеть, остановить это отчаяние, ибо не надежду и не веру, но лишь логику можно по-настоящему противопоставить случайности. Если все устроить разумно, казалось ей, то вероятность случая будет практически исключена, сведена до минимума, потому и появляется возможность для человека разумного, логически мыслящего все или почти все предусмотреть. Николай Владимирович часто думал, что хотя они с Анной похожи в чем-то, но ему эта философия случая чужда; у него слаба была вера, что случай можно обойти, он воспринимал жизнь, как это стало называться с недавнего времени, экзистенциальней, или, если по-старому и попроще, — фаталистичней, то есть такой, какая она есть, в ее движении, в потоке, с некоторой, правда, надеждой, что сбудется не худший, а лучший вариант, но и с готовностью принять худшее, если оно уж вышло. По-видимому, это зависело от того, заключал он иногда, что у Анны, в отличие от него, была воля. Вообще у обеих его дочерей, когда они выросли, оказалась воля. Только у Катерины она направлялась будто на достижение конкретных, ближайших целей, тогда как у Анны целиком переключалась на ее сына, реализуясь не столько даже в непосредственных заботах об его благополучии, сколько в своего рода абстрактном стремлении в принципе уберечь его ото всяких случайностей.

Несмотря на всю любовь ее к сыну, даже настоящую страсть в нему, страсть одинокой женщины к единственному своему ребенку, это переключение всей энергии на него было все ж вынужденным,32 — она сама ощущала, что это так, можно даже сказать, что это было постоянное ощущение, которое всегда примешано было к ее любви. Положение ее было отчаянным, и она сама часто повторяла: «Мое положение — отчаянно!» — ибо, стремясь исключить это влияние случайных событий, какими средствами располагала она для этого? От нее самой не было скрыто ее бессилие, ежедневно, ежечасно она видела новые ему доказательства, страдала, терзалась им и лишь упорствовала, не желая сдаться, не желая приспособить как-то свое поведение к среде. Ей, по сути, были

открыты три области, три сферы, где она могла хоть что-то. Первая — дома, в быту, вторая — у себя на службе, и, наконец, третья — в ее сыне.

Первое было вообще чистым недоразумением, потому что никакого дома у нее никогда не было. Она жила своей семьей, то есть с мужем и потом с сыном лишь года три до войны, в крошечном поселке в Сибири, откуда они мечтали вырваться, и так как им казалось, что возможность эта вот-вот осуществится, то они не особенно и старались устроить свою жизнь. Честно говоря, к тому средств, если б они и захотели, не было никаких. Дмитрий работал на лесозаводе десятником, она, проработав несколько месяцев в школе, ушла в декрет. Та половина избы, что выделило им производство, поразила Николая Владимировича, видавшего виды, своей нищетой, когда он в сороковом году приехал туда навестить их. Потом они переехали под Сталинск, в такой же крошечный, но зато перспективный поселок; перспективность, которой им не удалось воспользоваться, потому что через неделю после их переезда началась война. Дмитрий был сначала в армии, но здоровье его было уже подорвано, его демобилизовали, он еще некоторое время проболел и умер. Уже тогда одной, с ребенком на руках, ей легче было мотивировать свое желание вернуться в Москву к родителям.

Она вернулась, но не девочкой, какой уехала шесть лет назад, и то, что прежде не замечалось, было естественным, теперь, по возвращении, изменилось и отравило ей жизнь. У нее не было своего дома! — вот что составляло суть ее мучений теперь. Не было ни у родителей, где она не ладила с Татьяной Михайловной, отвыкнув от ее нрава, от зависимости, в которую попадают неизбежно друг от друга люди, живущие бок о бок; ни у свекрови, тоже не меньше ее любившей самостоятельность; ни у золовки, отношения с которой испорчены были еще до войны, — не было нигде. Ссорясь со всеми, обижаясь, — самолюбивый ее характер еще усиливал обиду, — она мыкалась из дома в дом, нигде не обретши постоянного пристанища. Одно время она снимала комнату, но жизни у чужих людей не могла вынести совершенно, кроме того, это было страшно тяжело материально. Еще какое-то время все Стерховы одержимы были идеей разменять две их комнаты на три, меньшей площади, но затея провалилась, потому что никто не хотел ехать в полуразрушенный их дом, с дровяным отоплением и без удобств. Провалилась и другая затея: в сорок восьмом году Анна собралась было выйти замуж снова и уехала в Татарию, фактически выйдя замуж за одного своего сослуживца, но и этот новый брак ее был неудачен, и они снова вернулись.

Все эти мытарства и дали ей мысль об ее жилище, об идеальном ее жилище, где все будет не так, как было здесь, у родителей, у золовки и у свекрови. И прежде всего, у нее будет порядок. У нее будет порядок, тогда как здесь, у них, был беспорядок, неразбериха, которые, чудилось ей, и породили впоследствии все неудачи... И она часто повторяла сыну, желая воспитать в нем те же помыслы, или, ссорясь по очередному поводу, матери: «У меня будет не так». Это звучало заклинанием, это было больше, чем страсть к обычной чистоте и опрятности. Здесь был все тот

же принцип упразднения всего случайного, всего отклоняющегося от правила, от нормы, от линии. До той поры, однако, пока у нее не было своего дома, эти принципы применялись к ничему, к нулю. Это было комично отчасти, но скорее страшно, когда она, прибирая стерховские комнаты, рьяно выбрасывая какую-нибудь тряпку, попавшуюся ей под руку, или очищая от тряпья же комод, очевидно, делала это не просто так, но как бы проецируя все свои действия на то время, когда у нее будет свой дом, воображая себя уже там, у себя. Таким образом, это были действия как бы символические, поступки — как прообраз будущих поступков. «А когда-нибудь я выброшу и всю эту мебель», — читал совершенно отчетливо в ее глазах Николай Владимирович сейчас, когда она вытирала тряпкой муку, просыпавшуюся на скрипевший, покрытый прорезанной во многих местах старой клеенкой стол.

Лучше всего дело обстояло со второю сферой, у нее на службе, там все было как раз очень просто. Там эта боязнь уклониться от нормы, допустить небольшой люфт становилась вполне приемлемой формой или разновидностью инстинкта самосохранения, который подсказывал Анне меру поведения, не давая заноситься в ту или другую сторону. Оттого на работе она рисовалась всегда сослуживцам своим очень толковой и всего-то лишь немного педантичной порою. Она была выдержанна, строга, но в то же время и не настолько, чтобы отпугнуть людей...

Так все ее стремление оставалось чисто ментальным актом, невоплощенным, и единственный объект, находившийся в ее распоряжении, был ее мальчик, которого должна была она оградить от случая, во-первых, системой «разумных мер», во-вторых, дав ему свое знание жизни, свой опыт; которым она могла управлять авторитетом ли, еще не разоблаченным, истошным криком, бессильной, неосуществимой угрозой, в которую он, однако, верил, лаской или обманом. Николаю Владимировичу иногда становилось жутко, когда он вдруг осознавал на минуту, какого потенциального напряжения достигла Аннина связь с ее сыном, еще ничего не подозревающим и лишь по-детски обороняющимся несерьезно, какой катастрофой чреват этот обоюдный гнев, как жестоко, наконец, все это как по отношению к мальчику, так и по отношению к ней самой.

Но в другой раз ему казалось это мужеством, и он готов был преклониться перед нею, перед ее волей, перед ее страстью и верой в то, что, вопреки очевидности, все-таки можно выдержать даже там, где от тебя ничего не зависит, где тебе ничто не дано, и ты — лишь бесправный предмет приложения внешних, чуждых тебе сил.

-4-

Одним из наибольших Аннины огорчений в тот год было то, что мальчик весь год жил от нее отдельно, у тетки.

В прошлом году они попали в железнодорожное крушение. Дома изрядно переволновались, не встретив их вовремя, и лишь спустя много часов, после бесплодных и оскорбительных попыток узнать, в чем же дело, почему не пришел челябинский поезд, дознались, в тот же час

получив телеграмму, что все в порядке. Они счастливо отделались. Среди заснеженной степи поезд входил в крутой поворот, когда внезапно задний вагон был сорван центробежной силой с обледеневшего полотна и потащил за собой остальные вагоны. Их спас снег, слой которого был вровень с насыпью; падая, вагоны не переворачивались, но лишь ложились на бок и так скользили, чертя веерообразный след по равнине. Паровоз с багажным и почтовым вагонами вообще оторвался и ушел. Погибли в основном те, кто ехал на подножках (тогда подножки были еще открытые), то есть местные крестьяне, с мешками своими ехавшие в Шанталы на рынок. У самой Анны была ушиблена нога, у Николая довольно глубоко рассечена скула, но все же исход был, конечно же, именно счастливым. Происшедшее, с одной стороны, безусловно напугало Анну, еще более, чем всегда, возбудив ее ненависть к произволу случая, но, с другой стороны, тот факт, что они так замечательно спаслись, внушал уверенность, что случай можно как будто и обойти (хоть на сей раз, увы, не от нее зависело, обойти или не обойти).

Лишь иногда мужество покидало ее, и она понимала случившееся, как понимала бы его, скажем, ее прабабка, верившая не в теорию вероятностей, а в птиц-вещуний, то есть как дурное предзнаменование, как указанье, что ничего не выйдет у нее. И это было как раз в те минуты, когда она думала о сыне, который, живя отдельно весь этот год, все больше отдалялся от нее, все дальше уходил из-под ее контроля, так что она чувствовала уже, что меж ними стена и с своей системой разума она не может пробиться через нее.

Николая Владимировича также огорчало, что они не близки с внуком, но, упустив время, он теперь и не пытался это исправить, а только присматривался исподтишка к внуку при не столь уж частых их встречах, не вполне ясно представляя себе, что тот за человек и чего можно от него ждать. Очевидно было только, что Анна права и мальчик отвык от них немного и чувствует себя у них не вполне свободно.

В это утро его (мальчика) взвинченность, поспешные разговоры с матерью, которые он, явно и для него самого, вел по обязанности, с тем чтобы как можно скорей окончить и бежать по своим делам, заставили всех Стерховых особенно обратить внимание на него, прислушиваться к нему с особым пристрастием, может статься, и бессознательным, порожденным его же нервозностью.

Рассуждать о биологической наследственности применительно к человеческой душе обычно суть упрощать проблему постижения ее живой целостности. Николай Владимирович знал это, но не мог удержаться порою, чтобы вслед за Анной, когда та бывала недовольна своим сыном, и за Катериной, всегда утверждавшей, что Николай — все же гораздо больше из той семьи, не из них, не найти в его характере, в поведении определяющих каких-то черт того семейства, Кнетъириных, и не ведал только: действительно ли эти черты унаследованы и, значит, должны были все равно рано или поздно сказаться, или же просто переняты и развились в годы, что мальчик провел у тетки и бабки.

Издревле известный антагонизм был очень силен меж их семьями, хотя и не совсем равномерен. Николая Владимировича у Кнетъириных уважали и даже любили; к Анне относились в общем неплохо, хотя и посмеивались над ее пылкостью и сентиментальностью (насмешки, которых она им простить не могла, однако, и через тридцать лет); Катерину же откровенно не любили, считая ее очень ограниченной и грубой, неведомо как выросшей у такого отца. Но, подумав о ней, вспоминали наконец-то и о Татьяне Михайловне и заключали, что «в общем-то ничего удивительного нет в Катерине, а Татьяна Михайловна хоть и, безусловно, несчастная женщина, но винить в этом некого»... В свою очередь, то семейство наделялось у Стерховых родовыми признаками эгоистического равнодушия, самоуверенности, происходящей от преувеличенного понимания о собственной личности, и отталкивающего стремления к благополучию, чего бы оно ни стоило. Все это заведомо было несколько нелогично, поскольку ни о каком особенном благополучии или, тем паче, преуспеянии того семейства говорить не приходилось: все оно давно было уже разорено войнами и жизнью, и если кто-либо из них когда-то и нанес Анне или Катерине в их юности обиду своими высокомерными насмешками, оскорбил их убежденность в абсолютном своем превосходстве, то теперь давно был за это наказан, да так, что мера наказанья намного превысила вину. Возможно, что ввиду этой нелогичности, вслух, при ребенке, ни эти постыдные родовые свойства, ни их носители прямо, своими именами никогда не назывались. «У меня хватало такта, — заявляла Анна гордо, — не пытаться при нем опорочить ни нежно любимую им бабку, ни не менее чтимую тетку»... Не скрывалось от него — сознательно, из педагогических соображений, или потому, что скрыть уж было невозможно, — лишь общее неодобрение к той семье, а также некоторая жалость, что там его портят, тамошняя атмосфера, сохранившаяся неизменной несмотря ни на что, дурно влияет на него: он сделался нескромен, охладел к матери, стал с ней не так откровенен, как был прежде.

«...Я бы многое ему могла рассказать о них, я могла его настроить против них как угодно, — рассказывала Анна Катерине свой разговор с бабкой, состоявшийся вскоре после их переезда. — Николай был воск, и я, если б захотела, могла бы сделать так, что он и смотреть бы не стал в их сторону. Но я этого не сделала!.. Я так и сказала ей. И, представь себе, она меня поняла. Она это оценила и переменила свое поведение...»

Еще чаще они говорили ему: «Да, ты не похож на нас. Мы — более мечтательны, непрактичны, мы жертвенны. А у них этого не заведено. Они...» — и далее перечислялись, но обиняками, в смягченных выражениях, все те качества.

Это было, по его мнению, еще нелогичнее, потому что он страдал всего более именно от своей, невесть как овладевшей им мечтательности, полагая ее чуть ли не главным своим пороком. Валяясь часами на диване или бродя по городу, он не видел ни страниц в книге, которую держал перед собой, ни городской сутолоки вокруг себя и не мог зачас-

тую потом вспомнить ни прочитанных якобы глав (сам того не замечая, он машинально перевертывал страницы), ни виденного городского ландшафта, не говоря уже о подробностях архитектуры. Придя в себя, он вдруг пугался этой утери реальности, она мерещилась ему ущербной: он не успевал исполнить каких-то намеченных дел, он чувствовал себя хуже физически; морально, при том, что эпоха боготворила людей живого конкретного дела, практиков, ему было вовсе тяжело. Он давал себе всякий раз слово, что этого с ним больше не повторится, что отныне он будет всегда в действии, в динамике, в постижении того самого конкретного, что необходимо, чтобы добиться успеха... Но всей воли его не хватало, и снова мечтательные грезы заволакивали и затягивали его.

И внешне он также был похож скорее уж на Николая Владимировича; обещал быть ростом выше среднего, с узкой, сухою конструкцией головы, чуть сутулился уже, как и сам Николай Владимирович, и, главное, конечно, во всем облике его чувствовалась именно эта замедленность и стесненность, которая и выдает мечтателя. Анна, правда, склонна была больше замечать выдвинутый несколько подбородок, свидетельствовавший, как и у всех Кнетъириных, об упрямстве, и породистую бабкину родинку возле угла губ, с правой стороны.

Сегодня это отвратительное, бессмысленное упрямство выразилось в том, что он никак не желал ей сказать ничего о том новом приятеле. Сын долго звонил по телефону, возбуждая еще сильнее ее подозрительное любопытство, кому это он может звонить так усердно, когда с товарищами своими только-только расстался в школе, потом недовольный, видимо, разговором вошел в комнату.

— Так я не понимаю, почему ты не хочешь мне ничего рассказать о нем, — спросила она. — Что это за тайна такая? Вы давно знакомы?

— Да ведь давность знакомства не влияет на то, плохой человек или хороший, — отвечал он, и правда, быть может, чересчур довольный тем, что ему удалось таким парадоксом поставить мать в тупик. — Да, не влияет, — повторил он, оборачиваясь к деду и улыбаясь. — Я, да и ты, все мы знакомы со многими людьми, с некоторыми по многу лет, но никто из них не стал за эти годы ни лучше, ни хуже от нашего знакомства...

— Вот и сморозил глупость! — воскликнула Катерина из своей комнаты. — Ну, ты прямо в точности вылитый Василий, — то есть муж его тетки. — Тот тоже сморозит какую-нибудь глупость и буквально раздувается от счастья!..

Анна перегнулась от стола назад как бы для того, чтобы весело взглянуть на Катерину, на самом же деле делая ей предостерегающий знак.

— Да, не понимаю я Ольгу, — Катерина изменила тон на серьезный и сочувствующий, долженствующий означать, что она не намеревалась никак оскорбить тех родственников. — Нет, не понимаю! Ведь неглупая же баба. А вот до чего спесива! Никогда не признается! Всегда будет первой смеяться, что бы тот ни сказал... Ты, наверно, думал, что и у нас будет так же?! Нет, брат, — она подмигнула племяннику и расхохоталась, — у нас это не проходит! С нами востро держи ухо!..

— Подожди, — остановила ее Анна, обращаясь к сыну в давешнем, преувеличенно размеренном, символизировавшем рассудительность темпе, — подожди... Вот ты говоришь, что за эти годы никто от знакомства с нами, с тобой или мной, не стал ни лучше, ни хуже... Ты не прав... Нет, ты совершенно не прав. Человек именно становится лучше или хуже от того, с кем он знаком, дружит или общается. Если он общается с плохими людьми, то он сам становится плохим, потому что, перенимая их обычаи, усваивая их взгляды, он забывает то хорошее, что было привито ему.

— А по-моему, — вставил он, — совсем наоборот. Хороший человек с хорошими людьми и общается, а плохой — с плохими. И все остаются самими собой. Просто иногда может не повезти и вовремя эти хорошие люди не встретятся.

— Что значит «не повезти»? — бледнея, спросила она, ибо уловила за его словами все тот же призрак случая. — Человеку на то и дан разум, чтобы он мог управлять собою, независимо от того, повезло ему или не повезло... Надо верить в человеческий разум.

Сын неопределенно молчал, не догадываясь возразить, что в данном контексте слова «дан разум» и «мог управлять собою» и означают как раз доброкачественность. Но он не желал ни за что усложнять сегодня эту беседу, боясь с ее стороны внезапного взрыва, истошного гневного крика, какими нередко кончались их разговоры, крика, от которого буквально дребезжали стекла и люди во дворе спрашивали: «Это кто ж так орет?» Тогда вряд ли ему удалось бы уйти прежде нового примирения, а если б он и убежал, хлопнув дверью на эти крики, то все ж его совесть была бы неспокойна и ему пришлось бы заглаживать вину вечером, за обедом, когда уйти уж совсем было б нельзя, и он попался бы, как в мышеловку.

— Нет, все-таки ты не прав, — снова после паузы, оглянувшись на отца, начала Анна. — Ты не прав вот почему. Вот посмотри на своего деда. — Она еще раз, требовательно уже, взглянула на него. — Неужели ты полагаешь, что люди, с которыми ежедневно встречается он на службе, которые решают с ним разнообразные вопросы, может быть порою даже спорят, не становятся при этом лучше? Неужели ты полагаешь, что его влияние на них совершенно ничтожно? Что им безразлично, он это или на его месте кто-то другой?

Внук в самом деле, кажется, был остановлен этой мыслью и посмотрел на деда, как бы спрашивая: правда ли это? Николай Владимирович еще заранее, словно почуяв приближение этих вопрошающих глаз, отвел взгляд в сторону и даже повернул голову, якобы погруженный в себя. Его непосредственной за этим рефлекторным движением мыслью было, что, не умея и не обладая талантом вести беседу с людьми, особенно талантом педагогического назидания, он все же к старости научился обходить подводные камни и уклоняться, когда это необходимо, от ответов. Но тотчас же, будучи сформулированной, эта констатация показалась ему циничной. Он вдруг ощутил раздражение, затем гнев, и

внук, давно уж не присутствовавший при дедовых скандалах, вздрогнул, когда, сорвавшись в середине фразы на фистулу, Николай Владимирович закричал:

— В конце концов это бестактно, Анна! Я прошу тебя выбирать другие примеры! Я требую!.. Я в конце концов еще не покойник, чтобы при мне обо мне говорили!.. Я не желаю, слышишь?! Я не желаю!..

Стараясь как можно скорее забыть этот крик, странный, непонятно чем продиктованный, а еще больше тяжелый материн взор, уставленный неподвижно на деда, Николай выскочил на улицу.

-5-

Теперь ему нужно было миновать по улице всего три дома, свернуть в решетчатые ворота, пересечь аккуратный дворик перед желтым с облупившейся штукатуркой особняком, в котором помещался какой-то гуманитарный институт, и сквозь пролом в железной изгороди с тыльной его стороны выйти в другой двор. Прямо возле пролома и была дверь черного хода пятиэтажного, смотревшего фасадом в переулок, дома. Дом был большой, в виде буквы Г, построен в начале тридцатых годов, еще в эпоху конструктивизма, геометрически, без карнизов и даже без навесов над массивными, в несколько ступеней крыльцами. Окна его были вырублены квадратом, и оттого он весь казался приземистым, массивным, но, возможно, впечатление это усугублялось тем, что оштукатурен он был серым и еще потемневшим от непогоды цветом, и не гладко, а толстым, окаменевшим, пористым слоем. Особенностью его, единственного такого в этом старом районе, было то, что построен он был по «коридорной системе», правда, достаточно добротно и даже неэкономно; иначе говоря, коридоры его, бывшие как бы становой жилой для всей жизни в нем, игравшие в судьбах его жильцов роль много большую, нежели обычные квартирные коридоры, были весьма широки. На каждом этаже было комнат двадцать — двадцать пять. Лестницы также были широкими и пологими, еще шире потому, что первоначально, по-видимому, предполагалось в сердцевине лестничного винта встроить лифтовую клеть, до сего времени так и не встроенную. На этаж приходилась одна кухня с шестью газовыми плитами и две уборных, мужская и женская, по два места каждая.

В этом доме царствовали запахи. Из кухни, из уборных, вытягиваясь по коридорам на лестничную площадку, подымаясь или осаживаясь в вертикальном направлении, перемешиваясь горизонтально и диффундируя через любые преграды во все закоулки, они заполняли собой этот огромный дом снизу доверху и нигде, пока обоняние не притуплялось, нельзя было найти спасения от сложного смрада вчерашних щей, горелого масла, стирки, маленьких детей, водочного перегара, какой-то заурядной вони и чего-то еще, чего дифференцировать человеческий нюх уже не мог. Постоянные обитатели так вживались в эти запахи и пропитывались ими, что уже не замечали ничего, но посторонний человек даже несколько пьянел, войдя сюда со свежего воздуха, — особенно

как сейчас, зимой. Николай, приходя сюда уже года три, иногда по нескольку раз на дню, знал это очень хорошо.

Внизу было все-таки хуже всего. Задерживая дыхание, прыгая с бьющимся сердцем через две ступеньки, он добежал до половины марша на третий этаж. На площадке играли спущенным мячом в футбол маленькие мальчишки. Веня, жилец этого этажа, подвизавшийся последнее время грузчиком в продуктовом магазине рядом с домом Стерховых, стоял возле перил, наблюдая за игрой и изредка поддавая мяч ногой, когда тот подкатывался к нему. Он явно опохмелился с утра, движения его были неверны и усталое лицо бледно. Он издали протянул Николаю влажную руку и, долго не отпуская его, без особой, впрочем, надежды вглядывался ему в лицо. Он был добрый малый, но болезненный, потому здесь даже эти маленькие мальчишки его слегка подтравливали.

— Иди, иди, — наконец заговорил он. — Они все уже пришли. А если не в комнате, то в уборной... Там Медниковы крест делают, кто кого перевесит.

Братья Медниковы, толстый, бочкообразный Анатолий, флейтист в каком-то оркестре, и жилистый, худой, прекрасно сложенный, так что в бане все заглядывались на него, Егор, работавший учеником не то у плотника, не то у столяра, были местными силачами, и «крест», который они делали в уборной, был гимнастическим упражнением: в двух кабинках уборной они одновременно повисали крестообразно, держась за не доходившие до потолка переборки, — кто провисит дольше. Как ни удивительно, но с жирными своими телесами Анатолий, или Толет, как его здесь называли, держался всегда дольше тренированного своего братца.

— А ты что же не идешь туда? — спросил Николай у Вени.

— Я жду Витюлю, — ответил тот. — Ты знаешь Витюлю?

Уже подымаясь выше, Николай кивнул, невольно вытирая о себя ставшие липкими от пожатий и от перил, за которые он неосторожно схватился, руки. Витюля этот был какой-то темной личностью, но Николай помнил смутно, что он вместе с ним начинал когда-то учиться. Окрестные дворы и дома были наполнены этими бесконечными Витюлями, Вовулями, Лесиками, Колюнями и Шураями, еще некоторое время назад сопливыми, замурзанными, подающими надежды способными детьми, которые, внезапно и прежде срока развившись в городе, заматерели, и плебейство их, такое забавное раньше, вдруг повылезло изо всех щелей в каждом их слове и жесте и сделалось непереносимым. В силу ли более глубокой уже, внутренней несовместимости, природы которой он не понимал, но он чувствовал себя чужим им всем, хотя поспешно кивал, что знает, что знаком с ними, хотя здоровался и разговаривал с ними, а они, в свою очередь, смотрели на него с удивленьем, ощущая тоже это несродство и тоже не вполне постигая его причины. Конечно, некоторые из них не то что «рано развились» или «подавали надежды», но, при всей молодости своей, подлинно созрели и сформировались для зла, а попросту говоря, были обыкновенной шпаной, какой много было в послевоенные годы, подворовывающей, приблатнив-

шейся, страшившейся, но одновременно ждущей тюрьмы и лагерей, чтобы выйти оттуда уже совершенно утвердившись, обретя свое «я». Таких он боялся и ненавидел. Но поразительно, что и с вполне благонамеренными своими одноклассниками он не мог похвастаться настоящей близостью. Большинство из них были ему не интересны духовно, — он не посмел бы еще определить это так, ему показалось бы это высокопарным, — поэтому определял «просто неинтересны». С теми же, с которыми ему могло быть интересно, то есть с теми, о ком говорили в те времена «хорошо развитый юноша», с этими тоже если и был контакт, то не было искренности, благодаря тому, что все же не удовлетворялись в них какие-то его представления о том, каким должен быть идеальный или близкий к идеальному приятель. Первично это шло, может быть, как раз от матери, чересчур разборчивой здесь именно потому, что все реальные приятели казались ей ближайшими сподвижниками случая; сама Анна не допускала и мысли, что подозрительность ее может быть объяснена из чего-то другого, кроме «этого законного беспокойства», объяснена, например, отсутствием должной скромности или смиренной готовности принять людей такими, каковы они есть, или, более сложно, — возмущением, которое многие испытывают при встрече с «не-я», с другой личностью. Но Николай думал чаще всего именно так, особенно когда взаимное неприятие обнаруживало вдруг себя в стремлении к первенству среди остальных, ненужному и никчемному. Сознавая свою вину, он мучился, но ничего не мог с собой поделать, восставая против чужого влияния или авторитета чаще всего по пустякам. То, что теми, другими, двигала та же страсть, было некоторым утешением, но они лучше умели вести дела, и в проигрыше всегда был он, ибо эти его отношения роковым образом портились, и это он выходил из игры, не доведя до конца своего восстания.

Впрочем, все переживания эти существовали у него на подсознательном уровне: как и дед его, живя грезой, воображением этой идеальной дружбы или идеальных отношений, но не мыслью, он и не пытался никогда понять, что же нужно ему для того, чтобы видение его воплотилось. Только боязнь остаться совсем одному, выпасть из общего нейтрализовала как-то всегдашнее отталкивание. Сейчас, подходя к дверям Геворкяна, одноклассника его, сделавшегося в последний год как бы притягательным центром для всех них, он испытывал лишь всегдашнюю сумятицу чувств, какую-то неловкость, желание не идти туда, чему он не умел ничего противопоставить, кроме столь же панического и сумбурного намерения переступить порог как можно скорее, чтобы как можно скорее снять это напряжение отчужденности, которое, чудилось ему, было сильней, когда он был не с ними. «Ты не любишь Геворкяна? — спрашивал его другой их школьный приятель, здоровенный и простодушный малый по фамилии Валюев, необычайно Геворкяну преданный. — Это потому, что ты ему завидуешь. Ты сам хочешь быть первым»... Кнетьирин настаивал тогда, что это ошибка, что он не хочет вовсе быть первым, «но и признать за кем-то еще это первенство над собой я не хочу» — гово-

рил он. Это была сущая правда, подтвердившаяся потом всею его судьбой, и даже роковая в ней: что-то всегда мешало ему быть первым, первенство требовало каких-то издержек, на которые он был не согласен, но и признать над собой чью-то власть он не мог.

Он постучался и, услышав из-за двери деланный бас Геворкяна: «Прошу!» — повернул торчавший снаружи в скважине английского замка ключ и отворил дверь. Пришли еще не все, кто должен был прийти, он явился четвертым. У неубранного утреннего стола, застланного грязной, драной скатертью, усыпанной густо хлебной крошкой, потому что хлеб резали прямо на скатерти, вперемежку с окурками, вывалившимися из переполненной, к тому же с отбитым краем пепельницы, заставленного грязными тарелками, сдвинутыми к стороне, и гранеными стаканами с кофейной жижей, сидели сам Геворкян, спиной к двери, его мать, Белла Григорьевна, или за глаза просто Белла, и еще один их приятель из соседнего дома, на год старше их, — Кессельн. Это и был загадочный приятель, который нынче организовывал встречу Нового года и о котором так допытывалась у сына Анна Николаевна. Неизменный Валюев полулежал слева на кушетке, сколоченной из нескольких ящиков, набитых старьем, и досок, покрытых матрацем и сверху истертым ковром. Тощий матрац и сейчас выглядывал из-под сползшего покрывала.

Помимо этой кушетки и обеденного стола, другая мебель состояла из хлипкого письменного столика, выкинутого предыдущими его хозяевами на помойку, откуда и притащили его в прошлом году торжественно Геворкян с Валюевым; фанерного, по обыкновению растворенного настежь гардероба, да за ним отгороженной от посторонних взоров прорванной или истлевшей во многих местах холщовой занавесью никелированной кровати, тоже не убранной, как это хорошо было видно в прорехи занавеси. В углу справа от двери стоял, однако, еще столик, кухонный, тоже заставленный грязной посудой, прикрытой газетой, а рядом прибита была вешалка с крюками для пальто. Обстановку довершали прикнопленные кое-где к стене, без обоев, но просто с трафаретным рисунком по розовой штукатурке, репродукции — вырезанные из журналов натюрморты и пейзажи нидерландской школы, а также большой, в два журнальных листа, почему-то и со следами сгиба посредине, портрет Людвига ван Бетховена, висевший на видном месте над кушеткой. Конечно, из этого надо было заключить, что хозяева, вообще не чуждые искусству, особенно почитают гений этого великого композитора. Но существенной компонентой в этом почтении было то, что хозяева чрезвычайно были на него похожи. Это сходство замечали сразу же все входившие в комнату, и, разумеется, давно знали о нем сами хозяева. Судя по этому портрету Вальдмюллера, у них у всех было буквально одно лицо — тот же испорченный немного крепким подбородком и челюстями овал, то же широкое переносье, те же поджатые чуть губы. Только глаза у Геворкянов были побольше и почернее, и вообще южная какая-то резкость красок отчасти подпорчивала дело: слишком

черные волосы, слишком красные губы, — благородное северное равновесие в этом было все же нарушено.

Вдова погибшего на фронте, как говорили, заметного до войны в Ереване инженера-хозяйственника, растеряв всех своих родственников, работая лаборанткой на кафедре марксизма в каком-то учебном институте, Белла была теперь вполне нищей, но и в ней самой, и в гостеприимной ее комнате, где вечно толпился народ и вечно кто-нибудь лежал на жесткой кушетке, листая старые журналы, беспорядок был, пожалуй, несколько нарочит. Сидя в эту минуту у стола в грязном своем, свалявшемся байковом халате, с дымящейся сигаретой в зубах, с коленами, усыпанными пеплом, она понимала себя богемой, и уж, наверно, была ею в мнении своих соседей. Это не означало, что она была вовсе непрактична или не умела постоять за себя на кухне, где порою двадцать женщин, вернувшись со службы и разом начавши готовить, устраивали чудовищные по своим масштабам скандалы, гром которых разносился по всей коридорной системе с этажа на этаж, до самого низу, а то и до улицы. Но в ней отсутствовала систематичность, присущая заурядной бабе, и, кинувшись со всем пылом южанки в распрю, она скоро уставала от борьбы, бросала начатую политику и, прибежав часто в слезах к себе в комнату на другом конце коридора, хватала трясущимися от обиды и гнева руками какую-нибудь книжку, с отвращением отталкивая на край стола неубранную посуду, а заодно и все прочие неотложные хозяйственные дела. «Боже мой! Для этого ли я была рождена?! Об этом ли я мечтала?!» — восклицала она гортанным своим голосом, в порыве декаданса желая вообще умереть, уехать в горы, в Армению, бросивши здесь все к чертовой матери, или, по крайней мере, так и лежать здесь, не движась, не отвечая никому, никого не видя хоть один вечер. Разумеется, смолоду она мечтала стать актрисой, и лишь тяжелые жизненные обстоятельства помешали ей в том, потому что у нее находили способности или даже талант. Разумеется и то, что и по сию пору она оставалась страстной театралкой, — невзирая на то, что в театрах в те годы, по единодушному признанию даже газетной критики, смотреть было абсолютно нечего и театры почти не посещались, давая лишний повод экстремистам утверждать, что театральное искусство и вообще отмирает, — и надеялась, что если ей не удалось посвятить себя любимому ремеслу, то сын ее исполнит за нее ее мечту. Это окончательно делало ее богемой и в этом качестве даже опасной. Если все прочие юноши исподволь готовились своими родителями и школой, в том числе и учителями-гуманитариями, к инженерной или какой-либо другой физико-технической деятельности, — не только вследствие обычного в наши дни пиетета перед техникой, но и в немалой степени вследствие ясного понимания, что «какой-нибудь историей сейчас просто не проживешь» («Будешь всю жизнь, как Исаак Моисеевич, преподавать в школе и ходить в брюках с бахромой!»), — то она совершенно сознательно, а вернее, бездумно пускала и поощряла сына идти по этому неверному пути, где все так зыбко, где все ценности так эфемерны, а заработки так ненадежны. Поэтому не на

родительских собраниях, но в приватных беседах, благоразумными учителями и благоразумными родителями высказывались осторожные опасения насчет возможного влияния этой семьи.

Опасаться было чего, потому что и в самом деле на какое-то время увлечение театром вдруг охватило их всех. Вероятно, в этом возрасте у всех подростков наново пробуждается интерес к сцене, и многие начинают думать о ней — из тех, кто впоследствии и не вспоминает, — ставить любительские спектакли, играть или режиссировать. Поэтому и у них наверняка он пробудился бы тоже. Но как бы то ни было, и сам Николай, решивший вдруг сделаться актером, и его друзья, один из которых писал теперь пьесы, а другой стихотворную мистерию, обязаны были своим пробуждением этой Белле, смешной и опасной (с точки зрения их родителей), в своем восхищеньи и талантом сына, в своих попытках учить их актерскому мастерству и декламации, как она это разумела. Эта Мельпомена увлекала их, таким образом, путем вдвойне сомнительным. Постигая ее тайны, они ставили «Баню» Маяковского и разыгрывали мизансцены с ожиданием на вокзале.

Анна во всем этом уповала лишь на одно. На то, что Николаю тот факт, что он обязан своим увлечением этой Белле, что, значит, он опять несамостоятелен (в чем Анна его и упрекала часто, имея в виду под самостоятельностью все, что угодно, кроме, конечно, высвобождения и из-под ее влияния тоже), покажется рано или поздно оскорбительным, и он тогда постарается избавиться от благодарности, хотя бы для того пришлось пожертвовать самим увлечением. Она была проницательна в этом случае, реакция у него, кажется, уже наступала.

Он вошел в комнату. До того, как он вошел, разговор тоже был, очевидно, о театре, потому что Белла, будучи, верно, в ударе, сразу же после приветствий, махнув ему полной рукой, подчеркивая как бы, что дом у них простой и нецеремонный, тотчас же стала вновь показывать, как нужно, по ее мнению, изображать на сцене гнев. Она сдвигала к переносице густые и так почти сросшиеся брови, взбычивала голову и трясла черными кудрями. Игра была вполне на уровне провинциального театра, но только, пожалуй, все же середины прошлого века, когда постылый натурализм еще не вторгся на сцену. Слушатели были в восторге, и сын одобрил ее прежним своим раскатистым хохотом и басом.

Валюев, тем не менее, как человек, склонный к трезвости ума, подмигнул Николаю со своей лежанки. Белла не очень хорошо к нему относилась: хоть ей и льстила преданность его ее сыну, она считала, что все-таки он слишком прост. Заметив, должно быть, улыбку приятеля или вдруг стесняясь перед Кнетъириным матушкиного аристократизма, Геворкян грубо кашлянул и, прерывая дальнейшую демонстрацию, поинтересовался:

— Ну как, все в порядке? С родительницей не повздорил?

При этом он заулыбался, и все засмеялись, ибо страстность Анны Николаевны была им хорошо известна.

— Н-нет... — все же запнувшись, вымолвил Кнетъирин.

— Ну и слава Богу, — ответствовал Геворкян. — А как ты решил идти туда: э-э... один или?..

Вопрос был щекотливый. Речь шла о некоей Ольге, девочке, жившей неподалеку, с которой у Николая не так давно началось нечто вроде романа. Теперь, по идее, он должен был идти встречать Новый год с нею. Поскольку они, однако, были приглашены в чужую и девическую компанию, где требовались только молодые люди, а девиц и своих было достаточно, то возникла известного рода неловкость.

— А ты полагаешь, — пересилил он себя, — что... как лучше? — Совесть мучила его, но и решиться сказать твердо — да или нет — он тоже не мог.

— Видишь ли, тут вот какое дело... — Геворкян помедлил, наслаждаясь своей властью сейчас над ним. — Ты не звонил сегодня туда?

— Нет, не звонил.

— Тут забегала с утра Танька. Она говорит, что там у них опять с братом что-то, опять неприятности. — Соболезнуя или просто пытаясь понять его выражение, Геворкян заглянул ему в глаза.

— Ах, это просто черт знает что такое, — сокрушенно вздохнула Белла. — Какой ужас! Ведь всего год, как вернулся! Мать, наверно, места себе не находит, а? Или там, говорят, такая мать, что ничем ее не проймешь, а?

Николай пожал плечами.

— Ах, боже мой! — воскликнула она уже специально для него. — Такая милая девушка! И такой братец... И ведь она тоже хочет стать актрисой? По-моему, у нее есть способности.

— Не говорят о веревке в доме повешенного, — сострил, посмотрев на сумрачного Николая, Кессельн, мальчик умный, но Николаю неприятный и вообще холодный.

Геворкян усмехнулся шутке, но счел ее все же бестактной и, перебив того, собиравшегося продолжать, сказал:

— Нет, там трудность та, что мать взбеленилась и не хочет теперь отпускать Ольку из дому.

Не зная, что ответить, Николай молчал.

— Ну, я думаю, мы вот как поступим, — осторожно начал Геворкян, опасаясь некстати уверенной интонацией растревожить кнетъиринское упрямство, но тот лишь обрадованно поглядел на него. — Я думаю вот как. Сейчас тут должна прийти одна из них, даже двое... Потом мы пойдем туда, к ним. Там все обсудим, обо всем договоримся... И ты сам посмотришь и решишь. Судя по обстановке. Что лучше. — И он, хитро прищурясь, щелкнул пальцами.

«Посмотришь и решишь» могло здесь означать только одно: Кнетъирину предлагалось посмотреть, нет ли там, среди новых, еще неизвестных им знакомых, такой, которая понравилась бы ему больше, нежели теперешняя его пассия. Если окажется, что есть, то он волен был, благо отношения их зашли не так еще далеко, не звать с собой эту.

В диспозиции сей ощущалась некоторая циничность, но не столь уж большая. Со стороны же Геворкяна это была чуткость, — он даже был

сейчас доволен собой за эту свою чуткость и, выпрямясь, скрестивши на груди руки, улыбался углом своего хорошо очерченного тонкого рта и, чтобы скрыть это, прятал начавший полнеть подбородок в ямку между ключицами. Зная отлично своего приятеля с его терзаниями, он как бы приходил сказанным ему на помощь, как бы забывал старые распри и, освобождая его совесть тем, что брал на себя смелость высказать эту дилемму, таившуюся у того глубоко в сердце, говорил: «Ну, что ты мучаешься? Я бы на твоем месте поступил вот как. Здесь нет ничего безнравственного. Не выдумывай. Пойдем». В улыбке его, однако, было также и что-то мефистофельское, а в словах мог быть и другой оттенок, подумал Николай. Они могли означать и такое: «Э-э, я знаю тебе цену. Ты надеешься вот на что и только боишься сказать это даже самому себе. Что ж, я вижу тебя, твою слабость, но я готов прийти тебе на помощь»...

Но сейчас, в этот предпраздничный день Кнетъирину не хотелось вовсе принимать эту вторую гипотезу — очень возможную, кстати, наряду с первой, — и он поспешил поскорее избавиться от них обеих, сперва словно растолкав все свои мысли в разные стороны, чтобы образовалась пустота, а затем заполнив ее уже тем, что было ему приятно. Как и мать его, он питал иллюзии, что таким путем ему удастся управлять собою. На сей раз и в самом деле это как будто удалось, и насильно вызванное сначала то праздничное, удивительное настроение, которому завидовал у него и сравнивал со своим дед, зацепилось за что-то в душе и стало разрастаться.

-6-

Это было восхитительное, уцелевшее от детства, на несколько лет, по видимости, ослабнувшее и теперь, вот уже года два, разбуженное от дремоты, усилившееся и невероятно усложнившееся самоощущение. Он стыдился немного перед самим собой того, что оно носит такую несомненную печать инфантильности, и уж, тем паче, опасался хоть чем-нибудь выдать себя перед другими, разоблачить себя в мечте о подарках, в любви наряжать елку, в не достойной мужчины суете, охватывавшей его задолго до полуночи, за несколько порою дней. Даже чисто детская боязнь, что все вдруг сорвется, что вдруг взрослые недоучли чего-то и выйдет конфуз, просыпалась у него, и с трудом уже он удерживался от вопросов: а все ли куплено, а не забыты ли свечки, и не получится ли позора оттого, что кому-то из приглашенных не хватит места или забыли приготовить подарок. Волновало его также, кто и где будет сидеть и не нужно ли приготовить записочки с указанием мест, как, он видел, делалось в одном хорошем доме, и не нужно ли также написать приветственные стихи для каждого гостя. Последнюю идею подсказал ему дед, но у всех приятелей его, независимо от преданности их искусству, она вызвала лишь недоумение — весьма реалистическое, как мог он убедиться в том хоть и не на богатом, но достаточном опыте, скопившемся к этому времени у него: сколько раз они ни собирались, всегда усаживаясь за стол, была одна и та же картина: если не было родни и они предоставлены были

сами себе, то они плюхались на место вполне свободно, устраиваясь поудобнее на диване, к которому обыкновенно бывал придвинут стол, и не желали уже оттуда вылезать, с напускным безразличием, сидя, встречая юных дам, являвшихся попозже. При этом он сам не бывал исключением из правила, боясь хоть в чем-то выдать себя или даже забывая напрочь о давешних своих куртуазных поползновениях.

Но он, пожалуй, забыл бы о них, а также обо всех прочих реликтовых порождениях детства, оживших было перед праздником, не только на время чадного первого веселья, первых стаканов вина, первых папирос, первых танцев, а и вообще насовсем, если бы они вдруг не получали поддержки в ином еще, неизмеримо сильнейшем, основоположном чувстве, одолеть которое он был не в состоянии, да и не пробовал, настолько, он знал, оно связано было с глубинами его души. Это чувство было ожиданием чего-то совершенно нового, долженствующего наконец случиться в праздник; ожиданием праздника как чуда, способного разом и вдруг изменить всю жизнь, казавшуюся с этой вершины, с этой переломной точки дотоле однородной. Это была надежда на какое-то невероятное преображение, после коего необходимо начнется нечто абсолютно новое, вернее, именно что не совсем новое, но пока лишь предугадываемое, видневшееся пока лишь в грезе, то неясной, то, наоборот, детализированной до мелочей лихорадочным, сладострастным бредом. Он понимал, до него доходило иногда, что это не столько даже наивно, сколько жалко — относить к какой-то дате начало новой жизни, что это свидетельствует о безволии, таком же глубоком, каково и само это чувство, но все равно решительно не представлял себе, какие именно шаги следует предпринять для осуществления своих желаний новой жизни, ибо хотел, кажется, слишком многого и, словно руководствуясь принципом «все или ничего», словно выжидая, пока судьба сама вспомнит о нем и даст ему шанс. Об этой судьбе он и мечтал, по многу часов валяясь на своем диване у тетки, но под праздник дистанция между поэзией и действительностью вдруг сокращалась и даже исчезала вовсе. Его переполняла уверенность, что воплощение вот-вот наступит, он отделен от него лишь днями и, применительно к реальному месту, к обстановке того дома, где предполагал он встречать праздник, — обстановке, которую рисовало по каким-то таинственным психическим законам ему воображение, — судьба его очерчивалась, конкретизировалась, облекаясь в видение живой, прекрасной женщины, в нее. По тем же законам он видел ее очень ясно, видел ее лицо, ее фигуру, то, как она будет одета, — по выражению поэта, «от гребенок до ног», — и видел параллельно себя: где будет в то мгновение, как она войдет, он; как они впервые увидят друг друга, что скажет она ему... как увидятся они назавтра... и как отныне непрерывным восхождением станет вся его жизнь — или, лучше сказать, восхищением, потому что будет именно восхи́щен, как бы даже помимо себя, чужой волей он, полностью согласной, однако, с его.

Таким образом, это почти не было влечением только к деве. Нет, он даже сам понимал, что здесь это не пробудившаяся любовь или жела-

ние любви, и даже сам страдал порою от своей неспособности, — хоть и был по натуре влюбчив, — полюбить, увлечься до забвения самого себя, и неспособность эту приписывал своему цинизму. Смутно, в редкие минуты ему открывалось, что, быть может, ему даже суждено так никого и не полюбить по-настоящему.

Отсюда и та реальная подруга, которою, как казалось его матери, он в эти месяцы очарован был до потери сознания, была, очевидно, «не то». Геворкян понимал это лучше, нежели Анна Николаевна, хотя, вероятно, несмотря на все свое тоже честолюбие, не догадывался об истинных размерах этого «не то», вкладывая сюда содержание более обыденное: не то, потому что дурна собой, не то, потому что не умеет одеться, не то, потому что затравлена и озлоблена... да мало ли еще почему. Выбор этот, когда Николай его сделал, и впрямь, удивил многих. Она, конечно, не была так уж дурна, наоборот, она была мила, — ему, по крайней мере, нравился этот тип. У нее были белокурые, даже белесые у корней на висках и на лбу волосы, светло-серые глаза, короткий чуть обесформленный носик, правильный, ровно эллиптический овал полного лица. Ноги были хороши, но фигура хуже, что, однако, гораздо больше усугублялось жалкой ее, потрепанной школьной формой или не менее жалкими костюмчиками, в которых она обыкновенно являлась в компанию, а также манерой, стесняясь своей нищеты, держаться ссутулясь и по возможности сократясь. «Нет слов, — говорила Анна, — она много бы выиграла, одень ее получше, причешись она иначе, без этой сиротской прилизанности, заставь ее не горбиться... ей ведь всего шестнадцать лет!» Но та словно бы и не хотела выглядеть лучше и лишь злилась, когда ей на это указывали. Отца у нее не было, была лишь мать, работавшая где-то в бухгалтерии на заводе, баба характерная, простая, ядовитых маленьких глазок которой Николай побаивался, да отчим, персона тихая, малозаметная, — калмыцкое лицо его было скрыто обычно за роговыми очками, в которых он читал газету, — не произносившая, кажется, ни слова, но, судя по всему, обладавшая какой-то властью. Насчет матери у Ольги был комплекс, поскольку весь гнет характера той приходился на нее, раз только она и была под рукой, а любовь (во всяком случае, проявленная любовь) доставалась беспутному старшему брату, понемногу становившемуся из слесаря профессиональным вором. Теперь он сел в третий раз, если слух, сообщенный Геворкяном, был верен, и предстоящая разлука, сильнее прежнего привязав мать к нему, должна была обострить ее отношения с Ольгой. Другой никакой родни, например, бабушки, которая всегда так скрашивает детство, у Ольги, по-видимому, не было; каков был ее покойный отец, Николай также не знал; и так, не зная, по сути, ничего о ней, зная лишь мать ее и брата, не мог сказать, откуда взялись в ней своеобразная ее душевная тонкость, различная одаренность и нетривиальный ум, приобретший под действием обстоятельств несколько мизантропический оттенок. По складу своему она была скорее необщительна и среди сверстниц одинока: действительно, трудно иметь дело с такой затаившей недоброжелательство к

миру девочкой, девушкой даже, уже не подростком. Об этом скрытом всегдашнем недоброжелательстве предупреждала как-то Анну, тоже удивляясь выбору ее сына, Ольгина классная наставница, пришедшая однажды в квартиру Стерховых к тетке Анастасии по поводу ее падчерицы (несколько лет назад Андрей с теткой Анастасией взяли себе из детского дома эту девочку, теперь уже учившуюся в седьмом классе). Анастасии не было дома, и с учительшей, женщиной весьма незаурядной и интеллигентной, разговорилась Анна. На сей раз случай был на ее стороне: между ними через полчаса уже установился самый крепкий союз, доверие и симпатия по единству взглядов.

— Да, я сама поражаюсь этому выбору, — грустно говорила ей через полчаса Анна. — Поражаюсь, и, по совести вам сказать, мне это очень, очень даже неприятно... Не потому, что у нее такая семья... нет, это, в конце концов, не играет роли... Но потому, что в характере моего сына мне открылась новая черта, какой я не ожидала в нем встретить. И вот это мне неприятно, ах, как неприятно. Ведь он, — и она сжимала свои худые пальцы в кулак, — ведь он взял то, что плохо лежит. О, я не хочу вовсе сказать чего-нибудь плохого об этой девушке, упаси боже. Я говорю лишь о том, что он, он не дал себе труда выбрать что-нибудь получше. Я имею в виду «не дал себе труда» даже в каком-то географическом, что ли, смысле, — она рядом живет, она учится рядом, он каждый день видит ее — ведь это, это, а не что другое определило его выбор, его предпочтение!..

Услыхав переложение этой беседы из уст Катерины, лишь немного упредившей Анну, тоже все только выбиравшую подходящую минуту, чтобы сказать сыну, что думают о нем те, кто желает ему блага, он был в общем-то с ними согласен. Он и сам порою удивлялся себе, а если пробовать раскопать свое чувство дальше, то не одну из последних причин находил в робости, не вполне ясной какой-то робости перед жизнью. Он готов был уже согласиться с этим, поверить себе, что именно это, а не что другое препятствует ему броситься на улицы, на площади, в дома, в концерты, куда угодно, ища себе такую, какая грезилась ему, но внезапно рядом с этой робостью или, быть может, и ленью вставало ощущенье еще иного порядка: что ему невозможно вести себя так, как ведут себя другие, ибо его это недостойно; недостойно бежать, задыхаясь, по этим самым улицам и площадям за ускользающей, вечно разочаровывающей тенью. Странная гордость, — позволявшая лучше взять то, что само плывет в руки, но лишь бы не двинуться самому, лишь бы не ошибиться, не принять за судьбу того, что еще не было ею, лишь бы, с каким-то удовлетворением даже, сказать себе вновь: нет, еще не то... все еще только будет...

По какому-то диковинному совпадению эти самые слова повторяла беспрестанно ему и Анна, хотя, Бог знает, какую подлинность вкладывала в них она. Ей мнилось, что она поступает так, как нужно, — мудро. Она знала, что ни под каким видом, как бы ни пугала ее эта связь, разверзая бездну хаоса через эту мать с хитрыми глазками, через этого

брата, не следует пытаться здесь противоречить: любое прекословие способно было лишь вызвать в этом упрямом мальчике желание во что бы то ни стало обойти его, да и запретный плод всегда слаще, вспоминала она. Поэтому она даже старалась найти в случившемся хорошие стороны, обратить все на пользу ее сыну. Она удостоверилась, что это и воистину мудро, когда, пригласив девочку к ним домой, а затем приглашая бывать еще и еще, очаровав своею приветливостью, своим интересом к ней, пониманием жизни, нашла, что та вовсе не так уж озлоблена, как говорили, не так уж дурна, бесспорно умна и, главное, легко отходит при нормальном человеческом обращении. Польза же от нее могла быть та, что, будучи наделена нетривиальными чувствами, она оскорблена была своим униженным состоянием, желала переменить его и рассчитывала в этом, кажется, только на свои силы, — в своем порыве, по мысли Анны Николаевны, она должна была увлечь за собой и ее сына, не давая уснуть его энергии. Девочка даже была ей мила, привязываясь к ней все больше, сосредоточенно внимая ей жадной душою, долго не получавшей подобающей пищи, восхищаясь ее глубиною, мужеством, глядя на нее чуть ли не как на высшее существо.

«Как бедность унижает человека! — поверяла Анна девочке опыт всей своей жизни. Николая Владимировича не было дома, и они сидели рядышком, притулившись на том же диване, так располагавшем почему-то к откровенности. — Не верьте, если кто-то будет говорить вам, что это не так. Человек становится хуже от этой вечной материальной зависимости, она сдавливает его, отнимает у него по мелочам все силы. Люди озлобляются от этого... Боже мой, сколько я видела людей и талантливых и умных, совершенно потерявшихся, опустившихся, измельчавших...» — Она с отвращением морщилась и делала такой жест рукой, словно отталкивала от себя что-то ничтожное и недостойное. Это был важный акцент в ее миропонимании: она не сетовала банально на рок, оставляющий талантливых людей погибать в бедности, но обвиняла их самих в первую голову: они сами были виноваты, у них самих недостало воли, они сами опустились и измельчали, не сумев стряхнуть с себя ярма! И, схватив порывисто девочку за руку, точно желая влить всю себя, всю свою ненависть к незадавшейся своей жизни — в нее, стискивая ее руку, она молила: «Ах, как я не хотела бы этой судьбы для вас! Как я хотела бы, чтобы все у вас было не так, иначе!» — Она даже была готова просить: «Обещайте мне, обещайте, что у вас все будет иначе!» Но ее останавливала не столько даже очевидная бессмысленность такой просьбы или такого обещания, сколько обязательно всегда возникавшее у нее, как реакция на откровенность, подозрение, что девочка может оказаться не так уж простодушна и всего лишь прикидывается с нею искренней, не без умысла сохранить до поры до времени, пока ей это нужно, хорошие отношения с матерью своего возлюбленного, а потом вдруг обернется волчицей. И тогда, тревожно всматриваясь в черты своей наперсницы: не проскользнет ли там коварной усмешки, — она решала не вкладывать, на всякий случай, в возможные свои беседы с сыном об этой девочке

никакой страсти, наоборот, относясь о предмете с максимальной легкостью. Заурядное благоразумие, кстати, требовало того же: не считать это увлечение в таком возрасте слишком серьезным, паче того, последним: сколько раз еще все переменится, мало ли еще сколько их будет. Важно было только, чтобы он не выкинул какого-нибудь фортеля, вбив себе в голову, что он должен и тому подобное; тогда это была бы катастрофа. Анна Николаевна холодела при такой мысли, воображая себе почему-то ту заснеженную равнину, какая предстала им, когда из-под опрокинутого вагона, прорывши в снегу ход, они выбрались наружу, и, не отойдя еще от этого могильного холода, словно подгоняемая им, с тем большей лихостью, встретясь назавтра с сыном, повторяла: «А, сколько их еще у тебя будет! Я, знаешь ли, не очень-то верю в длительные союзы в твоем возрасте... Сколько их еще будет!» Да, наверно, это не так уж и нужно... Она не заботилась, таким образом, не оскорбить в нем романтического начала, провоцирующего искать и находить в возлюбленной окончательное воплощение идеала, но старалась, напротив, привить ему «чуточку» житейской хитрости, здорового умеренного легкомыслия, которое она, ни в коем разе не считая цинизмом, называла «философичностью», интуитивно уверенная, что ум человеческий не изобрел принципа выше, нежели «и это пройдет», — слова царя Соломона.

Держа в памяти эту философичность, она и не полагала также нужным оберегать чувство сына от посторонних вторжений, сама по-прежнему касаясь его лишь, как она думала, мягко. Резкие переключения сознания, считала она, будут ему только полезны: полезно с небес почаще спускаться на землю. Именно поэтому, а не по чему другому, она бывала даже довольна, — не слишком демонстрируя это, но и не слишком скрывая, — когда Катерина, которая в молодости была хорошенькой, да и сейчас еще очень недурна и которой, в частности, и поэтому тоже, выбор племянника представлялся совершенно неприемлем, долго молчавшая во время очередного какого-то назидательного разговора Анны с сыном, под занавес уже, — Николай, раздраженный, порывался уйти и был одет, — заметила:

— Ну вот, не знаю, хочешь — не хочешь, а я тебе скажу свое мнение. Уважаешь ты меня или не уважаешь, но я скажу. Я очень удивлена. Я молчала долго, как ты видишь, но я очень удивлена.

Он не владел еще искусством ни уходить от подобных вмешательств, ни пресекать их в самом корне. Вместо того он глупо спросил, натужно улыбаясь:

— Удивлена? Почему же?

— Как почему?! — изумилась Катерина. — Да глаза-то у тебя есть или нет?! Где они у тебя?

— Где надо...

Он хотел было приискать еще какой-то ответ, погрубее, но было уже поздно.

— Где надо?! — обрадовалась его тетка. — А я-то думала, они у тебя на ж...!

-7-

За столом меж тем Белла возобновила разговор о театре, и все спорили о том, надо ли человеку искусства что-либо знать или лучше не знать ничего, чтобы свежее и непосредственнее были чувства. Юноша Кессельн, в котором природное сальериевское начало было заботливо усилено еще научно-популярными журналами, стоял на той позиции, что современная наука объяснит скоро каждое движение человеческой психики, изложив его на языке математических формул, и, значит, человеку искусства нужно будет прежде всего усвоить этот язык, дабы в согласье с ним уже моделировать замысел. Белла была не против, но понимала это как-то более лично.

— Да, вам надо много, очень много знать! — восклицала она, уже безоговорочно записывая их всех в актеры, хватая со стола нож с обломанным костяным черенком и почерневшим лезвием и указывая им, — вам надо знать и то, и то, и то! Чтобы никто не имел права уличить вас!

Она теперь уже по-настоящему гневно взглянула, но куда-то словно бы в сторону, мимо присутствующих, на мгновение отстраняясь. Вероятно, кто-нибудь, скорее всего на кафедре, но возможно, что и из пылких родителей, сильно ее донимал намеками на невежество и неправомочность ее претензий.

— А вы думаете, Белла Григорьевна, — засомневался с кушетки Валюев, — они что-нибудь знали?

— Кто они?! — Она не остыла еще от привидевшегося ей и говорила с смешным, бóльшим, чем всегда, акцентом.

— Ну они... великие... Шаляпин или другие еще... Бетховен?..

— Бэтховен?! — вскричала она. — Он знал жизнь! Он страдал и понимал других!

— Что ж, — хмыкнул Валюев, — оттого, что я буду знать, скажем, посадили Ольгиного брата или нет, я буду лучше играть?

— Ты лучше играть никогда не будешь! — отрезала Белла. Она комично сердилась, посматривая на своего сына, но тот, не зная еще, куда гнет его приятель, только смеялся, скрестив на груди руки, откинувшись и балансируя вместе со стулом.

— Так при чем здесь это? — повторила Белла.

Валюев, который обязательно, видно, хотел доказать им всем что-то для себя важное, теперь сел на своей кушетке, тогда как до этого лежал.

— Да ведь это и есть жизнь. — Идеи его находились, кажется, в русле традиционного правдоискательства, но Белла в данном случае не желала придерживаться того же.

— Это — жизнь?! — возмутилась она. — Поймали здорового бездельника, когда он тащил кружку с пивного прилавка, и это называется жизнью? Да по нему и так каторга плакала!

— Вы этого не можете знать, Белла Григорьевна, плакала или не плакала. Может, он как раз хотел по-другому зажить, работать собирался...

— Да уж работать! Ключи да отмычки делать — вот и вся его работа.

— Нет, вы не знаете, а он мне говорил.

— А собирался, так и нечего было красть.

— Так он же пьяный был!

— А, пьяный! Пить я его, наверно, заставляла! Ты хорошо соображаешь, как я погляжу!

Она, торжествуя, скрестила, как и сын ее, руки на груди, абсолютно забывши, конечно, о чем у них в начале был спор и в чем, следовательно, она только что оказалась права. Впрочем, ни у кого из них еще не доставало способности в разговоре помнить, с чего началось, и выдерживать какую-то одну главную мысль. Поэтому Валюев теперь отстаивал только Ольгиного брата, с которым он жил через двор.

— Так надо еще разобраться, почему он пил, — после некоторой паузы возобновил он, опешив все же немножко от того, куда завела его логика беседы. — Да, надо разобраться... У него жизнь так уж сложилась. Ему трудно было ее сразу перевернуть-то...

— Жизнь! — вспомнила Белла, но сама не стала логичней. — А у тех была страсть! Понимаешь?!

— Нет, вы не правы. — Он уперся и отмахивался теперь от ее искусства. — А то получается, как всегда у нас: наломают дров, закатают на полную катушку, а потом... Вот сейчас говорят же, что ошибок много было...

Внезапно это насторожило Кессельна:

— Что ты имеешь в виду? — и он по-птичьи наклонил маленькую свою головку.

Но примерно было понятно, что имеет в виду тот. Кончился пятьдесят третий год, с марта месяца перемежавшийся разнообразными смутными волнениями. Точно ничего еще не было известно, не появилось еще ничего, кроме, как говорили, какой-то статьи в теоретическом партийном журнале (которого молодые люди, разумеется, не читали), но слухи о том, что были допущены какие-то ошибки, что имелись, по крайней мере, какие-то перегибы у Сталина и со Сталиным, уже распространились и пронизали все общественные слои, классы и возрасты. Здесь, в этой самой комнате, так же много уже говорилось на эту тему и много было пылких споров, тем более пылких, что никто из них не ведал толком даже писанной истории и не догадывался расспросить родителей или других взрослых, что помнят они из того времени, если только что-нибудь помнят, потому что память человеческая не только обладает избирательностью, но и своего рода проективностью, трактуя прошлое в соответствии с канонами настоящего; не читали они еще также толком газет; не имели никакого социального опыта, кроме опыта двора, улицы и школы, обобщить который они все равно пока что не могли, — словом, они были вполне девственны в данном вопросе, но равно и неразборчивы. У Геворкянов, через комнату от них, был сосед, занимавшийся какой-то литературной поденщиной. От него, главным образом, они и узнавали все свежие слухи, которые, впрочем, тут же подтверждались остальными соседями, соседками и родителями. Иногда и на улице, в магазине в очереди, где стояли они, посланные матерями или собравши по кругу замо-

танную сдачу себе на бутылку вина, какой-нибудь мужчина, одержимый, как и многие в России, страстью к просветительству, любовно анализировал ситуацию, хоть и сам был не особенно сведущ. В политике, однако, как и в искусстве, необходима некоторая чистота восприятия, которую профессионализм и многознание обычно губят без остатка; страдая поэтому от своей неопытности, они, тем не менее, в чем-то были также и искусны и, не утратив еще непосредственного, некорыстного интереса, чутким ухом улавливали незаметные другому колебания и всплески фона, постоянно держась в напряженном ожидании каких-то событий. Только Кессельн, придя в их компанию, сразу же показал, что этих разговоров не только не любит, но даже готов презирать тех, кто ведет их, — не по чему другому, кроме как потому, что «все это слухи и неприлично заниматься ими»... У него была какая-то странная, довольно спесивая мать, напоминавшая Анну странными своими идеями насчет того, что прилично, а что нет. Именно поэтому он отреагировал сейчас так резко. Но Валюеву хотелось явно поговорить. Он даже встал и пересел к столу, с того края, куда были сдвинуты грязные тарелки, но он не обратил на них никакого внимания, уставив меж ними локти.

— Ну ладно, Белла Григорьевна, — он улыбнулся, в смущеньи никчемно трогая пальцами кожу лица то на лбу, то на розовых, опушенных светлым пухом щеках (он был того типа, который называется «кровь с молоком», то есть был очень здоров и силен, но кожу имел нежную, тонкую, под которой видно было, как играет кровь). — Ну ладно. — Он еще раз посмотрел, очень издеваются они над ним или нет. — Я только хочу сказать, что так нельзя судить сразу. У него жизнь была неудачная, вот в чем причина.

Он опять говорил про злосчастного Ольгиного брата.

— А у меня не неудачная? — спросила Белла.

— Я ничего не говорю, у всех неудачная. Так вот и надо разобраться, почему это так.

— А почему? — спросил Николай.

— Да, вот почему? Почему у меня батька двадцать лет работает, а копейки получает? Почему у меня сестра замуж выйти не может, — им жить негде? Почему? Во всем этом надо разобраться?

— Так ты все-таки какое даешь объяснение? — повторил Николай. У него самого родился вдруг ответ, но он не хотел сказать его прямо так, сразу, гордясь собою и желая выведать, не ответит ли кто-либо другой так же.

— Так почему же, потому что война? — подсказал он.

— Да, и война тоже, — не стал спорить Валюев. — Ну, и вообще... я даже не знаю сам, почему, — признался он покрасневши. — Как-то не задалась жизнь, наверно. Я о нашей семье говорю. Может, мы и сами виноваты. Кое-кто, наверно, и лучше нашего живет. Но, с другой стороны, многие тоже жалуются. И из работяг тоже... Трудностей много еще.

Николай обрадованно слушал его, не потому, что был с ним одного мнения, но потому что все сказанное как-то очень удачно ложилось в

линию с этой новой его внезапной яркой мыслью. Он даже поерзывал немного от нетерпения, и нетерпение его наконец было замечено.

— Ну, давай! — ободрил его Геворкян, опять, быть может, не без задней мысли проверить, стоит ли чего-нибудь идея, гордости за которую не умел скрыть его приятель-соперник.

— Я думаю, — волнуясь, произнес Николай, — что в чем-то ты прав, конечно. У нас есть трудности с жильем и в сельском хозяйстве отставание... это верно. Но мне кажется, что все это не имеет значения. Да, не имеет. Все дело здесь в том, что наша страна — совершенно особенная... Все дело в том, — затаив дыхание, сказал он, — что все мы живем для будущего... Так же, как и те, кто готов был в революцию совсем погибнуть, говоря: «Мы боремся не за себя, не ради своего счастья, но ради счастья будущих поколений», — и точно так же все последующие поколения то же самое должны были говорить и думать, погибая... Вот. Иначе все лишается смысла. Поэтому то, что есть сегодня, не имеет такого уж значения...

Он запнулся и не знал, не имея навыка, достаточно ли сказанного, чтобы убедить других и привести их к своей вере. Самому ему это казалось удивительно естественным — думать именно так.

Друзья, однако, хотели как-то возразить. «Видишь ли...» — задумчиво начал Геворкян, не подобравши еще слов, но уже желая, тем не менее, заявить о своем несогласьи и помогая себе рукою с крупными, красивыми ногтями, которою он поводил в воздухе, машинально любуясь ею.

Но в этот момент за дверью раздался какой-то шум, возле нее послышались чьи-то шаги и почему-то детские голоса; с той стороны кто-то поворачивал ключ. Розовое, квелое лицо Вени просунулось в щель.

— К вам идут, — прошептал он, втискиваясь целиком и сам себя спьяну прищемляя дверью.

Гости были еще на первом этаже; ему сказали о них игравшие в парадном и обогнавшие их потом по лестнице маленькие девочки: в этом доме, как в деревне, дети всегда бежали вперед, неся жителям важные вести.

— Я постою здесь, — предложил Веня, прислоняясь к косяку.

Он собирался сказать еще что-то о том, что он успел увидеть сверху, но успел лишь показать на пальцах, сколько их... За дверью снова зазвучали звонкие голоса детишек: сюда, сюда, здесь! — дверь отворилась, теперь весьма решительно и резко, и две девические фигуры появились на пороге и некоторое время стояли, как бы давая себя рассмотреть замершим молодым людям.

-8-

Когда Николай после нескольких мгновений этого разглядывания обернулся и изменил позу, потому что смотреть так, уставясь, было уже неприлично, то ему показалось, что чуть ли уже не наступил вечер и спустились сумерки, настолько все как-то вдруг помутнело и стерлось в мерцающей, посеревшей воздушной среде. Он даже испугался этого эффекта, испугался того, что слепнет и что цветовое зрение уже ему

отказало. Глаза его и в самом деле слезились. Он потер их, с неудовольствием заметив, что точь-в-точь повторил жест их близорукой гостьи, брюнетки с большим и нечистым лицом, которая, пройдя вперед, рассматривала, что это такое у них на столе.

По молодости лет она еще не постигла всех хитростей или нарочно пренебрегала ими, полагая, что «не это главное», и напрасно долго оставалась лицом к окну: при ярком прямом освещении видна была неровная, бледная кожа, пошедшая от оживления пятнами, и такое же неровное по цвету зимнее пальто с облезлым воротником, залоснившееся сукно которого отдавало в какую-то прозелень. Глаза ее были живы, а лоб высок, но даже чересчур, продлеваясь куда-то к темени, как то бывало в Средние века, когда женщины выщипывали себе волосы надо лбом.

Не дожидаясь, пока кто-нибудь сообразит поухаживать за нею, держась довольно расхлябанно, но потому, без сомнения, что привыкла скрывать за этой расхлябанностью свое смущение, она кинула пальто на кушетку, оставшись в белой газовой, ей не шедшей блузке и расклешенной юбке, расходившейся почему-то не шатром, а лишь в одной плоскости, в стороны от узких бедер.

— Ну что же вы, черти! — сказала она, вытаскивая из сумочки с державшейся на соплях ручкой очки. — Приглашайте! Вы что тут за столом сидите, в карты дуетесь?

Вторая прошла, не раздеваясь, на середину комнаты с видом на редкость напыщенным, более всего, конечно, из страха сказать или сделать что-то, не дай бог, лишнее и тем уронить свое достоинство. Она была, вероятно, из обеспеченной семьи, где ее научили следить за собой, и ноги ее были стройней, чем у ее приятельницы, но в ней зато имелось что-то совсем уж отталкивающее благодаря надутому ее виду или особенной какой-то конструкции лица, придававшей ему сходство с лицом осьминога.

Белла Григорьевна, которая так и не могла понять, обижаться ей на предположение брюнетки о картах или нет, после того как Кессельн, стронувшись наконец с места и засуетившись, остря и хватая девушек за руки, представил их, не выдержала и все-таки поинтересовалась:

— А почему вы решили, что мы сидим за картами?.. Мы, разумеется, играем иногда в карты, но ведь не обязательно, раз мы сидим за столом, то, значит, за картами...

Она подозревала, что умненькая девушка-интеллектуалка приняла их, ее саму, ее сына и все общество не за тех, подумала о них слишком просто. Но та, несмотря на всю свою молодость, успела уже устать от своего интеллектуализма.

— А, — пренебрежительно усмехнулась она, — так вы все разговариваете... А помнишь, — обратилась она к Кессельну, — как мы у Аньки всю ночь в карты дулись?!

Веселый взор ее, перебегая с одного из них на другого, задержался на Николае чуть дольше; он понял, что, может быть, понравился ей и

что она, в следующую секунду начавши говорить взахлеб, воодушевлена его присутствием.

— Так вы что же, действительно, умными разговорами здесь занимаетесь? Интересно, о чем же? — иронизировала она, усаживаясь на свое пальто, брошенное на кушетку, и пробуя вокруг себя матрац кулаком: правда ль, что ложе это так неуютно и так жестко, как кажется на вид. — Молодой человек, — показала она на Николая, — не хочет, по-моему, представиться?

Тот неловко поклонился и, чтобы скрыть выражение недоброжелательства, отошел и стал к окну.

— О! — закричала она, — превосходно! Какие манеры! Он у вас всегда так? — смело дернула она за рукав халата чем-то отвлекшуюся или вообще немного подавленную этим напором Беллу.

Та не нашлась что ответить, но поднятый шум как будто начинал ей нравиться, обещая новые еще неожиданности, и она вскинула черные свои глаза с каким-то даже оттенком признательности. Они должны были все же прийтись друг другу по вкусу, и обе уже чувствовали это.

Вторая подошла к окну. Очевидно, не очень-то любя свою подругу и будучи о себе высокого мнения, она страдала от того, что та завладевала так сразу (как завладевала, безусловно, всегда) общим вниманием, не давая никому вставить слова или как-то проявить себя. Сообразив, что стоящий у окна тоже вроде бы не одобряет той, она надеялась найти в нем сообщника, хотя бы на эти несколько минут, чтобы отыграть какие-то свои позиции.

— Ну, как вам все это? — брюзгливо оттопырила она губы.

У нее было странное полное, близкое к отечному лицо, еще не дряблое, юное и свежее, но какое-то такое, что в эту юность и свежесть не верилось, не верилось в их устойчивость, словно эти пышущие здоровьем щеки поддерживались изнутри какими-то непрочными тяжами, могущими в любую минуту лопнуть и превратить обладательницу этих щек в рыхлую, обрюзгшую тридцатипятилетнюю поблекшую красотку.

Не зная, что сказать ей, Николай пожал плечами и спас себя тем, что указал ей на входившую в этот момент в комнату беременную соседку, любопытствующую проведать, какие же это дамы появились у молодежи. Она вошла уже без стука, как без стука должны были наверняка, — Николай хорошо представлял себе это, — войти сюда скоро все остальные, кто только вообще сюда был вхож, и муж ее в коридоре, как это было видно через неприкрытую дверь, уже спешил сюда, докуривая, давясь, папиросу и алчно вглядываясь пока что, не различая против света, кто же там стоит у окна.

Оттого, что эти люди, самых имен которых он зачастую не помнил и которые никогда в его жизни не имели и вряд ли могли иметь какое-то значение, вдруг возомнят, видя его рядом с этой девушкой, что она — его, его избранница, Николаю стало еще хуже. Он повернулся спиною ко всем, изображая, будто занят происходящим на улице.

Снаружи как будто потеплело, воздух казался влажен, согреваемый тусклым декабрьским солнцем, стоявшим над брандмауэром дома напротив. Легкая дрожь этого сырого воздушного слоя, мельтешенье одетых в черное людей среди белых, лишь чуть потемневших сугробов вдоль мостовых, напоминали тот день, когда они с матерью попали в катастрофу. Он посмотрел вниз во двор, испещренный маленькими следами детей, на ветви деревьев с оставшимися кое-где, не облетевшими покореженными листьями и подумал о том, что совсем не знает природы, не умеет видеть ее и многое теряет, безвылазно торча здесь, в пожираемом страстями городе, где вся жизнь — как один день, и разность не только между хорошей и плохой погодой, но и меж временами года почти не важна. Он попытался вспомнить, какая была погода в эти дни в прошлом году, и не смог: вся прошлогодняя зима померещилась ему как один день, серой и насыщенной влагой. Еще он представил себе, как через несколько минут они все вместе пойдут сквозь этот осмос, плотный и словно бы даже неподатливый, который оставит изморось на их лицах, и сказал себе, что любит вот так, с своими приятелями бездумно и бесцельно брести по городу, туда, куда его ведут, брести со слабой, тлеющей надеждой...

Но едва он сказал себе так, как что-то тотчас же восстало в нем против. И он примерно представлял себе, что это такое и отчего. От того, что рядом с собою самим, бредущим по этому предпраздничному городу, он начертил себе две эти женские фигуры со всеми деталями их обличья. По мере того, как входили они в эту комнату, как поворачивались, начиная болтать, как показывали себя, по мере того, как неслышно наполнялась эта комната людьми, в нем самом, шаг за шагом, движенье за движеньем, параллельно всему этому, росло одно, столь знакомое чувство. Он заранее предвидел, чем все это кончится! И каждый шаг, каждый штрих подтверждали его предвиденье, стремительно таща к развязке... Это не было даже по-настоящему разочарованием, это чувство, первое дуновение которого он ощутил еще на улице, перед этим домом, даже еще не войдя сюда, и подступившее куда-то к горлу, когда он — в который раз! — увидел эти коридоры, затем эти комнаты, когда едва обдало его нищенским запахом этой изуродованной деревни, чудовищно перекомпонованной и втиснутой раз за разом в убогие ячейки прямоугольной трехмерной решетки, едва сопричастился он жизни ее обитателей. Нет, он еще именно что вчера или неделю назад, когда впервые зашла об этом речь, чутьем угадал, что «ничего не будет»; он забыл теперь даже, на каких данных основывалось его чутье, но сейчас это уже не имело значения, а существенно было лишь то, что, увидев воочию этих девушек, он должен был убедиться, что все это так и есть. Он испытывал уже не разочарование даже, а буквально какое-то отвращение и к самому себе, и ко всем без разбора, кто только находился здесь, тоску, сжавшую его сердце так, что лишь словно через пелену он мог наблюдать происходящее. Он не вникал уже в то, что они говорили, принуждая себя только улыбаться, если все смеялись, и поворачивать к

говорившему будто чужую голову. Однажды он попробовал заговорить сам, но у него ничего не вышло. «Что это вы там бурчите?» — крикнула ему брюнетка, а та, что стояла все еще возле него, посмотрела опасливо. Ему, однако, было уже все равно. Он думал лишь о том, насколько ему знакомо все это. Та же глухая тоска, сколько раз она охватывала его и просто так в гостях у кого-то, не только под праздник, тоска и, более того, — отчаяние, отчаяние ни с чем не соразмерное, проникнутое такой безнадежностью, будто ему на роду было написано остаться сидеть среди них вечно, вечно видеть те же лица, вечно слушать их шутки и препирательства и вечно делать вид, что и он с ними, что и он компанейский, хороший парень, что ему нужно все это, что здесь его место. Сейчас эта безысходность была вовсе глупа: ведь ни этот дом, ни эти девушки ничего не значили сами по себе, там, куда сейчас все они должны были отправиться, мог оказаться совсем другой дом, совсем не такая, не похожая на этих, хозяйка, там могли, в конце концов, быть и еще другие какие-то девушки, — но отчаяние, бушевавшее в нем, было сильнее посулов разума. «Ничего не будет, ничего не будет, — твердило оно, забивая все остальное, — все будет точно так же... Ничего случиться не может»... Вмиг ему сделалось себя жалко. Все прежние случаи, когда вот так же, в безумной надежде входил он в какой-нибудь дом и от порога, обозрев гостей, расположившихся у стола, убеждался, что ее нет, что нет вообще никого, к кому бы он мог почувствовать симпатию, и такое же подавленное бешенство разрывало его изнутри, припомнились ему. И вдруг, словно пелена, мешавшая ему видеть, расслоилась и образовала две завесы, наподобие театральных задников, и он поверх всего того, что было здесь, рядом, гораздо яснее мог видеть другие лица, в эту минуту помстившиеся ему бесконечно более дорогими: лица близкой родни его, деда, матери, бабки и теткиного мужа Василия. И хотя заранее было известно, что Новый год они будут встречать раздельно, и что никогда в полном составе вместе не встречали, они неожиданно все представились ему за одним столом, а он сам, он стоял на пороге, и, обернувшись к нему, они радовались тому, что он наконец с ними. У него даже возникла мысль, что собрать их в самом деле реально: стоит ему лишь сию же минуту загодя обзвонить их всех, и тогда, уступая прихоти любимого внука и племянника, они отменят своих гостей и поспешат к Стерховым или к тетке. Что он, тем не менее, никогда не сделает этого, это было ясно ему сразу же, но все равно, и после того, как видение рассеялось и он опять очутился в телесном мире, у него осталось соображение о том, что все же приятнее будет провести праздник дома; тот же Василий, как ни хаяла его Катерина, был остроумен и за столом один способен был сделать Новый год веселым. А кроме того, подумалось ему, если к той же тетке приглашены еще какие-то гости, пусть взрослые, но, возможно, тоже интересные, то будет и совсем хорошо. Надо было лишь вызнать, кто приглашен к тетке, а кто к Стерховым...

Покидая этот дом, чьи лестницы и перила словно еще раз подтверждали ему: да, ты не ошибся, — он уже твердо знал, что сейчас расста-

нется со своими приятелями. Не вытерпев, понукаемый будто каким-то злым бесом, дойдя до середины пути, — они шли пешком — до Трубной, — он сказал им об этом. Он даже не предварил этого, как собирался было, телефонным звонком домой и якобы каким-то услышанным важным известием, которое и меняло, дескать, коренным образом его планы, препятствуя остаться с друзьями. Повинуясь опасному импульсу, он не сделал даже этого, просто оказавшись беспричинно, идиотски, безо всякого хоть маломальского намека на повод. Они были поражены его отказом, оскорблены и не знали, что им делать, негодовать или смеяться над ним. Некоторое время они шли, уговаривая его и доискиваясь объяснения; потом, решивши дать ему время одуматься, они взяли с него слово, что он придет к ним сегодня же вечером. Он согласился: допустить, что намеренье его не каприз, но нечто серьезное, они все ж не могли, — это предполагало бы наличие уж какой-то системы отношений, какое-то расхождение или нежелание, какую-то пропасть меж ними, заглянуть куда было страшно и ему, и им.

Сказавши им, что сейчас он должен идти к бабке с визитом, — изобретательность его так жалко и так никчемно сработала, наконец, — он свернул от Рождественского бульвара в Малый Кисельный переулок, тогда как им надо было подыматься к Сретенке. Но, пройдя квартал, он свернул еще раз направо и опять оказался на площади, которую быстро пересек, стараясь держаться в людском потоке, точно боясь, что друзья его, тоже переменив маршрут и вновь выйдя на площадь, заметят его. Затем он вскочил в троллейбус и доехал до Арбатской площади.

-9-

Он снова был недалеко от дома. Из устья Арбата вываливала толпа взбудораженных людей, тоже ждущих праздника как чего-то такого, что совершенно и вдруг обратит их жизнь, — ему теперь было абсолютно ясно, что все они надеются на это, он читал это в их лицах, вдруг лишившихся обыденности, — и оттого, что он, так глупо обойдясь с собою, лишился всякого основания на что-то надеяться, чего-то хотеть и как-то участвовать в этой вселенской мистерии, настроение его мгновенно испортилось, и в душе появилось прежнее отчаяние, но только с другой подоплекой. От сияния заснеженного пространства обширной, тогда еще не изрытой туннелями площади, от пестроты фигурок на этом белом поле у него зарябило в глазах и голова его закружилась. Некоторое время он шел, опустив голову, глядя себе лишь под ноги, мнясь, наверно, прохожим каким-то юным романтиком, поэтом, а сам думая как раз о том, что нет в нем ничего кроме суетности и мечтания его также — лишь суетны, и что ему необходимо стать другим, что отныне его жизнь пойдет иначе...

Путь ему был так хорошо знаком, что он мог бы пройти его ощупью: неподалеку, в Крестовоздвиженском переулке, и жила его тетка, у которой он теперь квартировал, бегая чуть не ежедневно если не к Стерховым, то, по крайней мере, в их направлении. Дорога шла через не

асфальтированную еще, пока что еще только изрытую траншеями, с кучами булыжников Молчановку, мимо дровяного склада, из ворот которого выезжали в том числе и лошади, груженные дровами; здесь пахло навозом, дровами, а потому деревней. Не доходя до Собачьей площадки, в Николо-Песковском переулке жила его Ольга. Не вполне ясно понимая, зачем он это делает, Кнетъирин машинально двинулся туда. Он был то что называется опустошен, обессилен и, вспомнив, что вечером к тому же еще уезжает дед, которого надо будет провожать, мрачно сказал себе, что идти объясняться к Геворкяну энергии у него уже не будет и, значит, все останется как оно есть. У него болела иногда голова, чаще всего от усталости, от долгих, таких, как сегодня, нервных напряжений. Уже всходя по ступенькам деревянного крыльца, он ощутил это знакомое предвестье боли, какую-то тяжесть под левым глазом, и когда потряс головой, это ощущенье еще упрочилось. Тогда он сказал себе, что идет сюда лишь для того, чтобы они (те, к кому он шел) не связывали его непоявления с случившимся у них.

Ольга открыла ему зареванная, опухшая, сделавшаяся вдруг одутловатой лицом, в замурзанном вечном своем домашнем платьице и обвислой кофте, чем-то похожая на его бабку, Татьяну Михайловну. От входных дверей она провела его сразу же в первую их комнату, сразу же возле дверей, где обитал обычно брат, когда гостил дома. Вторая их комната находилась после ряда соседских комнат на другом конце коридора. Эта была узенькой, не каморочкой даже, а настоящей камерой. Сейчас она загромождена была еще вторыми оконными рамами, которые этот умелец, вынув из двух окон, в торце и на боковой стене, взялся ремонтировать среди зимы. В комнате было промозгло, и, удивленно рассматривая эти гнилые, наполовину разобранные рамы, а также куски битого стекла, потому что тот не сумел, конечно, вынуть их аккуратно, Николай не сразу заметил в накинутой на плечи шубе в углу стоявшую Ольгину мать, молча, в свой черед без особенного недоброжелательства, но со всегдашним странным любопытством разглядывавшую его самого. В руках у нее была тряпка, и методически, завиток за завитком, она протирала единственное украшение этого угрюмого закутка — фаянсовую, склеенную многократно статуэтку, изображавшую молоденькую крестьянку в сарафане и со снопом. В правильных, единообразных движениях этой женщины было что-то устрашающее; Николай и прежде замечал, что страсть к порядку у нее была иной, нежели у его матери: здесь, ему мерещилось, была какая-то стадия, для Анны недостижимая, — здесь это было целью, довлеющей себе самой, а там лишь средством спасти и удержать что-то. Женщина эта смотрела сейчас на него с некоторым даже сожалением, хотя, казалось, это он должен был бы соболезновать ей. Но она будто прозревала его насквозь, будто осведомлена была уже обо всем, что произошло у него получасом раньше, обо всей его нелепости, и у него возникло подозрение, что кто-то, вызнавши все, уже позвонил сюда по телефону.

— Я слышал, у вас случилось... — пробормотал он, не зная, как начать.

Она довольно равнодушно и не без насмешки даже ответила:

— Да... вот какие дела! Уж у нас не соскучишься! — Она словно и впрямь имела при этом в виду не столько себя и блудного своего сына, сколько его самого.

Затем она вышла. Он, так и не раздеваясь, не расстегнув пальто, неловко прижал к себе, целуя в голову, девочку, неспособную уж больше плакать и переживать.

— Ну что, — спросил он осторожно, — мать не отпускает тебя?

Не подымая некрасивого лица, спрятанного в грубую ткань его пальто (ему почему-то было от этого неловко еще сильнее, да, по-видимому, и она ощущала какую-то натянутость меж ними и ложь), она сказала, не разжимая зубов и вполголоса, боясь сфальшивить, если будет кощунствовать громко:

— Мать — сволочь!.. Как будто ей это очень нужно, чтобы я была здесь. Она не беспокоится обо мне ни вот столько, ей просто нужно, чтоб и я пострадала, если он страдает... Как же, он там, а я буду, видишь ли, веселиться!.. Ненавижу ее!

Он попытался каким-то жестом, пожатьем руки дать ей понять о своем с нею единстве, но сделал это как-то не так. Будто догадавшись о его на самом деле холодности, она подняла голову.

— Ты что? — спросила она. — О чем ты думаешь?

Он все равно молчал, со страхом, но и с каким-то весельем окончательного падения осознавая, что возможность что-то сказать уходит все дальше и, в сущности, уже упущена. Удивление той все росло, оцепенение ее серых глаз сменилось злобой, но лишь отупело, не трогаясь с места, он наблюдал, как белесые брови ее, росшие щеточками возле переносицы, полезли кверху, собирая на крутом лбу складки двумя ровными полукружьями. Ему, однако, показалось теперь, что он забыл, как росли они прежде, вернее, что росли они именно не так, и только ощетинились сейчас от гнева.

— Ну, это ты напрасно, — прошептал он.

Но она уже высвободилась из его рук, резко повернулась, запахивая свою расползающуюся кофту, и вышла из комнаты.

Он постоял еще с минуту, сомневаясь, не пойти ли ему за нею в тот конец коридора. Потом приоткрыл дверь и выглянул. Ее не было в коридоре, зато у самых их дверей, обитых черной клеенкой, соседка стирала в детской ванночке, установленной на табуретке, а другая говорила, подбоченясь, по телефону. Тогда он тихо выскользнул из квартиры. К счастью, он помнил систему их дверных замков и запоров.

-10-

Едва он снова оказался на улице, как тотчас же ему расхотелось идти к Стерховым и присутствовать на семейном обеде, где все сразу же должны были заметить, что с ним что-то произошло, и где он не сможет совладать с собою, держась независимо. У него возник план подойти, чтобы проводить деда, прямо к поезду, а до того часа побродить по ули-

цам, постепенно приближаясь к вокзалам. Однако, пока он дошел до Никитских ворот, голова его разболелась уже по-настоящему и он почувствовал, что пробыть три часа на ногах он не сможет. Он возвратился к себе домой, то есть к тетке, на Крестовоздвиженский, и, благо ее не было дома, просидел эти три часа в темноте, не зажигая света и не отвечая на звонки, в пыльной ее, заставленной обветшавшими вещами и не прибранной еще перед праздником комнате.

У Стерховых в это время обедали, поругивая его и споря о том, неуважение ли это или просто детское легкомыслие. Его выручило отчасти то, что помимо него отсутствовал также еще муж Катерины, отмечавший праздник на службе с приятелями.

Потом Стерховы стали прощаться. Татьяна Михайловна крестила мужа, шепча: «Храни тебя Бог», — как заклятие. На лицах дочерей изобразился суеверный страх. По обычаю все присели, причем Анна, как и всегда, требовала, чтобы не сидели на мягком, а также чтобы ноги были подняты на мгновение от земли. Потом снова они целовали Николая Владимировича.

На улице казалось сыровато, но одновременно будто и похолодало против того, что было днем. Еще в такси, где откуда-то дуло, Николай Владимирович озяб. Он приехал на вокзал задолго до срока, когда поезд еще не подавали, и спустился вниз, в зал ожидания.

Там не было свободного места. На скамейках с высокими спинками спали, как и прежде, вповалку женщины и дети, и отцы с опухшими от переутомления лицами, с набрякшими веками, подымали мутные глаза на проходящих, оберегая свои пожитки. Тяжелый, специфический вокзальный смрад стоял в воздухе. Поодаль цыгане расположились прямо на полу табором. Какая-то молодая баба, стыдясь, приподнявши подол, доставала из-под него кошелек с деньгами. Николай Владимирович тоже машинально ощупал свои деньги в заколотом английской булавкой нагрудном кармане. Взгляд его упал на какого-то мужика, спавшего почти возле самых ног его на полу. Мужик, видно, понаторел уже в таких путешествиях, не первый раз пересекая из конца в конец огромную страну. Поразительно было то, как он сумел свернуться калачиком, так что занимал, наверно, не более квадратного метра всем своим телом, и сюда же, в этот квадратный метр, вместился и его мешок, на который он положил голову, обнявши его обеими руками. С ногами своими он также обошелся очень ловко, сняв до половины сапоги, — чтобы ноги отдыхали, но также и чтобы не лишиться сапог совсем. Николай Владимирович, когда он представлял себе порою, что уйдет из дому, бросит службу и будет скитаться по России, почему-то всегда тоже воображал себя спящим вот так же, как мужик этот, на полу на вокзале. Именно такой должна была быть его первая ночь и сколько их суждено было б, если б он только решился на это, потом. С замиранием сердца он нарисовал себе, как постепенно будет изнашиваться его одежда, как затем кто-нибудь из добрых людей подарит ему такие же сапоги; и с каким нелепым восторгом Николай Владимирович подумал, что нужно будет

обязательно запомнить эту хитрость с сапогами, — как будто и впрямь ему могла представиться такая возможность спать где-то в углу, спустивши с натруженных ног наполовину грязные кирзовые сапоги. Он почувствовал непонятную нежность к этому мужику, младенчески причмокивавшему во сне и, быть может, спавшему-то так крепко оттого, что он выпил накануне, и вдруг отдал себе отчет в том, что может теперь ответить на тот вопрос, который задавал себе давеча: зачем он едет, что за бес толкает его под ребро. Он вдруг сказал себе, что важнее всего в этом путешествии было ему не проявить, как предполагал он, свою обособленность («Вовсе нет!» — с силой сказал он себе, вспомнив о Татьяне Михайловне), но просто еще раз, наверно, уже в последний, поехать по железной дороге опять на Восток, чтобы увидеть ту, глубинную Россию; отдаться на мгновение панике забитого людьми вокзала; потом ехать куда-то, прильнув к грязному, замызганному окну, узнавать когда-то виденные полустанки; потом идти по пролеску, вдыхая запах оставшейся уже лишь намеком русской деревни; зайти в избу, содрогаясь от ее нищеты и грязи, очутиться, наконец, в лесу или в поле, — словом, коснуться перед смертью еще однажды всей той жизни, которая теперь уже распадалась, исчезала, которая была ему дорога и бытие которой, хоть он и не жил ею прямо, он носил в себе, сознавая своею.

В этот момент он увидал внука. Когда Николая Владимировича грызла порою совесть, что он не умеет найти общего языка с внуком, не умеет разговориться с ним по-настоящему, перешагнуть барьер взаимной отчужденности, что мальчик, живя вдали от него, теряет что-то хорошее, присущее им, Стерховым, которое он, его дед, обязан был развить в нем, и когда он, исподволь подготовясь, помня что-нибудь характерное, сказанное во время их предыдущей встречи, приступал к разговору сызнова, то всегда убеждался неожиданно, что перед ним стоит уже совершенно иной человек, движимый уже иными интересами и иной волей, причем постичь так сразу смысл этих перемен, уловить их общую суть Николай Владимирович был не в состоянии. Так было и на этот раз. Ему снова оставалось лишь недоумевать о причинах, приведших к тому, что внук был уже не тем, каким он покинул дом сегодня в полдень. Поэтому он промолчал, не осмелясь спросить у внука, почему тот не пришел к обеду.

— Может быть, мне поехать с тобой? — засмеялся внук, тоном своим показывая, впрочем, что вопрос его вовсе не серьезен. Они выбрались наружу, протискиваясь сквозь спящих или просто таращившихся в пространство людей. Внук, перехватив у деда мешок, волочил его теперь понизу, потом вскинул на плечи.

— Так, может, мне и вправду поехать? — повторил он, пытаясь понять, как выглядит с мешком за плечами.

Николай Владимирович сказал смущенно:

— Ты ведь знаешь, что это невозможно.

— Да. А жаль. Мне как-то это не приходило в голову, что это было бы лучше всего.

Николай Владимирович жалел его, но еще больше ощущал в душе своей какое-то смятенье оттого, что короткий разговор этот означал по сути дела, что естественный порядок вокруг нарушился и они с этим мальчиком поменялись ролями: как ни дико теперь это звучало, но не он уже завидовал внуку, а внезапно ему завидовал внук. Мир переворачивался перед ними. Чтобы вновь обрести устойчивость в нем, они оба стали вглядываться в даль, где в черноте мигали какие-то железнодорожные невнятные сигналы. «Семафор дали, семафор открыли», — беспокойной скороговоркой сообщали какие-то люди, всматриваясь в изгибы блестевших в прожекторных лучах путей и переплетения проводов.

— Николай Владимирович! Николай! — закричали сзади. Это была Галина Васильевна. — Вы вдвоем?! — не удержалась и спросила она, хоть и знала, что Николай Владимирович терпеть не может провожаний и не допустит дочерей везти его на вокзал.

Они кинулись к ней навстречу. Она и сама была одна и тащила большой рюкзак и еще чемоданчик в руке. Николай Владимирович, подбежав, стал упрекать ее, что она не предупредила их, что поедет одна, и не попросила за нею заехать. Она с трудом сняла мешок, лямки которого никак не желали слезать, войдя в мягкую ватную толщу шубы.

— Тише, тише, — просила она, — рукав оторвете! Вы знаете, мама собралась ехать меня провожать, но плохо себя почувствовала, и я ее не взяла.

— Да вашей маме восемьдесят лет!

— Ну ничего, она у меня бодрая старушка.

Так, смеясь, сгибаясь с непривычки под тяжестью мешков и чемодана, они прошли еще немного вперед и остановились, так как не было известно, где окажется их седьмой вагон. На соседнем пути стоял состав на Ташкент. Два узбека в телогрейках поверх халатов тащили ковер. За ними плелась патриархальная какая-то семья с баем, опирающимся на палку, ветхим и недовольным тем, что молодые дочери его (если только не жены) то и дело теряли разбегающихся своих татарчат. За этими прошел какой-то важный узбек в драповом пальто, в белых бурках и каракулевой ушанке. Разговаривая с русским своим собеседником, одетым примерно так же, он грозил ему пальцем и все повторял: «Нэ докажитэ, нэ докажитэ». Они стали неподалеку, и разговор был у них, кажется, о национализме. Навстречу им прошла пьяная русская компания, провожавшая невменяемого уже своего приятеля и забывшая, в какой ему надо вагон. Наконец, пугающе неслышно, потому что все отвлечены были появлением узбеков и русских и их криками, подошел их поезд. Сперва где-то в уголке глаза возникал отблеск оттого, что под тяжестью вагона светлый рельс прогибался и бликовал, затем оттуда же надвигалось неясное темное пятно, и лишь тогда ухо различало стук буферов и легкий шорох близко подобравшейся массы.

Они занесли вещи в вагон и сели там в полутьме; полный свет не был еще зажжен, горели лишь тощие лампочки в проходах. У них был плацкартный вагон, в их отделение еще никто не пришел, и нужно было

сторожить вещи. Они сидели тихо, наблюдая в окно за казавшимся отсюда ярко освещенным перроном, откуда должен был сию минуту отойти поезд с узбеками. После той катастрофы Николай некоторое время боялся ездить в поезде, теперь это снова пришло ему на ум, и он хотел спросить деда: нет ли у того такого чувства или предчувствия, что с ними что-нибудь случится (считалось, что у Анны, например, в тот раз было такое предчувствие). Он, однако, благоразумно решил этого вопроса не задавать; он видел, как вся горит от возбуждения, но тем не менее молчит Галина Васильевна, и хотел подражать ей, сдерживая себя.

Ее благородное, с правильными чертами лицо было красиво в этом боковом рельефном освещении, и Николай невольно сравнивал ее с своей матерью. Он попытался вообразить себе встречу Галины Васильевны с сыном, про которого столько слышал и который, воображаемый, давным-давно включен был уже в мир его фантазии: он часто рисовал себе приезд того в Москву, их встречу, удивление того, старшего, перед тем, насколько умен этот, еще не видавший жизни, юноша, и тому подобное. Представив себе его и сейчас по фотографиям, которые он как-то видел у Галины Васильевны, привычно жалея о том, что такого старшего, подлинного друга, идеального повторения его самого, у него нет, он вдруг неожиданно, непонятно почему вспомнил и о своем отце. Его отец умер, когда ему было пять лет; он его почти не знал и редко думал о нем. Он не мог даже сказать, что чувствует в том какую-то потребность, что ему это для чего-то нужно. Иногда, натыкаясь в старом, отслужившем свое чемодане на отцовы письма, он пробовал их читать, но, как правило, у него недоставало энергии надолго. Фотографий и вообще сохранилось лишь несколько. Часто говорили, что он похож на отца, ему это нравилось; но еще чаще (большинство теперешних знакомых отца не знали) говорили, что он похож на мать. Это нравилось ему меньше: быть похожим на женщину казалось несколько унизительным. Тогда он извлекал из коробки отцовы фотокарточки и, глядя то на них, то на себя в зеркало, отыскивал одинаковые черты. Этим как будто и исчерпывались их отношения. Мать предпочитала о нем не говорить, — в лучшем случае о том, какие у него были «золотые руки» и как он мог все сам сделать, — полагая, что незачем акцентировать внимание ребенка на отце, и, кажется просила о том же всю остальную родню. Сама она считала, что у нежелания ее вспоминать об умершем есть объективные причины; эти объективные причины были те, как подозревал, однажды рассуждая сам с собою на эту тему, Николай Владимирович, что, как и сам он, она просто не любила вспоминать о своей молодости, стыдясь хуже, чем стыдилась бы разгула, своих иллюзий и своей неискушенности.

Как бы то ни было, сын пока что духовно подчинялся ей, и вот только сейчас, впервые к смущению его и позору, ему понадобился вдруг отец. Он впервые задумался о нем. Впервые те несколько эпизодов пришли ему на ум, что сохранила случайная детская память, но он увидал своего отца как бы живого, может статься, даже воскресшего. Отец был в

шапке-ушанке, в полушубке и в валенках, как на какой-то из фотографий. В руках его была тетрадь, не тетрадь, собственно, а так называемая амбарная книга (там так и было видно издали — «Амбарная книга»). Поодаль возвышался лес, недостроенный не то дом, не то склад выступал в углу, слева. Почему-то это было как раз там, куда ехали сейчас дед с Галиной Васильевной. Сын ее тоже должен был быть где-то рядом. Его отец был над ними десятником и возвышался огромным, тяжелым и сильным, каким он никогда при жизни не был.

Молодой глуховатый офицер-танкист с бойкой женой пришли на соседние места, когда до отхода поезда оставалось минут семь, не больше. Их никто, слава Богу, не провожал, и можно было выйти на перрон. По-прежнему молча они прошлись раза два туда и обратно вдоль страшной щели меж краем платформы и корпусом вагона.

— Ты, может, пойдешь уже? — предложил Николай Владимирович.

Тот замотал головой: нет, нет. В эту секунду объявили отправление. Раздробившись на маленькие кучки, кругом стали прощаться.

— Ну, попрощаемся и мы, — сказал Николай Владимирович.

Неловко они поцеловались, замечая подробности прикосновения кожи и губ. Галина Васильевна тоже хотела было его поцеловать, но не решилась, подумав о его бабке (о Татьяне Михайловне); он тоже не осмелился подставить ей щеку, как деду.

— Скорее, скорее, Галина Васильевна, — заторопился Николай Владимирович, помогая ей взойти в тамбур вперед других. Потом шагнул и сам. Галину Васильевну затолкали вглубь. Приподнявшись на цыпочки, можно было видеть ее лицо, дед был ближе. Николай крикнул ему, чтобы они шли в вагон. Идя назад, параллельно им вдоль вагона, он смотрел, как они, маша ему руками и стуча в стекла костяшками пальцев, продираются к себе.

Поезд тронулся снова незаметно и беззвучно. Еще не уловив ясно этого, не поверив ощущенью, Николай остановился, и дед в окно улыбнулся его растерянности. Несколько мгновений он шел за поездом, держась рукою за стенку вагона. Потом кто-то помешал ему; пока он обходил этого человека, поезд набрал уже ход и шага перестало хватать. Он отошел на середину платформы, чтобы лучше видеть, но тут же потерял их из виду. Белое лицо деда в последний раз померещилось ему, мелькнуло где-то наискось впереди, но он не был убежден уже, что это точно дед.

Он остался один.

ВРЕМЯ НЕ ТОРОПЛЮ

* * *

Мои земляки
на помин легки,
да вот тяжелы на подъем.
Мои земляки
у Помин-реки
за неподъемным холмом.

Помин-река,
как земля, широка —
топи, овраги, леса.
Как далеки они, как близки...
Еще очертания лиц резки,
внятны еще голоса.

Слышу, как за Помин-рекой
кличут меня земляки:
— Время уняться, принять покой
и точку в конце строки.

* * *

Сорок градусов. Нестынущий закат
гаснет и уходит, зазывая
лоскутки энергии, — горят
фонари... Их мертвенная стая
в пыльном воздухе всю ночь парит,
занавеска плотная, сплошная —
решето сквозное, а не щит.
Сквозь нее в полсотне верст от дома
вижу я фонарь сторожевой,
там дозорный, юный, незнакомый,
топчется, хоть сонный, но живой.
Для тревог покамест нет причины.
Душный свет сочится сквозь гардины,
жаром ненависти дышит зной.

Елена АКСЕЛЬРОД — родилась в Минске. Окончила Московский городской пединститут им. В. Потемкина. Автор восьми поэтических сборников и десяти книг для детей. Постоянный автор «Континента». Последние годы живет в Израиле.

* * *

Я убежала от жары,
я прибежала в смрад пожара.
Москвы горячечной дары,
как будто за измену кара.

Пылает пыль. Ныряю в зной.
Помилуйте — где юг, где север?
Здесь, как в коробке жестяной,
зной заводной грохочет в гневе.

Скорее в ночь! Заснуть, стряхнуть
удавку дня, удушье жалоб!..
Сквозь веки вьется рваный путь
меж двух жаровен, двух пожаров.

Поколение

Как угораздило нас родиться
в тридцатых расстрельных годах?
Как сохранила нам жизнь столица,
одетая в кислые щи и страх?

Как угораздило нас уцелеть,
как не попали мы в черную сеть
в сороковых, пятидесятых
и прочих задушенных, смятых, распятых
коричнево-красных годах,
как спохватились, как превратились
в стареющих перелетных птах?

Как угодили мы в новый век,
резво отторгнувший нас,
наш колченогий за временем бег,
наш глаукомный глаз?

Все норовим отдалить второпях
крыльев последний взмах.

* * *

Не травы, а стружки,
жар и озноб,
не влагу небесную, а сироп
лакаю из кружки,
но живу еще, может статься,
а то бы со мной не играла акация,
а то бы листвой кружевной
не склонялась бы над штакетником,
над желтизной-сединой
истрепанного плюща,
не окликала бы, трепеща:
— Дождь собирается,
собирается дождь,
погоди, и слово найдешь,
и себя найдешь...

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез...
О. Мандельштам

В мой город, чужой, незнакомый до слез,
не вернулась — приехала на побывку.
С кем аукаться — ветер какой вас унес,
и какого вдогонку налаживать сивку,
и с какого вокзала помчаться вослед,
и с какой полосы подниматься за вами —
неужели нужны двадцать жалящих лет,
жарких зим, чтоб ночными, глухими задами
пробираться туда, где ни вас, ни меня,
где наш дом заслонился железной оградой,
от меня хладнокровно покой свой храня,
где уже ничего, никого мне не надо.

* * *

Замешкались яблоки августа и от стыда покраснели.
В оранжево-желтый сентябрь выползли боровики.
Когда это было?.. В Москву
лечу в черно-белом апреле,
в родной неприветливый город,
там дотошные старики,
отставшие от времени, жилье толстосумам сдавшие,
забиваются в электрички, боясь опоздать в концерт.
Все меньше их с каждым годом, с каждым днем
все ленивей и старше я,
и только для них везу
со стихами тощий конверт.

Апрель в Москве

Несвоевременно белеть
взбрело в апреле снегопаду,
хотел он с маху одолеть
слепого паводка преграду.
Но по сугробам бил поток
холодного спитого чая,
он норовил подмыть порог,
со снегом вместе загребая
благих порывов вороха,
бессильных устоять до мая
Текли чернила по листу,
текли слова других не хуже,
прочь уносили маету,
чернели у порога лужи.
Доверчивый апрельский снег
распутицею занедужил.

* * *

Современное одиночество —
электронная почта пуста.
Не пытай экран, полуночница,
в своей норке ты глуше крота.
Оторвись и выползи в сад —
он безветренный и смиренный,
что-то шепчет, как ты, невпопад.
не в пример тебе, откровенный,
чуткой зеленью оплетен,
точно давний малеевский клен,
над машинкой твоей склоненный
всей своей любопытной кроной.

Пред субботой

Зной держит дома,
зной — держиморда,
зноя конвой
стоит над листвой.
Она-то, бедняжка, терпит
и не желает желтеть,
в зеленый приветливый терем
славки спешат залететь.
А мы с тобой носа не высунем
из каменного гнезда,
покуда в покрове синем
проснувшись, не вспыхнет звезда.

И снова холмом покатым
спешим туда, где нас ждут
затейливые салаты,
легкий семейный уют,
где пес тянет добрую морду,
песню свою поет,
где в окна участливо смотрит
прохладный распахнутый свод.

* * *

Время не тороплю,
оно торопит меня —
мол, моему кораблю
плавать осталось полдня.
Но с капитанского мостика,
где я уже — не капитан,
а что-то вроде матросика,
который от моря пьян,—
не вижу ни ям, ни пропастей
ни кровожадных акул.
Только волна из-под лопастей,
только счастливый гул.

От редакции

Российско-грузинская война августа 2008 года — событие, значимость которого вряд ли может быть сведена всего лишь к некоему локальному конфликту и ограничена тем недолгим сроком, пока длились военные действия и длятся их ближайшие последствия. По мнению многих аналитиков, это событие исторически грозно-знаковое, знаменующее собою чрезвычайно опасный поворот российской внешней политики к применению прямого имперского насилия вовне и чреватое как дальнейшей эскалацией такого насилия, так и ужесточением антидемократического авторитарного режима внутри страны. Мы разделяем эту точку зрения и эти опасения и потому постараемся сделать все, чтобы наши читатели смогли получить на страницах «Континента» возможно более полную и объективную информацию обо всем, что связано с событиями августа 2008 года и что необходимо знать, чтобы адекватно разобраться в этой острой, важной и очень сложной теме. Печатая в этом номере статью известного военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, в которой дан обобщенно-краткий обзор событий российско-грузинской войны августа 2008 года и выражен взгляд на них, нами разделяемый, мы намерены в следующем номере вновь вернуться к этой теме и напечатать (в некотором сокращении) большую, энциклопедически капитальную работу, подготовленную коллективом авторов под руководством А. Н. Илларионова и включающую в себя как подробную хронологию войны и предшествовавших ей событий, так и целый ряд обстоятельных аналитических материалов, посвященных важнейшим аспектам темы.

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВОЙНЫ С ГРУЗИЕЙ

Для всякой войны, как для танго, вполне достаточно уже двух участников, а в конфликте с Грузией в августе 2008-го было больше участников и «поджигателей», если следовать прежней советской терминологии, было больше. Сегодня эти «поджигатели» никуда не делись из Москвы, Сухуми,

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР — родился в 1951 г. в Москве. Окончил биофак МГУ. Кандидат биологических наук. Военный обозреватель «Новой газеты», ведет еженедельную колонку на английском языке в интернет-издании «Eurasia Daily Monitor» (www.jamestown.org.). Сотрудничает со многими западными и отечественными электронными и бумажными средствами массовой информации. Живет в Москве.

Цхинвали и Тбилиси, дело закончилось лишь шатким перемирием и почти неизбежно вспыхнет вновь еще худшей бойней, если никто ничего не сделает, чтобы ее как-то предотвратить. Писать историю новейшей русско-грузинской войны рано, но надо непременно постараться понять, что произошло, чтобы не допустить продолжения.

1. Предыстория и подготовка грузин к войне

В первой половине 92-го грузины безуспешно штурмовали югоосетинскую столицу Цхинвали. Конфликт закончился при посредничестве Москвы фактически вничью — разделом Южной Осетии на грузинскую и осетинскую зоны контроля. В августе 92-го войска правившего в Тбилиси госсовета вторглись в Абхазию. Впрочем, называть их «войсками» — много чести. Это были скорее бандформирования в самом худшем значении этого слова: боевики из организации «Мхедриони» известного вора в законе Джабы Иоселиани и «национальная гвардия» Тенгиза Китовани. Разве что у них было много оружия и бронетехники, ударные вертолеты, полученные при разделе с российской стороной советского военного имущества на территории Грузии.

Не только в Южной Осетии и в Абхазии, но по всей Грузии боевиков «Мхедриони» и прочий вооруженный сброд начала девяностых вспоминают с ненавистью. Иоселиани позже умер в Тбилиси при мутных обстоятельствах, а Китовани жив и здравствует, владеет рестораном в Москве, где российские власти предоставили ему убежище. Больше года продолжалась война в Абхазии и закончилась в 93-м полным разгромом и изгнанием грузин, в том числе, по разным оценкам, от 250 тыс. до полумиллиона мирного населения. Победить абхазам активно помогала Россия и добровольцы с Северного Кавказа, включая чеченских боевиков Шамиля Басаева. Российские военные поставляли абхазским и добровольческим формированиям оружие и боеприпасы, поддерживали их артогнем.

Во время грузино-абхазской войны 1992—1993 годов абхазы сообщали, что их авиация, мол, успешно бомбит противника, используя пару самолетов L-39, подаренных чеченским президентом Джохаром Дудаевым, а также мотодельтаплан. Желающим показывали часть шоссе к югу от Гудауты, которое использовалось в качестве импровизированной взлетно-посадочной полосы для боевых вылетов. По правде, грузин по большей части тайно бомбили и штурмовали российские боевые машины с нашими экипажами. В сентябре 94-го российский пилот на авиабазе в Гудауте рассказал мне, как по приказу российского командования его экипаж с той же авиабазы летал бомбить грузинские войска, предварительно замазав на борту российские красные звезды. Естественно, наши официальные лица всегда напрочь отрицали, что ведут против Грузии необъявленную войну. Формально Россия не участвовала в войнах в Грузии в начала девяностых, но именно ее вмешательство в конфликт в конечном итоге привело Грузию к разгрому.

С тех пор еще долго грузинское государство и его вооруженные силы пребывали в самом жалком состоянии. После 2001-го в рамках мировой

войны с терроризмом США начали за свой счет оснащать и обучать несколько грузинских батальонов для ведения антипартизанских, антитеррористических операций и передали бесплатно 10 старых транспортных вертолетов «Ирокез» UH-1H. Но в целом президенту Михаилу Саакашвили и его сторонникам, свергшим Эдуарда Шеварднадзе в конце 2003-го в результате «революции роз», достались плохо обученная, плохо вооруженная армия и фактически ни на что не годные авиация и флот. Летом 2004-го грузины попытались вновь осадить Цхинвали, нарушив устойчивое с 92-го года перемирие в Южной Осетии, основанное на совместной транзитной контрабандной торговле через Рокский тоннель в Россию. Но в 2004-ом грузины под Цхинвали ничего не добились, только понесли чувствительные потери. Саакашвили, правильно оценив неудачу, решительно приступил к военной реформе.

В России сложилось совершенно превратное представление о новой грузинской правящей элите. На самом же деле Саакашвили — сильный, умный, целеустремленный и очень энергичный национальный лидер. Он, правда, также очень нетерпелив, пытается в сжатые сроки переделать Грузию и грузин, будучи, как в свое время в России Петр Великий, твердо уверенным, что знает лучше всех, что нужно его стране и народу. Команда Саакашвили состоит по большей части из молодых, обученных на Западе, энергичных и дельных людей. Они смогли за четыре года переделать Грузию, как никто не мог ожидать.

Саакашвили не боролся для вида с коррупцией, одновременно рассуждая о неизбежности этого зла, как поступают в России, — он ее всем на удивление практически ликвидировал. Пока у нас неспешно разглагольствовали о необходимости военной реформы, о модернизации вооруженных сил, об «инновационной армии», — в Грузии создали с нуля вооруженные силы нового образца. Только отчаянным невежеством можно было объяснить российские попытки поставить Грузию на колени, запрещая ввоз вина и боржома, перекрывая электричество и газ, запрещая денежные переводы и прямые авиарейсы, вводя визовый режим. Вскоре выяснилось, что эффект от санкций близок к нулевому, что «грузинское вино» для РФ производилось на Северном Кавказе, что Москва не может контролировать международную систему банковских переводов, что в Тбилиси легко нашли замену нашему газу в Азербайджане и увеличили собственное производство электроэнергии. В 2007-м грузинский ВВП вырос на 16 процентов.

Быстрый рост экономики, массовая приватизация госсобственности на открытых для иностранцев тендерах пополнили грузинский бюджет. За четыре года военные расходы выросли в 30 с лишним раз, достигнув 9—10 процентов ВВП. Грузины закупили несколько десятков израильских беспилотных летательных аппаратов различных размеров и назначения. Израильские БПЛА способны собирать и передавать в режиме реального времени разведданные о противнике в любое время дня и ночи, включая GPS координаты целей. Была закуплена израильская система залпового огня GRAD LAR, способная стрелять на дальность до 40 км с учетом данных GPS. Израильтяне модернизировали некоторое количество грузинских само-

ходных гаубиц для высокоточной стрельбы с GPS прицеливанием, а также оборудовали до 100 танков Т-72 приборами для ночного боя и дисплеями с опознавателями «свой — чужой».

В странах бывшего Варшавского договора и на Украине было куплено довольно много техники советского образца, включая зенитно-ракетные комплексы. В целом грузины хорошо подготовились к возможному конфликту с вооруженными формированиями сепаратистов в Абхазии и в Южной Осетии. Грузинское военное и политическое руководство предполагало, что будущий возможный конфликт будет протекать примерно так, как войны начала девяностых: сепаратистов будет, конечно, активно поддерживать Россия бомбовыми ударами «неопознанных самолетов», оружием, боеприпасами, специалистами и всякими добровольческими формированиями казаков и горцев с Северного Кавказа. То есть ожидали, что Москва будет действовать исподтишка, формально не вмешиваясь. Чего вовсе не ожидали, так это открытого полномасштабного вторжения наших вооруженных сил с массированным использованием авиации и флота.

2. Подготовка российских сил и сепаратистов

После массовой раздачи жителям Абхазии и Южной Осетии российских паспортов обе нищие самопровозглашенные республики окончательно обезлюдели: началась массовая миграция в Россию, в Турцию в поисках работы и лучшей жизни. По оценкам международных наблюдателей из ОБСЕ и ООН, в Южной Осетии сегодня осталось меньше 30 тыс. осетин, а в Абхазии из 140 тыс. постоянного населения абхазов лишь 30 процентов. Самая многочисленная община сегодняшней Абхазии — армяне, есть русские и другие, в Гальском районе до 50 тыс. вернувшихся грузин. Но во власти, в силовых структурах сплошь абхазы, представляющие разные кланы, лишь несколько разбавленные прикомандированными российскими военными специалистами.

В Абхазии в мирное время под ружьем 4500 человек, в случае войны можно мобилизовать еще до 10 тыс. У осетин до 3000 постоянного войска, а мобилизационный ресурс фактически весь переехал на территорию России. У осетин и абхазов немало старой советской артиллерии и бронетехники, но еще до начала конфликта было ясно, что они смогут самостоятельно решать только вспомогательные задачи, а реально воевать практически с первого дня придется нашим военным, иначе самопровозглашенные республики очень быстро рассыплются в прах.

Исходя из этой реальности, российское руководство задолго до августа 2008-го начало планировать и готовить полномасштабное вторжение в Грузию. После начала второй чеченской войны возобновились тайные авиаудары по Грузии, а также сброс с самолетов противопехотных мин в приграничных с Россией районах. Международные наблюдатели удары подтверждали, но Москва никогда не признавала вины, а только усиливала нажим на ОБСЕ. В марте 2007-го года предположительно российский бомбардировщик СУ-24 выпустил над территорией Южной Осетии самонаво-

дящуюся ракету по грузинскому радару, которая сбилась с боевого курса и не взорвалась. Вновь международные эксперты и наблюдатели поддержали грузинскую версию событий, а Москва обвинила Тбилиси в том, что сами, мол, себя бомбили в провокационных целях. В августе 2007-го года по грузинской зоне контроля в верхней части Кодорского ущелья в Абхазии был нанесен вертолетный штурмовой удар, и снова из Москвы последовали лишь голословные отрицания любой причастности.

Каждое лето, начиная с 2006-го, российские вооруженные силы проводили на границах Грузии все более масштабные учения «Кавказский рубеж», в ходе которых отрабатывали будущее вторжение. В 2006-м развертывание войск было на границе с Южной Осетией, а в 2007-м уже и в Абхазии с привлечением Черноморского флота. Подтягивались элитные силы из глубины страны: части ВДВ и спецназ, привлекалась авиация из других военных округов. С каждым разом не только увеличивалась численность военнослужащих, но и продлевался срок учений. Официально они именовались «антитеррористическими», но носили совершенно очевидный общевойсковой характер, причем привлеченные войска оставались под видом учений на боевых позициях на грузинской границе до полутора — двух летних месяцев.

Зимой на Кавказе воевать сложно, а вести наступление через главный Кавказский хребет практически невозможно: перевалы завалены снегом и непроходимы с ноября до мая. Единственная дорога с твердым покрытием из России в Южную Осетию через Рокский тоннель на два с лишним месяца где-то с конца января проходима только частично из-за постоянных снежных лавин в ущелье, к северу от тоннеля на территории Северной Осетии. Для грузин это время года по идее наилучшее для отвоевания Южной Осетии. Осенью 2007-го бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, который сейчас в изгнании в Париже, обвинил Саакашвили в трусости за отказ от нападения на Южную Осетию. По словам Окруашвили, операция была хорошо подготовлена, о ней знал он, министр внутренних дел Вано Мерабишвили, Саакашвили и еще несколько человек. Весной 2006-го фактически отрезанный от России Цхинвал можно было захватить сравнительно малой кровью, утверждает Окруашвили, и повод был: грузинский парламент еще в 2005-м потребовал вывода российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии, установив крайний срок 15 февраля, а потом — 15 марта 2006 года.

Весной 2006-го Саакашвили нападать не решился, — как сообщают источники в Тбилиси и Вашингтоне, под американским давлением. США война в Закавказье, которая чревата обострением с Россией, была совершенно не нужна, когда все внимание было сконцентрировано на «большом» Ближнем Востоке, на Ираке и Афганистане. Им и нынешняя ситуация — как шило в боку. Осенью 2006-го под американским давлением Саакашвили снял Окруашвили с Минобороны, а потом и вовсе выгнал из правительства. В Вашингтоне наивно полагали, что если сдержать грузин, то наши точно не полезут. В любом случае, воевать в августе любого года грузинам было совершенно невыгодно, а для российских вооруженных сил это было оптимальным временем года для начала полномасштабного вторжения.

3. 2008-й — нарастание напряжения и завершение подготовки вторжения

В апреле 2008-го на саммите НАТО в Бухаресте, в котором Путин принимал личное участие, стало ясно, что присоединение Грузии и Украины к Альянсу неизбежно, хоть пока решение отложено. Российские гражданские и военные начальники честно предупреждали как Запад, так и власти в Тбилиси и в Киеве, что попытки «затягивания в НАТО» (по словам наших дипломатов) стран, которые в Москве считают традиционной вотчиной, приведет к кризису. Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия «любыми средствами» не допустит вступления Грузии в НАТО. В апреле 2008-го тогдашний начальник Генштаба генерал Юрий Балуевский заявил, что для обеспечения своей безопасности Россия может принять меры военного и иного характера в случае вступления в НАТО Украины и Грузии. Балуевский также заявил, что хотя в январе на референдуме в Грузии более 70 процентов проголосовали за вступление в НАТО, вопрос еще не закрыт.

Нынешний министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, российский гражданин и бывший российский кадровый дипломат, утверждает, что весной 2008-го его коллеги в Москве сообщали, что Россия, мол, готова изменить свою позицию и избежать угрозы «кровопролития», только если Грузия откажется от вступления в НАТО. Но на Саакашвили эти предупреждения не подействовали, он продолжал утверждать, что территориальная целостность и вступление в НАТО не обсуждаются. Тогда события стали развиваться с нарастающей скоростью.

16 апреля 2008 года Путин поручил правительству «разработать меры по оказанию предметной помощи» Абхазии и Южной Осетии, что юридически отрицало государственный суверенитет Грузии, а в непризнанных республиках и в Тбилиси было расценено, как первый шаг к скорому официальному их признанию. Потом российский истребитель сбил в небе Абхазии невооруженный грузинский БПЛА израильского производства Hermes-450. Замминистра обороны Абхазии Гарри Купала тогда заявил, что БПЛА был сбит «самолетом L-39 ВВС Абхазии». Заявление было самоочевидно смехотворным. Старый двухместный учебно-тренировочный L-39 «Альбатрос» чешского производства предназначен «для отработки курсантами летных училищ основ техники пилотирования и самолетовождения». На L-39 нет ни авиационной пушки, ни пулемета; нет радара, нет возможности применять ракеты воздушного боя «воздух — воздух», и сбить он ничего не может. Но российский МИД официально поддержал эту ерунду, возложив всю ответственность на грузин.

В мае 2008-го резко обострилась ситуация вокруг Кодорского ущелья в Абхазии. Российские власти обвинили Грузию в подготовке агрессии, пригрозили нанести ответный удар и ввели в Абхазию дополнительные войска. МИД России сообщил, что Грузия перебрасывает в Верхнее Кодори людей и технику и «это позволяет сделать вывод о подготовке плацдарма для начала военной операции против Абхазии».

После 93-го верхняя часть ущелья осталась единственной частью Абхазии, не подчиненной Сухуми. В Кодори властвовали вожди местных сванов,

лишь формально подчинявшиеся Тбилиси, но в 2006-м в ходе молниеносной и практически бескровной операции грузинские военные установили прямой контроль. После этого Кодори официально переименовали в «Верхнюю Абхазию», и туда из Тбилиси переехало так называемое грузинское правительство Абхазии в изгнании, через перевал из Грузии провели дорогу, что крайне раздражало Сухуми.

Верхнее Кодори — горная долина-котловина, окруженная со всех сторон горными хребтами. Утверждение российского МИДа «о подготовке плацдарма для начала военной операции против Абхазии» было совершенно бессмысленно. Хотя бы вся грузинская армия собралась в Верхнем Кодори, прорваться оттуда в Сухуми физически невозможно. Это заявление нашего МИДа могло означать только одно: началась операция информационной подготовки будущей войны.

Грузины действительно окапывались и собирали силы в Верхнем Кодори, но для обороны, если абхазы начнут операцию по зачистке. В августе, когда грузинские войска уже соблюдали перемирие, в Верхнее Кодори после ожесточенных бомбово-ракетных ударов вошли с тыла из Западной Грузии российские десантники. Грузины отошли из Кодори без боя. Сегодня в Кодори размещены абхазские и российские войска, а местное мирное население (сваны) — изгнано.

3 мая 2008 года в Абхазию под видом миротворцев были введены части десантников с тяжелым наступательным вооружением. 31 мая в Абхазию были введены подразделения и спецтехника Железнодорожных войск РФ. По официальному заявлению Минобороны, это было сделано по решению президента РФ в связи с обращением абхазского правительства для оказания гуманитарной помощи Республике Абхазия и «организации работ по восстановлению дорожных направлений и инфраструктуры». Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба объявил, что «железная дорога понадобится как для перевозки грузов олимпийских строек в Сочи, так и для перемещения здесь миротворческих сил и их техники».

Но заявления о важных хозяйственных задачах были несерьезны. Наши военные до сих пор в случае любых военных действий используют для переброски сил и средств практически исключительно железные дороги. У наших фактически нет обычных в западных армиях платформ-прицепов для перевозки танков и прочей тяжелой гусеничной техники, которая своим ходом штатными траками любую дорогу с твердым покрытием мигом порубит в труху и еще моторесурс зря потратит. Для обеспечения доставки техники к месту боя и погрузки-разгрузки в полевых условиях, ремонта путей и поддержания движения во время войны у нас существуют уникальные Железнодорожные войска.

Железные дороги были в СССР в отличном состоянии и соединяли все основные регионы (потенциальные театры военных действий). А автодороги, напротив, рассматривались, как потенциальная угроза, так как могли послужить моторизованному западному противнику каналами для вторжения в глубь страны. Потому дорог у нас так мало и они такие дрянные. Современные западные танки делают с массивной многослойной броней, хорошо защищающей экипаж, и весят они 60 и более тонн, а наши габари-

тами и весом должны укладываться в жесткие нормы нагрузки на одну ж/д платформу. Наши танки легки (46 тонн), быстры и горят, как спички, вместе с экипажем.

Без ремонта и подготовки путей в Абхазии нельзя было бы организовать подвоз тяжелой техники и вывоз на ремонт неисправной. Ж/д войска закончили восстанавливать дорогу и мосты к 1 августа, и вторжение в Грузию началось через неделю. В августе по восстановленной дороге в Абхазию к линии прекращения огня с Грузией по реке Ингури были переброшены: войска и техника 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда, а также войска и техника 7-й дивизии ВДВ из Новороссийска. Дополнительно в Очамчире высадилась вместе с тяжелой техникой морская пехота Черноморского флота, которая была заранее посажена на десантные корабли.

Хотя в августе в Абхазии не было никаких инцидентов и нарушений режима перемирия с грузинской стороны, российские войска перешли Ингури и оккупировали значительную часть Западной Грузии, а по городам были нанесены бомбово-ракетные удары. Российские войска установили на оккупированной территории так называемые «буферные зоны безопасности» вокруг Абхазии и Южной Осетии. Войска были выведены из этих зон только в октябре под западным дипломатическим нажимом. Кстати, еще в мае 2008-го Сергей Шамба проявил удивительную прозорливость, заявив журналистам, что «мы переведем боевые действия на территорию противника, чтобы создать своеобразную буферную зону и отгородиться от Грузии». Как знал.

В июле 2008-го на Северном Кавказе на границе с Грузией начались «антитеррористические» учения «Кавказ-2008». Официально было объявлено, что в учениях принимает участие 8 тыс. военнослужащих, но генерал Юрий Неткачев, который долгое время командовал на Северном Кавказе армией, а затем был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье, тогда же заявил, что объявленная численность войск была занижена. В маневрах участвовала 58-я армия (штаб во Владикавказе), две горные мотострелковые бригады из Дагестана и Карачаево-Черкесии, 7-я горная дивизия ВДВ (Новороссийск). Из Пскова — подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии, из Москвы — 45-й отдельный полк спецназа ВДВ, а из Волгограда — десантно-штурмовой полк 20-й мотострелковой дивизии. То есть именно те силы, которые составили авангард вторжения в августе. Кстати, генерал Неткачев еще в декабре 2007-го очень прозорливо публично предсказал, что основные бои будущей войны с Грузией разгорятся вокруг Цхинвали, что вначале грузины добьются успеха, но через два дня будут выбиты из города и разгромлены. Тоже как знал.

Поскольку Грузия отделена от России Кавказским хребтом, вторжение могло быть только летом и по двум изолированным направлениям: по узкому Рокскому тоннелю в Южную Осетию и по прибрежной дороге в Абхазию с дальнейшим прорывом к стратегически-ключевым целям в глубь страны. Столь серьезное ограничение возможностей тактического и стратегического маневра требовало тщательно сбалансированного и отработанного плана.

Под прикрытием учений «Кавказ-2008» передовые части вторжения были в июле развернуты на границах Грузии, а некоторые, по свидетельству уча-

стников событий, заранее вошли в Южную Осетию и Абхазию. Корабли Черноморского флота были подготовлены к немедленному боевому выходу в море для блокирования грузинского побережья, морская пехота ЧФ переброшена из Крыма на Кавказское побережье и погружена вместе с техникой на десантные суда. Опытные пожилые летчики-инструкторы советской еще выучки, которых сегодня в стране остались считанные десятки, были переброшены вместе с боеготовой техникой на Северный Кавказ. При этом подготовка к полномасштабному вторжению, в котором непосредственно приняли участие более 40 тыс. российских военнослужащих, была проведена на удивление скрытно: наших военных и спецслужбы следует поздравить с блестяще проведенной операцией прикрытия.

4. Провокации ведут к войне. Встречный бой вокруг Цхинвали

Особенности театра военных действий не позволяли заранее сконцентрировать непосредственно на границе силы, необходимые для успешного вторжения. Был составлен и достаточно четко выполнялся график последовательного ввода сил и средств одновременно в Южную Осетию, где шли бои, и в Абхазию, где никаких действий не было. Войсковые соединения были приведены к августу в высшую степень боеготовности. Надо думать, вторжение состоялось бы все одно, нападали грузины на Цхинвали или нет. К 11-му августа на территории Грузии действовало до 30 тыс. российских солдат и тысячи единиц тяжелой техники, что в данных обстоятельствах следует признать замечательным достижением.

Незадолго до начала боевых действий в помещении Главного оперативного управления Генштаба на Арбатской площади начался ремонт, и ГОУ ГШ выселили в помещение бывшей поликлиники на Ленинградском проспекте, где не было спецсвязи. Но ГОУ ГШ операции планирует, а не руководит ими непосредственно. Во Владикавказе был развернут специальный оперативный штаб по координации вторжения во главе с главкомом Сухопутных войск Владимиром Болдыревым. Поскольку уже на третий день грузинские силы стали уклоняться от боестолкновений и отступать, то вносить существенные корректировки в заранее составленный план не понадобилось, разве что не все подготовленные силы были введены в Грузию.

Формальным предлогом для начала боевых действий послужил подрыв 31 июля на самодельной радиоуправляемой мине машины грузинской полиции на объездной дороге у села Эредви к востоку от Цхинвала. Российские миротворцы успели провести расследование и установить, что были использованы два 122-мм гаубичных снаряда российского образца. Полицейская «Тойота» была разбита в хлам, пять грузин ранено. Буквально на том же месте 4 июля на подобной же мине была подорвана машина, в которой ехал глава временной прогрузинской администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев.

1 августа грузины нанесли ответный удар по осетинским позициям, сепаратисты понесли заметные потери и в свою очередь ответили минометным обстрелом грузинских сел, что было зафиксировано российскими миротворцами. В последующие дни осетины начали активно провоцировать

полномасштабный конфликт, очевидно пытаясь втянуть в него Россию. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты делал грозные заявления о том, что зачистит грузинские деревни в Южной Осетии. В регион начали подтягиваться осетинские и прочие добровольцы с Северного Кавказа. В нарушение соглашения о прекращении огня в зону конфликта была введена тяжелая техника, и российские миротворцы этому не препятствовали, а российские пограничники в Рокском тоннеле свободно пропускали в Южную Осетию боевую технику и вооруженные формирования, которые грузины посчитали нашими, но маскирующимися под «добровольцев».

С 1 по 7 августа Кокойты ежедневно объявлял о серьезных боях с грузинами, хотя по большей части, как подтверждали наши миротворцы, это были выдумки или преувеличения. Одновременно осетины отказывались вести какие-либо переговоры с грузинами и все более настойчиво требовали прямого российского военного вмешательства. 7 августа до начала широкомасштабных боевых действий Российский командующий миротворцами в Южной Осетии генерал Марат Кулахметов заявляет, что «назрело время, когда нужно принимать решение об увеличении численности миротворческого контингента». Саакашвили принял решение действовать на опережение, и срочно подтянутые две грузинские бригады вместе со спецназом МВД начали наступление на позиции осетинских формирований внутри и вокруг Цхинвали.

Грузинские военные буквально в несколько часов смели с поля боя осетинские формирования. Осетинские деревни и все высоты вокруг Цхинвала были захвачены. В городе началась паника, организованное сопротивление фактически прекратилось. Подавляющему грузинскому огневому превосходству осетины могли в лучшем случае противопоставить личное мужество отдельных бойцов. Днем 8-го грузинские войска и танки довольно легко вошли в Цхинвали, подавляя оставшиеся разрозненные очаги сопротивления. Население попряталось в подвалы, город в результате обстрелов и боев существенно пострадал. Реальные гражданские и военные потери осетин в ходе грузинского наступления до сих пор точно неизвестны, тем более трудно отличить гражданских осетин от так называемых ополченцев. Во всяком случае, очевидно, что первоначальные заявления о 1500 и потом о 2000 убитых гражданских в Цхинвали были пропагандистским преувеличением.

Нет никаких независимых свидетельств того, что грузинские войска проводили в Южной Осетии этнические чистки. Не совсем понятно, на основании чего глава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин утверждает, что «целью агрессоров являлось полное уничтожение национальной группы осетин, проживающих в Южной Осетии». В то же время существует много свидетельств того, что после перемирия в августе практически все мирное грузинское население было насильственно изгнано из Южной Осетии и прилегающей «зоны безопасности», их имущество разграблено, а дома сожжены.

8 августа наши миротворцы были втянуты в бои, что было неизбежно после того, как по всей территории Грузии начались массированные удары российской авиации, артиллерии и оперативно-тактических баллистичес-

ких ракет «Точка-У» и «Искандер». В результате российская сторона, наконец, получила отличный повод начать заранее подготовленное вторжение. При этом во встречном открытом бою в окрестностях Цхинвали у грузин не было никаких шансов на победу, учитывая многократное численное и огневое превосходство российских войск, господство в воздухе — и тем более после того, как собранная за пару дней многотысячная группировка в Абхазии начала параллельное вторжение в Западную Грузию.

Грузинские военные утверждают, что к началу конфликта у южного портала Рокского тоннеля прятался их наблюдатель, который передавал для артиллерии точные GPS координаты идущей к югу российской техники, и что другой такой возможности нанести прицельный удар не было. Потому, мол, чтобы обеспечить выдвижение к селу Кхети, к самому близкому к Рокскому тоннелю селу грузинского анклава к северу от Цхинвали, корректируемых по GPS гаубиц и систем залпового огня GRAD LAR, началась операция в самом городе и окружающих селах. Грузинский огонь по наступающим войскам был, похоже, довольно точным, а наши военные особо отмечают высокую эффективность грузинской артиллерии. Но ни остановить, ни даже надолго задержать российское наступление не удалось, а в глазах Запада Тбилиси оказался наряду с Москвой виновным в развязывании войны.

Выдвинутые к Цхинвалу 8 августа отборные части, включая спецназ ВДВ, два дня не могли окончательно выбить грузин из города, несмотря на массированное использование артиллерии, танков и боевой авиации. Даже командующего 58-й армии генерала Анатолия Хрулева, который отправился на передовую навести порядок, грузины ранили, когда его колонна попала в засаду. Грузинские регулярные войска храбро и умело сражались и вышли из Цхинвала, подчиняясь приказу политического руководства. По ходу боевых действий замначальника Генштаба генерал Анатолий Ноговицын признал, что вооруженные силы Грузии не те, что 15 лет назад проиграли войну сепаратистам: «В настоящий момент это современная, хорошо отмобилизованная группировка, оснащенная современным оружием».

5. Грузины отступают, и война заканчивается российской победой

После выхода из Цхинвала грузинские войска продолжили отступление. К 12-му почти вся армия была сконцентрирована вокруг Тбилиси. К тому времени на территорию Грузии, включая Осетию и Абхазию, было выдвинуто до 30 тыс. наших солдат. Передовые отряды подошли к Гори, заняли Зугдиди, вошли в Сенаки и разрушили там грузинскую военную базу. Передовая разведка вошла в город-порт Поти. Грузинские войска везде отступали, не ввязываясь в бои, и готовились только к обороне Тбилиси. Российские войска далеко оторвались от баз снабжения, их оказалось слишком мало для успешной оккупации страны и тем более миллионного Тбилиси. Приказав отступать, грузинское руководство сохранило костяк регулярной армии и спецназ МВД. Сохранив армию, Саакашвили сохранил единую Грузию и, одновременно, основу собственного режима, а разбираться с российским вторжением он предоставил западным лидерам и дипломатам.

Грузинские официальные лица теперь открыто признают, что к такой войне с Россией они были совершенно не готовы. Грузия готовилась победить силы сепаратистов в наступательном бою, а российского вторжения не ожидали. Служба внешней разведки Грузии, по словам ее руководителя Гелы Бежуашвили, совершенно не предвидела полномасштабной войны в августе. Американские военные и дипломатические источники, по словам Бежуашвили, а также секретаря грузинского Совбеза Александра Ломаи, утверждали, что не видят никаких признаков реальных российских приготовлений к полномасштабной войне. Наши сумели обвести вокруг пальца и грузин, и американцев.

В последние годы все усилия американского разведсообщества были направлены на Ирак, Афганистан, Иран и на борьбу с исламистским терроризмом. Россию не считали непосредственной угрозой, а американские разведспутники смотрели по большей части в другую сторону — на «большой» Ближний Восток. Кроме того, спутники не могут определить степень готовности частей и соединений к немедленному началу крупномасштабных боевых действий. Очень важно, что в декабре прошлого года Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) под надуманным предлогом, что страны НАТО его, мол, не выполняют. Прекратились инспекции в рамках ДОВСЕ на местах, которые более всего раздражали наших генералов именно тем, что позволяли иностранцам оценивать степень боеготовности частей и соединений. Без выхода России из ДОВСЕ успешное вторжение в Грузию было бы под вопросом. Надо думать, уже в 2007-м будущая операция против Грузии вовсю прорабатывалась и, возможно, стала основной причиной необъяснимого выхода из ДОВСЕ.

Если с российской стороны был детально проработанный план операции, совместивший разнородные силы армии, флота, ВВС и ВДВ, то с грузинской стороны был импровизационный беспорядок в худшем значении этого слова. Министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, уволенный Саакашвили в декабре 2008-го, утверждает, что если бы знали, что готовит Россия, сами готовились бы совсем по-другому: строили бы оборонительные линии, блиндажи и укрытия. Когда в ночь на 12 августа грузинская армия и спецчасти МВД отошли к Тбилиси, никакого готового плана обороны города и заранее оборудованных позиций не было. Грузинские военные не были готовы к минной войне и даже не пытались задержать наступающие российские бронеколонны, ставя минные заграждения. Если бы знали, говорит Кезерашвили, то заранее вывели бы из Ирака 2 тыс. грузинских солдат и т. д.

Российские военные официально признают потерю четырех самолетов, включая сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Полуофициально наши военные говорят о потере семи машин. Грузины утверждают, что сбили девятнадцать, включая один боевой вертолет. Истина, скорее всего, лежит где-то между. Грузинское ПВО действовало в целом неплохо, хотя отразить российское воздушное наступление не смогло. Потеря боевых машин неприятна, хотя самолетов советского производства у нас еще немало. Совсем другое дело убитые и раненые пилоты. Подготовленных экипажей в ВВС большой дефицит, и каждая потеря очень болезненна и часто невосполнима. Грузию, как и Чечню во время второй

войны, бомбили практически исключительно пилоты советской выучки — от майора до полковника, которым теперь нередко больше пятидесяти лет. Хорошо подготовленного молодого поколения пилотов, способных на старых машинах в сложной боевой обстановке точно попадать по чужим, а не по своим, сегодня в ВВС фактически нет.

В отличие от грузин, наши военные не использовали разведывательные БПЛА во время войны в августе, поскольку делать современные оперативные и стратегические беспилотники наша промышленность не умеет. На разведку летали самолеты с экипажами, что вело к неоправданным и часто невосполнимым потерям. После окончания боевых действий Кремль и Минобороны официально заявили, что война выявила серьезные недостатки в подготовке, организации и вооружении войск. Системы связи, радиоэлектронной борьбы и вообще фактически все вооружение у нас старое, восьмидесятых, семидесятых, а то и шестидесятых годов производства. После войны в августе была объявлена радикальная военная реформа, которая должна модернизировать и вестернизировать структуру вооруженных сил. Должно начаться перевооружение, но без массовой закупки западных военных технологий и систем вооружения ничего не выйдет, поскольку наш ВПК устарел точно так же, как и сами вооруженные силы. Но непонятно, как совместить предполагаемую армейскую модернизацию с западной помощью и по западным образцам с одновременной политической конфронтацией и военным противостоянием с тем же Западом.

Против грузин использовали баллистические ракеты «Точка-У» и «Искандер» — оружие высокоточное и всепогодное, если надо — ночное, в отличие от нашей технически отсталой авиации. Неся потери, наши ВВС, которые организационно не подчинены Сухопутным войскам, не слишком успешно поддерживали их на поле боя. Недостаток авиаподдержки должны были компенсировать ракетные удары, но для высокоточного пуска нужна столь же высокоточная оперативная разведка целей, а нечем — нет современных БПЛА и разведспутников. Было использовано до 50 баллистических ракет, эффективность миротворческого ракетного удара оказалась невысокой, часто вообще непонятно, по чему стреляли.

Официально российские военные заявили о 71 убитых и 340 раненых военнослужащих. Тбилиси сообщил 15 сентября о гибели 168 своих военнослужащих, 16 полицейских и 180 гражданских лиц. Кроме того, 14 грузинских военных пропали без вести. В октябре парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в резолюции отметила, что по числу погибших и раненых в ходе конфликта поступает противоречивая информация. «По сведениям независимых оценок, с российской (и осетинской) стороны 300 человек убиты, 500 ранены, с грузинской стороны — 363 убиты, 2234 ранены», однако эти цифры «значительно ниже тех, что были первоначально указаны, в особенности Россией», — отмечается в документе.

Очевидно, что данные потерь с российской (осетинской стороны) — лишь округленная прикидка, в то время как с грузинской они выглядят более достоверно. Точные цифры военных и гражданских потерь в войнах, которые в прошлом вела Россия, так и не были никогда установлены: есть только прикидки и оценки.

Нет вообще никаких оценок потерь нашей армейской техники, хотя, по оценкам очевидцев, много было разбито и сожжено. Первый замминистра обороны Грузии Бату Кутелия сказал мне в Тбилиси в конце ноября 2008-го, что грузины потеряли 42 танка, что составляет четверть их общего числа. Модернизированных Т-72 было, по его словам, потеряно всего несколько штук. Прочая модернизированная по стандартам НАТО техника была также в основном спасена. На базе в Сенаки в Западной Грузии, где модернизировали танки и вообще не было боев, российские военные, утверждает Кутелия, захватили и вывезли пару модернизированных Т-72, которые были не на ходу. Кутелия надеется, что наши не смогут до конца разобраться в программном обеспечении танковых компьютеров на грузинском языке и использовать эти машины.

6. Международный аспект конфликта, или новая холодная война

Уже 9 августа Саакашвили призвал Россию прекратить огонь. Российский МИД потребовал предварительно вывести грузинские войска и технику из Южной Осетии. 10 августа Тбилиси объявил о полном выводе войск. 11 августа в Тбилиси Саакашвили в присутствии глав МИДа Франции Бернара Кушнера и Финляндии Александра Стубба подписал документ о прекращении грузинской стороной огня. Наша армия продолжала наступление в глубь Грузии до 12 августа, когда президент традиционно дружественной Франции Николя Саркози, прибывший в Москву в качестве главы страны-президента ЕС, подписал с президентом Медведевым план о прекращении боевых действий. Суть соглашения, известного как план Медведева — Саркози, состоит в немедленном перемирии и отводе как грузинских, так и российских сил на исходные позиции, после чего предполагались поиски политического решения конфликта при международном посредничестве. Требование российского руководства об отстранении Саакашвили от власти как военного преступника было Саркози отвергнуто.

Скоро стало ясно, что Москва иначе трактует подписанный документ. Вместо полного ускоренного вывода войск на позиции до 7 августа наши к 22 августа совершили частичный отвод сил, сохранив под контролем значительную зону безопасности вокруг Южной Осетии и Абхазии. Окончательно войска были выведены из «зон безопасности» в первой половине октября, но до этого 26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Было объявлено, что на территории новоявленных государств будут созданы российские военные базы и дислоцированы на постоянной основе войска. Таким образом, по мнению российского руководства, территории Абхазии и Южной Осетии были выведены из-под действия положений плана Медведева — Саркози.

Наблюдатели ОБСЕ и ЕС, направленные по согласию сторон в октябре 2008-го в зону конфликта, чтобы следить за выполнением соглашения о перемирии, не были допущены на территории сепаратистских республик. 23 декабря 2008 года было объявлено о прекращении миссии ОБСЕ по наблюдению в Южной Осетии, которая действовала до начала войны, по-

скольку Россия блокировала продление ее мандата. Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, президент Дмитрий Медведев сразу разъяснил, что «нас ничего не пугает, в том числе и перспектива холодной войны». Если европейские партнеры «успокоятся», отлично. «Если же они изберут конфронтационный сценарий, ну, что ж, мы жили в разных условиях, проживем и так», — сказал Медведев.

Конфронтация с Россией никак не входит в долгосрочные планы ведущих западноевропейских стран — Франции, Германии и Италии. Осознав, что дело идет к войне, Германия за месяц до ее начала выдвинула трехэтапный план урегулирования в Абхазии и Осетии, предложив помощь ЕС для восстановления края, разоренного войной и долгим правлением коррумпированных сепаратистов. Возвращение беженцев и переговоры, где общее улучшение жизни и экономическое развитие должны были стать основой примирения. Но в июле, когда министр иностранных дел и вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в регион, было уже поздно. В Москве твердо решили сокрушить Саакашвили, заканчивалась военно-техническая подготовка вторжения, а сепаратисты готовили провокации, чтобы предоставить для него повод. Немцам вежливо, но твердо отказали.

Открытое противостояние с Западом, США и НАТО после августовской войны с Грузией не стало чем-то неожиданным для российского военно-политического руководства, и ответ врагам последовал незамедлительно. Уже 1 сентября начались, как заявил генерал Болдырев, самые масштабные за последние 20 лет комплексные стратегические учения «Стабильность-2008», которые были проведены в четыре этапа и продолжались 74 дня. По словам Медведева, в них участвовали 47 тыс. человек, 134 органа управления войсками и свыше 7300 единиц техники.

В различных учениях, объединенных единым замыслом, участвовали все наши наличные силы ядерного сдерживания, а также Балтийский, Северный и Тихоокеанский флоты, войска Московского, Приволжскоуральского и Дальневосточного военных округов, четырех воздушных армий, силы ПВО войск Командования специального назначения (КСпН), защищающих Москву и Центральный регион. Участвовали Космические войска, ВДВ, Тыл ВС, а также федеральные органы исполнительной власти, в том числе МВД, МЧС, Минюст, ФСИН, ФСБ, Минтранс и сверх того — союзные подразделения из Белоруссии и Казахстана, — по сути все, кто не отработал свое во время реального вторжения в Грузию в августе.

Военное ведомство заявило, что «сценарий учений предполагает постепенное обострение обстановки с перерастанием от кризисных ситуаций к вооруженным конфликтам». На Дальнем Востоке в ходе учений «Берег» объединенная группировка войск (сил) отразила условное вражеское нападение (очевидно, японо-американский десант) на Курилы и на Сахалин. Тем временем войска КСпН отразили «массированный ракетно-авиационный удар» по московскому региону, а силы ВВС, которые в данном случае изображали американо-натовскую атаку, тем самым подготовились к воздушной наступательной операции на европейском театре военных действий. Завершились учения пусками межконтинентальных баллистических ракет по условному противнику (НАТО и США).

В Оренбурге 26 сентября 2008 года на полигоне Донгуз по ходу учений Медведев заявил: «Стабильность — это то, к чему стремится наше государство, то, что мы обязаны отстаивать в самых разных ситуациях, если потребуется — и с использованием военной силы... Мы убедились, война может вспыхнуть внезапно и происходить абсолютно реально, а локальные, тлеющие конфликты, которые иногда именуют даже замороженными, — превратиться в настоящий военный пожар». Соответственно, были поставлены задачи до 2020 года: перевести «все боевые соединения и части в категорию постоянной готовности», повысить эффективность системы управления Вооруженными Силами, совершенствовать систему подготовки кадров, оснастить войска принципиально новым, самым современным оружием. Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных лодок. Медведев приказал «добиться превосходства в воздухе в нанесении высокоточных ударов по наземным и морским целям, а также в оперативной переброске войск».

Стратегические учения «Стабильность-2008» — это не импровизация в ответ на кризис в отношениях с Западом после конфликта в Грузии. Учения готовились, как справедливо отметил министр обороны Анатолий Сердюков, «более чем год», — очевидно, параллельно с грузинским походом. Передовые войска вторжения были отмобилизованы и сконцентрированы на передовых рубежах к началу августа в ходе учений «Кавказ-2008». Одновременно для стратегической поддержки наступательной операции в Грузии были подготовлены мощные дополнительные силы, поскольку не было до конца точно известно, что американцы не вмешаются. Какое-то время в августе судьба России и мира, похоже, висела на волоске, но обошлось, а заранее отмобилизованные силы и средства вместо войны с США и НАТО провели мегаучения на будущее: ведь осталась нерешенной проблема Крыма и Севастополя, да и Саакашвили до сих пор у власти — и продолжает выступать.

Впервые с середины восьмидесятых наша власть провела учения, нацеленные на непосредственную подготовку полномасштабной войны с Западом. Потому в них, как когда-то в советское время, участвовали и основные органы исполнительной власти: в ядерной войне не будет мирного тыла. В рамках «Стабильности-2008» впервые с советских времен военные комиссариаты провели массовый призыв резервистов, из которых была сформирована танковая резервная дивизия. Для оккупации территорий, бóльших, чем Абхазия и Южная Осетия, нынешних частей постоянной готовности совершенно недостаточно.

По ходу учений наш ВМФ отправил в Атлантику, Средиземное море и в Карибский бассейн к американским берегам эскадру во главе с атомным крейсером «Петр Великий». 22 декабря правительство утвердило на 2009–2011 годы капитальные госвложения в серийное производство вооружений и военной техники в 1 трлн рублей и сверх того гособоронзаказ на 4 трлн рублей. Объявлено, что за три года будет закуплено и поставлено в войска более 70 стратегических ракет, более 30 ракет «Искандер», большое количество ракет-носителей и космических аппаратов, а также 48 боевых самолетов, шесть БПЛА, более 60 вертолетов, 14 кораблей, почти 300 тан-

ков и более 2 тыс. автомобилей. В приоритетном порядке будут развиваться стратегические ядерные силы.

Замысел и масштаб учений, амбициозные планы будущего военного строительства не скрываются, а выпячиваются. Наши начальники могут предаваться мечтам о «превосходстве в воздухе» и искать «стабильности», опираясь на проржавевшую советскую ядерную дубину, но в реальности, конечно, надеются по-пацански конкретно договориться с Западом о разделе сфер влияния. Вы, мол, не ходите в наш двор без разрешения, в Грузию и на Украину, не размещайте противоракеты в Польше, и мы не будем ходить к вам, а иначе — будет, типа, холодная война.

Наши начальники, похоже, забыли, что в прошлый раз страна плохо пережила холодную войну: СССР разорился и рассыпался на части. А вот нынешние ведущие западные политики и военные хорошо помнят, как двадцать лет назад сначала сдержали, а потом свернули в трубочку советскую империю. После 2001-го НАТО не показало себя особенно эффективной организацией для борьбы с исламским терроризмом, а для сдерживания России (СССР) оно было исходно создано, и ничего нового придумывать не надо. Надежда московских начальников на многополярный мир оказалась пустой. Китай, Иран и российские союзники по Организации Договора о коллективной безопасности не стали активно поддерживать Москву во время конфликта с Грузией, не стали признавать Южную Осетию и Абхазию, а решили пока остаться в стороне и посмотреть, как наши будут сами расхлебывать последствия.

7. Предпосылки возобновления боевых действий

Война в августе должна была окончательно освободить Абхазию и Южную Осетию от грузинского влияния и населения, Тбилиси — от Саакашвили, а Закавказье — от НАТО и американцев. В принципе Москва даже готова формально сохранить территориальную целостность Грузии (без Абхазии и Осетии) в виде некой конфедерации и дать грузинам, а также абхазам и осетинам возможность демократически выбирать себе президентом любого, кого предварительно утвердят в Москве, как это делается в наших областях и республиках.

Точно так же российское руководство готовило в 99-ом вторжение в Чечню. Тогда еще ранней весной, по свидетельству бывшего премьера Сергея Степашина, было принято принципиальное решение начать войну в августе-сентябре. Все лето шла инженерная и прочая подготовка к развертыванию ударных группировок. Одновременно готовилась серия провокаций для обеспечения повода к войне, включая таинственные взрывы домов в Москве и в других городах, а также вторжение отрядов под командованием Шамиля Басаева в Дагестан. Но, по словам Степашина, вторжение в Чечню началось бы осенью 99-го вне зависимости от взрывов домов и нападения на Дагестан. Заранее спланированное вторжение началось бы, утверждает Степашин, что бы чеченцы ни делали. Поскольку было твердо решено воевать, переговоры с Грозным в 99-м уже весной фактически прекратились. Тогда Путин сначала готовил войну, будучи директором ФСБ и

секретарем Совбеза, а в августе стал, как сейчас, премьером. Тогда восстанавливали территориальную целостность РФ, сегодня, похоже, взялись за выстраивание постсоветского пространства.

В августе 2008-го Москва согласилась на прекращение огня из-за опасения серьезной западной реакции, а также из-за кризиса со снабжением войск по сотням км горных дорог от Владикавказа и Беслана через узкую горловину Рокского тоннеля. Напрашивалась оперативная пауза для подтягивания тылов, и, главное, посчитали, что тбилисскому режиму уже нанесен смертельный удар. Президент Медведев назвал Саакашвили «политическим трупом». Многие в Москве до сих пор уверены, что Саакашвили скоро уйдет, что его скинет оппозиция, что «американцы его сами уберут», но это не более чем беспочвенные мечтания. Грузинская оппозиция разрознена, ее лидеры не особо популярны и постоянно грызутся. Для многих честных, патриотически настроенных грузин, отнюдь не поклонников Саакашвили, деятельность оппозиции сегодня граничит с национальным предательством.

Силы МВД и военные лояльны режиму, Саакашвили чувствует себя вполне уверенно и даже позволил себе во время выступления в парламентской комиссии публично опровергнуть слухи, что он когда-то обозвал российского премьера обидным словом «лилипутин». Грузинский режим устоял, консолидировал силы, получает солидную западную помощь и теперь готовится к совсем другой будущей возможной войне с Россией.

По словам грузинских военных, теперь они готовят оборонительные рубежи, укрытия, оборудованные огневые позиции и инженерные заграждения. Оттавский договор, запрещающий использование противопехотных мин, практически полностью прекратил международную торговлю минами, но грузины, вероятно, где-то смогут что-то достать или наладить собственное производство. Противопехотная мина — не больно сложное изделие, но без него противотанковые минные поля бессмысленны. Грузинские военные также говорят, что могут воспользоваться иракским опытом, где боевики-исламисты наладили производство высокоэффективных управляемых придорожных мин-фугасов для уничтожения техники и живой силы.

Сегодня на линии прекращения огня после вывода российских войск из зон безопасности вокруг Южной Осетии и Абхазии постоянно происходят провокации и перестрелки, в которых обе стороны обвиняют друг друга, что в конечном итоге может перерасти в полномасштабные боевые действия. Руководитель Миссии ЕС по мониторингу в Грузии Хансерг Хабер в декабре 2008-го заявил, что «ситуация вдоль административной границы непрогнозируемая, снова имеют место инциденты». Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что десятки тысяч перемещенных лиц не могут вернуться в свои дома из-за продолжающихся взрывов, стрельбы, а также мародерства и случаев похищения людей в «сумеречной зоне» вдоль границы Южной Осетии. В грузинском селе Эргнети в нескольких сотнях метров от окраины Цхинвали, где я был в конце ноября 2008-го, немногие вернувшиеся жители ремонтируют свое жилье, немецкая благотворительная организация раздает наборы стальных кастрюль, но бóльшая часть домов до сих пор стоят сожженными и до нитки разграбленными осетинскими мародерами.

Южная Осетия сегодня также по сути пустыня, в ней осталось в результате войн и этнических чисток меньше 30 тыс. постоянного населения — где-то *четверть* от довоенного советского. Географически и экономически Южная Осетия — часть Грузии. В ней не может быть никакого функционирующего хозяйства, пока граница с Грузией, как сейчас, закрыта и там — перестрелки. В Абхазии сейчас примерно 140 тыс. населения — *треть* довоенного. В Абхазии возможно развитие сравнительно независимой от Грузии экономики, особенно туризма, но вся советская инфраструктура совершенно сгнила. Для реабилитации Абхазии, для содержания Южной Осетии, на размещение там российских военных баз и гарнизонов потребуются десятки миллиардов долларов, которых в российском бюджете в результате кризиса может просто не оказаться. А если и найдутся, то все равно бóльшую часть способны разворовать коррумпированные российские чиновники вкупе с местными деятелями.

В Осетии нужно строить дорогу-дублер Рокского тоннеля через Мамисонское ущелье и перевал, поскольку полагаться на одну крайне уязвимую линию снабжения слишком опасно. Нужно срочно строить десятки км противолавинных тоннелей в ущелье к северу от Рокского тоннеля, иначе единственная дорога два-три месяца в году зимой будет практически закрыта. Тем временем Грузия начала программу существенного увеличения регулярной армии. Похоже, Россия завязла, взяв в августе под контроль территории, которые ей вообще-то даром не нужны, но стоить будут со временем все дороже.

Выходом из неприятной ситуации может стать новая война. ФСБ уже объявило, что Тбилиси готовит теракты и диверсии против наших войск в Южной Осетии и Абхазии и на территории самой России. Министр обороны Анатолий Сердюков заявил в ноябре в Анкаре: «Нас беспокоит проводимое грузинским руководством наращивание военного потенциала и втягивание страны в НАТО. Эта деятельность может спровоцировать гораздо более серьезный конфликт, чем события августа этого года». Возможно, уже началась проработка новой «окончательной» операции, чтобы в этот раз все-таки разгромить грузинские вооруженные силы, сменить режим в Тбилиси, окончательно изгнать американцев и НАТО. Кроме того, когда в России постепенно нарастают недовольство и социальная нестабильность в ответ на не очень удачные попытки властей бороться с экономическим кризисом, «маленькая победоносная война» со слабой Грузией может помочь сплотить страну вокруг «национального лидера» — Путина. Если война запланирована, предлог всегда найдется. Но если в этот раз грузины чуть лучше подготовятся, результат может быть несколько иным, чем в августе.

БАБОЧКА ЧЖУАН ЧЖОУ

> Вчера мы об этом неоднократно говорили с руководством Китайской Народной Республики. Мы исходим из того, что российско-китайское взаимодействие сегодня превратилось в ключевой фактор международной безопасности, тот фактор, без которого невозможно принятие основных решений в рамках международного сотрудничества. Я могу вам сказать откровенно, что, может быть, не всем даже нравится такого рода стратегическое взаимодействие, которое существует между нашими странами. Но мы понимаем, что это взаимодействие в интересах наших народов, и мы будем его всячески укреплять, нравится это кому-то или нет!
>
> *Д. А. Медведев.*
> *Лекция в Пекинском Университете*
> *24 мая 2008 года.*

1

В мае минувшего года в Высшей школе международных отношений в Вашингтоне состоялся семинар, на котором с докладом «Шанхайская Организация Сотрудничества: Новые тенденции» выступил важный гость из Китая профессор Pan Guang. Перечисление всех его титулов заняло бы очень много места. Для краткости скажу, что он такой китайский Георгий Арбатов советских времен. Выездная модель Международного отдела ЦК с человеческим лицом, английским языком и серьезными полномочиями.

Я заглянул минут на пять, чтобы почувствовать тональность официального доклада, по которой можно было бы предсказать все его содержание, но остался до конца.

Передаю поток сознания товарища Пэна в максимально близком к английскому оригиналу переводе на русский язык:

Ни одного серьезного коллективного экономического проекта ШОС в странах Средней Азии не осуществляется. Русские хотели бы проводить их через

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ — родился в Москве в 1940 г. Окончил Механико-математический факультет МГУ. Кандидат физико-математических наук. Член Американского Математического Общества. Автор более 100 статей и нескольких монографий по теории управления, глобальному моделированию, ядерной стратегии. Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. С 1998 г. — в политической журналистике, опубликовал несколько сотен статей в российских и зарубежных СМИ. Член международного ПЭН-клуба. Живет в Москве.

те структуры, в которых, как им кажется, они доминируют: СНГ, Евразийский Союз, но это пустые организации, они подписали более тысячи документов, но ни один из них не работает. Поэтому мы заключаем серьезные двухсторонние соглашения с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном.

Два года назад приезжал к нам В. Путин. Говорил о каком-то Энергетическом Клубе. Мы до сих пор не поняли, что это такое. Да и какой может быть клуб у страны-поставщика со страной-потребителем? Русских интересует только цена на энергоносители. Они угрожают европейцам, что если те не примут их цену, они будут продавать газ и нефть нам. Потом они приезжают к нам и говорят, что если мы не согласимся на их условия, то они будут все продавать европейцам.

О чем с ними вообще можно договариваться? Мы заключили соглашение с М. Ходорковским, а они посадили его в тюрьму. С тех пор пять лет идут пустые разговоры. А мы за это время построили нефтепровод из Казахстана.

Да и вообще, когда в 2001—2003 годах у них были хорошие отношения с Западом, они и думать забыли и о Китае, и о ШОСе. А сейчас когда им понадобилась какая-то политическая опора на Востоке, они снова приезжают к нам.

Где-то я это уже слышал или читал, подумал я. А может, товарищ Пэн не существует и он просто эманация моего сознания? Как Чжуан Чжоу с его бабочкой две с половиной тысячи лет назад, я уже не мог понять: или мне снится, что я товарищ Пэн, или я и есть Пэн, которому снится, что он Пионтковский, писавший несколько лет тому назад:

Вообще все российское евразийство исторически вторично, является функцией обиды на Запад и выполняет для российской «элиты» роль не более чем психологической прокладки в критические дни ее отношений с Западом. Все эти мотивы великолепно артикулированы в знаменитой блоковской поэме. Страстное объяснение в любви к Европе при малейшем сомнении во взаимности сменяется угрожающим — «а если нет, нам нечего терять и нам доступно вероломство... мы обернемся к Вам своею азиатской рожей».

При чем тут Китай, Индия, сербские братушки, иракский или северокорейский диктаторы? Все это не более чем сиюминутные поводы, необходимые страдающей маниакально-депрессивным синдромом российской «элите» для выяснения отношений с вечно ненавидимым и вечно любимым Западом. Не к случайному собутыльнику, а к небесам Запада обращен экзистенциальный русский вопрос «А ты меня уважаешь?»

Китайцы, кстати, все это прекрасно понимают и поэтому относятся к российским спорадическим заигрываниям скептически и с неизбежной дозой снисходительного и высокомерного презрения. Можно, конечно, из тактических соображений некоторое время обозначать фальшивые привязанности, но занятие это довольно утомительное.

Китай — это кошка, которая гуляет сама по себе вот уже несколько тысячелетий, самодостаточная держава, никакими комплексами в отличие от российской политической «элиты» не страдающая и ни в каком стратегическом партнерстве с Россией, тем более на антиамериканской основе не нуждающаяся. Если эти бледнолицые северные варвары, в свое время навязавшие Срединной империи несправедливые договоры, почему-то придают

такое значение бумажонкам о стратегическом партнерстве и многополярности, то ради бесперебойных поставок российского оружия можно эти бумажки и подписать.

Но отношения с США — с основным экономическим партнером и политическим соперником — для КНР гораздо важнее, чем отношения с Россией, и, выстраивая их, Пекин будет руководствоваться чем угодно, но только не комплексами российских политиков[1].

Я ущипнул себя, но бабочка продолжала порхать живой иллюстрацией к моей статье. Оттоптавшись от души на своем великом северном соседе и продемонстрировав американской аудитории всю его несостоятельность как партнера, товарищ Пэн перешел непосредственно к деловой части своего визита в Вашингтон.

Почему-то ШОС принято считать антиамериканской организацией, — задумчиво произнес он. — *На мой взгляд, это глубокое заблуждение. У отдельных членов ШОС могут быть трения с США, но это вовсе не означает, что ШОС в целом антиамериканская организация. Вот, например, у ряда стран АСЕАН есть проблемы с США, но разве АСЕАН — антиамериканский блок?*

Нас очень беспокоит ухудшение ситуации в Афганистане. По понятным причинам мы не можем участвовать в военных операциях под командованием блока НАТО, членом которого мы не являемся. Но можно подумать о другом формате. В Южном Ливане, например, сейчас находится около тысячи китайских солдат по мандату ООН. Но что такое для нашей безопасности Южный Ливан по сравнению с находящимся у наших границ Афганистаном?!

Ну вот, теперь, наконец, мессэдж товарища Пэна приобрел архитектурную стройность и законченность. Шанхайская Организация Сотрудничества — эффективный инструмент поглощения Средней Азии Китаем и вытеснения оттуда России. В результате в Большой Игре Китай остается Вашим единственным партнером. И мы готовы стать, по Вашему излюбленному выражению, ответственным *stakeholder*'ом в системе глобальной безопасности. В том числе и в обеспечении стабильности Афганистана, в чем Вы так остро нуждаетесь. И в чем Вам мало чем могут помочь Ваши натовские союзники, которые не воюют после 6-ти вечера, как немцы, или во время сиесты, как итальянцы...

Я скользнул глазами по списку участников семинара. Среди них значился N., Embassy of Russian Federation. Значит, китаец знал, что присутствует дипломат из русского посольства, который скорее всего его записывает, и тем не менее не стеснялся в своих, мягко говоря, не очень уважительных по отношению к «стратегическому партнеру» оценках. Похоже даже, что он их специально акцентировал. На уровне приближенных к власти экспертов Китай уже не считает нужным что-либо скрывать.

А разве не были демонстративным вызовом России беспрецедентные военные учения Пекинского и Шеньянского военных округов осенью 2006 года? Именно эти округа прилегают к границе с Россией: Шеньянский противостоит Дальневосточному, а Пекинский — Сибирскому военному округу

---

[1] *Пионтковский А.* Вызовы 21-го века и российская политическая элита. — «Мир Перемен», международный научно-общественный журнал, 2004, № 2.

ВС РФ. В ходе учений части Шеньянского ВО совершили бросок на расстояние 1000 км на территорию Пекинского ВО, где провели учебное сражение с частями этого округа. Подобный сценарий учений — это подготовка к войне с Россией, причем отрабатывается наступление, а не оборона. Применительно к Тайваню указанный сценарий не имеет смысла. Отрабатывались глубокие наступательные операции на суше, в горно-степной местности; их объектами для Китая могут быть лишь Россия и Казахстан. Кстати, рельеф той местности, где проходили учения, аналогичен забайкальскому, а 1000 км — это как раз от российско-китайской границы по реке Аргунь до Байкала.

Если N. послал файл с докладом Пэна в Москву, то это уже было поступком. Дипломаты и разведчики не любят отправлять депеши, которые явно не понравятся их боссам. Товарищ С. Лавров, конечно, не товарищ Л. Берия, который начертал 21 июня 1941 года на донесении советского разведчика: «*Стереть в лагерную пыль!*» Но зачем ему свидетельства краха картонных идеологем его политики, всех этих замшелых примаковских многополярных треугольников или свеженькой карагановской фенечки о Новой Эпохе Противостояния двух конкурирующих моделей социально-экономического развития? За этими потугами на концептуальность всегда стояло простенькое желание воскликнуть: «Нас с Великим Китаем 1,5 миллиарда человек», — и погрозить Америке сухоньким кулачком из китайского обоза. Но, похоже, не берут в этот обоз кремлевских нефтетрейдеров.

Вечером того же дня (22 мая) я увидел на экране телевизора Д. Медведева, дававшего интервью китайским журналистам накануне своего первого зарубежного визита в качестве президента России. Медведев держался очень уверенно, солидно, по-государственному, за исключением, пожалуй, одной странноватой фразы: «*Я надеюсь, что переговоры с нашими китайскими товарищами...*»

Стоп. Какие они ему товарищи? Это обращение принято между единомышленниками-коммунистами. Дмитрий Анатольевич Медведев — крупный русский буржуазный политик и бизнесмен. Из каких глубин подсознания всплыло это явно фальшивое в данном контексте слово? И кроме того, в отличие от остального текста, оно было произнесено с какой-то совершенно несвойственной Медведеву робко искательной интонацией.

Как сказал бы Штирлиц, у меня защемило сердце. Где-то я уже слышал это словечко «товарищи», звучавшее примерно в той же тональности. Ну, конечно! — Это же был несчастный профессор Плейшнер на провалившейся явке в Берне. Он тогда уже подсознательно почувствовал, куда он вляпался, но трогательно беспомощно попытался обмануть себя и отмахнуться от смутного подозрения этим наивно заискивающим обращением: «*Передайте товарищам...*» Тогда они его еще выпустили.

Но когда уже невозможно было больше себя обманывать, он обреченно выдохнул : «Я ошибся...»

2

Ежегодно чикагский совет по глобальной политике (Chicago Council on Global Policy) проводит двухдневную неформальную встречу экспертов из разных стран (человек 20—30) для обсуждения ключевых проблем миро-

вой политики. Здесь не принято делать специальных докладов. Участники в свободном режиме обмениваются мнениями по вопросам, которые сами считают нужным поставить.

Я приехал в этот раз (12–14 июня) под свежим впечатлением от доклада товарища Пэн Гуана в Вашингтоне. Желающие сами могут ознакомиться с аудиозаписью этого, на мой взгляд, исторического семинара (www.silkroadstudies.org/new/inside/forum/CACI_2008_0522.html).

Кстати, Fred Starr, который в качестве директора проекта «Шелковый Путь» высшей школы международных исследований вел семинар, рассказал мне, что визит товарища Пэна в течении двух месяцев готовился на высоком уровне в Пекине и Вашингтоне и его специально попросили предоставить площадку для публичного выступления Пэна.

В Чикаго на этот раз были два весьма высокопоставленных китайца, такого же плана как и Пэн, только более молодого поколения.

Чикагский совет проводил свою встречу по правилам, не позволяющим атрибутировать цитаты, поэтому на этот раз я не буду называть имен китайских участников.

Естественно, что когда речь зашла об Афганистане, я спросил, а что наши китайские друзья думают о непростой обстановке в этой граничащей с Китаем стране и не исключают ли они возможности китайского военного участия в стабилизации ситуации.

Китайцы, как мне показалось, посмотрели на меня с благодарностью за этот пас и довольно долго и заинтересовано говорили на эту тему. Они пошли даже несколько дальше Пэн Гуана, который, как помним, допускал присутствие китайских войск в Афганистане исключительно под эгидой ООН. Мои чикагские китайские коллеги говорили о возможности двухстороннего соглашения Китай — НАТО, о чем, как они заметили, уже шел предварительный обмен мнениями во время визита межпарламентской делегации НАТО в Пекин.

«Как же так, — ошарашено спросил один западный коллега, — ведь все китайские официальные документы осуждают блоковую политику?»

Ответом ему была снисходительная улыбка.

Чикагская встреча подтвердила то, что было уже ясно после семинара в SAIS. Китайцы проводят активный зондаж на предмет предложения своей помощи США в Афганистане. Как сказал в Чикаго китайский коллега в частной беседе: «Мы им предлагаем, а они пока осторожничают».

Естественно, что осторожничают. С чисто военной точки зрения американцы, конечно, нуждаются в такой помощи. Китайцы — это не европейцы, которые не воюют после 6-ти часов вечера и дальше, чем в часе езды от ближайшего госпиталя. Но в более широком контексте принятие китайского предложения означало бы такой серьезный геополитический выбор, который уходящая через несколько месяцев администрация просто не имеет права делать.

Это было предложение следующему президенту. Предложение блестящее по своему стратегическому замыслу. Его реализация позволила бы Китаю одновременно решить целый ряд геополитических задач.

Во-первых, фактический военный союз США и Китая в Афганистане внес бы полную определенность в структуру ключевого для Евразии тре-

угольника Китай — США — Россия. Россия становилась бы в нем третьим лишним, обреченным стать ближним зарубежьем Китая.

Во-вторых, военное присутствие Китая в Афганистане окончательно закрепило бы доминирование Китая в другой части его ближнего зарубежья — Среднеазиатском регионе с его огромными энергетическими ресурсами.

В-третьих, существенно изменится ситуация в треугольнике Китай — Индия — Пакистан. Китайское присутствие в Афганистане освободит Пакистан от навязчивого страха окружения Индией. Именно этот страх толкает сегодня могущественную пакистанскую ISI (Межведомственную Разведку) на фактическую поддержку исламских радикалов в Афганистане. В них они видят барьер против индийского проникновения.

В-четвертых, если военное сотрудничество будет складываться в формате Китай—НАТО, то оно политически привяжет и Европу к стратегическому союзу с Китаем. Изоляция России станет абсолютной.

В-пятых, не связанные условностями буржуазного гуманитарного права китайские войска зачистят интернациональные центры исламских радикалов (лишенных поддержки Пакистана) так основательно, что внешняя подпитка синьцзянского сопротивления будет полностью устранена.

Все эти пять пунктов сводятся к одной формуле — «Великая шахматная доска» по Збигневу Бжезинскому. Именно такой кондоминиум двух сверхдержав — США и Большого Китая — предлагал 10 лет назад З. Бжезинский как модель мирового устройства в XXI веке. Тогда на пике американского могущества и влияния эта точка зрения казалась экзотической и маргинальной. Но китайцы умеют ждать. Они могли бы ждать и 50 лет. События, однако, развивались гораздо быстрее.

Американцы умерили свою гордыню и осознали пределы своих возможностей, столкнувшись с серьезными трудностями в Ираке и Афганистане.

Проблема Тайваня, служившая основным препятствием к американо-китайскому сближению, нашла свое концептуальное решение в умах тайваньской элиты. Как замечательно предвидел писавший совсем о другом острове Василий Аксенов («Остров Крым»), новое поколение гоминдановцев стало ощущать себя частью «Великого Китая», и необратимый процесс гонконгизации Тайваня, т. е. его мягкого поглощения, уже начался.

И наконец, складывавшийся было в 2001—2002 американо-российский стратегический союз был удачно похоронен дружными усилиями российской политической «элиты».

Китайцы блестяще выбрали время и акупунктурную невралгическую точку (Афганистан) для дебютного хода на «Великой шахматной доске».

Сравните масштабы стратегического мышления наследников Сун Цзы и внуков Молотова—Риббентропа.

Каким будет ответный ход американцев? Пригласят ли они китайские войска в Афганистан? Б. Обама не очень опытен во внешней политике, но непререкаемым гуру и наставником для него является все тот же З. Бжезинский. Восьмидесятилетнему патриарху американской внешней политики может выпасть триумфальный шанс не только увидеть своими глазами, но и, наставляя молодого президента, осуществить реализацию своей излюбленной геополитической концепции.

У нас в гостях
«Новая газета» и журнал «The New Times»

Эта новая — «*гостевая*» — рубрика вводится в «Континенте» по взаимной договоренности нашей редакции с дружественными нам «Новой газетой» и журналом «The New Times». Перед выходом каждого номера «Континента» эти издания будут печатать на своих страницах сокращенный вариант (или какой-то из фрагментов) той нашей публикации, на которую мы хотели бы обратить внимание более широкого круга читателей. Будет представлена информация также и об остальном содержании выходящего номера «Континента». Мы же, со своей стороны, в каждом номере журнала будем предоставлять страницы для наиболее интересных публикаций «Новой газеты» и «The New Times». Все стороны этого нашего межредакционного соглашения исходили в данном случае не из того, что подобная практика расширит круг читателей воспроизводимых публикаций (что, конечно, гораздо существеннее для «Континента» с его небольшим тиражом, чем для «Новой газеты» или «The New Times»). Нам прежде всего важно прямо и наглядно обозначить нашу безусловную солидарность в отстаивании тех принципов свободы, правды, нравственных приоритетов в жизни общества, социальной справедливости и демократии, которыми ориентирована работа наших редакций. Мы надеемся, что это может иметь в сегодняшней России определенное общественное значение.

В этом номере мы публикуем большую работу известного ученого-историка и общественного деятеля, до недавнего времени возглавлявшего Российский Государственный Гуманитарный Университет академика РАЕН Юрия Николаевича Афанасьева «*Мы — не рабы?*», посвященную проблемам исторической памяти и так называемого особого русского пути. Первая половина этой статьи была напечатана 5 декабря 2008 года в № 47 «Новой газеты»; вторая половина написана Ю. Н. Афанасьевым специально для «Континента», и мы печатаем сегодня его труд в полном объеме. В этой работе Ю. Н. Афанасьев соотносит, в частности, свои размышления о сталинизме с концепцией Арсения Рогинского, председателя правления Международного общества «Мемориал». С теми идеями, которые были высказаны им в докладе на прошедшей в начале декабря международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения». Статья А. Рогинского «*Чем Сталин жив?*», написанная на основе этого доклада, была напечатана 8 декабря 2008 года в № 49 «The New Times», и нам показалось целесообразным познакомить наших читателей и с нею. Что, с любезного согласия редакции «The New Times», мы и делаем, помещая эту статью вслед за статьей Ю. Н. Афанасьева.

Юрий АФАНАСЬЕВ

МЫ — НЕ РАБЫ?

> Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника.
>
> *М. Е. Салтыков-Щедрин*

I. Исторический бег на месте, или «Особый путь» России

В последние месяцы мы стали свидетелями действий российской власти, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными. Отмечу некоторые важнейшие из них:

— впервые после вывода советской армии из Афганистана российские вооруженные силы начали и закончили «настоящую», не «холодную» войну за пределами государственных границ (в Грузии);

— впервые после краха СССР в Латинскую Америку полетели стратегические бомбардировщики наших ВВС и ушли корабли нашего ВМФ;

— возврат к риторике «холодной» войны дошел до той точки, когда министр иностранных дел России в беседе с иностранным (британским) коллегой матерно аттестовал президента сопредельного государства (Грузии);

— российские корабли воевали в Черном море против Грузии, базируясь на Севастополь вопреки запрету президента Украины на их перемещение без уведомления украинской стороны;

— премьер-министр Путин использовал против Чехии и Польши атомный шантаж — хотя бы и в свойственной ему «специальной», чекистской, многозначительной и как-бы-загадочной манере: «Я не могу себе представить, если против этих радаров...»;

— на фоне вопиющей и углубляющейся имущественной поляризации населения страны почти на 30% увеличен военный бюджет;

— президент России приветствовал избрание нового президента США обещанием разместить в Калининградской области ракеты, угрожающие европейским союзникам США.

Все это выглядит именно как парадоксы: век-то на дворе нынче — ядерный.

Однако все подобные, никак не вписывающиеся в современность события можно объяснить и совсем не парадоксально. Только объяснение в таком случае, на мой взгляд, будет еще более мрачным и тревожным, чем «вроде бы парадоксы».

Если посмотреть на происходящее у нас на глазах: а) реалистически, б) рационально, в) ретроспективно, — и не просто с оглядкой назад, но с обозрением очень большой временно́й продолжительности, то открывается такое... Такое, что невольно начнешь задумываться, прежде всего, о себе самом: то ли ты уже сошел с ума, то ли все еще на пути к безумию.

Если же эти мысли покажутся слишком страшными или странными и удастся их как-то отбросить, тогда ощутишь нечто не менее ужасное — почувствуешь вокруг себя пустоту.

1. Многоликая и беспощадная пустота

Не абсолютную пустоту, конечно же. Хотя и очень редко, но все-таки встречаются отдельные люди, которые видят происходящее примерно так же, как ты. Такие для меня как светлячки. По ним я пытаюсь ориентироваться в нашем мраке.

Но и тогда ощущение пустоты не покидает, потому что исходит оно не откуда-то из одного источника, — например, со стороны власти. Будь так, казалось бы, можно как-то развеять мрак, хотя бы поняв и объяснив для себя, — что вполне возможно, — самые мрачные действия властей. Однако и проясненные в подобном смысле, они не избавляют от ощущения пустоты, потому что не знаешь, что делать с этим пониманием. Если додумать до конца и воспринимать их адекватно, такие действия становятся в полной мере понятными и объяснимыми только как действия власти чужой по отношению к народу: власти оккупационной, «ордынской», да к тому же еще *нелегитимной* и *криминальной* (то есть, говоря по-русски, *беззаконной* и *преступной*). Даже когда есть полная уверенность и вполне устоявшиеся убеждения на сей счет, подкрепленные фактами, всем ходом развития событий, куда дальше обратиться с таким пониманием? Казалось бы, вполне понятно, куда: не к власти же — к народу.

Но ощущение пустоты исходит и от самих широких «народных масс», против которых направлены мрачные действия властей. Они, «массы», не просто молчаливо переносят действия властей, а начинают в последнее время с энтузиазмом эти действия поддерживать, как было уже, например, в 30-х годах прошлого века.

Ко всему прочему, мы знаем, что тот же самый феномен энтузиазма народных масс, — когда ими вовсю манипулируют и над ними же издеваются, — неоднократно случался у нас и еще раньше: например, накануне Первой мировой войны и сразу после нее. Тогда народ и большевики тоже оказались вместе настолько, что до сих пор не вполне ясно, кто из них кого тогда больше поддерживал и кто кого куда-то двигал. Зато хорошо известен итог (пока еще промежуточный) этого продолжительного и смертоносного для обеих сторон единения — 91-й год.

При всем том мы знаем также, что русский народ никогда не воспринимал государство как нечто «свое» и нормальным ответом на государствен-

ное принуждение с его (народа) стороны всегда были хитрость, уловка, обход закона. Внешне смиряясь, демонстрируя власти покорность, народ всегда держал дулю в кармане. Подобные внешние признаки смирения и покорности воспринимались (и воспринимаются) как привычка к терпению, а такую привычку можно, при желании, истолковать и как поддержку власти с его (народа) стороны.

Сейчас тоже налицо вроде бы всенародная поддержка Путина и его президента. Упорно и прискорбно повторяющийся на русской почве феномен *«народ и власть— едины»* означает,что никакие они не власть и не народ в современном рациональном понимании данных категорий. Нашу сомнительную власть в этом смысле я уже упомянул, а народ наш по-прежнему не стал народом-субъектом истории, но остается народом-массой, толпой истории. Лишь в последние 18–20 лет аморфная, атомизированная русско-советская масса начала структурироваться, но, увы, не на гражданской, а на клановo-преступной основе. Кому-то такое понимание обидно, кто-то спекулирует на откровениях подобного рода о своем народе: дескать, «ты никогда не достучишься к нему с такими своими мыслями о нем». Я и это понимаю и потому говорю об исходящей и отсюда тоже пустоте.

Народ наш за многие века перенес такие муки, какие, еще по Карамзину, «терпеть без подлости не можно». Отсюда — хитрость, уловки и двойная мораль. Но тогда, в конце XVIII века, Карамзин не мог знать, что главные муки и их развращающие нравственные последствия у русского народа еще впереди. Периодически мы возбуждались против невыносимых мук и против власти и раз в столетие справляли праздник «дикой воли» с Разиным, Пугачевым или с Лениным, а потом снова надолго погружались со своим кукишем в кармане в ставшее привычным скотское существование. Кто-то с радостью, а кто-то с цинизмом принимал наши периодические возбуждения за пробуждение. А наш народ и в муках своих, и в своих бесшабашных протестах, и в диком гневе своем оставался и остается народом-массой, толпой, достойной сочувствия и тихой горести, а иногда — страшной и омерзительной. Потому и достучаться до него в его постоянной бессознательности и перманентной готовности к бунту смогли только такие люди, как Ленин-Сталин, теперь — Ельцин-Путин, а в обозримом будущем, не исключено, смогут достучаться и такие, как Жириновский-Лимонов.

Наконец, это ощущение пустоты уже не просто замыкается в кольцо, но производит впечатление сплошного замкнутого шарообразного пространства, когда пытаешься вникнуть в совокупный современный дискурс нашей творческой и иной интеллигенции и уловить ее голос, гражданскую позицию. Здесь, конечно, много очень разного и тоже, конечно, встречаются, хотя и очень редкие, светлячки. Для меня, например, сегодня один из них — Алексей Герман. Но и такие светлячки — скорее свет во тьме: то ли он пробьется сквозь тьму, то ли тьма его поглотит. Второе, увы, в российской истории бывало. Уже в наше время после убийства Дмитрия Холодова, Татьяны Юдиной, Галины Старовойтовой, Сергея Юшенкова, Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Магомета Евлоева, после привлечения к суду «за экстремизм» Андрея Пионтковского, после зверского избиения Михаила Бекетова с этой стороны повеяло еще большей пустотой.

В целом же, если воспринимать позиции наших современников-интеллектуалов не разрозненно, но попытаться услышать их как сводный голос некоего «этоса», отличный от других, то ощущение пустоты, исходящее от власти и от населения, только еще усилится. Говоря предельно кратко и определенно, наши интеллектуалы сегодня (не считая отдельных исключительных личностей, — а таких можно пересчитать по пальцам) — на стороне российской власти, а не населения России. Думаю, что и население наше до сих пор остается населением, а не стало народом, главным образом, именно по этой причине.

Может быть, ощущение пустоты, исходящее от нынешней нашей интеллигенции, еще больше сгущается, накладываясь на более чем вековую традицию. Хотя эта традиция существует в реальности и во многом, если не в основном, объясняет общий рисунок нашей истории, о ней не принято говорить во весь голос и писать как о реальности, додуманной до конца. Сама данная проблема — «традиция русской интеллигентности» — в этом смысле тоже как бы уходит в пустоту, покрывается мглой.

И это тоже неслучайно, и у ощущения пустоты, в том числе и у пустоты, основанной на традиции, есть свои причины и их объяснения.

2. Между свободой и империей

Я говорю о традиции отношения русской интеллигенции к власти в том виде, как эта традиция сформировалась еще до 1917 года. Происходит она из сосуществования и противоборства двух культур в одной России. Эти две культуры были настолько разными в социальном и духовном отношениях, что уже в XVIII веке они даже заговорили на разных языках и между ними выросла стена полного взаимного непонимания. В таких условиях русские интеллектуалы (и русская интеллигенция) за всю их историю как некой социальной общности, — включая и тех из них, кто составляет «наше всё», к кому вполне применим эпитет «либеральный», — не просто были строителями русской власти, но и, как правило, были на стороне именно власти, а не с российскими народами. При том что власть, в строительстве которой они участвовали, оставалась по сути своей самодержавной, а то и самодержавно-деспотической, можно представить себе, почему данная проблема — «Просвещенная Россия и русская Власть» — незаметна во всей нашей историографии при рассмотрении отечественных традиций.

Но если разобраться, как и чем объясняется общий рисунок истории России, тогда традиция, о которой идет речь, проясняется и актуализируется в еще большей степени. С той поры, когда в XV веке Москва избрала для себя дорогу построения православной империи, приоритетом страны на пять столетий вперед стала внешняя территориальная экспансия, но не обустройство внутреннего пространства. А поскольку создание империи проходило всегда на скудном экономическом основании, вектор общего движения определился в направлении от свободы к рабству: из населения надо было выжимать насилием все соки. Этот вектор не поменялся до сих пор, и такая его продолжительная неизменность, превратившаяся в своего рода гнетущее национальное задание, определила все главные особенности русского своеобразия, в том числе и приоритет государства, и подавленность личности.

Определяя ту же традицию другими словами — «интеллигенция на стороне власти», можно сказать и так: это традиция расщепленности русского духа между свободой и империей, между русской волей и русской властью.

Еще более определенно высказался наш замечательный историк, философ и публицист Георгий Федотов. Он отметил, что после Пушкина «*разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. <...> Люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего*».

Для Федотова Пушкин был «певцом империи и свободы» (так называлась статья, помещенная в сборнике «Империя и свобода», которую я здесь цитирую). По мнению Федотова, «*Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой воли*». Но «*чаемый им синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, еще менее в русской жизни*»...

«*Конечно, Пушкин*, — пишет Федотов, — *не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие*». Но «*никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своем «Памятнике», духовной в стихах к жене о «покое и воле»*».

Говоря *о грехах и прегрешениях против свободы*, Федотов ссылается, в частности, на выраженное Пушкиным удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого, на защиту цензуры в антирадищевских «Мыслях по дороге». Хотя взгляды Пушкина эволюционировали в направлении консерватизма, отношение его к свободе и к империи менялось неравномерно. Федотов особо подчеркивает, что если понимание свободы у Пушкина трансформировалось в своем содержании, тема империи оставалась неизменной — это константа его творчества. В такой константе находили себе место и сила, лад, строй государства, и две антипольские оды, и мрачный восторг перед завоевателями Кавказа, и все то, что вызывало гневный протест П. А. Вяземского и И. А. Тургенева, протест, выраженный в словах: «*Пушкин окровавил стихи своей повести <...> Поэзия — не союзница палачей; политике они могут быть нужны, — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни*».

Однако главный смысл империи для Пушкина — все в том же общем рисунке русской участи, о котором я уже упоминал: в противостоянии «государство — личность — народ». Евгений в «Медном всаднике» — не личность, а несчастная жертва, человек из толпы, гибнущий между двух начал русской жизни: или под копытами коня империи, или в волнах разбушевавшейся народной стихии.

В этой дилемме Пушкин сделал свой выбор. Он — сеятель свободы, но он — за империю, потому что осознал бесполезность своих и общих усилий:

Но потерял я только время.
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь...

Чтобы понять до конца выбор, сделанный Пушкиным, надо иметь в виду, что выбор этот относится к первой половине девятнадцатого века, а многие мысли поэта и его переживания по поводу империи и свободы продолжаются еще из века восемнадцатого. Во времена Пушкина свободолюбивая, демократическая мысль только нарождалась вместе с Чаадаевым, Белинским, Герценом, — а Пушкина окружала старая консервативная, свободоненавистническая Россия. Она создавала ту политическую и духовную атмосферу, в которой Пушкин и дышал, и задыхался в последние годы своей жизни. Дышал, потому что оказался в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли от Карамзина к Погодину, с глубоким и органически выросшим национально-консервативным течением. Тем течением, которое овеяно общим духом романтизма и основано на изысканиях и создании словаря Даля, на песнях Киреевского, на народных сказках самого Пушкина. А задыхался, потому что оставался служащим и певцом империи, преследуемым ею же до конца за свой неистребимый дух свободы.

Я взял в союзники Георгия Федотова, чтобы с его участием — участием человека, уже пережившего революции и мировые войны XX века, — на примере Пушкина как одной из вершин русской мысли и русского духа вернуться в наше сегодня с той же проблемой: «империя — свобода — личность». И с вопросом о том, как проблема эта разрешается сейчас в головах и практике тех людей, которые, казалось бы, в силу их ремесла призваны олицетворять мысли и дух России и определять ее будущее уже в XXI веке.

Повторю: вместе с этим вопросом поневоле проваливаешься в пустоту, — в том смысле, что созвучие своим мыслям здесь встречаешь лишь в исключительных случаях, — да и встречаешь как правило в среде людей, многих из которых эта же власть уже уничтожила. Какое послание несет сегодня просвещенная, интеллектуальная Россия, если попытаться определить ее доминирующий и повсюду звучащий голос, ее общественную позицию? Ответ, увы, обескураживающее прост: позиция нашего «мыслящего класса» полностью совпадает с позицией нынешней власти. Писатели, люди науки, театральные и кинорежиссеры, журналисты печатных и электронных СМИ, университетская профессура, иерархи РПЦ не просто молчаливо и страдательно переносят нашу власть, — они ее оправдывают, поддерживают, пытаются обосновать ее действия теоретическими изысканиями, историческими традициями, своим пониманием нравственных ценностей.

3. У холопов собственная гордость

В подтверждение можно было бы привести длинные списки книжных и газетных публикаций, почти целиком всю сетку телевещания, назвать утверждаемые в последнее время самой же властью школьные и вузовские учеб-

ники. Я сошлюсь лишь на один пример — издание под названием «Россия. Пять веков империи». Это специальный номер журнала «Эксперт»[1], ставшего в последнее время своего рода барометром движения мысли правящих верхов и обслуживающей власть интеллектуальной элиты.

Редакционная статья «Непростая судьба империи» кардинально подвергает сомнению демократическую перспективу России: «*Эта форма правления вообще весьма уязвима, нестабильна и, если в обществе не существует консенсуса по поводу того, что стране нужна именно демократия, то в принципе невозможна. Нереально поддерживать демократический режим, если многочисленные и влиятельные слои общества ставят своей целью его разрушение*».

Оно бы все ничего, — можно, конечно, усомниться и в пригодности демократии для России... Если бы то, что предлагают в качестве альтернативы, не вызывало, по меньшей мере, настораживающего изумления.

Из статьи того же номера «Россия — пессимистам»: «*Территориальная экспансия доминировала в русском взгляде на освоение мира. Но это не повод посыпать голову пеплом. То великое государство, которое построили наши предки, ничуть не меньший повод для гордости, чем швейцарские часы, французская кухня или итальянское искусство эпохи Ренессанса. И точно так же, как подобные достижения других народов сегодня составляют не только предмет их гордости, но и источник дохода, российские пространства с их несметными богатствами и стратегическим положением сегодня окупаются для нас сторицей.*

То же можно сказать и о нашем умении ладить с соседями, а если надо — воевать.

Умение исподволь навязывать свою политическую культуру и искусство изучать чужую культуру и принимать ее как свою — из того же ряда.

Она принимала всякого, кто готов был стать ее частью, всякого, кто готов был ей служить.

В этом для подданных России выражалась свобода. Если для польского шляхтича свобода выражалась в праве не подчиняться, а для английского лорда — в праве контролировать, на какие цели идут уплаченные им налоги, то для русского дворянина свобода выражалась в возможности принимать участие в великом строительстве империи. И рассудите, у кого было больше свободы — у поляка, чье неподчинение, чей гонор ни на что в общем-то не влияли, или у русского, чья готовность служить делала его сотворцом мировой истории?

И разве «несвободные» Курчатов и Королев были несвободны — по большому, по историческому счету?»

Вот такие ценностные ориентиры, таково мировидение у нынешних наших интеллектуалов, объединяющихся на идейной основе журнала «Эксперт». Те же мотивы отчетливо прочитываются и во всей внутренней и международной политике российской власти. И получается, что условие свободы «по большому историческому счету» — ГУЛаг, а величайшим вкладом России в мировую цивилизацию, по сравнению со всеми другими

[1] От 31 декабря 2007 года.

странами, стали ее имперская сущность и результаты ее пятивековой экспансии.

Снова невольно приходит на память Пушкин — с «Дубровским» (1832–1833 годы): «*Один из псарей обиделся. "Мы на свое житье,— сказал он,— благодаря Бога и барина, не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее"*»...

Разумеется, былая территориальная экспансия — не повод посыпать сегодня голову пеплом. Прошедшее как таковое вообще не предназначено ни для гордости, ни для стыда. Оно — для осмысления и понимания. В постоянных усилиях извлечь смысл из фактов и событий прошлого каждый отдельный человек и общество в целом обретают себя, свою идентичность.

Если строго следовать логике и фактам и на этой основе постигать сущее, а, следовательно, и обретать смысл в истории, то надо констатировать: в готовности служить и принимать участие в строительстве империи выразилась не свобода русского дворянина, а его холопская принужденность. То есть совершенная его несвобода.

Не требует ни осуждения, ни оправдания тот факт, что когда Ивану III в конце XV века для охраны границ становящегося очень большим государства и для завоевания новых территорий потребовалась большая регулярная армия, а денег на ее содержание не было, нашлось решение: на основе условного землевладения создать конное войско. Эти конники стали тем сословием дворян, которое и закрепостили первым. За ними закрепили землю, а за право владеть землей новоиспеченных дворян лишили права выбора. Они не могли поменять хозяина и не могли по своему усмотрению заниматься каким-то другим делом, кроме того, которому обязаны были служить. Несколько позднее за помещиками закрепили еще и крестьян и закрепостили этих крестьян так же, как прежде закрепостили помещиков. Русский дворянин, таким образом, становился несвободным дважды: сверху — обязанностью служить государству — и снизу — необходимостью существовать и нести службу за счет крепостных крестьян, за счет своей «крещеной собственности», как их тогда называли.

Утверждение, что *для русского дворянина свобода выражалась в готовности служить, в возможности принимать участие в великом строительстве империи*, можно было бы рассматривать как своего рода ключ, раскрывающий отношение нашего «мыслящего класса» к прошлому вообще и к русским историческим традициям, в частности. Будучи «национально-мыслящими» и «патриотически-озабоченными», как они себя именуют, интеллектуалы, группирующиеся вокруг журнала «Эксперт», кроме того, еще и претендуют на новаторство и строгую научность. «*Для выработки единого взгляда на историю*, — гласит редакционная статья, — *необходим новый, неидеологизированный подход. Конечно, совсем избавиться от влияния идеологии при изучении истории страны нельзя — создание «канонической версии», даже со всеми допустимыми вариациями, без определенной идейной позиции невозможно. Но конъюнктурная политизация совершенно недопустима*».

Последние события, некоторые из которых я перечислил в самом начале как парадоксы, на самом деле, если их продумать до конца, оборачивают-

ся не просто страшной, но ужасающей реальностью. И ощущение пустоты, в которую вроде бы проваливаешься, не встречая понимания и адекватной реакции с той стороны, куда смотришь, сменяется видением отчетливых контуров того сооружения из свершений путинской внутренней и международной политики, про которое можно лишь сказать: не хотелось бы верить своим глазам.

Гитлеровский и сталинский нацизмы, надо заметить, человечество разглядело тоже не сразу, а их опасность ощутило, когда было уже слишком поздно, — к тому же до сих пор ощутило еще далеко не все и не до конца.

Цитируемый здесь специальный номер журнала «Эксперт» — лишь один из многочисленных индикаторов, по которым можно составить представление о замахе путинской стратегии развернуться к политике царской России и Советского Союза. Таким же индикатором, воплощением «канонической версии» нашей истории стал изданный уже массовым тиражом школьный учебник. В этом же ряду — специальный номер журнала «Профиль» № 34 за 2008 год «Собрать державу».

Авторы «Эксперта», претендующие на строгую научность и недопустимость конъюнктурной политизации, пишут: «*История Российской империи не так уж отличается от истории других европейских империй. Во многом она была даже гуманнее. Но в любом случае у России не было выбора — быть империей или быть "нормальным европейским демократическим государством". Был выбор — быть империей или быть колонией*».

Про то, что *она была даже гуманнее*, надо оставить на совести авторов, особенно если учесть, что история Российской империи и в 1917 году не заканчивается.

Про то, что *не было выбора*, следует отнести туда же. Вся наша жизнь — и каждого человека, и любой страны — постоянный, непрестанный выбор. Постижение смысла истории — в отыскании ответа, почему сделан именно такой выбор, а не другой, — также реально возможный как иной путь.

Но допустим даже, что при анализе всех обстоятельств, при взвешивании всех «за» и «против» по всем правилам *строгой научности* и совершенно без *конъюнктурной политизации* мы пришли к выводу: да, *не было выбора*. Значит ли это, что нужно — с откатом назад и с опорой на все наши традиции — продолжать тот путь, по которому мы пришли в наше сегодня? Не забывая при этом, что промежуточными точками на этом пути стали 1917, 1991 и 2008 год?

Судя по всему происходящему в стране, судя по направлению полета господствующей мысли, — надо продолжать.

Россия снова перед выбором: то ли все то, что уже довольно отчетливо просматривается в окружающей нас реальности, — ордынско-византийский политический курс властвования, традиционная русская геополитика, советское мессианство, всепоглощающая коррупция и путинская зачистка политического пространства России. То ли...

Я совсем не уверен, что у нас есть время для размышлений о каких-то альтернативах. Тем более для их реализации.

4. Блуждание по кругу истории. «На круги своя» по-русски

Если на войну России против Грузии посмотреть:

— сначала в связи с другими важнейшими событиями российской внутренней и внешней политики последних 8 — 10 лет: ликвидация выборов, судебной системы, независимых СМИ, политических партий, оскопление законодательной власти, превращение правоохранительных органов в репрессивные и преступные и т. д., галопирующая во главе с высшей властью коррупция, громкие нераскрытые убийства, обострение отношений с сопредельными (и не только) странами;

— а потом в перспективе очень большой временно́й продолжительности — как на очередной эпизод нескончаемой в столетиях вереницы наших аннексионистских войн (и усугубляющейся в результате подобных войн несвободой внутри страны), —

то момент пересечения этих двух линий зафиксирует очень важное явление: возврат современной России на круги своя, ее возвращение в русскую и советскую колею.

Я употребил слова: *возврат современной России на круги своя, ее возвращение в русскую и советскую колею.* Что это значит?

Во-первых, о самом понятии «*русская колея*». В том же смысле говорят и пишут про «*Русскую систему*» (например, А. И. Фурсов и Ю. С. Пивоваров), про «*русскую (православную) цивилизацию*» (Арнольд Тойнби, славянофилы, евразийцы 1920-х годов, современные «почвенники» и «патриоты»), про «*матрицу русской неизменяемости*» и т. п. Значение перечисленных словосочетаний требуется пояснить, так как они то и дело встречаются в текстах, претендующих на «научность». И я допускаю их здесь скорее лишь как некий оборот речи, стремясь специально «сгустить» некоторые вещи, чтобы яснее стало, о чем идет речь. И допускаю лишь при условии, что читателю или слушателю понятна условность такого рода терминов, наличие в них не свойственных людскому сообществу механистичности, фатальной неизбежности, запрограммированности, — то есть всего того, что прочитывается в этих выражениях, если их воспринимать буквально. По существу, употребляя эти или схожие термины, имеют в виду нечто между «архетипом», «структурой» и «системой», — чтобы сказать одним словом сразу и о какой-то организации, о соотнесенности множества самых разных составляющих, и в то же время о долговременности такой организации этих составляющих, ее продолжительной неподвластности времени. (В научных категориях то же самое выражают как la langue duree.)

Во-вторых, надо хотя бы вкратце сказать о конкретном содержании, заключенном в данных понятиях. О том, что именно и как создает эту самую «*колею*», эту повторяемость, неизменность, многовековую структурную стабильность, — эту постоянно изменяющуюся неизменность. Но поскольку «вкратце», то есть буквально в нескольких словах, об этом сказать нельзя, укажу лишь на некоторые, может быть, наиболее важные из составляющих, образующих это понятие: само расположение в мире (сегодня его называют «геополитическим») и размеры территории России; характеристика ее

земель и почв; плотность, состав и динамика населения и, наконец, тип русской Власти.

Но пока что я перечислил, так сказать, объективные, материальные, «вещественные» и институциональные составляющие, из которых потом складывается понятие «колеи». Не будучи одухотворенными, все названные вещи — просто-напросто некая данность и как таковая мертвы: никакой повторяемости, никакого круговращения из них не получится. Столь же важными, если не важнейшими, стали для «колеи» составляющие из сферы духовной: русское православие, мессианство и экспансионизм, привычки людей, их мировидение. Все вместе эти составляющие, постоянно переплетаясь, взаимодействуя, изменяясь (иногда до неузнаваемости), — составляющие материальные и духовные, объективные и субъективные — торили ту самую «русскую колею», на которую мы вроде бы вернулись сегодня.

В-третьих, говоря о «возвращении» на круги своя, в ту же самую русскую и советскую колею, мы как будто бы предполагаем, что уже несколько раз — или, по крайней мере, хотя бы однажды — выходили из того места, куда снова возвращаемся. С обычным возвращением оно так и бывает. Но здесь речь идет не о возвращении «как обычно», а именно о возвращении «по-русски». У нас, оказывается, можно лишь «вроде бы» вернуться. На самом деле «вернуться» по-нашему означает всего-навсего оказаться снова там, откуда, если присмотреться, никогда и не уходили.

Возвратных (попятных) движений в нашей истории, как и в любой другой, было несчетное множество: от реформ к контрреформам, от эпохи перемен к «застою», от «заморозков» к «оттепели».

Но у нас все продвижения при этом шли по тому же следу, все в том же направлении. Собственно, это и есть то пятисотлетнее движение, которое, например, Чаадаев и Бердяев называли не продвижением вперед, а блужданием по кругу истории. Было несколько случаев, когда Россия в ходе такого своего исторического движения оказывалась как бы на пересечении двух дорог, идущих в разных направлениях, по одной из которых, казалось бы, можно было сойти с проторенного раньше пути.

С такого перекрестка, собственно, и начиналась история России как единого государства. Наш прославленный историк Александр Зимин (1920–1980) дал прекрасный образ «Витязя на распутье», который, казалось бы, мог еще пойти из удельной Руси в более свободную Россию. Но у «витязя» не хватило сил выбраться из тех скреп (насилие власти и подданство народа), что уже тогда сковали социум. И «витязь» пошел все той же дорогой — дорогой русского самодержавия, к которому вскоре добавилось крепостничество. Из переплетения этих двух базовых составляющих и получилась, в конце концов, «русская колея», она же — несвобода.

5. Истребленное общество. «Избиение младенцев» по-русски

Но самым красноречивым, самым, можно сказать, блистательным примером «вроде бы» поворота в нашей истории, — даже не просто примером «вроде бы» выхода, но якобы грандиозным «исходом из колеи», — стал, конечно, 1917 год. Точнее — период с 1917 до начала 1930-х годов. Тогда «вроде бы» не

только из колеи вышли, но и радикально порвали со всем тем прошлым, в котором она образовалась и по которому проходила. Вроде бы не только «до основанья» разрушили, но и выкорчевали все, на чем эта самая колея прокладывалась. Замах и замысел были действительно грандиозными: не только изменить общественное устройство страны, для чего предполагалось неизбежным и вполне естественным уничтожить миллионы одних и возвеличить миллионы других. Планировали еще отобрать у одних и передать другим все, что сложилось на тот момент как национальное достояние России. Замахнулись даже — для начала в пределах одной страны, а потом как получится — переделать вместе с общественным устройством, отношениями собственности и самого человека, составить его из заранее предусмотренных, «правильных и необходимых» для реализации Замысла качеств.

К сожалению, до сих пор не в полной мере и, к еще большему сожалению, очень немногие в России осознают, что же такое в действительности произошло в Советском Союзе. Что на самом деле случилось в том процессе, который потом обобщенно назвали «построением социализма».

На самом деле, если отбросить идеологическое и политическое словесное сопровождение, случилась попытка — чудовищная по своему реальному содержанию и по размаху — воплотить все тот же мессианский замысел о Москве как о Третьем Риме и о России, предназначенной стать «Царствием Небесным» на земле. Конечно, называлось все снова совсем по-другому.

Можно было бы о реальном содержании замысла и о размахе его реализации в данном случае специально не говорить. Но тогда останутся не до конца проясненными и главные сюжеты нашего разговора: «возвращение», «колея», «русская система». Следовательно, останется нераскрытой и полная мера исторической ответственности за поворот в «русскую колею», лежащей на нынешних руководителях России, которые сделали такой выбор, и на всем поколении ныне живущих, кто слепо этот выбор поддерживает, — выбор, в какой-то мере продуманный, но не осмысленный.

Обычно, когда хотят сказать о самом страшном из всего, что произошло с Советским Союзом в XX веке, говорят о войне и о сталинских «репрессиях». Так уж отпечаталось в коллективной памяти представление о жертвах, которые нашему народу пришлось положить на алтарь отечества. Жертвами сталинских «репрессий» в этой памяти оказались те многие миллионы, которые попали в ГУЛАГ или были уничтожены, еще не дойдя до него, в ходе «мирного» «социалистического строительства». И эти жертвы — правда. Но только далеко не вся и, может быть даже, не основная правда.

Для Гитлера окончательным решением «еврейского вопроса» стало полное — поголовное — истребление евреев.

Для Сталина окончательным решением вопроса о «построении социализма» стало полное, повсеместное истребление социальности как таковой. Истребление социальности как выраставшей веками и накопившейся к XX столетию социальной дифференциации в российском людском сообществе, представленном на тот момент крестьянами, ремесленниками, торговцами, рабочими, людьми свободных профессий. А также — купеческими гильдиями, трудовыми артелями, ремесленными товариществами, церковными приходами, сельскими общинами, писательскими объединениями. Сталин, про-

должая дело Ленина, добился окончательного решения «социального вопроса»: социальность как некий живой, очеловеченный слой земли на всей территории СССР, как некий человеческий гумус, была полностью уничтожена. Вместо нее «партия и правительство» искусственно, рукотворно создали совершенно другой, выхолощенный советский социум исключительно из служащих государства, оплачиваемых по единому на всю страну государственному тарифу. Крестьянин и артист, земля и театр в статусном смысле уравнивались: они в одинаковой мере перешли в полную собственность государства как «совокупные ресурсы». Различие между людьми и вещами осталось лишь в том, что они попадали в разные категории ресурсов. Если одни зачислялись в трудовые, людские, административные, то другие — в материальные, финансовые, энергетические... Но те и другие оставались всегда всего лишь ресурсами, они одинаково — в цифрах, в тоннах, гектарах и человеко-днях, — приписывались, планировались, закладывались, распределялись, перевозились, переселялись, а, когда надо, и резервировались. Люди не имели ни прав, ни возможностей по своему желанию менять место работы: у каждого была трудовая книжка, а опоздания на работу или прогулы карались уголовным преследованием. Человек не имел права и возможности по своему желанию менять место жительства: каждого «прикрепили» постоянной пропиской. Крестьяне, — они составляли больше половины всего населения, — не имели вообще никаких прав и никаких возможностей, они не могли даже на несколько дней стронуться с места: у них попросту не было паспортов.

Построение социализма, если все назвать своими словами, а не «коллективизацией», «индустриализацией» и «культурной революцией», — это реализованный замысел уничтожения всего человеческого во всем общественном устройстве. Это создание искусственного советского социума. Это глубокое травмирование всего российского (советского) людского сообщества.

И вот теперь вернемся к тому же вопросу: что перетянет по своему значению и по удручающим последствиям — миллионы сгинувших жертв сталинского террора или еще большие миллионы, оставшиеся навсегда нравственно изуродованными?

Главным последствием, основным результатом ликвидации российского социума, который и до 1917 года был до крайности хрупким, слабо структурированным, не обретшим своих институтов, стала еще бóльшая его атомизация и хаотизация: каждый сделался сам по себе, на коротком поводке полной зависимости от государства. Поводок — зарплата, лучше сказать, жалованье, на которое в городе не проживешь, а в деревне вместо зарплаты — «палочка»-трудодень, ничем вообще не обеспеченный.

При отсутствии права как основы для общественной организации конституирующим типом связей между людьми становится самоорганизация. После истребления нормальных, т. е. эволюционным путем наработанных, форм и институтов социальной организации самоорганизация вполне естественно развивается в обход устанавливаемых запретов и в конце концов утверждается в виде всеобщей («системной», как теперь любят неосмысленно повторять) преступности и коррупции.

С ликвидацией социальности в том виде, в каком она сформировалась в России к XX веку, строители социализма пробудили и вызвали к жизни все самое худшее, что есть в человеке и что составляет его природную основу, — его животные инстинкты и эгоизм.

Вернемся вновь к тому же вопросу, но теперь уже именно в такой формулировке, с которой неизбежно оказываешься в пустоте, зияющей со всех сторон: и со стороны власти, и со стороны народа, и со стороны «мыслящего класса», — то есть, по существу, в полной пустоте. Если все, что проделали под названием «построение социализма», предназначалось вовсе не для того, чтобы разбудить в человеке зверя (примем разбуженное зверство как побочный, непредусмотренный и нежеланный продукт), тогда что же было путеводной звездой этого процесса, что выдвигалось в качестве заветной цели? Светлое будущее? Счастье для всех, «кисельные берега»? Для многих, даже для большинства привыкших жить нерассуждающим разумом, так оно и было. Традиционалистское, мифологическое мышление остается не только основой, но и всем содержанием их сознания.

Ну, а Сталин — как он, каковы его устремления при этом? Традиционализм и мифологический способ мышления были не чужды и ему. Более того, все писавшие о присущей большевизму мировоззренческой религиозности, бесспорно, имели для этого серьезные основания. Речь даже не о религиозности — как, например, для Ленина с его телеологическим мировидением вообще и своеобразными представлениями о мессианской предназначенности России, в частности. У Сталина общие, свойственные христианству в целом религиозные представления конкретизировались как православные. Он уже мыслил Советский Союз как продолжение линии, идущей от Москвы еще той поры, когда она, во времена Великого княжества Московского, только что встала на путь строительства русской православной империи, и, продолжаясь дальше через Московское царство, петербургскую Империю, пришла к его, сталинскому, Советскому Союзу. Сталин, безусловно, хорошо знал идеи русских самодержцев, представлял, каким каждому из них, начиная с Ивана III, виделось будущее России, ее «миссия» и «божественное предназначение». Ему, конечно, были хорошо знакомы и конкретные планы на сей счет: например, проекты Сперанского, «греческий проект» Екатерины II, проекты Уварова, выраженные в формуле «православие — самодержавие — народность», проекты Александра II, Витте, Столыпина. А в перечисленных конструкциях идея «Москва — Третий Рим» не просто присутствует, — все они именно на ней и основаны. Иногда, правда (как например, в «греческом проекте» Екатерины), идея эта приходит в Москву напрямую из античности. Но главным тут всегда были не истоки, а целеполагание: Москва как спасительница христианской веры и как место воплощения Царства Небесного, — а также указание главных путей, ведущих к достижению заявленной цели: Балканы, Проливы, Константинополь, Индия.

Вовсе не случайно с этой пронизывающей всю нашу историю идеей, — даже более определенно: с идеей, делающей осмысленной всю нашу историю, — я связываю и такую грандиозную (в том числе по своим последствиям) проблему, как ликвидация российской социальности и создание на ее месте искусственного советского социума.

Дело в том, повторюсь, что вся наша история — история внешнеполитических аннексий вместо внутреннего обустройства. А поскольку ресурсов на такую непрекращающуюся аннексию всегда не хватало, власть выбивала их из страны силой. Когда требуется выбивать буквально все, что ни на есть, нужна не только огромная сила, но еще и абсолютное подавление любого недовольства и сопротивления. Вот откуда принципиальное: государство, а не личность. Отсюда же — самодержавие, крепостничество, ордынство, империя...

Но все-таки когда есть социальные сообщества — крестьяне, рабочие, — всегда останется основа для сопротивления. Сталин впервые в мировой практике находит кардинальное решение и данной проблемы: не налаживать отношения с различными социальными сообществами, даже не вступать с ними в какие бы то ни было отношения, а просто-напросто *ликвидировать* сами эти социальные сообщества и превратить всю страну в страну одиночек, напрямую и абсолютно зависимых от государства. Тогда исчезают самая потребность и принципиальная возможность каких бы то ни было объединений, политических партий, профсоюзов. А когда отношения между государством и человеком насильственно и произвольно устанавливаются напрямую как отношения господства и подчинения, отпадает и самая потребность в правовом регулировании таких отношений. Суды становятся принципиально ненужными, ненужной — так же принципиально — становится и политика.

В ходе НЭПа Сталин убедился: сделать такой рывок (у его эпигона Мао — «Великий скачок»), на который у других ушли десятилетия или столетия, за несколько лет с таким народом, как в России, нельзя. Не менее ясно ему было, что схватка с другими субъектами мировой политики неизбежна: государство, замешенное на мессианской идее, без конфронтации и решающей сшибки с другими немыслимо. Следовательно, для Сталина рывок все-таки был необходим — любой ценой, иначе смерть такому государству. И он решил, чтобы рывок все-таки сделать, — *заменить народ.*

Рывок получился, а замену народа потом нарекли «построением социализма»[2].

6. Исходная точка. Magna Charta и Яса Чингисхана

Характер и тип русской власти — столь же важный системообразующий элемент «русской колеи», как вечная война, сопровождаемая постоянной и повседневной милитаризацией, и как православие. Говоря современным языком, на одной стороне своей визитной карточки наша власть могла бы написать «насилие», а на оборотной — «оккупация», поскольку относится к населению собственной страны как к чужому, оккупированному. На становлении и утверждении такого типа власти на Руси, а потом и в России сказалось многосотлетнее, если не многотысячелетнее соседство на огромных просторах нашей прародины двух разных культур — «Леса» и

[2] В частном случае — в разговоре с «куратором» советской литературы от ЦК ВКП(б) — со своим типичным иезуитским юмором Сталин отметил: «В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить вам других писателей». *В настоящий момент...*

«Степи»: кочевого скотоводства и оседлости, воинов и хлебопашцев, — а также феномен, вошедший в историю под названием Золотой Орды. В итоге контактов этих двух очень разных типов культур, после многочисленных войн и обоюдных заимствований, после противоборств, заговоров, измен, покорений и завоеваний сначала в Московии, а затем в России оказался более конкурентоспособным и восторжествовал тот тип власти, который принесли с собой кочевые народы — скотоводы и воины. Подобный тип власти следовало бы определить как ордынский: он столь круто замешен именно на нашей отечественной истории, что стал нашим. Ему, кроме упомянутых записей на условной визитке, неотъемлемо присущи моносубъектность (то есть самовластие), монолог вместо диалога, низменный диктат вместо переговоров, незнание компромисса, неприемлемость таких средств общения, как соглашение и договор, и, наконец, манихейство — отсутствие того, что Н. Бердяев называл «серединной культурой».

Расхождение Европы и России по двум цивилизационным направлениям, о котором как об историческом явлении заговорили на языке науки лишь в XIX веке, началось много раньше. С некоторой долей условности можно сказать, что начала подобного процесса надо искать еще на протороссийском пространстве, а последствия его в виде двух разных направлений социальной динамики просматриваются уже с тех времен, когда на этом пространстве соседствовали Русь Литовская и Русь Московская. Их сосуществование и соперничество завершились — под влиянием Орды и ордынства — победой Московии и формированием на ее основе России.

Если предельно кратко определить главное, что различает эти два направления, то в одном случае главным будет зарождение, а потом продолжительное становление свободы личности, а в другом — становление социума, в котором пространство для зарождения и становления личности неуклонно сужается.

В одном случае — английские Magna Charta Libertatum[3] и Habeas Corpus Act[4], в другом — «Великая Яса» Чингисхана. В одном случае — первичность личности и общества, в другом — государства и других институций. Вытекающие отсюда цивилизационные оппозиции можно перечислять дальше до бесконечности: демократия против авторитаризма, соглашение против насилия, диалог против моноцентризма, договор против произвола, горизонтальные связи в обществе против «вертикали власти» и т. п.

Magna Charta датируется 1214 годом (то есть она была подписана за два десятилетия до вторжения Батыя на Русь). Целая группа свобод обеспечивает в английском праве защиту личности от государства. Свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась многовековая борьба с монархией. Такие гарантии нашли свое выражение в акте-символе, известном как Habeas Corpus.

---

[3] Великая хартия вольностей.

[4] Один из основных конституционных актов Великобритании. Гарантирует процессуальные права граждан, неприкосновенность личности, устанавливает правила ареста и привлечения обвиняемого к суду.

Свою «Великую Ясу» Чингисхан обнародовал в 1206 году. Свод законов, определивший жизнь Орды, содержал преимущественно перечень наказаний за тяжкие преступления, а буквально «яса» означает по-монгольски «запрет».

Если ко всему этому добавить: утвердившийся и господствующий в России тип мыслительных привычек и стереотипов; тип социальной динамики, который нацеливает человека и конкретно-исторические человеческие сообщества преимущественно на воспроизводство ранее сформировавшихся ценностей, устремляет эти сообщества к идеалам прошлого, к господству прошлого над настоящим и будущим (и в культуре, и в социальных отношениях), — если учесть все это, а также и другие архетипические свойства русской культуры, то, может быть, сегодняшний разворот страны в ее русское и советское прошлое обретет хотя бы некоторое культурологическое, а не только сугубо конъюнктурное, обусловленное интересами путинской власти прагматическое объяснение?

Или другой, казалось бы, более отдаленный от культурологии вопрос: почему никак не получается диалог России и Европы о нашем с ней общем или совместном будущем?

Потому что мы озабочены совершенно разными реалиями. И к тому же озабочены ими совершенно по-разному.

Разумеется, и в Европе не все думают одинаково и исключительно об одном и том же, — иначе у нее не было бы проблем со своей идентичностью. Евросоюз в последние годы расширился в два раза, его члены по-разному смотрят на европейскую перспективу, в частности, Турции и вообще на критерии «европейскости». «Старая Европа» непросто принимает «новую», едва-едва идет процесс выработки европейской Конституции и т. д. Тогда что же значит «*о разном и по-разному*» для нас и для Европы?

Европа переживает, в первую очередь, опыт, кризис и уроки XX века: европейские революции и распад колониальных империй, экономические кризисы, две мировые войны и локальные войны, «холодная» война и Карибский кризис. Словом, предмет европейской озабоченности — конфронтации, конфликты и, главное, способы их преодоления. Отсюда для Европы главный вопрос и основное направление поиска: из сегодня в будущее и — как жить вместе. Россия, однако, никак не может пережить окончание XX века, собственную «геополитическую катастрофу», распад СССР, и главные вопросы для нас: как не допустить дальнейшего расползания постсоветского пространства (включая собственно российское) и как обрести свое былое — то же «лидерство» России, но уже в современном мире. То есть Россия, как и Европа, озабочена реалиями прошлого, но, если Европа озабочена тем, как преодолеть реалии европейского прошлого, *как* от них *уйти*, то Россия — тем, *как* к реалиям «войны миров» *вернуться*, как их обрести в новых условиях.

7. Слепые поводыри слепых

Как ни парадоксально для начала XXI века, Россия до сих пор не обрела себя как людское сообщество. Даже выйдя из непостижимо ужасного для нас столетия, потеряв в нем насильственно вычеркнутыми из жизни

десятки миллионов (по некоторым подсчетам, — около ста миллионов!), мы покинули XX век, не распрощавшись с ним.

Не поняли, не осознали, не ужаснулись.

И это немудрено. Поскольку уцелевшим и вновь нарождающимся миллионам на всем российском пространстве для самостоятельной жизнедеятельности к XXI веку вообще уже не осталось места. Все просторы России за пять столетий войны самодержавия с собственным населением превратились в сплошное пространство власти. В таких условиях обретать себя, осознавать себя оказалось уже некому. Людское сообщество лишено какой бы то ни было самостоятельности и субъектности, в нем уничтожена сама способность к рефлексии. Моносубъектом стала власть. Но и она, будучи инородной субстанцией по отношению к населению, оказалась способной лишь действовать, но не осознавать себя и свои действия. То есть в качестве моносубъекта в социуме власть может действовать и продолжает действовать до сих пор, руководствуясь лишь нерассуждающим разумом.

В самом конце XX века волею судеб, а не по причине чьей-либо субъективной воли, советская власть рухнула из-за своей трухлявости и Советский Союз развалился из-за своей неестественной, ставшей совсем неуправляемой громоздкости. У России снова появился исторический шанс.

Именно исторический, потому что в России никогда раньше не было гражданского общества и никогда не было политической жизни. Они случались иногда в качестве зачатков, на переломах истории — и то лишь как кратковременные эпизоды, как возможные антиподы самодержавия. Но поскольку в качестве нормы для «Русской системы» они были не нужны, эта система и воспринимала их всегда как что-то чужеродное, и, следовательно, как предвестие грядущей беды. Не случайно первый такой перелом в начале XVII века, когда едва только обозначились первые образования гражданского общества и начиналось нечто издалека похожее на политику, вошел в русскую историю под названием «Смута». С тех пор так и повелось: любые внесистемные явления — и уж тем более, не приведи господь, противосистемные — воспринимаются еще на подсознательном уровне всеми внутри Системы как кара небесная, как разбушевавшаяся стихия. В «Медном всаднике» у Пушкина — это Нева, вышедшая из своих берегов и ворвавшаяся в не принадлежащее ей и не предназначенное для нее пространство. У Гершензона в «Вехах», как и у всей русской интеллигенции начала XX века, — это гнетущее, внушающее смертельный ужас ощущение пропасти, отделяющей мыслящую часть общества от народа: «*Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,— бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной*». Для Солженицына — тоже человека Системы — начинавшиеся в конце 80-х — начале 90-х годов политическая жизнь и образование граж-

данского общества ассоциировались с «балаганными одеждами» Февраля семнадцатого, к которому он, в свою очередь, как к явлению русской истории, относился с негодованием и брезгливостью. Для сегодняшних наших системных «либералов» самая ужасная перспектива — по-настоящему свободные выборы: ведь, по мнению «либералов», в результате таких выборов, если их допустить, к власти непременно придут левые.

Все эти примеры из разных времен объединяются единым временем существования *Русской системы*, для которой гражданское общество и политика — бедственная стихия, внушающая страх и тревогу. Эти примеры свидетельствуют об одном и том же: будучи включенным в Систему, человек — хоть президент, хоть научный консультант или рядовой обыватель — не может быть свободным. А расщепленность духа у включенного в Систему человека предстает как оторванность его сознания от его жизни. Условия существования человека, внешние обстоятельства жизни сковывают его настолько, что он становится всецело поглощенным этими внешними по отношению к нему обстоятельствами и ему уже не до самосознания, не до постижения и разумного определения своего места в жизни и своего отношения к окружающему миру.

Не случайно исторический шанс, выпавший на долю России в конце 80-х — начале 90-х годов, оказался всецело упущенным. А шанс вырваться из проторенной столетиями колеи и освободиться, наконец, от сдавливающей страну самодержавной матрицы властвования был.

Участникам событий того времени не только не удались целенаправленные действия, необходимые для продвижения в этом направлении, — они не смогли даже осмыслить и понять, что же на самом деле тогда происходило. Тем не менее те события были объявлены «демократической революцией». Таковой их назвали новые руководители, пришедшие к власти с Ельциным. Себя они определили, разумеется, «демократами», «либералами», а для страны объявили начало новой эры в ее истории. Все подобные определения, самоидентификации и декларации нашли в той или иной мере отражение в различных законодательных актах, в том числе в Конституции: они приобрели как бы официальный статус, юридическое оформление. Были осуществлены и некоторые конкретные шаги, — главным образом, в сферах экономики, финансов, технологий. Иначе говоря, реальные перемены произошли лишь в малом числе областей непосредственного обеспечения жизни, но вовсе не затронули сами основания общественного устройства. Они совсем не коснулись сущности главного системообразующего элемента российского устройства — власти, ее роли, конструкции, функций и основных опор ее насилия и репрессий: армии, судебной власти, правоохранительных органов, политической полиции, системы образования и т. д. Власть по-прежнему, как в советские и досоветские времена, по своей сути оставалась ордынской, никак не зависящей от населения, не уравновешенной и не контролируемой никакими общественными силами или институтами, руководствующейся лишь собственными материальными интересами и стремлением к самосохранению.

Вместе с тем все происходившее тогда, несмотря на реальное содержание, мыслилось и преподносилось общественному мнению в парадигме

перехода от советского тоталитаризма (авторитаризма, диктатуры) к демократическому государству. До российского населения с гордостью доводили западную ориентацию новой власти, необходимость вестернизации страны и утверждали, что таким образом Россия якобы вписывается в общий, присущий всем странам Центральной и Восточной Европы переход к представительной демократии, гражданскому обществу и к рыночной экономике.

Неосознанность действий властной элиты и неосмысленность происходящих событий, включая передачу власти Ельциным его наследнику Путину, выразились, в частности, в том, что, непрестанно декларируя свой демократизм и провозглашая либеральные ценности, наша властная «элита» фактически — хотя бы и преимущественно инстинктивно и совершенно не артикулировано — действовала всецело и исключительно в интересах бывшей советской бюрократии, занявшей и после крушения советской власти ключевые позиции в общественном устройстве. Внешне, на поверхностный взгляд, и даже формально «новая» «элита» пришла к власти на основе всеобщей поддержки в результате всенародных выборов. Она оказалась на гребне мощной волны, всколыхнувшей общество во время «перестройки», когда российские люди, в очередной раз погрузившись в глубокий кризис материальных невзгод и нравственных переживаний, испытали страстное желание порвать с прошлым, выйти из состояния вечного безденежья, пустых прилавков и унылой повседневности. С этими своими ощущениями мы оказались на улицах и площадях в состоянии поголовной эйфории, воодушевленные предстоящими изменениями, полные энтузиазма и надежд. И проголосовали за Ельцина.

Но уже и тогда не мы правили бал. И всенародный флер, и всеобщее «волеизъявление» стали не результатом осознанных действий общественно организованных людей, не воплощенной волей свободного человека, а скорее ритуальными движениями человека-массы, которому надо быть непременно со всеми вместе, думать, как все, выкрикивать одни и те же лозунги и непременно на виду у всех. В таком своем качестве — как толпа (*и я там был...*) — мы оказались в конце 80-х — начале 90-х годов ширмой, за которой крот истории глубоко и давно уже копал свои ходы.

Во второй половине 80-х и в 1990 году были приняты одно за другим настолько важные правительственные решения, что в ходе их реализации существенно поменялся социально-экономический и, как выяснилось позднее, весь нравственно-правовой (или, точнее, бесправный) пейзаж СССР. Но сказать столь же определенно о направленности данных перемен, об общем векторе продвижения всего, что было заключено в границах всей их громадины, тем более попытаться подвести их общий экономический, политический, нравственный итог хотя бы и в самом общем виде: был это все-таки плюс или сплошной минус? — довольно сложно. И не потому сложно, что непонятно, а, наоборот, потому что очень даже понятно, но настолько мрачно и даже непристойно, что назвать все своими именами язык не поворачивается.

В самом общем определении речь идет о продвижении от очень плохого к еще худшему и о создании основ того самого общественного устройства, которому посвящена вся эта статья. Окончательно сформировавшись в

первом десятилетии XXI века, общественное устройство это уже заняло свое место в мире. И таким местом стало пространство не только за гранью закона и преступления, но за гранью Добра и Зла. Получился принципиально новый общественный феномен не только с точки зрения государственности, но также с точки зрения экономики, права и морали.

А творился подобный оригинальный феномен с участием миллионов, даже десятков миллионов наших сограждан. Собственно, здесь-то и проблема. Казалось, порочность советского социума уже была запредельна. Но то, что выросло с середины 80-х по сей день, стало очередным свидетельством: *нет предела совершенству,* и дальнейшее продвижение к худшему тоже возможно. Однако даже и такой парадокс не есть свидетельство природной испорченности человека, он лишь еще одно из проявлений рукотворно изуродованной — сталинизмом — социальности. Чтобы это стало понятным, приходится вникать в детали. Дьявол, как обычно, — в них.

Основными решениями, заложившими фундамент нового общественного устройства, стали следующие: закон об индивидуальной трудовой деятельности (ноябрь 1986 года), постановления Совета министров о кооперативной деятельности (февраль 1987 года), закон о государственном предприятии (июнь 1987 года), закон о кооперации (май 1988 года), основы законодательства об аренде (ноябрь 1989 года). Несколько позже, в 1990-м, — но все еще тоже при коммунистах, — появились законы о собственности (в марте в СССР и в декабре — в РСФСР) и положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (постановление Совмина СССР от 19 июня 1990 года), а также о предприятиях и предпринимательской деятельности (российский закон, принятый 25 декабря 1990 года). В апреле 1990 года была учреждена Московская товарно-сырьевая биржа (с 16 октября 1990 года — Российская товарно-сырьевая); в мае 1990 года зарегистрирована Московская товарная биржа.

Все эти законы и постановления ни малейших даже деклараций о каких бы то ни было изменениях общественного устройства, разумеется, не содержали. Они вроде бы ограничивались тем, что позволяли руководителям предприятий и инициативным людям осваивать новые способы хозяйствования в рамках вполне еще социалистической экономической системы.

По сути дела, предлагалось не менять отношения собственности, то есть отношения хозяйственной, экономической власти. Самым смелым из всех нововведений была аренда. Но и она оставалась лишь «расширением самостоятельности», «полным хозрасчетом», а говоря нормальным языком, — продолжением старого пути, когда реальный и полновластный хозяин собственности (отраслевое ведомство) разрешает определенные вольности своему наемному работнику — трудовому коллективу.

И кооперация конца 80-х — вроде бы совсем еще никакая не приватизация. Кооперативы стали создавать из числа работающих по найму на государственных предприятиях, но на основе арендуемой государственной собственности тех же предприятий. А самые кардинальные вопросы: что означает «на основе»? на кого возлагаются проблемы инвестирования? как и между кем распределяются доходы и прибыль? — никто юридически не

прояснил. Так закладывалась база для поголовного и практически узаконенного воровства.

Именно подобная непрояснённость оказалась сутью всех перечисленных решений. Очень быстро, уже к 1990 году, огромная сеть «вроде бы» кооперативов стала на самом деле средством фактической приватизации и растаскивания государственной собственности при квазилегальном оформлении этого процесса. Между кооперативами, директорами предприятий, руководителями министерств и ведомств очень быстро наладились устойчивые неформальные связи и взаимоотношения, и кооперативы вместе с арендой превратились в узаконенный способ обналичивания бюджетных денег. Возникала среда для формирования всевозможных автономных «схем», закрытых клановых образований, мафиозных группировок. Фактически решениями власти санкционировалось структурирование населения на криминальной основе.

Самым тяжелым по своим последствиям оказался закон о предприятии: он фактически ликвидировал государственные способы капитализации прибыли до создания каких-либо альтернативных. Его результатом стала серия необратимых и взаимосвязанных явлений и событий: непомерный рост личных доходов, инвестиционный голод и истоки инфляционного взрыва. Пиком реализации закона о предприятии стали выборы директоров. Инфляционный эффект данной меры, вылившейся в перекачку средств из фондов накопления в фонды потребления, с инвестиционного рынка на потребительский, трудно переоценить. Введение закона о предприятии еще долго сказывалось и в кризисе неплатежей, и в раскручивании инфляционной спирали.

Теперь, когда спустя двадцать лет не только становятся очевидными ошибочность и принципиальная недостаточность принятых тогда решений, но высвечиваются и все ужасающие последствия допущенных ошибок, приходится все больше задумываться об их причинах, о мотивах и образе мыслей людей, принимавших столь пагубные решения. И первое, что приходит в голову, — избитый штамп: некомпетентность партийно-государственной элиты того времени, ее неграмотность, нежелание прислушиваться к «высоколобым» ученым мужам. Сыграли свою роль и уникальность ситуации, никогда и нигде не виданные масштабы кризиса, многослойность, комплексность, взаимопереплетение экономического, социального, национального. Все это так, и все это, безусловно, усугубило ошибочность принятых решений. Однако это не исчерпывающие и, скорее всего, даже не главные причины: с Ельциным пришли к власти и принимали решения самые что ни на есть «высоколобые» и, вроде бы, очень неплохо образованные люди, а ошибочность их решений по размаху и удручающим последствиям вполне сопоставима с тем, что делала в 80-е полуграмотная и некомпетентная в финансовых вопросах номенклатура КПСС. Нет, дело все-таки не в недостаточном профессионализме, — особенно если учесть, что специалистов по всеобщему благу не бывает и быть не может.

Причины пагубных решений надо искать в неумении тогдашних руководителей нестандартно думать в нестандартных условиях, то есть, простонапросто, — в неумении думать вообще. А это, в свою очередь, — тоже одно

из важных следствий (если не важнейшее) сталинской десоциализации общества: ведь одним из способов достигнуть эту десоциализацию и было систематическое истребление творчески мыслящих интеллектуалов. К тому же истреблением интеллектуального гумуса дело не ограничилось. За годы сталинских и прочих пятилеток на месте истребленной почвы была создана особая среда, в которой выросла умелая, весьма даже способная плеяда «правильно мыслящих» интеллектуалов-специалистов. Вот они-то и принимали отягощенные такими последствиями решения.

Государственных руководителей 80-х и 90-х годов, — как, впрочем, и сегодняшних, несмотря на вроде бы радикальные перемены политических декораций в данном временно́м промежутке, — в этом смысле роднят и делают совершенно однотипными два основных качества, в одинаковой мере присущие им всем, — *правовой нигилизм* и *аморальность*. Salus revolutiae suprema lex[5]. А вот уж «благо революции» они понимают всяк на свой вкус...

Любые решения, любые деяния властей во все рассматриваемое время можно разбирать, перебирая по косточкам все их экономические, геополитические, патриотические и прочие соображения и обоснования, но всегда если не на поверхности, то на донышке откроются эти два родовых их качества, объясняющие все до конца. Именно эти качества стали преступной основой самих властей и создали необходимую среду для криминализации всего социума.

Российская власть и российский «мыслящий класс» (вместе с обслуживающей «творческой интеллигенцией»), как становится все более очевидным, сделали сегодня исторический выбор. Этот выбор — разворот (не по форме, разумеется, а по существу, как некий вектор) в русское и советское прошлое: туда, где не было личности, где всё и вся подавлялось государством, где не было места политике, гражданскому обществу, праву, частной собственности, свободе. Такой разворот неизбежно приведет Россию к очередной и на этот раз, скорее всего, последней катастрофе. Движение в прошлое, — хотя бы и «светлое», как устремленность к какому-то идеалу, — без движения в будущее долговременным и благополучным не бывает.

8. Конец «сырьевой сверхдержавы». Или просто — конец?..

Все вышеизложенное — размышления об исторической ответственности, которую, хотели они того или нет, возложили на себя Ельцин и Путин в согласии с большинством ныне живущих, когда:

— сначала оттягивали не терпящие отлагательств преобразования российской и советской традиционности и тем самым не использовали возможность для России выйти из ее исторической колеи;

— потом обеспечили нерасчлененность и приватизацию власти и собственности, — включая недра земли, — советской номенклатурой, ее родственни-

---

[5] Salus revolutiae suprema lex (*лат.*) — «Благо революции — высший закон». Тезис сформулирован как антитеза исходному принципу демократии Salus populi suprema lex («Благо народа — высший закон») и принадлежит Г. В. Плеханову, который высказал его на II съезде РСДРП в 1903 г.

ками, знакомыми и знакомыми знакомых и тем самым заложили основания корпоративного (олигархического, патримониального) государства.

Наконец, уже в путинские времена правящие круги снова уверовали (или прикидываются, что уверовали), — нефтедоллары ударили в голову, — в нереализованную «особость» нашей державы и решили (не декларируя, правда, этого открыто и членораздельно), что Россия по-прежнему наделена некоей «миссией», что она по праву претендует на вселенскую роль, а потому должна не только восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но и приступить к формированию единого фронта всех альтернативных антиамериканских сил во всем мире, включая исламские страны, некоторые страны континентальной Европы, Китай, Латинскую Америку, а также страны Азии и Африки. Только с учетом подобной — еще не объявленной, но уже ставшей реальностью, — стратегии становятся объяснимы важнейшие внешнеполитические демарши России последнего времени в ближнем и дальнем зарубежье.

Здесь надо сделать важную оговорку: существенное различие между прошлыми и нынешними русскими империалистами, по-моему, состоит в том, что прошлые, — включая, вероятно, Сталина, — отождествляли с империей *себя лично*: как помазанников божьих, либо как персонифицированную глобальную коммунистическую идею, — и соответственно *искренне* претендовали на глобальную роль России. Нынешних же «Государство Российское» интересует только как инструмент воровства: во всероссийском, а лучше глобальном объеме, — и они совершенно точно знают, что все их претензии на глобальную роль — только имитация или даже просто блеф. А цель настоящего блефа — всего-навсего обмануть партнера по игре в покер, как этот покер ни называй, хоть мировым рынком.

Тем не менее, — независимо от того, искренняя она или циничная, — такая стратегия потребовала разворота и внутри страны. Он был осуществлен, но его последствия до сих пор не осмыслены и не просчитаны, а потому и расплата за него всей стране предстоит очень жестокая.

Здесь снова приходится ловить себя на слове. Убежден, не у меня одного по-прежнему осталась путаница в голове: мы смешиваем то, что в нашей жизни всего лишь декларируется, объявляется как уже сделанное, преподносится как уже воплощенное, и то, что «на самом деле» (культурологи, говоря про полный уход зрителя и читателя от окружающей жизни в вымышленный мир фильма или книги, употребляют термин «вторая реальность»). Снова убеждаешься: до сих пор есть Россия видимостей и есть Россия сущностей. Я только что сам написал слова «стратегия», «разворот», — как если бы то, что стоит за каждым из них, было или есть в действительности. А это вовсе не так — и не просто в каких-то мелочах. Подобное «не так» проходит по всему живому телу России — по тому, что от него еще осталось, и затрагивает буквально каждого из нас.

Не было никакой демократической революции в 91-м. Грандиозное крушение социально-политического монстра и собственный персональный приход к власти в ходе или в результате такого крушения можно, конечно, объявить какой угодно революцией.

Не было никогда никаких ни демократов, ни либералов у власти в 90-х. Ельцин — никакой не демократ, и Чубайс с Гайдаром — никакие не либералы. *Они все и иже с ними духовно, интеллектуально, нравственно — продолжение и воплощение советской номенклатуры.*

И никакого транзита из русско-советского авторитаризма к европейским демократиям тоже не было. Вместо продвижения по восходящей, которое как бы подразумевается здесь под словом «переход», в России продолжаются, как убедительно показывают наиболее вдумчивые исследователи (в частности, социологи из «Левада-центра»), разложение русской и советской системы властвования и деградация искусственно созданного сталинского социума. Однако переход, с одной стороны, к более высокой и сложной социальной организации, а с другой, — разложение ранее существовавшей архаичной системы — две принципиально разные траектории социально-политической динамики и нравственно-психологического состояния общественного целого. Это такая же по сути своей разница, как если бы на погребальной службе вместо полагающегося в таком случае «за упокой» священник вдруг грянул бы, не видя происходящего, не ведая, куда он попал, «во здравие».

Вместе с тем, хотя Переход — с заглавной буквы — к демократиям западного типа и не вписывается в основную парадигму постсоветской динамики России, оснований для того, чтобы осмыслить и концептуально переформулировать весь комплекс проблем, относящихся именно к российскому типу постсоветской динамики, более чем достаточно.

Прежде всего, подобный тип социальной динамики принципиально нельзя увидеть и понять, глядя на него в упор, в отрыве от советского и от досоветского российского прошлого. Континуум, непрерывность здесь столь же важны, как и умение на основе прерывности рассмотреть привходящее, единичное, неповторимое. Иначе говоря, важно зафиксировать момент встречи: а) реалий из многовековой русской истории, б) реалий из ее «укороченного» советского столетия, — со всеми теми реалиями, что принесли в нашу жизнь «лихие девяностые». Кроме того, данный тип социальной динамики можно рассмотреть и понять только как совокупность социального, экономического, политического, психологического и исторического. Социологу, например, или экономисту одному (если он в то же время не социальный психолог) здесь делать нечего.

Содержание и направленность постсоветской социальной динамики определяются тем, что на момент крушения Советского Союза в России не было институтов гражданского общества и не было их политической организации. И что особенно важно подчеркнуть, не было и осмысления самого факта отсутствия подобного типа институтов и их соответствующей организации. При допущении, а потом (после 91-го года) и легализации институтов рыночной экономики, частной собственности, при ликвидации «железного занавеса» произошло наложение таких современных социально-экономических институтов на традиционалистскую политико-административную «Русскую систему», а дальше события стали развиваться самотеком, стихийно. Развивались они именно в том направлении, в каком они и могли развиваться стихийно и самотеком: в сторону примитивизации и архаизации всех общественных отношений и государственного устройства.

В итоге на сегодня уже довольно отчетливо вырисовываются основные (хотя и весьма расплывчатые) очертания этого почти двадцатилетнего соединения несоединимого — не то мутант, не то химера. «Два в одном» — корпорация-государство и патримониальное государство. Причем слово «государство» фигурирует в данном случае сразу во всех его российских смыслах: и правительство, и власть во всех ее видах, включая судебную, и страна, режим, общественное устройство и даже собственно Россия.

Корпорация-государство проявляется в том, что национальные, социальные и экономические интересы всей страны сложившееся образование ставит в зависимость от ведомственных, корпоративных интересов. Приоритетом номер один становится — не национальная безопасность, не социальная обустроенность, не здоровье людей, а частная прибыль корпоративного капитала. Превращая власть и собственность в нерасчлененную субстанцию и приватизируя их в такой их нерасчленености, корпорация-государство со всей его административно-аппаратной мощью, со всеми его министерствами и ведомствами превращается в насильственную инстанцию, становится по существу еще и корпоративно-репрессивным государством.

Патримониальность нашего государства выражается в том, что именно на российской почве наиболее наглядно сбылось предвидение Макса Вебера: Россия стала страной воплощенного *«капитализма родственников и друзей»* («crony capitalism»), при котором власть передается по наследству. Государственная машина в еще большей мере, чем советская, насквозь пронизана связями между этими самыми родственниками и друзьями, для которых государственная служба означает, в первую голову, реализацию своей частной собственности. Основными источниками доходов нашего патримониального чиновничества становится не жалованье, не оклад, а доход от капитализации их формально-бюрократических функций. На всем постсоветском пространстве наиболее наглядно, можно сказать, плакатно-выразительно, патримониальные султанистские (термин М. Вебера) правления представлены в Закавказье и в Средней Азии, — в частности, в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркмении, где некоторые персоналистские режимы и диктатуры уже объявили себя властвующими навечно. Но и в России вектор социально-политической динамики устанавливается в том же направлении. Он просматривался уже в переходе Ельцин — Путин и совершенно раскрывается как в телодвижениях Путин — Медведев — Путин, так и в только что принятых решениях о продлении законных сроков работы президента и парламента. Никакой загадочности и таинственности во всех этих вроде бы хитросплетениях и срочностях нет. Они — лишь проявления озабоченности нынешних наших держателей власти и капитала своей собственной незаменимостью и вечностью. То же самое происходит и на региональном уровне. Если Лужков и Шаймиев заговорили вдруг о необходимости вернуться к выборности губернаторов, только безнадежно испорченный наивностью может усмотреть здесь их неожиданно проснувшийся, якобы глубоко укорененный демократизм. Они прекрасно знают, во что они превратили выборы, и еще больше, чем «федералы», пекутся о своей несменяемости. Никак нельзя им расстаться с властью-собственностью. Только по наследству и, желательно, только после смерти.

Но, пожалуй, главное, что заслуживает особого совокупного внимания в данном типе социальной динамики, — уникальное, как мне кажется, соотношение власти и населения, сформировавшееся за всю историю русской цивилизации и доведенное до предельного состояния в его специфике именно в постсоветское время. Тот факт, что «спецслужбы» и «органы» оказались на самой вершине властной пирамиды, раскрывает предельные параметры властвования в социуме, основанном на насилии. Враждебная, взаимоубийственная нераздельность — так, мне кажется, можно в самом общем плане определить специфику русских взаимоотношений власти и населения.

Самый главный итог подобной смертельной связки, — опять же по результатам многолетних исследований «Левада-центра», — выработанная у населения способность адаптироваться к насилию в любых условиях. Аморальность населения. Это не означает, разумеется, что буквально каждый и каждодневно делает подлости. Но это значит, что практически каждый при определенных условиях готов их сделать. А власть, будучи совершенно независимой от населения и абсолютно никак не подконтрольной ему, «отвязалась» настолько, что стала уже (или осталась) вполне патримониальной. При Путине она окончательно обрела сегодняшнюю форму, основанную на частном владении и управлении государством как приватной собственностью, — по примеру того, как землевладелец распоряжается своей вотчиной. Иначе говоря, власть превратилась в этакую Салтычиху во всероссийском масштабе, с триллионами в кубышке и к тому же размахивающую атомной бомбой. Дескать, знай наших. Патримониализм как форма организации социума пропитывает всю российскую политико-административную систему, которая формально строится на рационально-легальных отношениях.

В первые годы после краха СССР люди, пришедшие тогда к власти, мыслили реформы в России как замену советского устройства образцами организации (государственной, правовой, экономической, политической и т. д.), заимствованными у западных государств. И предполагалось как само собой разумеющееся, что в результате одной лишь такой замены мы обеспечим переход к обществу с представительной демократией, со свободной рыночной экономикой, к учреждению «социального государства». Но при этом отношение к западным образцам осталось примерно таким же, каким было отношение Петра I к устройствам голландских верфей или министерств: как к красивым побрякушкам, которые можно где угодно взять и куда угодно положить; конкретная форма социального не воспринималась как конечный результат длительной эволюции. Или, как, например, в случае Солженицына. Он страстно ненавидел большевизм, неистово с ним боролся и тем самым заслужил безграничное уважение современников и вечную память потомков. Но он не увидел в ГУЛаге итог длительной эволюции русского имперского насилия — и за подобную незрячесть получил награду от гебэшника Путина и был удостоен пышных похорон «по первому разряду» от наследников русской империи.

Из-за инертности российского населения, сохранявшего в массе своей сильнейшую зависимость от государства, и из-за слабости массовых общественных и политических движений Ельцин, стремясь удержать власть, в

поисках опоры довольно быстро переориентировался и перевел свой взор с «масс» на «силовые» ведомства.

Структурные преобразования откладывались из-за их очевидной непопулярности, из-за этого же они так и не начались. По мере нарастания недовольства нагнеталось и насилие. 1993 год — расстрел парламента — и 1996-й — фальсифицированные выборы президента на второй срок — символические события и даты обнажения ельцинского большевизма.

Путинское восьмилетие, — с точки зрения особенностей постсоветской социальной динамики, — годы окончательного утверждения авторитаризма на основе жажды «порядка» и потребности человека-массы в компенсаторном традиционализме.

Все это время последовательно и настойчиво велась дискредитация реформистских прозападных устремлений сторонников Ельцина, хотя они, подобные устремления, помимо многочисленных деклараций и некоторых официальных целеполаганий, так ни в чем и не воплотились. Но цель дискредитации была достигнута. Представив пришедших к власти с Ельциным «демократов» виновниками развала СССР и целого ряда кризисов 90-х годов (особенно — тяжелейшего кризиса 1998 года), падения жизненного уровня населения, путинской власти удалось осуществить метаморфозу в сознании россиян, по существу своему вполне еще традиционалистском. Демократические модели политического устройства лишились привлекательности, понятия свободы, прав человека снова оказались на задворках сознания. В противовес им режим выдвинул и внедрил идеи социального порядка, традиций великодержавного превосходства, православия и милитаризма. (Насколько далеки они от гитлеровского нацистского Ordnung'а или «корпоративного» фашистского государства Муссолини — отдельный вопрос для исследователя.)

Началась тотальная «зачистка» пространства, предназначавшегося для гражданского общества и для политики. Политические партии, негосударственные и общественные организации, независимые каналы на телевидении, система выборов, суды и правоохранительные органы как социальные сущности ликвидированы, а то, что на их месте осталось, превратилось в элементы властной Системы. Все, что сохранилось от партий, судов, прокуратуры, СМИ и общественных организаций, власть превратила в инструменты принуждения, в репрессивные органы, а также в средства решения экономических, административных и финансовых задач различных органов и организаций, банков, страховых компаний, маркетинга, политической и коммерческой рекламы.

Зачатки институтов гражданского общества были ликвидированы в расчете на непрекращающийся поток нефтедолларов. Население страны при сырьевой, а не производительной ориентации государству не очень-то и нужно: при наличии трубы и золотого дождя население — всего лишь социальная обуза и потенциальная опасность. Предполагалось, что от населения в таком его качестве всегда можно будет откупиться и необязательно налаживать с ним отношения с помощью обычных институтов, присущих развитому гражданскому обществу.

Но начавшийся нынешней осенью финансовый и экономический кризис радикально меняет и без того гнетущую ситуацию и обнажает уязви-

мость как всей стратегии путинского режима, так и созданного им способа властвования. Вместо ставшего уже привычным нефтегазового «золотого дождя» ускоряется отток капиталов из России. Сокращаются производства, начинается рост безработицы. Резко обостряются все так и не решенные проблемы здравоохранения, образования, жилья. При цене на нефть ниже 70 долларов, заложенной в бюджете, придется изымать ресурсы из населения: резервного фонда и золотого запаса надолго не хватит.

Как быть при всем при этом с созданием единого фронта противостояния с Западом и с Америкой? Как управляться с населением, когда бедность охватывает 40%, а 15–20 из этих сорока процентов — фактические нищие? Больше 60% наших сограждан живут в малых городах и селах. Именно здесь, на социальной периферии, по-прежнему доминируют государственно-патерналистские ориентации. У такого населения практически нет ни материальных, ни духовных ресурсов или социальных средств изменить свое положение, подняться из хронической депрессии.

Надо иметь в виду, что на всю эту хаотичную массу населения, — постоянно беднеющего и пополняющего число безработных (Ленин в начале XX века говорил о «*пауперизации пауперов*»...), никак не структурированную политическими организациями и гражданскими формированиями, — накладывается растущая едва ли не по экспоненте коррупция, которая господствует практически во всех сферах общества и на всех уровнях власти, включая, — согласно многочисленным публикациям, — самую высшую, во главе с президентом и премьер-министром. Коррупция — как одно из самых разрушительных следствий отсутствия структурно-функциональной дифференциации, специализации, современного социального устройства и современной общественной жизни.

«*А может быть, ты скажешь мне, что при таких условиях жить невозможно. "Невозможно" — это не совсем так, а что "противно" жить — это верно*». Полтора столетия, минувшие с тех пор, как М. Е. Салтыков-Щедрин написал эти строки. Россия по-прежнему топчется на месте.

Движение, как известно, — жизнь. Отсутствие жизни — смерть. Сегодняшние «Бог, Царь и Отечество» (олицетворенные Путиным) предлагают нам согласиться с тем, что общероссийская утренняя гимнастика («восставание с колен» под барабаны и фанфары) означает движение — то есть жизнь. И все им верят. С фигой в кармане. И с готовностью добить, когда сами упадут.

На самом деле продолжать такую имитацию развития означает гарантировать очень скорый конец для того культурно-исторического феномена, который пока еще известен как России.

II. Холокост на русской почве: метаморфозы исторической памяти

В прошлом году я был на международной конференции по проблемам исторической памяти о прошедшем XX веке. Конференция проходила в Киеве, и в ней принимали участие исследователи из Франции, Польши, Германии и Америки. Собственно конференция, а также общение с самы-

ми разными людьми, знакомство с публикациями в украинских СМИ дали основание еще раз посмотреть и сравнить, как формируется и что собой представляет эта *историческая память* в разных частях Европы и Америки. Настоящий текст — результат моих тревог и озабоченности на сей счет.

1. «Шорт-лист» истории?

Согласен: бессмысленно и даже вовсе глупо доказывать самим украинцам, особенно тем, кто все это пережил, что Голодомор — не геноцид. Язык не поворачивается, глядя в глаза этим людям, глубокомысленно подбирать аргументы и повторять: «...и все-таки нет, не геноцид». А чем же это еще может быть в их глазах и в их памяти? Как еще они должны называть всё это, — когда уничтожали миллионами именно украинцев, когда отбирали все подчистую, включая зелень, овощи и семенное зерно, а вооруженные заградотряды не давали голодающим покинуть разоренные деревни?.. Когда действительно имело место сопротивление режиму, в том числе и на национальной основе... Когда люди умирали голодной смертью, а на освобожденное погибшими место организованно завозили на постоянное проживание русских, татар, евреев, но уже ни в коем случае не украинцев... Все так. В глазах и в памяти украинцев — это именно геноцид и ничто другое.

Что же касается изуродованной памяти, то проблема здесь, на мой взгляд, гораздо сложнее, и заключается она совершенно в другом.

Начало третьего тысячелетия от Рождества Христова застало не только Россию, но всю Европу маниакально сосредоточенными, — правда, каждого по-своему, — на проблемах собственной исторической памяти. При том, что в каждом случае сосредоточенность эта предстает, на мой взгляд, довольно странно избирательной. На конференции в Стокгольме, например, при участии глав правительств почти всех европейских стран было заложено — на основе такой вот странной избирательности — нечто вроде новой гражданской религии, которой предстоит, учитывая память о Холокосте, выработать твердые нормы жизни на будущее для всех. Данный акт, положивший, по мнению многих европейских интеллектуалов, начало транснациональной культуре памяти, в большинстве европейских стран совпал с новым приступом одержимости историей. Основное внимание призма такой «новой» памяти фокусирует на: а) Холокосте, б) Второй мировой войне, в) массовых вынужденных переселениях и г) феномене коллаборационизма.

Все это проблемы действительно очень важные, вполне достойные внимания и памяти не только в России и Европе, но и во всем мировом сообществе. Не преодолев их и не перестрадав ими, на самом деле нельзя выработать твердые нормы на будущее.

Но вся штука в том, что это не все проблемы, которыми человечеству должно и придется перестрадать. А среди поименованных, — здесь я и вижу ущербную избирательность, — не фигурирует еще одна, которая, однако, определяет все названные.

У отсутствующей в этом перечне проблемы, как ни поразительно, нет к тому же до сих пор и одного, только ей присущего названия. Имен разных много, а одного убедительного определения или названия нет. Однако и со

столь грандиозным размахом явления, представленного этой проблемой, человечество еще никогда раньше не сталкивалось.

Что же касается различных наименований как знаков (у которых, не надо забывать, есть еще и означаемое), то все они хорошо известны: тоталитаризм, нацизм, большевизм, сталинизм, маоизм; в том же ряду — латиноамериканские диктатуры, персоналистские султанатские режимы исламского интегризма. Но всё это имеет одно общее основание. Вот у этого-то основания, у этого всеми подобного рода наименованиями означаемого и нет до сих пор убедительного, авторитетного (общепризнанного, адекватного) знакового названия.

Ближе всех остальных определений по смыслу того, о чем идет речь, подходит, по-моему, что-то вроде «*омассовление планеты*» или «*деэлитаризация человеческого сообщества*». Иначе говоря, в более точном и адекватном определении, соответствующем нашему сегодня, нуждается вся та совокупность явлений, процессов, событий, которая нашла в свое время решения, интерпретации, описания, исследования и предвидения в работах Г. Ле Бона, Г. Тарда, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Вебера, Э. Кенетти, Ж. Бодрийяра, Э. Хоффера. Перечисленные авторы в разное время, с разных сторон, с разной мерой полноты и конкретности анализировали природу массового сознания и массового поведения, а также наступление эры масс и такие, например, более частные проблемы, как «*массы и власть*», «*массы и личность*» и т. п.

Параллельно с исследованием природы массового сознания и массового поведения в том же XX веке были сделаны великие открытия и осуществлялись разнообразные изыскания, положившие начало новой науки — психоанализа. Работы З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, Ф. Ницше посвящены исследованию глубинной сущности человека и ее роли в общественной эволюции. Благодаря этим работам стало очевидным, что нельзя постичь человека только из рациональных построений, что, кроме сознательной, направляемой разумом деятельности, человеку присущи глубинные неосознаваемые мотивы.

Два этих мощных направления, по которым развивалось постижение человека и общества, убедительно показали, что XX век стал не только веком выхода масс на авансцену мировой истории, не только веком наступления, а в ряде случаев и господства человека-массы; XX век оказался кроме того еще и веком расплаты за нарушенное в течение XVIII—XIX столетий равновесие между природой и культурой во внутренней структуре и человека, и общества. Французские просветители и их последователи во всем мире стремились расширить сферу разума за счет низвержения религии, всевозможных стереотипов морали и других структур: традиций, привычек, предрассудков. Но, разрушая все это, просветители не распознали и не учли социальную функцию подобных структур — противостояние бессознательному, обеспечение на их основе стабильности общества. В итоге и без того слабо сдерживаемые всем достоянием культуры бессознательные стремления, инстинкты, — такие как воля к власти и ненависть к «Другому», агрессия, звериная кровожадность и жестокость, страх, — все это вырвалось наружу и стало фактом и важнейшим фактором общественной жизни. Только в очень немногих странах Западной Европы и Америки, — где «Я», опира-

ясь на созданные там институты культуры, уже давно отвоевало у бессознательного бóльшую территорию, где, начиная уже со Средневековья, многие века личность расширяла свою свободу, — лишь в немногих странах общество сумело сохранить стабильность и воспользоваться разрушением иллюзий и расширением сферы разума для быстрого прогресса[6].

Может возникнуть вопрос, какое отношение все это имеет к Холокосту?

Имеет. И самое что ни на есть непосредственное. Только просматривается такое отношение, к сожалению, далеко не всеми и совсем не тогда, когда следовало бы. А следовало бы уже давно. Ведь в результате того, что вопрос о центральной проблеме XX века не был поставлен своевременно, не до конца понятыми остаются и результаты того явления, которое я обозначил как *омассовление планеты*, — то есть конкретные плоды этого омассовления, воплощенного в форме всевозможных «измов». И именно по этой причине в мейнстримовской парадигме современного европейского сознания искореженной продолжает оставаться память и о Холокосте, и о Голодоморе, и о многом другом. Так что мне представляется актуальным показать связи между поименованным *омассовлением планеты* и — через нацизм и сталинизм — Холокостом или Голодомором.

У гитлеровского нацизма, у ленинского большевизма, у сталинизма, как и у всех других упомянутых мною «измов», есть одно присущее им всем общее основание, делающее их все типологически сопоставимыми. Собственно, именно это и стало понятно благодаря всей совокупности анализов, обоснований, интерпретаций и выводов, сделанных и осуществленных всеми выше перечисленными авторами на основе постижения ими природы массового сознания и массового поведения и выявления ими того всемирно значимого феномена, который, повторю еще раз, терминологически можно определить (может быть, несколько условно и, конечно, не бесспорно) как омассовление, или деэлитаризацию планеты.

Такое омассовление совпало по времени с теми сдвигами во внутренней структуре человека и общества, которые возникли вследствие нарушения равновесия между природой и культурой. Совпадение двух столь разных, но тесно связанных между собой процессов и определило драматизм и трагичность всего XX века. Это совпадение делает объяснимыми массовые действия людей, в головах и душах которых освободившееся место Бога и морали заняли культы Гитлера, Сталина, Муссолини, Франко, Салазара, Мао, Фиделя, Тито, а нарушение указанного равновесия раскрепостило все животные инстинкты, таящиеся в человеческой природе. В итоге омассовление сопровождалось разгулом страстей; планету сотрясали гражданские и мировые войны, массовые убийства, коллективные наказания народов, депортации.

Казалось бы, вполне логичным было бы, если б мейнстримовским в осознании XX века стало углубленное постижение именно сущностного, общего и особенного всех тех «измов», о которых речь. Тогда все революции и три мировых войны (включая «холодную»), прошедшие в нашем трагичес-

---

[6] Подробнее об этом см.: *Гильбо Е.* Агрессия разума: кризис морального сознания и искания гуманистов.

ком XX веке, и организованные многомиллионные убийства заняли бы свои, присущие им места в таком мейнстриме — как следствия и конкретные воплощения омассовления планеты, торжества животных инстинктов и порожденных подобной ситуацией глобальных противоречий. Что касается Холокоста и Голодомора, то в данной цепи причин и следствий, знаков и означаемых ими, видимого и глубинно скрытого, эти катастрофы предстали бы как самые зверские проявления бесчеловечной сущности, как крайний предел человеческого падения тех политических режимов, что готовы на любые преступления, включая геноцид.

Однако произошло нечто совсем не предвиденное и противоположное логике и здравому смыслу. Один из самых ярких мыслителей современной Франции Паскаль Брюкнер справедливо отмечает: «*Освенцим, задавленный собственной популярностью, стал настоящей "гражданской религией" Запада, первопричиной нашей истории; как резюмировал произошедшее венгерский писатель Имре Кертес: китч окружил Шоа со всех сторон и подмял его под себя. Событие было отделено от контекста, вознесено над своим временем подобно какому-то поражающему воображение светилу; очень известный французский философ и публицист Андре Глюксман говорит о "смешении факта и веры", реального исторического события и его регламентированной ритуальной оболочки*».

Благородное стремление, многочисленные и разнообразные усилия европейцев по восстановлению памяти о Холокосте обернулись, — поскольку событие изъято из контекста, — своей противоположностью: память о нем, а вместе с ней и собственная историческая память Европы оказались травмированными еще с одной, совсем неожиданной и непредвиденной стороны.

Такая аберрация в исторической памяти и в массовом сознании довольно заметно и весьма разнообразно проявилась также и на всем постсоветском пространстве.

В России постижение XX века на основе официальной исторической политики выразилось в вытеснении социального из всей советской истории. Октябрьская революция оказалась на задворках исторической памяти как досадный эпизод, как верхушечный переворот, не только не связанный с нашей национальной историей, но и прямо ей противоречащий. Затем и вся содержательная советскость оказалась как бы «обнуленной», из нее выхолостили все собственно социальное содержание, а высвободившиеся таким образом места заполнили «свершениями» социализма и главной державной Победой. Общую картину брежневского «золотого века» при этом поддерживает героический образ войны и Победы, а он, в свою очередь, подпирает и возвышает отчасти мифологизированный, отчасти реабилитированный образ Сталина, а вместе с ним и всю сталинскую эпоху. Дальше, за непродолжительной черной полосой революционных, «лихих девяностых» и по контрасту с ними наступает путинское время как — наряду с брежневским благополучием — еще одна полоса воплощения порядка и стабильности. Тем самым XX век в его основных событиях, как их показывает осуществляемая в отношении прошлого официальная историческая политика, воссоединяется в некое «целое». Главная цель подобной исторической политики, которая очень уж смахивает на «спецоперацию», — при-

мирить россиян с советским как со «своим», а это «свое» советское — с досоветским русским как со «своим» национальным.

Таким образом, весь российский XX век предстает не как продолжение Октября и не как реализованное на основе его победы воплощение русской традиционности в виде господства человека-массы, а как полное отрицание всего этого. И тогда понятно, почему Путин, говоря о крупнейшей социально-политической катастрофе столетия, называет не массовые убийства и ликвидацию социальности как таковой в ходе так называемого *построения социализма*, не большевистский террор и не Холокост, а распад СССР.

В странах Балтии, на Украине и в Грузии тема Холокоста — также не без воздействия на массовое сознание официальной исторической политики правительств этих стран — повлияла на формирование памяти прямо противоположным образом. В России, как я только что отметил, память о Холокосте как напоминание не только о репрессиях, но, — что хотелось бы особо подчеркнуть, — как напоминание о самой сущности сталинского режима всячески вытеснялась из массового сознания. Даже когда Грызлов говорит о необходимости установить в Москве мемориал жертвам политических репрессий, а Путин посещает Бутовский полигон, а затем вместе с Медведевым и место расстрела рабочих в Новочеркасске, то и таким, вроде бы совсем уж странным образом продолжается все та же политика вытеснения: проблема низводится до частного случая — до злоупотреблений власти, допускавшей «перегибы на местах», а не возвышается до сути самой этой власти, не допускающей никакой иной субъектности, кроме единственной — своей собственной. Можно даже отречься от массовых репрессий и осудить их — на ритуальном уровне — как способ действий той власти, которую мы якобы уже преодолели. Можно, поскольку есть же масса других способов добиваться того же самого, а именно — подавления любой другой субъектности.

В странах Балтии и на Украине, наоборот, тема Холокоста всеми способами внедрялась и продолжает внедряться в массовое сознание вплоть до превращения памяти о нем в маниакальное состояние. Катастрофа евреев стала здесь (сошлюсь еще раз на П. Брюкнера) *«мерилом всечеловеческого несчастья, и элементы ее описания — "погром", "рассеяние", "геноцид" — присвоены всеми и каждым. Но это привело к досадному искажению смысла: Шоа завораживает не как апогей зла, а как сокровище, которое мы надеемся выгодно использовать. Мы не столько привлекаем внимание общества к этому пределу человеческого падения, сколько подпитываем порочную метафизику жертвы»*.

Однако искажение смысла, на мой взгляд, не только в «виктимизации»[7] проблемы Холокоста, не только в травме сознания в направлении «мы — жертва», о которой говорит Брюкнер. Оно, такое искажение смысла, — в том, что с опорой на Холокост, как ни парадоксально, уходят или уводят, — хотя бы и неумышленно, — от главного для всего XX века вопроса: почему и как, собственно, возникла и есть данная проблема.

---

[7] Слово происходит от английского victim (жертва) и, согласно словарям, означает процесс превращения какого-либо объекта в жертву (*ред.*).

В Прибалтике созданы правительственные комиссии, которые подсчитывают стоимость ущерба, нанесенного в ходе и в результате советской оккупации. На Украине приняты государственные решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Происходит бесчисленное множество самых разнообразных мероприятий: ставят памятники и мемориальные знаки, зажигают свечи, организуют «живые цепочки» и научные конференции, снимают фильмы, проводят массовые мемориальные шествия и церемонии. Налицо целенаправленная историческая политика, направленная на то, чтобы в коллективной памяти населения этих стран навсегда отпечатались такие кодовые понятия, как «геноцид», «оккупация», «ответственность Москвы». Во всех подобных понятиях — сплошная непроясненность с рациональной точки зрения, особенно в отношении «ответственности Москвы»: то ли имеется в виду сталинский режим, то ли москали как таковые.

Но во всех перечисленных случаях, как и в обоих этих направлениях исторической политики: и при вытеснении Холокоста из исторической памяти (в России), и при его закреплении (на Украине и в Прибалтике), — конечный результат получается весьма плачевным. Социальное вытесняется этническим, внутреннее состояние души и разума человека загружается мыслями и переживаниями о внешних обстоятельствах, а Холокостом, Голодомором, оккупациями и депортациями затуманивается самый феномен гитлеризма и сталинизма.

2. Гитлеризм и сталинизм

Вспомним еще кое-что из времен возникновения германского нацизма. Наша историко-философская мысль пока что не уделяла должного внимания тому факту, на который я намереваюсь сослаться. Наиболее характерной особенностью нацизма принято считать — прежде всего и главным образом — расизм. Разумеется, это так. Однако при этом в характеристике нацизма как бы пропускается одно обстоятельство, а оно-то и есть, может быть, наиболее существенное для постижения нацистской сути гитлеризма.

Почти всегда как-то стыдливо умалчивалось или, по крайней мере, широко не сообщалось, что Гитлер, будучи у власти, понял, что очень многие самые острые повседневные потребности немцев наиболее быстрым и впечатляющим для них же способом можно удовлетворить за счет недвижимости, имущества евреев, и решал именно такую, или прежде всего такую, свою задачу, уничтожая евреев (причем не только в Германии). Только в последнее время в Германии появились первые публикации, раскрывающие, сколько же немцы в целом заполучили из этого источника.

Однако в связи с этим возникает и более сложный вопрос: почему немцы так сильно устыдились происшедшего в нацистской Германии в 30-е — 40-е годы? Неужели лишь потому, что осознали, что практически каждый из немцев хоть чем-то да поживился за счет ограбления и ликвидации евреев? То есть устыдились того, что от неблаговидных деяний давнего, казалось бы, прошлого кое-что перепало и почти любому из живущих ныне?

Вряд ли только поэтому. Однако это мощное, искреннее и так широко распростертое раскаяние вынуждает задуматься и над более глубокими

причинами и самого этого раскаяния, и последовавшего за ним столь бурного возрождения немецкой нации.

Размышления над данным фактом ведут, на мой взгляд, напрямую к постижению социальной сущности нацизма в целом, а дальше, в свою очередь, дают возможность (а то даже и вынуждают) сравнить эту сущность с той социальностью, что получилась у нас в итоге так называемого *социалистического строительства*, а затем сопоставить ее с тем, что происходит в России сегодня.

Гитлер действительно был убежден, что немцы лучше, совершеннее, физически и духовно выше и красивее всех, и хотел, чтобы они стали в то же время богаче, счастливее и здоровее всех остальных. На основе подобных убеждений и желаний он и строил свои национальные социальные проекты. Евреи с их движимым и недвижимым имуществом оказались лишь первой и предварительной возможностью на пути намеченных социальных свершений. Сами же по себе такие социальные задачи были намного шире и разнообразнее. В частности, в ходе построения социализма в Германии намечалось реализовать наиболее известную нацистскую программу «Всё для всех», то есть *всё для всех* наиболее значительных и многочисленных социальных групп немецкого общества: для рабочих — работа, для крупного бизнеса — государственные заказы и заработки, для малого бизнеса — снижение налогового бремени и государственного регулирования. Основанием и в то же время камнем преткновения для решения этой и других социальных программ становилась проблема собственности: чтобы стать столь же богатыми, сколь и прекрасными, требовалось неизмеримо больше материальных и людских ресурсов. Одних только внутренних возможностей, даже с учетом конфискованного имущества евреев, для мобилизации в нужных размерах было явно недостаточно. Общим знаменателем в решении проблемы всеобщего национального благоденствия стала направленность вовне: счастье для немцев за счет всех других. Если потребуется, то и за счет уничтожения всех этих других. Евреи оказались ближайшим подспорьем и наиболее легкой мишенью на таком пути. Отсюда — «окончательное решение еврейского вопроса», отсюда же — и устремленность нацизма к мировому господству.

Таким образом, еще раз: социальная суть нацизма — обеспечить счастье для немцев любой ценой, в том числе и за счет уничтожения других, за счет их собственности и ресурсов. Вся политика Третьего рейха, внутренняя и внешняя, стала средством достижения данной цели. В погоне за таким счастьем гитлеровскому режиму пришлось зайти слишком далеко. Потребовалось построить у себя дома социальную мегамашину по производству всеобщего счастья, пройти через завоевания в ходе Второй мировой войны и через позор поражения в ней, испытать национальное унижение — насильственный оккупационный режим — и, наконец, понести показательное — на весь мир — наказание разделом на оккупационные зоны. И все это потребовалось, чтобы затем сами немцы все-таки что-то *увидели, поняли и ужаснулись*. Так началось и на том состоялось возрождение немецкой нации в XX веке.

Мы тоже прошли, казалось бы, почти через все то же самое. Было и почти всеобщее убеждение, что мы — лучше и справедливее всех, и на этой

основе произошло возрождение мечты о полагающемся нам счастье в размерах, соответствующих нашему превосходству и исключительности. Была и попытка решить проблему собственности у себя дома, в своей стране. Правда, такая попытка оказалась весьма своеобразной, бессмысленной и растянувшейся на многие десятилетия. Суть ее настолько же проста, как и глупа: не «всё для всех» обеспечить, а всё у всех отобрать — в собственность государства. Был даже и замах на то, чтобы осчастливить не только самих себя, но и все остальное обездоленное человечество. Осчастливить, — хотя бы и на свой манер и по своему усмотрению. Была Победа в той же Второй мировой похлеще поражения в ней Германии. Был, наконец, и раздел «по живому» державы, — то есть пережили мы и развал Советского Союза, который большинство народа считали своей родиной. Испытали мы сполна и не единожды горечь унижения.

Однако на то, видимо, мы и русские, чтобы пройти через все, вроде бы, то же самое, что и немцы, но непременно и здесь по-своему, своим путем: *что русскому здорово, то немцу смерть...* В частности, в отличие от них, мы, во-первых, решили в поисках всеобщего счастья поэкспериментировать поначалу исключительно на самих себе, а не на других (правда, сделав предварительно «самими собой» половину жителей страны Советов, не спросив у них согласия). А, во-вторых, испив в таких поисках счастья до дна свою чашу сладости побед и горечи поражений, погубив несколько десятков миллионов, опозорившись (и опять-таки не единожды — только в прошедшем столетии), мы, в отличие от немцев, до сих пор *не задумались, не устыдились и не ужаснулись.*

Мне кажется, именно здесь, в сопоставлении гитлеровского и сталинского нацизмов, в точном воспроизведении истоков становления каждого из них, в выявлении общего и различного между ними, в совокупном жизненном итоге каждого из них пролегает наиболее короткий и верный путь к постижению своеобразия, глубинных оснований и сути советского типа социальности.

Подобные сравнения и сопоставления, надо сказать, проводились уже давно и многократно, — правда, в основном, за рубежом, — а их результаты так и не стали у нас, на родине сталинизма, всеобщим достоянием. Кроме того, всегда — как раньше, так и до сих пор — при попытке такие сравнения провести, как только они приближаются к нашей отечественной почве, всплывает так много политизированного и идеологизированного, обнажается столь мощный пласт нравственных переживаний (а, следовательно, и взрывы эмоций), что давление вполне естественных и объяснимых переживаний на каждого, кто подступается к этим проблемам, не просто осложняет, но часто полностью вообще исключает хладнокровный, беспристрастный аналитический подход к этой теме.

Например, очень многим людям, особенно тем, кто сами пострадали или чьи родственники погибли от злодеяний нацизма, казалась и до сей поры кажется кощунственной, а потому и просто непристойной уже самая допустимость квалифицировать оба эти режима как одинаково жестокие и бесчеловечные, да еще к тому же как социально родственные — как нацистские. Если к этому добавить еще и перечень общих, присущих обоим режи-

мам сущностных характеристик (а только важнейшие из них исчисляются десятками), почти наверняка обеспечен такой взрыв страстей и эмоций, что будет уже не до сущего.

А это сущее и в то же время общее для обоих режимов — решение, пусть разными (даже подчас, казалось бы, диаметрально противоположными) способами, социальных проблем с целью обеспечить экономическое и военное могущество для достижения мирового господства. Иначе говоря, получается, что сущее, которое в то же время и общее, — их конечная цель, притом цель внешнеполитическая.

Если учесть хорошо известные факты из истории Германии и Советского Союза в XX веке и вместе с тем иметь в виду результаты всех проведенных уже в разных странах сравнений гитлеровского и сталинского режимов, то на первый взгляд получается нечто такое, что по советской (или русской) «патриотической допустимости» не то что произнести вслух — подумать страшно. Сопоставление двух этих режимов поначалу склоняет чашу весов в пользу гитлеровского.

В самом деле. Мы-то усвоили для себя, что называется, с молоком матери: социализм и фашизм вообще несопоставимы, как огонь и лед, как свет и тьма. На самый худой случай, если уж совсем некуда деваться и довелось бы эти режимы сравнивать как в чем-то родственные, то, как мы всегда точно знали, лучшим бы оказался, конечно же, наш, сталинский: он за равенство и справедливость, на нас нацисты напали, нас хотели завоевать и уничтожить, мы пострадали. А тут, в ходе углубленных сопоставлений, все получается чуть ли не совсем наоборот. В целом сравнение (хоть, пускай, и с небольшим перевесом) все-таки оказывается в пользу гитлеровского режима: там тоже шло успешное построение социализма, но не было массовых репрессий против самих же немцев, и их не уничтожали миллионами. Там пытались сделать поголовно всех *своих* богатыми и счастливыми, а если кого-то и преследовали, то только *чужих*. И напали они на других, чтобы предотвратить свое собственное уничтожение.

Если же два режима все-таки в итоге их сравнений в чем-то и различались между собой, то всего-то, вроде бы, деталями. А по заветной для каждого из них цели, по направленности их высшей устремленности к счастью отличались и всего-то лишь какой-то «мелочью»: тот хотел мирового господства для немцев за счет всех других, а этот — того же самого мирового господства, но для всех других — и для начала за счет русских, или, точнее, за счет советских.

Таков еще один из возможных и широко практикуемых способов сопоставить два рассматриваемых типа социальности, два режима — гитлеровский и сталинский. Я бы отнес данный способ к разряду возможных, но недостаточных, — предварительных, частично допустимых, но в целом ошибочных. При таком способе сущность рассматриваемых режимов характеризуется и демонстрируется конкретными фактами и цифрами: количеством человеческих жертв, организованным голодом, деятельностью карательных органов и репрессивных учреждений, разрушенными и уничтоженными селами и городами, вымершими деревнями, дутыми цифрами достижений в социальной политике, сокрытием информации об экологических

катастрофах и эпидемиях, лживой статистикой переписей населения, подтасованными данными о состоянии здоровья населения и т. д.

Все подобные факты, цифры и данные имеют, конечно, прямое отношение к сущности обоих режимов, но все-таки скорее фиксируют последствия и результаты бесчеловечности этих режимов, нежели раскрывают имманентно присущие им общие свойства. Кроме того, поскольку подобное сопоставление осуществляется способом перечисления отдельных, хотя, безусловно, и важных, фактов и данных об отдельных свойствах и сторонах этих режимов, то при каких-то условиях, или на какой-то момент, может сложиться ложное представление (как я это только что и пытался показать), что принципиально возможно и сопоставление этих режимов в пользу какого-то одного из них.

Но есть и другие способы сравнения, с очевидностью показывающие, что при всех возможных сходствах и различиях данных режимов было нечто настолько общее для них обоих, что именно это нечто и объясняет, почему они, образно говоря, были *оба хуже*. А на фоне раскрытия такой коренной их общности и в ходе их сопоставления с такой точки зрения интересующая нас проблема, а именно: причины, характер и степень изуродованности социума современной России, — предстает гораздо более ясно.

Подобные способы сравнения раскрывают собственно бесчеловечность, антигуманную сущность рассматриваемых режимов как их самую главную отличительную особенность и в то же время как их сущность в последней, так сказать, инстанции.

На сей счет во многих странах, в том числе и у нас, сегодня имеется огромная, почти необъятная литература. Историки, философы, экономисты, психологи, социологи, историки культуры подходили к названным вопросам с самых разных сторон и использовали все имеющиеся в распоряжении современной науки методы и подходы. Совокупные поиски оказались весьма успешными, исследователи добились убедительных результатов, раскрывая и объясняя общие характеристики, присущие сталинизму и нацизму. Знание этих результатов, безусловно, помогло бы россиянам лучше увидеть и глубже понять происходящее в России сегодня.

Гарантией успешности подобных исследований стало размещение интересующей нас проблемы в максимально широкий контекст мировой культуры и исследование ее в перспективе длительной истории человека и общества.

Беда, однако, в том, что все достижения современной науки о самом главном для нас — о том, какие мы есть и как мы стали именно такими, — остаются невостребованными массовой российской публикой. Об отношении к научному знанию в данном смысле властей предержащих говорить здесь полагаю бессмысленным. Собственно, именно выяснению этого нашего не столько странного, сколько жестокого безразличия к своему недавнему, совсем еще не остывшему прошлому и посвящена вся настоящая публикация.

Речь идет о безразличии, которое непременно оборачивается жестокостью, потому что оно, в сущности, и есть презрение к самим себе. За безразличием следуют столь же массовые заблуждения и невежество, которые как раз и удерживают людей в состоянии толпы. А подобное состояние, надо

сказать (может быть, к удивлению некоторых полагающих, что все беды в мире происходят непосредственно и исключительно от кровожадных режимов), — такое стадное состояние весьма комфортно для всех: и для властей, и для народа. Никому не надо ни о чем думать, не надо вообще беспокоиться. И, главное, не надо ни за что отвечать: капали бы сами собой потихоньку нефтедоллары, да немножко бы соломки каждому под бок...

Здесь, полагаю нужным сказать о том общем для сталинского и гитлеровского режимов, что выявлено мировым социальным знанием. И показать, что незнание этого общего делает людей в культурном плане по существу слепыми — и вообще, и, в частности, относительно того, куда идет Россия сегодня. Если предварительно не определить собственно направление движения, нам так и не выпутаться из нашего «*как всегда*»: хотели к лучшему, а движемся под руководством Путина прямо в обратную сторону.

Но сначала — о том, где общее для обоих режимов искать не надо.

Его не следует искать, *во-первых*, только и исключительно в национальных особенностях и в исторических традициях России и Германии. *Во-вторых*, общее для нацизма и сталинизма не нужно искать в прежних и существующих политических и социальных доктринах. *В-третьих*, это общее бессмысленно искать в личностях Сталина и Гитлера.

Поначалу каждое из таких ограничений кому-то наверняка покажется если не абсурдным, то, по крайней мере, странным. Ведь именно одной из перечисленных причин (или, что более привычно, их совокупностью), как правило, и принято объяснять нацизм и сталинизм как явления в целом, а в особенности — конкретные воплощения обоих режимов.

Поэтому придется хотя бы самом кратким образом остановиться на каждом из трех перечисленных условий.

3. Национальные особенности и исторические традиции

Здесь, пожалуй, самая горячая точка, в которой сходятся и сталкиваются взгляды людей, особо остро ощущающих свою приверженность к немецкой или к русской культуре. И даже гораздо шире: любых людей, причастных и обостренно относящихся к любой национальной культуре. Такой эффект вполне нормален и объясним. Поскольку в Италии, например, был свой Муссолини, положивший начало «своему», итальянскому фашизму, многие итальянцы болезненно относятся к любым попыткам хоть как-то «усреднить» этот *их* фашизм, поставить его в один ряд с нацизмом или со сталинизмом. Тем более болезненным всегда было их отношение к любым попыткам отыскать нечто общее для всех трех режимов в национальных особенностях, присущих и Италии, и Германии, и России. Многие из них убеждены, что у каждого режима — свои национальные корни, и предпочли бы думать так всегда.

Отсюда, видимо, в первую очередь и столь резко отрицательное отношение многих европейских интеллектуалов, в том числе и вполне левых, к концепции тоталитаризма Ханны Аренд. Достоинства ее основательной — трехтомной — работы о тоталитаризме, в том числе и сталинском, впервые изданной еще в 1951 году, бесспорны. Однако у тех, кто отстаивает нацио-

нальные истоки данного феномена, ее исследование до сих пор повсюду с трудом находит понимание, — если вообще находит. Потому что как раз Х. Аренд, пожалуй, впервые предприняла столь убедительную попытку объединить все разнообразные нац-«измы» в одно явление и назвать его одним словом — тоталитаризм.

Что касается российской действительности, то вопросом о национальных истоках большевизма и сталинизма в разное время и по-разному занимались лучшие умы и бесспорные патриоты. Здесь немыслимо перечислить всех или хотя бы «самых-самых», но никого не назвать было бы совсем странно. Я назову лишь тех, чьи усилия по обоснованию и раскрытию обусловленности большевизма и сталинизма русскими национальными особенностями, думаю, ни у кого не вызовут сомнения: Николай Бердяев, Александр Солженицын и Георгий Федотов.

Называю этих мыслителей вовсе не затем, чтобы сказать, что кто-то из них в отдельности или все они вместе в чем-то ошибались, указывая и раскрывая связи и обусловленность русскими национальными особенностями тех или иных положений идеологии, изобразительных средств, способов действий, стереотипов сознания, присущих большевизму и сталинизму. Напротив, именно эти авторы в своих многочисленных, ярких и выразительных публикациях по данным проблемам были и остаются наиболее убедительными во всей истории русской культуры. И я неоднократно ссылался на их труды, когда дело касалось неразрывной связи между сталинизмом и русской культурой в плане преемственности идей, наиболее устойчивых стереотипов сознания, социальных и политических институтов.

В качестве содержательного сюжета, наиболее часто упоминаемого в таком смысле, — в том числе и в работах названных авторов, — можно сослаться, например, на идею холизма, или целостности, которой пронизаны все русское православие, русская религиозная философия, многое из классики нашей литературы, в том числе советской. Эта же идея, разнообразно представленная, лежит в основе сталинской идеологии, эстетики и политики. Не менее показательна в том же ряду идея субъект-объектности русской власти. Данная идея отчетливо прочитывается в вековом укладе наших государственных институтов, в умонастроениях и психологии народных масс, в художественном творчестве. В сталинизме она достигла своего апогея и в качестве социальной реальности, и в качестве идеологической концепции. Сюда же можно отнести в какой-то мере (из этого же ряда категорий культуры) идею ордынской сущности русской власти, в одинаковой мере присущую и сталинизму, и нынешним правителям, — присущую как воплощенная реальность.

Но ведь точно так же и многие немецкие мыслители, анализируя нацизм, усматривали его истоки в своеобразии именно своей, немецкой культуры. И это тоже вполне естественно и объяснимо, что подтверждается как социально-политической практикой нацизма, так и, например, работами Томаса Манна.

Примеры из немецкой культуры могли бы увести нас совсем уж далеко в сторону от основной темы. Но один из них очень показателен с точки зрения общего и особенного — применительно к истокам нацизма или

сталинизма. Я имею в виду идею народности в том ее виде и значении, как она зародилась в Германии в эпоху европейского романтизма. В таком ее виде она, «идея народности», — собственно, даже не идея, а совокупность связанных между собой идей о немецком народе вообще, о его культуре, историческом пути, о его культурном или расовом приоритете, о миссии этого народа в мировой культуре и в мире вообще.

В свою очередь эта совокупность идей в их целостности представлена наиболее полно и разносторонне в творчестве замечательного немецкого поэта и мыслителя Фридриха Шиллера. Именно этим, видимо, объясняется то, как далеко распростерлось излучение его идей. Я имею в виду его философию целостности природы и человеческого общества, его стремление разрешить загадку динамического равновесия в борьбе враждующих природных и социальных сил. С одной стороны, подобные идеи смыкаются с творчеством олицетворяющих немецкую культуру Гердера и Канта. С другой стороны, те же его идеи воздействуют, в частности, на одного из корифеев русской культуры Федора Тютчева, который прекрасно знал творчество Шиллера и был буквально заворожен им. А от Тютчева (и не только, разумеется, от него) данные идеи простираются к русскому славянофильству в целом и далее — к панславизму и вообще к самым разнообразным концепциям русского национализма.

Следует подчеркнуть, что Шиллер, в свою очередь, идеологически наследовал эпохе Гете, которая вобрала в себя в качестве национального едва ли не все «самое-самое» немецкое. На этом же «самом-самом» во многом замешаны и реальности совсем другого плана, а именно: идеология, эстетика, философия и политика нацизма и сталинизма.

Спрашивается, если иметь в виду нацизм и сталинизм вместе с истоками этих явлений, где здесь общее и где здесь национальное и что есть это общее и это национальное?

Ответить не получится, без того чтобы не назвать хотя бы некоторые из основных, — нет, не содержательных положений, — а хотя бы сюжетов философии Шиллера, имеющих прямое отношение к нашему вопросу.

Гениальный философ, Шиллер (так же, как, скажем, гений Гете или Пушкина) запечатлел в своем творчестве и национально особенное, и общекультурное, и неотъемлемые ценности конкретной эпохи романтизма, и непреходящие ценности мировой культуры. Поэтому и в качестве истоков, или оснований, в его творческом наследии можно найти обоснование всему: и какой-то конкретной исторической реальности, и какой-то философской концепции. В том числе — обоснование нацизму.

То же относится, среди прочего, к сталинизму, когда его мировоззрение и социальную сущность выводят непосредственно из глубин русской национальной традиции. Можно вполне доказательно ссылаться на бесспорные предпочтения в идеологии сталинизма (например, живопись передвижников). Или, допустим, когда при объяснении самого феномена сталинской власти ссылаются на такую древнюю национальную черту, как «женственность» русской общественности — вечную готовность к тому, чтобы ею командовали, над нею властвовали. Такую готовность зафиксировал еще самый первый летописец в качестве события номер один в отечественной

истории, а именно как обращение к варягам: «*Придите и володейте нами*». Дескать, наше дело, которое мы знаем, — жить, а не обустраивать свою жизнь.

Здесь я завершу краткий обзор бесплодных попыток отыскать общее между нацизмом и сталинизмом только в национальных особенностях и исторических традициях Германии или России. Идеологию и сущность обоих режимов действительно можно объяснить национальными особенностями, поскольку многое в них своими истоками действительно уходит в глубокие культурные традиции. Но можно столь же убедительно отрицать связь общего для нацизма и сталинизма со специфически немецкими или специфически русскими особенностями на том основании, что проявления подобного общего можно обнаружить и в любой из этих двух стран, и далеко от них, — например, в аналогичных режимах стран Латинской Америки или Азии.

Позиция «за» или «против» определяется в данном случае всецело широтой исторического контекста, в который рассматриваемая проблема погружается. Если рассматривать отдельные характеристики нацизма или сталинизма изолированно, они неизбежно обнаружат свои истоки в каких-то национальных особенностях. Если же посмотреть на нацизм со сталинизмом как на явление, общее для XX века, поставить их в один ряд с итальянским фашизмом, салазаровским режимом в Португалии и франкистским в Испании, с маоизмом в Китае, с режимом Кастро на Кубе, с режимом красных кхмеров в Камбодже, то сущность этого общего явления и его корни надо искать уже не в национальных особенностях перечисленных стран, а в особенностях, которые выявляются только в общей истории мировой культуры.

Национальные особенности при таком подходе, хотя и вплетаются напрямую в общую ткань происходящего, однако не только не способствуют обнаружению и раскрытию этого общего, а, напротив, в силу присущей им чрезвычайно повышенной эмоциональной заряженности, играют роль мощнейшей шумовой помехи. Они уводят от истинного соотношения общего и особенного и, что самое главное, фиксируя внимание на частностях, затуманивают взгляд, не дают увидеть нацизм и сталинизм в нашем сегодня

Но прежде чем показать такое искажение, рассмотрим уже названные «*во-вторых*» и «*в-третьих*».

4. Политические и социальные доктрины

Данный аспект проблемы общего и особенного в нацизме и сталинизме также основательно и всесторонне рассматривался в мировой гуманитарной науке. В частности, его затронул в своей замечательной и актуальной работе Игорь Голомшток[8]. Автор впервые выполнил сравнительный анализ тоталитарного искусства сталинского СССР, гитлеровской Германии и муссолиниевской Италии. В книге приводится богатейший материал из истории живописи и скульптуры XX века в трех странах, рассматриваемый в рамках указанной проблемы. По интересующему нас сюжету Голомшток, в свою очередь ссылаясь на Ж. Раделя и Д. Гусмана, отмечает, в частности, следующее.

---

[8] *Голомшток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994.

Настоящим евангелием для всей сталинской эпохи был «Краткий курс истории ВКП(б)» — в гораздо большей степени, чем «Капитал» Маркса (или чем для Германии «Майн кампф» Гитлера). И хотя основал коммунистическую идеологию Маркс, в качестве «трех источников и трех составных частей марксизма» «Краткий курс» называет крупнейших представителей английской политической экономии, немецкой классической философии и французского просветительства. Расовую теорию, на которую опирался нацизм, создали французский дипломат и ориентолог граф Жозеф Артур Гобино и принявший немецкое подданство сын английского адмирала Хьюстон Стюарт Чемберлен. Парадоксально, но термин «антисемитизм» впервые ввел в обращение основатель «Лиги антисемитизма» Вильгельм Марр, еврей по происхождению. Доктрина итальянского фашизма многое почерпнула из теории государства Сен-Симона и из трудов последователя Маркса, французского инженера Жоржа Сореля. Общие источники для нацизма, сталинизма и фашизма — концепция коллективной воли Жан-Жака Руссо, многие аспекты философии Гегеля, пересаженный на социальную почву дарвинизм и разного рода теории исторического процесса.

Наряду с идейной всеядностью и теоретическим эклектизмом как нацизма, так и сталинизма, можно привести немало примеров их трогательного единодушия в идейном и социальном смыслах.

Довольно показательна с точки зрения социальной и идейной близости двух режимов, выраженной на доктринальном уровне, например, их последовательная критика капитализма, разрушающего «народные основы». Опубликованная в 1923 году книга Мёллера ван ден Брука «Третий рейх». которая, по сути, дала имя гитлеровскому государству, первоначально называлась «Третий путь»: не капиталистическая эксплуатация человека человеком и не либеральная парламентская демократия, а народное государство, скрепленное волей вождя.

Можно привести и более убедительные свидетельства идейной и социальной близости нацизма и сталинизма — вплоть до их доктринальной тождественности. В «Майн кампф» Гитлер следующим образом интерпретировал три цвета германского имперского флага, сохраненного как эмблема и в Третьем рейхе: «*Красный цвет отражает идеи социализма, белый — националистические идеи движения, черный символизирует борьбу за победу арийского человека и творческого начала, которая, по сути, всегда была антисемитской и останется таковой на все времена*»[9]. В эти три цвета, отмечает Голомшток, окрашена идеология всякого тоталитаризма. В СССР черный и белый стали подмешиваться в идеологическую палитру лишь с середины 30-х годов. А с середины 40-х (добавлю уже от себя) они, кроме того, стали еще и выражением политической практики сталинизма.

О доктринальной близости свидетельствует и то, что для Гитлера, как и для Сталина, врагом номер один была демократия. Обвиняя своих противников в «демократических грехах», Гитлер писал: «*Я многому научился у марксизма... Национал-социализм есть то, чем марксизм мог бы стать, освобо-*

[9] Цит. по: *Голомшток И.* Ук. соч.

дись он от абсурдных и противоестественных связей с демократическими системами».

В самое последнее время отношение к западным демократиям в России развивается так, что, кажется, и это последнее различие, тогда как-то отдалявшее друг от друга нацизм и сталинизм, перестает уже быть актуальным.

Еще более выразительно в содержательном смысле и с точки зрения доктринальной близости двух режимов одно из признаний Геббельса. В статье «Национал-социализм или большевизм?», написанной в форме письма к «левому другу», он призывал своих идеологических противников к объединению: *«Сегодня ни один честно мыслящий человек не стал бы отрицать справедливость рабочих движений. Поднявшись из нищеты и ничтожества, они стояли перед нами живыми свидетелями нашей разобщенности и беспомощности... Мы оба честно и решительно боремся за свободу, и только за свободу; мы хотим добиться окончательного мира и общности, вы — для человечества, я — для народа. То, что этого нельзя добиться при данной системе, ясно и очевидно для нас обоих... Вы и я — мы оба знаем, что правительство, система, которые лживы насквозь, должны быть свергнуты... Вы и я — мы боремся друг с другом, не будучи врагами на самом деле. Этим мы только распыляем силы и никогда не достигнем цели. Вероятно, самая крайняя ситуация объединит нас. Вероятно!»*

Правоту предположения Геббельса о вероятном объединении в будущем подтверждает, скажем, и состоявшийся в 1939 году пакт Молотова — Риббентропа. Существовавшее продолжительное время и, по существу, совместное советско-германское политическое движение национал-большевизма с советской стороны активно поддерживал Карл Радек. Художественное течение дадаизма называли германским большевизмом.

Но о чем говорят перечисленные и многие другие подобные факты, которые можно было бы приводить еще и еще? Нацизм и сталинизм в идейном смысле были не только эклектичны, но и близки настолько, что подобную близость можно считать доктринальной и сходящейся, в конце концов, в марксизме? Безусловно, основания для такого суждения есть.

Более того, в современной России остается весьма распространенным убеждение, что именно марксистская доктринальность привела большевиков к победе в революции, а попыткой реализовать эту чуждую русской почве доктрину объясняются все беды России.

Я уже сказал выше о несостоятельности подобной позиции: она игнорирует другие сущностные реальности, уводит в сторону от социального содержания самой революции и последовавших за ней событий. Сейчас же мы подходим к этой же проблеме — марксистской доктринальности большевизма-сталинизма — с несколько другой стороны. С той стороны, откуда мы могли бы увидеть нечто общее между нацизмом и сталинизмом и посмотреть, что из этого общего есть в России сегодня.

В данном случае, как и при рассмотрении национальных особенностей, надо со всей определенностью сказать: вывод будет тот же. Хотя доктринальные совпадения в идеологии и практике нацизма и сталинизма многочисленны и разнообразны, то общее между ними, которое делает оба режима в одинаковой мере бесчеловечными, стало порождением определенного со-

стояния или этапа в истории мировой культуры. Искать это общее надо не в каких-то социальных и политических доктринах, а в самой этой истории.

Даже при условии, что все важные доктринальные совпадения двух режимов в наибольшей степени сходятся в марксизме, всегда будет оставаться открытым вопрос: а почему именно в нем? И, главное: что же такое произошло в истории мировой культуры, что сделало фактом появление самого марксизма, в котором потом во многом доктринально сошлись большевизм, нацизм и сталинизм? Мы вернемся к этому вопросу после краткого замечания по поводу нашего «*в-третьих*».

5. Имя и дело Сталина

Если то общее, что определяет сущность нацизма и сталинизма и делает их в одинаковой мере жестокими и античеловечными, нельзя искать ни в национальных особенностях Германии и России, ни в политических доктринах, то, казалось бы, понятно само собой: тем более не надо искать это общее и в личностях Гитлера и Сталина.

Но и в данном случае, как и в первых двух, есть немало важных нюансов, проясняющих, почему корректность рассмотрения проблемы определяется тем, как проблема эта формулируется и в каком историческом контексте рассматривается.

Был, как известно, такой случай, когда личность Сталина официально и по инициативе самой власти была вынесена, по существу, на всеобщее обсуждение в Советском Союзе, — сразу после доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС в 1956 году.

Случай, надо отметить, редчайший, если не сказать уникальный, и не только для нашей отечественной истории. Уникальность его в том, что данный феномен — культ личности, культ вождя, — свойственный, с позиций общего развития культуры, традиционализму, — стал предметом всенародного обсуждения и обсуждало его население, для которого характерно полное преобладание традиционалистского же массового сознания. Побудительным импульсом руководителей государства, заговоривших о культе, был откровенный эгоистический прагматизм: они хотели спасти себя от надвигающейся ответственности за массовое истребление сограждан. Скрывать и дальше беззаконные «репрессии» оказывалось невозможно: из лагерей шел уже поток «реабилитированных». Но обеспечить успех подобного дела руководители страны могли лишь при выполнении охранительной функции в отношении сталинского режима: вынужденную информацию о «репрессиях» требовалось обставить так, чтобы удержать туман в сознании населения, показать, что многомиллионные расстрелы и аресты порождены не системой, а особенностями личности Сталина. Причем самими инициаторами этого предприятия всё это выполнялось не осмысленно, а скорее инстинктивно, а оболваненными пропагандой массами воспринималось с потрясающим недоумением и со столь же полной неготовностью что-нибудь понимать.

Ни о каком научном, адекватном или просто хотя бы рациональном постижении сталинизма как явления речи, разумеется, быть не могло. Но чтобы у читателя не оставалось на сей счет никаких сомнений, я приведу

несколько «зарисовок с натуры» из того времени, характерных для общего, по существу, состояния еще «дорефлективного» традиционализма руководителей страны.

Договоренность вынести вопрос «о культе личности» на XX съезд была официально оформлена на заседании Президиума ЦК 9 февраля 1956 года. На заседании было заслушано очередное сообщение комиссии, возглавляемой секретарями ЦК П. Н. Поспеловым (председатель) и А. Б. Аристовым, а также выступление председателя Комиссии партийного контроля при ЦК Н. М. Шверника, генерального прокурора Р. А. Руденко, председателя КГБ И. А. Серова. В сообщении говорилось, что «*1935–1940 годы в нашей стране являются годами массовых репрессий советских граждан*» и что в эти годы «*было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1 920 635 человек, из них расстреляно 688 503 человека*». Хрущев еще раз высказал твердую убежденность в необходимости рассказать все делегатам съезда. И не только о «репрессиях», но гораздо шире — о роли Сталина в них.

Далее я процитирую по протокольным записям некоторые замечания, предварявшие и сопровождавшие заседание Президиума ЦК, чтобы дать представление об общем уровне обсуждения.

— *Виноваты повыше*, — подавал то и дело реплики Хрущев, — *полууголовные элементы привлекались к ведению таких дел. Виноват Сталин.*

Он же:

— *На XXI съезде уже будет поздно, если мы вообще сумеем дожить до того времени и с нас не потребуют ответа раньше.*

Он же:

— *Несостоятельность Сталина раскрывается как вождя. Что за вождь, если всех уничтожает? Надо проявить мужество, сказать правду.*

Более основательно подготовить доклад призывал Ворошилов:

— *Сталин осатанел в борьбе с врагами. Появились у него и звериные замашки. И, тем не менее, у него много было человеческого.*

— *Нельзя в такой обстановке решать вопрос*, — возмутился Каганович. — *Нельзя так ставить!.. Многое пересмотреть можно, но тридцать лет Сталин стоял во главе.*

Сабуров обратил внимание на роль Сталина в войне (вернее, в ее катастрофическом начале) и в обострении международного положения:

— *Мы потеряли многое из-за глупой политики, испортили отношения со всеми народами.*

— *Что партия должна знать правду*, — согласен был вроде бы и Ворошилов. — *Доля Сталина была? Была. Мерзости много. Правильно говорите, товарищ Хрущев. Не можем пройти. Но надо продумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.*

— *Товарищ Хрущев, хватит ли у нас мужества сказать правду?* — спросил Аристов.

— *Чтобы не быть дураками*, — Булганин призвал сказать партии всю правду о Сталине.

Подводя итоги прениям, Хрущев сказал:

— *Сталин партию уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинял... Надо наметить линию —*

отвести Сталину свое место, почистить плакаты, литературу. Взять Маркса — Ленина. Усилить обстрел культа личности.

Вникая сегодня в эти реплики, не хочется даже рассуждать о тех смыслах, которые в них, хоть и не без труда, но все-таки весьма отчетливо прочитываются. Поражает интеллектуальный уровень высших руководителей страны. Поражает, но не удивляет. Столь примитивный уровень обсуждения ситуации, сложившейся в такой огромной стране, свидетельствует о той степени интеллектуальной и нравственной деградации, которая стала возможной вследствие плебеизации общества (включая его так называемую элиту) после 1917 года.

Уже сам текст доклада Хрущева на XX съезде с научной точки зрения годился разве что как учебное пособие по психоанализу. Заметьте: в названии доклада слово «культ» есть, а Сталина — нет. Даже произнести вслух его имя в самой заявке на тему «мужественному», но тоже пораженному религиозностью по-советски Хрущеву духу не хватило. Как будто его неукоснительно преследовало некое не осознаваемое им самим заклинание. Первый секретарь ЦК КПСС тоже оставался всецело традиционалистом, пускай и традиционалистом уже более продвинутого, «рефлективного», «идеологизированного» типа все того же способа мышления. Даже в тех случаях, когда Хрущев касался, в сущности, наиболее важных проявлений традиционализма, — таких, например, как моноцентризм, авторитаризм, — или вещал о канонизации, сакрализации традиции, он о них не говорил, а проговаривался совсем другими словами. О самом же культе в наиболее обобщенной характеристике доклад утверждал лишь, что он «*превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности*». Это и есть, на мой взгляд, не что иное, как воплощенная паранойя.

То есть проблемы в интересующей нас логической связи: «Сталин — состояние общества — сталинизм», — для Хрущева не существовало и не могло существовать вообще.

В ходе бурного обсуждения доклада во всех партийных организациях (а это по тем временам — 7,2 млн человек) кипели страсти, как и положено в таких случаях, преобладали и всё захлестывали эмоции. И ничего, что хотя бы отдаленно напоминало прояснение коллективного сознания и уж, тем более, сотрясение оснований Системы, конечно, быть не могло.

Система, породившая «культ» и получившая потом название «сталинизм», в докладе Хрущева даже не упоминалась никаким боком и, опять же, по той простой причине, что сталинизм как систему не могли представить себе тогда ни лично Хрущев, ни массовое сознание.

А когда в ходе обсуждения доклада отдельные люди начинали все-таки прозревать и о ней говорить, та же самая Система всем своим «нутром» — пускай снова на уровне интуиции, инстинктом самосохранения — сразу же улавливала угрозу своему существованию. И сурово карала таких «отщепенцев» только за то, что они хоть что-то свое произносили вслух — да еще не с трибуны, а где-то по кухням, по университетским закоулкам или на сеновалах во время выездов на работы в колхоз. Карала жестоко — пятнадцатью годами лагерей с последующим лишением права прописки в Москве

и в крупных городах. Упомяну, например, знаменитое «дело Краснопевцева» на истфаке МГУ, участником которого мог бы стать и сам, окажись я тогда в Москве, а не в Красноярске, куда я на тот момент уехал по распределению.

Что сказать про такое всенародное обсуждение? Что здесь было важнее — единичные прозрения в среде в целом все еще заколдованной общественности или же незамедлительная репрессивная реакция на них все той же, столь же традиционно, как и раньше, ощущающей себя сталинской Системы?

Скорее всего, важным было и то и другое. В любом случае, доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» и особенно его широкое обсуждение в массах превратились все-таки в событие, и именно данное событие — или, лучше сказать, явление — вместе с самим «культом», действительно, не остались без последствий для населения Советского Союза. Напротив, последствия оказались настолько грандиозными, что сам докладчик, вынесший слово «последствия» в название своего доклада, не мог не то чтобы сформулировать их в качестве возможных, — он не мог, опять же, даже их помыслить. Впрочем, не смогли такие последствия помыслить и почти все десятки миллионов людей, которые приняли участие в обсуждении самого «культа» и доклада со словом «последствия» в названии.

В этом-то, пожалуй, и есть грандиозность последствий того самого феномена, который эти самые десятки миллионов обсуждали, а именно: обсуждали они то, что помыслить себе и, тем более, осмыслить оказались не в состоянии.

Иначе говоря, хотим мы того или не хотим, но получается, что первым наиболее важным и заметным *последствием* культа личности Сталина на вторую половину XX столетия стало продолжение в СССР коллективной и массовой неосознанности данного явления даже и после того, когда на него указали пальцем.

На своем XX съезде партия решила, — пускай, повторюсь, скорее, и на уровне интуиции, нежели осмысленно, — пожертвовать именем Сталина ради спасения себя самой и сталинизма как социально-политической и идеологической системы. Подобную жертву в виде имени Сталина все еще зачумленная марксистско-ленинской идеологией советская (и в этом смысле традиционалистская) общественность принимала с трудом и до сих пор воспринимает ее с переменным успехом. В последнее время отношение к Сталину в массовом сознании неуклонно склоняется в сторону улучшения и «рейтинг» его растет, поскольку со спасением сталинизма все, в конце концов, получилось настолько, что он и сегодня у нас все еще живее всех живых.

Получается, что вторым наиболее важным *последствием* культа стало продолжение сталинизма почти до конца XX века по месту его постоянной прописки, а после распада Советского Союза, — даже после распада страны! — стало возможным перемещение и смещение его не только в пространстве, но и в Большом времени. Он перекочевал, пусть и в несколько урезанном виде, в XXI век, в третье тысячелетие. Оказалось вполне возможно продолжение сталинизма не только без самого Сталина, но даже и без его имени. Возможно, даже без некоторых самых что ни на есть родовых признаков, столь характерных для XX века: как, например, ГУЛаг, массовые

расстрелы и аресты, отпавшие вместе с ушедшим веком. Оказалось, что явление, обозначенное и нареченное «сталинизмом», может продолжаться какое-то — и весьма длительное — время вообще без имени собственного и без некоторых давно уже почти сросшихся с ним одеяний вроде, например, «социалистического реализма» или «социалистического государства диктатуры пролетариата».

Впрочем, если ко всему добавить ставшие ныне уже фактом частную собственность, рынок (хотя и с приставкой «вроде бы», но, тем не менее), а также не забыть профицитный бюджет и свободу передвижений, возможность (пусть и ограниченную) критиковать существующие порядки и даже высшую власть и еще многое другое в том же духе, то вполне естественно может возникнуть вопрос: да сталинизм ли еще все это?

В самом деле, если налицо столь важные и многочисленные перемены, — как бы к ним ни относиться аксиологически, — то что же именно говорит о сохранении и продолжении в ныне существующем строе все того же фундаментального содержания, которое делает такой строй по-прежнему сталинизмом?

Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, продолжим сравнение нацизма и сталинизма по таким важнейшим для них вехам, как итоги войны и последствия культа личности Сталина.

6. Мертвые хватают живых

Предпринятая руководством КПСС на XX съезде попытка отделить культ Сталина от собственно сталинской Системы ради спасения этой Системы в среднесрочной перспективе удалась, и по существу сталинизм в Советском Союзе после XX съезда в несколько изменившейся форме продолжался. Тем самым он вписался и в перспективу Большого времени и в качестве определенного типа общественного устройства остался продолжением Русской системы, берущей начало в глубине веков и устоявшей даже в ходе потрясений 1917 года. Вместе с тем, если данную систему рассматривать в перспективе Большого времени как продолжение царизма, то, — и это тоже надо отметить, — после XX съезда определенный сдвиг в пределах самой системы все-таки произошел. Подобный сдвиг, чтобы подчеркнуть суть его направленности, можно определить как сдвиг от «эпохи богов» к «эпохе людей», или, что то же самое, — от традиционализма к современности. Советский культ Сталина, если его рассматривать с такой точки зрения, превращается в частный случай любой канонической культовой системы, — то есть культовой системы как таковой; критика же культа Сталина (особенно в ходе фактически всенародного обсуждения), хотя бы и не вполне осознанная, не выходящая далеко за пределы господствующей идеологии, способствует, тем не менее, дальнейшей десакрализации этой Системы.

Сдвиг в данном направлении произошел, а перехода от одной эпохи к другой и на сей раз не случилось.

Спустя сорок лет после свержения царя в 1917 году произошло очередное действо по десакрализации Системы, которая, однако, превратиться в бескультовую не может в принципе (отсюда и очередной «национальный

лидер» сегодня), — иначе это уже был бы не традиционализм. Безрелигиозной каноничности не бывает. А любые попытки явить ее таковой, как-то ее осовременить неизбежно ведут все дальше к ее деградации, которая, собственно, и просматривается в затянувшихся и ставших посмешищем на весь мир кульбитах нынешней власти с «преемником».

То же просматривается и в перспективе Большого времени, и в ходе сравнения событий в Германии и в Советском Союзе с учетом личностей Гитлера и Сталина, а вместе с тем и в отношении нацизма и сталинизма.

После войны события в двух странах развивались уже в диаметрально противоположных направлениях. Нацизм вместе с культом Гитлера рухнул вследствие поражения в войне и насильственного иностранного вмешательства во внутренние дела Германии. Однако насильственное вмешательство СССР восточные немцы испытали на себе как фактор, значительно отсрочивший приход современности; западные же, оккупированные союзниками по антигитлеровской коалиции, наоборот ощутили невиданное в нормальных условиях ускорение.

Нацизм был сокрушен и уничтожен в результате поражения Германии в войне. Сталинизм же в результате победы СССР над Германией в той же войне еще больше окреп и расширился — за счет стран Восточной Европы (в том числе восточной части Германии), а также за счет ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. Крепчал и расширялся сталинизм и в самом СССР — за счет, главным образом, национализма и антисемитизма. Этот процесс, — хотя, опять же, в весьма своеобразных формах, — продолжается и в современной России.

* * *

После всего сказанного о сравнении гитлеровского нацизма и сталинизма попробуем вернуться к вопросу, поставленному нами в самом начале наших размышлений об особенностях исторической памяти в XX веке: в чем же состоит то общее для обоих режимов, то самое главное, что делает их если не тождественными, то, во всяком случае, сопоставимыми и сходными настолько, что не остается никаких сомнений — это режимы из одного «семейства»?

И вновь ответим: их общее основание — определенный тип человека, порожденный омассовлением, деэлитаризацией планеты и нарушением равновесия между природой и культурой во внутренней структуре индивида и общества. Такой тип — «человек-масса» — всеобщий феномен наступившей эпохи, которая есть не что иное, как эпоха господства масс. «Массовый человек» не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех (хорошего или дурного), чувствует, что он — «точь-в-точь как все остальные», и нисколько этим не огорчен, — наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все.

С наступлением эпохи масс оказалось, что освобождение только от внешних обстоятельств — вовсе еще не гарантия превращения человека в хозяина своей судьбы, а, следовательно, не гарантия освобождения его от внутреннего рабства.

Освобождение от внешних обстоятельств для человека-массы означало лишь одно: эпоха стремления к достижению сменилась для него эпохой удовлетворенности потреблением. Оставаясь по-прежнему внутренне закрепощенным, средний человек, столкнувшийся с некоторым вполне реальным и повсеместным улучшением материальных, социальных и правовых условий, очень быстро уперся в потолок своих желаний. В людском сообществе стали развиваться по нарастающей, — не как рост числа отдельных случаев, а как его системные свойства, — асоциальность, бескультурье и безнравственность, эгоизм и безответственность.

Именно подобные свойства в качестве внутренних скрепов, соединяющих и в то же время разъединяющих людей, заложили мощное основание бесчеловечности, на котором и поднялись такие монстры, как нацизм и сталинизм.

7. Глобализация ненависти

Итак, главная планетарная проблема XX века, которая осталась не осознанной не только на уровне массового сознания, но и на уровне интеллектуальных элит, да так неосознанной и перешла уже в XXI век, — не Холокост и даже не Вторая мировая война, и уж никак не этнические чистки или феномен коллаборационизма. Человечество и прежде знало подобное в избытке, а пропорционально числу живущих случались события никак не менее чудовищные, в том числе — поголовное массовое истребление инородцев или иноверцев. Невольно приходится повторять за Гегелем: «*История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы*».

Главная проблема, — повторю это еще раз, — выход на авансцену политики широких народных масс в качестве субъекта и важнейшего актора. Массы породили весьма разнообразные массовые движения, революции, одержали победы и в результате этих побед утвердили диктатуры в виде большевизма, сталинизма, нацизма и прочих «измов». Они пережили и трагедии победившего большинства. В итоге мир оказался расколот на противоборствующие системы: лагеря, блоки, центры и периферии, — живущие в состоянии невиданной прежде постоянной напряженности.

Для меня сейчас неважно, в чем причина очевидной сосредоточенности западной интеллектуальной элиты на Холокосте. Но, в чем бы ни крылась эта причина, последствия подобной сосредоточенности очевидны. Холокост, — я вновь подчеркиваю это, — в значительной мере заслонил собой главные проблемы столетия. При таком смещении приоритетов вещи глобальные, а именно: особенности массового сознания в XX веке, сущность диктаторских режимов, общие жертвы человечества из-за них, хрупкость и уязвимость всего мироустройства, — превращаются в маргинальные проблемы.

А в чем смысл сосредоточенности на Холокосте? В том, чтобы показать, раскрыть нацизм на примере самого зверского проявления его бесчеловечной сущности, рассмотреть крайний предел человеческого падения режима?

Но то же можно было сделать, не нарушая иерархию причин и следствий в глобальной проблематике, не смещая уровни задач.

Однако для меня лично самое печальное в таком искажении исторического взгляда — не это. Оттеснение сталинизма как такового на задворки не только массового, но научного сознания создает и поддерживает ил-

люзию, что сталинизм целиком и полностью принадлежит прошлому и если еще имеет сегодня какое-то значение, то исключительно как элемент восстановления исторической памяти.

Например, секретарь французской Академии наук Элен Каррер д'Анкосс на международной конференции по истории сталинизма прямо говорит: «*Сталинизм — это тоже какая-то утопия прошлого, которая в головах строится. А нужно строить будущее. И пока люди не освободятся от этой утопии... Все-таки нужно освободиться, потому что никто не может строить будущее в трудные времена, смотря назад*». Мадам Каррер д'Анкосс, таким образом, видит в сталинизме лишь повод для части российского населения ностальгировать по прошедшему, тогда как надо думать о XXI веке, «*который очень... тяжело начинается и будет трудным, по многим причинам — именно потому, что индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран*».

На самом деле проблема как раз в том, что сегодняшняя Россия — это и есть **живой сталинизм**. Он, конечно, значительно изменился по сравнению со сталинскими или даже брежневскими временами: у нас даже вроде бы есть частная собственность и парламент и нет ГУЛага, массовых бессудных арестов и расстрелов. Однако сталинизм у нас сохранился и как общественное устройство, и как тип властвования, и как имперские идеология и политика. Именно в таком сущностном его качестве путинский сталинизм определяет собой внутреннюю и внешнюю политику современной России.

В значительной мере он определяет и общую конфигурацию современного мира, делает ее напряженной и опасной. В этом и есть суть проблемы, затуманенной Холокостом и «внедрением-вытеснением», «памятью-забвением» о сталинских преступлениях.

Суть сталинизма — не преступления, не «репрессии» и не «*государственный террор как системообразующий фактор эпохи*» и даже не только «*государственное насилие*» (как по А. Рогинскому, например). Его «родовая черта», — я вновь и вновь повторяю это, — неприятие, ненависть к любому «Другому», к любой другой субъектности, вплоть до полного уничтожения на практике всего «другого» и «других»: будь то буржуазия, крестьяне, евреи или мировой капитализм. Здесь — его однотипность с нацизмом и прочими «измами» XX века. Вот почему для меня Холокост, как и сталинские «репрессии» (и выдвигаемые в памяти на первый план, и предаваемые забвению), — всего лишь способ (умышленный или неосознанный) затмить в массовом сознании собственно проблему и суть сталинизма вместе с его глубинными причинами.

Холокост, рассматриваемый как определяющая историческая проблема, на русской почве более всего затуманивает взор и мешает увидеть за ним сталинизм как совершенно живую и совершенно реальную опасность **сегодняшней** России. В том же ряду, — то есть как помехи, заслоняющие коренную проблему, — стоят и споры о Голодоморе (геноциде) на Украине, и попытки вытеснить вообще сталинизм на задворки общественного сознания (именно такова сегодня официальная историческая политика в России), и подсчеты прибалтами ущерба, нанесенного оккупантами. Чем именно ученые и политики мотивируют свое уклонение от важнейшей темы — отдельный вопрос, для меня сейчас не столь существенный.

Никто в России не сделал больше, чем «Мемориал», в плане исследовательско-просветительной работы по сталинизму и увековечению памяти его жертв. Заслуживают всяческого уважения публикаторская деятельность этого международного общества и взвешенность основных его выводов и оценок. Тем более досадны отдельные неточности в высказываниях самых авторитетных представителей «Мемориала», например: «*Наиболее специфическая характеристика сталинизма, его родовая черта — это террор как универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач*». Или: «*Сегодня память о сталинизме — это почти всегда память о жертвах, но не о преступлении. В качестве памяти о преступлении она не отрефлексирована, на этот счет консенсуса нет*».

В приведенных высказываниях нет ничего принципиально ошибочного. Они были бы совершенно корректны в соответствующем контексте. Тем не менее здесь кроется неточность: исходя из этих высказываний, можно принять за определение сущности явления то, что таковым не является. Массовые репрессии, государственное насилие и террор, — действительно, специфические и даже сущностные характеристики сталинизма, но все-таки еще не собственно его сущность. Это особенно важно иметь в виду, говоря о сталинизме в современной России. Отсутствие у нас сегодня массовых репрессий и террора совершенно не исключает государственного насилия и иных методов подавлять и уничтожать любую другую, кроме властной, субъектность. И на это, как оказалось, нынешняя сталинская власть по-прежнему вполне способна.

Сталинизм, повторюсь, — по своей сути не только государственное насилие, а, главным образом, — ненависть, агрессия по отношению к «Другому». Это — непрерывная и постоянная всеобщая мобилизация (и мобилизованность) на уничтожение всякого «Другого». И — всепоглощающая и всеобъемлющая практическая деятельность по его уничтожению.

8. Аристократы не духа, но плоти

В массовых движениях XX века проявилась глубинная сущность человека. Этой глубинной сущности, так же, как и особой природе массового сознания и массового поведения, принадлежит особая роль в общественной эволюции. С наступлением эпохи масс социальное в поведении человека приглушается, но резко возрастает значение биологической составляющей. В сущности, как в повседневности, так и, особенно, в массовых движениях начинают преобладать дочеловеческие формы социальности. Обостряется противоречие «природное — культурное», и становятся господствующими (по крайней мере, в иудео-христианской части мира) ценности «общества всеобщего потребления».

Самоновейший — 2008 года — кризис такого общества («ипотечный», «финансовый», «энергетический» etc.), между прочим, дает очень серьезную пищу для раздумий о нашем умении даже не учить исторические уроки, но хотя бы понимать вопросы, которые задает история.

Эпоха масс и массовые движения вызвали к жизни много самых разных коллективных и индивидуальных действий, свойств и проявлений: таких, например, как фанатизм, ненависть, горячие надежды, энтузиазм, не-

терпимость. Все они в определенной обстановке и при определенных условиях мобилизуют могучий приток активности. Все они требуют слепой веры, безусловного подчинения и нерассуждающей преданности.

Особенно мощное объединяющее средство массовости, как отмечали многие исследователи массовых движений, — в частности, Эрик Хоффер, — ненависть: «*Ненависть*, — писал он, — *отрывает и уносит человека от его "Я", он забывает про свое благо и свое будущее и освобождается от мелочей зависти и корысти. Он превращается в безымянную частицу, трепещущую от страстного желания раствориться и слиться с ему подобными в одну кипящую массу*».

То же свойство ненависти, но с несколько иной стороны, со стороны глубинной сущности человека, отметил в свое время Блез Паскаль: «*Человеку хочется быть великим, а он видит, как мал он; ему хочется быть счастливым, а видит, как он несчастлив; ему хочется быть совершенством, а сам он полон недостатков; ему хочется быть любимым и уважаемым всеми, а он своими недостатками вызывает к себе презрение и отвращение. Эта двойственность его положения порождает в нем страсти преступные и несправедливые по отношению к Другим: в нем нарождается жгучая ненависть к горькой для него правде*»[10].

На объединяющем свойстве ненависти основана такая важнейшая черта массовости, как постоянная потребность во враге. Массовость может обходиться без веры в Бога, но без веры в дьявола — никогда. Когда Гитлера спросили: думает ли он, что евреи должны быть истреблены? — он ответил: «*Нет... Тогда нам пришлось бы изобрести еврея. Очень важно иметь конкретного врага, а не только абстрактного*».

Вот почему я считаю очень важным показать, где **не надо** искать то общее, что присуще и сталинизму, и нацизму. Вот почему снова подчеркиваю: общее, то, что определяет сущность двух режимов, — именно ненависть к «Другому» и готовность это «Другое» уничтожать. То есть общим у них является соответствие звериному, докультурному началу в человеке. Потому оба режима и оказались столь близки человеку-массе, столь успешны у него.

«Дьявол», «виноватый», «враг» — только персонификация ненависти к «Другому». Именно в этой ненависти проявляется сущность всех диктаторских режимов, поскольку они, в свою очередь, есть не что иное, как порождение человека-массы и массовых движений.

Категория врага, однако, — действительно системообразующий элемент построения России как государства, как империи, как самодержавия и как сталинизма. В статусе врага состояли у нас в разные времена варяги, «татары», западноевропейцы (*«католические недоверки»*), отдельно — немцы, американцы, евреи, буржуи, кулаки. Уже в наше время поочередно — эстонцы, грузины, латыши, украинцы; сегодня к этой категории отнесены всякие разные «понаехали тут».

Только в XX веке лютая ненависть к очередному врагу (после объединенных врагов славянства и Первой мировой), к «виноватому» царизму

[10] Цит. по: *Хоффер Э.* Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения.

обернулась для России десятками миллионов человеческих жертв. Потом во врагах побывал бывший (до 1941 года) лучший друг СССР — гитлеровский нацизм, что обошлось нам еще в несколько десятков миллионов павших. Затем, когда в 1990-х новой мишенью ненависти стал коммунизм, сменивший царизм в роли «виноватого», результатом стал распад Российской империи под названием СССР.

Однако поиски врагов и государственное воспитание ненависти продолжаются: сегодня в виноватых ходят демократия с демократами и, как всегда, Запад и американский империализм.

В феномене ненависти проявляются отчаянные усилия массового человека избавиться от собственной недостаточности и никчемности. Здесь презрение к самому себе переходит в неприятие и агрессию к «Другому». Ненависть возрождает господство дочеловеческих, инстинктивных форм социальности. В ней, в ненависти, — и глубинная сущность сталинизма.

Иными словами, самая большая беда сегодняшней России и главная причина ее неизбывного сталинизма — в соблазне для большинства наших сограждан сущностные характеристики нашего сталинизма отнести на счет других. И пока каждый из большинства не осознает необходимость и не найдет мужества обнаружить в таких сущностных характеристиках самого себя, сталинизму в России ничто не грозит.

Говорить о биологической составляющей в поведении человека, о роли подсознательного в массовых движениях — труднее всего. Трудно, но совершенно необходимо, поскольку, — повторюсь, — интеллектуальные силы и на Западе, и в России озабочены, в первую очередь, Холокостом, Второй мировой войной, Голодомором, геноцидом, сталинскими «репрессиями» и террором. Поиском виноватых среди недобитых и уцелевших. Поиском свободных мест на скамеечке среди жертв и обделенных...

Я сейчас не говорю о причинах, я констатирую факт: сегодня налицо дезориентация интеллектуальной элиты, в результате чего наиболее острые и самые актуальные проблемы современности задвигаются в исследовательские закоулки и на задворки массового сознания.

Почему же так исключительно трудно освоить идею биологической составляющей современной политики? И почему освоить эту идею так важно для выживания всего человечества? В чем трудность ее вербализации и представления в понятийных категориях?

Я уже цитировал слова Э. Каррер д'Анкосс, произнесенные в декабре 2008 года и называющие самую главную и самую трудную проблему современности: «*Индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран...*». На мой взгляд, это не только совершенно справедливо, но, более того, многие (если не главные) составляющие указанной проблемы уходят корнями именно к тем первопричинам, которые и послужили движущей силой и механизмом глобального омассовления планеты. Слова Э. Каррер д'Анкосс дают ключ к тому, что́ побудило массы выйти на арену мировой истории, и заставляют непосредственно задуматься о природе массового сознания и поведения, о соотношении биологического и социального в массовых феноменах и, наконец, о возможности влиять на них.

Начало XX века в Европе (в какой-то мере и на других континентах) было ознаменовано соединением и переплетением двух совершенно разных по природе и содержанию явлений.

1. Под воздействием известных материальных, психологических и социальных факторов на историческую авансцену вышли широкие массы. В результате перестал существовать аристократизм как необходимое условие любой общественности. Его место заняла масса, а, вместе с тем, *«западная идея*, — по словам русского философа К. Леонтьева, — *сделала из всякого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства*». Все это сопровождалось беспрецедентным возрастанием роли полуобразованного населения планеты.

2. Колоссально расширилась сфера иррационального, а также массовых бессознательных стремлений и инстинктов. В какой-то мере ее расширение стало разноплановой реакцией на мощное наступление разума в предшествующих двух столетиях. В идейном плане Европа «устала» от рационализма XVIII — XIX веков, что выразилось в росте иррационализма и мистицизма — как философском ответе XX века на позитивизм. В познавательном плане реакцией на мощное наступление разума (итогом которого оказалось утверждение позитивизма и марксизма) стала полная смена в начале XX века научной парадигмы: отныне в ней преобладали как наиболее продуктивные идеи относительности, вариативности, дополнительности.

В плане массовой, групповой и индивидуальной психологии наступление разума (некоторые исследователи определяют его даже как *«агрессию разума»*) привело к негативным, с точки зрения общественной стабильности, последствиям — к нарушению равновесия в человеческой психике. В ней, как теперь известно, кроме сознательного «Я», присутствует противостоящее ему «Оно» — сфера бессознательного, неуправляемых животных стремлений, борьбы инстинктов. Это «Оно» и есть главное препятствие для стабильного человеческого общежития.

Но в процессе своего становления человеческое общество выработало структуру, противостоящую бессознательному, — «сверх-Я», средоточие социального в человеке. Расширение на протяжении двух веков сферы разума за счет структур «сверх-Я» — религии, стереотипов морали, традиций — неожиданно обернулось в XX веке не укреплением позиций сознательного «Я», а ураганным распространением бессознательного «Оно».

9 «И вечный бой...»

Вся эпоха «Россия — СССР — Россия», если воспринимать ее в предельно обобщенном виде, а именно: как поиски нашим людским сообществом способов выжить путем стабилизации общественной организации, — есть практическая попытка (в чем-то продуманная, но в целом неосознанная, не отрефлексированная до проникновения в первопричины) обуздать коллективное (можно даже сказать, национальное) бессознательное — это самое «Оно» — за счет расширения сферы «сверх-Я». То есть обуздать стихию природных страстей, буйство животных инстинктов, разгул звериного эгоизма за счет расширения сферы социального. Последнее включило в себя искусственно созданный насилием социум, а также все остальное на-

сильственное (террор, ГУЛаг), идеологическое (как суррогат религиозного), репрессивное (включая всю систему образования), пропагандистское.

И надо сказать, что с такой предельно обобщенной точки зрения, — исходя из выживания данного людского сообщества за счет расширения сферы «сверх-Я», — эта практическая попытка удалась: наше сообщество продолжает существовать. Что же касается неудач и потерь, то их, как оказалось, с точки зрения подобной сверхзадачи — выживания людского сообщества, можно и вообще не принимать в расчет. Или, на худой конец, можно их просто-напросто списать, опять же, по-русски: найти ответ на первый сокровенный русский вопрос «кто виноват?» — и навесить на этого-этих виноватых всю ответственность за все наши беды и прегрешения.

Ну что с того, что потери населения за всю эту эпоху по некоторым подсчетам исчисляются в сто миллионов? Что с того, что территориально Россия (СССР) в 1991 году скукожилась даже больше, чем до России в 1917-м? И потеря более чем двадцати миллионов русских («русскоязычных»), которые сегодня остались за рубежом, — оказывается, тоже ничто по сравнению с выживанием сообщества как такового. Наконец, даже то, что за счет расширения сферы «сверх-Я» произошло в действительности вовсе не обуздание «Оно», а подавление сознательного «Я», — то есть окончательная ликвидация личности в качестве базового элемента субъектности в данном сообществе, — тоже надо отнести к издержкам выживания...

Но тогда оказываются совершенно истинными все многочисленные указания на то, что русский народ — не цель, а средство подобного выживания. В частности, оказывается прав мудрый Мераб Мамардашвили: «*Россия существует не для русских, а посредством русских*».

Так что же представляет собой наше людское сообщество, которое за пятьсот лет существования так ничему и не научилось, кроме как пожирать и калечить само себя во имя выживания?

Известны многие ответы на этот вопрос, которые давали за последние двести лет (после Чаадаева) и в России, и за ее пределами. Но, как правило, в самих таких ответах вопрос о том, что есть Россия, подменяется вопросом о том, какой она должна быть. Русский идеал, оказывается, всегда легче себе представить и, особенно, проще сформулировать, чем определить и назвать русскую реальность.

И не случайно. Если оставить за рамками обсуждения ту грань проблемы, которая относится к науке, к логике и фактам (и мало кого по-настоящему интересует), но оттенить ту ее грань, которая затрагивает сферу нравственности, эмоций, патриотизма (здесь у нас неспециалистов вообще не бывает), то, называя кошку кошкой, заведомо рискуешь в глазах очень многих прослыть, как минимум, реакционером и/или русофобом. О чем свидетельствуют, в частности, отклики на публикацию первой части этой работы в «Новой газете».

Россия как людское сообщество по многим разным причинам, — некоторые из них я назвал, — застряла в начальном периоде борьбы за существование, где-то в самом раннем Средневековье. По социальным меркам наше сообщество абсолютно неспособно к самоорганизации. К тому же оно остается глубоко расколотым и пребывает разными своими составляющи-

ми в совершенно разных эпохах. В интеллектуальном плане мы неспособны к рефлексии и воспринимаем себя и окружающий мир преимущественно на коллективных — подсознательном и бессознательном — уровнях. В сфере духовной — тот же раскол, то же расщепление русского духа между святостью и животными инстинктами.

Когда Элен Каррер д'Анкосс отметила, что *«индустриальный мир уже тонет под весом бедных стран»*, она не сочла нужным уточнить: самим типом своей социальности, ментальности и духовности Россия существенно увеличивает этот *«вес бедных стран»*. Не только своим абсолютным весом, но и своими попытками сплотить этот мир бедных.

Мы в мире бедных — среди своих. И особенно роднит нас с ними патологическая ненависть к Западу. В этой ненависти кроется и общее неприятие любой другой субъектности, и тайное признание своей собственной ущербности: нам хочется иметь и уметь то, чего у самих нет, а сделать самим не получается.

Но ненависть — при всей ее эффективности — плохое и опасное средство для сплочения.

Арсений РОГИНСКИЙ

ЧЕМ СТАЛИН ЖИВ?

Наиболее специфическая характеристика сталинизма, его родовая черта — это террор как универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач. Именно государственное насилие обеспечивало и возможность централизации управления, и разрыв горизонтальных связей, и высокую вертикальную мобильность, и жесткость внедрения идеологии при легкости ее модификации, и большую армию субъектов рабского труда, и многое другое.

Отсюда память о сталинизме — это прежде всего память о государственном терроре как системообразующем факторе эпохи, а также о его связи с процессами и событиями того времени.

Но такова ли память о сталинизме в современной России?

Палачи и жертвы

Сегодня память о сталинизме — это почти всегда память о жертвах, но не о преступлении. В качестве памяти о преступлении она не отрефлексирована, на этот счет консенсуса нет.

Проблема в том, что в правовом смысле массовому сознанию не на что опереться. Нет никакого внятного правового акта, в котором государственный террор был бы назван преступлением. Двух строк в преамбуле к закону 1991 года о реабилитации жертв явно недостаточно. Нет вызывающих хотя бы частичное доверие судебных решений: судебных процессов против участников сталинского террора в новой России не было ни одного.

Но причины не только в этом.

Любое освоение исторических трагедий массовым сознанием базируется на распределении ролей между Добром и Злом и отождествлении себя с одной из ролей. Легче всего отождествить себя с Добром, то есть с невинной жертвой, или, еще лучше, с героической борьбой против Зла. Можно даже отождествить себя со Злом, как это сделали немцы, чтобы от этого Зла отмежеваться: да, это, к несчастью, были мы, — но теперь мы не такие и никогда больше такими не будем.

А что делать нам, живущим в России? В советском терроре крайне сложно разделить палачей и жертв. В памяти о терроре мы не в состоянии распределить главные роли, расставить по местам местоимения «мы» и «они». Эта невозможность отчуждения зла мешает формированию полноценной памяти о терроре, усугубляет ее травматический характер, становится одной из причин вытеснения ее на периферию исторической памяти.

Знакомый профиль

К тому же вместе с последними свидетелями уходит память как личное воспоминание и личное переживание. На смену приходит набор коллективных образов прошлого, формируемых различными социально-культурными механизмами. Не последним из этих механизмов является историческая политика, целенаправленные усилия политической элиты. Такого рода усилия мы наблюдаем уже с 1990-х годов, когда политическая власть стала искать обоснования собственной легитимности в идее дореволюционной Великой России, наследником которой является Россия нынешняя. Однако население не могли полностью удовлетворить те образы, которые ему предлагались: слишком далеко и слишком мало связано с сегодняшним днем. Постепенно и подспудно концепция Великой России прирастала советским периодом, в частности, — сталинской эпохой.

Постъельцинское руководство страны уловило эту готовность к реконструкции прошлого и в полной мере ее использовало. Власть 2000-х хотела предложить согражданам идею великой страны, которая в любые эпохи остается великой и с честью выходит из всех испытаний. Этот образ нужен ей для консолидации населения, для восстановления авторитета государственной власти, для укрепления собственной «вертикали». Но на фоне вновь возникшей панорамы великой державы, сегодня, как и прежде, «окруженной кольцом врагов», проступил усатый профиль великого вождя. Этот результат был неизбежным и закономерным.

Два образа эпохи Сталина вступили в жестко конкурентные отношения друг с другом: образ сталинизма, то есть образ преступного режима, на совести которого десятилетия государственного террора, и образ эпохи славных побед и великих свершений. И, конечно, в первую очередь образ главной победы — в Великой Отечественной. Сегодня память о войне подменена памятью о Победе. Подмена началась сразу после падения Хрущева. А вскоре к концу 1960-х вновь оказалась под запретом — на целых двадцать лет! — память о терроре. Завершилась же подмена только теперь, когда фронтовиков почти не осталось и корректировать коллективный стереотип личными воспоминаниями некому.

Память о Победе без памяти о цене Победы, конечно, не может быть антисталинской. И поэтому она плохо совмещается с памятью о терроре. Эти две памяти вступили в конфликт. Победа — это эпоха Сталина, и террор — это эпоха Сталина. Примирить эти два образа прошлого невозможно, если только не вытеснить один из них, или, по крайней мере, не внести в него серьезные коррективы.

Так и произошло — память о терроре отступила. Она не вовсе исчезла, но оказалась оттесненной на периферию массового сознания.

Знаки и указатели

В этих обстоятельствах удивительно, что память о терроре вообще не превратилась в Великое Национальное Табу, что она все-таки существует и развивается. Механизмов и институций, которые формируют эту память, не так много: памятники и памятные знаки, установленные энергией общественности и местных администраций; Книги памяти, издающиеся в регионах и образующие библиотеку объемом почти 300 томов (общество «Мемориал» разместило в интернете базу данных, которая объединяет данные Книг памяти, пополненные некоторыми данными МВД России и самого «Мемориала», в ней более 2 млн 600 тыс. имен); музеи (по-прежнему нет общенационального музея государственного террора, но тема террора присутствует иногда в экспозициях, а в основном — в фондах около 300 музеев по всей стране); места памяти, связанные с захоронениями жертв.

Телевизионные передачи, посвященные сталинской эпохе, довольно многочисленны и разнообразны, но гламурный просталинский кич вроде сериала «Сталин.live» конкурирует с талантливыми и вполне добросовестными экранизациями Шаламова и Солженицына. Увы, доля тех, кто выбирает «Сталин.live», растет, а тех, кто выбирает Шаламова, падает. Это неудивительно в условиях, когда мировоззрение формируют антизападная риторика и бесконечные заклинания телеполитологов о великой стране, которая со всех сторон окружена врагами, а внутри подрывается «пятой колонной».

Едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом — школьный курс истории. В новых учебниках истории присутствует тема сталинизма как системного явления. Казалось бы — достижение. Но террор выступает там в качестве исторически детерминированного и безальтернативного инструмента решения государственных задач. Эта концепция не исключает сочувствия к жертвам Молоха истории, но категорически не допускает постановки вопроса о преступном характере террора и субъекте этого преступления.

Это не результат установки на идеализацию Сталина. Это естественное побочное следствие решения совсем другой задачи — утверждения идеи заведомой правоты государственной власти, которая выше любых нравственных и юридических оценок, неподсудна по определению, ибо руководствуется государственными интересами, которые выше интересов человека и общества, выше морали и права...

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ

(август — ноябрь 2008 г.)

— Виктор Анатольевич, наше сотрудничество с Вами продолжается уже давно: первый Ваш «Комментарий», опубликованный в нашем журнале, относился к ноябрю — декабрю 2002 года. Представляя читателям новую рубрику, мы торжественно пообещали, что будем публиковать написанные Вами тексты до тех пор, пока существует та телепередача, для которой они написаны, а в случае, если эта телепередача существовать перестанет, мы все-таки будем печатать Вас, пока живы сами. Это было в то время, когда на ТВ-6 еженедельно выходил Ваш «Бесплатный сыр», потом не стало ни «Бесплатного сыра», ни самого шестого канала. Вы ушли на радио, а мы, как и обещали, стали публиковать тексты Вашего «Плавленого сырка». Но теперь вот кончился и «Сырок». Однако жизнь-то продолжается. И «Континент» пока что существует, и Ваше мнение нас интересует по-прежнему. Так что мы свое обещание держим и предлагаем сегодня читателю Ваш «Комментарий» в совершенно новом пока для нас формате — в виде интервью. И первое, о чем мы спросим: почему прекратился «Плавленый сырок»? Связано ли это с каким-то Вашим личным решением или Вас к этому вынудили те самые «события российской жизни», которые Вы комментировали?

— «Плавленый сырок» прекратился, потому что у меня случился кризис жанра. Помните Авессалома Изнуренкова из «Двенадцати стульев»? Того, который выпускал не меньше шестидесяти острот в месяц... Вот я в какой-то момент почувствовал себя таким Изнуренковым. Причем мне было еще тяжелее: мои персонажи все время повторяются, причем самым прискорбным образом: они воруют, убивают, лгут и говорят патриотические пошлости — и ничего пятого, в общем, не делают. А я всякий раз должен был описывать их действия каким-то новым ходом, новой метафорой. У меня кончились метафоры...

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» совсем еще недавно выходил еженедельный «Плавленый сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

— То есть Вам перестало быть смешно?

— Не в этом даже дело... Все стало, как бы это поточнее выразиться, — предсказуемо. История, как предупреждал Салтыков-Щедрин, закончила течение свое. *Они* укрепились у власти насовсем (в рамках малого исторического времени, разумеется)... Все-таки ельцинское время было очень динамичным: что-то менялось, мы куда-то шли, пытались понять, куда... Пытались участвовать. Это был сюжет, где на уровне второго акта еще совершенно непонятно, что будет в четвертом. Но вот мы благополучно дожили до пятого акта этой пьесы, и драматургия стала буксовать, потому что, собственно говоря, на Путине *эта* пьеса закончилась. Пьеса о новой русской демократии, начавшаяся горбачевской перестройкой, ко второму путинскому сроку со всей очевидностью закончилась.

— Такая немая сцена, как у Гоголя?

— Ну, она не очень-то немая: там стреляют, здесь сажают, тут рожают в тюрьмах... Хотя все это, в самом деле, при полной общественной немоте. Но, если нагружать гоголевскую метафору, то в роли того самого внезапно нагрянувшего чиновника из Петербурга у нас выступил финансовый кризис.

Возвращаясь к «Плавленому сырку»... Я ушел и, видимо, правильно сделал, потому что, — и сам уже замечал, и добрые люди говорили, — стало больше желчи, чем смеха. Ну, время от времени какой-нибудь дурак выскочит, сморозит приятную глупость, выдаст на-гора какой-нибудь милый идиотизм... Но в остальном — сплошные повторы из лжи и жестокости. У меня даже была идея, — абсолютно постмодернистская, — уходя из «Сырка», оставить для тех, кого интересует, что я думаю о происходящем, нечто вроде предметного указателя. Заговорят снова про «патриотическое воспитание», начнут в очередной раз учить нас Родину любить, — см. программу такую-то от такого-то числа. (Потому что я пятнадцать раз уже комментировал все эти комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, эту «заботу о нравственности»... Пятнадцатью метафорами, пятнадцатью способами про все это писал — и уже не могу искать шестнадцатую метафору на этот пыльный идиотизм.) Новая дружба с чавесами-«хамасами»? Прочая внешняя политика, полностью состоящая из попыток подложить какашку Соединенным Штатам (другого счастья мы не завели себе), — смотри программы от такого-то числа тогда-то и тогда-то... Борьба с коррупцией? Первые десять комиссий по борьбе с коррупцией были при Ельцине, и я уже тогда все про это сказал.

Комментировать всякий чих ныне здравствующей администрации я больше не считаю возможным. Я занимался этим восемь лет — и все про них сказал, во всех возможных интонациях: от легкой иронии в случае с рулетом «Путин» до комментария по Беслану. После Беслана «Сырок» особенно уже и не возможен. «Итого» ельцинских времен, злое, но веселое, — уже невозможно. Как кто-то сказал, что после Аушвица нельзя писать стихи, — так после Беслана уже невозможно идти вприсядку... Крик «пропадите вы пропадом!» не является художественно оправданным, а ничего

другого *про них* из горла уже не идет. Потому что надо же различать ельцинскую «разлюли-малину» и этот холодный расстрел детей — только ради того, чтобы твой политический оппонент не вернулся в политику. А в случае с Бесланом эта причинно-следственная связь для меня ясна абсолютно... В общем, с «Плавлеными сырками» я покончил; время от времени публикую что-то в журнале «The New Times» и в Интернет-ресурсе «Ежедневный журнал» — что называется «на случай». Но все-таки эта необходимость «шутить на скорость»... я ее отставил и занимаюсь другим.

Надо двигаться в сторону более общих выводов, — от этого будет больше пользы, чем от того, что я в пятнадцатый раз разбегусь и ударю лысеющей головой в Спасские ворота... Надо бить не по мишеням, а по площадям — говорить про наш менталитет, про нашу историю... Нужен нормальный учебник истории для детей, нужно осмысление того, что с нами происходит.

— Осмыслить Имя России?..

— Вот именно: имя России. А главное — отчество, потому что с отцами, знаете ли, бывают проблемы... Отцовство надо бы уточнить.

— А не кажется ли Вам, что нынешний официозный проект «Имя России» очень показателен для нашей страны?

— Там очень многое сошлось. Во-первых, отчетливо проявился жульнический характер власти: она как в крупных вещах жулик, так же точно и в мелочах. Сами правила конкурса были жульническими — когда один человек по телефону или в интернете мог голосовать сколько угодно раз; когда, в зависимости от политики партии и правительства, одних претендентов «накачивали», других «гасили»... Мелкое пошлое жульничество... Интернетчики проводили чистый опыт: сколько-то человек, сговорившись, одновременно проголосовали за кого-то одного и смотрели результаты (там же результаты показаны онлайн): ничего не изменилось. Это было, как наши выборы: «имя России» выбирали так же, как Путина с Медведевым. Такой же чуровский цирк: кто надо, подрастет процентом; кто не надо — не подрастет.

Это одна сторона дела — жульническая. Другая сторона дела, увы, — реальная: это наша ментальность, довольно прискорбная. У меня был такой стишок — с эпиграфом из Бродского «Я был в Мексике, взбирался на пирамиды...». Я тоже был в Мексике... Написано сие задолго до этого конкурса «Имя России» и звучит так:

В стране, где древние ацтеки
На обалденном солнцепеке
Друг друга резали, чтоб боги
Им обеспечили рассвет,
Есть море имени Кортеса,
Который, очищая кассу
Земли, сюда приплыл без визы
И свел их численность на нет.

Ацтеки, называя море
В честь этой, прямо скажем, твари,
В виду, мне кажется, имели
Простые нравы здешних мест:
У нас, ацтеков, крика «браво!»
Достойны жившие кроваво,
И чем масштабнее расправа,
Тем симпатичнее Кортес.

Мы исправно голосуем за кровопийц: Иван Грозный, Петр I, Сталин, Ленин, Путин... Непременно за кровопийц! Пушкин, Пирогов, академик Вернадский, Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков — както не котируются... Нам кровопийцу подавай, который поднял на дыбы, переделал, переломал хребет, пенделя дал, — чтоб все кругом боялись, чтобы сами кровавой юшкой захлебывались. Вот это по-нашему, это уже безо всякой подтасовки! У нас в первой десятке — человек семь кровопийц всегда! Трое вегетарианцев по недоразумению могут попасть, а кровопийцы — гарантировано. Это наши представления об исторической фигуре, — чтобы не стыдно было перед другими народами. Ну, справедливости ради надо сказать, у них тоже есть, кем в этом смысле похвастаться, но пропорция несколько другая. У нас же вообще шизофреническая страна... Я уже не говорю, что мы с вами беседуем в городе, где есть проспект Сахарова и проспект Андропова, — а это, как ни крути, можно считать тяжелым случаем шизофрении (это как если бы в Берлине были бы улица Брехта и улица Геббельса... Все-таки, по-моему, либо одно, либо другое)...

— У нас есть и более изумительные примеры: вот проспект Победы в Грозном теперь переименован в проспект Путина...

— Нет, тут-то все логично. Тут все пошлее и проще: почему не назвать проспект именем Путина, если называющему точно известно, что ему от этого хуже не будет? Вот, знаете, сейчас в газетах дают объявления: «Требуются девушки б/к» — *без комплексов*, это так теперь называется. Бывают девушки б/к. Бывают юноши б/к. Кадыров — как раз юноша б/к: он без комплексов. То, что вы поморщитесь и скажете «фу», и миллионы людей скажут «фу», и даже те, кто хорошо относятся к Путину, скажут: «Ну перебор, ну нельзя так», — Рамзана Кадырова это, как говорится, не скребет! Он точно знает: ему от такого переименования хуже не будет. Он еще одной веревочкой себя связал с Владимиром Владимировичем, от которого зависит его жизнь (зависит — в буквальном смысле). Потому что, как только федеральные штыки, на которых он пришел к власти, уйдут из Чечни, как только он останется один на один с другими тейпами, его немедленно мелко нарежут. Именно не крупно, а мелко, поскольку тейпов — двенадцать, и это будет история ровно из Агаты Кристи: каждый по разу и ударит...

— Но если Кадыров испытывает такое почтение к Владимиру Владимировичу, как же это сочетается с возможностью явиться к нему в тренировочном костюме?

— Во-первых, по простоте. А во-вторых, никакого уважения к Владимиру Владимировичу нет. Кадыров просто понимает, что Владимир Владимирович увяз в этом болоте навсегда. Альтернативой Кадырову для Владимира Владимировича были переговоры с Масхадовым. С последним человеком, с которым в Чечне можно было переговариваться. Это был последний *политический* противник — наш Махмуд Аббас, если брать израильскую аналогию. Израильтяне многие годы искали среди палестинцев человека, с которым можно было бы вести переговоры, — чтобы был не убийца, как Арафат, а политик. Политик-оппонент, политик-противник, но политик! Человек, с которым имеет смысл договариваться. Потому что договариваться с Арафатом — все равно, что договариваться с Басаевым: он скажет все что угодно, а потом сделает, как он захочет, потому что он бандит и не заинтересован в мире! Масхадов же был последним *политиком*. Был Дудаев и был Масхадов — оппоненты-политики, мы обоих уничтожили своими руками. Теперь имеем дело с уголовниками — и с одной стороны, и с другой стороны. Кадыров — Умаров. Приехали. Так что Кадыров прекрасно понимает, что Путину от него теперь деваться некуда. Чеченизация конфликта произведена, власть как бы сказала: «решайте всё сами — мы отвернулись; режьте головы, делайте что хотите, — замиряйте Чечню своими силами, лишь бы наружу не выходило». Считать ли это прагматически верным? Не уверен: «чечня» уже так перекинулась на весь Кавказ... Но в любом случае Путин и Кадыров — сиамские близнецы: им друг без друга не жить, умрет первый — умрет и второй. И ясно, что Кадыров будет привязывать себя к Путину всеми возможными способами (не именем же Медведева называть проспекты). А осуждать это... Ну, осуждать Кадырова и вообще прикладывать к нему какие-либо человеческие мерки — даже как-то странно... Кадыров он Кадыров и есть. А вот то, что общество это проглотило, — ну, так оно чего только не проглотило за это время!

— Но, может быть, просто на Кавказе такие широкие жесты, как переименование улиц, проходят скорее, чем где бы то ни было? Все-таки кавказцам всегда были свойственны некоторые преувеличенные движения, славословия, тосты... Или Кавказ Кавказу рознь?

— Как я понимаю, таким образом вы хотите перевести разговор на тему Грузии... В самом деле, хотя Чечня и Грузия по карте находятся рядышком, но дистанция между ними — и историческая, и культурная — огромна.

В Грузии случилась беда. Не в первый раз за последние годы. Тут не надо было быть большим пророком... Когда я впервые увидел глаза господина Саакашвили, я вспомнил, как впервые увидел глаза господина Гамсахурдиа в 90-м году... Тогда мой приятель, грузин, был в полном восторге: приходит сын диссидента, теперь будет свободная Грузия, — а я ничего про это не понимал, про свободную Грузию, я только в глаза заглянул... Это были глаза нездорового человека. Блеск такой был в глазу... нездоровый. Помните, у Высоцкого: «Настоящих буйных мало, — вот и нету вожаков»... Это вот как раз настоящие буйные. И я когда увидел Саакашвили, я вспомнил Гамсахурдиа: там в глазу вот такой был блеск. Там преобразование мира

в глазу! Желание войти в историю. А в историю входят, как правило, по колено в крови. Это для политического деятеля самый легкий способ войти в историю... И если это не останавливает... Есть люди, которых немедленно останавливает — просто по расположению приоритетов... Этим — историческими фигурами не стать! А есть такие, которым от крови только драйв: а ничё! тысячей больше — тысячей меньше...

С Грузией беда, но грузинскую беду пусть избывают грузины... Кстати, они ее избудут, — и скоро там не будет никакого Саакашвили, как не было бы никакого Дудаева, если бы мы не полезли в Чечню с танками в девяносто четвертом, немедленно превратив его в национального героя. Вот ровно то же самое делает Саакашвили: укрепляет свой рейтинг, подпирая его нашим имперским идиотизмом. Но его в Грузии не будет, раньше или позже... Дело в том, что в Грузии — в отличие от России — идет политический процесс. Там есть политическая жизнь.

А нам пристойнее говорить о нашей беде и наших интересах. А наш интерес какой? Я говорю «наш», имея в виду россиян. Этот интерес противоположен боевым интересам администрации. Это ж надо — умудриться отрезать от России Грузию!.. Это же такая часть русской культуры навсегда, — начиная с Пушкина! Человек, не любящий Грузию, с моей точки зрения, вообще не может считаться в достаточной степени русским человеком. Нас связывает пуповина такой толщины — от Пушкина через Пастернака и Мандельштама до Софико Чиаурели и Давида Иоселиани. Ну это просто... Это же мы и есть! Резо Габриадзе, Георгий Данелия... Немыслимо! Умудриться так нахамить, так оскорбить, столько мерзостей сделать! А вы говорите: «Плавленый сырок»! Как тут можно шутить?! Задыхаешься от этого...

Прискорбная, конечно, способность народа немедленно рвануть в ту сторону, в которую укажет начальство... Прямо по Некрасову: что ему книга последняя скажет, то ему в голову камнем и ляжет... Только вместо той книги — центральные каналы телевидения. Замеры «Левада-центра» дают впечатляющую картину. Спрашивали: кто главные враги России? — и получали ответы в соответствии с последней программой «Время». Вчера было про бронзового солдата, — эстонцы главные враги России; сегодня говорили про грузинскую мафию в Москве, — грузины главные враги. Как-то неловко даже... Я не говорю уже о моральной стороне проблемы, но... Ты карту видел? Ты найди сначала на карте Эстонию... Хорошенького врага нашла себе Россия, по размеру! Это даже с имперской точки зрения унизительно... Вся эта убогость — следствие нашего добровольного падения в ноги начальству: мы отдали *им* свою жизнь (иногда в буквальном смысле, чаще — в переносном). Вот *они* от нашего имени и делают все, что хотят.

А интересы — что Саакашвили, что Путина — понятны и совершенно симметричны. Эти двое должны по ночам тайно встречаться и целоваться взасос: они друг другу абсолютно необходимы! Путин обеспечивает высокий рейтинг Саакашвили — и ту бесконечную борьбу с русским империализмом, на которой он, собственно, и держится. Симметричным образом бедный закомплексованный Владимир Владимирович и вся наша военизированная администрация имеют удобного врага, которому можно во всякое время накостылять. Со Штатами-то ничего сделать не можем, — ну, проле-

тим исподтишка над Шестым флотом и потом неделю рассказываем, что Россия поднялась с колен и вернула свое влияние в акватории Тихого океана... А США пожимают плечами в недоумении, просто потому что мы давно не представляем никакой угрозы. Все это для домашнего пользования — все эти барражирования над Арктикой, пролеты над Шестым флотом, торговля с Венесуэлой... Это все хорошо для программы «Время» и программы «Вести» — как свидетельство нашего поднимания с колен. Мы ничего не можем сделать со Штатами: несопоставимые военные бюджеты, несопоставимое качество армии. Как мы воевали в Чечне и как мы продолжаем воевать — завшивленные солдаты, нереорганизованная и слабо организованная армия...

Но на Грузии мы можем оттянуться всласть, это нам по размеру, вот это да — победили! И огромный патриотический подъем. В этом смысле провокатору Путину параноик Саакашвили пришелся очень кстати. Если же говорить о наших интересах, то в наших интересах, конечно, чтобы и параноик, и провокатор провалились куда-нибудь в тартарары. Но сами они никуда не провалятся. Над этим надо работать. Грузины свою часть работы делают: их параноик в обозримом будущем уйдет. А у нашего только крепнет рейтинг.

Но, с моей точки зрения, нет ни отдельной грузинской проблемы, ни отдельной чеченской, — есть российская проблема, которая заключается в том, что у нас давно нет публичной политики и общественной жизни. Нет системы шестеренок — демократического механизма ограничения власти, где первую власть ограничивает вторая, где есть судебная власть, которая не позволяет им обеим пойти в разнос, и есть четвертая власть, которая фокусирует проблемы, и есть система свободных выборов, которая иногда меняет направление движения всех этих колес. Эта сложная система у нас не работает: она демонтирована; колеса либо стоят, либо крутятся вхолостую. Ведь вся эта система шестеренок хороша, когда колеса цепляют друг друга, — тогда энергия передается. А у нас есть остатки прессы: вы можете что-то написать в «Континенте», я — сказать по «Эху Москвы»... Но поскольку нет выборов и нет политической жизни, нет партий, нет парламента, то все это так булькает в этом чайнике, а дальше никуда не передается. Изолированный сосуд — в этом проблема. А снаружи — то монетизация, то Грузия, то Чечня, то еще что-то... То есть на выходе — идиотское или преступное решение проблем, абсолютно никак не контролируемое обществом. Вот и вспухает то там, то сям...

История с Грузией на фоне всего остального характерна еще тем, что мы сломали правила игры. Раньше мы их нарушали, но так... стыдливо. Да, мы все время провоцировали, наши самолеты летали над грузинской территорией, — но хотя бы врали, не признавались... Делали вид, что живем по законам. Оговаривались, что демократия у нас — суверенная, что есть какие-то особенности, но, в общем, хотя бы делали вид... В августе мы сказали: «Всё, ребята, хорош! Право сильного. Суверенитет — не суверенитет... Плевать. Чужая территория? Ну, чужая. А чего вы нам сделаете?» Мы сломали правила игры, и это поступок с очень серьезными и долгоиграющими последствиями...

— Разве? Но ведь мы как будто остаемся справедливыми и добрыми — хотя бы в собственных глазах. Мы же защищали бедных осетин, которые попали в заложники и к Грузии, и к России, потому что их так поделили еще в советское время.

— Вы забыли еще сказать, что они попали в заложники к Кокойты... Ну, хорошо, давайте поговорим об Осетии. Но сначала выясним, чего Россия там хотела, потому что любой вопрос начинается с целеполагания. И если мы обозначаем наше целеполагание как «гуманитарно-травоядное» — как защиту прав граждан Южной Осетии, — то следует признать, что Российская Федерация эту задачу не решила. Она не справилась с функцией миротворца, она допустила войну; огромные бюджетные миллионы, которые были закачаны в оборону Южной Осетии, уплыли в неизвестном направлении, Кокойты попросту бежал в Джаву с первыми звуками агрессии. Сопротивление не было организовано. Разведка проспала, оборона проспала, средства разворованы... Мы подставили жителей Цхинвали под агрессию Саакашвили, — это если говорить не о риторике, а о практической стороне вопроса.

Второе. Россия много лет провоцировала Грузию на эту агрессию. Летали над ней истребителями, вводили в Абхазию железнодорожные войска, закачивали в сепаратистов деньги и кадры. Из кого состоит правительство независимой Южной Осетии вы знаете, я надеюсь? — Это всё офицеры нашей госбезопасности. Там осетин еще поискать (и не найти). Значит, не надо валять дурака, задача была — свержение Саакашвили; задача военная и провокационная с самого начала. Мы искали повод начать войну с Грузией. То, что Саакашвили оказался неадекватным человеком, который повелся на эти провокации, — другая сторона вопроса. Пусть меру его адекватности оценивают грузины, — мы сейчас говорим о нашем целеполагании. Мы изо дня в день, много лет занимались провокацией. Мы провоцировали и допровоцировались. Южная Осетия и ее граждане были разменной картой в этой абсолютно имперской игре. Защита интересов? В такой же степени, в какой Гитлер защищал интересы судецких немцев. Ровно так же мы защитили интересы граждан Южной Осетии. Мы их *использовали*, по-русски говоря.

— Значит, получается, что война закончилась поражением России, то есть задача не решена: режим в Грузии остался прежним...

— О каких задачах и интересах России тут может идти речь? Об интересах Лужкова, который получил большую строительную площадку в Абхазии для гражданки Батуриной? Об интересах наших военных, которые под это дело еще поднакачались финансированием и политическим весом? Об интересах Путина, который благодаря этой войне показал, *кто в доме хозяин*? Они все победили. А то, что сотни людей погибли, — ну погибли и погибли... Когда мы говорим «Россия», то по старой традиции путаем администрацию с государством, а государство с народом. Давайте разделим эти понятия и констатируем: Путин победил, военщина победила, силовая часть правительства победила, ворье всевозможное победило... Кокойты победил, — потому

что из мелкого регионального царька превратился в серьезную политическую фигуру, которая имеет уже возможность торговаться на геополитическом уровне. Эти все выиграли. Включая Саакашвили, мгновенно превратившегося в героя Грузии и жертву имперских амбиций России. Что же касается России, она сама себя пинком выбросила из европейских дверей. Что касается Осетии, она как есть, так и осталась нищей разменной монетой, и, разумеется, никто ее не признáет, кроме пары экзотических персонажей, вроде Ортеги и Чавеса. Так что получается, что в этой войне все граждане и все народы — проиграли, зато все руководители — выиграли.

Давайте говорить о целеполагании дальше. Спросим себя: чего мы хотим? Если мы хотим защиты прав граждан, то есть чтобы, скажем, в Осетии, или в Абхазии, или в Крыму люди имели возможность учиться в русских школах, говорить по-русски, ездить безвизово в Россию; если мы хотим, чтоб были защищены их политические, экономические, социальные интересы, — для этого не надо бомбить. В Европе все это давно решается цивилизованным путем. Вот вам швейцарские кантоны: тут говорят по-итальянски, тут — по-немецки, тут — по-французски... Анклавы по всей Европе: тут румынский язык в Венгрии, там венгерский в Чехии... И как-то обходятся без бомбометания. Это решается политическими инструментами — договорами, особыми статусами территорий, взаимными уступками.... Это — если ставить задачу действительно защитить права граждан.

В том варианте, который осуществили мы, все висят на ниточке, в полной зависимости от военщины, от того или другого состояния мировой политики. Ясно, что эта мина сдетонирует, ясно, что грузины не простят. Ясно, что Осетия не будет признана и что это будет ущербное образование... Эта мина ждет своего часа и взорвется непременно... при Путине, не при Путине — второй вопрос. А Путину надо было решить ряд личных политических вопросов, и он их решил. Поздравим Путина.

Россия в этой истории проиграла. Осетия проиграла. Номенклатурное ворье разворовывало республику так, что в Цхинвали не работал водопровод... До всякой агрессии не работал! А знаете, чем объясняли? — Правильно, происками Грузии! Разворовано было все. Счет закачивания средств в Осетию шел на миллионы. Полмиллиарда рублей было выделено Кокойты только на оборону. Где была эта оборона? Где был этот Кокойты? Осетины многие годы жили в унижении, надеялись на Россию-миротворца, а получили ужас настоящей войны. И вся послевоенная помощь вылилась в баннеры с бантиками «Осетия, мы с тобой!» на фоне нового воровства...

— Но война всегда все списывает, это известно...

— Да, но только войны бывают разные! Эта была абсолютно, сознательно рукотворная — с обеих сторон. Я больше говорю о *нашей* ответственности, потому что говорим про Россию, а, во-вторых, потому что грузинская часть проблемы решается: там идет политическая жизнь, там есть кому публично проанализировать ситуацию и предъявить счет Саакашвили. Я не вижу у нас Буржанадзе. Ни мужчины, ни женщины, никого наверху, кто бы внятно сказал народу, что администрация привела страну к катастрофе.

— Но почему у нас нет людей? Куда же они подевались? Ведь они были — можно перечислять и перечислять. Люди предприимчивые, умные, принципиальные, национально ответственные, горячо неравнодушные ко всему, что происходит в стране. Сходу на ум приходит целый ряд имен. Достаточно назвать хотя бы Анну Политковскую, Николая Гиренко или Михаила Ходорковского... А заодно, наверное, самое время вспомнить и Светлану Бахмину, которая, как сообщили по радио «Свобода», вчера благополучно родила в тюрьме девочку...

Да, есть ощущение подавленности. *Мы* очевидно проиграли на сегодня. В истории не бывает двойной тактовой черты, как в музыке, история не заканчивается, всегда что-то куда-то течет дальше, — но этот сюжет мы проиграли. Большой двадцатилетний оборот колеса привел к дискредитации демократических институтов. Привел к огромной усталости... Взлеты энергии на рубеже 80-х и 90-х вылились в эту усталость: никакое общество не может жить так все время. Это как таблетку «экстази» выпить: ты можешь протанцевать всю ночь, но потом ляжешь пластом и у тебя не будет сил встать на ноги... Обезвоживание. Мы были абсолютно неопытны политически, — полагаю, что у многих, а не только у меня, было впечатление, когда мы победили в августе 91-го, что теперь можно, что называется, отдохнуть: мы победили! Мысль о том, что демократия — это ежедневный труд, что с разрушения Бастилии все только начинается, что нужен ежедневный контроль, ежедневное развитие институтов, ежедневное настаивание на своем и дрессировка власти, — до такого понимания нам было далеко...

У Европы все-таки имелась пара столетий на отработку всего этого, да и то бывали сбои, и какие! Но тем не менее. У нас это в голову никому не приходило. То есть приходило, наверное, кому-то умному... Мне — не приходило. Было совершенно эйфорическое чувство. Я помню рассуждения о кризисе сатиры: *этих* критиковать вроде как-то нехорошо... Ну пьющие, ну дураковатые, ну вороватые, но всё лучше, чем коммунисты... Что же я буду сейчас Зюганову на мельницу воду лить?

И профукали. Не заметили, как из августа 91-го вырос октябрь 93-го, а вырос-то ровно потому, что мы все расслабились. Про 1992 год никто и не вспомнит, чего там было-то? — как в вену ширнулись. Отдыхали после победы.

Сегодняшнее «сегодня» — оно оттуда. Так и понеслось далее со всеми остановками, и не общество ограничивало власть, а власть постепенно, пошагово, ограничивала общество. Все это закончилось огромной усталостью — от несостоявшихся толком реформ, от всего этого политического беспокойства... Народ снова захотел в детский садик: закрыть глазки, и чтобы сказку рассказали. Чтоб все было хорошо, и мы были самые сильные и хорошие. Эта инфантильность стала реакцией на десятилетие идеологических баррикад. Невозможно все время идти на баррикады, — для этого надо быть Новодворской. Миллионы способны выйти на баррикады один раз, когда подопрет, но ходить как на работу... Сегодня как общество мы совершенно парализованы...

— Вы говорите «нет тактовой черты», то есть Вы надеетесь, что мы еще увидим, как интерес к демократическим ценностям в России возродится?

— А это вообще ложь, что демократические ценности не нужны. Я думаю, что миллионов тридцать — сорок россиян кровно заинтересованы в развитии демократических ценностей. На самом-то деле — еще больше, но тридцать-сорок миллионов могли бы даже понять это! В этом и парадокс. Нужна правильная постановка вопроса. А то спрашивают в ток-шоу у Максима Шевченко: «Нужна ли России западная демократия?» Ответ: «Нет, не нужна» — восемьдесят с лишним процентов. А сама формулировка вопроса подлая, потому что демократия — западная по определению. Порох — китайский, харакири — японское, багет — французский, а демократия — западная. Она придумана там, как колесо придумано у инков. Но какая разница, кто придумал колесо, — главное, что оно прекрасно работает в любых широтах! Так вот, если тех же самых молодых людей, которые уверенно отвечают, что им не нужна западная демократия, спросить: «У тебя какие планы на отпуск, девочка? В Анталию, на пару недель? Отлично. И что, вот так, без "треугольника": партком-профком-комсомольская организация... — сама купила билет и полетела? И ты хочешь, чтоб у тебя был интернет? И ты хочешь читать, что ты хочешь? И ты хочешь дружить, с кем ты хочешь? И ты хочешь носить, что ты хочешь? Так я тебя поздравляю, девочка: ты — сторонник либеральных западных ценностей! И ты хочешь ездить на иномарке, а не на жигуле по битой дороге? И ты не хочешь, чтоб твоего мальчика взяли в армию и вернули без ног и яиц, да? Не хочешь? Поздравляю тебя: ты — за либеральные ценности! Ты не хочешь, чтобы тебя избивали в ментовке? Ты против хама-мента — или ты против западных ценностей? Ты выбирай! Потому что хамский мент, который тебя унижает, и хамский бюрократ, который мурыжит сутки в очереди у окошка твою маму, вымогая взятку, — это результат отсутствия либеральных ценностей».

Но связь между либеральными ценностями и собственной жизнью, безопасностью и достоинством — эта связь не очевидна. Ее можно проявить, но для этого на первом канале нужен не Шевченко, а кто-то другой, который объяснял бы именно это, а не то, что вокруг враги, а мы герои и на последнем рубеже защищаем нашу загадочную, имманентно присущую нам духовность... Вопрос о нашей духовности исчерпывается случаем с Бахминой: беременную не можем из тюрьмы выпустить! И при этом всех учим.

В этом и штука. Что Бахмина, что Грузия — это же не разные темы! Это всё одна тема, один общий больной вопрос. Знаете, как в том анекдоте: «Ой доктор, у меня все тело болит, куда пальцем ни ткну, мне больно!» — «Голубчик, у вас палец сломан». Так и тут: куда ни ткни, больно по одной и той же причине: отсутствует гражданский контроль за властью.

Конечно, зазор между обществом и властью есть всегда, в любой стране, — даже в Норвегии какой-нибудь. Всегда есть зазор интересов. Только в Норвегии эти интересы расходятся под небольшим углом, а в Зимбабве — под 180 градусов. Мы ближе к Зимбабве, и у нас противоположные интересы с нашей администрацией: что на пользу администрации, не на пользу

народу, и наоборот. Никто эту администрацию не выбирал, поэтому никакой связи и нет.

На Западе тоже свои тараканы, но каковы бы ни были Буш или Саркази, каждый точно знает, что будут свободные выборы, и ты подотчетен закону и обществу...

— Вы говорите: их никто не выбирал. Но в начале нашего разговора Вы сказали, что, если бы и выбирали, все равно бы выбрали их. Ведь это Ваши слова: «мы исправно голосуем за кровопийц»...

— Нет, менталитет менталитетом... Его можно менять помаленьку, и это отражается на результатах голосования. Но то, что проходило у нас под названием «выборы», выборами не являлось. Это было очередное само-переназначение начальства. Начальство оставило себя у власти, как оставили себя у власти Каримов, Лукашенко, Роберт Мугабе, Ким Чер Ин, Муамар Кадафи, — там ведь тоже есть какие-то процедуры, которые тоже называются выборами. Но если мы под выборами имеем в виду тот демократический механизм, который только что наблюдали в Америке, — с равными возможностями агитации, с возможностью критиковать власть и говорить об острых проблемах, с абсолютно стерильным поведением уходящего президента (я это наблюдал и во Франции с Шираком, и сейчас с Бушем), — если под выборами понимать всё это, то у нас, конечно, никаких выборов и в помине не было.

— Но выборы — дело уже давнее. У нас же — комментарий к совсем недавним событиям. И одно из таких — обещание президента Медведева разместить «Искандеры» в Калининградской области....

— Ну, все это уже рассосалось само собой. Ситуация очень показательная для России: глава государства сморозил глупость — просто глупость, во всех смыслах, — и ему сошло... А то, что это была именно глупость, неясно только зрителям программы «Вести». Потому что этих «Искандеров» у нас: a) нету, b) они не долетают из Калининграда до польских противоракет, c) вообще имеют смысл только в случае превентивного ядерного удара, — то есть только в том случае, если мы сами собираемся начать Третью и последнюю мировую войну. Ни в каком другом случае они пригодиться не могут. Не говоря уже о том, что польские противоракеты смотрят на Иран и ядерного паритета между Россией и США не нарушают. У меня в передаче на радио «Свобода» был военный эксперт генерал-майор Владимир Дворкин, и он подтвердил очевидное: когда наши ракеты полетят из Ивановской области через Северный полюс, польские противоракеты их не догонят и в лучшем случае собьют одну из трех сотен наших ядерных боеголовок... То есть на последующий конец света это никак не повлияет, вообще!

«Чтоб дурость каждого видна была» сказано было у Петра. Для этого в свободных странах существует свободная пресса и оппозиция. У нас ничего этого нет, и президент морозит публично опасную глупость (ибо ядерный шантаж США ничем другим не является). Все поют осанну, потом он

дает задний ход, и все всё забывают... А Медведев дал задний ход, потому что этот шантаж: уберите ракеты, или мы поставим «Искандеры», — не удался. В администрации США пожали плечами, потому что, в отличие от нашего населения с лапшой на ушах, там прекрасно понимают, что все это — блеф. Они пожали плечами, и Медведев немедленно сделал хорошую мину при плохой игре и сдал назад. Идиотизм, но сам факт возможности этого безнаказанного идиотизма дает представление о степени нашей связи с реальностью.

— А если мы все-таки способны метнуть какую-нибудь бомбу? Что она у нас уже пятьдесят лет зря пылится только...

— Для того, чтобы сумасшедшего боялись, надо, чтобы верили, что он сумасшедший. Суслова боялись, Андропова боялись, потому что понимали, что они уже синильные, и, как поется в русской частушке, «дедушка старый, ему все равно»... Эти были люди идеологически заточенные: они способны были и нажать на кнопку... Но у Суслова и Андропова не было счетов в западных банках, не было отдыха в Куршевеле, не было детей в Оксфорде, не было недвижимости на Лазурном берегу... А у нынешних все это есть, так кто ж поверит их страшным угрозам!

Знаете, самое сильное, что может сделать Запад, — и, возможно, еще и сделает когда-нибудь, если допечет, — начнет арестовывать «странные» счета руководителей российской администрации на Западе. Вот тут многое изменится, потому что личное благосостояние — чувствительное место для нашего начальства. А российский позор, обрушение рынка — это все им по большому счету по барабану. Они, конечно, потеряли на кризисе, и много потеряли. Но поскольку они по-прежнему сидят на этой трубе и на российском бюджете, то — им-то хватит...

— Наша вражда с Западом — одна из наиболее стойких национальных традиций. В этом году исполнилось 40 лет со времени вторжения в Чехословакию советских танков. Только что на канале «Россия» состоялась премьера документального фильма «Жаркое лето 68-го», посвященного как раз этой годовщине.

— Это — констатация деградации. Я смотрел фильм не целиком, но попал на очень удачный момент, когда с экрана сообщили, что Пражскую весну придумал Генри Киссинджер. Очень историчное объяснение: по отмашке Киссинджера миллионы людей вышли на улицы и начали ложиться под танки. Что тут комментировать? Разве только то, что все показывается по государственному телевидению и у Останкино назавтра не стоят тысячи людей с требованием немедленного увольнения тех начальственных провокаторов, которые пичкают народ этой дрянью.

Впрочем, действий нашей власти почти по любому вопросу, по европейским стандартам, было бы достаточно для скандала и ухода правительства в отставку. Еще раз повторю: почти по любому! Я уж не говорю о Беслане и не санкционированной даже формально войне с Грузией... Вот

довольно свежий пример: Внешнеэкономбанк дал четыре с половиной миллиарда долларов Дерипаске, — так сказать, на подъем штанов. Ведь он, бедняжка, потерял на кризисе! А Дерипаска — это человек, рядом с которым Мавроди — детский лепет. Набирал дешевых кредитов, скупал компании, под залог компаний брал новые дешевые кредиты, — ну, и набрал долгов... Заметим: когда Дерипаска распухал на этих «пирамидах», он нас в долю не звал, а когда пришло время отдавать, мы дружно бросились ему на подмогу. И выдали из казны четыре с половиной миллиарда долларов! Если раскидать на всех россиян, получается, я посчитал, по тридцать два доллара с носа.

— Так мы, выходит, совершили доброе дело...

— Да-да-да-да... Именно Дерипаске каждый из нас и хотел помочь! И я стремился распространить свою благотворительность именно на этого человека. Мечтал всю жизнь.

Кстати. Перед тем, как дать Дерипаске четыре с половиной миллиарда, государство заявляло, что максимальная поддержка, так сказать, в одни руки, — два с половиной миллиарда. Надо ли говорить, что это государственный банк и председателем наблюдательного совета этого банка является Путин Владимир Владимирович, глава правительства персонально, — просто по Положению? И глава правительства Путин Владимир Владимирович распорядился казенными деньгами — вот так!

Все вопросы, которые вообще возникают в связи с этим — «почему так?» — стекаются, как ручеек, к одному главному ответу: потому, что мы *их* никак не контролируем, — ни суда, ни прессы, ни выборов. Поэтому *они* в принципе могут сделать все, что хотят. Путин мог выдать Дерипаске четыре с половиной миллиарда, а мог — сорок пять. В принципе. Это вопрос его желаний...

— Ну вот, не успели мы спросить про кризис, как Вы сами заговорили о нем. Как Вам кажется, не представляет ли кризис угрозу для власти?

— Ну, что тут сказать... Щука в проруби сдохла, и печку, на которой Емеля, по щучьему велению, ехал на ста сорока долларах за баррель, начало потрясывать... Хорошо бы, чтоб печка не взорвалась. Потому что (я уже когда-то давным-давно заметил) когда Емеля слезает с печи, выясняется, что его фамилия Пугачев. Существует «контракт», о котором замечательно сказал Леонид Радзиховский. Мы по другим пунктам расходимся, но в данном случае я абсолютно с ним согласен: существует негласный контракт между российским обществом и властью. Заключается он вот в чем. Общество как бы говорит власти: делай, что хочешь, — воруй, нарушай законы, убивай, — но чтобы пятого и двадцатого на тарелочке с голубой каемочкой лежало; чтобы я покупал машины, чтобы водка-закусь, чтоб Анталия, — а Бахмина пропади пропадом, я согласен... Но мне чтоб было! И при ста сорока долларах за баррель — было. И было бы, разумеется, дальше, потому что, когда утром в администрацию приносят с поклоном новую порцию золотых слитков, можно и поделиться с населением... Всего не своруешь.

Кстати, по поводу кризиса. Последнее, что я прочел в газете — сегодня, когда к вам ехал: рейтинг Путина еще подрос! «МК» пишет: «Кризис обнаружил, что именно Путин руководит ситуацией».

— То есть решение о продлении сроков президентства (при том, конечно, условии, что оно принято «под Путина») поспело на удивление кстати?

— Разумеется, это сделано под Владимира Владимировича. Не знаю, как они там рассчитывают пик кризиса, но, возможно, Медведев будет тем самым виноватым, той самой крысой... Помните, у Экзюпери? — «Надо беречь старую крысу: она у нас одна». И тогда в качестве спасителя Отечества явится сияющий Владимир Владимирович (лично несколько раз обрушавший российский рынок).

— А разве народ не знает, что за экономику отвечает не президент, а премьер?

— Путин, как Господь, давно отделил себя от трудов рук своих... Он уже с народом разговаривает, как гуру. А народ будет знать то, что ему скажут программа «Время» и программа «Вести» (пока гиря до полу не дойдет, разумеется). Традиции! Путин, конечно, правитель абсолютно в российской парадигме...

— Идеологический мейнстрим состоит в том, чтобы сказать, что кризис придуман на Западе, чтобы навредить России. И наши сограждане этому охотно верят.

— В журнале «The New Times» был недавно опубликован график падения нашей биржи с сопоставлениями с действиями российского правительства. Это очень выразительный график, обнажающий причинно-следственные связи. Владимир Владимирович послал доктора к «Мечелу», — рынок рухнул... Интервенция в Грузии, — рухнул... Отказались вовремя выводить войска из Осетии, — еще рухнул... Последний раз, — это уже смешно, — рынок ушел в пике сразу после встречи Путина с народом, четвертого декабря. Ровно в три часа дня, сразу по окончании эфира... Он закончил говорить о народном благе, и рынок рухнул. Репутация, однако!

В целом, наш рынок упал в три раза ниже, чем американский. Тут два пункта. Первый — связь этого падения с действиями российского правительства. И второй, очень важный: как же так? Мы же восемь лет вставали с колен с криком о роли новой России в мире... Самостоятельный международный игрок! И вдруг выяснилось, что никакой не игрок, а декорация на обочине: рвануло в Америке, а у нас тут же упало, и еще сильнее, чем у них. И все русские патриоты бросились скупать доллары. А где же наша экономика? Где, где... Вот именно. В этом и заключается печальный юмор ситуации: мы круче всех в смысле риторики, а ткнешь пальцем — труха. Раньше мне казалось, что это такая советская привычка... Я даже называл это когда-то комплексом престарелого Казановы: старый-дряхлый, но по

старой памяти ведет себя как молодой и сильный — и думает, что производит на женщин сильное впечатление. Но такое объяснение уже не канает. Наша администрация блефует вполне сознательно, и вся эта риторика направлена внутрь. Это все для программы «Вести», а наружу — простой и циничный расчет: ребятки, у вас ведь в Европе зимой по-прежнему холодно? Газок нужен? Ну и давайте с нами дружить.

Я уже сказал в начале нашего разговора, что кризис выступил в качестве ревизора — ревизует уровень наших достижений, качество руководства. В этом смысле он очень полезен. Один бизнесмен сказал мне: кризис — как понос, — приятного мало, но для организма полезно.

Уоррен Баффетт, самый богатый человек планеты, сформулировал эту же мысль элегантнее: «Кризис, как отлив: видно, кто вошел в воду без трусов». Видно качество ведения бизнеса, и в этом смысле кризис — это, конечно, шанс очухаться. Кризис призван убрать слабых или слишком рисковых игроков, очистить и обновить кровь в бизнесе, то есть совершить дело болезненное, но необходимое.

То же самое можно сказать и об обществе. Если мы воспримем кризис не как несправедливость, а как урок, как напоминание о том, что надо самим работать и выигрывать конкуренцию, — то извлечем из него несомненную пользу. Конечно, в том только случае, если мы не собираемся использовать Родину-мать как отхожий промысел. Знаете, один банкир, ныне живущий в Лондоне, мне сказал: «В советское время мы так ездили из Москвы в Уренгой, на заработки». Сейчас тысячи бизнесменов живут в Лондоне, а зарабатывать деньги ездят в Москву. Так вот, если к Родине не это отношение, а какое-то другое, тогда надо слезать с печи. Завязывать с эйфорией, перестать кричать о духовности и враждовать с миром. Надо прекращать эту ерунду.

Конечно, будет трудно. Пострадают не только офисные мальчики и девочки, которые за самый факт своего существования привыкли получать по 3–3,5 тысячи долларов в месяц и абсолютно развращены этим уровнем благосостояния... Пострадают миллионы заложников нашей нереформированной толком экономики — и работающих, и пенсионеров. Ведь восемь лет немыслимой экономической конъюнктуры страна профукала, протратила на самопиар... Людей ждет драматическая расплата за свое равнодушие, за нежелание разбираться и участвовать в политике, за непонимание причинно-следственных связей — расплата, может быть, и справедливая, но очень тяжелая.

Но Россия переживала и гораздо более тяжелые вещи — и в гораздо худших условиях. Будет трудно, но ничего особенно чудовищного нам не предстоит. Не стоит себя запугивать.

Беседу вели: Галина Великовская, Ирина Дугина, Евгений Ермолин

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

в русской сетевой и бумажной периодике
третьего квартала 2008 г.

Мы продолжаем знакомить читателей с актуальными публицистическими выступлениями (находя их в бумажной прессе и в Рунете), отличающимися либо глубиной анализа, либо концептуальной четкостью, либо, иногда, просто симптоматичностью. В этом обзоре предлагается изложение наиболее примечательных публикаций с сайтов **apn.ru, ej.ru, gazeta.ru, grani.ru, InoPressa.Ru, Каспаров.Ru, polit.ru, vz.ru** и др., а также статей в бумажной прессе (**«Ведомости», «Свободная мысль», «Полис», «Москва», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас»**). В некоторых случаях для полноты картины учтены и публикации более позднего времени. Напомним также, что рефлексия о Грузинской войне была отреферирована в прошлом номере; здесь мы возвращаемся к этой теме исключительно в аспекте ее влияния на российское общество.

Общество

Социолог из Левада-Центра **Наталия Зоркая** в «Независимой газете» (16 сентября) в статье **«Поколение живущих как надо»** анализирует сознание современной городской высокодоходной молодежи, которая высоко оценивает свои реальные (или мнимые) достижения и воспринимает себя как норму, выступая ориентиром не только для остальных молодых, но и для всего общества в целом. *Эти молодые уже на старте зарабатывали намного больше, чем их родители, они были платежеспособны. Новое обличье городской среды, новые стандарты потребления давались в руки молодым как бы в готовом виде — как конструктор «Лего», как материалы для евроремонта. Полученный «оптом», «в наборе» (как и поток дешевых западных продуктов, хлынувший на рынок и заполнивший пустовавшие прилавки), новый город не предполагал работу культуры, работу общества над осмыслением и последующим оформлением его обличья <...> Заимствования западных образцов выступали как знаки, маркеры новой жизни, которая была закрыта для тех, кто не вписывается в новую благополучную жизнь, то есть для большинства, становящегося, как ни парадоксально, маргинальным. Главными ресурсами, позволяющими войти, вписаться в этот новый, сверкающий и беззаботный мир города, были и во многом остаются деньги и молодость. Они выступают ситуативным, «местным» эквивалентом ценности. Если в первое время город витрин и знакового потребления был подчеркнуто молодым, то теперь он все больше становится показушно-богатым, но вовсе не более демократичным, не более открытым. В таком городе деньги в определенном смысле не считаются, ведь размер трат мотивирован, оправдан приобщением к знакам статусной иерархии. Деньги здесь дутые, не связанные*

с трудовыми затратами, соотношением усилия и достижения, с рационализацией повседневности, с рациональным выбором, калькулирующим соотношение затрат и качества услуг, с выстраиванием жизненных финансовых стратегий. Они не символический посредник, не мера ценностей, а взнос, билет, талончик на вход. И за новизной (ведь выросло первое поколение с деньгами) прячется очень простая конструкция устройства общества: выиграл — проиграл, вписался — выпал. Такие деньги очень просто решают повседневные социальные проблемы — со здоровьем, образованием, армией и т.д. Но они не изменяют соответствующих институтов, задавая лишь образец нового способа адаптации к репрессивной и коррумпированной системе, к институциональному произволу. Зоркая показывает, что следствиями такой адаптации стали некоторые основы миросозерцания. В отношении к Западу это дуализм следующего рода. *Усвоение западных стандартов потребления и городского образа жизни порождает ощущение, что «мы» уже живем (и хотим жить так), как там, мы — в отрыве от совка.* Но это *новое поколение, не знавшее холодной войны, молодые не только не отличаются от старших поколений своими антизападническими настроениями, но порой даже их превосходят.* В отношении к политике это *позиция равнодушного зрителя.* Исчезают признаки позиции, политического выбора; оценки событий не соотносятся с ценностями права, гражданских свобод, солидарности. Начинают работать либо механизмы присоединения к большинству, становящемуся все более агрессивным и воинственным, либо механизмы отрицания любых ценностных значений вообще, цинического обессмысливания событий. *72% опрошенных молодых определенно не хотели бы, чтобы оранжевая революция произошла в России. Это и есть механизм девальвации, ценностной дискредитации смысла политических и социальных событий, из которых творится история (причем и общая, и своя собственная).* При этом подавляющее большинство молодежи сегодня удовлетворено своей жизнью. 79% считают, что они уже добились успеха в жизни. Их мечта — иметь большие или свои деньги. А профессионализм как ценность имеет невысокую значимость. С пониманием успеха слабо связаны ценности индивидуального достижения и социального признания. Самая популярная среди молодых ориентация — на большие заработки без особых гарантий. *В представлениях молодежи об условиях достижения успеха доминируют, с одной стороны, упование на помощь и поддержку наделенных влиянием людей (модификация советского блата), на волю случая, с другой — установка на инструментальное, имморальное действие, когда для достижения цели все средства хороши. <...> Такое видение дает молодому человеку как бы оправдание, моральную разгрузку, освобождает от необходимости стремиться к большему, делать карьеру, поскольку существующие средства и способы не годятся для честного человека. <...> беспечность относительно своего будущего (сочетающуюся с высокой удовлетворенностью своей жизнью и, что, наверное, еще важнее — с высокой удовлетворенностью своими успехами) следует рассматривать как превращенную прежнюю, родительскую зависимость от системы вместе с советским же ощущением бесперспективности, невладения собственной жизнью. Не случайно даже среди самых обеспеченных и успешных молодых в России большинство признают, что не могут*

(да и не хотят) влиять на политическую ситуацию, не в силах отстоять свои права, неспособны противодействовать произволу власти.

Андрей Пионтковский в статье **«Либеральный кукиш»** (Грани.Ру, 16 октября) анализирует социсследование фонда «Либеральная миссия». Опрашивались «успешные представители» социальных групп, занятых в государственном управлении, обороне и охране правопорядка, бизнесе, науке и образовании, массовой информации. Люди, составляющие «элиты развития». Оказалось, цитирует он, что «в элите развития явно преобладает критический взгляд на сложившуюся в стране систему управления и ее результативность... Разговоры об укреплении "вертикали власти" более не воспринимаются продвинутой частью (и вряд ли только этой частью) российского общества в качестве государственной идеи; эффективность этих слов и мероприятий — как для мобилизации воли нации, так и для легитимации правящего режима — сегодня крайне низка... Сложившийся в России олигархический бюрократический капитализм помимо самой олигархии пользуется поддержкой большинства сотрудников спецслужб и половины чиновничества. Абсолютное же большинство армейских офицеров, предпринимателей и менеджеров, профессиональной элиты в социетальной и публичной сферах, значительная часть чиновников — одним словом, российская элита развития в своем большинстве — предпочитает нормальный капитализм с правовым социальным государством и готова поддержать деятельное обновление страны на основах верховенства закона и честной конкуренции»; идеологемы власти «более не воспринимаются продвинутой частью (и вряд ли только этой частью) российского общества». Но это, полагает автор статьи, *либерализм на кухне с кукишем в кармане. Никакой готовности самостоятельно противостоять «плану Путина» у наших «элит развития» нет.* Почему? Власть манипулирует *протолиберальным слоем*, используя *2–3 психологемы или комплекса.* Пионтковский характеризует их. Первый — это *неовеймарский комплекс. Посредством тысячекратного повторения в общественное сознание и подсознание вбивается представление о встающей с колен России, об униженной России, о расчлененной России, об окруженной врагами России. Сегодня наша внешняя политика на 90% являет собой инструмент манипуляции сознанием. Этот неовеймарский комплекс сплочения «униженной нации» вокруг руководства умело регулируется и резко нагнетается как раз в те моменты, когда общественные настроения начинают казаться власти опасными.* Вторая психологема — это *комплекс «Гершензона-Радзиховского».* Внушается мысль о том, что *настоящие выборы привели бы к власти намного более страшных людей, чем те, которые сегодня там находятся.* И третья психологема — это *достаточно распространенное, во всяком случае до последнего времени, настроение — «мы никогда не жили так хорошо». Целый русский «золотой миллион» в материальном плане никогда не жил так хорошо по мировым меркам, как он живет сейчас, и отказываться от этого он не хочет.* Вспоминая описанное Эренбургом ощущение советских граждан в Москве 1936 года, Пионтковский называет эту психологему *комплексом 1936 года.*

Лекция директора Аналитического центра Юрия Левады **Льва Гудкова** **«Проблема абортивной модернизации и мораль»**, прочитанная 10 июля в

клубе-литературном кафе Bilingua, опубликована на сайте ПОЛИТ.РУ (21 ноября). Гудков так резюмирует ход своих рассуждений о ситуации в стране: в очередной раз случился *аборт модернизации, «аварийный обрыв» эволюции, прерывание процессов усложнения социокультурной структуры общества, которые мы охватываем понятием «модернизация»*. Это выражается *в редукции к примитивному традиционализму, архаизации общественного мнения. Социальная стерилизация всегда выражается в девальвации частного существования, ...соответственно, в ничтожности правовых гарантий частных существования и деятельности, разрушении легальных систем обмена между общественными группами, отличающимися от доминирующих своими представлениями, идеями, нормами и интересами. Сами по себе процессы деморализации общества, состояние массового цинизма, этического партикуляризма, ксенофобии не являются причинами модернизационного аборта, но они создают условия, при которых узурпация власти какой-то одной организованной (в отличие от самого общества) номенклатурной или силовой группировкой не встречает сопротивления со стороны апатичного населения с ослабленным иммунитетом против насилия. Аморализм общества заключается в разрушении валентных связей, распространении аномии, атомизации общества, резком ослаблении потенциала солидарности и стремления к лучшему. <...> То, что мы ценим в себе в качестве подданных великой державы, то, что мы ценим в себе и других как обывателях этой страны, представляет собой последствие примитивного, архаического социального и политического устройства, к которому человек советский и постсоветский адаптировался, которое признал «своим» и от которого мы не хотим и не можем отказаться без угрозы утраты собственной идентичности. Сохранение мало изменившихся властных институтов обусловлено их символической ролью в поддержании традиционалистских образцов коллективной идентичности. В свою очередь, интересы такой власти предполагают систематическое подавление постоянно возникающих импульсов эмансипации гражданского общества от власти, утверждения правовой автономности каких-либо социальных образований от власти. <...> Насилие (реальное, или остаточное от времен террора и советского репрессивного государства, административный произвол) и цинизм как ржавчина разъедают все сложные и тонкие формы социальной солидарности, продуцируя это состояние неуверенности, отчужденности, массовизированности, атомарности общественной жизни.* К этому Гудков добавляет, что, на его взгляд, *живой смысл традиций (как социального института) давно исчез, исчезла даже идеологическая рационализация того, что было прежними традициями. Но раз за разом повторяются попытки инсценирования, имитации традиции. Возникает усилиями разных эпигонов некий «искусственный мрамор», театрализованный фантом традиций. Я обращаю ваше внимание на любовь нашего начальства к разного рода церемониалам. Игру в солдатики, парады, склонность к помпезным ампирным ритуалам государственной жизни. Это и есть суррогат традиций. Это не реальные традиции, а изображение отсутствующего государственного величия, слабое повторение Большого стиля, сталинского или императорского.*

Юлия Латынина в статье **«После Грузинской войны. Победа пушек над идеей»** (Газета.Ru, 12 сентября) оценивает реакцию общества на августов-

ские события. *...одним из самых поразительных результатов этой войны является почти единодушный восторг по поводу действий Кремля. По поводу первой чеченской была куча мнений, по поводу второй чеченской — тоже, но меньше, а сейчас на ТВ, радио и в газетах считается почти неприличным не начать рассказ об этой войне со слов: «Этот сумасшедший идиот Саакашвили...» Больше всего это единодушие напоминает единодушие СССР времен войны в Корее или единодушие в самой Южной Осетии.*

Настроения в обществе фиксирует и опрос **Левада-центра**, итоги которого обнародованы Газетой.Ru 25 сентября. Отношение россиян к Западу резко ухудшилось. Негативно к США в России теперь относятся 67%, к Евросоюзу — 39%, а Грузию не любят сразу 75%. Индекс отношения россиян к США в сентябре достиг самой низкой отметки за 11 лет и составил минус 40 пунктов. Даже к Украине относятся плохо больше половины граждан России.

Алексей Левинсон в заметках **«Судьба неприкосновенного»** («Неприкосновенный запас», № 5), анализируя общественные настроения после войны на Юге, фиксирует, что в обществе есть ощущение пройденного рубежа. Левинсон утешается тем, что изоляцию можно воспринимать как признание нашей значимости, а ресурс доверия к власти таков, что можно *начинать строить новый мир, конвертируя отрицательный авторитет в положительный, военный успех — в мирные достижения.* Хотелось бы, конечно, подробностей от известного социолога, как он это мыслит.

Наталья Геворкян в статье **«Некому спросить»** (Газета.Ru, 28 августа) в этой связи печально замечает: *Россия утратила ту интеллектуальную элиту в высоком смысле этого слова, которая способна сформулировать собственную позицию, не бояться на равных разговаривать с властью и реально на что-то влиять. Ее просто нет. С этим можно было бы жить и дальше. Но вот какая фигня. Когда в ход идут танки и военная авиация, становится сложно. Отсутствие альтернативного звучания внутри России означает и для страны, и для окружающего нас мира, что все мы априори «за» — за войну на чужой территории, за такой способ ее раздела, за конфронтацию с миром, за дружбу с одиозными режимами. <...> Мы все ничего не хотим помнить, ни в чем не хотим сомневаться и считаем возведенный в культ конформизм единственным способом жизни в нашей стране? Наверное, нет, но в отсутствие оппозиции доказать это практически не представляется возможным.*

Образ России как *Мордора* (блоггер **га2005**) действительно становится в европейской мысли популярным. Французский философ и публицист **Андре Глюксман** в статье **«Перед доктриной Владимира Путина»** (18 сентября, Le Monde и InoPressa.Ru) пишет: *Вторжение в Грузию ясно показало миру, что имперская и безграничная Россия вернулась. <...> По какому праву мы протираем глаза, изображая невинное разочарование агрессивностью «нашего друга» Владимира Путина, чьи голубые глаза (Буш), хорошие манеры (Блэр), Большой крест Почетного легиона (Ширак), частые поездки на итальянскую Ривьеру (Берлускони) и вознаграждения от «Газпрома» (Шредер) соблазнили цвет западной политики? Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать. Фундаментальные аксиомы доктрины Путина были*

четко и ясно провозглашены в Кремле: 1. «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». Чего ожидать от подполковника коммунистических спецслужб, который в 2005 году свел ужасы недавней истории к краху — как он надеется, временному — своей иерархии? <...> 2. Массовые демократические движения — «революция роз» в Грузии (2002) и «оранжевая революция» на Украине (2004) — были знаками «перманентных революций», угрожающих основам российского государства подрывной деятельностью, финансируемой ЦРУ, НАТО, «рукой заграницы» и плохими русскими. <...> Вот откуда попытка задушить стремление к эмансипации в «ближнем зарубежье» с помощью нефтегазового шантажа, покупки совести за наличные, а если потребуется, то и угроз ввести танки. Либо мы, либо они — вот смысл наступления на Тбилиси. Любезный Дмитрий Медведев, на которого мечтатели возлагали свои надежды, вторит эхом: Саакашвили — тот же Гитлер. Глюксман итожит: *Будущее покажет, сумеют ли страны-члены ЕС удержать курс и избавиться от шантажистов, чтобы выработать единую энергетическую политику и на равных вести переговоры с российскими поставщиками, которым так же нужно продать, как нам нужно купить <...> Несмотря на бахвальство, которым сопровождается ее «опьянение нефтью», Россия знает, что будущее ей не улыбается. Нам не грозит фанфаронство Никиты Хрущева: скоро мы догоним и перегоним Америку. Страна обескровлена, истерзана пьянством, мафией, коррупцией, безработицей, туберкулезом, СПИДом, проституцией и головокружительным демографическим спадом, а средняя продолжительность жизни здесь — как в странах третьего мира. Бюджет примерно на 70% складывается за счет продажи энергии и сырья. Ничто не дает России оснований долго шантажировать процветающую Европу, тем более что средств для бурения и хранения не хватает, а переориентация энергетических потоков в направлении Азии предполагает наличие каналов транспортировки, для строительства которых потребуется одно или несколько десятилетий. Эрзац утраченного могущества, выбор политики вредности по всем направлениям может на какое-то время произвести впечатление, но не восстановит престиж колосса с глиняными ногами. ...августовский кризис оставил европейское общественное мнение наедине с самим собой. Совершит ли Европа газовое самоубийство? Устоит или склонится перед доктриной Путина?* Однако кризис заставляет ставить этот вопрос острее.

Региональные общественные различия стали предметом статьи **Николая Козлова «Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными»** («Полис», № 4). Автор, выделив ряд критериальных понятий и проведя исследование, представил затем своего рода карту региональных социально-политических ментальностей (предпочтений). Оказалось, что наибольшие вариации возникают в рамках оппозиции православного морализма и меркантилизма. Вера против денег. Центр морализма — черноземные области России (с ядром в Курске и Липецке). Центр прагматизма — Урал и Зауралье. Любопытно, что для жителей Москвы, к примеру, характерно морализаторство, а для Карелии и Архангельской области — прагматизм... Верхневолжье же, например, и Новгород — зоны нигилизма, тотального недоверия к власти.

Андрей Мельвиль и **Иван Тимофеев** в статье **«Россия 2020: альтернативные сценарии и общественные предпочтения»** («Полис», № 4) в результате довольно объемного исследования пришли к выводам, которые вкратце можно обозначить так. Социально активные россияне хотели бы жить в 2020 году в стране западного типа, но от Запада не зависеть. Они против и железного занавеса, и распада страны, и авторитарной мобилизации. Они за приоритет личных прав и политической конкуренции и против «жесткой руки». У них нет единого проекта и представления о безальтернативном пути; возможно всякое. Исходя из прагматических установок, они предполагают, что лучшее маловероятно, а получит развитие существующая модель социума (модернизация сверху).

Власть

Историк **Ярослав Шимов** в статье **«Укрощенная революция: три лика бонапартизма»** («Неприкосновенный запас», № 4(60)) сравнивает бонапартистские режимы Наполеона III, Пилсудского и Путина. По Шимову, *современный российский бонапартизм*, обладая многими внешними признаками бонапартизма (авторитарная власть популярного лидера; роль «стабилизатора» общества после революционной эпохи; опора на силовые структуры; политика централизации; активно насаждаемый культ национального величия и возрождения страны и так далее), оказался не во всем похож на своих предшественников. *Динамика путинского правления во многом противоположна, например, царствованию Наполеона III. Если французский император двигался от фактически диктаторского режима начала 1850-х к «либеральной империи», то российский президент шел в противоположном направлении — от умеренной, «управляемой демократии» своего первого срока к достаточно жесткому авторитаризму последних двух-трех лет.* Бонапартизм в России в 2000—2008 годах является *чем-то вроде декорации, «виртуального бонапартизма»*. Главное противоречие путинской идеологической риторики — то, что обличения 1990-х годов, эпохи незавершенной и нескладной четвертой русской революции XX века, часто звучат из уст тех представителей правящей элиты, которые именно 1990-м обязаны материальным благополучием, карьерным ростом и политическим успехом. *Одной из составляющих этой путинской риторики является антиолигархический запал... При этом совершенно очевидно, что состав российской элиты в 2000—2008 годах изменился по персоналиям, но не структурно, и олигархические черты путинской власти оказались лишь чуть лучше задрапированы, чем у власти ельцинской... Связь президента с народом оказалась больше риторической фигурой, чем политической реальностью.* В правление Путина, как и при Пилсудском, несмотря на обилие «разговоров в пользу бедных», не было осуществлено никаких крупных социальных реформ. Наоборот, произошли попытки свернуть некоторые элементы прежней системы соцобеспечения (монетизация льгот)... Можно предположить, что и социально-психологический итог путинского восьмилетия был бы гораздо ближе к скептическим настроениям, охватившим польское общество к концу режима «санации», если бы не кардинальное отличие экономической конъюнктуры двух

эпох. Режим Путина *был «осчастливлен» очень благоприятной для России конъюнктурой мировых сырьевых рынков. <...> Специфика (и «виртуальность») путинского бонапартизма, на наш взгляд, заключается в том, что этот режим опирается прежде всего и главным образом на прежние элиты, отличаясь от ситуации 1990-х лишь рядом персональных изменений и усилением «силовой» составляющей в рамках общеэлитарного консенсуса. Реальная же поддержка власти широкими слоями общества обусловлена, во-первых, вышеупомянутой благоприятной экономической ситуацией («живем-то хорошо, чего еще надо?»); во-вторых, целенаправленными усилиями пропаганды: в частности, общей стилистикой режима, подстраивающегося под вкусы «среднего человека», мелкобуржуазный, обывательский, «слободской» стиль.* Бонапартизм почти всегда явно или подспудно осознает собственный переходный, временный характер, свою странную историческую роль усмирителя революции, который в то же время является скорее завершающим этапом революционного процесса, нежели новой, постреволюционной системой. *Режим Владимира Путина также занят поиском вариантов перехода от завершающей, бонапартистской, фазы четвертой русской революции к постреволюционному устройству России. Но отличительной особенностью этих вариантов пока является та самая виртуальность, которая присуща путинскому бонапартизму в целом. С одной стороны, в качестве основы для построения новой политической системы в России явно выбираются институты парламентской демократии. <...> С другой стороны, те политические субъекты, для которых в последние годы властями был создан режим наибольшего благоприятствования, в первую очередь партия «Единая Россия», не обладают самостоятельным политическим потенциалом и поддержкой в обществе и полностью зависимы от своих кремлевских демиургов.* По логике бонапартистской системы, центр власти перемещается вместе с ее реальным носителем, как бы ни называлась его должность: Пилсудский при режиме «санации» ни дня не был главой государства, но именно ему принадлежала высшая власть в Польше. Сохранение за «бонапартом» заметной политической роли при отсутствии у него формального главенства препятствует формированию новой, постреволюционной, политической системы. *...путинский режим пока ушел от ответа на вопрос о том, какой будет постреволюционная политическая система в России, но ушел характерным для него способом: дав видимость ответа, создав очередную политическую фикцию.* По Шимову, *резерв прочности созданного Владимиром Путиным «виртуального бонапартизма» не так велик — в слишком уж большой степени этот режим зависит от мировой экономической ситуации, и очень уж много проблем остается внутри страны. Поэтому замена реальных политических решений их видимостью может привести к тому, что принимать эти решения таки придется, но в гораздо более трудных и неблагоприятных условиях.*

Идеология и тип властной элиты в путинской России — таков предмет лекции директора Института прикладной политики, руководителя сектора изучения элит Института социологии РАН **Ольги Крыштановской «Российская элита на переходе»**, прочитанной 29 мая в клубе-литературном кафе Bilingua (публикуется 31 июля на сайте Полит.ру). Полагая, что

Путин был приведен к власти в результате спецоперации секретной полиции, она, как и Шимов, утверждает: когда Путин пришел в Кремль, *перед ним стояла такая задача: выбрать магистральный курс развития страны. <...> он вместе с командой своих друзей* (Сергей Иванов, Виктор Иванов, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Виктор Черкесов) *решил: курс, который проводился Ельциным, надо изменить. И в Кремле это называлось «остановить революцию».* Им был выбран *«андроповский путь» модернизации («модель Пиночета», модель Китая):* экономические реформы начинаются авторитарным руководством. Меры направлены были, *прежде всего, на восстановление каркаса государства, на восстановление субординации институтов. Это не были какие-то произвольные политические реформы. Они были совершенно целенаправлены и продуманы. Самое главное, что надо было сделать, исходя из этих задач, это ликвидировать альтернативные центры власти, которые <...> создавали хаос в политике* (независимые губернаторы, олигархи, СМИ). В. Сурков завербовал под обслуживание этой линии ряд интеллектуалов: Г. Павловского и др. Крыштановская вспоминает: *Везде, по всем фронтам, власть наносила сокрушительные удары по своим врагам. И встречала не сопротивление, нет! Она встречала поддержку населения и непонятную вялость протеста тех, против кого были направлены ее действия. Эта пассивная, молчаливая поддержка населения придала уверенность власти, лишила ее комплекса неполноценности. Это свидетельствовало о верно выбранном пути, о том, что приобретается легитимность иного, высшего порядка. Легитимность, замешанная на искренней поддержке, на доверии. В то же время решалась и внутренняя для власти задача — восстановление иерархии и субординации в политическом классе. Нормальная ситуация для западного общества, когда парламент спорит с правительством, в нашем обществе оказалась неприемлемой, невозможной. Поэтому делалось все, чтобы восстановить единоначалие. <...> Кроме того, возникла и идеологическая составляющая. Когда Путин только пришел к власти, создался огромный вакуум в понимание целей и перспектив развития страны. Какое общество мы строим? Куда идем? Было не ясно. Ясно было, что в другую сторону, не к демократии западного типа. Но куда? И так же, как в советское время, родилась совершенно не оригинальная идея особой демократии. Ведь советская идеология базировалась на постулате, что в СССР существует демократия. <...> И теперь, при Путине, опять вернулись к этой идее. Опять стали говорить об особой, своей демократии, которая получила название суверенной.* Крыштановская считает, что это пропагандистский трюк, а на самом деле *господствующая государственная идеология стыдливо замалчивается, и имя ей — русский национализм.* Размышляя о путинской элите, она пишет: *Для решения поставленных жестких задач нужны были жесткие люди, не боящиеся непопулярных решений. Сформировался социальный заказ на силовиков. И Путин привел их к власти.* Прежде всего речь идет о *разведчиках.* Крыштановская характеризует их психологию, ставшую государственной политикой в путинской России: *Оперативная работа с людьми приучала их быть тонкими психологами, носить маску, быть крайне осторожными и скрытными. Они должны были стать циниками и ставить высшие интересы государства выше простой человеческой морали. Для них всегда цель оправдыва-*

ет средства. Для них вероломство — высшее проявление профессионализма. Их можно было бы считать преступниками (так как они способны украсть и убить), если бы государство не защищало их, не освещало их деятельность ореолом высшего патриотизма. Из-за того, что их работа была секретной, они стали братством, своеобразным орденом, со своим кодексом чести, со своей верой, со своей идеологией. <...> Любой человек, который занимается безопасностью, любой военный должен знать, кто его враг. Нет смысла в существовании военной силы, если врагов нет. <...> Это гипертрофированное ощущение врагов не может не оказать влияние на политику. И наконец: *силовики были одержимы жаждой реванша. <...> Военные вообще сильны тогда, когда сильно государство. А государство тогда было очень слабо. Слабое государство ведет себя так, будто военные ему вообще не нужны. Поэтому военный человек не может не быть государственником. Военный человек — всегда за сильное государство. Естественно, все 90-е годы, годы ослабления государства, они ностальгировали. Они были одной из самых униженных групп. Другие богатели, набивали себе карманы деньгами. А военные все это видели и ждали своего часа. Они верили, что их час придет. Верили, что их информация о том, как шла приватизация, кто, где и как воровал, когда-нибудь будет востребована. И когда Путин пришел к власти, настало их время...* Постепенно на место старой ельцинской олигархии *пришла совершенно новая олигархия. Устроена она в значительной степени по-другому.* Например, возрождена система кормлений, как при Иване Грозном. *Если мы посмотрим на то, где государство особенно внимательно контролирует финансовые потоки, то обнаружится четыре основные сферы:* нефть и газ, военно-промышленный комплекс, транспорт, аэрофлоты и судостроительные всякие корпорации и так далее. И атомная промышленность. *Вот на сегодняшний день это четыре кита, на которых стоит власть. Этой системы до Путина не существовало. Это его ноу-хау. При нем же произошло разделение политического класса на бюрократию, то есть людей, которые назначаются на должность, и электократию — людей, которые избираются на должность. <...> создана новая система элитного трафика. Группы бюрократии и электократии почти не перемешиваются.* В целом *Путин вернулся к советским методам, но избавил их от маразма, от всяких глупостей, которыми советская власть постепенно обросла. Сейчас нет никакой тотальной идеологии, нет глобального вранья. Нет тотального контроля над средствами массовой информации, есть какие-то возможности для свободы слова. Есть свобода перемещения (что, конечно, очень важно для людей). Поэтому система как бы та же, то есть она опять вернулась к квази-демократическим формам, вернулась к авторитаризму, к моноцентричности. Все подчиняются Кремлю. В этом единство путинской системы с советской и с любой другой авторитарной системой. Как назвать то, что сделал Путин? Я бы назвала это авторитарной модернизацией.* Далее, пишет автор, Путин решал задачу, как сохранить свою власть. Надо было придумать изящную систему. *Предположим, что Путин уходит на два года, а может быть, и на четыре года. Причем уходит на минимальное расстояние от Кремля. Это очень важно, чтобы расстояние было минимальным и соответственно риск минимальным. Важно и то, чтобы все поверили, что он уходит.*

А потом он возвращается, но не на четыре года, а, возможно, на четырнадцать лет, потому что вы знаете, давно уже идут разговоры, что для такой огромной страны, как Россия, четыре года президентства слишком маленький срок. Пять, шесть, а может быть, семь лет — вот о чем идет речь. Значит, Путин-2023 или Путин-2025? Прийти еще на десять, двенадцать или даже четырнадцать лет? Вот модель, которая выстраивается сейчас на наших глазах. Действующего президента Крыштановская уподобляет юридическому советнику крестного отца из романа Марио Пьюзо — *консельёре. ...дону нужно иногда уйти в тень <...> В такие моменты консельёре должен взять на себя на время функцию главного переговорщика или первого лица. И Пьюзо спрашивает, является ли это риском для дона? Да, конечно, является. Единственный, кто может предать дона, это консельёре. Но придавал хоть раз консельёре своего дона? Нет. История мафии такого, по крайней мере, не знала. Почему? Потому что, если консельёре выполняет задачу, возложенную на него доном, пожизненно ему и его семье обеспечен и капитал, и уважение, и безопасность. Если же он нарушает это, то он рискует, очень серьезно рискует. Похоже, правда? Конечно, как и каждая, эта аналогия тоже хромает. Но все-таки мне кажется, есть что-то похожее в ситуации, которая складывается сейчас.* Роль Медведева автору видится в следующем. *...его функция будет заключаться в реформе власти. В чем она может заключаться? Вариант первый — удлинение срока полномочий президента. Вариант второй — переход к парламентской республике.* Разбирая первый вариант, который через несколько месяцев стал реальностью, Крыштановская пишет: *Мавр сделает свое дело, и мавр может уйти. Но тут есть вопрос: а будут ли объявлены досрочные президентские выборы после изменения сроков полномочий или нет? Государственная Дума сделает так, как велит Кремль. Если Медведев «хорошо себя ведет», не претендует на абсолютное лидерство — тогда пусть сидит до конца срока. Если же есть сомнения в его лояльности — могут быть назначены досрочные выборы. То есть контроль над Думой — это ключевое обстоятельство в данной ситуации. А этот контроль — в руках лидера партии «Единая Россия». То есть досрочная отставка Медведева может быть вполне конституционным процессом. И Путин выбирается опять президентом, но на более долгий срок. Почему я так уверенно говорю о том, что Путин остается главным дирижером, что это его сценарий? Потому что в России существует очень органичное, столетиями отшлифованное моноцентрическое государство с единым центром, с единой вершиной пирамиды власти. И не может быть в этой системе никакого дуализма, никакого реального разделения властей. Это может быть декорация, это может быть по телевизору. Но реально я не верю, что это будет. Иначе это была бы действительно революция, революция элиты, уже самой элиты.* Напоследок автор фиксирует еще одно явление в кругу путинской элиты: *Это конец путинского политбюро. Путин расстается со своей «старой гвардией», которая стала ему мешать. Он больше не нуждается, видимо, в «старших братьях», в советчиках. Он нуждается в сторонниках, в молодых почитателях, в армии фанатов. <...> В рамках макиавеллизма это совершенно логичная процедура. Как можно быть лидером нации, если тебя окружают твои старшие братья, более опытные, чем*

ты, может быть, даже более умные? Гораздо легче быть «гуру» для людей молодых, которые смотрят тебе в рот, которые абсолютно зависят от тебя, которые с удовольствием тебе подчиняются. Не нужны сильные, не нужны соратники, нужны сторонники, нужны лояльные и преданные люди, которые создают армию для лидера. Пришло время Путину избавиться от «старших братьев» и остаться один на один с молодым поколением 40-летних политиков, которых сейчас приводит к власти Медведев. С этим процессом автор связывает возможность нового пути Путина: *вероятно, Путин выбрал на ближайшую перспективу такой путь развития, с которым не соглашались его старые друзья-силовики. Например, демократизацию. А Медведев был выбран на роль преемника еще и потому, что он лучше других подходил на роль «демократизатора».* Этот прогноз весьма проблематичен, конечно.

Валерия Новодворская в статье **«Молчалины блаженствуют на свете»** (Грани.Ру, 11 августа) подвела итог 100 дням президента Медведева. Никакого дуумвирата. *Вместо двух президентов мы имеем одного, вечного, нетленного, — плюс мираж, этакое облако в штанах. Правда, мираж этот имеет свойства эха (не Москвы). Гораздо тише, с нежными модуляциями в голосе, но он все-таки повторяет не Александра Освободителя, не Гавела, даже не Ельцина, а все-таки Путина. Оттепелью не пахнет. <...> Молчалины не ходят на Сенатскую площадь и не защищают декабристов. И, кстати, за них не заступаются. Они решают свои мелкие житейские дела, то есть угождать всем: чекистам, Путину, Сечину, Иванову, бизнесу (на словах), даже Западу («собаке дворника, чтоб ласкова была»). Ласковое теля двух маток сосет. <...> Сто дней Дмитрий Медведев тихо сплавлялся по реке Стикс, причем вместе с Россией, в царство мертвых. Должность Харона ничуть не противоречит ни роли Молчалина, ни роли наместника ФСБ, ни роли местоблюстителя Путина, ни роли президента РФ.*

А вот **Федор Лукьянов** в статье **«Конец преемственности»** (Газета.Ру, 4 сентября) находит и новое. Связано оно, как он полагает, с очередным разочарованием от Запада. Переломным моментом стала западная реакция на события в Грузии. *России никто не поверил, а степень всеобщей поддержки Михаила Саакашвили буквально шокировала российское общество и политический класс. Стало понятно, что пойти косовским путем (резолюция Совбеза ООН — фактическая суверенизация спорных территорий — признание бесперспективности переговоров — признание независимости) никто не даст. Вопреки полной аналогии с югославским случаем и, как казалось Москве, очевидному нарушению тбилисским руководством базовых ценностей Запада. Тогда и произошел перелом. Желание что-то доказывать и пробивать дипломатическими средствами сменилось готовностью действовать в одностороннем порядке, полагаясь только на себя и не ожидая согласования. Судя по высказываниям Дмитрия Медведева, это не ситуативное и однократное решение, а новая модель поведения.* Как считает Лукьянов, *приоритетной становится стратегическая самостоятельность (ее можно назвать и одиночеством). Задача интеграции куда-либо больше не ставится, зато цель консолидации сферы влияния для укрепления позиций в качестве «независимого полюса» в многополярном мире выражена четко и однозначно, как никогда прежде.*

Регионы России также были в поле зрения.

Анализируя ситуацию на Северном Кавказе, **Юлия Латынина** в «Ежедневном журнале» в статье **«Антигосударство»** 4 сентября отмечает эскалацию насилия в Махачкале, Нальчике и Ингушетии. *...все эти преступления совершены разными людьми и по разным мотивам. Но у них есть несколько общих черт. Первая: это крайне низкий реальный контроль над ситуацией. Москва — по всему Кавказу — не может бороться ни с террористами, ни с коррупцией. <...> Вторая: этот крайне низкий контроль устраивает и террористов, и силовиков. У майора ФСБ, присланного из Москвы, нет интереса ликвидировать террориста, потому что он в лесу и доставать его опасно. <...> Достаточно застрелить любого и назвать его террористом. Убийства без суда и следствия множат звездочки и новых террористов, деятельность которых, в свою очередь, ведет к новым убийствам без суда и следствия, которые, в свою очередь, ведут к новым звездочкам. Эта чудовищная модель не является результатом какого-то сознательного плана. Она является результатом смерти государства. Государство умерло, а слуги его остались. Это модель антигосударства, и сила ее в том, что она совершенно непобедима. В обычном государстве, когда чиновник или полицейский совершает преступление, он должен его скрывать, потому что если дело вылезет наружу, его накажут. В антигосударстве преступления гораздо лучше совершать публично, потому что тогда все те, кто не совершал преступлений, становятся либо твоими соучастниками, либо врагами антигосударства. <...> Любой убитый силовиками может быть объявлен террористом. Любой, кто взялся расследовать такое убийство,— экстремистом. Чем кончится тотальное бесправие? Тотальной нищетой? Нет проблемы, нищета народа — это не забота антигосударства. Чем кончится тотальная нищета — восстанием? Нет проблемы, мы же всегда предупреждали, что НАТО и враги России готовят ваххабитский бунт. Чем кончится восстание? Нет проблем, по агентам НАТО в селах и городах нанесут точечный удар «Градом», и все, кто попал под «Град», будут агентами НАТО. Разве вы не знаете, что российская артиллерия и авиация наносят исключительно точечные удары? Разве вы не знаете, что российская артиллерия и авиация в Цхинвали бомбила только грузинские танки? А все бомбы, которые упали на людей в подвалах, были исключительно грузинские? Чем кончится «Град»? Новыми звездочками. За войной против Грузии рано или поздно последует война против ваххабитов. Это России на Кавказе нужен мир. И террористам, и силовикам нужна война.*

Экономический кризис

Прикремлевский политолог **Павел Данилин** в статье **«Рай для леммингов»** (сайт Взгляд, 28 ноября) описывает настроения в условиях экономического кризиса в некоей прослойке общества, называемой им «политическим классом» (судя по всему, речь идет о лояльной к режиму политмассовке). С долей пафосного презрения признав, что *средний класс, т. н. офисный планктон, сейчас медленно, но верно становится антигосударственным*, что, *нажившись и зажравшись при стабильности, набрав кредитов и долгов*, он

сталкивается с суровыми буднями кризиса, Данилин далее озабоченно констатирует: *Политический класс оказался критически не готов к функционированию в эпоху кризиса. Он ведет себя так, будто все происходящее вокруг его не касается и свершается вне его участия! <...> Что бы ни происходило, по мнению политического класса, все делается «не так». Виновным во всем априори назначается государство. <...> Иногда идут дальше и говорят, что вина лежит лично на Путине. Некоторые делают еще один шаг и заявляют, что вот, скоро Медведев, дескать, Путину покажет...* Это оскорбляет Данилина. *В ситуации кризиса наш политический класс становится слепым и глухим. От глупого публичного «одобрям-с», от невнятного бормотания в СМИ и от фиги за пазухой толку нет никакого. Политический класс стремительно обесценивает самого себя.* Выход Данилин видит в том, чтоб развернуть во всю ширь пропагандистскую кампанию: *государство должно озаботиться тем, чтобы дать политическому классу смысл. Возможно, насильно накормить этим смыслом. <...> Поскольку у власти есть план, этот план должен быть предъявлен. Он должен стать достоянием всего политического класса.* Как можно догадаться, автор и сам не прочь отработать смену на этой пропагандистской фабрике.

В «Ежедневном журнале» (17 сентября) **Леонид Радзиховский** в статье **«Дефолт понтов»** иначе оценивает социокультурное, моральное значение для России разразившегося экономического кризиса. *От руководства России равно не зависит ни приток, ни отток нефтедолларов и прочих инвестиций — пловец не определяет течение в море. От пловца зависит другое — состояние его собственного организма. От российской политики зависит в огромной мере, как мы усвоили (переварили) тот примерно ТРИЛЛИОН нефтедолларов, который приплыл в страну за девять жирных лет. От российской политики не зависит мировая финансовая пандемия — но зависит, в каком состоянии российское общество встречает эту пандемию. За девять лет нефтедолларового разврата в России (как, впрочем, и ни в одной другой сырьевой стране) не создано, честно говоря, ни черта — ни «высоких», ни «низких» технологий. Зато построен длинный и сложный нефтедолларовый мультипликатор, когда каждый бакс, полученный «на том конце кишки», 100 раз прокручивается в нашей нефтерентной экономике. Результат девяти лет безумного преуспевания — пузыри на рынке недвижимости, на потребительском рынке. Но самое главное — психологические пузыри. «Разврат не в магазинах — а в головах». В стране всеобщее убеждение, что нам море по колено, что рента ОБЯЗАНА расти, мультипликатор ОБЯЗАН раскручиваться и дальше.* Этому убеждению способствовали и особые факторы. *Традиционная психология Обломовых, верящих в халявные деньги и ждущих их же. Рыночная инфантильность — мы не прошли, на самом деле, никакой школы спадов. Кризис 1991-го был настолько же ужасен, насколько не имел отношения к рынку. Кризис 1998-го был уже вполне рыночным, но коснулся малого числа людей и очень быстро сменился бешеным ростом. В общем, понимания того, что кризисы НЕИЗБЕЖНЫ, в сознании и подсознании — нет. Дефицит рыночного иммунитета: да, кризисы никого и нигде не радуют, к ним все и всегда «не готовы», но наше население к ним не готово — вдвойне. Русское, российское нетерпение. Как только пошел нефтегазовый*

фарт, затянувшийся на годы, — включился сценарий «рыбака и рыбки». Путь от разбитого корыта до ощущения «владычицы морской» мы пролетели на всех парах — за несчастные 7-8 лет. (...) В результате «потребительское доверие» в России мутировало в ЗЛОБНЫЕ, АГРЕССИВНЫЕ ПОНТЫ. ВСЯ СТРАНА ЖИВЕТ ПОНТАМИ — И ТОЛЬКО ПОНТАМИ. <...> Экономические, политические, идеологические понты давно уже с успехом заменили и приличие, и здравый смысл, и инстинкт самосохранения. Понты — «национальная идея». Халявные понты — и полная убежденность,что наши понты обязаны своими инвестициями и нефтедолларами оплачивать «они». За что мы их и презираем от всей души. <...> Кто заплатит за разбитое корыто? <...> уже почти 10 лет страна живет в условиях общественного договора: «мы» («народ») смотрим ТВ и не лезем в политику, «вы» (власть) «делаете так, что все идет хорошо». И все идет хорошо. Все довольны, все отлично. И вдруг — все пошло плохо... Кто виноват? Приватизация 1990-х? Это после восьми лет процветания — опять приватизация?! «Олигархи»? Кастрированы, живут в Швейцарии, платят налоги, ни во что не лезут. Американцы? Далеко. Евреи? Прискорбно мало. Кавказцы? Прискорбно много. Грузия? Разбита наголову. Демократы и либералы? Утоплены в сортире. «Объективные экономические законы»? Ну да. Но КТО их такие придумал? СПРОСИТЬ С КОГО?! Так КТО?! Кому водить? Кому платить? В «обычных» странах в таких случаях к власти может мирно придти оппозиция. А если ее в природе не существует? Что, кто тогда? Радзиховский в характерной для него «гершензоновской» тональности заключает: *Я очень надеюсь, что экономические трудности не перерастут в СИСТЕМНЫЙ социально-политический кризис. <...> Но я очень боюсь, что возможны великие потрясения — в том числе политические. Почему «боюсь»? Не потому, что симпатизирую нынешней власти. Не симпатизирую. Но думаю, что «остальное — хуже» <...> по итогам этих потрясений НИКАКИЕ «вменяемые силы» извне власти наверх не выйдут — ввиду полнейшего отсутствия этих самых «сил».*

Евгений Ихлов в статье **«Закон исторической подлости»** (Каспаров.Ru, 24 сентября) пространно размышляет о *неизбежности краха социально-экономической модели «путинизм».* Фиксируя данность, он пишет: *За последние годы, оправдывая ожидания масс, мы вернулись к «золотому застою» (условно назову так период с конца шестидесятых до середины семидесятых, то есть когда зарплаты уже поднялись и можно стало обсуждать йогу, НЛО и величие царской России, а колбаса еще не исчезла). И известная часть российского общества согласилась обменять покорность и даже не просто аполитичность, но отказ от любой гражданственности на потребительское преуспеяние. А за подтверждение патриотических чувств принадлежности к великой стране они были согласны принимать спортивно-зрелищные достижения, телевизионные демонстрации военной силы и прочие симулякры. <...> Путинский потребительский бум в значительной степени основан на росте кредитов. На кредитные деньги приобретаются категорически не отечественные товары (кроме квартир и домов). А быстрый рост доходов у работающих вызван не ростом производительности труда, но межотраслевым, межрегиональным и «межукладным» соревнованием за кадры.*

Как это уже было в семидесятые годы. В принципе, это даже не очень болезненная ситуация — улучшается образовательный уровень, растут жизненные запросы. Постепенно мог произойти качественный переход к обществу европейских ценностей. И вообще, от «голландской болезни» не умирают. На выходе мы получили авторитарное гедонистическое общество, провинциально самодовольное и замкнутое. Только такое общество не может быть гарнизоном осажденной крепости. *Россия может быть «крепостью», но тогда не будет потребительским раем. А никакой иной мотивации соглашаться на безропотное подчинение властям российский средний класс не имеет. Поэтому полагаю, что исторически скоро произойдет расторжение сделки по продаже гражданской души государству-мефистофелю (мефиц — «разрушитель» + тойфель — «лжец» на древнееврейском). Эта сделка называлась «обмен демократии на благополучие». И, как это положено, при расторжении сделки начнется «реституция» — многомиллионный российский средний класс потребует себе назад, как писали марксисты, «основные буржуазные свободы». Ведь что означают ужасные слова верховного главнокомандующего: «кругом враги»? Они что, в «реале», а не шутейно готовят переход России на явно антиамериканские, антизападные позиции? Как же мучаются сейчас этим вопросом «космополитические» части элиты и среднего класса. Неужели новые силовые правители страны велели им сворачивать «жизнь на два дома»? И никаких семей в Лондоне, никаких фирм в Германии и Израиле, никаких квартир в Париже, никаких вилл в Ницце и отдыха в Испании. Квартиры — «от Ресина», отдых — в Сочи (или в трехзвездочной гостинице «Кепка+» в Очамчирском районе признанной Республики Абхазия), хорошая работа — в министерствах или на «чекистской» госкорпорации, банковские счета — в Газпромбанке или ВТБ. <...> При продолжении развития победившей этим летом «силовой» линии в стратегической перспективе будет попытка перейти к иной конфигурации элиты — к созданию полностью номенклатурной, «служивой» элиты. Условно говоря, вместо 100 миллиардеров и миллиона яппи возникают 100 тысяч «бонз» — крупных чиновников, связанных с государственно-монополистическим бизнесом, обладающих имуществом на несколько миллионов (все в у. е.), но полностью зависимых от государства. Основа социальной стабильности — 100 млн покупающих субсидированные товары первой необходимости. Но чтобы эта система не распалась от коррупции, требуется резкое усиление карательных мер.*

О судьбе контракта власти и общества размышляет и **Андрей Колесников** (**«Контракт эпохи низкой нефти»** — Газета.Ru, 18 ноября). В нулевые годы *постепенно начал формироваться новый контракт, чьи контуры стали ясны как раз тогда, когда поднялась нефть — политические заморозки в обмен на хлеб и зрелища, лоснящиеся от углеводородов.* Но ныне *лоск и глянец нефтяной эры растворяются на глазах в воронке очистительного кризиса, и потому требуется новый контракт.* Какой? По Колесникову, *углеводородного ресурса для застойного или мобилизационного сценариев нет — они слишком дорогие. Жесткость режима не компенсируется его эффективностью. Почему тогда граждане должны расплачиваться за негодный государственный сервис своими сыновьями (призывная армия, чье существо-*

вание не оправдано экономически в эпоху инновационной экономики и дефицита трудовых ресурсов) и налогами (они уходят на поддержку равноприближенных предпринимателей и военные кампании, схожие с грузинской)? Скорее всего, компенсаций в виде роста реальных доходов населения больше не будет — их и так-то съедал инфляционный налог, а теперь и подавно. Значит, придется возвращаться к нормальной схеме общественного договора, многократно описанной классиками, в том числе, например, Патриком Бьюкененом в его нобелевской лекции: «На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике — соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага: от местной пожарной охраны до суда». Называется — демократия налогоплательщиков. Нет ничего проще. Как нет ничего сложнее, потому что новый общественный договор потребует восстановления институтов общественной дискуссии и реальной демократии. Никто так и не понял, что это — не погремушка, а экономический инструмент. А вот на восстановление утраченного, кажется, не хватает уже человеческого ресурса: с элитой, чьи мозги размягчены нефтью, а обоняние отравлено газом, строить демократию обратно — дело почти безнадежное. Так что во время и после кризиса будем жить без контракта — с разрушенным старым и несформулированным новым.

А по **Михаилу Делягину («Основы и конец "сувенирной демократии"»** — Ежедневный журнал, 7 ноября), *массовый консюмеризм, который покрывал наших руководителей спасательной тефлоновой пленкой, уже превращается в их погребальный саван. Нам предстоит пережить быструю консолидацию общественных интересов против интересов правящей клептократии и стихийное возникновение прямой демократии масс — против «сувенирной демократии» миллиардеров. Демократия масс будет формироваться на левой основе из-за общей бедности и падения уровня жизни и будет интернациональной по духу, потому что тупиковость местечкового национализма осознали почти все, кроме прямых сотрудников соответствующих ведомств. Разумеется, демократия масс будет патриотической и — как и всякая демократия — в разумной части либеральной, но основными ценностями будут ценности именно левые.*

Член правления Института современного развития **Евгений Гонтмахер** в статье **«Сценарий: Новочеркасск-2009»** (Ведомости, 6 ноября) смоделировал ситуацию, которая может реализоваться где-нибудь в глубине России уже в самое ближайшее время в случае «массового высвобождения людей с местного машиностроительного (металлургического, химического и т. п.) градообразующего предприятия». Это, по прогнозу Гонтмахера, обернется массовыми волнениями, которые могут перекинуться и дальше. *...наиболее вероятен вариант, когда ситуация рассосется — народ устанет бузить, тем более что власти попробуют использовать свое нынешнее самое мощное оружие, деньги. В данном случае — возобновив работу заведомо убыточного, неконкурентоспособного завода, который нуждается в жесткой санации, предполагающей, в частности, высвобождение значительной части персонала. Но очевидно, что постоянно держать на плаву за счет государственных инъекций н-ский завод невозможно. Поэтому рано или поздно (скорее — рано) все вернется на круги своя. А предложить что-либо другое,*

кроме весьма кратковременной передышки, нынешнее государство не может: оно погрязло в коррупции, утеряло сколько-нибудь серьезные навыки профессионального решения возникших проблем. Это видно, в частности, на «ужасном» (по словам Владимира Путина) положении малого бизнеса и отвратительном инвестиционном климате. Поэтому вариант «рассосется» на самом деле сугубо промежуточный по отношению к настоящей развилке. Либо, не дожидаясь того, что н-ские или подобные им события станут прологом всероссийской встряски, надо наконец приступить к решительной модернизации всей российской жизни — от экономики и до политики — на принципах минимизации государственного участия в общественных процессах, честной конкуренции и свободы частного предпринимательства. Либо мы все втягиваемся в такой кризис, выход из которого невозможен в рамках нынешнего конституционного строя.

В Рунете кризис вызвал и немало энтузиазма. Характерно рассуждает **Владимир Голышев** (**golishev**, 1 октября): *Почти 10 лет моя страна и мой народ разлагались и подыхали... нравственно, интеллектуально, физически, наконец... путинский гламур — это ж не робски со сваровски, это идеология паразита, сосущего «кровь земли», идеология его обслуги, инвестирующей чаевые в квадратные метры, идеология быдла, которое интенсивно дрочит на все это... и все это нынче накрывается медным тазом, по улицам уже гуляет свежий ветер дефолта... на повестке дня — санация <...> ну и как можно этому не радоваться? как можно этого не ждать, как ждет любовник молодой минуту верного свиданья? а? вы что, 98-й забыли? как тогда дышалось! какие перспективы открывались! какой драйв был тогда! разве можно не желать своей стране и своему народу еще раз пережить такое?*

Россия и мир

Директор Центра исследований постиндустриального общества **Владислав Иноземцев** критически оценивает официальную внешнеполитическую доктрину (**«Мечты о многополюсном мире»** — «Независимая газета», 18 сентября). *...заявления о том, что мир должен быть многополярным — благое пожелание, а расчеты на то, что он будет лучше однополярного, — иллюзия. Что впереди? Сегодня этот вопрос обретает особую остроту. Очевидно, что однополярный мир в его американской версии утрачивает способность к самоупорядочиванию. Столь же ясно, что США останутся одним из полюсов мироустройства — наряду с Европой и поднимающимся Китаем. <...> Россия, увы, при всем ее «восстании с колен» в последние десять лет не является претендентом на статус полюса: ее экономика паразитирует на экспорте нефти и газа; ее финансовое благополучие серьезно зависит от Запада; ее армия не подготовлена для действий в отдалении от собственных границ, а интеграционные усилия на пространстве СНГ сложно не назвать полнейшим провалом. Российским лидерам, призывающим к «многополярному миру», следовало бы отдавать себе отчет в том, что в этом мире Россия не будет одним из ведущих полюсов. Наиболее реалистично новую многополярность описал американский политолог Параг Ханна — как мир, где доминируют американская, европейская и китайская «им-*

перии» и существует «второй мир», «страны которого выглядят ключевыми точками опоры в многополярном мире»... <...> Готова ли Россия к многополярному миру, в котором она не будет одним из полюсов? Вся риторика кремлевских идеологов заставляет в этом усомниться. Тогда как Россия собирается изменить ситуацию в свою пользу? На этот вопрос никто отвечать даже не собирается. Автор добавляет: вариант трехполюсного мира — вероятный, но не единственный. *Точнее, это самая близкая перспектива <...> Мы не знаем, какие ресурсы и возможности окажутся наиболее ценными через 40—50 лет и вокруг чего развернется основное противостояние. Но скорее всего в многополярном мире воцарится не мирное сотрудничество полюсов, а система сеньориально-вассальных отношений между полюсами и их «близкой периферией». На границах периферий возможны конфликты — как инициированные великими державами, так и вызываемые попытками появления новых центров силы. Многополярный мир XXI века станет миром насилия и войн — и как таковой он не будет стабильным.* Далее Иноземцев напоминает: в условиях роста нестабильности система попытается обрести баланс через новую биполярность. Какой эта последняя может быть? Автор предлагает три варианта. Во-первых, США, которые уповают на военную силу, могут начать координировать свои усилия с государствами, живущими теми же принципами. Во-вторых, если США предпочтут стратегии односторонних действий политику союзничества и формирования новых эффективных международных институтов, вероятно появление «Северного альянса» — зоны ответственности развитых стран, включающей в себя Северную Америку, Западную и Восточную Европу и Японию; Россия могла бы присоединиться к такой конфигурации. Третий, наименее вероятный (но особенно активно дебатируемый сегодня в России) сценарий предполагает политическое сближение России, Китая и Индии против Соединенных Штатов и Европы — *сценарий, совершенно бессмысленный для некоторых, если даже не для всех, потенциальных участников этого «антизападного» альянса.* По Иноземцеву, *апология многополярности уводит и Россию, и ее потенциальных союзников, и даже западные страны от гораздо более важной задачи: повышения управляемости мира и создания не противовесов друг другу, а эффективных международных институтов. Увлеченность же Realpolitik в мире XXI века крайне опасна и нефункциональна.*

Юристы из Челябинска **Валериан Лебедев** и **Валерий Киреев** в статье **«Демократии без суверенитета не существует!»** («Свободная мысль», № 9) обнаружили ряд вещей. Одна — что понятия «демократия», «суверенитет» и «гуманизм» можно толковать произвольно (поскольку *они являются идеологическими и оценочными*). Другая — что *сегодня мы имеем дело с агрессией США против России.* А информационную войну, оказывается, власти США ведут и против собственного народа. В общем, нет демократии в США. Зато ее до отвала у нас, только она *суверенная*... Не открытия, прямо скажем, для специфически заостренной мысли. Но характерно, что эти директивно вещаемые банальности печатает претендующий вроде бы на авторитетность журнал.

Две публикации об отношениях России и Китая. **Э. Кульпин-Губайдуллин** в статье **«Россия и Китай: проблемы безопасности и сотрудничества в**

контексте глобальной борьбы за ресурсы» («Полис», № 6) задается вопросом: велика ли опасность для России от Китая? Он полагает, что глобальность внутренних проблем Китая создает объективную предпосылку для грядущей коллизии. У нас планетарного размера ресурсы в Сибири и на Дальнем Востоке, у Китая планетарного размера численность населения. С этим так или иначе придется разбираться. А военный аналитик **Александр Храмчихин** в статье **«Как Китай раздавит Россию»** (АПН, 23 июля) полагает, что *внешняя экспансия для Китая является способом выживания. Вопрос в формах и темпах. Военная форма экспансии не предопределена, но отнюдь не исключена. Ей способствуют усугубляющийся развал ВС РФ и особенности психологического устройства высшего руководства страны. Оно не будет защищать Россию, если при этом может пострадать само. Война будет короткой. У России нет шансов.* Китай подготовил идеологические, историографические обоснования и военную концепцию. Есть у него и «пятая колонна» в России — мигранты из Китая. Внешнюю экспансию Китай *предпочитает вести «спокойным», «мирным» экономическим и демографическим путем.* А военный сценарий *может быть применен в том случае, если китайское руководство увидит, что серьезный внутренний кризис становится неизбежным. И решит, что единственным способом избежать его становится активная, форсированная внешняя экспансия, обеспечивающая захват территорий и ресурсов и отвлекающая население от внутренних проблем. Т. е. быстрая открытая экспансия будет рассматриваться как «меньшее зло» по сравнению с внутренней катастрофой.* По Храмчихину, сценарий военной агрессии может быть следующим. Она начнется зимой, скорее всего — в новогодние праздники. Зимой замерзают Амур и Байкал, а также и Севморпуть. Транссиб будет перерезан в первые же часы войны. *Предлогом для агрессии станет нарушение «надлежащих прав и интересов китайцев, проживающих за границей». Например, во время новогодних гуляний русский (якут, бурят, татарин) набьет китайцу лицо. Разве это не будет нарушением надлежащих прав и интересов?* Танковые и механизированные соединения НОАК нанесут удар из района Хайлара на запад в направлении Чита — Улан-Удэ — Иркутск. После захвата Иркутска следующей целью НОАК станет выход на рубеж Енисея... Ну и т. д. А в обзорной статье **«Вооруженные силы России: цифры и факты»** («Москва», № 7) Храмчихин на основе детального анализа ситуации приходит к выводу, что *в обозримой перспективе ВС РФ утрачивают возможность обеспечивать безопасность страны от внешней агрессии.*

А вот генерал-полковник **Леонид Ивашов** в статье **«Будущее за Сибирью»** («Наш современник», № 9) никакой опасности от Китая не видит. Якобы китайцам в Сибири слишком холодно... Он, напротив, призывает (в духе описанного Иноземцевым третьего варианта развития событий в XXI веке) составить с Китаем *второй полюс безопасности, альтернативный американо-натовскому альянсу, превратившемуся в глобального международного разбойника.* А заодно уж и переместить *центр России* (имеются в виду всего лишь органы власти) в Сибирь. Поближе к Пекину, чтоб, наверное, проще было ездить к друзьям с подарками.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

Вячеслав МОИСЕЕВ

РЕПЕТИЦИЯ АПОКАЛИПСИСА*

Тоцкое — 1954. Свидетельства о войсковых учениях с применением атомного оружия в Оренбургской области

1. Последние дни

СООБЩЕНИЕ ТАСС. В соответствии с планом научно-исследовательских работ, в последние дни в Советском Союзе проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решать задачи по защите от атомного нападения (газета «Правда», 17 сентября 1954 года).

Это все, что пятьдесят лет назад было позволено узнать гражданам СССР о событии, произошедшем в сентябре 1954 года на военном полигоне в тринадцати километрах севернее районного центра Тоцкое Чкаловской области, на полпути между Куйбышевом (Самарой) и Чкаловом (с 1957 года — вновь Оренбургом), примерно в двухстах километрах от одного и от другого города.

Но оренбуржцы, особенно жители западных районов области, практически со дня взрыва, пусть не из официальных сообщений с фактами и цифрами, а из устных рассказов-свидетельств знали, что же именно случилось на Тоцком полигоне в то по-летнему солнечное и жаркое утро. Да, атомные учения хоть и считались великой советской тайной, но за годы, когда трепаться о делах государственных было не принято (потому, в первую очередь, что небезопасно), превратились для нас, оренбуржцев, в некое

* Журнальный вариант.

Вячеслав МОИСЕЕВ — родился в 1962 г. в Оренбурге. Окончил Факультет иностранных языков Оренбургского пединститута, служил в армии. Работал в областной молодежке, пресс-секретарем губернатора, главным редактором газет «Оренбуржье», «Оренбургский курьер», «Оренбургский университет». Сейчас — руководитель бюро «Российской газеты» в Оренбурге, редактор альманаха «Башня». Выпустил сборники стихов и переводов «Предлог», «Тропы свободы», «Естественный отбор», книгу прозы «Теплые руки/Кольцо в стене», повесть-сказку «В поисках Живой воды» (в соавторстве с Сергеем Хомутовым). Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, дважды лауреат открытого Евразийского конкурса переводчиков. Живет в Оренбурге.

предание, которое узнавал каждый с самого детства — от тех, кто видел ядерный взрыв своими глазами, или от тех, кто лично знал очевидцев. И это неудивительно: шила в мешке не утаишь, атомный гриб в сейф не засунешь.

Мы жили много лет с сознанием причастности к жуткой тайне, а когда в перестроечные годы дверца секретного сейфа слегка приоткрылась и мы увидели, что именно составляло этот наш секрет, то поняли: жить с этим ужасом придется не только нам, но и внукам нашим, и правнукам...

Итак, теперь каждый житель Оренбургской области уже совершенно точно знает: 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в ходе войсковых учений была взорвана атомная бомба мощностью 40 килотонн в тротиловом эквиваленте. Она почти в два раза превосходила по своей разрушительной силе каждую из тех бомб, что американцы в августе 1945-го сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Чаще всего оренбуржцы, знакомясь с подробностями проведения атомных учений под Тоцким, задают два вопроса: «Зачем это было нужно?» и «Почему именно у нас?» Конечно, многим (особенно тем, чье мировоззрение формировалось в перестроечные и постперестроечные времена) сейчас трудно представить атмосферу, в которой готовились учения 54-го: разгар холодной войны; Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны; Советский Союз и Соединенные Штаты — враги более чем когда бы то ни было. Словом, СССР стремился догнать США и активно готовился к ядерной войне.

Данные, поступавшие от наших разведчиков, действовавших в Соединенных Штатах, подтверждали наихудшие опасения. Ответ СССР не заставил себя ждать: страна, только что пережившая самую кровавую и разрушительную войну в истории человечества, не пожалела сил и средств на создание ядерного щита. Уже в 1949-м Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. В 1951-м в СССР прошли штабные учения с имитацией применения ядерной бомбы. Американцы с 1951 по 1956 год провели восемь войсковых учений с применением атомного оружия.

Земле грозил Апокалипсис. И осенью 1954 года в Оренбургской области состоялась его генеральная репетиция. До сих пор никто и никогда не взрывал атомный заряд в густонаселенном районе. А Тоцкий полигон (весьма небольшой по размерам — примерно 10 на 10 километров) находится именно в густонаселенном районе — всего в сорока километрах от Бузулука и в тридцати от Сорочинска, окружен поселками и селами, до ближайшего из которых — Маховки — всего четыре километра. Маховка и сгорела почти вся в атомном пламени 14 сентября...

Итак, зачем были нужны такие учения, — понятно. Но до сих пор вызывает самые черные подозрения вопрос второй: почему их провели именно в Оренбургской области, причем в ее наиболее населенной западной части?

Родившийся спустя восемь лет после Тоцких учений, я не мог, конечно, даже предположить, когда, еще не умея читать, с увлечением раскрашивал цветными карандашами брошюру «Воениздата» о поражающих факторах атомного оружия, что эта книжка с картинками, хранившаяся у нас дома в

селе Родничном Переволоцкого района, написана на основе сведений, полученных во время учений 1954 года. И уж, разумеется, не ведал, что всего-то в сотне километров западнее нашей деревни взорвали атомную бомбу.

Первые подробности об атомных учениях я узнал в 1979 году от полковника Н. И. Пастухова, своего учителя НВП. Он рассказывал нам, десятиклассникам, что в 54-м, когда был еще молодым офицером, его подразделению накануне 14 сентября поставили задачу выдвинуться к месту эпицентра и занять позицию в нескольких километрах от него. После взрыва, надев средства защиты, Николай Иванович вместе с другими солдатами и офицерами проследовал через зараженную радиацией местность. Так мы, семнадцатилетние, впервые услышали рассказ участника этого марша — и о расплавленных в алюминиевые лужи самолетах, и об умирающих от сильнейших ожогов и сверхдоз радиации животных, и о спекшейся в корку земле, и о защитных комплектах, снимать которые пришлось с большими предосторожностями, и о дезактивации техники и обязательной бане для личного состава...

Спустя пару лет в Оренбургском педагогическом институте другой полковник преподавал нам способы защиты от ядерного поражения. Больше всего меня потрясла антирадиационная колыбелька для новорожденного — защитного цвета, со специальным сетчатым пологом, будто бы даже задерживающим радиоактивные частицы. Надолго ли она смогла бы уберечь ребенка?..

А нашего учителя НВП Николая Ивановича к тому времени уже не было на свете. Говорят, скончался от рака. То, о чем он рассказывал нам, уже не составляло военной тайны: как раз в 1979-м истекли двадцать пять лет, в течение которых все участники Тоцких учений не имели права что-либо кому-либо сообщать о пережитом в 1954 году. Срок подписки о неразглашении окончился. Но понадобилось еще десять лет и кардинальные перемены в стране, чтобы о войсковых учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне стало возможно говорить открыто. В том числе в средствах массовой информации.

2. «Изгиб земли»

По всей вероятности, руководство СССР приняло решение о проведении войсковых учений с применением атомного оружия в начале 1954 года, потому что уже весной на Тоцком полигоне началась интенсивная и дорогостоящая, судя по масштабам, подготовка: прокладывались грейдерные дороги, неподалеку от полигона возводились дома для офицерского состава, а несколькими километрами дальше — другие дома, как позже выяснилось, для местных жителей. Именно в те дни, когда зашел разговор об отселении людей из их родных Елшанки, Березовки, Пьяновки, Маховки, Орловки, стало ясно, что учения предполагаются весьма крупные.

По словам Григория Сидоровича Якименко, полковника в отставке, а в 54-м — начальника оперативного отделения соединения, атомные учения были назначены на 1 сентября 1954 года, но из-за непогоды перенесены на две недели. Согласно разным источникам, в них принимали участие от 40 до 45 тысяч человек. Командовал учениями маршал Советского Союза

Г. К. Жуков. Целью учений, как отметил в 1990 году в интервью «Известиям» тогдашний начальник управления Генштаба Вооруженных сил СССР генерал-полковник В. В. Коробушин, были отработка инструкций по вопросам ведения боевых действий в условиях применения атомного оружия, а также способы защиты от его поражающего воздействия... Без учений с максимальным приближением к боевой обстановке, как сказал полковник, нельзя было быть полностью уверенными в достоверности и эффективности рекомендаций военной науки: *Всем участникам разъяснили: проведение такого учения — вынужденная, но необходимая мера, что его повторение исключается, и надо подготовиться так, чтобы сразу извлечь наибольшую пользу для обороны страны. И прежде всего, в вопросах боевого применения родов войск, обеспечения противоатомной защиты личного состава, его психологической устойчивости при атомном взрыве... Самое серьезное внимание уделялось отработке действий личного состава как в момент взрыва, так и при преодолении зараженных радиоактивными веществами участков местности.*

А вот что рассказал мне в октябре 1989 года Федор Илларионович Колесов, в 1954 году занимавший пост председателя Тоцкого райисполкома:

— Я у военных, кто это готовил, спрашивал: «Почему не в песках взорвать, мало ли у нас песков?» А они говорят: «Нам надо знать, как здесь будет, тут такой же изгиб земли, как в Германии. И населено так же...»

Что ж, это многое объясняет. Действительно, с 1946 года и до самого исчезновения СССР с карты мира именно Германию — ФРГ и ГДР — стратеги НАТО и Варшавского договора считали наиболее вероятным театром военных действий Третьей мировой войны. И без ядерного оружия эту войну не представлял никто. Но разве это значит, что надо было устраивать атомную войну мирным жителям русских, мордовских, татарских, башкирских и даже немецких сел Оренбуржья? Впрочем, это вопрос риторический, а потому вернемся к воспоминаниям Ф. И. Колесова.

— Это готовилось долго, — рассказывал Федор Илларионович. — *Здесь все время находился заместитель председателя облисполкома Быстров, приехали военные из Москвы. Нас известили заранее — за месяц я узнал. Автобусы и машины новые появились тут, чтобы в случае чего увезти людей из райцентра. От меня требовали, чтоб заранее никого никуда не вывозить. Некоторые села вывезли, а про другие мне сказали: «Завтра будут бомбу бросать, никого не отпускать, лошадей не давать, активу запретить семьи вывозить». Я еще просил поселок Ключевской вывезти. «Нет,— говорят,— там Самарка, вы их под берег спрячьте, а скотину по лесу пустите». Весь лес был забит госпиталями, на 5-м разъезде и на станции стояли санитарные поезда — в случае выхватить людей... Для начальства вышку сделали на Петровской Шишке* (возвышенность километрах в десяти от эпицентра. — *В. М.*). *Все военные там смотрели и этот, тогда был главный по атому, Курчатов. Никто из них, по-моему, не знал, что может быть. А может, и знали. Да ведь они сами все на вышке стояли, на них тоже попало...*

Еще позже, когда окрестные деревни, население которых не подлежало эвакуации, были разбиты на так называемые десятидворки и к каждой приставлен один военный (солдат или сержант) и один активист, партий-

ный, советский работник из местных, людям стали объяснять, что во время учений ожидается сильный взрыв.

В 1991 году тоцкая районная газета опубликовала воспоминания местной жительницы, пенсионерки В. К. Плюско:

— Уже с весны шла подготовка к учениям. Летом прибыло огромное количество воинских частей, которые заняли окрестности на десятки километров. К месту испытания свозили технику и животных. Готовились долго... Время испытания откладывалось. Нужна была определенная метеосводка. С населением велась подготовительная работа. По десятидворкам офицерами проводились разъяснительные беседы. Сигналом тревоги была сирена. В обязательном порядке из военного городка в Сорочинск должны были выехать семьи с детьми. Остальным по желанию можно было остаться, но подготовить укрытие — щель. Место было указано — в лесу у реки Самары. Здесь же размещалась воинская часть, ведущая наблюдение за рекой[1].

Иван Емельянович Кушайков в 1954 году был старшиной-сверхсрочником и служил заведующим складом гарнизонной пекарни. Вот что он рассказал о подготовке к учениям:

— Из Москвы приехали руководить работами. Собирали финские (то есть сборные. *— В. М.) домики для офицеров, прокладывали грейдерные дороги. Эвакуировали жителей близлежащих сел — Маховки, Пьяновки, Орловки, Березовки... Эвакуированным строили дома где-то под Бузулуком.*

Мария Кузьминична Щевелева навсегда запомнила события 14 сентября. Ее воспоминания ярки и подробны, как это чаще всего и бывает у детей:

— Незадолго до событий жителей села предупредили о том, чтобы с полей и огородов убрали овощи и хорошо закупорили в погреба и ямы. Затем пригнали солдат и машины военные, чтобы разом увезти домашний скарб и хозяйство,— очень много народу и машин. В селе стоял стон, плач, мама и бабушка плакали с причитаниями. Нас вывезли (все село сразу!) в Каменную Сарму, разместили по квартирам...

А как поступили с теми, кого эвакуировать не собирались?

Те самые активисты, за которыми закрепили по десять дворов, объясняли людям (как незадолго до этого разъясняли им самим), что в день взрыва, чтобы смягчить последствия взрывной волны, надо будет открыть все окна и двери, печные заслонки, снять со стен портреты, картины и т. п. Приказывали заранее выкопать траншеи, перекрыть их досками, сверху засыпать землей и обложить ботвой. Однако такие советы давали почему-то не всем. Например, в райцентре Тоцкое, находящемся в 13-ти километрах от эпицентра, некоторым жителям велели просто выйти на улицу, лечь на землю, но на взрыв не смотреть... Не косвенное ли это свидетельство того, что организаторы учений хотели получить самые разнообразные сведения о влиянии на человека поражающих факторов ядерного оружия?

Четкие и подробные воспоминания о сентябре 54-го сохранил и житель Тоцкого-2 Николай Борисович Курапов, неутомимый краевед, много лет собиравший материалы о Тоцком взрыве.

---

[1] *Филатов А.* На дне преисподней. — Газета «Авангард» (Тоцкое Оренбургской обл), № 137 от 5 декабря 1991.

— А войск-то здесь было!.. В каждом лесочке притаились, в каждой лощиночке... Еще в мае эшелоны начали прибывать. Мы думали, просто большие учения будут, не беспокоились. Ну а когда над селом стал летать самолет и сбрасывать что ни день на поле тренировочные бомбы-болванки, тогда уже пошел по селу шепоток. А в середине августа впервые прозвучало: «Атомная бомба!»[2]

Тот же Н. Б. Курапов рассказал, что уже после учений 1954 года он проходил переподготовку на курсах «Выстрел»:

— Нам показывали там почти каждый день фильмы о боях с атомным оружием. И показали столько, что мы спать перестали. А основа этих фильмов — отсюда...

3. Поверить бомбой все, что есть у армии

Летом 1954 года подготовка к учениям шла полным ходом. Прежде всего, надо было убедиться, что на территории Тоцкого полигона, где десятилетиями проводились различные стрельбы, учебные занятия с саперами, не осталось неразорвавшихся мин и снарядов. Для этого, как уверяют очевидцы, было проведено сплошное разминирование.

Летчики, которым было поручено в день «Д» сбросить атомную бомбу, проводили учебное бомбометание с самолета «Ту-4». По свидетельству генерал-лейтенанта С. А. Зеленцова, *на местности в точке сбрасывания бомбы не было заметного ориентира, поэтому была специально оборудована точка прицеливания в виде квадрата, ограниченного белой каймой. В центре квадрата нанесен белый крест (размером 100 х 100 м), а по боевому курсу — углы из белых полос*[3]. Местные жители вспоминают, что после учебного бомбометания в районе будущего эпицентра военные несколько раз имитировали взрыв — поджигали бочки с мазутом.

В Лагерях, как тогда называли военный поселок Тоцкое-2 с прилегающим полигоном, на 42 километра раскинулись палатки, в которых жили солдаты и офицеры — участники будущих атомных учений, уже разделенные по замыслу командования на «Западных» и «Восточных». В роли «Восточных» выступали войска Белорусского военного округа, то есть именно те солдаты и офицеры, которые, случись Третья мировая война, оказались бы на ее передовых позициях в Европе. «Западных» сыграли хозяева полигона — войска Южно-Уральского военного округа. «Западные», по замыслу учений, представляли обороняющуюся сторону, «Восточные» — наступающую. Согласно разработанной руководителями учений во главе с маршалом Г. К. Жуковым программе подготовки, обучение войск велось сорок пять дней.

---

[2] *Жоголев А.* Адская машина. — Газета «Волжский комсомолец» от 5 августа 1990.

[3] Цитирую по книге: Отдаленные эколого-генетические последствия радиационных инцидентов: тоцкий ядерный взрыв. — Екатеринбург, 2000. См. также: http://atomas.ru/isp/6_7.htm и книгу генерала Зеленцова, выпущенную к 50-летию Тоцких учений: http://www.iss.niiit.ru/ksenia/tockoe/soder.htm.

Вспоминает Владимир Яковлевич Бенцианов, в 1954-м — лейтенант:

— Была жара. Мы рыли аппарели глубиной шесть метров. Мы уже знали, что готовимся к атомным учениям. Месяцами ходили в противогазах, даже спали в них, только на время еды снимали. За хлебный мякиш под маской — два наряда вне очереди, за отвернутую трубку — двое суток ареста. Но, клянусь, никто не получил этих наказаний.

О том, что лето 54-го выдалось жарким во всех отношениях, вспоминает и Г. С. Якименко:

— Солнце палило нещадно. Были вспышки дизентерии. А работы оставался непочатый край. Только одна «оборона» (то есть «Западные». — *В. М.*) *прорыла более 200 километров окопов, ходов сообщения. Причем разного профиля: в полный рост, по грудь... Цель — проверка на прочность всех видов укрытий.*

«Восточные» не отстали в объеме фортификационных работ, а по числу построенных подбрустверных блиндажей, окопов для артиллерии и минометов, окопов и укреплений для танков и самоходных артиллерийских установок даже превзошли «Западных». Как пишет в своей книге полковник в отставке И. И. Кривой, *одежду крутостей траншей и ходов сообщений делали из самых различных подручных средств, заранее заготовленных конструкций и промышленных материалов (жерди, плетни, хворост, камыш, доски, бревна, гофрированное железо, бетонные плиты и специальные конструкции)*[4]. Иначе говоря, ядерный взрыв должен был показать, какие стройматериалы следует использовать армии в предполагаемой атомной войне, а от каких надо отказаться.

Тот же И. Кривой отмечает:

Очень большие инженерные работы проводились в районе эпицентра атомного удара «Баня», но не ближе 300 метров от отметки 195.1 (место сброса бомбы, тот самый белый крест в квадрате. — *В. М.*), *а также в районах «Ствол» (гора Каланчёвая) и «Крыло» (высота Лысая), по которым планировался массированный удар артиллерии и авиации. Для обеспечения выполнения задач, которые руководители учений ставили перед офицерами и солдатами нападавших «Восточных» и оборонявшихся «Западных», обеим сторонам было придано 600 танков и самоходных артиллерийских установок, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей и автомобилей.*

Все это было необходимо для главной цели — поверить бомбой то, что есть у армии: технику, инженерные сооружения и, конечно, определить степень воздействия поражающих факторов ядерного оружия на живые организмы. На очевидцев наибольшее впечатление произвели именно несчастные подопытные животные, обреченные на страдания и смерть. О собственных страданиях люди задумались гораздо позже...

Ф. И. Колесов:

— Тут тогда столько разного барахла навезли — автобусы, орудия, танки. Привязывали к ним что-то живое — скотину какую. Или собаку пойма-

[4] *Кривой И.* Атомный гриб над Тоцким полигоном. Думиничская типография (Калужская область). Год выхода книги и издательство не указаны.

ют, закроют. В Лагеря как заезжаешь, где военторг сейчас, орудие стояло, телок был привязан, дальше — козы.

И. Е. Кушайков:

— Рыли траншеи, сажали в них крыс, кроликов, овец. Технику, продовольствие, обмундирование складировали на разных расстояниях от эпицентра.

Г. С. Якименко:

— Вокруг эпицентра на разных расстояниях расставили боевую технику. В танки сажали баранов, овец. В окопах были оставлены коровы, лошади, верблюды. Местность для испытаний была выбрана подходящая, с разнообразным рельефом. Рядом — лощины, овраги и ровная, голая степь. Часть техники прятали за холмами, кочками, а что-то ставили на юру, чтобы определить по ней разрушительную силу бомбы.

И. И. Кривой:

— В батальонных районах обороны «Баня», «Ствол» и «Крыло» были выставлены чучела (манекены. — *В. М.*) *личного состава войск, обмундированных и вооруженных по действующему Внутреннему уставу по штатам этих батальонов. Обмундирование и снаряжение были последних образцов... Кстати, весь личный состав войск, принимавших участие в Тоцких тактических учениях, был также одет в новую форму одежды и обеспечен снаряжением вплоть до спальных мешков и плащ-накидок для офицерского состава...*

...Учения под Тоцким проводились для упреждения возможных действий американцев. Понятны в этом историческом контексте весьма красноречивые имена, выбранные для обозначения условных противников, и, соответственно, их предполагаемые действия в ходе ядерного конфликта: «Восточные» взрывают над второй позицией полосы обороны «Западных» (где людей, конечно, не было) атомную бомбу, затем проводят артподготовку, наносят авиационно-бомбовый удар обычными боеприпасами и начинают атаковать позиции «Западных». Конечно же, «Западные» пытаются контратаковать теми силами, что у них еще остались, но «Восточные» отражают контратаки и завершают прорыв главной полосы обороны противника. Если уж наш потенциальный противник называл себя Западным миром, стало быть, должны победить мы — Восточные.

Эту победу советской военной мощи над «Западом», хотя бы и условным, руководство СССР решило продемонстрировать всем своим союзникам. Поэтому для наблюдения за учениями на Тоцкий полигон прибыли не только министр обороны СССР Н. А. Булганин, «отец» советской атомной бомбы физик И. В. Курчатов, министр среднего машиностроения В. А. Малышев, но и министры обороны, представители военно-политического руководства всех стран «народной демократии», в том числе Китая. Очевидцам особенно запомнились министр национальной обороны Польши маршал (одновременно советский и польский) К. К. Рокоссовский и министр обороны Китайской Народной Республики Пэн Дехуай. Для зарубежных гостей и чиновников Минобороны построили жилой городок в урочище Дурной Гай на правом берегу Самары, недалеко от впадения в нее реки Сорочки — километрах в 18-ти от эпицентра. А вот министр обороны Н. А. Булганин, партийно-правительственное руководство и маршалы А. М. Василевский, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский расположились на станции Тоц-

кая в трех специальных пассажирских составах. Булганин и Курчатов прибыли в Тоцкое вместе с Н. С. Хрущевым лишь за день до учений.

По свидетельству подполковника Н. В. Даниленко, Никита Сергеевич со свитой ходил по передней линии войск, представлял офицерам и солдатам академика Курчатова, а тот разъяснял, что за бомба будет взорвана, и «гарантировал безопасность для всех участников». Об этом вспоминает и Г. С. Якименко:

— Личному составу объяснили боевую задачу, старались все сделать для того, чтобы обошлось без человеческих жертв. Солдаты не подвели. Не было паники, дезертирства. Не растерялись и офицеры. Ну, правда, были и те, кто «закосить» пытался — в отпуск просился, вспоминал про больную родню. Но случаи единичные, по пальцам могу перечесть. Страха перед бомбой не было. Лишь неизвестность томила, ведь ничего же мы не знали о ее характере! У всех в глазах стоял немой вопрос: «Как эта чертова бомба себя поведет?» К счастью, приехал Курчатов. Я хорошо его помню — чернобородого, в синем элегантном костюме без орденов. Отвечал на наши вопросы. К нему, как к «автору», было их множество...

К тому времени вокруг будущего эпицентра уже была установлена запретная зона радиусом восемь километров. Говорит генерал-полковник В. В. Коробушин:

— За пять суток до начала учений все войска были выведены из запретной зоны. По периметру ее выставили охранение. С этого момента и в течение первых трех суток после взрыва допуск туда производился только через контрольно-пропускной пункт по специальным пропускам и жетонам.

В приказе Г. К. Жукова говорилось: «*...В день учения с 5.00 до 9.00 запретить движение одиночных лиц и автомашин. Передвижение разрешить только в составе команд с ответственными офицерами. С 9.00 и до 11.00 всякое движение запретить... Вывод войск за пределы запретной зоны закончить к исходу 9 сентября и письменно донести мне. Все подготовленные укрытия и убежища, а также готовность средств связи к приему и передаче сигналов проверить специальными комиссиями и результаты оформить актами*»...

Наконец настал вечер 13 сентября. В расположении войск прозвучала команда «отбой». Над опустевшими окрестными селами, жителей которых отправили под Бузулук, только сверчки перекликались мелкими трещотками. А немного подальше от той точки, которая завтра утром станет эпицентром, подоив коров, поужинав, укладывались спать мирные люди, большинство из которых никогда не видели войны. Они не знали, что именно завтра совсем недалеко от их дома случится небольшая, но совершенно настоящая атомная война с непредсказуемыми последствиями.

4. «Татьянин» день

Сначала — вспышка ярче молнии. Свет — сильнее солнца. Те, кто, вопреки запретам, смотрел на огненный шар, лишились зрения на минуту-другую. Люди услышали страшный треск — мощнее грома, будто в небе руки великана рвали листовое железо. Земля качнулась, словно люлька.

В небо поднимался огромный огненный столб, его верхушка закручивалась в гигантский купол, переливавшийся всеми красками радуги. Исполинский атомный гриб стоял над тем местом, где всего несколько секунд назад шелестела дубовая роща, радовали глаз полевые цветы, журчали родники, пели птицы.

Вскоре шляпка радиоактивного гриба оторвалась, превратясь в облако, и поплыла на северо-восток...

Так очень коротко, суммируя воспоминания многих очевидцев, можно описать Тоцкий атомный взрыв, произошедший в 9 часов 33 минуты 14 сентября 1954 года.

А в шесть часов утра, за три с половиной часа до этого, бомбардировщик «Ту-4» с атомным устройством на борту вылетел с аэродрома, как сообщили офицерам, принимавшим участие в учениях, «южнее Тоцкого полигона». Сегодня мы знаем, что «Ту-4» с бомбой, которую ее создатели нарекли ласковым женским именем «Татьяна», поднялся с аэродрома НИИ Военно-Воздушных сил в Ахтубинске Астраханской области. Экипаж, по отзывам очевидцев, был подобран опытный, уже сбрасывал атомные бомбы на Семипалатинском полигоне. Бомбардировщик летел в сопровождении истребителей, и двенадцать членов его экипажа во главе с командиром подполковником В. Кутырчевым прекрасно знали, что три истребителя «МиГ-17» сзади — это охрана, а по бокам идут «контролеры» с полным боекомплектом, которые должны в случае отклонения «Туполева» от намеченного маршрута (проходившего над городами и крупными поселками) дать его пилоту некоторое время для исправления ошибки, а если он не вернется на курс, уничтожить самолет.

Как известно, «Ту-4» по прямому указанию Сталина был скопирован с американской «суперкрепости» «В-29». Технически это было сделано следующим образом. Во время Второй мировой войны американцы бомбили Японию, вылетая с тихоокеанских островов, но им не всегда хватало горючего, чтобы вернуться на базу, и тогда они садились на аэродромах советского Дальнего Востока. Формально наши брали их в плен, поскольку СССР и Япония не были в состоянии войны. А дальше американских пилотов увозили в Ташкент и оттуда, дав им отдохнуть, устраивали «побег» в Иран. А вот самолеты — по крайней мере некоторые из них — оставались в Советском Союзе. Так что в 1954-м атомную бомбу на Оренбуржье сбросил аналог именно тех бомбардировщиков, экипажи которых в августе 1945-го стерли с земли Хиросиму и Нагасаки...

О взлете бомбардировщика в Ахтубинске войскам на Тоцком полигоне сообщили через громкоговорящие установки и затем через каждые полчаса уведомляли, сколько времени осталось до сброса бомбы. За десять минут до взрыва был дан сигнал «Атомная тревога», по которому все должны были уйти в укрытия, а экипажи танков, САУ и бронетранспортеров занять места в своих машинах и задраить люки. Начался поминутный отсчет времени. Напряжение возросло до предела. Приближался кульминационный момент учений, проходивших под кодовым названием «Снежок».

В девять часов тридцать три минуты по местному времени прозвучало:

— Сброс!

За мгновение до этого на борту бомбардировщика штурман-бомбардир капитан Л. Кокорин нажал кнопку сброса. «Татьяна» отделилась от «Туполева» на высоте 8 тысяч метров. Спустя 45 секунд, когда бомба находилась в 350 метрах от земли, произошел взрыв. Его мощность оценивается в 38 — 40 килотонн.

Если верить полковнику Кривому (чья книга, уже цитированная выше, представляет собой настоящую апологию Тоцкого взрыва), при подлете самолета «Ту-4» с бомбой к цели командующий учениями маршал Жуков находился на первом пункте наблюдения в районе горы Медвежьей (10,5 километра на юго-восток от эпицентра) и прошел на открытую деревянную смотровую площадку, предпочтя ее траншеям и бетонному бункеру с амбразурами. Вслед за ним, конечно же, направились все советские военачальники и зарубежные гости.

После взрыва атомной бомбы мощная взрывная волна дошла и до этого наблюдательного пункта, посшибав головные уборы и с самого Жукова, и с маршалов Конева и Рокоссовского, сметя со смотровой площадки табуреты, приготовленные для руководителей учений и приглашенных. Маршалы же, как утверждают очевидцы, даже бровью не повели, лишь адъютанты бросились догонять фуражки своих патронов. Когда принесли фуражку Георгию Константиновичу, свидетельствует Г. С. Якименко, он повертел ее в руках и, улыбнувшись, произнес: «Кто-то успел в ней картошку пожарить». Дело в том, что, не найдя головного убора маршала, адъютант принес ту фуражку, что первой подвернулась под руку, — нельзя же четырежды Герою Советского Союза, маршалу и руководителю учений нарушать форму одежды!

— *Каждому солдату и офицеру было определено его место на момент взрыва*, — вспоминает Г. С. Якименко. — *Я находился на наблюдательном пункте, в укрытии. И когда грянул взрыв, лежал в противогазе на дне окопа. Земля ухнула, задрожала. Между вспышкой и взрывной волной был прогал 12–15 секунд. Они мне вечностью показались. Потом почувствовал, будто кто-то крепко прижимает меня мягкой подушкой к земле. Поднявшись, увидел взметнувшийся в небо на полкилометра атомный гриб. Что и говорить, зрелище не для слабонервных! Потом я не раз по долгу службы показывал засня́тый в тот день «Фильм № 205» и всегда, когда видел на экране исполинского «джинна», озноб ощущал, вспоминая увиденное воочию.* (Это же страшное кино, как мы помним, показывали и Н. Б. Курапову на курсах «Выстрел».)

Утром 14 сентября лейтенант В. Я. Бенцианов находился в блиндаже неподалеку от эпицентра. Вот что рассказывает он:

— *В 9.00 мы услышали слабый звук – имитацию взрыва. А в 9.33 под нами качнулась земля. Мы в блиндаже сидели на ящике. Полковник мне говорит: «Ты чего, Бенцианов, ящик качаешь?» Едва успел ответить: «Я ничего не качаю, товарищ полковник», — как тут же — словно удар трамбовкой по земле, усиленный в миллион раз... На крышу нашего блиндажа (восемь перекрытий!) мы закатили двадцатипудовый камень. Сдуло, как пушинку, мы его так и не нашли... Какая у нас была защита? Трусы, майка, нательное белье, хэбэ, ПИК (противоипритный костюм — «липучка»), очки, сквозь которые солнце виделось тусклой лампой.*

Старшина И. Е. Кушайков утром 14 сентября открыл, согласно приказу, все окна и двери на своем складе, а потом поехал домой, в райцентр Тоцкое:

— Вырыл траншею, перекрыл досками, тряпками, сверху зеленью — ботвой, ветками (так рекомендовали). Жену с дочкой туда посадил. А сам стою. Говорю, смотреть буду. Солдат кричит: «Старшина, ложись!» Вижу, летит бомбардировщик и со всех сторон самолеты — охраняли. Бомбу ждал. Вот она отделилась, мне показалось, как карандаш. Тогда я лег, но головой к взрыву. Сразу треск — гром так никогда не гремел, сколько живу. Огненная вспышка, — думал, слепой буду, минуты две не видел, тер глаза. Потом зрение вернулось, и я увидел гриб. Все в нем поднималось, играло красками. Потом облако пошло, а от него лохмотья отваливались...

Тогдашний председатель Тоцкого райисполкома Ф. И. Колесов вспоминал взрыв так:

— Рядом с райисполкомом дом был кирпичный. Говорю подполковнику: «Может, туда пойдем?» — «Не надо, черт его знает, рухнет еще». Легли в канавку. Тряхнуло, заходила земля. Встали, огненный столб стоит огромный, страшный, по нему били из орудий, с Сороки (видимо, с юга, со стороны речки Сороки. — *В. М.*) *летали в него самолеты, бросали бомбы, им желательно было его разорвать. Мыряли в него и вылетали черные.*

Н. Б. Курапов описывал взрыв, пожалуй, скрупулезнее остальных:

— После взрыва — страшный гуд. Земля качнулась в одну, потом в другую сторону в считанные доли секунды. Потом почувствовалось сильное давление воздуха. Взрывная волна прошла, и стало секунды на две тяжело дышать, — видно, образовалось безвоздушное пространство. Барабанные перепонки сначала давило внутрь, а потом изнутри. Мы с соседом лежали за плетнем, ногами к эпицентру, — как нам сказали. В ушах свист, звон со скрежетом. Такое давление было, что когда барабанные перепонки вставали на место, издавали звон на низких тонах вроде колокольного. Мы залезли на крышу, хотя и предупреждали нас, что нельзя. Гриб был — ножка черная, а шляпка красная. Как из трубы в морозный день, все перемешалось в ней: клубы дыма, пыли, обломки. Температура была огромная. На расстоянии двух-трех километров от эпицентра все дубы были сожжены. Дальше деревья повалились частью в сторону взрыва, частью в противоположную...

А вот свидетельство человека, находившегося в 30-ти километрах от эпицентра, но в полной мере ощутившего на себе взрыва мощь. А. В. Алпатов в сентябре 54-го учился в Сорочинском ветеринарном техникуме и жил в Кирсановке (19 километров на юго-восток от эпицентра).

— Мы были в Сорочинске, в ветлечебнице на практике, — вспоминает Анатолий Васильевич. *— В корпуса техникума завезли жен и детей офицеров из военного городка. День был солнечный, мы все глаза проглядели, смотрели в сторону полигона. Первое — вспышка! Солнце затмило. Через железную дорогу от ветстанции старый элеватор. Его так тряхануло,— стоит весь в пыли и голуби вокруг тучей. У кузницы стекла с рамами вылетели, у нашего техникума тоже. Стеклами порезало эвакуированных. Ну, думаю, если тут такое, то моей Кирсановке крык. Распустили нас, я на попутке доехал до села, а там ничего, всё стоит. За пятнадцать минут до взрыва*

пришел офицер, родителям скомандовал: «По укрытиям!» А окопы в Кирсановке заранее отрыли в полный рост. Они одеялами накрылись и сидели. Тряхануло сильно. Вылезать боялись, пока офицер опять не пришел.

Жительница Сорочинска, участница Великой Отечественной войны Ю. Г. Сапрыкина вспоминает о том дне так:

— Наш Сорочинск не предупреждали. Так, неофициально слышали, что будут испытывать бомбу в Тоцком... Это было примерно 10—11 часов утра. Я, учитель, проводила урок со вторым классом. Классные окна расположены в противоположную сторону от Тоцкого. Вдруг сильный свет в окна! За этим такой страшный гром, что мне показалось, обрушился потолок, так сильно ударило взрывной волной по голове. Я думала, началась бомбежка. Детям крикнула: «Ложись!» (Самой сейчас смешно — к чему?) Это инстинкт, ведь я прошла фронт. По лестнице со второго этажа бежали ученики во двор. Всех отпустили домой. В воздухе гудели самолеты. На душе неприятно. Пришла домой, дом коммунальный, двухэтажный. Окна раскрылись, стекла разбились. Печь лопнула, абажур упал, цветы все на полу — и пыль. По радио сообщили, чтобы шли в укрытие, а где оно?

Свидетельство Юлии Григорьевны рождает много вопросов. Разве военные, зная рельеф местности, не понимали, что Сорочинску угрожает взрывная волна, а затем и радиация? Ведь город стоит на реке Самаре — по ее руслу и прошла взрывная волна, основательно тряхнувшая Сорочинск... И как символ нашей постоянной показухи тех лет — призывы по радио идти в несуществующие укрытия!

Свидетельства другой жительницы Сорочинска, Г. В. Теркиной, только подтверждают предположение: городу повезло, что бомба «потянула» всего на 40 килотонн, будь она хоть немного мощней, разрушений бы райцентру не избежать.

— Я прекрасно помню день взрыва, панику людей в Сорочинске, — вспоминала Галина Васильевна спустя сорок три года после учений. *— Нас, детей, родители закрыли утром в квартире на втором этаже. Мать, учительница школы № 1, была на уроках. Внезапный удар, мощный и грозный, выбил стекла, ветхую раму в коммунальной квартире, опрокинуло с силой нас на пол, затем раздался гром небесный. По квартире полетели хлопья сажи из печи, взметнулась густая пыль, будто дом встряхнули, как пыльный ковер (ударной волной выбило пыль из всех щелей дома). Ужас объял нас, детей. Мы порезали руки и тряслись от страха, стали стучать в стены соседям. Добрые соседи, сами белые от страха, через двери успокаивали нас. Вскоре прибежала взволнованная мать, и мы, плача, выбежали на улицу.*

Люди толпились вокруг, смотря на «тучу», ничего не понимая. Вскоре в поликлинику Сорочинска стали подвозить на грузовых машинах солдат с повязками на глазах. Все боялись что-либо говорить, спрашивать или обсуждать. Кроме того, на работе всем грозно было приказано «молчать об этом».

М. К. Щевелева, вместе с односельчанами эвакуированная в Каменную Сарму — на 20 километров западнее родной Елшанки, хорошо запомнила ядерный взрыв:

— Свет был действительно ярче солнца, но у меня в детской памяти осталось сравнение с молнией и сильной грозой. Бабушка упала на колени

перед иконой и истово молилась — слезы текли ручьем. Взрослые тут же побежали к правлению колхоза: что это? и что с селом?! Меня тоже понесло туда. Снова плач, стоны, шум. Отец потом говорил, выделили группу людей и направили узнать, что же с нашим селом. Оно все горело. Но судите сами, через какое-то время нас допустили до села, чтобы забрать продукты из погребов и картошку из ям. От села осталась одна улица. Наш дом, то есть дом дедушки, сгорел...

В это время войска «Восточных», проведя артподготовку и авиационный налет на «вражеские» позиции, успешно сломили сопротивление «Западных» и прошли через зараженную зону, испытав на себе защитные комплекты и противогазы. Потом — баня, новое, с иголочки обмундирование и заслуженный отдых в палатках.

А в урочище Дурной Гай в ходе разбора маневров министр обороны СССР Булганин заявил: «*...целью учений было всеми средствами и способами добиваться максимальной защиты всего живого от поражающих факторов атомного оружия в разнообразных условиях местности. Мы полагаем, что эта цель в основном достигнута*». Тут же для руководства был дан концерт с участием московских артистов. И когда конферансье Борис Брунов объявил песню «Как в степи сожженной», никто не уловил здесь двусмысленности.

А над сожженной степью летело на восток все дальше и дальше радиоактивное облако, постепенно размываясь ветрами и оседая на землю. Ту землю, на которой веками жили наши отцы и деды и на которой теперь живем мы с вами.

5. След облака

В момент взрыва атомной бомбы 14 сентября 1954 года мощное световое излучение испепелило и превратило в пыль все, что находилось на поверхности земли в эпицентре, в том числе верхний слой самой почвы. Получился сильно нагретый — до 800 градусов по Кельвину — запыленный слой. Затем вихрь, образованный отраженной ударной волной, поднял все это в воздух и превратил в пылевой столб, который соединился с облаком взрыва. Так через несколько секунд после взрыва образовался атомный гриб. По свидетельству военных историков, максимальная высота гриба составила 12 километров, ширина — шесть. Через 15—20 минут ножка гриба отделилась от шляпки. Оседая на землю, остатки облака и пылевого столба перемещались на восток.

С. А. Зеленцову, ныне генерал-лейтенанту, в 1954 году было 27 лет. Но ему уже случилось принять участие в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне. Во время подготовки и проведения Тоцких учений в составе группы испытателей Сергей Александрович занимался установкой измерительной аппаратуры на различных расстояниях от эпицентра взрыва, снятием и обработкой зарегистрированных параметров поражающих факторов ядерного взрыва. Он вспоминает:

— *Закончив съемку картины взрыва, я в сопровождении дозиметриста и фотографа поехал на автомобиле по долине к эпицентру взрыва, периодичес-*

ки останавливаясь для съемки местности и опытных объектов. Это было необходимо для подготовки экспресс-доклада правительству. Местность после взрыва трудно было узнать: дымилась трава, бегали опаленные перепелки, кустарник и перелески исчезли. Меня окружали голые, дымящиеся холмы. Ориентироваться было трудно. Однако массовых пожаров не было, и дороги были знакомы. Сфотографировав перевернутые и отброшенные танки, разрушенные траншеи, поврежденную технику, пораженных животных, прошли в направлении эпицентра взрыва, который выделялся группой отдельно стоящих, обугленных стволов деревьев, с которых ударом сверху были сорваны все сучья. Не доходя до зоны сильного радиоактивного заражения, пересекли дорогу, по которой перед нами прошли колонны наступающих. Было пусто и тихо, лишь пощелкивали радиометры, отмечая повышенный уровень радиации. Войска проследовали мимо эпицентра вне зоны сильного заражения. Непосредственно в зоне, примыкающей к эпицентру взрыва, земля была покрыта тонкой стекловидной коркой расплавленного песка, хрустящей и ломающейся под ногами, как тонкий ледок на весенних лужах после ночного заморозка. И на ней не было видно ничьих следов, кроме моих. Я ходил спокойно по этой корке, так как радиометр регистрировал уровень радиоактивности, не превышающий 1 рентген в час.

Это и неудивительно: офицер прекрасно знал, что главная опасность теперь таится в шляпке атомного гриба, ставшей радиоактивным облаком. Куда именно пошло это облако? Где искать его следы? Как определить, заражена ли оренбургская земля и в какой степени? На эти вопросы три с половиной десятилетия никто не давал людям ответа. Да и задавать такие вопросы в годы советской власти было попросту нельзя.

20 октября 1990 года мне, уже как автору статей о проблеме последствий тоцких событий 1954 года, довелось побывать в Ленинграде на учредительной конференции Комитета ветеранов подразделений особого риска. Здесь я впервые получил ответ на вопрос, куда полетело радиоактивное облако — шляпка тоцкого атомного гриба. Рассказал мне об этом Б. А. Федотов, выполнявший, будучи в 1954 году младшим сержантом срочной службы, особое задание командования. Служил он в Москве, в полку связи, бывал на разных испытаниях. Когда вызвали в штаб для получения приказа, сказали: если боишься — откажись. «Нет, — ответил младший сержант Федотов, — я солдат». И его отправили проводить дозиметрию следа атомного облака. Подписку о неразглашении этой военной сверхтайны с него взяли даже дважды — и в Москве, и в Тоцком.

— *В день взрыва*, — рассказывает Борис Алексеевич, — *позавтракали в шесть утра, заехали на нашем «ГАЗ-69» с водителем Иваном Беловым за старшим лейтенантом и — на аэродром. Машина наша стояла рядом с вертолетом. Если бы облако пошло не по прогнозу, вертолет должен был бы нас взять и вместе с машиной высадить где надо... Дали команду: как получим сигнал «Лед идет», радио — только на прием. Закоптили стекло, чтобы взрыв смотреть. Офицер спрашивает: «Хочешь почувствовать? Стань здесь, на бугре». Он бывал на Семипалатинском полигоне, знал, как это бывает. Летят бомбардировщик «Ту-4» и пять истребителей. На втором круге бросили. Через стекло — всплеск, как молния сверху вниз. Лицо обожгло, словно*

ветром с костра, уши сдавило, страшный грохот, толкнуло туда и обратно. Отнял стекло: шар, а в нем все вращается, и два колечка от него быстро-быстро вверх и вниз. Огонь появился, ножка опустилась. А на горизонте все горит... Через час-полтора получили приказ идти за облаком. Не доезжая примерно четырех километров до эпицентра, развернулись и поехали вслед за облаком. У нас было два прибора — со шкалой ниже 1 рентгена и выше 1 рентгена. Первый прибор сразу зашкалило. Второй вскоре показал 20 рентген. Старший лейтенант говорит: «Наденем противогазы». Идет он по земле — и 20, и 30 рентген есть. Пятачками. Где максимальная радиация, брали образцы почвы и воды, а данные шифровали и передавали в штаб: «Копье, я — Калибр, для вас срочное радио». Километров 350 проехали в первый день. Ехали левее (то есть севернее. — *В. М.*) *железной дороги, движение на ней тогда было остановлено... На второй день зигзаги делали уже по 10 километров — облако рассеивалось. Земля была заражена пятачками — то меньше 1 рентгена, то вдруг 50...*

Самое время уточнить, какой 14 сентября дул ветер над Тоцким полигоном. 13 марта 1991 года начальник Оренбургского гидрометцентра А. И. Ефимов в справке для облздравотдела пишет: «*По аэросиноптическим данным за 11 час. 14.09.54 г., западная половина области находилась под влиянием передней части барической ложбины с холодным фронтом, смещающимся с Европейской территории СССР на восток... Отмечался ветер западной четверти силой 30—40 км/час... Таким образом, преобладающее направление переноса воздушных масс в нижнем 5-километровом слое атмосферы 14.09.54 было с запада на восток с южной составляющей. Следовательно, радиоактивное облако, вероятнее всего, оказало влияние на Сорочинский, Грачевский, Красногвардейский, Александровский, Пономаревский, Шарлыкский районы*».

Итак, уже в начале 1990-х можно было считать установленным фактом, что радиоактивное облако пошло на восток и северо-восток от Тоцкого и, разваливаясь по пути, заражало территорию перечисленных в справке районов относительно небольшими пятнами с уровнем радиации в них до 50 рентген. Но что самое страшное — определить, где именно находятся эти самые «пятачки» и в каком количестве, очень сложно. Не будешь ведь бегать с дозиметром по всей области.

Не по всему, конечно, Оренбуржью, но хотя бы выборочно прошли ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук И. В. Молчанова, Е. Н. Караваева, Л. Н. Михайловская. Вот цитата из их доклада на 1-й научно-практической конференции «Медико-экологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва», состоявшейся в 1996 году в Оренбурге: *Проведено радиоэкологическое обследование почвенно-растительного покрова в пределах предполагаемой центральной оси тоцкого радиоактивного следа... Пробные площадки находились вблизи Маховки, Пронькина, Кинзельки, Грачевки-Яшкина, Султакая и Рождественки, расположенных соответственно в 4, 25, 35, 105 и 120 км от места взрыва... Содержание Ри* (плутония. — *В. М.*) *в почвенно-растительном покрове обследованной территории Оренбургской области в 1,5—5 раз превышает уровень глобальных выпадений и укладывается в предел значений, отме-*

ченных для населенных пунктов, расположенных на расстоянии 3–500 км от аварийной зоны Чернобыльской АЭС[5].

Нужны комментарии?

После учений большая часть военных с Тоцкого полигона разъехались. Местным жителям ехать было некуда, они остались на своей земле. Растили овощи, держали скот, словом, пищей обеспечивали себя сами, а вода всегда была в колодцах и родниках. Никто не думал о том, что привычные сельхозпродукты, свои, природные, родные, вдруг стали опасными. Ведь «начальство» ни о чем не предупреждало! А между тем с 1955 по 1960 год количество онкологических больных у нас в области выросло со 103,6 человек на 100 тысяч человек населения до 152,6 человек! В полтора раза! И сейчас Оренбуржье занимает четвертое место в России по уровню онкозаболеваемости.

При всем при этом многие скептики, особенно из числа ученых-радиобиологов, близких к правительственному финансированию, и отставных офицеров, «не утерявших связи» с Минобороны, не хотели верить во взаимосвязь Тоцких учений и роста онкологических заболеваний у жителей области.

Однако достаточно заглянуть в Тоцкий районный загс, как сделал это я еще в 1989 году, и просмотреть книгу регистрации смертей. Со второй половины 1955 года наряду с «обычными» причинами смерти — авариями, пожарами, сердечно-сосудистыми заболеваниями — в ней все чаще стали появляться рак желудка, рак пищевода, белокровие... И это только в Тоцком районе. А ведь радиоактивное облако пошло на северо-восток, в сторону Сорочинского, Красногвардейского, Новосергиевского районов и дальше, дальше. Следы *Тоцкого радиоактивного атомного следа* (ТРАС — для него даже аббревиатуру придумали красивую; кстати, в переводе с французского «трас» и будет «след») нашлись аж в Сибири — в районе Омска и Новосибирска... Это значит, «под подозрением» остается весьма обширная территория на восток от Тоцкого, и нет никакой гарантии, что тот или иной участок поля, луга, леса, сельской улицы или городского квартала не заражен ошметками распадавшегося радиоактивного облака. Конечно, кому-то это может показаться неправдоподобным. Особенно тем, кто живет далеко от Западного Оренбуржья, Кыштыма, Чернобыля и прочих «атомных» мест. Но вот что написал начальник ветеринарного отдела Совета агропромышленных формирований Оренбургской области С. М. Пау 14 июня 1991 года в справке под названием «Об экономическом ущербе хозяйств области, расположенных вблизи Тоцкого полигона, в связи с заболеванием крупного рогатого скота лейкозом»: *В большинстве колхозов, совхозов Сорочинского, Красногвардейского, Тоцкого, Новосергиевского и ряда других районов, расположенных вблизи Тоцкого полигона, ежегодно складывается крайне тяжелое положение с заболеваемостью скота лейкозом. Только в 1990 году по этим районам выявлено 14–23 процентов реагирующего крупного рогатого скота от числа исследованных. В целом по области было выявлено 28 тысяч голов* (больных. — *В. М.*) *коров и телок, в том числе 18 тысяч в вышеназванных*

[5] Медико-экологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва. Тезисы докладов 1-й научно-практической конференции. Оренбург, 1996.

районах, из которых незамедлительно на убой сдано 5,2 тысячи коров, 12 тысяч телок не допущены до воспроизводства.

Вследствие такого положения хозяйствам этих районов наносится ежегодно ущерб не менее чем в 6 миллионов рублей. Кроме того, на диагностические исследования ветслужбой области тратится более 0,5 миллиона рублей. Ущерб от заболевания, как правило, складывается от снижения качества животноводческой продукции, недополучения молока, от вынужденного убоя и неполучения приплода.

Считаем, что предрасполагающей причиной появления лейкоза в названных и ряде других районов области явились ранее проведенные испытания ядерного оружия на Тоцком полигоне.

Убытки даны, как вы понимаете, в миллионах советских рублей. В российских это будут уже сотни миллионов. Ежегодно. Словом, нет гарантии, что мы не пьем молоко от коров, питающихся травой, которая растет на радиоактивной почве. Нет гарантии, что мы не едим хлеб из муки «атомного» помола. Нет гарантии, что в воде наших родников не превышен тридцатикратно средний фон урана — как на стыке Сорочинского, Красногвардейского, Грачевского и Тоцкого районов. Нет гарантии, что дачники или грибники, взрослые или дети, сельчане или горожане с водой, грибами, фруктами, ягодами и овощами, со всем, что дает земля, не получают ежедневно радиоактивную отраву. Все Оренбуржье, похоже, стало зоной бедствия в том далеком 1954 году. И продолжает таковой оставаться. И будет оставаться еще очень долго...

Тоцкий район богат лесами, а они летом полны ягод и грибов. Ох, как собирают землянику в первые дни июля в тоцких лесах местные жители и приезжие из соседних сел!

...В марте 1993 года меня попросили помочь отснять видеоматериал об учениях 1954 года сразу для двух японских телекомпаний. Атомная тема интересует японцев настолько, что две японские телекомпании одновременно потянулись в Оренбург делать фильм о русской Хиросиме. А еще спустя пару лет Тоцким заинтересовались англичане: в Оренбург прибыла съемочная группа, состоявшая исключительно из российских граждан, но во главе с подданным ее Величества Джейми Дораном. И вновь мне пришлось быть проводником. Так вот, должен заметить, что бедные москвичи, не говоря уже об иностранцах, в районе полигона даже колодезной воды не испили, а уж от овощей с местных огородов отказались наотрез. Странно, что респираторы не надели. Наверное, застеснялись перед местными жителями, смиренно несущими свой атомный крест вот уже сорок лет.

6. Сопротивление материала

В самый первый раз в эпицентре Тоцкого атомного взрыва мне, тогда замредактора областной молодежной газеты, довелось побывать летом 1988-го вместе со вторыми секретарями горкомов и райкомов КПСС и заместителями председателей гор- и райисполкомов. Их привезли в Тоцкое-2 как бы на экскурсию в войска. Одним из ее пунктов было краткое, даже очень краткое — минут на пятнадцать — посещение эпицентра.

Помню то странное чувство — не страха, не опасности, а почему-то покоя и умиротворенности, возникшее, как только я сделал несколько шагов в сторону от людей, от автобуса, на котором мы приехали. На первый взгляд, эпицентр тогда почти ничем не отличался от любого другого уголка нашей степной области: долинка внутри подковообразной гряды холмов, поросшая жиденькой, чахлой травой. Да он и сейчас такой же. Кое-где можно найти ту самую корку — под воздействием огромной температуры оплавившийся до состояния грубого, мутно-серого стекла грунт. В середине долины — озерцо, не пересыхающее даже в июльскую жару. Наверное, питается небольшим родничком. Местные жители рассказывали, что родников тут было много, но взрывом почву сдавило, и водоносные пласты ушли. Здесь нет деревьев, а до взрыва росла целая дубовая роща: она испарилась без остатка за несколько секунд. Через эпицентр проходит мягко-пыльная дорога из Тоцкого-2 в Маховку. По всей территории эпицентра «квадратно-гнездовым» способом расставлена старая боевая техника — танки, самолеты, автомобили. После испытаний 54-го полигон не простаивает: здесь уже много лет бомбодром, летчики тренируются. Потому-то все свезенные сюда списанные «МиГи» разбиты в лохмотья, а у танков свернуты башни. Полное ощущение, что атомная бомба взорвалась не десятки лет назад, а на прошлой неделе.

И еще в 1988 году мне запомнилось, что в эпицентре стояло сразу два памятника. Один постарее — кирпичный побеленный куб со сквозным отверстием, расширявшимся раструбами на две его стороны (говорят, в середине этой дыры, за красным стеклом, должна была гореть лампочка, изображающая ядерный взрыв, но я этой красотищи уже не застал), а другой поновее — простая бетонная плита с надписью: «*14 сентября 1954 г. впервые было проведено войсковое учение с применением ядерного оружия. Учением руководил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков (эпицентр взрыва)*». Сопровождавший нас офицер сказал, что чуть ли не каждый новый командующий 27-й мотострелковой дивизией, дислоцирующейся в Тоцком-2, непременно строил свой памятник взрыву. Это очень точно было сказано — памятники именно **атомному взрыву**!.. И только много лет спустя, в 1994 году, в день 40-летия учений, здесь будет возведен памятник *людям*: три колокола под стальными арками, на металлических плитах надписи: «*14 сентября 1954 года здесь произведен воздушный ядерный взрыв*» — на одной, а на другой: «*Зову живых, оплакиваю мертвых*»...

А тогда, в 88-м, я подумал, что рано или поздно напишу про Тоцкий взрыв и про тех, кто его пережил. В стране понемногу набирала обороты гласность.

В декабре 1989 года редакция нашей молодежной газеты отправила меня в командировку в Куйбышев, на комсомольскую конференцию Приволжско-Уральского военного округа, в который входит и Оренбургская область. Округом тогда командовал генерал-полковник А. М. Макашов. Помня о том, что Альберт Михайлович сам, будучи курсантом, участвовал в тоцких событиях 54-го, я подошел к нему с просьбой помочь ознакомиться с документами, касающимися атомных учений. Ни «да», ни «нет» генерал не сказал, заметил только, что их самих в штабе округа очень интересуют те учения, и они тоже хотели бы поднять архивы Министерства обороны. А на мой вопрос,

как бы все же узнать хоть что-то, махнул в сторону полковника из политуправления. А тот, задумчиво разглядывая лепнину на потолке, задал только один вопрос: «Да зачем вам это надо?»

Что можно было сказать в ответ?

Позже я все-таки направил письмо начальнику политуправления округа генерал-лейтенанту Б. В. Тарасову и получил ответ за подписью председателя совета комсомольских организаций ПурВО капитана В. Лисина: «*...С некоторым материалом по итогам учения Вы или Ваш представитель можете ознакомиться лично в управлении штаба ПурВО*». Увы, радость моя была недолгой, потому что дальше капитан Лисин сообщал: «*Ввиду того, что круг лиц, пользующихся документами по учениям с применением атомного оружия, пока что ограничен, Вам необходимо при себе иметь допуск по форме № 2, выдаваемый соответствующими органами*».

Почему-то мне тогда показалось, что допуск «по форме № 2», который выдавался в КГБ, я вряд ли получу, а если получу, то мне это мало что даст. Время показало, что опасения мои не были напрасными: военные архивы строго хранят тайну Тоцких учений до сих пор.

К лету 1990 года рамки «дозволенного цензурой» в СССР раздвинулись настолько широко, что мне показалось, будто и тоцкую тему я сумею пробить в нашей областной «молодежке». Тем более, что областным управлением по охране государственных тайн в печати руководил В. Ф. Наточий, добрейшей души человек, старавшийся охранить гостайны и при этом не кромсать до неузнаваемости наши статьи.

В июне 1990-го первая часть моей статьи «Репетиции Апокалипсиса» была сверстана. Я взял оттиск полосы и пошел к Наточему. Виктор Филиппович внимательно материал прочел, согласился с тем, что статья нужная, но, к сожалению, бóльшая часть написанного в ней никак не согласуется с «Перечнем сведений, запрещенных к публикации». (В каждой редакции СССР имелись такие секретные брошюры с номером на красной обложке.) Так что мне был предложен компромисс: убрать упоминание о месте проведения учений, о количестве участников, о влиянии взрыва на мирных жителей... Но **такие** статьи уже выходили в центральной и местной прессе. Я же считал, что пришла пора сказать людям **всю** правду.

— Нет, — ответил я, — резать я ничего не буду, а лучше подожду 1 августа.

— А что будет 1 августа?

— Вступит в силу Закон «О печати», а в нем говорится, что цензура в СССР не допускается.

Так и произошло. Набор статьи пролежал в типографии полтора месяца с визой редактора «Нового поколения» Татьяны Денисовой «не разбирать!», и 4 августа, в первом бесцензурном номере нашего еженедельника «Репетиция Апокалипсиса», наконец, увидела свет. Спустя неделю вышла вторая часть[6]. Через месяц статью перепечатала «Комсомольская правда» — на весь СССР. И пошли письма от людей, переживших сентябрь 54-го. Многие из их воспоминаний вы и читаете сейчас.

---

[6] *Моисеев В.* Репетиция Апокалипсиса. — Газета «Новое поколение», №№ 31, 32, 41, 45 (август — ноябрь 1990).

7. Жизнь «после атома»

Что же происходило после атомных учений в деревнях, расположенных вокруг эпицентра — подковообразной долины, выжженной взрывом 40-килотонной ядерной бомбы?

На две трети сгорела деревня Маховка, расположенная всего в четырех километрах от эпицентра, а что не сгорело, то было снесено взрывной волной. Та же или почти та же участь постигла Тащиловку, Орловку и Елшанку, жители которых позже объединились в одно село — Елшанку-вторую.

Послушаем жуткий в своей бесхитростности рассказ уже не раз выступавшего на этих страницах Ф. И. Колесова:

— На следующий день заезжал в села — кинжальным огнем уничтожило постройки. Где — дом стоит, помещения для скота снесены, а где — наоборот. Жили лесники, изгородь у них была из бревен, один дом известкой облили, он сохранился, а другой уничтожило. Где упала бомба, завихрение что ли получилось, — один куст осинника остался в руку толщиной, а больше ничего, все черное... А жена моя Екатерина Федоровна — она на зады пошла с одеялом. Как волна шла, она глядела. Месяц пожила. И из Оренбурга приезжали лечить — поздно...

Запрещали населению рыть окопы, велели сидеть дома. Которые не слушались, выкопали, сидели, а кому охота поглядеть было, — поглядели... Вот на Первомайской улице за пять лет умерли, считай, все мужики, да и женщины многие. Мужики — больше, они выходили чаще в лес. Волна выше Тоцкого прошла, а в Сорочинске, кто у окон был, — порезались. А наутро скот погнали пасти из Тоцкого, из Кирсановки. Скотину пасли: молоко-то надо. Никто не знал и не говорил, что нельзя... Заметно было, что люди больше болеют, умирают. Врачи приезжали, смотрели, щупали. Лекарств никаких не давали.

Н. Б. Курапов, житель Тоцкого-2, рассказывал мне, как жили люди в первые месяцы и годы «после атома»:

— В лощинах вдоль речки Маховки много было дров, поваленного, полусгоревшего леса, который возили и в Тоцкое, и в Оренбург, когда там был штаб Южно-Уральского военного округа, и в окрестных селах пользовались этими «радиоактивными» дровами. Батаевы, наши знакомые, привезли такие дрова, когда они еще гарью дышали. Вскоре умерли... Умерло много моих знакомых учителей, и все они болели раком. И это только учителя... Никто нам не говорил: товарищи, не ездите на полигон, не берите там дрова.

Дополняет его земляк И. Е. Кушайков:

— Я побывал на полигоне вскоре после взрыва. Землянку в шесть накатов вдавило вровень с землей. Лоси лежали, как обритые, раздутые, никто их не убирал. А люди поехали туда дрова брать, воду пили из речек... То ли мы такие дураки, то ли те, кто нами руководит.

Вывезенным в село Каменная Сарма жителям Елшанки разрешили вернуться к своим домам, когда село еще горело. Вспоминает М. К. Щевелева — в ту пору ребенок:

— Родители со старшими дочками выгребали картошку из погреба, а я залезла за чем-то очень интересным в пепел от горящего дома. Пепел еще не остыл, и под ним сохранились угольки, — вот я сильно обожгла ноги. Мама

кинулась ко мне, на руках несла бегом куда-то. Оказалось — к колодцу. За ручки меня держали, а в воде ножки оказались. В колодцах срубы были из плетня, вода подходила близко к поверхности почвы. Я до сих пор помню тяжелое дыхание моей матери (была неповоротливая: ну конечно же, через два месяца родила сестренку, которую мы до сих пор зовем «атомная»). Папа был шофером, пригнал машину и отвез в госпиталь, который находился в здании школы. Со слов папы, врач был еврей, увидев меня с ожогами, отцу сказал: «Девочка — будущая невеста, надо сделать так, чтобы шрамов не осталось». И такой вонючей гадостью мазал, что я находилась вне дома. Но зато боль утихла, и сейчас никаких шрамов действительно нет. Нас из временных квартир в селе Каменная Сарма переселили в специально отстроенное село рядом с поселком Искра под Бузулуком. Дома деревянные, сосновые. Но с 1955—1956 года все переехали в свое село: кто мог, перевез семью, и большинство так сделало. Переехали потому, что новое место намного хуже нашего села... Это сейчас, оглянувшись, можно удивляться беспечности и бестолковости нашей. Но кто мог предполагать, что нельзя в селах жить? Нам было главное: вернулись в родные места, где красивые леса, нарядные луга, чистые родники.

Л. А. Вольновой, — она тоже родом из Елшанки, — во время учений было двенадцать лет.

— До сих пор хочется задать вопрос,— говорит она,— *кто привез нас в сгоревшее село на второй-третий день? Вернулись мы: уголья тлели, бродили кошки. Наш дом сгорел. А мы его только с таким трудом отстроили. Сгорело все, что было. Было, конечно, немного, так как после отмены варварских налогов чуть-чуть дышать начали... Жить было негде. Подъемные выплатили, компенсацию за ущерб — 200 рублей на старые деньги. Зиму прожили на квартире у родственников. У них своя семья была пять человек, да нас семеро... Как только стаял снег, ушли с квартиры и все лето строили землянку. Жили в бане, благо она не сгорела. А строить было не из чего. По ночам (днем не разрешали) ездили на лошади в лес, разбирали блиндажи, доски радиоактивные воровали, строились. Два года прожили в землянке. Потом за свои деньги перевезли построенный для нас военными дом в поселке Красногвардеец Бузулукского района. Сами восстановили и только в 1957 году зашли в него. И никому не было дела до нас — как жили, как выжили. Пили воду, ели овощи и не задумывались о последствиях. Ловили в лесу овец после взрыва, резали, ели... Почему люди из села повымирали? Когда отец умирал в 1981 году от рака желудка (а он у нас не выпивал и не курил), то наш фельдшер, который всю жизнь тут прожил, говорил, что смерть уносит жизни людей по этапам: несколько лет затишья, потом восемь-десять человек за год. Кому-то надо было заниматься статистикой!*

Но ведь мы помним: еще летом на некотором отдалении от эпицентра были выстроены новые дома. Казалось бы, почему было не жить там? — и стены крепкие, и от зараженных мест чуть подальше... На этот вопрос мне ответил старожил Елшанки-второй А. П. Петров:

— Там, куда нас отселили, голое степное место — ни леса, ни лугов. Не то что у нас. Да здесь и могилы дедов и прадедов наших, село около трехсот лет существует... Переехало назад семей шестьдесят. До 54-го года наш

колхоз имени Чапаева богатейшим хозяйством был, четвертое место по области занимал. Разорили колхоз. Выселили людей, и колхоз сразу просел...

У Николая Васильевича и Нины Кузьминичны Леоновых из Маховки сгорел дом, осталась одна саманная стена. Хозяйство приходилось начинать с нуля. А на руках сын двух с половиной лет и семимесячная дочь... Когда на третий день после взрыва они вернулись из Баклановки, где находились в «эвакуации», в родную деревню, их встретил оставленный ими теленочек. «Чуть живой!» — восклицает Нина Кузьминична.

Учительница Ю. Г. Сапрыкина из Сорочинска вспоминает, как на ее глазах умирали окружающие. У всех — один и тот же зловещий диагноз:

— Через четыре месяца после взрыва умерла ученица моего класса — рак головного мозга. На второй год умер мальчик — рак головного мозга. Мне достались дети 1954 года рождения. Один мальчик, Зубков Саша, плохо учился, болел, мучили головные боли. Окончил четыре класса, больше не мог учиться, а вскоре ослеп, четырнадцатилетним умер. Мать рассказывала, что когда он родился, на нем были черные пятна... Началась смертность взрослых и детей. У соседа умер трехлетний ребенок — рак крови. Умер военком Душин — рак крови, кровь ему меняли семь раз. Умер врач от рака крови — ему пять раз меняли кровь...

Г. В. Теркина, еще одна жительница Сорочинска, считает, что население в должной мере не предупреждали об опасности последствий атомного взрыва — об обработке жилищ, о правильном приготовлении пищи, не говоря уже о предупредительных медицинских мерах или спецобследованиях.

— Что говорить о «простых» людях, когда умирали руководители района! — говорит она. — *В селе Пронькино погибли один за другим, через год-два председатель сельского Совета И. А. Старосельцев, председатель колхоза имени Ленина В. Новиков, жена директора школы М. Бобылева, сам он погиб, а в селе Маховка умерли его брат, отец. В селе Баклановка умирали один за другим. Председатель Сорочинского райсовета С. С. Коротин, который ездил буквально после взрыва на место испытаний, умер от рака легких. Умерли жена секретаря райкома Малютина, жена начальника гражданской обороны Трунова, заведующая культотделом Додонова, директор мехлесхоза Б. Рязанов.*

В нашей семье этот взрыв отразился самым жестоким образом на всех женщинах. Облученная средняя сестра (отличница семилетки, прекрасно рисовала, играла на аккордеоне) училась в 1956—1958 годах в Покровской культ-просветшколе. Там выезжала на уборку картофеля, который пекли на костре и ели. Умерла от рака в 1958 году в 19 лет. Перед смертью сказала, что еще три девочки из группы тяжело болеют. У моей матери — онкозаболевание, она инвалид II группы, произведена операция. Я сама перенесла тяжелую операцию. Младшая дочь родилась с пороком сердца (перенесла операцию, инвалид II группы). Старшая дочь имеет заболевание, которое трудно не связать с Тоцким взрывом... А сколько народу уехало из этих районов и умирает в других местах от этого «радиационного мора»!

В. И. Шапилову в 1954-м было семь лет. Родился он в Бузулуке и жил там до 18 лет. Вот какое письмо прислал мне Виктор Иванович после первых публикаций «Апокалипсиса»:

Не сразу после взрыва, а в начале 60-х годов мы все (я имею в виду свое поколение) вдруг стали хорошо знать, что такое рак, лучевая болезнь, лейкемия и т. п. Но не потому, что нас медицина просветила на опыте Японии. Нет. Как-то незаметно, исподволь эти понятия вошли в нашу жизнь и вдруг стали обыденными, повседневными. То есть начали умирать еще не старые люди, а то и совсем молодые, именно от этих болезней. Я, наверное, никогда не забуду мальчика пяти лет, у которого в поликлинике брали кровь на анализ (примерно в 1962-63 году), а она была бледно-розового цвета. Вскоре он умер от лейкемии. А еще была соседская девушка Нина, которая умерла примерно в 1975—1976 году. Диагноз тот же — лейкемия. А было ей всего 25 лет.

Но наиболее заметно для меня было вот что. В нашем «ауле», в котором я рос (район вокзала), жили практически одни железнодорожники. Так вот в конце 60-х они потихоньку начали вымирать. Причем первыми — машинисты, помощники и кочегары. В 50-е была еще паровозная тяга, а в 60-е уже тепловозная. А вслед за ними пошли путейцы, но не все, а те, которые более-менее часто в 50-е годы выезжали в командировки на участок Тоцкая — Сорочинская. Причем умирали они, как правило, не дожив до пенсии, либо успев получить ее один-два раза. Когда умирал очередной и опять, как и многие до него, от рака, окружающие объясняли это очень просто: «Что же удивляться? Он ведь часто бывал в Тоцком после взрыва». Все это я знаю не с чьих-то слов, все это я видел и слышал сам.

Интересно отношение населения к происходящему. Я бы сформулировал это таким образом: «Правительству надо было провести испытания атомной бомбы на живых людях, в густонаселенном районе. Оренбуржью не повезло, потому что выбор пал на нас. Умирать придется раньше срока — ничего не поделаешь, значит, так надо ради каких-то высших интересов. Не мы — так кто-то другой». Вот это почти дословно я много раз слышал от отца, родных и знакомых. Причем говорилось это без возмущения или недовольства, скорее, как-то покорно-обреченно. Мы же не можем, мол, как американцы, испытывать бомбы на японцах, приходится на своих.

Если сейчас Минздрав СССР запрещает связывать онкологические заболевания с пребыванием в Чернобыльской зоне (напоминаю, это написано осенью 1990 года. — *В. М.*), *то что же было в середине 50-х годов? Тогда прекрасно осознавали: все, что связано с атомным взрывом, должно быть покрыто завесой секретности. Начать оказывать эффективную медицинскую помощь населению — значит, разорвать эту завесу... Значит, все, тупик. Умирай, но молчи. Что и делали. Мои земляки просто-напросто оказались один на один с атомной смертью.*

Не могу согласиться с предположением, что жертвы (среди гражданского населения. — *В. М.*) *исчисляются десятками или сотнями. Убежден, что их тысячи, а наиболее вероятно — десятки тысяч. Я военнослужащий, офицер и реально представляю, что такое атомный взрыв и каковы могут быть его последствия, как прямые, так и косвенные. Ведь нельзя забывать, что радиация воздействует и на генетический код живых организмов, значит, пострадавшие могут быть и во втором, и в третьем поколениях.*

К сожалению, Виктор Иванович не ошибался. Преподаватель Оренбургского государственного педагогического университета В. Г. Семенов, дет-

ство которого прошло в полутора десятках километров от Тоцкого полигона, вспоминал:

— Через десяток лет после взрыва начинают умирать от рака люди, среди них и моя мать. Наша соседка, еще более молодая, погибла от рака крови. Много было случаев заболевания раком кожи у жителей окрестных деревень... В 1984 или 85-м году я был на студенческой научной конференции в Оренбургском госмединституте. Было подготовлено и сообщение о мутациях новорожденных детей в Тоцком районе, показано множество заспиртованных уродцев. Как мне показалось, сообщение было доказательным, но несвоевременным, оно опередило решение о рассекречивании на несколько лет. Поэтому и реакция на него была закономерной — институтское научное руководство заявило: «Неубедительно. Да, мутаций много, но их даже больше в других районах области». Однако доказательств данного тезиса не последовало.

Письмо жительницы Приозерского района Ленинградской области Н. Н. Бочкаревой, написанное в ответ на перепечатку моей статьи «Репетиция Апокалипсиса» 14 сентября 1990 года в «Комсомольской правде»[7], переслали мне из редакции «Комсомолки». Автору было восемь лет, когда над поселком Михайловским (не существующим теперь) Люксембургского, а ныне Красногвардейского района Оренбургской области проплыло атомное облако.

— Через 10—11 лет, — пишет Надежда Никоноровна,— *заболела мама — рак пищевода, умерла в 1967 году голодной смертью, в страшных муках. Когда была еще в состоянии говорить, просила, умоляла врача сделать ей укол, который бы прекратил ее страдания. Меньше, чем через семь лет после мамы заболела я — рак молочной железы. В это время я жила в Оренбурге. Отнеслись ко мне в онкодиспансере очень внимательно, видно, жалели, ведь 27 лет всего, маленькие дети. Я врачей просила, чтоб скорее меня отпустили, не ведала, глупая, что это не шутка. На инвалидности не была, стыдно было. Но хоть резаная-перерезаная, полуурод, живу до сих пор благодаря врачам Таисии Ивановне, Маргарите Николаевне и другим и Бога благодарю, что дал мне возможность вырастить детей...*

Года через два после меня заболела средняя сестра — диагноз тот же, примерно еще через год младшая из старших сестер — диагноз тот же. В 1978 году, 23 мая, умерла средняя сестра Мария, остались одни ее сыновья 19 и 13 лет. В этом же году, 3 июня, от скоротечного рака легких умер наш отец. Моя единственная сестра, остававшаяся в живых, жила в Сорочинске, была на инвалидности, одна воспитывала двоих детей, пенсии ей не давали, т. к. большая часть стажа у нее колхозная, а на производстве всего несколько лет. Я писала в Комитет советских женщин, ей назначили пенсию 40 рублей. Естественно, ей, невзирая на болезнь, приходилось тяжело работать, чтоб прокормить детей. В итоге в феврале 1980 года она слегла — метастазы в печень, медицинской помощи не было никакой, не считая одного визита местного «онколога», которая брезгливо ткнула во вздувшийся живот и сказала: «Все ясно». Я, оставив семью и уволившись с работы, уехала за сестрой ухаживать, больше некому было. Больной смертельно человек, стенающий от боли день и ночь, двое

[7] *Моисеев В.* Репетиция Апокалипсиса. — «Комсомольская правда» № 210 от 14 сентября 1990.

детей, наркотики, за которыми нужно ездить каждый день — сначала за рецептом к врачу, затем в аптеку... Это был какой-то кошмар и для меня, тоже нездоровой, еще и надорвавшейся почти неподвижным телом сестры. И страшная мысль, сверлящая мозг: «Меня ожидает то же самое»... За что над простыми людьми, наивно верившими своему правительству, и так «вынесшими все, что Господь ни пошлет», произвели такой страшный эксперимент?

Ответа на этот вопрос я не нахожу вот уже два десятка лет и, боюсь, не найду никогда... 35 лет длился заговор молчания вокруг Тоцких учений и их последствий для солдат, офицеров и мирных жителей. За все это время ни один представитель тогдашней власти даже не подумал что-то сделать для людей, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни доказали, что спасения от ядерного оружия нет. Лишь в 1989 году в центральной прессе появились первые робкие статьи на эту тему. С введением в действие 1 августа 1990 года Закона СССР «О печати» стало возможным публиковать более подробные материалы. Тогда-то о Тоцком-54 узнали все.

8. Диагноз: радиофобия

Тема атомных учений под Тоцким оказалась благодатной не только для журналистов столичных и оренбургских газет и телеканалов. За нее ухватились и наши «зеленые», прежде всего Тамара Злотникова, ныне экс-депутат Госдумы и экс-председатель думского комитета по экологии, а в то время депутат областного Совета. Она весьма активно и настойчиво долбила московских чиновников, тормошила местную общественность, требуя рассказать правду о ядерном взрыве 1954 года и сделать хоть что-то для людей, десятилетия проживших там, где прошло, распадаясь, радиоактивное облако.

Активность Злотниковой отмечал и В. Н. Григорьев, в начале 90-х годов — председатель областного Совета народных депутатов, а затем, до самой своей смерти в 2000 году, председатель Законодательного собрания Оренбургской области. С ним мы встретились летом 1999-го. Речь шла о «тоцком вопросе».

— *Эта проблема давно интересует жителей нашей области,*— сказал Валерий Николаевич. — *Она на самом деле актуальна, потому что гриф секретности с учений 1954 года, по сути дела, так и не снят. В 1990 году я приглашал из Москвы специальную комиссию, чтобы оценить ситуацию, которая складывалась тогда, определить расчетные дозы облучения, способные оказать воздействие на состояние здоровья населения. Наши областные службы здравоохранения и статистики говорили и говорят о том, что ситуация в этих районах отличается в худшую сторону по сравнению с остальными территориями области.*

Было сделано и еще кое-что кроме упомянутой комиссии. Была даже подготовлена программа неотложных мер по ликвидации последствий испытания. Однако многое в ней намечалось «вслепую», поскольку невыясненным оставалось, с какими конкретно последствиями взрыва бороться, кому помогать в первую очередь и чем помогать. В. Н. Григорьев прекрасно отдавал себе отчет в том, что времени терять нельзя, оно и так уже упущено, а речь-то идет о людях, об их здоровье, о самой их жизни. 15 февраля 1991 года он писал министру обороны СССР Д. Т. Язову:

Для... изучения масштабов воздействия взрыва на население области и ликвидации его последствий необходимо полное рассекречивание материалов Минобороны, касающихся взрыва, радиационной обстановки, медицинского обследования участников испытаний и населения прилегающих регионов... Без снятия грифа секретности... невозможно решение неотложных задач программы.

Спустя три месяца, 13 мая 1991 года, последовал ответ. Первый заместитель министра обороны генерал армии К. Кочетов сообщал: дескать, в июне 1990 года в Оренбургской области работала комиссия и установила, что *по ретроспективной оценке ситуации расчетные дозы облучения не могли оказать воздействия на состояние здоровья населения... Состояние здоровья населения в обследованных районах в настоящее время по основным медико-демографическим характеристикам соответствует среднеобластным показателям, включая онкозаболевания и врожденные аномалии, и не превышает таковых в контрольных районах области и РСФСР... Вопрос о рассекречивании материалов о войсковом учении в Тоцком учебном центре в 1954 году рассматривается.*

Забегая вперед, скажу: похоже, этот непростой вопрос рассматривается и по сию пору...

А в июне 1991 года в нашу область приехала еще одна столичная комиссия во главе с О. Н. Прокофьевым, и выводы, сделанные ею, почти дословно повторяли ответ генерала Кочетова. Правда, некоторые данные замолчать все же не удалось. Например, члены комиссии не могли в своей справке не признать, что *по сравнению с 1979 г. отмечается увеличение врожденных аномалий в Бузулукском районе в 5 раз, в Грачевском — в 4,5 раза, в Тоцком — в 3 раза при среднем росте этих аномалий по области в 2,7 раза.* Иными словами, люди все чаще рождаются с отклонениями в здоровье. То есть замминистра обороны уличен во лжи.

Правда, тут же комиссия заключает: *Данные факты не могут быть однозначно связаны с ядерным взрывом в 1954 г., т. к. в Тоцком и Сорочинском районах... рост онкозаболеваемости не отличается от среднеобластного.*

Пройдет всего три года, и 19 октября 1994 года депутаты Законодательного собрания Оренбургской области примут решение о неотложных мероприятиях по оздоровлению населения, проживающего в зоне ядерного взрыва, где, опираясь на исследования оренбургских ученых, констатируют: *В районах, пострадавших в результате атомного испытания, отмечается значительное увеличение онкозаболеваний. Так, с 1985 по 1993 гг. прирост составил: органы дыхания — 225%, щитовидная железа — 260%, лимфатическая и кроветворная система — 670%, кожа — 131,1%. Онкозаболеваемость детского населения возросла... в два раза... Количество детей с врожденными аномалиями и пороками развития увеличилось в 3—5 раз, показатель детской инвалидности в этом районе превышает среднеобластной на 55%.*

Итак, замминистра обороны СССР уже дважды уличен во лжи. Уличены и московские ученые, выполнявшие, судя по всему, министерский заказ. И до сих пор бумага терпит потрясающий по своему цинизму пассаж, которым завершается вся эта генеральско-профессорская брехня! Вот какой итог подводит справка столичной ученой комиссии: *Радиофобия среди населения, особенно усилившаяся после аварии на ЧАЭС и в связи с движением*

против ядерных взрывов, по нашему мнению, сказывается как на здоровье населения, так и на моральном состоянии.

Это они нам поставили диагноз: р а д и о ф о б и я ! Люди, лгавшие и знавшие, что лгут, имели наглость горевать о нашем «моральном состоянии». А цель-то у ревнителей высокой морали с учеными степенями была, похоже, вполне определенная: минимум денег дать Оренбуржью на поддержку пострадавших в 1954-м и последующие годы. Нет, конечно, без копеечки оставить нельзя, они так и пишут: *Просить Совет Министров РСФСР о выделении средств для оснащения диагностической и лечебной аппаратурой ЛПУ* (лечебно-профилактических учреждений. — *В. М.*) *г. Бузулука и Бузулукского района, выполняющих роль межрайонных лечебных центров, ориентировочно сумма составляет 2,2 млн рублей, 480 тысяч долларов.*

Рубли и доллары через запятую — это одна и та же сумма в наших и американских деньгах. Одна и та же, а не две разные. Плюса между ними нет. Что такое было в 1991 году 2,2 миллиона рублей? На всю область — ерунда. Рыночная, то есть реальная стоимость двухкомнатной квартиры в центре Оренбурга составляла тогда 100 тысяч «деревянных». Вот цена, которую нам определили, вот наш гонорар за участие в массовке репетиции Апокалипсиса.

9. 4354 год

Платить по счетам многолетней давности ни в начале 1990-х, ни позже не хотел никто. Однако комиссии, работавшие в районах, подвергшихся воздействию атомного взрыва, все же трудились не бесплодно. 13 сентября 1991 года Борис Ельцин подписал распоряжение «*О мерах по защите населения Горно-Алтайской ССР, Алтайского края и Оренбургской области, проживающего на территориях, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний*». Иначе говоря, оренбуржцев в какой-то мере приравняли к жертвам испытаний на Семипалатинском полигоне, непосредственно примыкающем к Алтаю. Президентское распоряжение предписывало властям на местах разработать *комплекс неотложных мер на 1992–1993 годы по оздоровлению населения и социально-экономическому развитию населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, расположенных в зоне влияния ядерных испытаний.*

И администрация Оренбургской области такую программу разработала. Ее утвердил своим решением от 26 февраля 1992 года Малый Совет областного Совета народных депутатов, и программу представили в Министерство экономики Российской Федерации. В том же 1992 году случилось первое финансовое чудо: на ликвидацию последствий ядерного взрыва область получила 200 миллионов рублей из республиканского бюджета. Я прекрасно помню те распоряжения главы администрации области В. В. Елагина, согласно которым эти деньги распределялись по районам на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и других лечебных учреждений. Деньги шли и на проведение исследований в Тоцком, Сорочинском, Бузулукском, других «атомных» районах: наши, оренбургские ученые наконец-то получили возможность выяснить, какова там подлинная радиационная обстановка, почему болеют люди, отчего мрет скот, и понять, что же делать дальше.

А дальше было вот что. В 1993 году республиканский бюджет выделил на решение тоцких проблем только 64,88 миллиона рублей. Правда, в 1994 году 400 миллионов дали на исследования и 305 миллионов рублей на специальную медицинскую помощь. В частности, на эти деньги покупалось детское питание тем детям, кому оно было необходимо по медицинским показаниям. Десять человек из числа жителей неблагополучных районов Западного Оренбуржья были отправлены на обследование в Санкт-Петербург. А на следующий год средства на «оздоровление населения» поступили в область в последний раз.

В 1999 году я побеседовал с А. М. Русановым, в 1994-м начальником отдела охраны природной среды и природопользования областной администрации, а спустя пять лет — председателем ее комитета по науке, высшей школе и региональной политике образования. Он непосредственно занимался проблемой последствий Тоцкого атомного взрыва, координировал исследования, проводившиеся в пострадавших районах.

— Александр Михайлович, какова сейчас радиационная картина в Тоцком, Сорочинском, Красногвардейском, Бузулукском и других районах, затронутых атомными испытаниями?

— Конечно, некоторое превышение предельно допустимых норм по радиоактивным веществам есть. Но очень незначительное. Поэтому говорить, что сейчас, в наше время, действуют ярко выражено радиоактивные элементы, нельзя. Но и современная радиобиология не может пока ответить на очень важный вопрос — о длительном воздействии малых доз радиации на живые организмы.

— Вы говорите о превышении предельно допустимых норм. А каковы эти нормы?

— На этот вопрос очень непросто ответить. Ведь антропогенная радиоактивность появилась на Земле всего полвека назад — ядерные взрывы, атомные электростанции... Предельно допустимые концентрации тут — еще не устоявшиеся величины. При разовых воздействиях на организм человека нам известны предельные и смертельные дозы радиации. А вот как действуют небольшие дозы в течение десятилетий, — как у нас в области, — этого никто сказать не может.

— В таком случае, правильно ли будет заявить, что сейчас в тех районах Оренбуржья, о которых мы ведем речь, все более или менее нормально с радиацией?

— Нет. Уважающий себя специалист так не скажет, потому что не может дать четкого и ясного ответа на этот вопрос. Четко мы можем говорить: о воздействии на людей в момент взрыва — да, о радиоактивном следе — да. Но в сочетании с другими неблагоприятными воздействиями — природным радоном, применением пестицидов типа ДДТ — малые дозы в течение многих лет, конечно же, оказывали негативное воздействие на организм человека. И это воздействие четко зафиксировано теми исследованиями, которые проводились у нас в области.

Мой собеседник рассказал еще, как скептически относятся к теме связи Тоцкого взрыва и последовавшего за ним роста онкологических заболеваний московские научные светила, особенно те, кто работает под крылом Министерства обороны. Ни в какую не хотят признавать этой связи. Ниче-

го подобного, дескать, не может быть. Больше того — и при взрыве не могло быть никакого опасного воздействия даже на военнослужащих, не то что на гражданское население. Короче говоря, армия народ обидеть не может, так что нечего транжирить государственные деньги на необоснованные претензии по поводу подорванного здоровья.

— *Мы долго сотрудничали с одним институтом в Подмосковье*, — рассказывал А. М. Русанов. — *Прекрасный институт, я там часто бывал в связи с исследованиями в Тоцком и других районах. Больше всего мы работали с отделом радиации. И был там один майор, фамилию его я знаю, но называть не стану. Когда мы начинали исследования и контактировали с петербургскими учеными, он направлял ход наших мыслей на то, что «наш» взрыв был не плутониевый, а урановый. А исследования по плутонию были очень дорогостоящие, и нам не хотелось тратить те гроши, что выделялись, попусту. Поэтому мы спрашивали: «Ну скажите, какой был взрыв?» — «Урановый, конечно, откуда тогда могла взяться плутониевая бомба?!» Но с каждым годом у нас прибавлялось доказательств того, что заряд был не урановый. Нет урановых осколков, а радиационный след остается. И мы пошли методом проб и ошибок, потратили деньги и выяснили, что плутония здесь, у нас, в пять—восемь раз больше, чем положено. А выяснилось это только в 1995 году,— в последнем году, когда нам давали деньги из госбюджета.*

Петербуржцы провели свои исследования образцов почв, переданных нами, и подтвердили нашу правоту. Надо сказать, что плутоний — чисто антропогенный элемент, его нет в свободном состоянии в природе, его может «сделать» только человек. Его фоновое содержание полностью на совести человечества. Период полураспада плутония— две тысячи четыреста лет. Столько будет длиться, угасая, его излучение. И как оно скажется на наших потомках и потомках потомков?..

— ***А что же тот майор?***

— *Мы с ним встретились позже, и я у него спросил: «Слушай, товарищ, что же ты нам в то время правды не сказал?» Ответ был такой, почти дословно: «Ты видишь, сколько у меня звезд на погонах? Правильно, три. А если бы я тогда вам растрепал про бомбу, глядишь, так бы с одной и ходил».*

Ну что ж, теперь бывший майор может не опасаться за свое будущее: если не дослужится до генерала, то все равно будет получать приличную полковничью пенсию. Беспокоиться надо нам с вами: ведь это нам и детям нашим, и внукам ходить по земле, помеченной плутонием, полураспад которого завершится в 4354 году от Рождества Христова. Господи, прости полковника и помилуй нас.

10. Надежда умирает последней

Двадцать восьмого декабря, под самый Новый, 1997-й, год премьер-министр России и наш земляк В. С. Черномырдин сделал оренбуржцам подарок — подписал постановление Правительства Российской Федерации №1561 «*О социально-экономическом развитии Оренбургской области*». В нем, помимо чисто экономических аспектов, имелось приложение № 2 — «*План мероприятий по медико-социальной реабилитации населения Оренбургской*

области, проживающего в зоне Тоцкого ядерного взрыва, на 1998–1999 годы». Именно то, за что бились с Москвой правительство области и Законодательное собрание. Согласно этому плану, область должна была получить деньги на строительство поликлиник в Сорочинске и Бузулуке, межрайонного онкологического центра в Бузулуке, межрайонных центров санэпиднадзора в Бузулуке и Сорочинске. В первом же послепраздничном номере газета «Оренбуржье» сообщила жителям области эту радостную весть.

Только радость, к сожалению, была недолгой. Ни копейки из обещанных денег область не получила. В августе 1998-го грянул дефолт, и многие бюджетные расходы были секвестированы, то есть попросту вычеркнуты вон из-за нехватки денег. Под нож угодило и постановление № 1561. Возможно, по той причине, что в марте того же «черного» 1998 года Черномырдин ушел в отставку.

Впрочем, ряд медицинских учреждений — фельдшерско-акушерские пункты, районные центры санэпиднадзора, поликлиники, онкодиспансеры — область все-таки построила. Но не на те деньги, что были обещаны нам в декабре 1996-го, а, в основном, за счет средств областного бюджета.

Летом 1999-го я отправился в трехдневную командировку, чтобы посмотреть, как живут наши земляки из сел рядом с эпицентром атомного взрыва. Я побывал тогда в Елшанке-второй (пять километров от эпицентра) и Маховке (четыре километра).

Елшанка-вторая. Летний зной, улицы пусты, людей можно заметить только на картофельных участках. Многие здесь только картошкой и спасаются... Вот и С. П. Крюкову, учителя, депутата сельсовета, я застал на картошке.

О чем спросить человека, который живет на этой земле, помеченной радиацией, где плутония в несколько раз больше нормы, да еще и выращивает тут картошку? Ну о чем? Наверное, только об одном:

— ***Светлана Петровна, если бы сейчас правительство вдруг сказало: «Просите чего хотите», — что бы вы попросили для вашей Елшанки?***

Моя собеседница ответила с поистине депутатской серьезностью, словно я и в самом деле представлял сейчас правительство РФ.

— *Ну, во-первых, чтобы газифицировали село. Чтобы были дороги. Чтобы здесь создали рабочие места. Раньше были фермы, люди работали, зарабатывали что-то, а сейчас из-за того, что скот болеет лейкозом, его вывезли.*

— ***Абсолютно весь?***

— *Коров практически нет. Осталось несколько телят и тридцать голов свиней. Бóльшая часть населения вообще не работает, жить людям не на что. И особая проблема — болеют люди: раковые опухоли, в основном смерть наступает от рака. Слабое медицинское обслуживание, больных не на чем даже вывозить отсюда. Надо, чтобы чаще обследовали людей именно на предмет рака и своевременно оказывали им помощь. И, кроме того, чтобы раковым больным давали какую-то помощь деньгами на приобретение лекарств. Многие не могут даже лечиться. Женщина из нашего села два года не может поехать в Оренбург — нет денег. А у нее рак кожи.*

— ***Сколько сейчас в Елшанке жителей?***

— *Человек двести сорок.*

— ***Сколько из них без работы?***

— Легче сказать, сколько на работе,— человек 20. Сейчас есть кое-какая сезонная работа, а зимой они будут сидеть без дела. Дорогу надо сделать до Вязовки. Это у нас единственная связь с миром — с соседним селом, с городом. Там хлебопекарня, медицинское обслуживание. Зимой, когда бывают заносы на дорогах, мы тут безвыездно живем: больных не вывезешь, хлеб не привезешь... Хорошее место, хорошая природа, но люди бегут отсюда, потому что жить не на что: пять лет не платят денег. Наши студенты и школьники каждую пятницу возвращаются пешком в село — двенадцать километров в любую погоду. Зимой — на тракторах, а трактористы бывают пьяные, переворачивают трактор... Я просила администрацию нашего Бузулукского района, чтобы хоть по пятницам сюда автобус посылали или колхоз выделял, — реакция нулевая. У меня сын подрастает, я не хочу, чтобы он вот так же ходил учиться...

В соседней Маховке приблизительно та же картина: село «неперспективное», осталось в нем с полсотни жителей, даже хлеб сюда возят только летом и раз в неделю, газа нет, три-четыре школьника ходят пешком в Пронькино, где живут в интернате всю неделю.

А ведь это благословенные края! Настоящий подарок природы...

— Хоть бы внукам нашим память о селе осталась,— говорят пенсионеры Леоновы, пережившие атомный сентябрь 54-го.

А пока... Пока другой пенсионерке, — ее фамилия Сидорова, — обрезали электропровода, и она на исходе XX века жила в эпоху «до лампочки». Казалось бы, все справедливо: не платила пенсионерка Сидорова за электричество. Только никто не скажет, чем ей за него платить...

Тот же вопрос, что и С. П. Крюковой, я задал позже тогдашнему председателю комитета по науке, высшей школе и региональной политике образования А. М. Русанову.

— Александр Михайлович, чего следовало бы просить оренбуржцам, если бы вдруг Правительство России решило помочь им, пострадавшим от ядерного взрыва?

И ответ получил практически тот же самый:

— Наверное, в первую очередь надо довести уровень медицинского и экологического обслуживания населения до просто среднероссийского уровня. Посмотрите, какие здания Госсанэпиднадзора в этих районах, какие там больницы, — в бараках ведь зачастую до сих пор люди лечатся. Вот с этого бы начать.

Заместитель главы администрации Тоцкого района А. А. Соколов рассказал, что центральной районной больнице прислали оборудование, и жители района могли получать медицинскую помощь на месте.

— Правда, года три назад поставки оборудования прекратились, — подытожил Александр Александрович. *— У нас в бюджете района заложено оказание помощи онкобольным. Но эта статья выполнялась не в полном объеме по причине недостаточного финансирования. Бюджет района в основном дотационный, 70 процентов получаем из области...*

Словом, все мои собеседники сходились в одном: людям в пострадавших районах, прежде всего, необходимо достойное медицинское обслуживание. Но ведь именно об этом говорилось в постановлении Правительства РФ № 1561! Что же можно сделать, чтобы федеральные власти выполнили собственное решение?

С этим вопросом в июле 1999 года я обратился к главе администрации Оренбургской области В. В. Елагину.

— Надежда умирает последней. Пока по этой программе — мизерная, к сожалению, поддержка со стороны федерального правительства, — сказал Владимир Васильевич. *— Поэтому мы больше надеемся сейчас на себя, чем на инвестиции правительства в ту проблему, которую в свое время создало государство... Будем добиваться, чтобы справедливость восторжествовала. Ведь сегодня восторжествовала справедливость в отношении участников испытаний атомного оружия на Тоцком полигоне, и теперь они приравнены к участникам войны по всем льготам...*

Много здесь проблем. Ведь одно дело — люди, пострадавшие в 1954-м, но ведь последствия взрыва начинают проявляться во втором-третьем поколении жителей этих районов. Над задачей помочь им мы сейчас должны работать...

11. Считаю за честь...

14 сентября 1999 года на Тоцком полигоне, в эпицентре атомного взрыва 1954-го, было необычно многолюдно. У подножия памятника «атомным солдатам» собрались те из теперь уже почти легендарных участников Тоцких учений, кто остался в живых и смог приехать на землю своей славы и боли.

Говорили речи официальные лица. Подходили ветераны учений, среди них — гость из Санкт-Петербурга В. Я. Бенцианов.

Имя Владимира Яковлевича Бенцианова уже не раз встречалось на этих страницах. Думаю, настало время сказать об этом удивительном человеке чуть подробнее. О том хотя бы, что это именно его стараниями в мае 1990 года в Ленинграде был создан Комитет ветеранов подразделений особого риска. Будучи практически слепым, Бенцианов сумел организовать и «пробить» в тогдашних партийно-правительственных верхах действенную структуру для поддержки таких же, как он сам, «атомных солдат» — тех, кто участвовал в Тоцких учениях, семипалатинских и новоземельских испытаниях ядерного оружия, пережил аварии на атомных подводных лодках[8].

Вот что сказал В. Я. Бенецианов:

— Я считал за честь, что Родина доверила мне участвовать в этих учениях. Результаты учений были тяжелыми, мы видели все то, что здесь случилось. Я как сейчас помню деревни Елшанку, Маховку, где дома были снесены с лица земли и остались одни печи. Был такой пожар, что трудно даже передать словами. Недалеко от Маховки стояло одноэтажное здание школы, часть стены была как срезана ножом, стояла в трехстах метрах и тоже горела. Конечно, в этих деревнях никого не было, кроме военных. Каждый выполнял свои боевые задачи, все существовавшие тогда реактивные, артиллерийские, минометные, авиационные системы бомбили заданный участок, не портя до-

---

[8] Согласно уставу, Комитет объединил *бывших военнослужащих Советской Армии и Военно-морского флота, войск МВД и КГБ СССР, принимавших участие в войсковых учениях с применением ядерного оружия, испытаниях этого оружия и связанных по роду своей службы с ядерными установками и оружием, а также участников ликвидации последствий аварий на АЭС и других объектах атомной промышленности.*

рогого эпицентра, чтобы оставить его для исследований. Благодаря Тоцким учениям были полностью отработаны действия войск в условиях атомной войны. Данная нами подписка не позволяла в течение 25 лет что-либо сказать. И вот из 109 человек своего разведдивизиона мне удалось найти пока 11 человек. По всей стране порядка 5200 участников Тоцких учений, 1012 — в Белоруссии, 511 — на Украине, около 200 — в Казахстане. Выявление их продолжается. Честь и слава героям нашей Родины, отдавшим свою жизнь для создания ядерного щита великой державы! Мир тем, кто ушел из жизни раньше. Скорблю по погибшим жителям деревень, которые я перечислил. Но в этом нет вины военных. Американцы к 1947 году имели более 300 ядерных зарядов, 10 из них предназначались Ленинграду, 24 — для Москвы, 14 — для Свердловска. И оторвав деньги, предназначенные для восстановления страны, мы были вынуждены создавать ядерный щит Родины. Мы этим гордимся. Будьте здоровы, счастливы, живите долго!

Как скажешь, глядя в лицо этому практически слепому человеку, выполнившему приказ, что на самом деле его сделали участником бесчеловечного эксперимента? Я не могу, не имею права разубеждать тех, у кого Тоцкие атомные учения отняли здоровье, жизнь, будущее детей и внуков, в том, что их жертва не была напрасной. Потому хотя бы, что раз и навсегда доказала всему миру: победителей в ядерной войне не будет, расхлебывать ее последствия придется всем...

В. Я. Бенцианов сказал и о том, что 2600 ветеранов подразделений особого риска награждены орденом Мужества. У многих участников митинга я видел эти ордена на груди... Что ж, разве не заслужили эти люди свои награды? Только здесь же, во время митинга, захотелось вдруг спросить: а что же те самые жители деревень, о которых говорил Владимир Яковлевич? Они-то чего удостоены? Я не о наградах. Я о самом элементарном — о газификации, о дорогах, о медицинском обслуживании, в конце концов.

На этом невеселом митинге вспомнилось мне и другое. 20 октября 1990 года вместе с Т. В. Злотниковой, тогда председателем комиссии по вопросам экологии Оренбургского областного Совета народных депутатов, и В. А. Труновым, учителем из села Пронькина Сорочинского района, мне довелось побывать на конференции «атомных солдат» в Ленинграде. Ветераны собрались в окружном Доме офицеров, вспоминали свою опасную работу, рассказывали, как Минобороны ни в какую не желало признавать их подорванное здоровье результатом военной службы. А вечером, после того, как всю прессу, кроме меня (проходившего более как оренбуржец, нежели как журналист), вежливо попросили, на закрытом заседании приняли обращение к М. С. Горбачеву. Мы, оренбургская делегация, хотя и состоявшая всего из трех человек, прекрасно осознавали, что представляем интересы десятков и сотен тысяч наших земляков, пострадавших в результате Тоцких учений. Поэтому требовали обратиться к руководителю СССР не только от имени военнослужащих, но и от лица мирных жителей Оренбургской области. Такой поворот дела взволновал руководителей Комитета, и они упросили нас снять это предложение. Аргумент у них был простой и, увы, предельно понятный: на «атомных» ветеранов, которых к тому времени отыскалось две сотни, у государства деньги, пожалуй, найдутся, а если просить еще и на гражданское

население Западного Оренбуржья, то могут не дать ничего... Тогда мы потребовали хотя бы напомнить президенту СССР о том, что незамедлительного решения ждут и проблемы мирных жителей Оренбургской, Семипалатинской областей, других регионов, где проводились атомные испытания.

Прошло почти два десятка лет. И что же? Не сделано, можно сказать, почти ничего.

12. Плутоний в борозде, мутация в клетках

В 1996 году на Первую научно-практическую конференцию «Медико-экологические аспекты последствий Тоцкого ядерного взрыва» в Оренбург со всей России съехались специалисты, занимающиеся проблемами радиационной медицины, в том числе — вопросом, как воздействуют на здоровье людей отдаленные последствия атомного взрыва, малые дозы радиации. Были среди них и члены Академии медицинских наук. Предполагалось проводить такие конференции раз в пять лет. Но, к сожалению, первый большой научный сбор медиков по поводу тоцких проблем оказался последним. Больше ученые у нас не собирались.

Понятно, что признавать во всеуслышание, сколько лишнего и опасного можно найти в почве и воде Оренбургской области, не говоря уже об организмах людей, сейчас просто невыгодно. Нам всем так хотелось бы инвестиций, открытия новых предприятий, создания рабочих мест... А инвесторов известие про плутоний в земле и уран в воде может и отпугнуть.

Оренбургская область, по сообщениям официальных источников в региональном правительстве, занимает неплохие позиции в Приволжском федеральном округе по привлечению инвестиций, в том числе иностранных. Уверен, и будущих инвесторов не испугает ежегодная диспансеризация жителей Западного Оренбуржья со всеми необходимыми обследованиями, нацеленными на выявление онкозаболеваний. Вон в Японии после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки все жители страны старше сорока организованно обследуются дважды в год: их проверяют на рак желудка и рак крови — те заболевания, которые чаще всего возникают вследствие радиоактивного заражения. И что-то ни один иностранный деловой партнер еще не шарахнулся из страны по этой причине. Напротив! Япония за последние полвека стала одним из мировых центров экономической активности.

Чего же мы-то боимся? Не самих ли себя?

Много лет подряд я возвращаюсь к теме Тоцкого атомного взрыва 1954 года. Вот уже два десятилетия я пишу об этом в газетах и журналах, выступаю на телевидении не только накануне 14 сентября, но по несколько раз в год. Снова и снова говорю об одном и том же: правительство нашей страны должно признать свою ответственность за чудовищный эксперимент, проведенный над мирными жителями Оренбуржья, и помочь людям, которые живут в зоне «атомного следа». Однако практически единственное, что сделано для жителей районов, пострадавших от атомных учений 1954 года, — это исследования, проводившиеся до середины 1990-х. С тех пор почти ничего не изменилось.

Об этом, увы, свидетельствует и интервью с доктором медицинских наук, профессором В. М. Боевым, заведующим кафедрой общей и коммунальной

гигиены с экологией человека Оренбургской государственной медицинской академии, с которым мы побеседовали в сентябре 2001 года.

— Виктор Михайлович, вы принимали участие в исследованиях, проводившихся в начале 90-х в районах Оренбуржья, подвергшихся воздействию атомного взрыва. Они внесли какую-то ясность в проблему?

— Проблема остается. Но с 1995 года Правительство нам прекратило финансирование, потому что мы слишком глубоко копнули. Шел тогда общий разговор о коротко- и среднеживущих радионуклидах с периодом полураспада до 30 лет: цезий, стронций. А мы показали, что в отдельных населенных пунктах Сорочинского района — Пронькине, Баклановке — идет превышение по ним в 1,5—2 раза. Так какая же доза была в 1954-м, если все это сохранилось?! Нам даже не дали возможности детально выявить очаги радиационного загрязнения. Но нам удалось совместно с екатеринбуржцами определить присутствие в почве оружейного плутония с превышением нормы в пять раз в отдельных точках. Период его полураспада — 2400 лет. Хватит многим поколениям. Причем это альфа-частицы, их поступление в организм идет с воздухом, с пылью, из почвы. Так называемая инкорпорированная радиация. Люди этим дышат, это едят. В результате онкозаболеваемость и онкосмертность в ряде западных районов области самые высокие.

— Говорят, что наша область — на четвертом месте в России по уровню раковых заболеваний.

— Да, у нас в сельскохозяйственных районах — Сорочинском, Красногвардейском — уровень онкозаболеваемости, как в промышленных городах Оренбурге, Медногорске. Это же о чем-то говорит! Каждый в регионе эпицентра должен знать, в каких условиях живет. Это его право выбора — оставаться там жить или нет. Мы ведь даже не ставили вопроса о какой-то компенсации. Ну, дали немножко, строить начали больницу в Сорочинске, медучреждения в Бузулуке. Это хорошо. Но мы до сих пор не знаем точно, куда облако-то пошло в 54-м. Мы не успели обследовать Александровский, Шарлыкский районы, а ведь в Шарлыкском тоже высокий уровень онкозаболеваемости. Обследовали водоемы на предмет присутствия урана. Есть и природный уран, но в водостоках мы обнаружили, что по сравнению со средним фоном в области в западном регионе он превышен в 15,5 раза, а на стыке Сорочинского, Красногвардейского, Грачевского и Тоцкого районов — в 32,5 раза!

— Чем реально, кроме раковых болезней, грозит людям проживание в этих районах?

— Снижением продолжительности жизни, врожденными аномалиями у детей, осложнением беременности, повышенной младенческой смертностью. А про эндемический зоб и снижение иммунитета — особенно у детей — и говорить нечего!

— Словом, ядерный взрыв 1954 года продолжает тихо убивать?

— У меня нет сомнений, что отрицательный фактор есть, он действует на состояние здоровья населения и будет действовать еще очень много лет. Совместные с москвичами исследования показали, что у жителей западных районов области есть хромосомные нарушения в лимфоцитах, причем у детей в два раза выше, чем у взрослых. Это проверено дважды: для сравнения брали кровь и у детей Подмосковья, и у наших из благополучного района. Причина

одна — радиация. То же самое подтверждается и на мышах. У домовых мышей и у полевок, которых отлавливали в пострадавших районах, с 1954 года сменилось много поколений, и там уже по наследству передаются генетические отклонения: меняется строение челюстного аппарата, костного скелета. У людей изменения пока отследить труднее. Но по клеткам раковых опухолей видно, что мутации в них происходят.

13. На круги своя...

В сентябре 2002 года о том, что можно и нужно сделать для оренбуржцев, пострадавших от Тоцкого взрыва, для их детей и внуков, живущих на плутониевых полях, мы вновь говорили с А. М. Русановым, известным экологом, заведующим кафедрой общей биологии Оренбургского государственного университета.

— Александр Михайлович, какие уроки наше государство, наши руководители извлекли из атомных учений на Тоцком полигоне?

— Меня больше всего удивляет, что 45 тысяч участников учений, примерно столько же жителей районов, подвергшихся воздействию атомного оружия, даже не исследовались, как подобает, медиками, учеными. А ведь это очень важно, потому что в то время медицина знала о результатах действия больших доз радиоактивного излучения на человека и животных: уже были Хиросима и Нагасаки. Но вот как действуют малые дозы, и сейчас непонятно. Вот ведь уникальная возможность исследовать это. Если уж взорвали бомбу, так доведите дело до ума.

— Может, потому правительство и не оказывает помощь пострадавшим районам нашей области, что теперь доказать что-либо трудно? Исследования-то не проводились.

— Проводились, но в начале 1990-х. И от них была бы большая польза и для оренбуржцев, и для практики, и для науки. Но эти исследования, не завершась, остановились. Деньги кончились.

— А какой-то практический вывод был сделан?

— Практический вывод был такой: несмотря на уверения ученых от военной медицины, нам удалось доказать, что воздействие Тоцкого взрыва на экологию территории, на животный, растительный мир и на человека очевидно. Именно под влиянием этих малооспоримых фактов правительство приняло 28 декабря 1996 года постановление № 1561 о социально-экономическом развитии Оренбургской области, где отдельным приложением шло решение о реабилитации жителей пострадавших районов. Но это была косметическая мера.

— В том смысле, что это постановление не выполнено?

— Мы живем с вами в России, поэтому никогда нельзя сказать «да» или «нет». Оно, в общем-то, выполняется почти на сто процентов. Но вспомните, к чему сводилось приложение к постановлению: к строительству двух центров санэпиднадзора — в Сорочинске и Бузулуке, двух поликлиник там же и онкологического центра в Бузулуке. Все это обязано было появиться в этих городах еще лет тридцать назад. То есть целенаправленных действий правительства по реабилитации того населения, которое пострадало именно от

ядерного взрыва, не было никаких. А после дефолта 1998 года это постановление секвестировали в числе многих других. Из федерального бюджета очень небольшие деньги стали поступать только после 2000 года. Львиную же долю расходов взяла на себя область. А почему? Ведь это копейки в масштабах страны. Тоцкая проблема — архиважная и в социальном, и в медицинском, и в экологическом плане. Так неужели нельзя было это постановление не секвестировать?

— Как сегодня обстоят дела с помощью пострадавшим районам?

— Положение дел не вызывает оптимизма. Проблема Тоцкого ядерного взрыва у нас была «решена»: ею перестали заниматься. Абсолютно. Всероссийская конференция по Тоцкому взрыву больше не собиралась. Где бесценный материал, накопленный учеными Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга? Тот самый материал о влиянии малых доз радиации на организм человека? Почему он остался без движения? Никто не занимается диспансеризацией людей, которые живут в районе установленного «атомного следа». Уверен, что списков этих людей нет ни в областном управлении здравоохранения, ни в районах. Но неужели нельзя раз в год диспансеризировать пусть не всех жителей области, но тех 40 тысяч человек, которые живут в районе «следа»?

А кто-нибудь задумался, как быть с полями, где в почве в 3—5 раз больше нормы плутония? Выращивать там хлеб, который напрямую пойдет в пищу человеку, или все же хотя бы многолетние травы, которые попадают сначала в организм животных и там частично оседают, меньше вредя человеку? Никто этим не интересуется. Никто не установил места локального радиоактивного загрязнения земель. Как там сеяли, так и сеют...

Вместо эпилога

В 2009-м исполнится 55 лет со дня Тоцких ядерных испытаний. А десятки тысяч наших земляков так и живут рядом с атомным полигоном или в зоне «следа» — в покосившихся домах без удобств, часто не имеют работы, хороших дорог, школы, магазина, пекарни в своем селе, не говоря уже о ежегодном медицинском обследовании...

Повторял и буду повторять: Правительство Российской Федерации, как правопреемник руководства СССР, должно признать свою ответственность за эксперимент над оренбуржцами 14 сентября 1954 года, должно сделать все, чтобы дожившие до наших дней очевидцы учений и их потомки имели информацию о той опасности, которой они подверглись и, возможно, подвергаются сейчас. Чтобы получали государственную финансовую поддержку, достойное и полноценное медицинское обслуживание.

...В эпицентре Тоцкого взрыва многолюдно бывает лишь раз в год, 14 сентября, в день атомных учений. А так — лишь изредка проедут местные жители или военные, когда не проводятся стрельбы и бомбометание. Иногда к памятнику «атомным солдатам» подъезжают молодожены с цветами. Они, юные и полные надежд, не боятся ни стрельб, ни радиации. Это мы должны бояться за них, за наше будущее, за детей, внуков и правнуков, быть мудрыми, чтобы не допустить атомного Апокалипсиса.

ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА И СВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Круглый стол в Культурном центре «Духовная библиотека»

В ноябре 2008 года в Москве в Культурном центре «Духовная библиотека» при участии журнала «Континент» состоялся круглый стол, посвященный обсуждению современных проблем взаимоотношения христианской и светской культуры. Встреча была приурочена ко времени пребывания в России архиепископа Джанфранко Равази, нового председателя Папского совета по культуре (назначенный на эту должность 3 сентября 2007 года, он также является председателем Папской комиссии по культурному наследию Церкви и Папской комиссии по священной археологии).

Состоявшаяся дискуссия стала тематическим продолжением и развитием разговора на тему «Христианство и демократическая культура», состоявшегося ранее в редакции «Континента» (стенограмма опубликована в номере 134 за 2007 год). В ближайшее время предполагаем продолжить обсуждение темы христианства и культуры в различных ее аспектах с участием богословов, философов, писателей, политологов, деятелей культуры и предложить читателям «Континента» результаты состоявшейся дискуссии.

Ниже публикуется стенограмма круглого стола*.

Жан-Франсуа ТИРИ, директор Культурного центра «Духовная библиотека» (Москва)

Четыре года назад во время открытия нашего Культурного центра «Духовная библиотека» кардинал Поль Пупар, тогдашний президент Папского совета по культуре, в частности, сказал: «Диалог между верой и культурой требует согласованной и обширной работы всего человеческого сообщества, которая позволила бы проникнуть во все без исключения сферы жизни... Такие центры играют пророческую роль, роль критического сознания для всего гражданского общества». Все это время мы старались работать в заданном направлении и сегодня продолжаем эту работу.

Тема нашего круглого стола — взаимоотношения между светской и христианской культурой. Выражаем благодарность архиепископу Джанфранко Равази, который был недавно назначен главой Папского совета по культуре, за то, что во время своего первого визита в Россию он согласился принять участие в сегодняшней дискуссии.

Передаю слово ведущему Александру Архангельскому.

* Стенограмма дается в сокращении.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, журналист, писатель, телеведущий

Я благодарен за возможность участвовать в этом круглом столе и даже его модерировать. И прежде чем передать слово выступающим, хочу сказать лишь два слова.

Сама постановка вопроса: люди веры и люди культуры — это уже, конечно, диагноз нашему времени. Если приходится сопоставлять две эти группы, значит, с миром уже что-то не в порядке. И вообще, если занимаешься светской культурой, как занимаюсь я, изо дня в день, то приходится признать, что она редко бывает приятной, от нее очень часто хочется отвернуться, ибо она несет в себе многое, что никак не совместимо ни с верой, ни с истиной, ни с простой человеческой моралью. И тем не менее эта культура выражает самосознание современного массового человека, каков он есть. Приятен этот человек или неприятен, но с ним нужно иметь дело, потому что он и есть средоточие современной истории. Приятнее, конечно, удалиться в круг своих, близких, понятных. Но мы понимаем, что этот круг своих в любую секунду может превратиться в гетто, из которого нет выхода. И здесь встает проблема диалога. В конце концов, Бог имеет дело с нами, какие мы есть. Почему Церковь не может иметь дело с той культурой, какая есть? И я как человек, занимающийся светской культурой, какая она есть, благодарен архиепископу Равази за то, что он постоянно размышляет о возможности встречи — новой встречи в пределах этого мира, этой истории, этого дня.

Архиепископ Джанфранко РАВАЗИ, президент Папского совета по культуре

Я буду строить свое выступление в очень простой манере. Начну с одной посылки о самой концепции культуры. Это принципиально важный момент, поскольку, как мы знаем, вокруг этой темы выстраивается весьма изощренная дискуссия.

Концепция культуры более не является той, что считалась традиционной и относила культуру почти исключительно к миру интеллигенции, интеллектуалов и гуманистов или к миру высокой науки. Концепция культуры уже становится «пересекающей», то есть культура понимается как то, что́ пронизывает почти все, что относится к человеку. И поэтому я благодарю ведущего за то, что он с самого начала поставил в центр нашей дискуссии человека как такового. Если мы хотим дать определение культуры, то парадоксальным образом должны вновь вернуться к Аристотелю, который в самом начале своей «Метафизики» говорит: «Все люди от природы стремятся к знанию». Поэтому культура должна была бы представлять собой познание в своем основополагающем измерении, которое, для упрощения наших рассуждений, может быть представлено в четырех основных пунктах.

Первый — это интеллектуальная деятельность, то есть умственное знание и познание. Второй — «волевое» измерение, культура как воление, а также как влияние, и не только на историю и на события. Третий компонент — эмоциональный: культура — это также чувство, интуиция и свободное творчество, о чем свидетельствует искусство. И последнее: культура имеет также эффективный, действенный аспект, то есть культура есть и

конкретная деятельность, которой занимается человек, достигая определенных целей. Исходя из этого, мы может сказать, что первичной целью культуры является не изучение некоторых, самых высоких, явлений, но проникновение в реальность в ее целостности. И это учение пришло к нам от греков.

Слово культура начинает употребляться в традиционном значении высокой, интеллектуальной культуры в XVII веке: это слово *kultur* в немецком языке. Эквивалентным словом в греческом языке было *paidena*, но оно обозначало совсем иное, а именно целостное формирование, целостное воспитание личности. В латинском языке существует слово *humanitas*, что означает созидание человека в его полноте. В прошлом веке начал широко употребляться термин *цивилизация*, который намного шире термина *культура*.

Это краткое вступление мне потребовалось для того, чтобы показать, что концепция культуры выводит нас на разные уровни: на уровень популярной культуры и на уровень высоких поисков. Кроме того, культура также означает огромное усилие, огромное обязательство. Я хочу напомнить одну фразу из Библии, которая является в данном случае фундаментальной. Это фраза интеллектуала, и речь идет об Экклезиасте: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (1:18). Иными словами, глупость имеет место тогда, когда не хотят смотреть в глубь реальности. А взгляд вглубь может стоить многого, может порождать драматизм и даже трагизм.

Говоря о культуре, я часто использую образ радуги с самыми разнообразными цветами, которые располагаются согласно хроматическому спектру от холодного лилового до теплого красного или инфракрасного. В этом необычайном разнообразии тем я хочу коснуться лишь некоторых.

Первая тема: современная культура, — как и культура прошлого, но по-новому, — ставит проблему взаимоотношений с человеческой природой, с естеством человека и, как следствие, с обществом. То есть с тем общим элементом, который нас объединяет, — если такой элемент существует, поскольку некоторые отрицают, что можно выявить какую-либо общую ткань, которую Библия называет «все в Адаме». «Адамичность» является общим естественным компонентом бытия мужчин и женщин. Рассматривая эту тему — отношений с человеческой природой, — мы сталкиваемся по крайней мере с двумя противоположными позициями. Классическая точка зрения, которая идет от греческой философии и также является фундаментальной для христианского опыта, признает наличие некоторых основополагающих структурных компонентов человеческой природы. То есть существует метафизическое измерение природы, которое утверждено в себе самом и соединяет всех на некотором базовом уровне. Другая точка зрения, более современная, является антитезой классической точке зрения. Она выражена в одном парадоксальном высказывании Фрейда: «Главной задачей культуры, ее подлинным *raison d'être* является защита и освобождение нас от природы», то есть уничтожение того, что является структурным и основополагающим. Культура есть искусственное пространство, создаваемое человеком, и это выражается в ее определении.

Это отрицание естественного закона, несомненно, сказывается и на этике. Какова наиболее традиционная формула некоторых течений этической мысли XX века? Это так называемый «ситуационизм»: каждая ситуация,

каждая среда, каждая историко-культурная и географическая система координат создает антропологический феномен и фенотип, антропологическую модель. Не существует фундаментальной общей компоненты, которая позволяет различать добро и зло, определять дозволенное и недозволенное. Она создается каждый раз заново в соответствии со средой, с конкретной культурной ситуацией.

Вторая тема в некотором роде параллельна первой. После рассмотрения взаимоотношений культуры и природы остановимся на другой фундаментальной компоненте культуры — истине. Здесь, как и в первом случае, мы сталкиваемся с двумя противоположными концепциями, из которых первая является классической и также находит подтверждение в христианской традиции. А именно: истина предшествует человеческому знанию и превосходит его. То есть реальность представляет собой горизонт, на котором развиваются культура и человеческое познание.

Я хочу выразить этот подход двумя замечательными фразами, которые принадлежат крупнейшим представителям культуры XX века. С одной стороны, это австрийский писатель Роберт Музиль, автор известного романа «Человек без свойств». Музиль дает такое важное определение: «Истина — это не драгоценный кристалл, который можно положить в карман; истина — это безграничное море, в которое погружаешься». И плывешь. Таким образом, речь идет не о личном обладании истиной, но о погружении в реальность, превосходящую меня самого. С другой стороны, ярчайший представитель франкфуртской философской школы Теодор Адорно писал: «Истина не в обладании, но в пребывании в ней». То есть истина не является сама по себе объективной материальной данностью для манипулирования и обладания, но это реальность, которая выше нас, в которой мы пребываем и которую познаем в поиске. В этой связи вспомним концепцию Платона, которую он излагает в «Федре»: «Но ради чего так стараются узреть поле истины, увидеть, где оно? Да ведь как раз там, на лугах, пастбище для лучшей стороны души, а природа крыла, поднимающего душу, этим и питается». В греческом языке истина передается словом *alutheia*, то есть «раскрытие, снятие покровов» — для того, чтобы понять то, что́ уже есть в реальности.

Каково же современное, очень распространенное понятие истины? На мой взгляд, главный вызов здесь исходит, конечно, от Декарта, а также от одной фразы Гоббса в его «Левиафане»: «Auctoritas non veritas facit legem» («Власть, а не истина творит закон»). Иными словами, вопрос об истине решает власть. В какой-то момент — государство, в какой-то момент — церковная власть, когда-то — общество и главенствующее общественное мнение решают, что есть истина. В этом случае получается, что истина может постоянно меняться. Такова позиция некоторых мыслителей, например, американского философа Сандры Хардинг, которая (в своей работе «Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women's Lives», 1991) играет с евангельской цитатой и говорит: «Истина не сделает вас свободными». То есть истина — это бремя. Известно, что Мишель Фуко воспринимал истину как серьезную опасность для интеллекта, а не как позитивный дар, и склонялся к тому, что истина является нетерпимой и порабощающей.

В этой ситуации вы можете понять, сколь важно, по крайней мере, для нас, католиков, то внимание, которое уделяет теме истины в области метафизики папа Бенедикт XVI. Он предлагает вернуть истине присущую ей миссию воспитывать и быть нормой, вернуть ей первенство, которое является не доминирующим, но освобождающим, вернуть присутствие истины, но не тираническое, а просвещающее. Мы понимаем, что эта концепция истины радикально отличается от той, которую предлагает современная культура, то есть от концепции, которая сводит истину к технике и отчуждает ее от последних вопросов.

Третья тема — это тема секуляризма и неверия в их отношении к культуре. Эта тема является особенно острой для христиан, для различных Церквей как Запада, так и Востока. Ее можно сформулировать так: атеизм, секуляризм и неверие. Начнем с разграничения понятий «секуляризм» (*secolarismo/laicismo*) и «светскость» (*secolarita/laicita*). Светскость представляет собой корректную автономию политической, экономической и социальной сфер, обладающих собственной компетенцией по отношению к религиозно-сакральной области. Это автономия не абсолютная, но реальная. Современное представление о политическом устройстве, — как, впрочем, и представление христианское, — не является теократическим, для которого тождественны трон и алтарь. Хрестоматийная фраза Христа «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» выражает уважение к ценности светскости.

Секуляризм же в самых различных формах представляет собой тенденцию к уничтожению «воплощенного» присутствия веры в истории и обществе. И я хочу проиллюстрировать это посредством двух понятий — атеизма и индифферентизма (или, если угодно, неверия). Эти понятия не равнозначны. Понятие атеизма является классическим, оно зародилось уже в античности. В греческом мире известным философом-атеистом был Эвгемер, в латинском мире — поэт Лукреций. В XIX веке атеизм получает наиболее высокие и наиболее благородные формулировки. В то время атеизм выражал стремление к созданию всеобъемлющей системы мышления, жизненного выбора и, следовательно, этики, которая исключает какую-либо отсылку к трансцендентному. То есть эта система не имеет никакого иного свидетеля вне человека. Такую систему, как мы знаем, создавал Маркс. Однако наиболее интересная по своему драматизму формулировка атеизма (а атеизм — это сильное мировоззрение, это система) начинается с Ницше. Ницше в своей «Веселой науке» представляет человека, восклицающего: «Где Бог?.. Мы его убили — вы и я!.. Разве не доносится до нас запах божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!» Этот человек, которого Ницше называет безумным, держит в руках фонарь; наконец, он бросает свой фонарь на землю, тот разбивается вдребезги и гаснет. Человек драматически ощущает, что без Бога внезапно наступила тьма.

Это действительно драматическое мироощущение: человек обнаруживает себя в одиночестве, небеса пусты. Ты создаешь систему, и принимать решение должен ты сам, если не хочешь оказаться в пустоте, в полном смятении. Это атеизм, с которым вполне можно установить диалог, если он логичен и добросовестен.

Существует замечательное стихотворение «Молитва верующего безбожника», которую написал Александр Зиновьев. В этом стихотворении есть такие строки:

Только я умоляю: Боже!
Для меня ты немножечко будь!
Будь пусть немощным, не всесильным,
Не всеведущим, не всеблагим,
Не провидцем, в любви не обильным,
Толстокожим, на ухо тугим.
Мне-то, Господи, надо немного.
В пустяке таком не обидь.
Будь всевидящим, ради бога!
Умоляю, пожалуйста, видь!
.....
Жить без видящих нету мочи.
Потому, надрывая грудь,
Я кричу, я воплю:
Отче!!
Не молю, а требую:
Будь!!

Иными словами, помимо нас в этом драматическом мире нет никаких свидетелей, поэтому я умоляю Тебя: «Будь!»

Но что же такое то неверие, которое пронизывает современную культуру? Это неверие — индифферентизм. Иными словами, проблема Бога стала совершенно второстепенной, проблема трансцендентного — совершенно маргинальной. Мы можем жить совершенно спокойно, не задаваясь великими вопросами. Бог, самое большое, является в некоторых случаях просто полезным элементом. Парадоксальным образом неверие существует и в сфере религии. Возьмем, например, New Age. Что такое религиозность в New Age? Это нечто социальное, некое поведение. Это соединение месседжа и массажа, соединение йоги и йогурта. Немного спиритуальности и немного материальности. Это желание фитнеса души на манер фитнеса тела. При этом «Бог» остается изменчивым понятием или отвергается вовсе. Серьезных поисков больше нет, а Бог важен постольку, поскольку Он не вмешивается в мою повседневную жизнь. Это некое смутное присутствие. Но данная форма индифферентизма и стала основой секуляризма. Как говорит известный канадский философ Чарльз Тейлор в своем недавнем труде «The Secular Age» («Секулярный век»): «Если бы Бог появился на наших улицах, то мы самое большое попросили бы у Него документы». С точки зрения христианской культуры, это ничего не значащее присутствие является, наверное, самым драматичным моментом. Так называемые атеистические книги наших дней — это книги, полные лишь иронии и сарказма по поводу религии. Это не речи «Антихристианина» Ницше, не книги, бросающие вызов христианству. Они рассматривают Бога как материальное свидетельство эпохи палеолита, все еще сохраняющееся в нашем технологическом обществе, которое не нуждается ни в каком трансцендентном измерении.

И, наконец, я хочу затронуть еще одну тему — тему «Великого кодекса», или, если хотите, тему культурных корней христианства и Европы. Поль Клодель говорил о европейской культуре как о культуре, для которой христианство является «Великим лексиконом» или «Великим кодексом». Но мы живем в неистовое и очень динамичное время, когда происходит утрата памяти. Память проходит, воспоминания быстро испаряются и исчезают. Утрачивая воспоминания, утрачивая традицию (в самом благородном смысле слова, в том числе и традицию церковную), к чему мы приходим, что нам остается? Я опишу то, к чему мы приводим себя, словами французского писателя Жоржа Бернаноса: «Цивилизация (культура) не рушится подобно зданию: точнее сказать, она постепенно опустошается в своей сущности, пока не остается одна лишь оболочка». Увядая без своих христианских корней, Европа представляет собой не что иное, как засохший ствол. Немецкий поэт и священник Вильгельм Виллмс сравнил европейские соборы, величайшие шедевры культуры, традиции и веры, с «пустыми раковинами» на берегу моря. В этих соборах, за исключением тех кратких моментов, когда в них совершаются богослужебные действия, бродят только японские туристы.

Эта драма касается не только религиозной ситуации, но и человека как такового. Перед лицом ислама, который представляет нам себя с ясной и сильной идентичностью, мы — ни рыба ни мясо, без всякой идентичности, поскольку утратили свой «Великий кодекс».

«Великим кодексом» для нашей культуры была прежде всего Библия. Библия стала фундаментальным мерилом искусства, музыки, и не только художественного творчества, но и творчества этического, нашего этоса (я имею в виду Декалог). Ницше хотя и боролся с христианской культурой, тем не менее писал в «Утренней заре»: «Между тем, что мы слышим в чтении псалмов, и тем, что испытываем при чтении Петрарки и Пиндара, есть та же разница, что и между родиной и чужой землей». То есть он признавал, что псалмы, Библия — на нашей родине. Все в культуре цитировало Библию вплоть до того момента, когда произошел «развод», в котором утратилась память и упразднилась идентичность. Можно долго приводить свидетельства, беспрерывно твердящие нам о том обнищании, которое претерпела культура, утратив отсылки к фундаментальным вещам, имевшиеся в ее истории, в ее традиции. Некоторое время назад выдающийся американский художник Бил Виола сказал мне: «Все-таки современное искусство исключает две вещи: красоту и послание». Современные художники ищут только явления материального, непосредственного.

В завершение я хочу сказать, что мной были представлены только четыре темы из тысячи возможных проблем, которые культура непрерывно ставит перед нами.

Александр КЫРЛЕЖЕВ, научный консультант Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви, сотрудник редакции журнала «Континент»

Реагируя на столь многоаспектное и богатое мыслью выступление архиепископа Равази, которое мы услышали, я ограничусь только одним аспек-

том, одной темой, которая мне кажется проблемной, и, может быть, даже поспорю с один из прозвучавших тезисов.

Наш разговор начался двумя репликами и двумя установочными фразами, обозначающими тему. Жан-Франсуа Тири сказал, что наша тема — это соотношение светской культуры и христианской культуры. А Александр Архангельский, так сказать, антропологизировал эту тему, сказав, что есть люди веры и люди культуры и что сам он занимается именно светской культурой. Мне, однако, представляется, что вопрос о том, что́ такое светская культура, нужно обсуждать, анализируя сами эти понятия. Тем более что в современной мысли и науке такая первичная работа уже проделана. И упомянутый уже философ Чарльз Тейлор — лишь один из тех современных мыслителей, которые стали анализировать, прежде всего исторически, эти термины: «светское» и «культура». (Здесь можно назвать как минимум еще два имени: богослова Джона Милбанка и антрополога Талала Асада.) Это необходимо потому, что в достаточно широком кругу даже интеллектуалов уроки этого анализа еще не усвоены.

О чем в данном случае идет речь? Речь идет о том, что ныне, в начале XXI века и после трагедий XX века, которые уже ушли в историю, мы можем вполне точно проследить, как возникли эти понятия в европейской культуре. И обнаружить, что не только термин «светское» («секулярное»), но и термин «культура» (в том смысле, в каком он все еще употребляется), — это нечто изобретенное, то есть что это некие интеллектуальные конструкты, которые были созданы в определенных исторических обстоятельствах.

Здесь ситуация, конечно, двойственная. С одной стороны, были люди, которые сформулировали эти новые понятия и тем самым соединили интеллектуальное и волевое, воздействуя на историю (тот же Гоббс). Но, с другой стороны, и само историческое движение уже давало, конечно, для этого поводы. То есть мы не должны в данном случае впадать ни в детерминизм, ни в волюнтаризм. Однако факт остается фактом: понятия и «светского», и «культуры» были придуманы. И это имеет прямое отношение к обсуждаемой теме, потому что, не разобравшись с самими понятиями, мы не сможем понять, соотношение чего с чем мы обсуждаем. В каком-то смысле мы обсуждаем соотношение между двумя конструктами, которые сегодня, будучи опознаны как конструкты, то есть будучи демифологизированы, уже не имеют былой силы исторического влияния.

Проблема усугубляется представлением о том, что так называемое светское пространство, которое было создано на переходе к Новому времени и в Новое время, является автономным. Монсеньер Равази это обозначил, хотя и с некоторой оговоркой, сказав, что мы, сегодняшние христиане, не за теократию, то есть не за средневековое состояние «культуры», когда светского не было; что мы не теократы и признаем законную автономию светского и его различных секторов. А это и есть основное неоспариваемое содержание секуляризации: с одной стороны, появляется светское, а с другой стороны, оно дифференцируется, и так появляются «политика», «экономика», «право» и, в том числе, «культура» как некий отдельный общественный сектор.

Что получается? Когда выдумали светское, надо было нейтрализовать религиозное, то есть надо было *выдумать* религиозное, — и выдумали не-

кое «религиозное» в чистом виде, как таковое. Что такое это религиозное? Говоря кратко, это некоторые специфические переживания, которые допускаются в душе человека, и люди, имеющие сходные переживания такого рода, могут собираться вместе и как-то их актуализировать и совместно проживать — с помощью ритуалов, бесед и проч. Так была придумана «религия», которой в этом смысле никогда не было до европейского Нового времени. И ей было определено некоторое гетто. Поэтому когда Александр Архангельский говорит, что если не будет диалога, то будет религиозное гетто, это не совсем верно. Религия в принципе в новоевропейском мышлении и есть гетто, она так сконструирована, придумана; и так научен светский мир: религия — это гетто.

Но тогда что такое «культура»? Когда религию «вычистили» из общественного пространства, оно стало всецело светским и разделилось на сектора, среди которых появилась и «культура», включающая искусство и литературу. Говоря грубо, культура — это значит ходить в концерты вместо того, чтобы ходить в церковь. И от старой религии отделили некое облачение, назвав это «искусством». Так, Средневековье — это, например, прекрасная архитектура, которую сейчас рассматривают японские туристы. Они ведь приезжают не в христианскую Европу, они приезжают посмотреть на произведения искусства, которые оторваны от средневекового христианского культурно-религиозного комплекса, как бы освобождены от «религии». Они не изучают христианство, они смотрят на готику.

И остается вопрос: в какой степени сегодня, опираясь на христианские основания, можно и нужно поддерживать представление о законной автономии светского? Это, конечно, проблема, требующая обсуждения. Потому что, конечно, если мы отказываемся признавать законной полную автономию светского — отделенного от религиозного, христианского, тогда есть опасность уклониться в противоположную сторону и оказаться теократом, то есть вернуться в Средневековье. Чего разумные люди не хотят, потому что понимают, что даже прагматика жизни этого не позволяет. Но проблема остается, так как здесь налицо непоследовательность. Как сказал монсеньер Равази, существует автономия светского, «автономия не абсолютная, но реальная». Но что значит «не абсолютная»? Чего ей не хватает для того, чтобы стать «абсолютной»?

Очевидно, после разоблачения таких конструктов, как «светское», «религия», можно пойти дальше и поставить вопрос о «политике», об «экономике», «капитализме» и о многих вещах... Мы стоим перед проблемой поиска новых понятий, потому что старые понятия не описывают нынешнюю, во многом перемешанную, реальность.

Приведу пример. Недавно я видел документальный фильм датского режиссера «Кровавые карикатуры», в котором представлены разные мнения по поводу известного «карикатурного скандала», разразившегося после публикации в датской газете карикатурных изображений пророка Мухаммеда. Первое впечатление от этого фильма, который был заявлен как качественная журналистская работа, — что он снят в типичном западном формате, а именно: автор дал слово и тем, и другим, не дал собственной оценки, но абсолютно понятно, на какой он стороне. Но потом я подумал,

что месседж у него был, во всяком случае, его можно извлечь: он показал только радикалов. С одной стороны, говорят радикальные и очень крупные мусульманские лидеры на Востоке, скажем так, фундаменталисты, которые призывали к протестам. А с другой, европейской, стороны говорят те, кого можно назвать секулярными фундаменталистами: французский и немецкий редакторы газет, которые републиковали карикатуры. И немецкий журналист, который Чарльза Тейлора, конечно, не читал, но который защищает свободу слова, сказал очень просто и наивно, и смысл его слов таков: уже двести лет с эпохи Просвещения прошло, а мы все еще сталкиваемся с религиозным обскурантизмом. То есть, с его точки зрения, два века как уже была сказана истина, то есть был обнаружен чистый, абсолютно светский (потому что «естественный»), универсальный, суверенный картезианский Разум, который определяет все...

Что мы имеем? Мы живем уже в глобальном контексте: это показывает, в частности, карикатурный скандал. В этом контексте присутствует ислам — тот самый яркий, резкий ислам. Умеренных, разумных мусульман почти не видно, а яркие мусульмане-фундаменталисты выступают во весь голос. А среди христиан если и есть радикалы и фундаменталисты, то вряд ли разумные христиане хотят, чтобы они столь же резко определяли образ христианства в Европе. И возникает задача для размышления и обсуждения: мы должны заново понять ситуацию, потому что в условиях существования между фундаментализмами уже нельзя просто говорить о светской культуре и религиозной культуре и выяснять их соотношение.

Сергей ЧАПНИН, ответственный секретарь газеты «Церковный вестник»

Зададимся вопросом: что принадлежит сегодня христианской культуре? Я бы ответил на этот вопрос так. Христианской культуре принадлежит все лучшее, что есть в культуре церковной (безусловно, не все, что есть в культуре церковной, принадлежит Церкви). И наоборот, все лучшее, что есть в светской культуре, тоже принадлежит Церкви; по крайней мере питается Церковью, вдохновлено Церковью, исходит из нее. И таким образом можно, на мой взгляд, снять противоречие между светской и церковной культурами.

Ключевые вопросы, о которых говорил архиепископ Равази, это действительно вопрос смысла, послания, и вопрос красоты, или идеала. Если это есть в культуре, то, безусловно, можно говорить о христианском ее понимании. Но есть и нехристианское понимание, когда в культуре признается множество истин, каждая из которых обладает правом на существование. Сегодня, пребывая в эпохе постмодерна, мы понимаем, что старой культуры, характерной для XIX века и XX века до последней его четверти, уже нет. Нынешняя мультикультурность предполагает, что нет общей истины, так что любая конструкция или формула, которую создает художник, существует на равных правах наряду со всеми другими формами и истинами. И в данном случае имеет место не конфликт светского и церковного, а конфликт церковного и магического. Потому что если художник создает произведение, которое, с его точки зрения, обладает своей собственной истиной, то мы имеет дело с магическим отношением к миру, и видеть в этом светскость наша вера нам не позволяет.

Меняется отношение к творчеству. Делая попытки создавать новые истины, современные художники переосмысливают и ценности, и материал. Главный объект их творчества — тело человека. Без такого художественного отношения к телу не возникло бы даже пластической хирургии. Все остальные практики современного искусства находятся в этой орбите.

Еще один вопрос касается определения того, чту ценно в современном искусстве. Здесь главная роль отведена не самим художникам, а героям нового типа, которые именуются кураторами. По существу культурный продукт создают кураторы, которые определяют, что ценно, а что нет, что стоит дорого, а что — дешево. И мы является свидетелями того, как в современной российской культуре возникает новое подполье: есть большой круг художников, которые не признаны кураторами. И таким образом теоретические аспекты проблемы тесно связаны с конкретными практиками, которые сегодня складываются.

Два слова о процессах, которые сегодня происходят в церковной культуре. С одной стороны, у нас произошло удивительное, можно сказать, чудесное возрождение церковной культуры в разных областях: иконопись, металлопластика, художественное литье, церковное пение, в меньшей степени архитектура. Но это точечные явления. С другой стороны, если посмотреть на контекст, то можно увидеть, что сформировалась массовая церковная культура, которая в некотором смысле так же не приспособлена для того, чтобы нести христианское послание, как и культура нецерковная, условно говоря, светская. Те образцы церковной культуры, на которых сегодня воспитываются многие православные люди в России, неспособны нести христианское послание в возможной полноте. Можно сказать, что в церковной среде нарастают культуроборческие тенденции, и не только потому, что идет натиск культуры, не озабоченной выражением красоты, идеала и смысла, но также и потому, что та культура, которая называется церковной, очень бедна смыслами, она не воспитывает так, как должна воспитывать христианская культура.

Мне кажется, что мы стоим перед задачей богословского осмысления этих новых культурных реалий. У Православной Церкви здесь есть хорошие основания — традиция иконопочитания и богословие образа. Но, с другой стороны, этот пласт практически не раскрыт в современном богословии. Он раскрывается исключительно в отношении к литургической культуре, но при этом игнорирует культуру внелитургическую, или паралитургическую.

Для Церкви важно говорить о языке культуры. Мне очень близки слова схиархимандрита Софрония (Сахарова), который говорил о разных языках, описывающих разную реальность: есть язык бытовой, есть язык науки, философии; но есть также и язык богообщения, который по сути является отдельным языком, и его нужно изучать и осваивать.

Владимир КАТАСОНОВ, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

При обращении к теме культуры вспоминается небольшая книжка, изданная в 1920-е годы: «Переписка из двух углов» — письма друг к другу Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона. Это произведение замечательно тем, что оно демонстрирует два разных подхода к культуре.

Гершензон обозначил свою позицию ярко. Он говорит приблизительно следующее: «Ходишь по этим библиотекам и видишь бесконечные запыленные тома; на эти тома существуют комментарии, а на комментарии — другие комментарии... Сколько же можно?! Взять бы все это и сжечь. Раздеться и совершенно нагим выйти на новый берег и начать все сначала». Это одно отношение к культуре. Вячеслав Иванов, со своей стороны, спорил с Гершензоном и говорил, что культура — это некие ходы в жизни, прорытые нашими предшественниками и ведущие к самим источникам бытия. Кто-то когда-то открыл эти пути, и нам теперь проще ориентироваться в жизни и в мире. Это в высшей степени положительное отношение к культуре.

Мне близка точка зрения Вячеслава Иванова. Культура, действительно, помогает нам найти сами источники жизни, и в особенности это чувствуют христиане.

В русской мысли на эту тему были созданы очень серьезные произведения, и особо стоит упомянуть «Философию культа» о. Павла Флоренского, который понимал культуру как то, что́ культ концентрически организует вокруг себя. Существуют глубины жизни, где человек приникает к источникам бытия. Эти глубины реализуются в культе, а культура есть организация жизни вокруг этих культовых источников.

Священник Петр КОЛОМЕЙЦЕВ, храм «Спаса Нерукотворного Образа» на Сетуни при Кунцевском кладбище (Москва)

Я предложил бы взглянуть на то, о чем мы здесь говорим, с профанной точки зрения. Однажды я спросил одного прихожанина, как он представляет себе такие концепты, как культура и искусство. И он в ответ говорит: все очень просто. Бескультурье — это когда три человека взяли бутылку водки и под забором выпили ее из горлышка на троих. А вот культура — это когда они купили три стакана, три конфетки, взяли газетку, пошли не под забор, а на детскую площадку и там под грибочком расстелили эту газетку и выпили эту водку уже вот в таком формате. А если они то же самое сделали в ресторане, это уже искусство. И я спросил: а что такое религия? Он говорит: это совсем другое. Это когда они устали от всего этого, пришли в Церковь, поисповедовались и причастились Плоти и Крови Христовых. И получается, что все, что мы имеем в нашем постмодернистском культурном пространстве, это большое богатство форм, но содержание там почти одно и то же.

У нас есть богатое содержание в Церкви, но у нас очень архаичные формы. И получается трагическая ситуация, когда из-за бессодержательности искусства и культуры Церковь берет на себя миссию делать новую православную культуру. Что из этого получается? Далеко не всегда что-то хорошее. У семинаристов есть даже такое вопрос: что общее между православной культурой и морской свинкой? Мы знаем, что морская свинка, во-первых, не морская, а, во-вторых, не свинка. И «православная культура»...

В этом трагизм нашего времени. Говорят, что есть кино талантливое, а есть православное. И хорошо, если с той стороны, где делают талантливое кино, появляется такой фильм, как «Остров», который, оказывается, принимается с этой стороны очень хорошо. Я за то, чтобы действительно этот

чудовищный раскол на «наших» и «ненаших» был преодолен, чтобы те люди, которые делают культуру, действительно делали культуру, занимались своим делом. А мы будем молиться Богу и подсказывать такие темы, которых им хватит на всю оставшуюся жизнь.

Константин ЭГГЕРТ, шеф-редактор московского бюро Русской службы радио Би-би-си.

Мне бы хотелось вернуться к тому, о чем монсеньер Равази упомянул в своем выступлении, а именно к вопросу о том, в какой степени соотносятся, с одной стороны, наличие или отсутствие в современной Европе (в данном случае я бы оставил США за скобками) религиозных смыслов и вообще религиозности и, с другой, наличие или отсутствие вообще каких бы то ни было сильных идей в современном европейском обществе. Мне кажется, это ключевой момент для понимания целого ряда идейных и политических конфликтов, с которыми сегодня сталкивается европейская цивилизация, или сообщество европейских народов и государств.

По своему первому образованию я востоковед-арабист и провел довольно много времени на арабском Востоке. Поэтому для меня все события, связанные с обсуждением европейской идентичности, миграции, «11 сентября», — не только для Америки, но и для всего мира, — имеют некие параллели в моем собственном опыте пребывания на Ближнем Востоке, в регионе доминирования ислама. И то, что говорил Александр Кырлежев по поводу фильма о карикатурах на Пророка, это отражение или один из аспектов той ситуации, которая сложилась в Европе и чуть в меньшей степени в России.

Проблема послевоенной Европы, на мой взгляд, в том, что после двух мировых войн, Холокоста и проч. европейцы решили, что во всем этом виноваты идеи и идеологии. А поэтому любую проблему нужно деконструировать до технических вопросов и затем решать технические вопросы. И все это замечательно работало даже в эпоху «холодной войны», потому что под американским ядерным зонтиком можно было все что угодно деконструировать, проводить сексуальные революции в свингующем Лондоне, говорить о свободной культуре, бесцензурности и т. п. Однако при столкновении с миром ислама и ислама радикального (а я считаю, что можно пренебречь в данном случае всем остальным исламом, потому что активным, напористым является именно ислам радикальный; если вы мне покажете не менее активного и напористого мусульманина, остающегося мусульманином, вот тогда начнется какая-то другая история) в чем проблема европейцев? Когда они сталкиваются со смертниками, взрывающими себя, или с людьми, которые жгут посольства из-за этих рисунков? Проблема в том, что эти люди мотивируются очень сильной идеей. Эту идею можно не принимать, даже ненавидеть, но противостоять ей возможно только чем-то эквивалентно сильным. И именно поэтому у меня довольно пессимистический взгляд на ситуацию: мне трудно себе представить, что́ сможет противопоставить современная Европа этому напору. Потому что когда вас взрывают в автобусе, вы не будете размахивать европейской конституцией и кричать, что вы за свободу, демократию и гей-браки: пока вы будете кричать, вас уже взорвут.

И мне кажется, что опустошение культуры, о котором говорил архиепископ Равази, исчезновение смысла — это исчезновение иммунитета в обществе, которому в условиях столкновения с сильной идеей нечего ей противопоставить. Технически деконструировать эту оппозиционную идею не получится. И я не вижу здесь выхода, по крайней мере, при нынешнем цикле развития европейской цивилизации. Одно могу сказать. Когда я слышу от православных интеллектуалов и части священства: слава Богу, что в России не было Реформации, не было Просвещения, — какая-то интеллигентская наглость меня заставляет говорить: это неправильно. Но, с другой стороны, если вдуматься, может быть, в этом и есть какой-то смысл. Потому что если российское православие и попало в целый ряд других ловушек, то в ловушки, в которые попало западное христианство, православие, возможно, и не попало. Что из этого выйдет, я не знаю.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Главное не оказаться в ситуации, когда нечего будет реформировать.

Константин КОСТЮК, издательство «Директ-медиа»

Я хотел бы вернуться к постановке вопроса: вера и культура. Отношение людей веры и людей культуры уже давно для нас сводится к проблеме диалога. Но, на мой взгляд, соотношение веры и культуры — это не противостояние двух сторон, требующее диалога, потому что они находятся на одном поле. Я согласен с тем, что сказал Александр Кырлежев о секуляризации, которая проявляется в дифференциации политики, экономики, культуры, когда в этом ряду оказывается и религия. Но я поспорил бы относительно возможности отделять культуру от религии. Если мы сами готовы их разделять, то тогда мы как раз и получаем проблемы, среди которых — диалог веры и культуры, который является проблемой, потому что диалог может выливаться и в противостояние, и в подавление. Нужен не диалог, нужно говорить изнутри самой культуры.

Монсеньер Равази ясными линиями обозначил важные пункты и среди них — проблему идентичности. Он предложил интересный подход: «Великий кодекс» как печать, с помощью которой мы, христиане, могли бы себя идентифицировать и с этой точки вести диалог и показывать, в чем наша позиция, ссылаясь, скажем, на Христа. Однако мне представляется это опасным и ущербным. Потому что мир — большой, а христиан в нем становится все меньше. И представлять себя христианином, говоря почти что от имени Христа, — это своего рода гордыня. Нужно не представлять собой весь христианский мир, а говорить так, как может и должен говорить христианин, предлагать христианское содержание, а не знак, указывающий на «христианина». Дело в том, что культура, в которой мы живем, сама навязывает роли, и в ней появляется особая роль «христианина». Эта роль очень соблазнительна, наполнена гордыней и обречена на поражение.

Например, как реализуется эта роль «христианина» в культурном диалоге? Протестант будет говорить прямо от имени Христа, католик поставит в центр Церковь, а православные будут выступать от имени традиции, то есть

им навязывается роль традиционалистов. Но если мы будем с таких заведомо слабых позиций вести дискуссию, тогда мы просто обречены на анахронизм. Нужно уходить от такого рода «культурных ролей».

Когда мы как православные говорим о культуре, перед нами — завет воцерковления. Собственно, это и есть код нашего отношения к культуре, которую мы призваны воцерковлять: приводить культуру в Церковь, пропитывать, пронизывать ее тем, что содержит в себе Церковь. Это сильный тезис, и православные давно уже не могут выдержать и по-настоящему представить его в культуре. Поэтому их голос слаб. Откуда вытекает задача воцерковления — это особая тема. Но другой формулы у нас нет, и из этого надо исходить. Его смысл укоренен в православном онтологизме, в котором живет православная мысль, и по-другому она мыслить не может. Но в современном контексте она не всегда может этот онтологизм выразить и представить так же сильно, как защищали свой тезис здесь упоминавшиеся Ницше и Фуко. Иначе говоря, нужно дерзать по-христиански богословствовать.

Александр ФИЛОНЕНКО, доцент Философского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Мы сегодня собрались обсуждать традиционную, старую тему христианства и культуры, и по мере того как я слушаю выступления участников, мне все труднее ответить на вопрос, с какой позиции я могу об этом говорить. Мне кажется, что мы на поставленный вопрос отвечаем неудовлетворительно. Представьте конференцию на тему «Духовные проблемы современной культуры третьего тысячелетия», проводящуюся в Бердичеве. Чем она будет отличаться от нашего разговора? Да почти ничем. Тоже будут говорить, что культура в кризисе и что только духовное возрождение ее спасет.

Почему такая позиция неудовлетворительна? Потому что мы, христиане, часто принимаем ироническую позицию, сами репрезентируем постмодернистского иронического говорящего, который рассуждает следующим образом.

О современной культуре принято говорить как о познании, принято говорить как о спасении от природы, как об аффекте и выражении того, что наболело, как о выражении неповторимой человеческой личности. И мы заявляем: да, христиане тоже об этом говорят, для нас вера — это познание, культура — это защита; человек выражает себя, и христиане это поддерживают. Мне кажется, что мы принимаем языки нерелигиозной культуры и хотим сказать, что в христианстве все это тоже уже есть. Мы ироничны.

На мой взгляд, наша позиция будет более продуктивной, если мы сможем сформулировать христианское предложение. Если мы будем исходить из того, как христианин может или смеет помыслить культуру. И здесь возникает удивительная проблема. Несколько последних лет мне пришлось заниматься проблематикой богословия дара и благодарения. И я обнаружил парадоксальную вещь: мы живем в христианской культуре, и, казалось бы, сердце христианской культуры — это Евхаристия. И поэтому культура может помыслить себя и описать через благодарение. Но парадокс в том, что книг на тему дара крайне мало, и тему дара в европейской мысли подняли не христиане. Ею стал заниматься французский этнограф Мар-

сель Мосс, за ним эту тему подхватил нехристианский мыслитель Жак Деррида, и только потом ему ответил французский философ и католик Жан-Люк Марион.

Если мы возьмем тему благодарения, то окажется, что не существует никакой философии благодарения, в том числе христианской. Меня давно волнует этот вопрос: почему христиане так несмело формулируют евхаристическую философию культуры? Мне кажется, мы просто не поспеваем за современной культурой. Двадцать лет назад было принято говорить о религиозной и светской культуре. Кем? Светскими теоретиками культуры. Мы им говорим: мы тоже можем говорить на вашем языке. Но им это уже неинтересно, потому что уже нет таких светских теоретиков культуры, которые признают это разделение. Даже неомаоист Ален Бадью пишет философию события, которая насквозь теологична. Пока мы сражаемся с тенями, в культуре происходит нечто удивительно интересное.

В чем мне видится кризис? Когда мы говорим, что прагматика культуры заключается в проникновении человека в реальность, мы поддерживаем модернистскую историю об активизме человека, об активизме культурного героя. Вместо того чтобы сказать: в христианстве другая позиция. Да, человек активен, но прежде всего активна сама реальность. Европейская культура построена на тезисе о пассивности реальности: мы можем ее преображать, можем в ней купаться, в ней отдыхать, а она — пассивна. Христианское предложение начинается, с моей точки зрения, тогда, когда мы говорим, что сама реальность активна; и пока я решаю, что мне с ней делать, она уже обращена ко мне. И вся моя жизнь, — по крайней мере, христианская мысль о жизни, — строится на том, чту я выбираю, когда стою перед необходимостью ответить реальности, но саму реальность я не выбираю. Вся моя жизнь — это ответ.

Интересно, что на этом тезисе строится, например, современная «респонсивная феноменология» Бернхарда Вальденфельса, который не христианин; на этом строится «философия события» Алена Бадью, но только не христианская мысль. Конечно, не вся, есть много интересного, — я просто усиливаю тезис, хочу, чтобы он прозвучал резко.

Оказывается, что в современной культуре самые современные теоретизации строятся как раз на тезисе об активности реальности. И в связи с этим мне очень нравится основной тезис о. Луиджи Джуссани: прежде чем говорить о реальности Христа, потрудитесь найти хоть какую-нибудь реальность. И этот тезис, на мой взгляд, составляет суть современного христианского разговора о культуре. И тогда мы имеем дело с совершенно иной моделью культуры.

Я бы хотел сказать пару хороших слов о современном искусстве (contemporary art). Когда мы говорим, что современное искусство утратило красоту и сообщение, я считаю, что это не совсем плохо. Потому что мы должны спросить себя о том, что пришло им на смену. Есть исследования, согласно которым в критической литературе о современном искусстве там, где раньше стояло слово «красота», сейчас стоит слово «реальность». Искусство не ищет человеческой красоты, нашей внутренней, сконструированной иллюзии. Искусство болеет темой реальности: реальность ценнее,

чем человеческая красота. Искусство не ищет сообщения: у нас есть с кем поговорить, но это не приближает нас к реальности. Искусство ищет гораздо более серьезной вещи: ситуации, когда я благоговейно замолкаю перед чем-то и прекращаю говорить. Это точка остановки перед реальным присутствием. И это самое интересное, что есть в современном искусстве. Да, искусство не дает ответа — оно ставит диагнозы. Оно не обязано давать ответы. Диагноз, поставленный современной культуре, таков: ее не интересует человеческое, не интересует человеческая красота, не интересует человеческое «поговорили», не интересует диалог. Ее интересует опыт трудной, рискованной человеческой жизни в присутствии реальности.

Можем мы ответить на эту реальность или не можем? Должны ли мы от нее отгородиться? Или мы должны сквозь этот вызов услышать зов? Если да, тогда христианство должно себя позиционировать совсем по-другому. Христианство — это предложение современной культуре не закрыться от вызова природы, не закрыться от катастрофы, а в этой катастрофе расслышать зов. Не просто закрыться от вызова, как предлагает Фрейд и классическая культурология, но постараться нечто услышать и ответить. И мне кажется, что недостаточно сказать, что христианский ответ современной культуре — это призыв построить свою жизнь как ответ на вызов или зов. Надо еще сказать, *как* мы ее будем строить. Не просто призвать поискать вместе, а предложить, как мы будем это делать.

И у христианства есть ответ. Здесь я воспользуюсь тезисом католического богослова Жана-Люка Мариона, который это называет евхаристической герменевтикой, или евхаристической философией, или евхаристической теорией культуры. И мне кажется, что это гораздо более смелый и оправданный шаг, с которым мы и должны выйти в современную культуру.

Алексей ЮДИН, Российская католическая энциклопедия, РГГУ

Я думаю, что с этого момента наша дискуссия получила новое развитие. Я хотел говорить исключительно о том анализе культуры, который предложил архиепископ Равази, но теперь можно строить наш разговор с учетом только что выраженных позиций.

Но сначала о том, что меня привлекло в анализе монсеньера Равази. Им были выделены некоторые аспекты культуры и способы ее описания: интеллектуальный, волевой, эмоциональный, действенный. Мою первую встречную реакцию пробудило упоминание о волевом аспекте. История этого волевого измерения в современной европейской культуре чрезвычайно интересна и примечательна. Я имею в виду также культуру политическую, которая с начала XX века строилась на попытках нового обретения этого волевого аспекта, попытках идеологических, а потому весьма искусственных. Но мы знаем и те катастрофические последствия, которые имели место вследствие этого эксперимента в истории прошлого века. Однако ни произошедшие катастрофы, ни их оценка в современной политической культуре не сняли самой проблемы — проблемы волевого и действенного созидания.

Современная культура — конвенциональная, она построена на неких договоренностях, которые не допускают этого волевого аспекта, то есть того, на чем собственно строилась христианская культура. И в этом смысле хри-

стианство приняло эту договорную конструкцию, по сути самоустранившись от волевого и созидательного участия в дальнейшем формировании европейской культуры. Об этом свидетельствует прежде всего XIX век — век необычайно травматический в истории христианства. Мне кажется, что это также имел в виду Александр Кырлежев, подчеркивая, что концепт культуры родился как некая договоренность в определенных условиях, то есть был опосредован неким контекстом. При этом, конечно, для нас остается непреложным понимание религии и культуры как концептов, которые происходят из одного, изначально общего, но, по современному соглашению, расчлененного поля.

Здесь я несколько приоткрою карты. Я заранее прочел более обширный доклад архиепископа Равази, который был прислан им перед нашей сегодняшней встречей. Мне показалось очень интересным то предложение, которое он делает в своем докладе, говоря о неких моделях, механизмах взаимодействия христианства и культуры, исходя из концепции «Великого кодекса». Во-первых, в отношениях христианства и культуры возможна некая реактуализирующая, реинтерпретативная модель: в новых культурных координатах можно заново прочесть исходное религиозное содержание, например, — библейское. Есть некая дегенерирующая модель, которая все упрощает: берем какой-то религиозный образ в качестве метафоры или аллегории и переносим его в «светскую» систему координат. И есть третья модель — преобразующая.

Христианская культура (подразумеваю здесь прежде всего церковную культуру) чаще всего основывается или на первой модели, реактуализирующей, возобновляющей религиозный смысл в определенной системе координат, или же на дегенерирующей модели, — по сути это то, что мы чаще всего слышим в проповедях (по крайней мере, по моему опыту). В то время как культура как таковая — светская, внешняя культура — ориентирована именно на свободный интеллектуальный поиск, что соответствует задачам преобразующей модели. И в этом аспекте, при сличении светской и религиозной культуры, на мой взгляд, и обнаруживается та «несмелость» христианства, о которой говорил Александр Филоненко. Приняв условия игры, войдя в этот контекст, где обозначены отдельные поля присутствия религии, культуры, политики и т. д., христианство потеряло смелость и утратило религиозное «воление».

Действительно, отношения христианства и культуры очень сложные: они и активные, и пассивные. Христианство и творит культуру, и оказывается в заложниках у культуры. Две первые модели взаимоотношений религии и культуры, предложенные монсеньером Равази, как раз и описывают это рабство у культуры. В то время как третья — преобразующая — указывает на иное, новое измерение, которое появляется в момент творческого проявления христианства.

В итоге речь идет о структуре и действии того послания, которое христианство адресует миру и культуре, то есть речь идет об изначальной и вечной новизне христианства. Мне показалось важным то, что сказал Александр Филоненко о современном искусстве, которое остановилось в некоей точке, где рождается какое-то принципиально новое осознание реальности. Возможно,

что в этом поиске отсутствует та смелость, которая позволит совершить новый шаг. Потому что участие христианства в дискуссии о вере и культуре, выдержанной в старых концептах, в том числе — концептах гуманистических, уже недееспособно. И если мы вернемся в изначальную точку развития христианства, то поймем причины этой недееспособности. Современный дискурс культуры — это не дискурс христианства. Это не его предложение, христианство говорит о другом. И в данном случае центральная проблема XX века — забвение человека, дегуманизация, — предположительно, может быть решена именно таким путем: через возвращение к истокам культурного и одновременно религиозного опыта — к восприятию реальности как таковой. Реальности (с большой буквы) или по крайней мере «какой-либо реальности». Поскольку только в реальности или через реальность виден человек.

Николай ЭППЛЕ, переводчик

Я хотел бы сказать о довольно простой вещи, которая, как мне кажется, недостаточно четко прозвучала: о том механизме, благодаря которому христианство может отвечать на вызов культуры, действовать так, чтобы, как сказал Сергей Чапнин, все хорошее в культуре было нашим.

В одном разговоре был задан наивный, но очень характерный вопрос: почему палестинский арамейский диалект вымер в IV веке: ведь на нем Бог говорил? Почему не осталось материальных следов этой культуры? Сергей Аверинцев обращал внимание на важность того, что этого языка больше нет и что Благая весть была дана на самом обычном, простом и общем языке тогдашнего межнационального общения — греческом. Всякая другая культура, в отличие от христианской, будь то исламская, иудейская, буддийская, тесно привязана к языку. И если под угрозой оказываются язык и культура, в которой оформляется эта религия, под угрозой оказывается и религия. Ситуация с христианской культурой — принципиально иная. Вся история христианской культуры как истории воцерковления, превращения чужого в свое оказалась возможной именно потому, что нет никакой привязки Истины к культуре.

Возвращаясь к японским туристам: человек идет смотреть на чужое, на то, что для него — объект дистанцированного искусства. Японец едет в Европу смотреть на памятники. (Кстати, базилика — это изначально базар, торговые ряды, которые христиане сделали памятником христианской культуры.) И здесь вспоминается Клайв Льюис, который рассказывал об обратном опыте. Он поехал в Грецию смотреть на храмы и пишет: я был в древнем святилище Диониса, и я молился Христу в облике Диониса. Христианин, оказываясь в непривычных для себя декорациях, делает их своими, он делает любую культуру своей, может ее обóживать.

Любой дом христианин делает храмом. То, что делает христианскую культуру тем, чтó она есть, — это смелость быть открытым. И, продолжая мысль Алексея Юдина, я бы сказал, что кризис заключается в том, что христианская культура начинает бояться того, чего боится культура светская и культура нехристианская: она забывает, как делать чужое — своим, и начинает бояться гибели камней. Потому что забывает, как делать любые камни местом присутствия Божия.

Священник Паоло ПРОСПЕРИ

Во-первых, о том, что касается противопоставлении христианской культуры и так называемой светской культуры. Для меня было важно услышать то, что сказал Александр Филоненко. Я разделяю его мнение, но хочу взглянуть с другой точки зрения.

Когда я изучал историю возникновения христианства и Отцов Церкви, меня поразило, что, несмотря на борьбу, ереси и т. п., основной подход христианской культуры по отношению к языческой культуре, в том числе к философии, состоял в открытости: «надо положительно ответить, надо каким-то образом все сочетать». Почему был этот подъем христианства в начале? Мне кажется, это очень просто. Архиепископ Равази начал с Аристотеля, и я хотел бы также к нему обратиться. Аристотель говорил, что познание истины начинается с удивления. Это касается и евхаристического богословия, осмысления дара. Для Отцов Церкви источник Церкви и христианской культуры — это прежде всего удивление перед даром истины, перед тем, что я бескорыстно получил. И уже потом, как вторая волна, возникает желание углубить понимание того, насколько этот дар касается всего, как он позволяет без страха встретиться со всем другим. Действительно, важен не анализ — кто стоит передо мной, хотя это тоже важно; важным является прежде всего предложение.

Илья СЕМЕНЕНКО-БАСИН, историк

Я думаю, что искусство можно назвать душой и центром культуры и цивилизации, поскольку именно искусство рождает смыслы. Я хотел бы обратить внимание на то, что творческая свобода — это единственное, что еще способно привлечь художника, артиста сегодня. Не великие идеи, не великие цивилизации прошлого или будущего, не та или иная цивилизация, предлагающая себя в качестве оптимального выбора, но — творческая свобода. Это очень важно — это в самом центре культуры. Для художника общество подернуто мраком, и государство как институция подернуто мраком, но есть возможность творческой свободы. И здесь слабость, Ахиллесова пята тех, кто воодушевлен великой идеей, о которой мы сегодня слышали.

Артист может быть свободным внутри культурного кризиса. Свободным не в своем повседневном существовании или, например, в своей депрессии, а свободным в мгновенно пережитом творческом акте. И очень важно, чтобы Церковь нашла подходы, пастырские и философские, к утверждению свободы артиста. Дело не в мотивированности какими-то новыми великими идеями, новыми старыми великими идеями, новыми вечными великими идеями — христианскими или исламскими для ислама. Нужно утверждать свободу художника, и только в этом случае у искусства и культуры будет будущее. Творческая свобода — важнейшая тема настоящей дискуссии.

Владимир МОЖЕГОВ, журналист

Мне тоже созвучно сказанное Александром Филоненко: жизнь — это ответ на реальность. Кризис нашего времени — в потере чувства реальности. Реальности разложились, как и смыслы, и отсюда кризис. В ситуации постмодерна, когда уничтожились все смыслы и чувство реальности пропало, ответ

именно таков: постарайтесь найти реальность, хоть какую-то, прежде чем найти Христа. Христианство, конечно, знает эту реальность: это человек, Бог и связь между ними. Никакой другой реальности в нашем мире в сущности нет. И мне кажется, когда Церковь теряет этот кардинальный смысл, это понимание реальности, тогда и происходит кризис, в котором мы сегодня пребываем. Этот кризис во многом есть и суд над религией, суд над Церковью, которая теряет эту единственную, абсолютную реальность в чаще всевозможных слов и формул.

Что касается заявленной темы о связи культуры церковной и культуры светской, то здесь применимы замечательные слова о перегородках, которые не достигают неба. Что такое «Троица» Рублева? Это, по-моему, и не светская культура, и не церковная культура, и вообще не культура. Это чудо.

Лариса МУСИНА, Свято-Филаретовский православно-христианский институт

Меня несколько удивило то сожаление, которое выразил Александр Кырлежев в связи с тем, что в Новое время, как он сказал, произошло искусственное выделение религии в самостоятельную сферу. Потому что всякое развитие обязательно означает дифференциацию, в том числе и развитие науки, языка, сознания, чего хотите, а дифференциация — эмансипацию. Поэтому то, что происходило с культурой в Новое время, это естественно. И это то, что называется классической секуляризацией. В то же время можно сказать, что синтез в человеческой культуре будет обязательно. Речь не о возврате назад, а о каком-то новом синтезе. И Церковь как раз могла бы стать основой нового гуманистического синтеза, потому что сейчас мир не находит оснований именно для гуманистических ценностей.

Обращаясь к Константину Эггерту, я хочу сказать, что идея Святого Духа, которая живет в Церкви, как концепт, как идея — это очень слабая идея. В дискурсивном смысле она не содержит в себе никакого потенциала для противостояния чему-либо. Но Дух Святой, который наполняет жизнь Церкви, — это нечто совсем другое. И трагический XX век как раз явил много примеров жизнестойкости, жизнеспособности Церкви, — может быть, в широком смысле, не только христианской Церкви, а веры.

И конечно, ницшеанская «смерть Бога» — это результат той же эмансипации. Это смерть Бога дисциплинарного, Бога устрашающего, Бога регламентирующего. Но теперь перед Церковью стоит новый вызов: может ли она явить другого Бога, но не в дискурсивном плане, а именно как жизненный потенциал, который в ней содержится, как жизнь в общении и благодарении. То есть мне кажется, что сейчас вопрос о христианской культуре и светской культуре, вообще о Церкви и культуре лежит, если угодно, в плоскости пневматологической прагматики. И Церковь должна стараться понять, что это для нее сегодня означает.

Константин МАЦАН, студент МГИМО

У меня только один пример, который, как мне кажется, касается нашего разговора. Однажды на лекции по зарубежной литературе преподаватель

задал аудитории вопрос: как вы думаете, что является главной христианской добродетелью? Единогласный ответ аудитории был: милость. Парадоксальный ответ. Преподаватель объяснил, что милость присутствует не только в христианстве и потому это не совсем точный ответ. Но был интересный комментарий. Видите, сказал преподаватель, вы все хотите, чтобы вас судили не по справедливости, а по милости. То есть вы рассуждаете абсолютно как люди христианской культуры, но просто не знаете или не хотите знать, чьи плоды вы едите. И мне кажется, что поле диалога между человеком христианской культуры и той, что мы назвали светской культурой, именно в попытке помочь человеку светской культуры разглядеть и вспомнить свои христианские корни.

Заключительное выступление **архиепископа РАВАЗИ**

Я хотел бы остановиться только на трех пунктах. На двух я только акцентирую ваше внимание, поскольку это действительно очень важные темы, требующие серьезной и подробной разработки.

Я оттолкнусь от наблюдения, сделанного Александром Кырлежевым, выступление которого нужно соотнести с выступлением Ларисы Мусиной, поскольку они явным образом связаны диалектически и, на мой взгляд, представляют собой контрапункт в подходе к очень важному вопросу о независимости светского мира и мира религиозного, государства и церкви, светской культуры и религиозной культуры, экономики и этики и т. д. Этот вопрос заслуживает глубокого разбора, поскольку он основывается на многочисленных недоразумениях и достаточно тенденциозно выстраивается вокруг идеи разделения, в то время как на самом деле речь идет только о необходимости различения даже тогда, когда имеют место совпадения. Попытаемся продолжить наши размышления над этим вопросом, учитывая все, о чем здесь было сказано. Действительно, я полагаю, что этот феномен «расцвел» в эпоху Просвещения или даже раньше, на заре современного общества, но он принципиально важен для обсуждаемых ныне проблем.

Второй пункт — это тема языка, культуры и информации. Все мы понимаем, что значительная часть трудностей, а порой споров и конфликтов рождается из-за того, что люди сегодня говорят на разных языках. Именно потому, что более нет единого, общего языка, какой был в традиционной культуре (в Средние века, но также и в эпоху гуманизма), мы периодически обнаруживаем, что мир, в котором мы живем, похож на зыбучие пески: мы увязаем и проваливаемся, поскольку язык более не предлагает нам надежных, постоянных и универсальных опор. По этой причине размышлять о языке очень важно не только, когда мы говорит о культуре, но и особенно когда речь идет о коммуникации в Церкви, то есть о религиозной коммуникации.

Перейдем, однако, к теме, которая получила наибольшее развитие в ходе сегодняшней встречи, поскольку она была затронута в трех или четырех репликах. Я имею в виду тему, поднятую Александром Филоненко и впоследствии развитую в других выступлениях.

Безусловно, в христианском мировоззрении важнейшей, фундаментальной составляющей является эпифания, или теофания, то есть дар, «благодать», как сказал бы апостол Павел. «В начале было Слово». Бог сказал: «Да

будет свет!» — и стал свет. До этого была пустота, и Слово прервало молчание пустоты. Абсолютным приматом обладает *eudokia* (благоволение), *charis* (благодать), как она именуется в Новом Завете. Благоволение — это не добрая воля людей. «Мир на земле людям Его благоволения» не означает «людям доброй воли», но — «людям как объектам доброй воли Господа». Так что приматом обладает благодать, дар, вопреки всем искушениям отдать приоритет человеческому действию, что свойственно современной культуре. Это пелагианское искушение, грандиозное само по себе, поскольку являет гордыню человека в утверждении им своей идентичности; однако, утверждая свою идентичность, человек в конце концов забывает, что ему предшествует другая идентичность — Того, Кто его создал. Скажем, наука сегодня живет согласно *hubris*, то есть высокомерию: она не хочет слышать об истине, которая предшествует нам, о природе, которая нам предшествует, о просвещении, которое нам предшествует, о *charis*, то есть о благодати. И не будем забывать, что от греческого слова *charis* происходит латинское слово *caritas*, так что речь идет о примате не холодной истины. На самом деле это примат истины, которая является дарящей любовью — любовью, несущей в себе дар.

Приняв это утверждение (и здесь я отступаю от позиции А. Филоненко — не потому, что мы с ним занимаем различные позиции, но потому, что иную позицию занимает современная культура), я могу сказать так: если я утверждаю примат благодати, то тогда я утверждаю и примат объективно существующей реальности. Так что божественная реальность и даже вообще реальность сама по себе предшествует нам. В этом смысле современная культура и современное искусство не пребывают в истине, как были бы должны для того, чтобы вернуться к реальности — эпифании, к реальности, отождествляемой в конечном счете с прекрасным. Об этом замечательно говорил совсем недавно великий американский художник Роберт Раушенберг: «Сегодня мы изображаем реальность, которая является безумной неразберихой». То есть мы изображаем ту реальность, которая обволакивает нас, порабощает нас и от которой мы не способны бежать.

Так что положительный итог, который я хотел бы подвести после Биеннале в Венеции, — это возможность сказать: «Вернемся к грубой реальности, но попробуем посмотреть, нет ли случайно в этой реальности ростка трансценденции, тайны, ростка света». Это говорили в начале XX века даже чуждые религии великие художники. Жоан Миро — великий Миро — говорил, что искусство должно отражать не реальное, а невидимое, скрытое в реальном. По этому вопросу наши мнения совпадают, мы обладаем одним видением. Он, будучи неверующим, говорил, что изображает Ирреальное, и даже писал это слово с большой буквы!

Вот та работа, которую мы должны проделать. Обладая таким видением, мы должны попытаться продемонстрировать миру, что у него совершенно другое видение реальности (похожей на тюрьму, на порабощение), которое, быть может, могло бы смениться «эпифанией». Перед лицом Энди Уорхола, производившего бесчисленные одинаковые, повторяющиеся изображения Мэрилин Монро (утверждая тем самым, что реальность — это одно сплошное повторение), мы должны, в свою очередь, указать на загадку неповторимости в реальности, уникальности всякой реальности.

Это действительно захватывающее обсуждение, и здесь я хотел обратить внимание на выступление Алексея Юдина, подчеркнувшего тему «волевого» и «политического». Однако возвращение к «политическому» для понимания и изменения реальности требует прежде всего обращения к этой теории реальности, которая сегодня образует, быть может, один из важнейших компонентов христианского опыта.

Культура оказывается в состоянии паралича, когда утрачивает понимание того, что познание, в конечном счете, является эпифаническим — в том смысле, что это «явление». И это имеет место, как показал Павел Флоренский, даже с случае с обычной иконой, которая нам кажется чем-то повторяющимся, неизменным, но внутри церкви, среди ладана, света свечей, молитв верующих, эта икона становится реальностью, открывающей нам Таинство и возносящей нас к небесам, к трансценденции. В таком случае это именно та реальность, которая становится снятием покровов, которая становится откровением.

Материал подготовили Алексей Юдин и Александр Кырлежев

О ПРОРОКАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ

Итак по плодам их узнаете их.
От Матфея 7:20

1

Капитан объявляет по радио:

— Наш самолет вошел в воздушное пространство Королевства Саудовской Аравии. Допивайте ваши спиртные напитки. Шкаф с алкоголем заперт и опечатан.

На земле меня встречает щит с предупреждением: запрещены к ввозу литература политическая и религиозная, порнография, спиртные напитки, а сверху, крупными буквами «За контрабанду наркотиков — СМЕРТЬ!!!».

Это — моя первая встреча с исламским миром.

Впрочем, не совсем. Когда-то давно я ехал в плацкартном вагоне поезда Махачкала — Москва. Темнело, я отвернулся от окна, за которым проносились красоты Северного Кавказа. Все мои попутчики стояли на карачках на неудобных вагонных полках и что-то бормотали на непонятном наречии. Дикий народ, дети гор, — подумал я ильф-и-петровской фразой (мы тогда все знали наизусть «Двенадцать стульев»).

Но здесь я в новеньком с иголочки городе. Модернистские здания вдоль широких улиц, запруженных машинами. Только белые минареты придают местный колорит экстратерриториальному городскому силуэту. И щит-указатель над скоростной дорогой: в Мекку налево, в Медину — направо. Но и здесь Коран предписывает молиться пять раз в день, предварительно вымыв руки до локтя и ноги до щиколотки. И на время молитвы жизнь замирает: запираются магазины, телевизоры прерывают передачи и показывают только священную Каабу. В конторе, где я работаю, трудовой коллектив выстраивается лицом к стенке и становится на четвереньки, обращая лица в сторону Мекки. И ежедневно в час вечерней молитвы, проходя мимо бензоколонки по дороге с работы, я наблюдаю, как покупатели среди насосов и штабелей шин принимают молитвенные позы, ягодицами к предзакатному солнцу.

В остальном — город как город. Только развлечений немного. Естественно, ни театров, ни кино нет. По телевидению последние известия читает

Александр МИШУЛОВИЧ — родился в 1937 г. в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт и аспирантуру НИИЦемента (Москва). Печатался под псевдонимом М. Александер в «Новом русском слове» и журнале «Вестник», а также под собственным именем — в специализированных технических изданиях. В «Континенте» печатается с 2007 г. Живет в США.

дикторша, укутанная в чадру, — правительство бережет своих подданных от соблазна. Поэтому в попавшемся мне американском журнале белой бумажкой размером в почтовую марку залеплена фотография какой-то красавицы в купальнике. И еще знающие люди советуют не выходить из гостиницы без паспорта: полиция может потребовать документы без всякого повода. Но провести здесь месяц не так уж тяжело. Гостиница вполне комфортабельна. Торговые центры полны народу. Больше всего ювелирных лавок, — наверно, под каждой чадрой затаились браслеты и ожерелья. И еще много магазинов оптических: фирменная оправа, воткнутая в чадру, — это единственное, чем местная модница может похвастаться на улице. Тут же в кафе мужчины едят свои пиццы и сосиски публично, а их спутницы жизни — отдельно, в беседках, наглухо отгороженных вьющимися растениями.

После этой поездки прошло несколько лет. А потом солнечным сентябрьским утром мой сын позвонил из Нью-Йорка. Там было пять минут десятого утра. Он уже вышел из дома, чтобы пройти два коротких квартала до станции метро в вестибюле World Trade Center, когда на его глазах первый самолет врезался в башню. После этого связь прервалась на бесконечно долгие четыре часа. Только когда чудовищная перегрузка телефонных линий немного спала, он, наконец, позвонил из безопасного места на другом берегу Гудзона.

Я уже не помню, когда в тот день впервые были названы эти имена — Аль-Каида и Бен-Ладен. Но вскоре слова: «ислам», «терроризм», «фундаментализм», «воинствующий», «мусульманский» — в разных комбинациях уже заполнили газеты и эфир. Правда, все говорившие, начиная с президента Соединенных Штатов, не забывали напомнить, что ислам — это *религия мира* и что террористы вовсе не представляют интересы миллионов верующих. Кто-то даже научно объяснял, что богословские взгляды Бен-Ладена идут вразрез с позицией ведущих авторитетов в этой области.

В этом хоре отсутствовали только осуждающие голоса мусульман — духовенства, ученых, деятелей культуры, просто граждан. То есть голоса были, но в лучшем случае, после нескольких обязательных «да, конечно» шло многозначительное «но»: ведь Америка сама накликала эту беду — своей эксплуатацией арабов, своим вмешательством или невмешательством в дела мусульманских стран, своей грубо материалистической цивилизацией, своим культурным империализмом. А пуще всего — своей поддержкой Израиля.

Как же так получилось, что кроткая *религия мира* послужила если не причиной, то оправданием самого кровавого преступления на территории Соединенных Штатов — не в мрачном Средневековье, а в наши дни?

2

Согласно мусульманской традиции, к Мухаммеду, сорокалетнему купцу из города Мекка на западе Аравийского полуострова, Бог послал архангела Гавриила, чтобы продиктовать ему основные положения Учения. Бог избрал Мухаммеда, чтобы тот стал последним в ряду таких пророков, как Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей) и Исса (Иисус). И хотя Учение вобрало в себя многое из канонов иудаизма и христианства, но именно Мухаммеду, благо-

даря его моральному совершенству и полной безгрешности, было дано нести в массы божественное откровение в самом чистом и окончательном виде.

Случилось это в 610 году нашей эры. Через три года, в соответствии со своей божественной миссией, Мухаммед начал проповедовать новую религию, которая получила название ислама, т. е. покорности Богу. Число последователей Мухаммеда в Мекке росло, это стало беспокоить местную общину, так что в 622 году пророк бежал в Медину. Так ислам сделал первый шаг к распространению по всему миру. С этого года мусульмане ведут свое летоисчисление.

Война оказалась на повестке дня ислама почти немедленно. Конечно, ислам был *религией мира*, но, как сказано в Коране, «позволено воевать тем, против кого совершена несправедливость, и Аллах может даровать им победу». Едва укрепив свою власть над общиной в Медине, Мухаммед начал войну с языческим племенем курайш, правившим Меккой. Первым актом этой войны было нападение на караван купцов, следовавший в Мекку из Сирии. Потом настала очередь хейбарских евреев, которые были «самыми большими подстрекателями против мусульман, заключали союз с каждым, кто враждебно относился к Пророку». Через восемь лет после своего бегства Мухаммед во главе десятитысячного войска победоносно вернулся в Мекку. Так ислам стал верой его бывших земляков, а община его последователей («умма») начала свое превращение в империю. В этой общине Мухаммед был не только духовным главой, но законодателем, и судьей, и правителем. Он собирал налоги, объявлял войну и заключал мир.

После смерти пророка его наследники — халифы — продолжали нести его учение вне границ тогдашнего арабского мира, — конечно, военным путем. Сначала это был Ближний Восток: Сирия, нынешний Ирак, Египет, Персия. Потом — Северная Африка, Испания. К концу VII века империя халифов простиралась на восток до границ Индии и Китая, на запад вдоль берегов Средиземного моря до Атлантического океана. Только победа Карла Мартелла в битве при Пуатье в 732 году остановила продвижение ислама в Западную Европу.

Одновременно с этим шла кровавая борьба внутри ислама. Из непосредственных наследников Мухаммеда, «праведных халифов», первый, его друг и соратник Абу-Бакр, был, вероятно, отравлен. Следующие трое были убиты. Убийство Утмана, третьего халифа, в 656 году послужило толчком к расколу ислама на суннитов и шиитов. Последние признавали единственным законным наследником Пророка только Али, его родственника и одного из ранних последователей. Разгорелась первая — но не последняя — гражданская война. Али был избран халифом, но был убит всего через два года...

3

...Двенадцать веков спустя в самом сердце Западной Европы возникает новое Учение. Пророк его — Карл Маркс, молодой, революционно настроенный философ. Конечно, он не получал прямых инструкций от Бога: шел XIX век, век просвещения и научного прогресса.

И Маркс, и его последователи не уставали и не устают повторять, что их учение есть Учение прежде всего научное. Но на самом деле многое в нем

несет в себе печать религиозности. Главные положения Учения предлагается принять на веру как некое откровение. Тридцатилетний Маркс начинает «Коммунистический Манифест» безоговорочным заявлением: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». Никаких доказательств этого тезиса приведено не было ни тогда, ни в дальнейшем. Но, пройдя без изменений через все его творчество в последующие 35 лет, тезис этот стал символом веры нового Учения.

В марксистский катехизис вошли и другие догматы: абсолютное и относительное обнищание пролетариата; грядущий фатальный кризис капитализма; неизбежный приход коммунизма, который решит все конфликты, связанные с собственностью, эксплуатацией и отчуждением труда. Все это было и осталось недоказанным и недоказуемым.

Так что же мешает назвать марксистское учение своего рода религией? Уже при жизни Маркса окружали преданные почитатели (марксята, как выражался А. И. Герцен). У марксизма даже был своего рода верховный апостол — Фридрих Энгельс. Он сделал все возможное для посмертного обожествления фигуры Маркса, — пожертвовав даже своей собственной, вполне заслуженной репутацией. Имелся и свой Предтеча. Это был Мозес Гесс, теоретик немецкого «истинного социализма», приобщивший к социалистическим идеям молодых гегельянцев Маркса и Энгельса.

Конечно, Маркс возмутился бы такой постановкой вопроса. Ведь религия — это опиум народа (фраза, заимствованная у того же Мозеса Гесса). И метод его — строго научный. Достаточно взглянуть хотя бы на его скрупулезные вычисления в «Капитале»: приняв множество произвольных допущений, он доказывал, что прибавочная стоимость гипотетической фабрики составит ровно 153 $^{11}/_{13}$ % — именно так: одиннадцать тринадцатых. И «истинный социализм» они с Энгельсом, не стесняясь в выражениях, обругали в «Манифесте». И он сам неоднократно говорил, что не считает себя марксистом. Но до сегодняшнего дня 160 лет истории не поколебали веру поредевших рядов мирового марксистского движения в своего пророка.

После 1917 года марксизм из философской доктрины стал официальной верой на одной шестой земной суши. Как и ислам, эта идеология поставила вне закона другие учения, будь то политические, философские или религиозные в прямом смысле слова. Последовала недолгая полоса борьбы за власть и за право считать себя истинным наследником идей основоположников. Марксизм превратился в государственную атеистическую религию. Впрочем, почему же атеистическую? Мавзолей на главной площади нового мира — сооружение, чуждое любым западным традициям, — стал таким же объектом поклонения, как Священная Кааба в Мекке. И Сталин, Верховный Жрец нового культа, все больше приобретал божественные черты.

(Любопытно, что неоконченное церковное образование не только сформировало литературный стиль Сталина, но и внушило ему, видимо, некое подспудное уважение к религии. Напомню анекдот из воспоминаний Шостаковича, записанных С. Волковым. Пианистка Мария Юдина, получив от Сталина большую сумму в подарок за понравившуюся ему запись концерта Моцарта, написала в ответ, что отдает все эти деньги своей церкви и просит молиться за прощение его, Сталина, грехов. Письмо осталось безнаказанным.)

4

Сравнение марксизма с исламом напрашивается само собой. Тут и продолжение на новом уровне учений предшественников («три источника и три составные части...»), и гонения со стороны господствующего большинства, и эмиграция, и вооруженная борьба, и победное шествие по всему миру. Ислам, зародившись в ограниченном мирке аравийских кочевников, стал мировой религией, где арабы оказались уже в меньшинстве. Подобно тому, как идеи Маркса, выросшие из узкого прочтения западноевропейской истории, по-настоящему стали «материальной силой» вне границ Западной Европы.

Родство марксизма и исламизма идет, впрочем, еще дальше и глубже. Так, в Коране, священной книге ислама, каждое слово — это слово Аллаха и дискуссии не подлежит. «Это писание, о коем нет сомнений; руководство для защиты от зла» (Коран, стих 2.02). «Учение Маркса всесильно, ибо оно верно» (Энгельс).

Удивительно ли, что современный воинствующий ислам так часто, охотно и настойчиво признает свою историческую и философскую связь с коммунистическим движением.

Сайид Кутб, египетский исламистский философ, воспринял марксистское представление о стадиях истории, но добавил исламский постскриптум: он предсказал, что после краха капитализма и коммунизма наступит вековечная исламская эра.

Иранский политолог Азар Нафизи отмечает, что исламизм «использует язык, цели и стремления, излагаемые в марксистских трудах, таким же образом, каким он использует основные положения религии. Его лидеры находятся в такой же степени под влиянием Ленина, Сталина, Мао и Че Гевары, в какой они находятся под влиянием Пророка».

Многие в марксистском лагере видят в действиях исламистов странное воплощение своих предсказаний. Маркс предсказывал, что в индустриальных странах пролетариат будет доведен до нищеты, восстанет и создаст социалистический строй. Вместо этого пролетариат индустриальных стран стал более зажиточным, а его революционный потенциал постепенно увял. Но через некоторое время появились исламисты, начавшие с иранской революции и осуществившие после этого масштабные террористические акты на территории США и других стран Запада. Для сегодняшних европейских ультралевых это знаменует исполнение предсказаний марксизма: Третий Мир восстал против Запада, хотя и под «неправильным» знаменем и с ошибочными целями. В их глазах мусульмане — это «новые рабы» капитализма, которые «должны объединиться с рабочим классом для того, чтобы разрушить капиталистическую систему». В то время, когда коммунистическое движение находится в упадке, итальянские «Новые Красные Бригады» фактически признают «ведущую роль реакционных духовных лиц».

Это выглядит парадоксом. Ведь в мусульманских странах коммунисты всегда подвергались репрессиям. Коммунистические правительства стремились подавить мусульманство, как, впрочем, и другие религии. В Афганистане война между коммунистами и мусульманами в течение нескольких лет заливала страну кровью. Тем не менее марксистско-исламское содружество существует. Достаточно вспомнить о роли Советского Союза

на Ближнем Востоке в последние 50 лет. То же подтверждается историей голосования в ООН по всем вопросам, в том числе связанным с международным терроризмом. Ведь недаром палестинские террористы обучались в Москве на командирских курсах «Выстрел». Международный террорист, бывший студент Университета им. Лумумбы, Ильич Рамирес Санчес (его братьев зовут Ленин и Владимир), уже отбывая пожизненное заключение во Франции, принял мусульманство. Стал мусульманином и другой марксист, ведущий теоретик французской компартии Роже Гароди. Когда он был осужден французским судом за публикацию книги, отрицающей нацистский геноцид против евреев, штраф за него ($20000) заплатило правительство Ирана.

Мааджид Наваз, бывший лидер экстремистской организации Хизб ут-Тарир, выступая перед комиссией американского Сената, указывал, что корни исламского экстремизма лежат в его фанатической идеологии, а не в бедности и дискриминации. Говоря о параллелях между марксизмом и исламизмом, он подчеркнул, что оба течения видят все мировые конфликты в свете глобальной идеологической борьбы. Сегодня исламисты хотят, чтобы всем миром правил — «по примеру советского блока» — единый Халифат. «Конфликт между исламизмом и капитализмом, — сказал он, — так же неизбежен, как конфликт между капитализмом и коммунизмом».

Вожди мусульманского мира говорят об этом совершенно открыто.

«Мы в процессе исторической войны между Миром Высокомерия и Миром Ислама», — вещает президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

«Мы боремся, чтобы уничтожить вас», — вторит Хуссейн Массави, бывший лидер Хезболлы.

«Очень скоро, волею Аллаха, Рим будет завоеван, как был завоеван Константинополь, как предсказал наш Пророк, — прорицает Юнис аль-Асталь, мулла и депутат от Хамаса. — Отсюда ислам распространится на всю Европу и Америку».

5

Майкл Лейтер, директор американского Национального Центра Контртерроризма, считает, что идеология сегодняшних террористов — политическая, а не религиозная. Из всех живущих в мире мусульман лишь малую долю можно причислить к воинствующим исламистам. Эту точку зрения как будто подтверждают социологические исследования Джона Эспозито и Далии Могахед, опубликованные в книге «Кто говорит от имени ислама».

Но почему же все-таки именно в исламе нашла свою опору эта кровавая идеология?

В центре ислама лежит представление о том, что весь мир и все человечество разделены на Дом Ислама (Дар аль-Ислам) и Дом Войны (Дар аль-Харб). Миссия пророка была распространить Дом Ислама на весь мир: «Аллах послал Мухаммеда с истинной религией, чтобы она победила все другие религии» (Коран, стих 48.28). Средства для этого годятся любые. В другом месте Коран говорит: «Те, кто ведут войну против Аллаха и Его посланца и стремятся причинить вред на земле, должны быть убиты, или распяты, или их руки и ноги должны быть отрезаны, или они должны быть брошены

в тюрьму; и на том свете они должны быть сурово наказаны» (Коран, стих 5.33). Европейцев еще в XIX веке поражала непоколебимость веры мусульман и невозможность их обращения в христианство. Даже сегодня в мусульманских странах переход в другую веру — это преступление, наказуемое смертью, — по крайней мере, теоретически.

Согласно мусульманскому учению, главная обязанность мусульманина — это джихад, или священная война. Правда, несмотря на внешнее единство ислама, это ключевое понятие толкуют по-разному: есть и такие, кто видят в нем чисто духовный смысл, отвергают терроризм, зовут к сотрудничеству с другими религиями. Но на нынешней мировой арене все слышнее голоса тех, кто говорит о джихаде в открыто милитаристском ключе. Джихад — это война против неверных либо вероотступников, и бойцам в этой войне Коран обещает в награду добычу на этом свете и рай — на том. Главная же цель джихада — привести весь мир под власть ислама.

Традиция терроризма в исламе также существует с давних пор. Часто говорят, что за Аль-Каидой и Бен-Ладеном стоит воинствующая секта ваххабитов, возникшая на территории нынешней Саудовской Аравии примерно в XVIII веке. Но интересно вспомнить о другой секте — измаилитах, бывших вначале религиозными еретиками внутри ислама. В XI веке в борьбе за власть с разными группировками это течение выродилось в банду наемных убийц, прятавшихся в недоступных горах на севере Персии и убивавших мусульманских принцев и генералов во имя своего таинственного Имама. Чтобы достичь религиозного экстаза, члены этой секты широко употребляли гашиш, отсюда название «хашишины», или «ассасины». Последнее слово обогатило европейские языки как синоним слова «убийца».

Пожертвовать своей жизнью для благородного дела — такое знакомо разным народам. Но только у мусульманских фанатиков убийство-самоубийство стало рутинным. В корне лежит презрение к человеческой жизни, которое свойственно Востоку вообще, а исламу в особенности. Только мусульманская страна (в данном случае Иран) могла послать через минные поля, под огнем иракской артиллерии, десять тысяч детей, повесив каждому на шею «ключ от рая». Как ни сопоставить это с западным представлением о бесконечной ценности человеческой жизни, которое нашло свое отражение в американской Декларации Независимости: жизнь — это первое из неотъемлемых, Богом данных прав человека.

Легко было бы сказать, что воинствующий фанатизм питается нищетой и невежеством. Да, мусульманский мир далеко отстал и от Запада, и от быстро развивающихся стран тихоокеанского бассейна. Но все девятнадцать убийц 11 сентября и все их арестованные или заподозренные сообщники — выходцы из состоятельных семей, часто получившие образование на Западе, в том числе и в Америке.

Американский ученый Фуад Аджами прослеживает процесс радикализации, который захватил политику ислама, начиная с 1980-х годов: «Террор, совершаемый в Израиле Хамасом, Исламским Джихадом и Мучениками Аль-Акса, — это генеральная репетиция будущих, еще более страшных актов... Культ мученичества был освящен. Религия... из утешения и ритуала превратилась в боевое оружие».

Сегодня никакое рассуждение о событиях в мире не обходится без понятия глобализации. Мусульманский экстремизм тоже вышел на мировой рынок, и терроризм стал его главным предметом экспорта. Иногда утверждают, что оккупация Израилем «палестинских» земель — это главная причина арабской враждебности по отношению к Западу. Но это не больше, чем дымовая завеса. Как указывает американский журналист Деннис Прагер, хотя около 25% палестинских арабов — христиане, террористами-самоубийцами бывают только мусульмане. Еще яснее станет картина, если мы посмотрим, что делается в мире: мусульманское меньшинство воюет против большинства на Филиппинах, в Индии (Кашмир), в Чечне, на Балканах, на Восточном Тиморе. Мусульманское большинство пытается уничтожить «неверных» в Судане (христиане и язычники), Иране (бахаи), Индонезии (индусы и китайцы), Египте (христиане-копты). По всей Африке (Уганда, ЦАР, Камерун, Нигерия) мусульмане рвутся к власти, чтобы установить теократическую диктатуру. В мирном Таиланде участились убийства мусульманами буддийских монахов. И, наконец, в Алжире исламские фанатики ведут кровавую партизанскую войну против недостаточно ортодоксальных единоверцев. По сути дела, в сегодняшнем мире мусульмане так или иначе замешаны в любом вооруженном конфликте.

6

Так что же случилось с исламом? Ведь первое тысячелетие своего существования мусульманство было самой динамичной силой тогдашнего мира. В халифате процветали ремесла и торговля, философия и наука Индии и Персии плодотворно сливались с интеллектуальной традицией Средиземноморья, и границы империи раздвигались. Но в этих успехах уже было заложено зерно будущего упадка.

По мере того, как центр тяжести ислама перемещался — сначала в Дамаск, потом в Багдад, Каир и, наконец, в Константинополь, — менялся состав народов, населявших империю. Чтобы удержать вместе всю эту разнородную массу, требовалась абсолютная монархия с ее неизбежными атрибутами — бюрократией и военной элитой. Вопреки эгалитарным корням ислама, божественное происхождение власти и единая государственная религия стали идеальной почвой для неограниченного абсолютизма. Оттоманская империя, унаследовавшая лидерство в мусульманском мире, достигла своего расцвета в XVI веке, но после этого уже начался застой — политический, экономический и культурный.

История знает примеры того, как страна или нация достигает вершины влияния в мире, даже становится предметом зависти и подражания, а потом тихо сходит на нет. Вспомните заокеанские империи Испании и Голландии, — чтобы не напоминать о более недавних примерах. Но ничто не идет в сравнение с глубиной экономического и политического кризиса в мусульманском мире. Вот цифры, собранные Всемирным Банком (2008). Богатая Саудовская Аравия даже при нынешних ценах на нефть может похвастаться валовым национальным доходом около $20000 на душу населения — меньше израильского $25900. Другая нефтяная держава, Исламская Республика Иран с $10600 на душу населения, стоит уже на одной ступеньке с Белоруссией

и Сербией. Что уж говорить о Пакистане ($2600 — рядом с Монголией) или Египте ($5400, чуть пониже Эль-Сальвадора). Подстать и культурный уровень. По данным ЮНЕСКО, в Ираке и Пакистане неграмотны больше 40% мужчин и три четверти женщин. На этом фоне Саудовская Аравия и Иран выглядят не так уж плохо: там неграмотны *только* 17% мужчин и вдвое больше женщин.

Идеологи ислама часто пытались объяснить эту отсталость кознями чужеземцев — от западного империализма до (представьте себе) монгольского вторжения в XIII веке. Мало кто в мусульманском мире осмеливается взглянуть на причины внутренние.

Бернард Луис, ведущий американский историк-исламовед, признанный даже в арабском мире (редкая честь для еврея), тоже ищет ответа на вопрос: почему деградировала мусульманская цивилизация? Он указывает на отсутствие свободы как основную причину упадка. Чего стóят хотя бы законы, исключающие женщин из активной жизни, лишая общество половины его талантов и энергии. Но главное, считает он, — это полное слияние религиозного и гражданского начал в мусульманстве. В те времена, когда христианская Европа все более определенно проводила черту между государством и церковью («Богово — Богу, кесарево — кесарю»), в мусульманстве «кесаря» не было: Аллах был главой мусульманского сообщества, а Пророк и его наследники действовали как его наместники на земле.

Часто можно услышать такое оправдание: ислам еще слишком молод по сравнению с другими великими религиями. Но иной раз кажется, что мусульманство так никогда и не вышло из детского возраста. Споры вокруг основ веры, многообразие богословских течений, реформация — всего этого не было в мусульманском мире за все четырнадцать столетий его существования. И конечно же, не было ни Возрождения, ни тем более Просвещения. В результате мир этот как бы остался в ином временно́м измерении.

В самом деле, можно ли представить себе сегодня верующего иудея, который требовал бы забить камнями до смерти неверную жену? Или католика, призывающего к сожжению еретиков на кострах? Даже самые упорные сталинисты вряд ли захотели бы возврата к показательным процессам 30-х годов или китайской Культурной революции.

Но есть еше мусульманские страны, где и отрубание рук за воровство, и побивание камнями остаются юридической нормой. Когда религиозные авторитеты объявили еретической книгу писателя Салмана Рушди, сам айятолла Хомейни издал «фатву» — декрет, обязующий любого правоверного наказать смертью «отступника». И в то время, когда Запад давно отказался от идеи строительства мировых империй, воинствующие исламисты призывают к возрождению всемирного халифата.

Как может выглядеть новый халифат, видно на примере Ирана. На первый взгляд, страна идет в ногу с веком, — по крайней мере, по части военной промышленности. И правит ею не какой-нибудь восточный деспот, а парламент. Президент, он же глава правительства, избирается всенародным голосованием. Но на самом деле высшая власть находится в руках религиозного руководства. Муллы, входящие в подобие политбюро под названием «Собрание экспертов», отбрасывают негодных кандидатов в парламент и

на пост президента. Они же выбирают Верховного Вождя. А верховный вождь, согласно конституции, командует вооруженными силами, объявляет войну и мир, назначает высшие судебные органы, все командование армии и Революционной гвардии, а также главу радио и телевидения. И главное — утверждает результаты выборов и, если надо, снимает с работы президента. А сам демократически избранный президент — это на самом деле что-то вроде знакомого нам «всероссийского старосты».

Сегодняшний Иран — это образец, с позволения сказать, монолитного единства религиозного «руководства» с формально выборным правительством и повседневной жизнью подданных. Муллы не только предрешают результаты выборов, но и подвергают цензуре искусство и средства массовой информации, определяют содержание учебных программ и нормы поведения.

А теперь замените в этой формуле религию на идеологию. Разве нам не знакома практика, когда идейная чистота была ключом оценки музыки и биологии, экономической теории и теории относительности, не говоря уж о школьных учебниках и избирательных бюллетенях? Что из этого вышло, хорошо известно. Голландский политический деятель Геерт Вильдерт не так уж преувеличивает, приравнивая тоталитарную идеологию воинствующего ислама к коммунизму и нацизму.

6

Во всем мире живут примерно полтора миллиарда мусульман.

Можно ли судить о их подавляющем большинстве — о мирных, дружелюбных, законопослушных людях — по преступлениям горсточки экстремистов?

Наверное, нельзя.

Но так же нельзя и закрывать глаза на неумолимую власть идеологии и культуры ислама над всеми аспектами жизни мусульманской общины.

Сегодня в Европе мусульман около 50 миллионов, это выходцы из всех стран мира — Пакистана, Северной Африки, Турции, Индии. И это число растет неудержимо. По оценкам разных демографов, через 5–10 лет мусульмане составят четверть населения Европы. Уже сейчас в Марселе, Роттердаме, Мальмё мусульман 25% всего населения. В Париже, Лондоне, Осло, Копенгагене этот процент между 10 и 15.

Угрожают ли эти цифры существованию той европейской цивилизации, которую мы знаем? Ведь за тысячи лет Европа приняла многих пришельцев. Кого сейчас волнует, что предки нынешних романских народов — это большей частью германские варвары, а вовсе не древние римляне. А славянская Русь, впитавшая гены и тюрков, и финнов, и монголов? Не говоря уж об эмигрантской Америке, где потомков немцев, ирландцев, итальянцев больше, чем чистокровных англичан.

Разница заключается именно в ассимиляции. В Западной Европе эмигранты-мусульмане стремятся отгородиться от прочего населения как культурными, так и физическими барьерами. Многие из них, особенно молодежь, не в состоянии найти работу и живут только на пособия в домах, субсидируемых щедрыми западными социальными программами. Пару лет назад весь мир облетели известия из Парижа: молодые погромщики из

арабских пригородов поджигали на улицах автомобили, нападали на магазины, автобусы, санитарные машины. Но такие гетто существуют и в других крупных городах. И их обитатели — это главный резерв исламских экстремистов. Один за другим опросы общественного мнения рисуют тревожную картину. Половина французских мусульман считают лояльность по отношению к исламу более важной, чем к Франции, а треть одобряют действия террористов-самоубийц. Половина мусульман в Голландии «понимают» террористов, совершивших атаку в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Треть студентов-мусульман в Англии поддерживают идею всемирного халифата.

Наверное, все-таки неправы те, кто утверждает, что массовая миграция мусульман на Запад намеренно ставит своей целью поглощение Запада исламом. Материальное благополучие западной жизни может быть более сильным магнитом, чем далеко идущие религиозные устремления. Может быть, «умеренные» мусульмане смогут противостоять экстремизму. Но пока именно экстремисты при громовом безмолвии масс определяют видимый окружающему миру облик ислама. И когда религия сливается с политикой, становится трудно провести черту между духовными заветами Пророка и радикальной идеологией исламизма.

Можно ли сегодня винить Мухаммеда и Коран в том, что́ творят сегодня их воинствующие последователи?

Наверное, нет.

Но ведь и Карл Маркс не может отвечать за ГУЛаг. И тем не менее...

Давайте еще раз вспомним историю. В совсем еще недавнем XX веке марксизм владел умами и сердцами миллионов — от жрецов университетской науки до повстанцев в южноамериканских джунглях. Вслед за Марксом философы стремились не только объяснить мир, но и изменить его. Ради обещанного светлого будущего проливалась кровь в России и Китае, во Вьетнаме и Камбодже, в Эфиопии и на Кубе. Понадобились десятилетия, чтобы человечество увидело идейное банкротство марксистского движения.

Сейчас, как тысячу лет назад, ислам шагает далеко за пределами мест своего рождения. Как писал в «Континенте» Александр Кырлежев*, «...религиозно-цивилизационное противостояние Запада и исламского Востока является действительным и очень острым противостоянием. По существу, речь идет о жизни и смерти». Английские ученые Т. Дж. Линч и Р. С. Синг говорят о том, что для победы над джихадистским исламом требуются «реформа ислама, отделяющая мечеть от государства, модернизация арабского и мусульманского общества и истинное самоуправление».

Но пока мы видим, куда ведут мусульман те, кто сделал смерть и разрушение символом веры своей религии. Образ террориста-самоубийцы, по выражению Бернарда Луиса, становится метафорой для всего мира ислама.

Смогут ли здоровые элементы в мусульманском мире остановить этот марш смерти, чтобы не быть похороненными под лавиной катастрофического крушения?..

---

* *Кырлежев А.* Ислам и Запад после 11 сентября. — «Континент», № 112.

Владимир МОЖЕГОВ

КОНЕЦ ЭПОХИ. ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА К ФУНДАМЕНТАЛИЗМУ

Прошедший год стал для Русской Церкви во многом этапным (если не сказать — переломным). Начался он фильмом о. Тихона (Шевкунова), вызвавшим целую войну в информационном пространстве, продолжился скандалом и анафемами епископа Диомида, а завершился смертью Патриарха Алексия II, подведшей итог целой эпохе в жизни Русской Церкви... Все эти события, знаменательные не столько сами по себе, сколько знаменующие окончание неких процессов, заставляют нас обратиться к началам, то есть ко всей сложной и противоречивой истории Русской Церкви в XX веке.

Истории Диомидовского скандала была посвящена большая статья в прошлом номере «Континента». За время, прошедшее с этой публикации, история «чукотского адаманта» подошла к своему видимому разрешению. Диомид был извержен из сана, а новые его «воззвания», и до того не отличавшиеся разумностью, окончательно сбились в бессвязное бормотание (воистину, кого Бог хочет наказать, лишает разума). Но с крушением Диомида не стало менее актуальным признание дьякона Андрея Кураева, что Церковь сегодня балансирует на грани раскола, по масштабам сопоставимого с расколом XVII столетия. Диомид — не случайный эксцесс, и его громовые «анафемы» в день 90-тия расстрела царской семьи (напомню, что Диомид обвинил в «ереси цареборчества» всю иерархию Русской Церкви начиная с 1917 года) лишь возвестили о давно назревающем кризисе доверия в РПЦ.

С одной стороны, *ересь цареборчества,* — конечно, бред. С другой, — нельзя не видеть, что стоит за этим вполне реальная тревога. В свое время сторонники Аввакума выражали свой протест в крайне одиозных формах, за которыми стоял, однако, абсолютно серьезный и тревожный вопрос: не есть ли нынешнее царство — царство подмененное, а никоновская церковь — церковь подмененная? ***Официальная церковь — не настоящая!*** — вот что кроется за безумной формой диамидовских анафем. И это достаточно серьезно. Этой догадкой дышит сегодняшняя тревога, так же, как дышала в XVII веке. Эта догадка — и есть суть разразившегося кризиса доверия.

К трагическому разрешению конфликта планомерно вели как подталкивания и провокации друзей Диомида, так и реакция его врагов, потоки откровенной клеветы и идеологическое «мочилово», в чем особо постара-

Владимир МОЖЕГОВ — родился в 1968 г. в Воркуте, окончил Академию кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Публиковал работы на религиозно-философские, культурологические, историософские темы в «Московских новостях», «Литературной газете», «НГ-религиях», в «Русском журнале», журнале «Политический класс», «АПН», обозрении «Радонеж», альманахе «Илья» и др. Живет в Волоколамске.

лись Кирилл Фролов, протоиерей Всеволод Чаплин и епископ венский Иларион.

В плане же реальном анафема патриарху (эта, скажем так, метафизическая наглость) означала только одно: отныне все позволено. А что такое «*все позволено*» в России, — объяснять не надо. «Казус Диомида» развязал мешок эола, из которого вырвались наружу все ветры внутрицерковной вражды, чукотские «анафемы» перессорили всех уже внутри враждующих лагерей. Это очень заметно по череде скандалов и публикаций, захлестнувших информационное пространство. «Взрыв Диомида» разбудил и ультраправых, и левых.

Однако над церковью задули и ветры гласности. Поводом разобраться в истории Русской Церкви в XX веке воспользовались самые разные издания — и сетевые и бумажные. Нижеследующие размышления — еще одна попытка такого рода.

I. Путем отречений, или Церковь для Сталина и Гитлера

1. «Сердце остановилось, пульса не слышно»

Первого октября, за несколько дней до заседания Синода, извергнувшего Диомида, организация «Союз Русского Народа» (где председательствует А. Турик и куда также входят небезызвестные К. Душенов и М. Назаров) обнародовала воззвание, в котором, солидаризируясь с епископом Диамидом, озвучила очередные обвинения в адрес иерархии. Помимо традиционного монархизма-антисемитизма-антиэкуменизма, воззвание содержало, в частности, напоминание о том, как в марте 1917-го Святейший Синод вначале «*пошел на поводу революционного Временного правительства*», а затем, в лице митрополита Сергия (Старогородского) «*признал благотворность богоборческой большевицкой революции*». «*Самым отвратительным в Декларации митрополита Сергия о лояльности революционной богоборческой власти*, — говорилось в воззвании, — *было то, что он солидаризировался с "совецкой властью" в преследовании православных исповедников... Объявив их "государственными преступниками", он тем самым фактически развязал богоборческим властям руки в истреблении своих православных собратьев*».

Святые говорят: чтобы узнать свой грех, послушай, в чем тебя обвиняют. Воспользуемся добрым советом. Началом трагедии Русской Церкви в XX веке можно считать день начала Первой русской революции 9 января 1905 года. Василий Розанов, приводя в своей книге «В темных религиозных лучах» речь казанского епископа, произнесенную всего через две недели после расстрела Крестного хода рабочих к царю («*душегубы-революционеры не убоялись поднять бунт против Царя и правительства... И подставить эти невинные жертвы под выстрелы военной силы, которая призвана, которая должна была рассеять мятежную толпу...*»), сопроводил ее такими горестными (и во многом пророческими) словами: «*Она* (речь эта. — *В. М.*) *незабываемый памятник "Истории русской Церкви" и пусть в качестве такового украшает ее могилу,— уже не далекую могилу! Горе! Горе! Но не виновен врач, который произносит: "Сердце остановилось, пульса не слышно"*»...

А всего через несколько лет те же самые епископы, невозмутимо отрекавшиеся от собственного народа, будут также спокойно отрекаться от царя. Уже на следующий день после ареста «гражданина Романова» Святейший Синод возгласит: «*Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути*». Чем можно объяснить такое поведение?

Непростые отношения церкви и власти обусловлены были во многом извечной борьбой за право быть «наместником Бога» на земле. Церковь помнила и бунт Никона (священство выше царства!), и ответную реакцию Петра, упразднившего патриаршество и во избежание подобных эксцессов встроившего церковь в госаппарат. Еще митрополит Филарет Московский писал Николаю I: «*Вы поставили церковь на колени,.. следующим будет ваш престол*». Чуть ли не восторженно принимая отречение Николая II, церковь мстила царю за вековые унижения «синоидального плена». Была здесь, конечно, и личная обида. «В Синоде одни только животные» — это известное мнение императрицы о петербургских владыках и постоянные угрозы «дать Синоду хороший урок и строгий реприманд за его поведение», которыми она то и дело понукала своего «Ники», не способствовали, конечно, дружеским отношениям между царской семьей и иерархами, особенно после явления Распутина. Известно отчаянное восклицание митрополита Антония Храповицкого в ответ на возвышение очередного распутинского выдвиженца: «Скоро мы и черного борова произведем в митрополиты».

Итак, иерархия мстила не только царству, но и лично Николаю. И факт остается фактом: церковь палец о палец не ударила, чтобы защитить бывшего царя, ходатайствовать о его освобождении, хотя рычаги влияния на Временное правительство у нее были и за членов своей корпорации она активно вступалась. Вот суть «ереси цареборчества», которую инкриминирует Диомид сегодняшним наследникам царского Синода, и вот откуда растет его «анафема».

Но оставим в покое «мистику самодержавия». Христианскую совесть смущает другое. Царь, в конце концов, сам отрекся от престола. Можно понять и свободолюбие архиереев и их революционный порыв. Но соглашаясь с судом над царем, отрекаясь от Николая, Синод снова слишком легко забывал *о человеке*. В 1905-м, благословив расстрел Крестного хода к царю, Синод, по сути, отрекся (вместе с царем) от своего народа. А ведь *печаловаться за народ* — прямое дело Церкви и ее обязанность перед Христом. Да и месть и злорадство — чувства совсем не христианские.

Так выглядит эта история, если взглянуть на нее по-евангельски просто. И можно, наверное, узреть определенную логику в мифах наших сегодняшних царебожников, наделяющих Николая II богочеловеческими чертами, а в русских синоидалах увидеть тех представителей иудейского синедриона, что предавали когда-то на смерть другого Человека и за то же, в сущности, преступление: за то, что «Он сделал себя богом», т. е. взял на Себя власть, которая Ему не принадлежала.

Когда-то Иван Ильин справедливо назвал Русскую революцию «духовным искушением», испытанием, которое «*настигло всех: от Государя — до*

солдата, от Святейшего Патриарха — до последнего атеиста, от богача — до нищего» и которого никто, увы, не выдержал. Русская революция стала, по слову Солженицына, «великим позорищем» нации. И церковь — как духовное сердце этой нации — в полной мере ответственна за него.

2. Святой грех патриарха Тихона

В момент крушения империи честь Русской церкви, да и самое ее бытие были спасены служением патриарха Тихона. Читая сегодняшние инвективы Диомида, мы узнаем, что и патриарх Тихон, оказывается, недостаточно каноничен, поскольку ставится под вопрос его монархизм. В провозглашенной им анафеме 1918 года, утверждает Диомид, *«нет ни единого слова анафематствования ни большевикам, ни советской власти, ни революции»*. Скорее всего, Диомид вовсе не читал воззваний патриарха, довольствуясь их пересказами в «Духе христианина». К слову сказать, сам мятежный епископ побоялся приехать даже на Архиерейский собор, прикрывшись липовой справкой, хотя единственное, что ему там угрожало, — обструкция от коллег по корпорации. Так ли держал себя патриарх Тихон? Вспомним, какие слова бросал он прямо в лицо большевистскому зверю в момент самой первой, самой лютой его ярости: *«Гонение воздвигли на истину Христову... враги истины... и вместо любви... всюду сеют семена... ненависти... Опомнитесь, безумцы... То, что творите вы... поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому... и страшному проклятию потомства... АНАФЕМАТСТВУЕМ вас... Заклинаем... верных чад Церкви, НЕ ВСТУПАТЬ С ТАКОВЫМИ ИЗВЕРГАМИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В КАКОЕ-ЛИБО ОБЩЕНИЕ... противостаньте им силою веры... А если нужно будет и пострадать,.. зовем вас на эти страдания вместе с собою... и враги Церкви... расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование: "Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей"»*. Это слова из Послания Патриарха Тихона 19 января (1 февраля) 1918 года.

А вот выдержка из Обращения Патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров в связи с первой годовщиной Октябрьской Революции 25 октября (7 ноября) 1918 года: *«"Все, взявшие меч, мечем погибнут". Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам,.. называющие себя "народными" комиссарами... Вы разделили весь народ на враждующие... станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы... заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду <...> Хватают сотнями беззащитных... казнят без следствия и суда... епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем неповинных... Уже заплатили кровию мученичества многие... церковные проповедники...»*

Да, надо признать, что и сам Патриарх Тихон не удержался на высоте своего первоначального праведного гнева. В актах 1923–1925 годов он уже признавал советскую власть и каялся в ее анафематствовании. Чекисты вынудили больного, находившегося под арестом патриарха вначале признать, что *«Церковь аполитична и не желает отныне быть ни "белой", ни "красной"»*, а затем и то, что *«Церковь отмежевалась от контрреволюции и стоит на стороне Советской власти»*. Конечно, все прекрасно понимали, *чего* стоили

Тихону эти слова. И соборное сознание Церкви не поставило ему их в вину. Но нельзя вслед за Георгием Федотовым не признать и того, что «*из малого, легкого, почти "святого" греха патриарха, м. Сергий создал традицию — традицию лжи*».

3. Был ли узурпатором митрополит Сергий?

«*На Рождество 1924/25 года Патриарх Тихон составил завещание, в котором на случай своей смерти назначил трех кандидатов в местоблюстители. Первым кандидатом был указан митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), вторым — митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) и третьим — митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Митрополиты Кирилл и Агафангел в это время были в ссылках. (В 1933 году митр. Кирилл был ненадолго освобожден, менее чем через год снова арестован и выслан, а в 1937 году — расстрелян. Митрополит Агафангел освободился в 1926 году, когда церковное управление уже взял на себя митрополит Сергий (Страгородский).) В результате патриаршим местоблюстителем в апреле 1925 года стал митрополит Петр, но в декабре того же года он был арестован и сослан... и в 1937 году... расстрелян. Митрополит Сергий (Страгородский) был заместителем митрополита Петра и принял дела после его ареста*», — так история выдвижения митрополита Сергия предстает в пересказе о. Александра Мазырина[1].

А протоиерей Георгий Митрофанов в статье «Послания святого Патриарха Тихона»[2] предлагает несколько иную версию событий. Находившийся под арестом Патриарх Тихон в мае 1922 года передал высшую церковную власть Ярославскому митрополиту Агафангелу или Петроградскому митрополиту Вениамину (Казанскому). Вениамин, отказавшийся сотрудничать с обновленцами, был вскоре расстрелян, а митрополит Агафангел оказался под домашним арестом. Считая себя законным правопреемником Патриарха Тихона, Агафангел 18 июня 1922 года принял решение обратиться ко всем чадам Русской Православной Церкви с посланием, в котором дал оценку происходящим в церковной жизни событиям и указал пути решения проблем, возникших в церковном управлении после ареста Патриарха... Понимая необходимость оповестить всех русских православных христиан о том каноническом основании, на котором основывались его теперь уже первоиерархические полномочия, святитель Агафангел предварил свое послание полным текстом грамоты Патриарха Тихона от 16 мая 1922 года, в которой арестованный Патриарх назначал митрополита Агафангела своим заместителем. Митрополит Агафангел подтвердил принятие на себя полномочий Патриаршего Местоблюстителя и дал каноническую оценку обновленческим органам церковной власти. «*Между тем меня официально известили*, —

---

[1] *Иерей Александр Мазырин*. Был ли оправдан компромисс митрополита Сергия с советской властью? Беседовала Юлия Данилова // «Нескучный сад». 2008, № 1.

[2] «Церковный вестник». 2008, № 19 (392).

писал святитель Агафангел, — *что явились в Москве иные люди и встали у кормила правления Русской Церкви. От кого и какие на то полномочия получили они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незакономерными*». В это время, подчеркивает о. Георгий Митрофанов, к обновленцам примкнул и Сергий (Старогородский). Ясно сознавая, что большевики, устранившие из церковной жизни Патриарха Тихона и митрополита Вениамина, могут в любой момент расправиться и с ним, и желая не допустить разрушения канонического преемства высшей церковной власти в России, митрополит Агафангел предложил русским епископам единственно возможный в тех условиях путь сохранения каноничной церковной иерархии. Он предложил епископам, лишенным на время высшего руководства, управлять своими епархиями самостоятельно, «*сообразуясь с Писанием, церковными канонами и обычным церковным правом, по совести и архиерейской присяге, впредь до восстановления Высшей Церковной Власти*». Послание вызвало страх и ярость руководителей ГПУ. Вскоре тяжело больной семидесятилетний иерарх был осужден и сослан в далекий Нарымский край. Через три года, в апреле 1926-го, он был освобожден и вернулся в Ярославскую епархию.

Тем временем митрополит Сергий (Страгородский), арестованный в декабре 1926 года, в конце марта 1927 года неожиданно вышел из заключения и уже 18 мая сформировал в Москве «Временный Патриарший Священный Синод», который через два дня получил регистрацию в НКВД.

О согласии митрополита Сергия сотрудничать с советской властью о. Александр Мазырин рассуждает так: «*У митрополита Сергия был выбор, по какому пути идти лично ему — по пути поиска соглашения с властью, или по тому пути, по которому пошел его предшественник митрополит Петр. Этот путь, несомненно, привел бы его туда же, куда и митрополита Петра: ссылки, одиночные камеры и, в конце концов, расстрел. Но это был личный выбор митрополита Сергия. С точки же зрения того, по какому пути пошло бы оставшееся в итоге в наличии руководство Русской Церкви, особых альтернатив в 1927 году не было.*

Если бы митрополит Сергий выбрал путь бескомпромиссный, власть нашла бы другого иерарха, который бы принял ее условия. ОГПУ усиленно искало такого иерарха, вело переговоры сначала с одним, потом с другим, с третьим — в том числе и с митрополитом Кириллом, и с митрополитом Агафангелом. Им всем предлагались эти условия: подчинение внутренней церковной жизни тайному контролю со стороны безбожной власти в обмен на легализацию церковного управления. Был, например, тогда такой архиерей, как митрополит Тверской Серафим (Александров). Он как минимум с 1922 года был секретным агентом ГПУ, — сейчас уже опубликованы его донесения. В конце концов дошла бы очередь и до него, он бы согласился».

Не споря с этим, надо все же заметить, что у митрополита Сергия как заместителя митрополита Петра, законного местоблюстителя патриаршего престола, оставалась тень каноничности... У другого иерарха (того же Серафима) не было бы и этой тени. Епископы имели бы полное право ему не подчиняться. Согласие митрополита Сергия, таким образом, спасало планы ОГПУ по подчинению церкви.

Тот же о. Александр Мазырин в ноябрьском номере «Нескучного сада» в статье «Разделение РПЦ и РПЦЗ нельзя назвать расколом» признает, что в момент, когда Зарубежный синод заявил о прекращении административных отношений с митрополитом Сергием (1927 год), «*главой Русской Церкви был не митрополит Сергий, а заключенный митрополит Петр...*» Он признает также, что канонический статус митрополита Сергия в это время «*был далеко не бесспорен. Он действовал как полноправный первоиерарх Русской Церкви, в то время как в действительности был тогда лишь временным заместителем заместителя патриарха. Причем сам патриарший местоблюститель митрополит Петр не одобрял действий своего заместителя, которые тот предпринимал с 1927 года, и настойчиво призывал его из ссылки "исправить допущенную ошибку, поставившую Церковь в унизительное положение"*». На основании того, что в момент разрыва отношений с РПЦЗ главой Русской Церкви был не митрополит Сергий, а заключенный митрополит Петр, о. Александр Мазырин делает вывод, что разделение РПЦ и РПЦЗ не было расколом. Однако в таком случае снова встает вопрос о каноничности правопреемства митрополитом Сергием власти в Русской Церкви. Опубликованные сегодня документы (в частности, переписка владык Сергия и только что вернувшегося из ссылки Агафангела в 1926 году) позволяют сделать вывод об узурпации митрополитом Сергием власти[3]. А это

[3] 17 апреля (ст. ст.) 1926 года митрополит Сергий (Страгородский) написал письмо митрополиту Агафангелу Ярославскому, в котором пытался доказать незаконность его притязаний на местоблюстительство и просил владыку Агафангела отказаться от претензий на возглавление Церкви. 30 апреля (ст. ст.) митрополит Агафангел и митрополит Сергий встретились в Москве. Митрополит Сергий согласился на передачу церковной власти, но просил владыку Агафангела отсрочить вступление в должность Патриаршего Местоблюстителя до освобождения митрополита Петра. Однако через три дня митрополит Сергий отказался от передачи власти и написал митрополиту Агафангелу письмо, в котором объяснил, что при живом местоблюстителе — митрополите Петре он не может передать власть (хотя по завещанию патриарха имя митрополита Агафангела стояло до имени митрополита Петра). А 7 мая на недоумения митрополита Агафангела отвечал телеграммой: «*Я убедился в отсутствии Ваших прав. Усердно прошу: воздержитесь от решительного шага*» (Источник: о. *Вл. Цыпин*, История Русской Церкви).

9 мая Местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр пишет из тюрьмы письмо митрополиту Агафангелу, в котором приветствует его вступление в исполнение обязанностей Местоблюстителя. Еще через месяц митрополит Петр из тюрьмы послал владыке Агафангелу письмо, в котором подтверждал передачу ему местоблюстительства, но добавлял, что в случае невозможности или отказа воспринять власть права Местоблюстителя возвращаются к нему, а заместительство — к митрополиту Сергию. 13 июня 24 епископа во главе с Сергием выносят по делу митрополита Агафангела определение о предании его суду и запрещении в священнослужении. Митрополит Сергий ставит на этом определении резолюцию воздержаться от запрещения, «поскольку его выступление находит для себя некоторое извинение в получении письма митрополита Петра (Полянского)». Митрополиту Агафангелу предлагается в недельный срок отказаться от своих притязаний. В этот же день митрополит Сергий пишет митрополиту Агафангелу новое послание, в котором настаивает на своих правах на высшую церковную власть

в свою очередь ставит серьезный вопрос о каноничности нынешней иерархии, ведущей свою родословную от митрополита Сергия. Ясно, почему все здесь до сих пор покрыто таким густым туманом. Анафема Диомида и взорвала этот туман, привлекая внимание общества ко всем этим фактам и возвещая наступление гласности. А в клочках разорванного этим взрывом тумана открылась и та бездна, над которой застыла сегодня Русская Церковь.

4. Спасать путем предательства

В июле 1927 года появляется печально знаменитая «Декларация» митрополита Сергия, в которой он, клянясь в верности советскому правительству, горячо благодарил его за разрешение синоидальной деятельности. Тон старательности и преданности («*...мы помним свой долг быть гражданами Союза "не только из страха, но и по совести", как учил нас Апостол...*») ничем не походил на акты патриарха Тихона (очевидно, что текст Декларации был составлен при деятельном участии НКВД). Декларация митрополита Сергия расколола церковный мир, но еще большим потрясением для церковной совести стало интервью владыки Сергия в 1930 году, в котором он прямо в глаза распинаемой Церкви утверждал, что «*гонений на религию в СССР никогда не было и нет*», а «*репрессии в отношении верующих и священнослужителей применяются... не за их религиозные убеждения, а... за разные противоправительственные деяния*».

Заявление митрополита Сергия повергло церковное сознание в шок по обе стороны границы. Заместитель местоблюстителя пошел на неслыханное доселе дело — отречение от мучеников. Но ведь мученики — это кровь Церкви. Может ли Церковь отречься от собственной крови? В свое время обновленцы выдвинули тезис о «церковной контрреволюции», и случилось это именно тогда, «*когда,* — писал в 1931 году Георгий Федотов,— *под угрозой казни были головы митрополита Вениамина, самого патриарха и... других исповедников. Желали ли обновленцы смерти мучеников? Конечно, нет. <...> Но ценой своего отречения от мучеников,.. они хотели спасти себя и —*

и объясняет причины, по которым он отказывается подчиниться и самому митрополиту Петру: «*Митрополит Петр, передавший мне хотя и временно, но полностью права и обязанности Местоблюстителя и сам лишенный возможности быть надлежаще осведомленным о состоянии церковных дел, не может уже ни нести ответственности за течение последних, ни тем более вмешиваться в управление ими*». И далее извещает митрополита Агафангела, что он предан архиерейскому суду за совершенное им антиканоническое деяние, приветствуя которое, митрополит Петр «*сам становится соучастником его и тоже подлежит наказанию*». «*Вы объявили себя Местоблюстителем при живом законном Местоблюстителе, т. е. совершили деяние, влекущее за собою даже лишение сана*». (Важно при этом помнить, что митрополит Петр не слагал с себя первосвятительских полномочий, а митрополит Сергий был лишь его заместителем. Митрополит Сергий не выполнил прямого распоряжения своего Первоиерарха и даже угрожал ему «наказанием».) 17 июня 1926 года митрополит Агафангел телеграммой известил митрополита Сергия о своем отказе от местоблюстительства.

{*Монах Вениамин (Гомартели).* Летопись церковных событий Православной Церкви, начиная с 1917 года. Источник: http://hristov.narod.ru/letopis.htm.}

спасти Церковь. Спасать Церковь путем предательства — вот формула обновленчества. Теперь это формула митрополита Сергия, который в апреле 1930 года, в эпоху вновь поднявшегося террора, заявил во всеуслышанье всему миру, что в России не казнят за религиозные убеждения и что расстреливаемые священники виновны в монархических происках»[4].

Таково «*свойство каждого ничтожного греха — оставлять за собой след: быть источником новых искушений, новых соблазнов*», — замечает Федотов. Таково свойство греха и не ничтожного, — добавим мы. И не вправе ли мы, осмысливая все эти события, сказать, что? отвернувшись в 1905 году от своего народа, который призвана была спасать, отвернувшись в 1917-м от царя, которого сама помазывала на царство, Русская Церковь в лице заместителя патриаршьего местоблюстителя отрекалась теперь, по сути, от самой себя? Отныне руки у советской власти были развязаны. Всего несколькими годами ранее Синод с радостью встречал освобождение от «цезарепапизма». И вот по мученическому пути «помазанника» пошли тысячи русских священников и епископов, которых отречение митрополита Сергия лишало всякой защиты. И ради чего же жертвовал Сергий всей полной Церкви? Ради сохранения архиерейской службы! «*По отношению к Церкви это было прямым предательством,*— писал Г. Федотов. — *Одним из самых роковых последствий нового раскола, внесенного в Церковь митрополитом Сергием, является утрата ею внешнего видимого центра. До сего дня, несмотря на множество отпадений и дроблений, оставалось явным видимое преемство иерархической власти, и вместе с нею основной ствол церковного древа. Воссоздание церковного единства мыслилось как возвращение отпавших к общению с этой преемственной иерархической властью, путем покаяния в грехе раскола. Так принимали в Церковь кающихся обновленцев. Ныне видимый иерархический остов церковного корабля разбит в щепы. Русская Православная Церковь является рядом сосуществующих православных общин. Единство ее может быть восстановлено уже путем всеобщего покаяния. Из него не исключаются и "чистые" противники митрополита Сергия, ибо свою чистоту им пришлось сохранить ценою раскола и восстания против законной церковной власти*»[5].

Таким образом, митрополит Сергий стал творцом самого страшного, еще не виданного в истории Русской церкви раскола, не исцеленного и поныне. И поныне Русская церковь остается «*рядом сосуществующих православных общин*», непрерывно злословящих и поносящих друг друга. И поныне ждет покаяния всех своих грешных и ломимых, разрозненных и разбросанных по всему миру частиц.

Но как же могло произойти, спрашивает Федотов, что «*путь патриарха Тихона, столь благодатный для Русской Церкви, в своем последовательном развитии привел к ее развалу?*» И отвечает, что виною всему стала именно роковая «последовательность»: «*Компромисс допустим в определенное время и место, в определенных границах. Эти границы указываются внутренним*

---

[4] *Федотов Г.* Неудачная защита // «Путь». 1931. № 29.

[5] *Федотов Г.* К вопросу о положении русской церкви // «Вестник Русского Христианского Движения». 1930. № 10-11.

тактом, духовной мудростью. За икономией и выше ее стоит нравственный и канонический закон, никогда не подлежащий отмене. Его нарушение может быть прощено в отдельном случае, но никогда не может быть обращено в принцип, в норму поведения». И вот тут-то и возникают уже приводившиеся ранее слова о том, что «*из малого, легкого, почти "святого" греха патриарха митрополит Сергий создал традицию — традицию лжи, которой, к счастью для России, не вынесла русская церковная совесть*»[6].

О. Георгий Митрофанов пишет в своей статье[7], что в числе прочих епископов, отказавшихся признать власть митрополита Сергия, был и митрополит Агафангел. Понимая громадный авторитет владыки Агафангела, заместитель местоблюстителя сделал все возможное, чтобы сломить его сопротивление. И через год, уже смертельно больному, митрополиту Агафангелу пришлось признать свое поражение. Оставшись в одиночестве, он был вынужден вернуть свою епархию в подчинение митрополиту Сергию, отказавшись, однако, возносить имя последнего за богослужением и оставив за собой право игнорировать его сомнительные распоряжения...

Дальнейшее известно. Отречение митрополита Сергия от мучеников Церкви внутри России, отлучение Зарубежной Церкви и бессовестная клевета на руководителей мирового христианства лишали Церковь в России всякой защиты и развязывали большевикам руки.

Как известно, в 1943 году Сталин воссоздает Московскую Патриархию в ее традиционном синоидальном виде. Но еще за 12 лет до этого в статье «Русская Церковь или духовное сословие» Георгий Федотов писал: «*Сергианское принятие государства в своем развитии должно привести к воссозданию государственно-послушной синоидальной церкви в России. Если возглавитель церкви приносит такие жертвы перед лицом власти гонителей, то каких жертв не принесет власти благосклонной, а тем паче власти христианской, обещающей Церкви свое покровительство* (звучит крайне актуально сегодня, не правда ли? — *В. М.*). *Сергианское направление грозит лишить Церковь плодов ее кровавого очищения. Столь мучительно разорванные узы с государством завяжутся вновь, и притом в самой невыгодной для Церкви обстановке. Снова политика, политиканство... защита неправды, социальной, политической, тем более опасная и соблазнительная, что она имеет под собою вековую традицию*»...

Действительно, приходится признать, что ничего принципиально нового для бытия Русской Церкви в ее «сталинском возрождении» не было. Так же точно Грозный, задушив в лице митрополита Филиппа русскую святость, утверждал собственную церковь на своем имени (*«я — Бог земли русской»*). Так и его преемник, Годунов, прокладывая себе дорогу к высшей власти, на камне «Третьего Рима» утверждал московское патриаршество, выбивая его подкупом и угрозами у константинопольского патриарха Иеремии. Так же и Петр I, пресекая папские амбиции московского священства, вращивал церковную бюрократию в государственный механизм, а Николай II, унижая синоидалов, поднимал над ними чудовищного Распутина.

---

[6] Там же.

[7] *Митрофанов Г.*, протоиерей. Цит. соч.

5. Между «другом всех верующих» и «христолюбивым Адольфом»

Традиция лжи, взращенная митрополитом Сергием, расцвела в следующем большевистском патриархе Алексии (Симанском). Интересно, что если владыка Сергий еще раз во всеуслышанье удостоверяет свою ложь об отсутствии гонений на Церковь в 1942 году в книге «Правда о религии в России» (то есть уже после 1937 года и уничтожения сотен тысяч новомучеников — плодов собственного же, Сергия, отречения), то патриарх Алексий I умудряется делать то же самое в книге «РПЦ. Устройство. Положение. Деятельность» аж в 1958 году, то есть через два года после XX съезда партии! (Выходит, что реабилитации на XX съезде удостоились все жертвы Сталина, кроме священников, которые карались заслуженно.)

Авторы уже упоминавшегося воззвания «Союза Русского Народа» в защиту епископа Диомида пишут: «*Иван Ильин в 1947 году в своей статье "Церковь в СССР" предупреждал, что МП создана большевиками (которых он считал коллективным Антихристом) с двоякой целью: способствовать духовно-политическому разложению белой эмиграции и РПЦЗ, вплоть до ее поглощения Московской Патриархией, утверждению антихристовой политической власти внутри страны и распространению ее влияния в мире*».

Действительно, Иван Ильин в упомянутой статье писал, что «*Сергий и Алексий были всегда терроризированными пленниками Сталина... они не договорились со Сталиным, а покорились ему*». И называл патриарха Алексия «*Патриархом вся Руси в роли сознательного политического провокатора у Антихриста*». Описывая поездку патриарха заграницу, Ильин подчеркивает, что владыка Алексий, встречаясь там с эмигрантами и уверяя их, что Церковь в СССР вполне свободна, там самым провоцировал своих посетителей «*выдавать себя с головой тайной полиции*».

Впрочем, и само Зарубежье, столь принципиальное в осуждении большевистской церкви, совсем иное отношение являло к классово близким себе тиранам. Хорошо известно, что карловчане (РПЦЗ) поддерживали Гитлера с первых его шагов к власти и пользовались потом его неизменным покровительством. Так что предстоятель РПЦЗ митрополит Анастасий (Грибановский) недаром писал фюреру: «*Не один только германский народ поминает Вас горячей любовью и преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов... видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду*».

И пока с одного конца Евразии взвивались громогласные славословия кремлевскому горцу как «*великому другу всех верующих*», под чьим руководством православный народ объединится «*во имя Христа... за попранные Гитлером идеалы христианства*», с другого конца неслись дружные здравицы «*Христолюбивому Вождю германского народа*», развернувшему «*новый крестовый поход*» против «*антихристовой силы богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле*».

Трагический фарс разворачивался во *всей* силе. «*Будьте участниками в новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба <...> "Спасение всех", о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение... Настал последний решительный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех антибольшевистских бойцов... Аминь!*» — такими

словами приветствовал нападение Германии на Советский Союз первоиерарх Православной Церкви в Германии архиепископ Серафим (особенно умиляет этот «*последний решительный бой*», шагнувший в речь архиепископа прямиком из «Интернационала»).

Но и это был еще не предел. Из Кремля, со стороны «друга всех верующих», следовали экстазы еще более головокружительные. Там говорилось о «*сатанинском лице немца*», о «*священной ненависти к врагу*», которой (ненависти) «*преисполнена Церковь*»; о том, что «*заповедь Христа о любви к ближнему неприменима к немецким убийцам, любить их абсолютно невозможно*» (митрополит Николай); что «*сердце христианина для фашистских зверей закрыто, оно источает только уничтожающую смертельную ненависть к врагу*» (митрополит Сергий, послание от 24 ноября 1941 года). Так, отрекшись от крови мучеников, советские церковники колебали теперь самое основание Церкви, извращая заповеди Христа (как, к слову сказать, и предупреждал Достоевский в легенде о Великом Инквизиторе). *Сердце христианина, источающее только уничтожающую смертельную ненависть к врагу,* — есть уже, по сути, прямая апология Антихриста.

Конечно, было и другое. Так, мы знаем, что французское сопротивление в немалой степени было вдохновляемо русской православной эмиграцией. И имена матери Марии и других христианских исповедников навечно вписаны в анналы этого времени. Даже в среде советских всецело преданных Сталину церковников Бог сохранял Себе достойных иерархов. Вспомним хотя бы архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого), который, получая в 1946 году Сталинскую премию за работы по гнойной хирургии, тихо, но твердо сказал, что сделал бы для своего народа гораздо больше, если бы не тюрьмы и лагеря, где ему пришлось провести бóльшую часть жизни...

6. Гордиев узел

Такова канва событий, завязавших гордиев узел сегодняшних церковных проблем. Стоит ли удивляться, что воссоединение Русской и Зарубежной Церквей (с величайшей помпой отпразднованное) в самый разгар объединения было потрясено Сурожским расколом[8], а затем и взрывом «епископа-динамита»?

Дело, конечно, не в заговоре «мировой закулисы», а все в том же Божьем законе: ведь церкви, хотя и соединились, но ни в служении *другу всех верующих* и *христолюбивому Адольфу*, ни в отречении от мучеников, ни в антихристианской проповеди так и не покаялись.

---

[8] Миссия лондонской общины митрополита Антония Сурожского, одного из величайших проповедников XX века, заключалась в свидетельстве православия не национального, не бюрократического, но православия как *личной встречи* с Христом. Служение и проповедь митрополита Антония были крайне необходимы прежде всего современной России, только-только освобождающейся от пут тоталитаризма. Но после его смерти интриги московских иерархов поставили жизнь общины на грань развала. Спасая общину, епископ Василий (Осборн), наследник митрополита Антония, был вынужден уйти под омофор Константинопольского патриарха.

Недавний скандальный фильм Тихона Шевкунова, эта апология тоталитарной бюрократии, венчающаяся торжественным славословием Сталину, и особенно реакция «православной общественности», практически единодушно фильм поддержавшей, еще раз подтвердили, что и сегодня церковное самосознание остается насквозь пронизанным тоталитарной идеологией, имеющей к христианству самое приблизительное отношение. И наверно не случайно именно эти «символы веры» предшествовали пресловутым «анафемам» Диомида. Смерть патриарха Алексия II предала всем этим событиям новое трагическое звучание. И в зависимости от того, кто станет следующим патриархом, «дело Диомида» может обрести еще и новую силу и новых сторонников.

7. Столп и утверждение истины?

Восьмого декабря «Ежедневный журнал» опубликовал небольшую статью Леонида Радзиховского «Столп»[9], в которой известный публицист достаточно неожиданным образом снимает с Русской Церкви все обвинения в конформизме с властью. Обвинять в конформизме, утверждает Радзиховский, можно того, кто, являясь по существу кем-то другим, лишь по уклонению злой воли влечется к этому самому конформизму. РПЦ же — государствообразующая организация именно по своему смыслу, менталитету и миссии. Она является «*системообразующей частью*» государства, его *духовной* «*крышей*». Государство же, в свою очередь, «*является системообразующей частью РПЦ*». Так что речь тут о другом. Тут — не конформизм, тут — *сущность*. Потому и обвинять РПЦ в конформизме — нонсенс. «*РПЦ*, — пишет Радзиховский, — *церковь с государственническо-патриотически-националистическим геномом*», и главная ее цель — сохранение-расширение-укрепление государства и усиление своей в нем роли.

Взгляд неожиданный и по-своему безупречный. А действительно, ради чего ломать копья? Есть государство, есть естественная для него, адекватная ему идеология. Они однажды нашли друг друга, как мама с папой, у них есть общее дитя — народ. Иногда они ссорятся, папа пьет, дети отбиваются от рук. Но, в конце концов, все возвращается на круги своя. Так Богом установлено: семья — это святое. Да, один раз случился казус, практически развод в семье. «*Большевики сделали ужасную вещь: полностью сохранили (да еще и подняли до небес) самодержавие ("диктатура Партии"), подперли его народностью — но грубо выкинули из этой связки "православие"*» Короче говоря: «*"Папа" бросил "маму" и детей забрал!*», — пишет Радзиховский

Государство оттолкнуло Церковь, объявив ее своим врагом. И это была катастрофа. Утратив опору, РПЦ повисла «*в духовном вакууме*», именно поэтому она так стремилась «воссоединиться с государством» — «*пусть сталинским, пусть брежневским, пусть через тайную полицию, пусть через "безбожный ЦК КПСС"*». Именно так понимала церковь свою ***миссию*** — «*служить и помогать по мере сил государству*», коммунистическому — так коммунистическому. Поэтому и симпатия к Сталину — не просто «дурь».

[9] http://www.politua.ru/concept/135.html.

Сталин опять (пусть из-под полы) «вставил» РПЦ во властную триаду. Вновь «приобщил» к Державности.

«*Характерная в этом смысле фигура*,— пишет Радзиховский, — *патриарх Алексий I (1945–1970). Дворянин, монархист, председатель Тульского отделения "Союза русского народа", перед революцией архиепископ Новгородский, он... вовсе не из голого конформизма пошел "в услужение большевикам", стал возглавлять РПЦ "под контролем" полковника госбезопасности Карпова. Нет, это — помимо прочих соображений — патриотически-державнический инстинкт русского националиста... <...> Если угодно — Вера. Вера в свое предназначение, в свой долг перед Россией и русским народом*». Ибо «*государственная Церковь без Государства слепа есть*»...

Эта же вера, по мнению Радзиховского, заставляет церковь и сегодня встраиваться в властную вертикаль, венчать новый, обоюдожеланный союз, поскольку в главном «*государство и его церковь остались верны себе, своей истории, своему генотипу. Вертикаль. Авторитарность. Державность. Противостояние Западу*».

Замечательно. Только причем здесь христианство? Действительно, христианство здесь оказывается ни при чем. Как парламент — не место для дискуссий, так РПЦ — не место для духовных прозрений, пишет Радзиховский, — «*в них было бы что-то даже и "неприличное", что-то просто не подобающее серьезным политикам и государственникам*»... Христианство — это одно, а «*Солидный Господь для солидных господ*», согласно язвительному слогану, то ли придуманному, то ли у кого-то позаимствованному Виктором Пелевиным, — это совсем другое.

Да, взгляд Леонида Радзиховского — взгляд и трезвый, и точный. Взгляд человека, безусловно сочувствующего христианству, за которое в России действительно отвечало всегда нечто совсем другое, нежели корпорация духовенства: святые, поэты, художники, лучшие представители народа... В общем, культура. А раз непосредственного отношения к христианству церковная корпорация не имеет, то и судить ее надо по другим законам. По законам государства. А это, конечно, в корне меняет дело, освобождает корпорацию от ответственности. Это, в конце концов, — примиряет.

И все-таки при всей их трезвости и точности что-то в рассуждениях Радзиховского не так... Что-то смущает.

А как же Христос? Литургия? Евхаристия? А как же достойные священники, монахи, архиереи, которых и сегодня совсем не так уж мало? Нет, во взгляде Радзиховского кроется какая-то глубинная ошибка. Это взгляд человека сочувствующего, но внешнего Церкви. Корпорация корпорацией, но пока мы живем на земле, Христос и корпорация, Церковь и ее темный двойник будут сосуществовать рядом, в одном месте и времени, зачастую в одной душе и сердце. И пока Христос не оставил Свою Церковь, Он время от времени будет разбивать твердыни корпорации, чтобы явить Свою силу Жизни из-под покровов священной бюрократии.

А вот, кстати, и еще один красноречивый сюжет. В ноябре 2008 года газеты облетела новость: в деревне Комарово Ивановской области в одночасье целиком исчез православный храм Воскресения Христова. Церковь эта, надо сказать, простояла нетронутой двести лет, пережила революцию и войну.

Службы, правда, тут давно не велись, но при условии проведения планового ремонта храм вполне мог бы ожить. Судьба, однако, распорядилась по-иному: здание приобрели в пользование некие «злоумышленники», посчитавшие, что гораздо выгоднее пустить его на кирпичи. «Работы нет, а жить-то на что-то надо», — оправдывались местные мужики, разобравшие храм в один день.

Похоже, время строительства храмов в России сменяется временем их деконструкции.

И еще один штрих к характеристике прошедшего года. Патриарх Всея Руси Алексий II скончался 5 декабря. В этот же день ровно 77 лет назад был взорван храм Христа Спасителя в Москве. О чем говорит нам эта рифма истории? Бог весть, но боюсь, что сулит она не слишком солнечное будущее Русской Церкви.

II. И Тихон великий нам путь озарил

Из конца года вернемся к его началу. Открывали этот удивительный год две предвыборные кампании (думская и президентская) и фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) о гибели империи. В сентябре же все три события вновь были помянуты вместе — причем в качестве «Антисобытий года». Так решили участники неформального «Клуба телепрессы», присудившие фильму о. Тихона приз «*за безбожную пропаганду*», а обе предвыборные кампании признавшие «*событием, которого не было*».

1. О Византии, колхозах, Путине и не только

Об этом фильме мы уже писали[10], и возвращаться к нему нет нужды. Но не меньший интерес представляет для нас личность самого о. Тихона и его мировоззрение. Возможность же познакомиться со всем этим поближе дает нам обширное интервью о. Тихона византийскому клубу «Катехон»[11].

Начнем с двух высказываний о. Тихона о своем фильме.

Первое: «*Даже мои знакомые военные из разведки позвонили и говорят, что крутят там у себя этот фильм по внутреннему телевидению. В Генштабе этот фильм дарили на каком-то юбилее с копирайтом Генштаба России. Заседание коллегии ФСБ началось с показа этого фильма, меня приглашали и Академия международных отношений, и Академия МВД, и многие институты*».

И второе: «*Собственно говоря, фильм был очень и очень "инженерно" для меня выстроен. Я его выстраивал в меньшей степени как поэт, а в большей степени как инженер. Этот фильм был для меня еще и особым экспериментом. Этот фильм лично для меня был сделан как партитура, в которой я четко заложил партии для всех: например, для "Эхо Москвы" — я ждал, как споет "Эхо Москвы", и для других групп. Для меня было вели-*

---

[10] О фильме архимандрита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Византийский урок» // «Континент», № 136.

[11] *Тихон (Шевкунов), архимандрит*: О Византии, колхозах, Путине и не только // «Русский обозреватель», 10.10.2008.

чайшее наслаждение, что все они четко пели по этой партитуре. Это было потрясающе».

Привлекают здесь, с одной стороны, свидетельства о. Тихона о «высшем уровне» общения и обращения его фильма, а с другой, — фактическое признание, что этот фильм — намеренная провокация и сделан не столько на радость и просвещение друзьям, сколько назло врагам. Иными словами, о. Тихон признается, что он совершенно сознательно развязал войну в информационном пространстве. То есть, стало быть, и несет всю полноту ответственности за последствия этой войны: кто сеет ветер, пожинает бурю.

Интересно, как в другом месте (интервьюер ставит вопрос о православности Сталина) о. Тихон делает еще более прозрачные намеки на уровень своего обращения в коридорах власти: «*Ни одного свидетельства об этом* (что Сталин молился в Кремлевских храмах. — *В. М.*) *я не нашел, включая разговоры со всеми кремлевскими охранниками* (sic! — *В. М.*). *Вот когда была ситуация с Бесланом, я знаю точно, что Путин долгие часы молился в Кремлевском храме, и после того, когда уже были приняты все решения. Самые интересные сведения о Сталине мне рассказал его приемный сын — Артем, генерал, который недавно скончался... Вот он мне заявил, что считает Сталина православным человеком, хотя я не знаю, насколько он, Артем, сам может идентифицировать православного человека».*

Начинает же свое интервью о. Тихон с рассуждений о завоевании Константинополя: «*Завоевание Константинополя спасло православие греков.* Ведь *последние два императора и последние патриархи константинопольские были униатами. Конечно, были и противники Унии, но сколько бы они продержались? Мы видим нашу Галичину — там тоже были ярые противники, но светская власть сделала свое дело, и сейчас решить униатскую проблему на западной Украине очень сложно. Сталин попытался со свойственной ему решимостью что-то сделать, но в 1990—1991 году все вернулось на свои места, Уния снова завоевала все свои позиции, — потому что была в сердцах людей. Так что мы можем предположить, что через 40 лет, несмотря на все сопротивление "зелотов", православных, — греки бы стали униатами!*

Султан Мехмет больше всего боялся, что греки объединятся со своими западными христианскими союзниками-католиками и выгонят его из Константинополя... И поэтому он поставил именно того человека патриархом, который был принципиальным противником каких-либо связей с латинским миром,— это был Геннадий Схоларий. Он разрешил ему быть этнархом, духовным руководителем жизни своего народа, но запретил одно — никакого общения с латинянами; а это как раз то, что было нужно Геннадию Схоларию. Кстати, у Геннадия был очень интересный план сделать Мехмета и других султанов православными, крестить их, после чего Мехмету предлагалось быть следующим василевсом. И только благодаря вмешательству некоторых визирей это не было осуществлено... Отсюда весь трагизм. Однако, в конце фильма — все-таки мы видим русский храм, в котором стоят дети и взрослые люди, у них красивые, прекрасные лица, и для меня было важно, что мы в ответственности вот за эту Церковь и за этот народ».

В этом пассаже характерно все. И симпатии к «решительному Сталину», и симпатии к Мехмету и даже трогательное сожаление, что не удалось «сделать

Мехмета православным» («*Отсюда весь трагизм!*»). И спокойное приятие унижений Церкви (зависимой от турок настолько, что турецкая власть даже ставит во главе ее угодного себе патриарха). И тут же рядом: «*ответственность за эту Церковь и за этот народ*», за эти «*красивые, прекрасные лица*»... Как-то странновато все это звучит, не правда ли? И какова логика! Ненависть к униатам оправдывает «решительность» Сталина, ненависть к латинянам — разгром Константинополя и насильственную исламизацию греков.

Следующий вопрос интервьюера как раз и касается «генетической ненависти», — только не нас — к ним, а их — к нам. Отец Тихон с удовольствием подхватывает тему: «*Как это ни парадоксально, генетическая ненависть Запада к Византии остается до сих пор. Об этом говорят сами же западные политики и историки <...> от Тойнби до Петрарки, который писал о Византии с дикой ненавистью, хотя жадно воспринимал все из нее. <...> Они нас очень тяжело воспринимают. "Ничего понять не можем, но ненавидим" <...>*

Я считаю, что здесь дело в следующем. Что такое был Запад до IV Крестового похода, разграбившего Константинополь? Помойка! Грязная, вонючая помойка — извините, но это так и было! Знаете, в каком веке появилась канализация в Париже — в XVIII, а в Лондоне — в XIX! Что такое был, скажем, самый большой город Европы XI века Регенсбург — 25 тысяч человек? А Константинополь — миллионник вместе с окрестностями, где канализация и водопровод — с IV века; охладительные системы; десятиэтажные дома с лифтами! Совершенно «бешеная» социалка, которая Западу даже не снилась! Когда Меровинги ездили на волах в домотканой грязной одежде в свои пещеры, которые они называли дворцами, византийский император жил во дворце, который был в десять раз больше Московского Кремля. С императорским троном — шедевром инженерного искусства, с органом и павлинами...

Тогда Западная Европа была захолустьем. И когда западные европейцы приезжали из Константинополя, у них был настоящий шок и они хотели только одного — его ограбить! И когда у них это получилось, когда они ограбили Византию и очень талантливо все это награбленное развили, вот тогда у них все изменилось У них в XI веке — 150 городов, а в XIII — 3000 городов... За счет бешеного, немыслимого грабежа. А потом, когда у них началась стагнация... Колумб едет искать Индию, открывает Америку и снова происходит колоссальный грабеж. Западная цивилизация такова — ей нужен грандиозный впрыск.

Восточные империи существуют и развиваются совершенно иначе. Они — патронистические. Вот что такое был для нашей империи Вьетнам или Куба — да просто обуза! Мы просто любили Фиделя и Че, немножко получали оттуда сахарка, и у нас там была военная база. И всё. А остальное — мы сами в них вливали, в весь социалистический лагерь! Во всю Прибалтику и в Грузию в том числе! В этом смысле мы идиотская империя: вместо того, чтобы грабить и брать, — мы отдаем, доводим до нищеты свой народ. Но это патронистический тип восточной империи, и его надо немного реформировать».

Из этого широкого, целым мировоззренческим морем разливающегося мазка много можно почерпнуть. Но особенно привлекает начало этого

могучего половодья. И попадись это интервью какому-нибудь прожженному фрейдисту, он чего доброго усмотрел бы в искренних признаниях о. Тихона чистейший родник бессознательной, на уровне родовой травмы, обиды, прорывающейся вдруг неудержимым: «*Помойка! Грязная, вонючая помойка!*» Ей-богу, не удержался бы злобина-психоаналитик, чтобы не указать, что кроется за всеми этими откровениями какая-то глубинная (глубже всякой мысли), безупречная (*вот ведь как они нас ненавидят!*), рождающая на уровне инстинкта благодарные ответные вибрации (*это они, они во всем виноваты!*), чувственная протоплазма, в которой смешались память об эдемской безгрешности и люцефирианская самовлюбленность. Порадовало бы фрейдиста и суждение о. Тихона о Ватикане: «*Мне приходилось встречаться с одним мощнейшим ватиканским функционером. Я говорю ему — ну как вы можете признавать Filioque, ведь этой идеи не было в ранней Церкви, это явно поздняя ересь! И он — согласился! Дальше я ему говорю о Непорочном зачатии — ну зачем такое придумывать? И он соглашается! Он сдал все, вплоть до опресноков, но когда мы ему сказали о последнем — примате папы римского, то тут он отказался. И я понял серьезную вещь — они сдадут все, кроме первенства папы! Это важно понимать*». (Иными словами, латиняне — априори враги, предатели и «функционеры». Врага надо знать в лицо. С ним можно даже общаться, чуть пригасив в сердце праведную ненависть. Естественно, при встрече с неколебимой правдой Православия враг, как ему и положено, начинает всячески юлить, отказываться и сдавать позиции. Однако последней своей сущности, своей вражьей личины он не отдает и стоит на ней твердо. Такова сущность зла!)

М-да, не устрашился о. Тихон читателя-психоаналитика, дал тому прекрасный повод для злословия; а ведь по сути и произнесено всего лишь нечто чистое, детское и почти повторяющее знаменитые слова К. Аксакова: «*На Западе души убивают, занимаясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутренние побуждения — регламентом*», а «*в основании государства русского: добровольность, свобода и мир*»... Умри, Константин, а лучше не скажешь!

На самом деле *души убивают*, то есть отчуждают от Бога, от бытия, конечно же, в любом месте земного шара: где-то абстрактным рационализмом, а где-то платоновским идеализмом, миром «чистых идей» (воплощенной абстракцией), связывающим живую жизнь тотальным абсолютом. Но и там и здесь живая душа найдет для себя выход, человек найдет Христа, если будет искать Его.

Однако в этом: «*Помойка! Грязная, вонючая помойка!*» — звучит самое сердце мира, трещит ядро «эго». Недаром именно к этим словам так прицепился бы наш гипотетический психоаналитик: здесь Августиновы два града «*от любви к себе до ненависти к Богу, и от любви к Богу до ненависти к себе*» расходятся непоправимо, и ничего с этим не поделать.

И все же, чтобы двигаться дальше, нам придется во всем этом немножко разобраться.

Начнем с того, что византийская империя возникла не сама по себе, хотя и практически «на ровном месте». И для того, чтобы построить Новый Рим, Константину пришлось ограбить Рим старый. А когда на империю

хлынули орды варваров, вся очень гибкая политика Нового Рима (в то время столицы обеих — восточной и западной — частей империи) была направлена на то, чтобы *перенаправить варваров на Запад*. Фактически, Византия бросила варварам западную часть империи как кусок, пожертвовав им ради своего благополучия.

Меровинги, совершающие выезды на волах из пещер, в то время как византийский император живет во дворце с лифтами, инженерным троном, органом и павлинами, — образ по-своему замечательный, но довольно далекий от объективности. Меровинги — варвары, а византийцы — кичливые потомки греков-ромеев, отягощенные тысячелетней цивилизацией и культурой. Сравнивать их — все равно, что сравнивать культуру миссионеров и негров и гордиться своим превосходством над дикарями.

Что же сказать о *патронистическом духе Восточных империй*? Вспомнить разве картельные экспедиции Юстиниана и его наследников, ставшие причиной откола восточных провинций, с радостью ушедших под власть ислама, после чего Византия превратилась в крошечное государство, практически совпадающее с границами Константинополя?

А *византийская социалка* не означает ли всего лишь отчуждение византийца от живой жизни в тотальной зависимости от имперской бюрократии? И не в результате ли этого империя, несмотря на все свои несметные богатства, держа в своих руках всю торговлю между Востоком и Западом, оказалась столь слаба, а ее граждане столь малодушны, что сдались без боя в сотни раз меньшим (!) силам крестоносцев?

И «идиотизм» империи мы должны будем взять под защиту (*«мы идиотская империя: вместо того, чтобы грабить и брать,— отдаем»)*. Разве просвещение окраин — не есть идея империи (и самого христианства — нести свет благой вести народам)? И уж если даже языческие империи Александра Великого и Римская, связавшие мир единой эллинской культурой, законом и дорогами, по которым пошла затем по миру христианская проповедь, следовали своей идее, какими же должны быть империи христианские? Но именно этот «идиотизм», то есть самое *христианское качество* империи, не устраивает о. Тихона, и именно его ему хочется *«немного реформировать»*.

Но идем дальше. Вот о. Тихон рассуждает об армии: *«Василий II — император, который собрал огромный резерв, для него было ясно — нужно было преобразование армии. И он собрал деньги для создания армии нового типа — стратиотское ополчение. Это та же проблема, которая стоит и у нас. У нас непомерно раздутая армия, бессмысленно огромное количество танков — вместо действительно важных бомбардировщиков дальней авиации... Сократить армию и преобразовать ее — был вопрос важнейший для Василия II... Потом... на свою армию плюнули — окончательно ее разорили и занимались набором наемников... Поэтому, сейчас... исторический урок... этой военной реформы, является очень интересным. Как наши, действительно исторические предки справлялись... с теми же самыми проблемами... Я бы на месте генерального штаба заказал бы самое серьезное исследование по этому поводу»*.

Постараемся не обращать внимания на то, как, говоря об армии, о. Тихон обретает подлинное вдохновение. Заметим другое: как и раньше, во всем этом немалом по объему интервью имя Христа ни разу не помянуто. Но

вновь каверзный психоаналитик подсказывает из-под локтя: а, может, в сердце отца Тихона звучит совсем иная литургия — гул стратегических бомбардировщиков? Увы, в наблюдательности нашему фрейдисту не откажешь: о. Тихон и впрямь об армии говорит куда охотнее, чем о Христе. С одной стороны, это, конечно, — театр абсурда, а с другой... Может, это и значит быть «духовником президента»?

А вот о «святая святых» — Третьем Риме: «*Как наследники Византии, конечно, мы им, Третьим Римом, и являемся, несомненно... Может быть, действительно, так станется, что Россия окажется и останется единственным оплотом Православия... гарантом трезвого и святоотеческого православия.* Ведь *Константинопольский Патриарх... готов воссоединиться с католиками, если ему дадут второе место чести...* Но *Российское государство... является, к сожалению, секулярным, в отличие от греческого, являющегося религиозным.... Однако важно, чтобы не только мы себя называли Третьим Римом, но чтобы и другие нас так называли*».

Итак, отметим, что идеалом государственного устройства утверждается здесь теократия, а Третий Рим становится почти синонимом РПЦ.

Еще об империи: «*Все наше достояние — имперское достояние. Потому что как бы мы ни назывались, мы все равно являемся, были и остаемся Империей. Многие, конечно, этого не могут озвучить, поскольку сразу подымутся вопли, но я думаю, что большинство разумных мыслящих православных людей придерживаются этих взглядов. Церковная критика этого фильма тоже была, ее было не много, но была. Она была очень точечной, и это были именно те люди, для которых слова "империя" и "имперскость" ассоциируется с чем-то ужасным и отвратительным лично для них. Ну, ничего страшного. Они же тоже патриоты, тоже хотят, чтобы у России были какие-то блага, но они считают, что Россия должна быть даже не в современных границах, а меньше, что Россия не должна быть сильной, что мы не совсем дееспособны и нам нужна серьезная опека, нам желательно быть под протекторатом, под контролем Запада, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Я утрирую сейчас, конечно, их мысль, но она, в конечном счете, именно такова*»...

Продолжая эту мысль, о. Тихон логическим путем приходит к естественному выводу: враги фильма — это враги империи со всеми вытекающими. Но вот какое любопытное признание следует дальше: «*Мне было бы очень интересно проследить положительный опыт созидания Империи! ...Но как всегда, нечто позитивное намного тяжелее описать... Рассказать, как созидалась Империя, о принципах создания империи — очень бы хотелось. Но эти принципы создания земного государства порой очень жестоки. Поэтому, может быть, и не стоит подавать эту тему точно в таком же жанре и контексте. Позитивный, вдохновляющий опыт очень нужен, но я не знаю, какой мы опыт там найдем, кода мы туда залезем*»...

Тут даже и обращаться к услугам психоаналитика не надо, — открытым текстом сказано: неизбежные и необходимые принципы созидания империи — это кровь и умолчание. В общем, вещи нам, увы, хорошо знакомые, так же, как и «вдохновляющий опыт» пропаганды вместо правды.

А вот что о созидании империи говорится чуть дальше: «*Предшественники Юстиниана собрали огромный государственный резерв, который он ис-*

пользовал для строительства Софии, отстроил Константинополь, дал взятки направо и налево, присоединил огромное количество земель, подкупил всех, кого только можно, и собрал эту великую Империю»...

Теперь высокими государственными интересами оправдываются, как видим, не только кровь и ложь, но и тотальная коррупция, и нравственное разложение.

Наконец, разговор доходит до симфонии Церкви и государства, и здесь о. Тихон впервые вспоминает слово «любовь». Теперь это слово просто не сходит у него с языка: «*Я скажу свое сугубо личное мнение. Все происходит на эмоциональном личностном уровне, всегда, все остальное — производное. Вот царь Иоанн IV Васильевич так искренне воспринял идею своего личного помазания, что любое отклонение людей от этого он считал совершенно чудовищным. Раз он помазанник, то весь народ должен его любить как царя, Палеолога в каком-то колене, которому Господь дал власть. И когда он сталкивался с тем, что его не любят или критикуют, — для него это было просто психологическим потрясением, и всех, кто его не любил, он считал достойным любых кар, любой казни; он думал, что так борются за справедливость, за правду, за порядок. С его точки зрения, ну не должны жить люди, которые ненавидят помазанника Божьего и не слушаются его. Отсюда его конфликт с Митрополитом Филиппом. Это как Патриарх Никон и Алексей Михайлович, которые были из одного круга, были друзьями и бесконечно друг друга любили... Почему он* (патриарх Никон. — *В. М.*) *ушел? Он понял, что Алексей Михайлович больше его не любит, а значит, не осуществятся его проекты, которые могут быть осуществлены только в симфонии любви. И это была для него трагедия. Ведь в чем симфония должна быть между Церковью и государством, — прежде всего во взаимной любви! В том, что Церковь любит государство и государство любит Церковь! А когда любви нет,— все разрушается и обессмысливается. Вот в этом, мне кажется, и суть конфликта Митрополита Филиппа с царем.*

Что касается церковно-государственных отношений, то... дело не в законах. Первые лица государства должны быть православными! По-настоящему православными! Тогда будут нормальными церковно-государственные отношения! Как только эти лица будут не православные, — какой бы мы ни выдумали закон, все будет плохо, вопросы решаться не будут. Вот и все».

Итак, «*Церковь любит государство, а государство любит Церковь*». Просто это такая любовь. Самые наглядные примеры которой: Грозный и Филипп, Алексей и Никон...

А вот и о любви к народу. Самое, пожалуй, замечательное место во всем интервью. «*Вот у нас есть колхоз большой в Рязанской области, где-то 350 человек там живет. И я вам скажу — ситуация очень серьезная. Люди в основном неверующие, нецерковные, и только сейчас воцерковляются. Скажите, им воцерковляться некогда? Да после летней поры— времени сколько угодно! Ну, переделали свои дела, коров подоили, а дальше что им еще делать? Они ничего и не делают. Мы там уже 9 лет почти. Первое, что мы там сделали — на месте аптеки построили узилище* (sic! — *В. М.*) *и заточили туда тех людей, которые пьянствуют. Держали их по пять дней, пока не выветрится алкоголь, а потом везли их в город, там их подшивал, и они возвращались в*

деревню. Всю зиму — сиди и рефлексируй о чем угодно и сколько угодно. Но дело в том, что у них отшиблено желание мыслить, думать и что-то изменять... Мы богатый колхоз, у нас все как надо, и доярки знатные, и механизаторы знатные, и доска почета, мы предоставляем им все условия, повысили им зарплаты, до 15 тысяч рублей, а когда мы пришли, они по 4 года не получали зарплат вообще, все были спившиеся, с 10 лет и старше. Развлечение было только одно — просмотр порнографии по видеомагнитофонам — скидывались, ездили в город, брали на прокат кассеты. Вот вам наша романтизированная деревня. Да мы в шоке, в ужасе были, когда это все увидели. Мы и все мои друзья, начитавшиеся наших писателей-деревенщиков, Распутина, Шукшина, вдруг попадаем вот в такое вот. Это действительно страшно. И молодежь вообще не хочет оставаться в деревне, что бы ты им ни предлагал. Уезжают в Рязань, в Москву, устраиваются охранниками на 4–5 тысяч рублей»[12].

Вышеизложенное, признаться, озадачивает.

«У нас есть колхоз»... У кого — у нас: у Сретенского монастыря? У ФСБ?.. И 350 человек крепостных крестьян в придачу? *«Узилище на месте аптеки»*, *«повысили им зарплаты»* — что все это значит?

Однако, что бы этот пассаж ни означал, читая его, невольно вспоминаешь, что вопрос наркомании в гитлеровской Германии решался точно такими же изящными методами. Ведь проблема наркомании, хотя и не в нынешних масштабах, существовала и в 30-е годы. Так вот Гитлер приказал выдавать наркотики нуждающимся — бесплатно, через аптеки. Для чего наркоманам, естественно, пришлось зарегистрироваться. А дальше, кажется, ясно: наступил день, и проблема чистоты нации в этой области была решена за несколько часов.

Однако не будем отвлекаться от интервью. Послушаем теперь, каковы суждения о. Тихона о миссионерстве: *«Все то, что мы делаем, собираясь в небольшие кружки, разрабатывая наши идеи,.. — это сверхнеобходимо! До того момента, когда появится грядущий Константин, который государственными средствами начнет все это делать. Когда мы говорим о человеке, о некой малой общине — это одно. Когда же мы говорим о государстве — то этим должно заниматься государство. Везде это происходило только так. Что, до князя Владимира не было христиан? Были христианские кружки, собирались какие-нибудь христиане в Киеве, разговаривали и все. Пришел князь Владимир и что сделал? Вывел всех киевлян к Днепру, велел всем раздеться, зайти в Днепр — кто не зайдет, тот не друг князю, можно сказать «враг народа»... Потом приходят какие-то чернобородые греки и начинают бормотать что-то непонятное на своем греческом. И всё — выходите, вы теперь христиане! Казалось бы — какие христиане? Что, где, куда? А через 20 лет — Киево-Печерская лавра, преподобные отцы наши и т. д. Вот так это делается в государстве. <...> В Колорадо, 68% населения каждое Воскресенье ходит в храм... принципиальный вопрос: если ты не верующий,— ты никуда не попадешь, вот и все! Вот когда и у нас это начнется, вот тогда будет настоящее миссионерство на государственном уровне»*.

---

[12] Этот фрагмент интервью можно прочесть в Живом журнале: http://holmogor.livejournal.com/2859503.html.

Еще один замечательный перл сознания. Действительно, в Киеве Русь пережила золотой век просвещения (чтобы в этом убедиться, достаточно почитать полные высокого христианского гуманизма писания Владимира Мономаха). Но, говоря о крещении Руси, о. Тихон будто выкидывает всю последующую историю, словно не было ни геноцида половины страны при Иване Грозном, ни последовавшей за сим Смуты, ни катастрофического Раскола, ни революционной мясорубки, ни государственного атеизма. Из «крещения Руси» он сразу шагает в реальность современной Америки. Но Америка, как известно, взросла на протестантской этике, не пережив и десятой доли того кошмара (речь к тому же, заметим, идет о глубокой провинции, сохранившей не только протестантскую мораль, но и традиционный бытовой расизм), что пережили мы. И панацея предлагается все та же, ленинская: насильственное крещение, насильственное воцерковление, понижение в правах для неправославных... И, в перспективе, — упомянутое выше узилище?

В заключение еще одна цитата: «*Из всех искусств для нас действительно важнейшим сегодня является телевидение! Почему я этот фильм сделал на центральном телевидении? Мне ведь говорили — давайте на "Спасе" — да не интересно мне на "Спасе", для своих! Интересно и важно было сделать на государственном канале! При этом я понимал, что чисто религиозный фильм не нужен сейчас, он бы не воспринялся народом. В одном письме на фильм мне написали: я являюсь коммунистом, но, посмотрев фильм, всерьез задумался о христианстве, потому что увидел много созвучного!*»

Что ж, и вправду — в «христианстве» о.Тихона и коммунизме созвучного много.

2. Несколько замечаний психоаналитического характера

Познакомившись с некоторыми тезисами этого любопытного интервью, рискнем прибегнуть к помощи нашего виртуального психоаналитика и попросим его составить примерный психологический портрет архимандрита Тихона, что представляется нам не менее, если не более важным, нежели знакомство с самими этими тезисами. Тем более, что руководит нами в данном случае не праздное любопытство, а стремление к истине.

Попробуем пояснить на примере. Чем, скажем, были тезисы большевиков в 1917-м? Да ни чем иным, как произвольным нагромождением бессовестной демагогии. А вот в «*ледяной, ненавидящей усмешке Ленина*» (по выражению так много уже раз цитировавшегося здесь Георгия Федотова) заключалось зато все, что нужно было знать о большевизме. Так что, предлагая ниже психологический портрет Тихона Шевкунова (крайне, конечно, субъективный), мы вовсе не имеем мысли обидеть его или его сторонников. Мы хотим лишь уяснить себе суть дела.

Итак, что же мы могли бы узнать об о. Тихоне, взглянув на него цепким взглядом психоаналитика? Архимандрит явно неравнодушен к гению страха и бюрократии Сталину, хотя эмоционально ближе все-таки к Ленину с его идеями мировой революции. О. Тихона отличает авантюризм, мечтательность, хвастливость, перманентное недержание мысли, неспособность справиться с эмоциями — это хлестаковщина в чистом виде, характер очень

русский. При этом ему удивительным образом удается совмещать инфантилизм (а, быть может, даже и жертвенность) Николая II, авантюризм Ленина и брутальность Сталина. Что же мы получаем в итоге?

Взглянем еще раз внимательно на составляющие этого миросозерцания. Прежде всего — это какая-то глубокая обида, из которой рождается возведенная в перл сознания ненависть, которой детерминировано здесь все. Две эти стихии — православие (понятое как идеальная идеология: «*истинно, потому что верно*») и ненависть — и рождают этот своеобразный православный большевизм, устремленный как к эмпирею — к Сталину, иконе, перед которой молится эта несчастная душа и на которую хочет она походить. Но, рождаясь из обиды и находя себя в ненависти, песня о. Тихона обращена к врагу, что делает самого автора этой песни очень зависимым.

Оттого душа, раздираемая двумя притягивающими ее силами — крутыми пацанами, на которых хочет она походить (ФСБ-шники и кремлевские охранники), и теми, кто ее обижает (либералы и интеллигенты), всегда так неспокойна и взбаламучена. Отсюда же и милитаризм, теократия, насильственное воцерковление, узилища для народа, понижение в правах для неправославных и преследование инакомыслящих. Все это та же извечная незащищенность, капризность так и не повзрослевшего сердца (очень русский, по сути, сюжет), ведущие к неизбежному срыву и надлому. Отсюда и узаконенные ложь, кровь, подкуп, страх и недоверие к жизни, желание спрятаться от нее если не *в утробу матери*, так за толстые каменные стены. Все это и находит выход в неожиданном изломе, исходе эроса в *любви к госбюрократии*, венчающем этот душевный космос.

Да простится нам этот вполне дилетантский психоанализ, но мы прибегли к нему, чтобы лишний раз убедиться в верности вот какой догадки. Ведь все это до странности напоминает портрет другого великого романтика, художника, большого мечтателя и ребенка в душе. Сравним все это с замечательными наблюдениями Джорджа Оруэлла: «*...Гитлер не победил бы своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом, что чувствуется даже в грубом слоге "Майн кампф" и что явно ошеломляет, когда слышишь его речи. Я готов публично заявить, что никогда не был способен испытывать неприязнь к Гитлеру... В нем явно есть нечто глубоко привлекательное... У него трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, лицо человека, страдающего от невыносимых несправедливостей. Это, лишь более мужественное, выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся на картинах, и почти наверняка Гитлер таким себя и видит. Об исконной, сугубо личной причине его обиды на мир можно лишь гадать, но в любом случае обида налицо. Он мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, идущий на смерть герой, который бьется одной рукой в последнем неравном бою. Если бы ему надо было убить мышь, он сумел бы создать впечатление, что это дракон. Чувствуется, что, подобно Наполеону, он бросает вызов судьбе, обречен на поражение, и все же почему-то достоин победы...*

Он также постиг лживость гедонистического отношения к жизни. Со времен последней войны почти все западные интеллектуалы и, конечно, все "прогрессивные" основывались на молчаливом признании того, что люди только об одном и мечтают — жить спокойно, безопасно и не знать боли. При та-

ком взгляде на жизнь нет места, например, для патриотизма и военных доблестей. Социалист огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, но он никогда не сможет придумать, чем же заменить оловянных солдатиков; оловянные пацифисты явно не подойдут. Гитлер, лучше других постигший это своим мрачным умом, знает, что людям нужны не только комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль рождаемости и вообще здравый смысл; они также хотят, иногда по крайней мере, борьбы и самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадных изъявлениях преданности. Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом плане, психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту социализма. Все три великих диктатора упрочили свою власть, возложив непомерные тяготы на свои народы. В то время как социализм и даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят людям: "У вас будет хорошая жизнь", Гитлер сказал им: "Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть"; и в результате вся нация бросилась к его ногам. Возможно, потом они устанут от всего этого и их настроение изменится, как случилось в конце прошлой войны. После нескольких лет бойни и голода "Наибольшее счастье для наибольшего числа людей" — подходящий лозунг, но сейчас популярнее "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва»[13].

Не правда ли, здесь ясно проглядывает тот психологический тип, который мы только что рассмотрели? Единственно, чего по-настоящему не достает о. Тихону — харизмы фюрера, его магнетизма и его веры (и слава Богу!). Гитлер — натура волевая, фанатичная, уверенная, жадная, идущая до конца. Он не только мечтатель, но и солдат. О. Тихон для солдата слишком мечтателен и бесформен. И в нем нет трагедии. Он хвастун и мечтатель, самозабвенно играющий в самолетики и простодушно гордящийся своей дружбой с кремлевскими охранниками. И в этом смысле он — истинное дитя постмодерна. Казалось бы, очередной «плюшевый мишутка», чего здесь опасаться? Однако! Вспомним сына сапожника Джугашвили, этот божественный парадокс истории. Так, может быть, наше инфантильное, постмодернистское время лучше всего и может выразить себя именно через такого вождя?

И еще одно. Очевидно, что идеи Тихона Шевкунова не просто идут вразрез с риторикой президента Медведева (*«свобода всегда лучше, чем несвобода»*), но прямо, откровенно, агрессивно антиконституционны в каждом своем пункте. В роли «духовника президента» (в которой о.Тихон кокетливо себя позиционирует) — это, конечно, совершенный скандал. И сам о. Тихон это прекрасно понимает. Почему же он так безбожно подставляет себя и своих патронов? Да все потому же! Потому что — ребенок в душе! Скажем, о. Всеволод Чаплин тоже говорит немало глупостей. Но никому ведь и не приходит в голову ему верить. О. Тихону верят. И верят ему потому, что и сам он верит в то, что говорит (и в этом, кстати, он очень схож с епископом

[13] Оруэлл Джордж. Рецензия на «Майн кампф» Адольфа Гитлера (1940). http://www.orwell.ru/library/reviews/hitler/russian/r_hit).

Диомидом). Идеология, которую озвучивает о. Тихон (Шевкунов), — своего рода православная сталинократия — пусть инфантильная, истеричная, бессильная что-либо объяснить и связать, но при том весьма напористая и, главное, понятная народу. (Так что в итоге внезапно оказывается, что если мы и ошиблись относительно конкретного человека, то все-таки получили, кажется, некий обобщенный портрет нашего среднестатистического воцерковленного современника, эдакого типового православного.)

В сердце всей этой идеологии — Империя. Беда же этой идеологии в том, что имя Христа никак здесь не артикулируется.

Но это и неудивительно. Попробуйте приложить имя Христа к любому из тезисов о. Тихона. Оно будет отскакивать, как противоположно заряженный магнит. Это — совсем другой полюс бытия.

Проблема, конечно, не в Империи. Империя как таковая — не есть зло. Империю воспевали и Данте, и Пушкин. Проблема в том, что Империя становится выше Христа.

Но когда Империя становится выше Христа, она неизбежно порождает фашизм.

III. В ожидании грядущего Константина

1. Вхождение фундаментализма

В 1933 году Георгий Федотов писал: «*Нередко приходится слышать в наши жестокие дни: не то ужасно, что делают большевики, а во имя чего они делают. Можно было бы простить им кровь, если бы она лилась за Россию, простить насилие — во имя истины. Но большевистская идеократия есть сатанократия по самому содержанию ее идеи. Это двусмысленное утверждение содержит большую правду и большую ложь. Все зависит от того, как понимать это "во имя". Если "во имя" означает рациональное, словесное исповедание догмата, то следует сказать: как ни гнусен большевизм, можно мыслить нечто еще более гнусное — большевизм во имя Христа. Методы ГПУ на службе церкви были бы в тысячу раз отвратительнее тех же методов на службе у* ***безбожия****, потому что есть внутреннее сродство между целью и средством, между верой и жизнью, между идеей и политикой. Оттого мы относимся с таким ужасом к увлечению большевистскими методами в христианском стане. Евразийство у власти, управляющее по большевистской системе, могло бы реабилитировать даже большевизм*»[14].

Злу (как и Добру) свойственно развиваться и раскрываться с каждым новым временем во все большей глубине, стремясь к абсолюту. Потому и развитие его в сторону, указанную Федотовым, кажется неизбежным и не удивительным.

О том же говорит и один из последних в череде скандалов в этом году случай с иконой Сталина, выставленной в храме святой Ольги в Михайловке (Стрельна) под Петербургом. Икона в Стрельне появилась полгода назад. Говорят, подобные изображения есть также в московских храмах —

[14] *Федотов Г.* Правда побежденных // «Современные Записки», 1933, № 51.

Никольском и Покровском — и в Свято-Покровском монастыре. На иконе, где Матрона Московская, благословляет Сталина на войну с немцами, отец народов изображен «весьма одухотворенно», как пишут газеты. «*Конечно, нимба над Сталиным нет,* — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Новой газеты» прихожанин храма в Стрельне. — *Но он так смотрит на вас с иконы, что хочется вытянуться по стойке "смирно" и сказать: "Простите, Иосиф Виссарионович"*».

«Чувство, что Сталин — отец народов, отчасти и мой высокий отец, не покидало меня всю жизнь. У меня, кроме Небесного, было два отца: один — по плоти, а другой — отец народов. Я поминаю Иосифа Виссарионовича на всех службах, где это уместно», — говорит и настоятель храма игумен Евстафий (Жаков).

Скандал вышел большой, но в епархии к инициативе игумена отнеслись снисходительно. Симпатии к Сталину в Русской Церкви гораздо сильнее, чем к раздувающей подобные скандалы прессе.

Неудивителен и интерес к этим тенденциям у современных авторов. Так, Леонид Волков в статье, исследующей природу тоталитарных идеологий XX века («Долгий век кулачного человека. О фашизме, нацизме, ленинизме, сталинизме и модернизации в перспективе 2022 года»[15]), подводит читателей к следующему выводу: пришествие фашизма в сегодняшней России неизбежно, но не обязательно он должен кончиться гитлеризмом.

Действительно, в сегодняшней нашей реальности легко наблюдать обнаруженные Волковым предпосылки фашизма. Таковы, в частности, многообразные течения «консервативной революции». Сегодня мы видим калейдоскопическое многоцветье таких течений во всех аспектах — от интеллектуальных до «кулачных»: это и магическое евразийство Дугина, и этнический национал-социализм Белова-Поткина, и царебожнический фундаментализм Душенова — Диомида, и олигархический консерватизм Кирилла — Чаплина, и романтико-бюрократический сталинизм о. Тихона Шевкунова, и проч. и проч. Последний пример такого рода — идея протоиерея Всеволода Чаплина о православных патрульных формированиях, вроде советских народных дружин. Симптоматично, что на своем последнем съезде движение в сторону *национального социализма* обнаружила и КПРФ. Национальный социализм — звучит подозрительно знакомо, не правда ли? Есть у нас сегодня уже и всеохватная бюрократическая партия.

И все же непосредственная эволюция нынешней российской власти в фашистский режим представляется пока что сомнительной. Несмотря на всю державно-имперскую истерию последнего времени, у нас есть пока и Конституция, и недвусмысленная гуманистическая риторика («*в центре — человек*», «*свобода всегда лучше, чем несвобода*» и т. д.) из уст первых лиц государства продолжает звучать.

Настоящий фашизм требует все же вполне четкой антилиберальной идеологии. И такая идеология, как видим, у нас тоже уже есть, и совсем рядом с властью. Но прежде чем перейти к рассмотрению такого сценария, небольшое отступление в историю.

---

[15] «Дружба Народов», 2008, №10.

2. О мистических корнях фашизма и большевизма

Сегодняшнее обожание Сталина в нашей церковной среде (в каком-то смысле действительно отца-основателя РПЦ), а где-то и Гитлера (многолетнего духовного светоча РПЦЗ) заставляет нас внимательно всмотреться в мистические корни тоталитарных идеологий XX века.

О «белом фашизме», фашизме как «рыцарской идее», много и охотно рассуждал еще Иван Ильин. Но более прав, наверное, все же Г. Федотов, утверждавший, что «*весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах*»[16]. Фашизм оказался слишком густо замешан на имморализме, провозглашенном Ницше и впервые столь зримо и мощно явленном в большевизме. Еще в 1909 году Томазо Маринетти, основатель футуризма и учитель Муссолини говорил: «*Человек, испорченный библиотеками и затюканный музеями, не представляет больше ни малейшего интереса... Мы хотим воспеть любовь к опасности, привычку к дерзновенности. Хотим восславить агрессивность, лихорадочную бессонницу и кулачный бой... Мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой*».

Фашизм есть реакция воли на измельчание человека в цивилизованном мире, на слабость человека культуры, примат воли над интеллектом («*Фашистский дух — это воля, а не интеллект; всякая сила — есть моральная сила*» — Джованни Джентиле). Наконец, на уровне политики это реакция «духа государства» на «дух либерализма»: «*Либерализм похоронил культуры. Он уничтожил религии. Он разрушил отечества*» (Ван ден Брук).

Высшая идея либерализма — человек. У государства тоже есть свой ангел, своя высшая идея — идея справедливости. Фашизм и выступает как ангел справедливости, как священная правда, реакция духа на попытку его разложения рафинированной культурой декаданса, мамоной, либерализмом и «жидо-большевизмом». Отсюда и обожествление государства у Муссолини (впервые, кажется, в XX веке употребившего эвфемизм «Третий Рим»). Мечта, Родина, Справедливость — эти священные слова написаны на знаменах фашизма. Но, более того, фашизм есть романтическая мечта о царстве света и справедливости, которую, в отличие от природной стихии большевизма, фашизм находит в духе государства. И устремлен он — в священное царство справедливости и света. Трубы фашизма звучат не только из античного Рима, но и из священной Валгаллы. Оттуда, освобождаясь от пут христианской морали (легенды говорят, что древние германцы-викинги крестились с мечом в руке; держа его, поднимается ницшеанский сверхчеловек. Это все та же мечта человекобожия, породившая и Нерона и Грозного.

Но и марксизм — не только экономика, но, прежде всего, философия истории (почему и оказался столь привлекателен для русских). Русский марксизм — это в первую голову вера, это смысл истории и ее разрешение. И Третий Интернационал Сталина, и Третий Рим Муссолини, и Третий Рейх Гитлера — лишь разные версии хилиазма, проекты построения царства Божия на земле.

---

[16] *Федотов Г.* Февраль и октябрь // «Новая Россия», 1937, № 23.

И нельзя, конечно, не видеть эту мистическую близость тоталитарных идеологий, о сути которых Федотов писал: «*Коммунизм, то есть общение, братство любви с нераздельным владением — "никто ничего... не называл своим" — родился вместе с христианством: это идеал жизни первоначальной христианской общины... Но что из него сделал механизм безбожного века? Национализм, гораздо слабее укорененный в христианстве, чем коммунизм, вырождается еще с большей легкостью. Та же судьба постигает все самые высокие ценности, когда они отрываются от животворящего Центра жизни. Наука вырождается в позитивизм, искусство — в эстетизм и, замыкаясь в себе, становится прибежищем демонических сил. Наша эпоха, поскольку это эпоха распада, порождает жестокий вампиризм восставших на Бога идей-ангелов*»[17].

В Русской революции 1917 года ничего фашистского, ничего «римского» еще не было (хотя и Георгий Федотов и Иван Ильин уже угадывали в большевизме черносотенные черты). Но в 30-х годах коннотации фашизма в СССР уже совершенно отчетливы. И тот же Федотов в 1935 году пишет: «*Вчера можно было предсказать грядущий в России фашизм. Сегодня он уже пришел. Настоящее имя для строя СССР — национал-социализм. Здесь это имя более уместно, чем в Германии, где Гитлер явно предал национал-социалистическую идею. Сталин, изменяя коммунизму, становится национал-социалистом, Гитлер, изменяя себе, превращается в вульгарного националиста.... Кровное родство между фашистской группой держав, включая Россию, несравненно сильнее их национальных отличий: последние носят порой чисто символический характер*».

Столь же определенно говорит Федотов и в 1938-м: «*Сталинизм есть одна из форм фашизма*»[18].

Все тоталитарные режимы утверждают один и тот же тип человека — спортивный, антиинтеллектуальный, оторванный от почвы, замечает Федотов. Говорит он и о парадоксальном уничтожении всего национального («выветривании национального своеобразия») «консервативными» и «коммунистическими революциями» XX века: «*Муссолини разрушил Италию совершенно так же, как Ленин Россию и, может быть, как Гитлер Германию*».

Но «*примеры гибели наций*» случались и в прошлом. Так, указывает Федотов, перерождение классического грека в византийца (типы эти настолько далеки друг от друга, что их можно считать антиподами) произошло буквально за одно столетие без всяких катастроф и завоеваний. Принятия христианства и острой ориентации Империи (то есть двух чисто духовных факторов) в IV веке оказалось достаточно, чтобы породить новый народ из элементов старого при полном сохранении государства и языковой традиции. Явление поразительное, замечает Федотов, угрожающее и современной Европе, особенно, России[19].

Но, пожалуй, еще более поразительный пример перерождения духа (идеи) мы видим в царстве Ивана Грозного. Трагедия Грозного — это, конечно, не тот наивный исторический лубок, который рисует о. Тихон Шевкунов. Грозн-

---

[17] *Федотов Г.* Новый идол // В сб.: «Судьба и грехи России», т. 2.

[18] *Федотов Г.* Завтрашний день// В сб.: «Судьба и грехи России», т. 2.

[19] *Федотов Г.* Письма о русской культуре.

ный — это предел византийской, римской идеи царства, идеи царя как наместника Бога. Грозный вдохновлен Римом, не только вторым, но и первым, языческим («*мы от Августа-кесаря родством введемся!*»). В его сумрачном и жестоком уме живет средневековая мечта о царстве (естественно, — добра и света). Он хочет видеть себя благодетелем, Христом. Но жизнь (заговоры!) вынуждают его превращать свою мифологическую реальность в поле Страшного Суда, который он и творит как законный бог этого мира. И вот мечта о царе-Христе в реальности претворяется в отчаянную манифестацию антихриста-человекобога — причем манифестацию, смиренно принятую народом: «*То земной едет бог, то отец наш казнить нас изволит*». Опричнина Грозного — это ангелы Страшного Суда, а Русь (в самосознании того времени — вся вселенная) — пространство этого Суда. Русь поделена пополам, и одна часть (земщина) подвергнута тотальному геноциду со стороны второй (опричнина). Это можно назвать гражданской войной и социальной революцией — с той только разницей, что уничтожаемая сторона даже не сопротивляется.

Так точно и революции XX века (и большевистская и консервативная), разрывая парадигмы модерна (разума и просвещения), оказавшиеся слишком тесными для стихий, заключенных в человеческом сердце, погружают общественные отношения в Средневековье и феодализм. И там одна отливается в формы «московского царства», душу другой, мятущуюся в стихийном вагнеровско-ницшеанском романизме, сковывают магические ритуалы СС (тоже своего рода опричнина — духовный орден).

Гитлер и Сталин кажутся отражениями друг друга. Разница между ними лишь в том, что один творил революцию, а второй ее подминал. Но и тот и другой всходят «*на ленинских дрожжах*» (как ненависть порождает страх и ответную ненависть). Оба они в этом смысле — птенцы «гнезда Ульянова». И явление обоих вовсе не кажется нам случайным. И Сталин и Гитлер совершенно неизбежны, как всякая доведенная до конца мысль.

От обожествления государства (римский идеал закона и гражданина) — один шаг до обожествления нации и ее фюрера (германский идеал индивидуальной воли, где снова начинает звучать торжествующая музыка человекобожия). Воля Гитлера была неуклонна, почти как воля бога, воля фанатика, уверившегося в своей миссии спасителя мира и крайне при том мистически настроенного (известная история с копьем Лонгина для него очень характерна). Гитлер — мистик, как и Иван Грозный и Николай II. Он олицетворяет собою такой же неизбежный апогей и конец идеи, каким для русского Средневековья стал Иван Грозный, а для русской империи — Николай Романов.

Не здесь ли смысл притчи, рассказанной Христом 2000 лет назад? Христа распяла высшая духовная власть (консерваторы-архиереи) и высшая светская власть (обожествившая себя империя). Но также и власть толпы, кричавшей «распни, распни», натасканного вождями демоса (фашизм — демократическая идея). Конечно, Пилат уступал не столько толпе (носительницей воли народа лицемерно объявляла себя Империя), сколько страху, внушенному первосвященниками. И Пилат сделал свой выбор. Как сделали свой выбор и архиереи, чьей задачкой был тоже вопрос о власти — духовной власти над народом.

Вопрос о власти (власти Бога и кесаря) разрешала в свое время и Россия, восходя на Голгофу сталинократии.

Но и это еще не конец. Есть еще уровень фундаментализма, есть демонизм религии. И это уже — драма XXI века.

3. О грядущем Дне опричника

Итак, если вершиной русского Средневековья стал Иван Грозный, а вершиной русского модерна — Иосиф Сталин, то в какие же эмпиреи двинется наш постмодерн?

Кажется, настоящий ответ на этот непраздный вопрос может дать лишь полномасштабный кризис, в который все явственней входит сегодня Русская Церковь.

За последние несколько лет мы далеко продвинулись по этому пути. Бесконечными скандалами, срастанием с властью и бизнесом при почти полном отсутствии социальной работы и служения милосердия церковные власти умудрились настроить против себя бóльшую часть общества, еще в 90-е относившегося к Церкви с симпатией. Интеллигенция, пришедшая в Церковь в 90-е, видя на месте Невесты Христовой бюрократическую машину, отшатывается от нее. В простом церковном народе преобладают алармистские настроения. До сих пор уважение к иерархии держалось лишь на личности Патриарха, который обладал достаточным авторитетом и тактом, чтобы сдерживать внутрицерковные распри, являя перед обществом более или менее достойное лицо Церкви. Но, кажется, сегодня такого человека больше нет. А значит, и новые волнения неизбежны. Причем уже на фоне всеобъемлющего экономического кризиса. По каким путям пойдет церковный кризис, будет во многом зависеть от личности будущего патриарха, поведения Церкви и людей, ее составляющих. И есть, конечно, большая вероятность того, что пойдет он по катастрофическому сценарию.

Но и полномасштабный кризис — еще не худший вариант. Церковная лихорадка может протекать тяжело, но станет, в то же время, и точным барометром, указывающим на духовное состояние Церкви и страны в целом. Она неизбежно породит и добросовестные, честные голоса из ее среды. (Только в состоянии кризиса, как свидетельствует история, Церковь оказывается способна выдвигать из себя митрополитов Филиппов и патриархов Тихонов.) И все в этом случае окажется, в конце концов, в руках Бога.

Но все может пойти и по худшему сценарию. Кризиса, конечно, постараются не допустить, загнать его вглубь. А сделать это, при полном отсутствии доверия, можно только одним способом — полицейскими мерами, административным ресурсом. Задушить «церковных несогласных», прижать прессу и оттянуть на какое-то время взрыв недовольства (как, например, это удалось после революции 1905–1907 гг.) будет, наверное, не так трудно. Подавляющая часть церковного народа, хоть и ропщет на власти, совершенно апатична, а немногие активные лидеры находятся под прицелом (К. Душенов, например, сегодня под следствием, и на М. Назарова накоплено немало компромата). И если сегодня светская власть еще, как правило, благоразумно устраняется от попыток втянуть себя во внутрицерковные разборки, то завтра, на фоне всеобщего кризиса и депрессии, когда «глав-

ное — не допустить паники», желание заткнуть рот «несогласным», зачистить информационное пространство может оказаться очень соблазнительным. А если церковные структуры и впрямь начнут шататься, если монастыри, где преобладают сегодня ультра-алармистские настроения, взорвутся очагами неповиновения, может статься — и неизбежным.

Но в этом случае отношения церковной бюрократии и власти перейдут на принципиально иной уровень. Это будет уже не «джентльменский союз» на почве защиты «общественной нравственности», а связанность «общей кровью».

Взрыва недовольства все равно, конечно, избежать не удастся. Но к тому времени, когда весь этот внутренний рак под «фигурой умолчания» окончательно вызреет, церковная и светская бюрократия окажутся сращены намертво. К тому времени и воцерковление госбюрократии (на ниве которой упорно трудятся сегодня о. Тихон, да и митрополит Кирилл) перейдет из неофитской стадии в стадию «заматерения» (как это случилось сегодня с «народными» и «интеллигентскими» неофитами 90-х). При том, что разные подозрительные учения вроде «Русского проекта» имеют здесь большой успех (о чем простодушно свидетельствует и о. Тихон Шевкунов). И можно представить себе, что начнет вылупляться из чрева бюрократии уже через пару лет под песни о «гибели империи».

(При этом, надо иметь в виду, что идеология и паства о. Тихона и митрополита Кирилла — совершенно разные: умеренно-олигархический консерватизм митрополита Кирилла — это, условно говоря, линия партии, а ультрадержавный империализм о. Тихона — силовики.)

Если же завтра пройдет вариант раздельного обучения православных, мусульман, евреев и атеистов, которого добивается сегодня церковное начальство, то свои первые результаты (разноплановую, разнонаправленную и зрелую ненависть) уже в масштабе целой страны может дать к тому времени и этот «культурный проект».

К мировому экономическому кризису, несущему с собой безработицу, обнищание, депрессию, добавим совершенно непредсказуемую ситуацию в мире, перманентно чреватую катаклизмами и локальными конфликтами.

Чего можно ожидать в такой ситуации?

В непосредственную фашистскую эволюцию нынешнего режима, как уже сказано, как-то не верится. В «консервативную революцию» масс верится также мало. Массы (пока еще) доверяют власти, помнят хаос 90-х и настолько индифферентны, ленивы и нелюбопытны, что не способны бороться даже за свои коммунально-жилищные интересы и предпочтут, скорее, тихо вымирать.

А вот реванш бюрократии — совсем другое дело.

Президент Медведев, даже если вся его гуманистическая риторика вполне искренна, остается сегодня заложником бюрократии (которая пока еще находится под жестким контролем В. Путина, но за завтрашний день никто поручиться не может). Все социальные инициативы высшей власти бюрократия встречает на местах тихим саботажем, до 90% бюджетов всех уровней просто разворовывается, и громадные деньги, идущие на нацпроекты, лишь в самом минимуме доходят по адресу.

И конечно, благословение и сакрализация бюрократии государственной церковью, дающая ей легитимацию небес (и одновременно глуша последние ростки совести, как сплошь и рядом мы наблюдаем в религиозных людях), ей гораздо приятнее, чем постоянные (хоть и бессильные пока) угрозы «борьбы с коррупцией». Бюрократия обрела сегодня былую силу, и, чтобы обрести полную власть, ей осталось до конца одеться в броню державной идеологии. И здесь упорный труд Тихона Шевкунова дает, конечно, плоды. А в народе над тем же усиленно работают М. Леонтьев, А. Дугин, А. Проханов, коммунисты и проч. «крепкие государственники» и деятели «консервативной революции», не сходящие с экранов ТВ.

Но под этой «державной броней» — все та же гниль, все та же тотальная коррупция, все тот же «церковный рак». Долго ли все это простоит? Да еще в условиях роста недовольства и активности движений, вроде ДПНИ, Движения против нелегальной иммиграции? А если еще угрозы о борьбе с коррупцией начнут исполняться и бюрократия почувствует реальный страх?

В таких условиях одно сильное потрясение, вроде еще одной маленькой победоносной войны или церковного раскола, может стать достаточным детонатором для полномасштабного раскола бюрократии и пресловутой властной вертикали. И в этом случае вся гуманистическая риторика окажется, конечно, мгновенно забыта. Тогда приход к власти и установление фундаменталистско-фашистского режима (с чаемыми Иваном Грозным, Иосифом Сталиным, «Днем опричника» и «ЧК во имя Христа») окажутся уже вполне реальными. И не только потому, что на это указывает логика событий. Но и потому, что другой исторической (и метафизической) бездны, в которую мы могли бы еще рухнуть, у нас просто уже не осталось.

4. Есть ли надежда на исцеление?

Реакцию фундаментализма мы наблюдаем, конечно, не только в России. Если в прошлом веке воля «недомодернизированного человека», захлебываясь в море всеобщей эмансипации, нащупывала почву на твердыне государства и нации, то сегодняшний «консерватор» в гораздо более обширном море постмодерна, взбаламутившем едва ли не две тысячи лет цивилизации, находит опору на тектонических плитах великих религий: ислама, христианства, иудаизма. Парад фундаментализмов разных типов (подобно фашитизации Европы 20-х — 30-х годов) — не это ли ожидает наш новый глобальный мир? Исламский фундаментализм на Востоке, православная империя «грядущего Константина» в России, либеральный тоталитаризм («Указующий Гуманизм», о котором предупреждал Солженицын) на Западе...

В России, где левая (марксизм) и либеральная идеи исчерпали себя в Февральской революции и Ленине (пережив короткий ренессанс в виде монетаристского большевизма 90-х), лишь протофашистская евразийско-византийская мечта Константина Леонтьева еще не отыграна в полную меру. Что касается ислама, то лично для меня символом пришествия фундаментализма стало даже не 11 сентября, а Беслан. Люди, убивающие детей во имя Милосердного Бога, — это уже та грань, за которой «не следует ничего».

В фундаментальной статье одного из самых ярких представителей нашего церковного постмодерна протоиерея Всеволода Чаплина «Пять принципов православной цивилизации» (представляющей собой эклектичный конгломерат из не до конца переваренных коммунистических лозунгов в церковном окладе) генеральный курс указан достаточно ясно — столкновение цивилизаций.

Сможет ли мир избежать новой глобальной войны? Не слишком заметно, что за последние сто лет он стал умнее. Но как ни мала эта вероятность, остается надеяться. Надеяться на возвращение смысла, возвращение «Великого кодекса» христианской Европы, возвращение подлинного христианства в России, преодоление тысячелетнего раскола и восстановление расколотого ядра христианской цивилизации — на все, что может принести исцеление нашему погрязшему в тысячелетних распрях и ненависти миру.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы
(сентябрь – ноябрь 2008)

(Краткий обзор)

Смерть патриарха

Пятого декабря 2008 года в своей резиденции в Переделкино на восьмидесятом году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В пятницу он проснулся, как всегда, очень рано, сотворил молитву и почувствовал себя плохо. Около 10 утра в Переделкино была вызвана машина реанимации, которая опоздала: Патриарх перенес клиническую смерть. Врачам ненадолго удалось вывести его из этого состояния, но сердце вновь остановилось, — рассказывают об обстоятельствах последнего дня Патриарха **«Новые известия»** (8 декабря).

В течение трех дней в Москву шел поток соболезнований, — сообщают 8 декабря **«НГ-Религии»**. — *В пятницу один за другим выступили с телеобращениями президент Дмитрий Медведев и глава правительства Владимир Путин. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что потрясен смертью Алексия II. Соболезновали православным представители всех религиозных общин России. Прислал соболезнования Папа Римский Бенедикт XVI, встретиться с которым покойному Патриарху так и не пришлось. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II собирается возглавить делегацию Грузинской Православной Церкви на похоронах Алексия II — это будет первый визит Илии II в Россию после августовской войны. Дружеские отношения связывали двух Патриархов, несмотря на конфликт между странами.*

Похороны Святейшего описали практически все СМИ. Те же, что настроены антиклерикально и привыкли обращать внимание на нелепое поведение недовоцерковленной российской власти, получили очередной повод либерально-саркастически ухмыльнуться. Вот как, к примеру, описывает прощание с Патриархом **Андрей Колесников**, которого, как сказано в статье, речь митрополита Кирилла заставила забыть, что дело происходит в Храме Христа Спасителя, а не в российском парламенте (**«КоммерсантЪ»**, 10 декабря): *Храм к десяти часам утра был уже полон. Здесь стояли и простые верующие, и очень непростые. Храм поделили на несколько зон. Очень непростые стояли в той стороне, которая выходила к набережной Москвы-реки. К половине одиннадцатого в их толпе выделялся (прежде всего своим ростом) бизнесмен Сергей Пугачев. Потом стал выделяться (своим видом) кинорежиссер Никита Михалков. Я увидел здесь посла России на Украине Виктора Черномырдина, долго державшего в руках огромный букет белых роз (он словно не знал, куда их положить), главу Счетной палаты Сергея Степашина, председателя Мосгордумы Владимира Платонова, губернатора Приморского края Сергея Дарькина... Политиков было много и с каждой минутой становилось все больше. Проститься с патриархом пришел, по-моему, в пол-*

ном составе весь кабинет министров России, и в этом смысле с ними могли сравниться только архиереи РПЦ, пришедшие сюда по долгу службы... (Называется эта статья, к слову сказать, **«Всея Русь распрощалась с Патриархом»,** и разлитая в ней ирония касается буквально всего — даже так кстати лившегося в тот день декабрьского дождя.)

А вот строки из репортажа корреспондента **«Комсомольской правды»** (10 декабря): *В храме запели «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». Пел весь храм. Вместе с митрополитом Кириллом Патриарха отпевали святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, Александрийский митрополит Петр, Иерусалимский митрополит Исихий, Грузинский Патриарх-Католикос Илия II, главы Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, Чешской, Американской православных церквей. На всех языках читали Евангелие. Говорят, вот так проникает через языки слово Божие, понятное всему православному человечеству.*

В храме было очень торжественно, но и тревожно, душно, люди плакали. Стало плохо главе украинской делегации — председателю Совбеза Украины Раисе Богатыревой, потеряли сознание несколько священнослужителей. В какой-то момент покачнулся и побледнел митрополит Кирилл. Его вывели со службы под руки. Отпевание продолжали вести российские и зарубежные православные священники.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего», «Жизнь не бесконечна» (видимо, так в статье интерпретированы слова песнопения: «жизнь бесконечная». — *А. К., Б. К.*), *«Аллилуйя!»*

Через полчаса митрополит Кирилл появился среди зарубежных коллег совершенно спокойный и уверенный. К нему подошел митрополит Климент, дал какой-то совет. Кирилл кивнул и подошел к президенту, что-то сказал ему. Похоже, сценарий прощания с Патриархом согласовывался на ходу. Выслушав местоблюстителя, президент тоже кивнул — хорошо. И через минуту он приблизился к гробу, перекрестился, наклонился к лицу Патриарха. Потом с покойным попрощалась Светлана Медведева. После — Путин. Затем к гробу подошла Людмила Путина. Митрополит Кирилл встал перед гробом на колени.

Патриарха Алексия II, согласно его завещанию, похоронили в московском Богоявленском соборе. По сообщению информагентства **«РИА Новости»** (10 декабря), на следующий день верующие начали собираться у входа в собор с шести утра: *Несмотря на обычный рабочий день, поток идущих в собор людей не иссякает. В храм приходят как люди старшего поколения, так и совсем молодые. Верующие приносят цветы, а многие — портреты почившего Патриарха.*

Ряд изданий поместили воспоминания о почившем предстоятеле РПЦ. **Евгений Стрельчик** в газете **«Вечерняя Москва»** (11 декабря) пишет: *Помню, как во время поездки на Святую землю на торжества в честь 150-летия Русской духовной миссии в Иерусалиме в июне 1997 года Его Святейшество совершил восхождение на Сорокадневную гору близ Иерихона. Была страшная жара, я просто падал с ног от усталости, поднявшись по тропе на высоту 400 метров, где был монастырь. А патриарх всех благословил идти дальше на самую вершину.*<...>

Такой режим работы был тяжел и для молодого человека, но патриарх порой игнорировал советы врачей — беречь себя. Он вставал в половине восьмого. Весь его рабочий день был расписан по минутам: встречи с людьми, документы, практически ежедневные богослужения... Без выходных.

Врачи рекомендовали ему больше двигаться — он повесил себе на пояс шагомер и старался проходить не менее 8000 шагов за день. Раньше часу ночи лечь спать ему удавалось редко. Не высыпался, принимал снотворное. Как-то в алтаре я подслушал его разговор с келейником: мол, принял ночью снотворное, а оно дало о себе знать только сейчас.

А вот строки из очерка **Михаила Сердюкова** в **«Собеседнике»** (11 декабря): *Оказавшись в близком кругу Патриарха, мы, как и все, кто был рядом, знали — у Патриарха Алексия больное сердце. С детства. Рос он мальчиком шустрым, много двигался, бегал: увлекался греблей, мотогонками, обожал футбол... Но в какой-то момент начались болезни — особенно мучила ангина. А для сорванца это катастрофа! Разве можно лежать в постели, когда друзья на знаменитой таллиннской мототрассе «Калев» соревнуются за призы... Конечно, он убегал, и мама — Елена Иосифовна, дочь офицера белой армии, расстрелянного большевиками в Гражданскую, потом долго металась по «Калеву», отлавливая сына. То же самое происходило с футболом: врачи запрещали бегать и прыгать, но он-то иначе не мог... В результате — осложнение на сердце, последствия которого давали знать о себе всю жизнь.*

Часть изданий размышляли не столько о личности почившего, сколько о связанном с его патриаршеством историческом периоде.

Он начинал, когда в стране были редкие храмы и 2—3 чудом уцелевших в советское время монастыря, а завершал свое первосвятительское служение, когда было открыто более 15 000 храмов и 769 монастырей. Когда количество повернутых сердечной симпатией к православию людей по всем социологическим замерам превысило половину населения страны (в 1990 году к православию себя относили 24 процента россиян, в 2005 году — 62). Когда два разделенных историей крыла православия — отечественное и зарубежное — стали одной Церковью, — пишет **«Российская газета»** 8 декабря.

Сегодня много говорится о заслугах почившего Патриарха, о его роли в сохранении и укреплении Русской Православной Церкви. Между тем задачи строительства храмов и сохранения единства РПЦ были бы выполнены любым патриархом, избранным на этот пост в 1990 году. Патриарх Алексий был избран через два года после празднования Тысячелетия Крещения Руси. Это была эпоха, когда возможным казалось все. Православная Церковь возрождалась в стране, земля которой была обильно полита кровью новомучеников. Их жертва должна была принести обильные плоды. История давала шанс на возникновение религиозного движения, сравнимого с христианизацией Римской империи во времена Константина Великого. Для успеха нужно было лишь одно: деятельная и дерзновенная проповедь Евангелия. Проповедь, с которой Церковь обратилась бы к каждому человеку лично. Но православной евангелизации не произошло. Христиане многих других конфессий постучались в каждый дом, и сегодня количество их прихожан сопоставимо с православными по посещаемости еженедельных богослужений. Если бы евангелизацию проводила традиционная для страны Церковь, то воцерков-

ленных людей сегодня было бы в десятки раз больше. Православная Церковь сама и не заметила, что упустила уникальный шанс в собственной истории, — пишет **Сергей Сидоренко** (портал «**Православие в Украине**» **http://orthodoxy.org.ua/ru/2008/12/12/21062.html**).

С тем, что время Святейшего — это время упущенных возможностей, согласен «**Ежедневный журнал**»: он напоминает о том, что развалены многие миссионерские проекты, не оправдала себя ориентация на возрождение монашеской жизни, а сомнительная кадровая политика привела к тому, что на многих важных постах оказались фундаменталисты, и раскол Диомида стал одним из следствий такого положения вещей.

Всеправославное совещание в Стамбуле

Десятого — двенадцатого октября в Стамбуле (некогда Константинополь) состоялось Всеправославное совещание, приуроченное к 2000-летию со дня рождения апостола Павла.

Совещания глав Православных Церквей мира проводятся по инициативе Вселенского Патриарха Варфоломея с 1992 года с целью координации позиций и действий Поместных Православных Церквей по актуальным вопросам современности и демонстрации единства Вселенского Православия,— напомнил читателям сайт «**Седмица**». — *Подобные встречи проходили в 1992 году в Стамбуле, в 1995 году на острове Патмос, в 1998 году в Софии, в 2000 году в Иерусалиме, Стамбуле и Никее Вифинской (современный город Изник), в 2005 году в Стамбуле,*

Подготовка к совещанию, по словам «Седмицы», шла драматично: *до последнего момента оставалось неясным, прибудет ли на него глава крупнейшей церкви в 300-миллионном мировом православии Алексий II.*

Дело в том, что более двенадцати лет отношения между Вселенским Константинопольским и Московским патриархатом осложнялись тем, что Константинополь признал и считает автономной Церковью под своим управлением Эстонскую Апостольскую Православную церковь (ЭАПЦ), существующую параллельно структурам Эстонской Православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Ухудшило отношения и то, что летом во время празднования в Киеве 1020-летия Крещения Руси украинский президент Виктор Ющенко публично попросил Вселенского патриарха Варфоломея признать Киевский патриархат, который возглавляет обвиненный в расколе Русской Православной церкви (РПЦ) Филарет. Аналогичные церковные нестроения, поддерживаемые Константинополем, происходили и в Молдавии, — рассказывает о предыстории этой встречи газета «**Газета**» (13 октября).

Так что для всех представлялось очевидным: участие ЭАПЦ во Всеправославном совещании неизбежно приведет к скандалу. И в результате переговоров была достигнута договоренность, что возглавляющий ЭАПЦ митрополит Стефан не будет принимать участие в совещании в качестве главы отдельной Церкви и не будет подписывать итоговый документ этой встречи предстоятелей.

О дальнейших событиях рассказывает информационное агентство **РИА «Новости»**: *Неожиданное для представителей РПЦ МП присутствие митрополита Стефана на встрече на Фанаре* заставило митрополита Кирилла выступить с особым заявлением на открытии саммита. «Сознавая важность и своевременность этой братской встречи предстоятелей и представителей поместных православных церквей, Русская православная церковь приняла решение участвовать в ней. И сегодня мы находимся здесь, несмотря на присутствие на данном собрании преосвященного митрополита Стефана из Эстонии, представляющего церковное образование, которое не признано всеправославно в качестве автономной Церкви»,— заявил митрополит Кирилл.*

Митрополит Кирилл подчеркнул, что участие РПЦ МП в этой встрече *«не следует рассматривать как фактическое признание автономного статуса юрисдикции Константинопольского патриархата в Эстонии»*, что на нее *«не следует ссылаться в будущем как на прецедент»*.

Многие делегации,— продолжает **РИА «Новости»**, — *весьма положительно оценили позицию Московского патриархата, отметив, что представленное в ней сочетание «канонической принципиальности» и готовности к шагам навстречу ради сохранения православного единства является добрым примером и для других поместных Православных Церквей.*

Газета **«Время новостей»** (14 октября) напоминает, что визит в Стамбул был уже третьим по счету для Патриарха Алексия II в качестве предстоятеля Русской Православной церкви. *На сей раз он принял участие в божественной литургии, которая прошла в воскресенье в стамбульском храме Георгия Победоносца и в которой сослужили главы и представители всех поместных православных церквей. Это богослужение стало кульминацией встречи, итогом которой явилось совместное заявление православных иерархов.*

Комментируя богослужение на Фанаре, **«Московский комсомолец»** (14 октября) обращает внимание читателей на то обстоятельство, что предстоятель РПЦ сослужил вместе с не признанным Москвой митрополитом Стефаном, главой ЭАПЦ, подчиняющейся Константинополю.

Геннадий Христокин (**«Православие в Украине»**, 22 октября) пишет: *Московская патриархия, приняв решение участвовать в нынешнем Всеправославном совещании, безусловно, проявила большую мудрость. Уступив во второстепенном, Московская патриархия избежала крупнейшего церковно-политического поражения. Ведь ее неучастие во Всеправославном совещании произвело бы впечатление мировоззренческого выбора в пользу самоизоляции.*

Однако результатом позиции РПЦ стало не только укрепление ее авторитета в православном мире. Вот что пишет по этому поводу сайт **«Седмица»**: *В Стамбуле был принят документ, который закрепляет положение о том, что отныне во всеправославных встречах будут принимать участие только Церкви, признанные во всем православном мире.* То есть глава ЭАПЦ не сможет более присутствовать на таких встречах в качестве представителя независимой Церкви. Упоминая об этом, **«Седмица»** приводит мнение секретаря по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей

---

* Населенный преимущественно греками район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского Патриарха.

Московского Патриархата протоиерея Николая Балашова: *Стамбульская встреча глав и представителей Православных Церквей мира позволила вывести из тупика переговоры по подготовке Великого Собора Восточной Православной Церкви,* для которых главным препятствием стала «эстонская проблема».

Не будет преувеличением назвать встречу исторической, и не только потому, что православные лидеры давно не собирались в таком составе, — пишут 13 октября **«Новые известия».** — *В Стамбуле принято «Послание к православным народам и ко всему миру», в котором определены позиции по важнейшим вопросам современности. Подчеркивается необходимость более активного миссионерского служения. Отдельным пунктом в послании выражено одобрение действий Русской и Грузинской церквей во время югоосетинского конфликта.*

Дело епископа Диомида

Шестого октября на очередном заседании Священного Синода бывшего епископа Чукотского и Анадырского Диомида извергли из сана. Тем самым была поставлена точка в длившемся не один месяц противостоянии «диссиденствующего» архиерея и руководства РПЦ.

Напомним, что Диомид обрушился на церковную власть за то, что та общается с иноверцами, служит антинародному режиму и нарушает клятву верности дому Романовых (признает возможность демократического строя). На летнем Архиерейском соборе Диомида осудили условно, дав ему возможность покаяться. Он ею пренебрег, более того, продолжил критиковать начальство, анафематствовал Патриарха. И сполна расплатился за это.

По сообщению газеты **«Московский комсомолец»** (7 октября), *на приглашение прибыть за заседание Синода епископ Диомид ответил краткой телеграммой: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, и на пути грешных не стоит, и не сидит на седалище грешных. Скорблю, что врата ада одолели РПЦ МП и она сделалась служанкой Антихриста».*

В статье **«Диомида засинодили. Мятежный епископ Чукотки разжалован в простые монахи» Михаил Поздняев** пишет: *Отстраненный от управления епархией, но продолжающий служить на отдаленных приходах, Диомид на заседание не приехал. Это, в общем, ни для кого не стало сюрпризом: все пути к отступлению были отрезаны, а славу себе он снискал* (**«Новые известия»**, 7 октября). Он же замечает: *Что будет дальше делать монах Диомид, сказать трудно. Во-первых, он несколько раз заявлял, что не собирается менять церковную юрисдикцию. А во-вторых, это уже не столь важно: интрига-то исчерпана, и вряд ли кто-нибудь придаст большое значение его последующим шагам.*

В Москве во время заседания Синода Диомида поддержала группа последователей. Правда, как сообщает газета **«Время новостей»** (7 октября), они ошиблись дважды: *Вместо Свято-Данилова монастыря, где проходило заседание Синода, они направились в Чистый переулок, где находится резиденция Патриарха. Но и там они перепутали адрес и пошли крестным ходом вокруг офисного здания, не имеющего никакого отношения к РПЦ. «Анафема латинщикам и бесам!» — скандировали они, к немалому удивлению сотрудников фирм, находящихся в этом здании.*

На Чукотке «группа поддержки» Диомида невелика. Как сообщает **«Российская газета»** (8 октября), число сторонников мятежного епископа не превышает 30 человек, они собираются по квартирам в Анадыре и проводят службы.

Хотя смысл и тон высказываний Диомида поражают своей средневековой дремучестью, сам он вызывает симпатию у многих сторонних наблюдателей. На это обстоятельство обратил внимание колумнист Интернет-издания **«Газета.Ру»** (17 октября) **Борис Фаликов**, автор заметки **«Дон-Кихот от РПЦ»**: *Его судьба вызвала сострадание не только у идейных союзников чукотского мятежника, но и у противников. У тех самых либералов и западников, на которых он набрасывается с таким остервенением. Более того, возникает подозрение, что и общество в целом ему сочувствует. И дело здесь не только в естественной жалости к гонимому, а в том, что перед нами бунт одинокого человека против всесильной власти. Идеалиста против системы. Личности против института. И в таком противостоянии безусловным авторитетом обладает личность, а институт его неизбежно теряет. Тем более что в наше циничное время ценность идеалистического жеста резко возросла. Дон-Кихоты нынче наперечет.*

Большинство обозревателей считают, что «дело епископа Диомида» закрыто и его сторонников ждет судьба маргинальных групп «альтернативных» юрисдикций. Но высказываются и другие точки зрения. Так, **Владимир Можегов** в статье **«Диомидовский бунт: скрытые причины»** (**«НГ-Религии»**, 29 октября) пишет: *История крупнейшего кризиса в РПЦ последних лет на этом явно не кончается. По признанию дьякона Андрея Кураева, Церковь сегодня «балансирует на грани раскола, по масштабам сопоставимого с расколом XVII столетия». И хотя церковные власти привычно объявляют явление Диомида маргинальным и ничего не значащим, это, конечно, не так. Диомид — не маргинал, а живой символ этого полномасштабного кризиса. И, конечно, не в кознях «враждебных сил» тут дело.* Автор считает, что главная причина церковных нестроений в нераскаянном грехе «сергианства». *Церковное сознание наше насквозь пропитано тоталитарной идеологией, имеющей к христианству самое приблизительное отношение. То же приходится сказать и о самой диомидовщине. Фашизм романтический против фашизма бюрократического (как сталинизм и гитлеризм XX века) — таков печальный сюжет новейшей церковной драмы, выросшей из трагедии XX века и предшествующих веков*, — такими словами заключает свою статью Можегов.

Борис Клин в статье **«Есть ли будущее у проекта "Диомид"»** (**«Известия»**, 9 октября) пишет: *Идеи, даже не сформулированные, а скорее подхваченные Диомидом, будут жить и без него. Если Церковь не найдет возможности противопоставить им свое слово, новый скандал неизбежен. Как восход солнца.*

1020-летие крещения Руси

После торжеств в России и на Украине празднование 1020-летия крещения Руси прошло также в Белоруссии.

Как передает агентство **«Интерфакс»** (23 октября), в Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он посетил выставку ред-

кой книги в Национальной библиотеке и принял участие в международном круглом столе на тему «Крещение Руси в судьбах России, Украины и Белоруссии».

По сообщению информационного агентства **«БЕЛТА»,** утром 24 октября глава РПЦ МП совершил Божественную литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, а затем встретился с президентом Александром Лукашенко.

По завершении торжественных мероприятий в Минске перед вылетом в Москву предстоятель РПЦ сказал несколько слов. По словам Патриарха, память о Крещении Руси важна, поскольку она объединяет людей. *Перед лицом секулярного мира мы должны явить единство православия и вместе противостоять попыткам разделения*, — приводит слова Алексия II сайт **«Патриархия. Ру»** (25 октября).

«Новые известия» (27 октября) отметили, что в Белоруссии повторить размах московских и киевских празднеств не удалось: людей на мероприятиях было несравнимо меньше. Как отмечает издание, в Белоруссии внешние факторы расколу православного единения не грозят — это гарантируется на самом высоком уровне. Но у Православной Церкви есть большой соблазн оказаться в крепких объятиях государства.

Тему продолжил **«Портал Кредо»** (27 октября), сравнивший киевские торжества с минскими: *Если в Киеве все улицы были наполнены плакатами, растяжками, бигбордами с фотоснимками как Патриарха Варфоломея, специально приглашенного самим президентом страны, так и Патриарха Алексия, которого в противовес властям рекламировали сторонники УПЦ МП, то в Минске все прошло почти незаметно. Пара-тройка растяжек над проспектом — это не больше, чем обычное объявление о какой-то очередной международной встрече рядового уровня.*

К вопросу о преподавании ОПК в школе

После «триумфального шествия» «Основ православной культуры» в прошлом году российские власти запретили вносить ОПК в «основную сетку» школ. Правда, для ОПК, возможно, найдется место в федеральном компоненте.

Об этом сказал в интервью информагентству **«Интерфакс-Религия»** (17 сентября) управляющий делами РПЦ МП митрополит **Калужский и Боровский Климент**: *В процессе поэтапного введения нового стандарта необходимо обеспечить сохранение преподавания православной культуры там, где оно уже ведется. В регионы (Московскую, Калининградскую, Ярославскую и другие области), где в 2008–2009 учебном году проходит апробация нового стандарта, должен быть направлен вариант учебного (образовательного) плана, включающий предмет «Православная культура» («ОПК» и другие курсы православной культуры) в основной сетке часов.* Такое предложение также высказали недавно ряд академиков и членов-корреспондентов РАО: *Мы будем добиваться возможности изучения в государственных и муниципальных школах своих православных традиций и культуры для детей из православных семей. Это не «клерикализация школы», а нормальная деятельность демократичес-*

кого государства по удовлетворению образовательных потребностей своих граждан.

Между тем противники ОПК провели ряд акций. Так, 1 октября в Новопушкинском сквере Москвы прошел пикет против преподавания в школах России «Основ православной культуры». Корреспондент **«Портала Кредо»** (2 октября) сообщает, что его организаторами выступили либертарное движение «Свободные радикалы» и Московское атеистическое общество. В акции приняло участие около 30 человек. Участники пикета выступили против обязательного преподавания религии в школе, но не против *изучения основ мировых религий в факультативном порядке, по желанию родителей и детей.*

По сообщению «НГ-Религии» от 3 сентября, прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело по факту публичной лекции, прочитанной на курсах «Основы религиозных знаний» будущим преподавателям «Основ православной культуры» (ОПК) доцентом Тюменского государственного нефтегазового университета (ТГНГУ) Светланой Шестаковой. В статье приводятся следующие фрагменты выступления: «*иудейское причастие — это не что иное, как в малом количестве кровь православных людей, которых мученически замучили там*», «*иудейская маца — элемент крови, там раввины знают. Определенным образом убивается православный младенец или святой*»... Мартин Лютер, по мнению Шестаковой, «*закончил жизнь, удавившись в постели, в которой он грешил с бывшей монахиней*». Оскорбленными могут счесть себя и пятидесятники: «*Неопятидесятники в России,* по мнению доцента Шестаковой, — *клонированные Иваны, не помнящие родства*» и тоже «*причащающиеся мацой, в которой "кровь православных людей*"; кроме того они «*на 93% страдают серьезным депрессивным состоянием, и каждый четвертый адепт секты заканчивает жизнь самоубийством*».

Результатом подобной просветительской деятельности (кроме упомянутого, уголовного дела) стало коллективное обращение к Патриарху Алексию II и архиепископу Тобольскому и Тюменскому Димитрию (Капалину). Мусульмане, иудеи, католики и протестанты Тюмени просили уважаемых иерархов ответить: *Действительно ли заявления Светланы Шестаковой являются частью православного учения и насколько правомерны такие высказывания от имени Русской Православной Церкви?*

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

Григорий ПОМЕРАНЦ

СКВОЗЬ ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС

У Николая Гумилева есть стихотворение «Звездный ужас», о первых людях, взглянувших в небо. Животные не смотрят в небо. И Гумилев представил себе ужас первых смельчаков, повернувших головы вверх. Попытки повторялись одна за другой. И каждый раз смельчаки умирали от страха. Они не выдерживали столкновения с бесконечностью. По-моему, большинство людей до сих пор не выдерживают столкновения с неразрешимым. Невозможно представить себе бесконечное пространство и время, и только для немногих упорное созерцание бесконечности становится вызовом, рождающим внутреннюю бесконечность духа, внутренний свет, поглощающий внешнюю бесконечную тьму. Об этом — позже и позже — о других неразрешимых вопросах, которые люди просто отодвигают от себя. В стихотворении Гумилева дело кончилось иначе: маленькая девочка взглянула вверх, увидела звезды — и запела песню. Наверное, звезды показались ей светляками, усеявшими небо. Если считать, что так и было, то с этого пошло украшение небесного свода воображаемыми рыбами, раками, тельцами, наподобие рисунков, украшавших своды пещеры. И поднебесный мир стал большой пещерой. А небо слилось с образом туманной небесной силы, которой раз в год вождь приносил жертву.

У Рильке Бог сливается с миром, который он создал, с предвечной башней:

Я кружусь вокруг Бога, предвечной башни,
Тысячи лет подряд.
И не знаю, кто я: сокол, ветер
Или великая песнь*.

* Подстрочный перевод.

Григорий ПОМЕРАНЦ — родился в 1918 г. в Вильно (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1946 исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден; освобожден (1953) и реабилитирован (1958). Философ, культуролог, публицист. Автор книг «Сны Земли» (Париж, 1958), «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М.,1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995), «Опыты философии и культурологии» (М., 1995), «Страстная односторонность и бесстрастие духа» (М.–СПб., 1998), «Записки гадкого утенка» (М., 1998) и др.; вместе с З. Миркиной «Огонь и пепел» (М., 1993), «Великие религии мира» (М., 1995). Член Русского ПЕН-Центра. Живет в Москве.

Гимны вед действительно кружились так вокруг ведических богов. Крылья песни подымают человека, и он сам чувствует за плечами крылья. Песня кружится над загадкой Бога и побеждает звездный ужас. Впоследствии так кружится мысль Иова вокруг Бога, получившего лик единой, всемогущей, вечной справедливости, — почему он допускает страдания невинных? Всякая концепция вселенной, с Богом или без Бога, упирается в невозможность представить себе бесконечное пустое пространство — или в неразрешимое противоречие между всемогущей справедливостью и миром, где все всех едят. И тот или другой неразрешимый вопрос становится вызовом, брошенным человеческому сердцу, становится огнивом, высекающим искру, и вспыхнувший внутренний огонь озаряет внешнюю тьму.

Рассуждения здесь бессильны. Только огонь в груди гасит ужас бездны, бездны пространства, где тонет все земное, бездны смерти, бездны слепой судьбы, бездны человеческой неблагодарности и несправедливости. Я чувствую этот прорыв сквозь бездну в словах из сказки Михаэля Энде: учись падать! Учись падать и держаться ни на чем, как звезды!

Озаренная внутренним огнем, бездна становится твоим собственным великим океаном, и ты растворяешься в нем. Чужое становится своим, родным, и твое собственное лицо — лицом мира, лицом того, что только что казалось бездной, раскрывшей свою пасть. Рильке это удалось сказать в «Импровизации о Каприйской зиме». Человек, осознавший себя лицом мира, не страшится огромности своего великого тела. Но толчком к полету над страхом был все-таки страх, овладевший древним певцом, может быть, — сложившим первые веды. И башня, вокруг которой вихрь носит воображение Рильке, и горные кручи ужасны, но, вскарабкавшись на вершину горы, человек парит над скалами, и душа его взлетает в небо. В полете над страхом он становится единым с полетом всемогущего духа.

Горы стали первыми алтарями. На них приносились первые жертвы и вместе с дымом костров возносились ввысь первые молитвы. Горы рождали сознание внутренней мощи духа. В горах и ущельях рождался спор внутренней бездны с бездной внешней. Но не во всех побеждавших трудности горных круч. И не все люди понимают слова князя Мышкина: разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Не все видят в одном дереве всю космическую силу жизни. И не все поднявшиеся к могиле Волошина чувствуют себя преображенными, созерцая сразу три синие бухты.

Счастье — чувство полноценного внутреннего ответа на вызов. И когда открытие Галилея разрушило образ небесного свода и открытая бездна потрясла Паскаля, родилась его знаменитая мысль: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломить его. Но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не сможет отнять у него этого преимущества». Если вся вселенная обрушится на него! Этот образ до сих пор не вместился во многие головы. До XVII века его просто не было. Для рационального XVII века это риторика, подводящая к утешительной концовке: ничто не может унизить величия разума. И только романтики поняли Паскаля. И Тютчев развернул вызов бесконечности в своих стихах и захватил им Достоевского и Толстого (и меня, вслед за ними).

Сознание ужаса не утешало Тютчева. Утешало другое: когда природа поворачивалась к нему цветущей жизнью и все в мире казалось цветущей жизнью:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Но сильнее захватывал кошмар одиночества в мире:

Природа — сфинкс. И тем она верней
К себе влечет и губит человека,
Что может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Может статься. Но не может быть принято. Как Достоевский в «Записках из подполья» не мог принять стены, перед которой разум, наука, законы природы велят смириться.

Паскаль остался первым в великом ряду. Нежелание смириться в нем нарастало, — пока не вспыхнул таинственный огонь, о котором он одним словом — «огонь» — свидетельствовал в своем «амулете», с точным указанием времени, когда огонь вспыхнул и когда угас. Потом несколько человек повторили опыт Паскаля. Еще несколько отступили, не дойдя до итога, но оставили нам свой порыв.

Достаточно ли этих вспышек для замысла, заложенного, может быть, Богом в эволюции жизни? Я этот замысел чувствую, и я думаю, что человечество в целом еще не завершилось, что оно еще не совсем сотворено. Но люди бредут по земле, опустив голову к заботам и страстям, как скот — к траве своего пастбища. Порыв Паскаля только подчеркивает общую незавершенность. Недаром свидетельство его было зашито в подкладку камзола: его бы не поняли. Поняли сравнение с мыслящим тростником (оно сразу вписалось в культуру и запомнилось, вошло в поговорку). Про огонь люди не могли понять и отодвигали, забывали.

Человечество до сих пор запоминает великие страсти, забывая, что всякое конечное число, деленное на бесконечность, равно нулю. И страсти Чингисхана, Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера — так же равны вечному нулю, как споры на кухне коммунальной квартиры. Знаменатель нашей жизни — бесконечность, и наша жизнь чего-то стоит, если в числителе ее тоже попадает что-то подлинно бесконечное, тут надо было сказать — вечное, но я хочу сохранить числительную метафору, она доходчивее для людей, знающих арифметику и не читавших мистиков. Впрочем, у Рамакришны в числительной метафоре не было нужды. Он сравнивает Брахмана с океаном и тут же дает единство с океаном в порыве веры. В индийской культуре есть и такая метафора — единство Атмана и Брахмана. Ее можно сравнить с единством залива с океаном. Но все это только метафоры. И в Евангелии — своя метафора: «царство Божие внутри нас». Все царство в маленьком человеческом сердце. Это не менее ярко, чем единство залива с океаном: непостижимое, но ощутимое единство бесконечного космоса и мыслящего мозга.

Суть метафоры — опыт Паскаля (и других, в других культурах). Поняв, что в «числителе» человеческой жизни должен быть вечный огонь, вечный

свет, человек не может успокоиться, пока не почувствует во вспышке внутреннего огня опыт, перекликающийся со вспышками внутреннего огня у древних отцов (у Паскаля это Авраам, Исаак и Иаков). Не философов и ученых, — подчеркивает Паскаль, — не мастерство анализа и синтеза, а непосредственный опыт.

Так было, так повторялось тысячи лет. Но сколько раз? Не близко ли это множество к семи или тридцати шести праведникам, на которых держится мир? Может быть, Богу и не нужно доводить всю биологическую массу человечества до священного огня? Ему нужно качество, а не количество. Во всяком случае, замечательному человеку, Дитриху Бонхёфферу, качество бесконечно дороже было количества; и мне с юности это стало очевидно. К о л и ч е с т в о священного огня, в масштабе вселенной, ничтожно, но это ничтожество перевешивает всю массу туманностей. И человечество оправдано тем, что оно рождает детей, как рыбы мечут икру, чтобы одна икринка из тысячи тысяч стала совершенной рыбой.

Достоевский в каждой малютке чувствовал то, что буддисты называют татхагатагарбхой (зародышем просветленного). И пусть любовь связывает мужчин и женщин и рождаются дети (не только в хороших семьях: Алеша Карамазов был сыном Федора Павловича), и пусть они идут навстречу искушениям и учатся преодолевать искушения, — для равновесия мира этого, может быть, достаточно.

Сейчас доброхоты выбрасывают трудные романы Достоевского из школьных программ. От трудных текстов у мальчиков и девочек болит голова, и это мешает им поскорее стать менеджерами и маклерами. Между тем, именно к подросткам, подобным Аркадию Долгорукому, к старшим школьникам и студентам, приходит иногда звездный ужас или ужас Иова перед муками невинных, и в муках рвутся подростки к новому Адаму, — разумеется, только немногие. И чистая правда, что у статистически среднего студента от карамазовских вопросов только голова болит. Но пусть поболит и пройдет. Долго она не болит. А культуру все-таки создают не статистически средние, а крайние, немногие, те, кто пробиваются в число душ, открытых Богу, угадывающих Божий след и идущих по нему. Эти немногие создали великую литературу XIX века, и мы до сих пор держимся за нее, чтобы не потонуть в житейском болоте.

А человечество? Есть ли замысел сотворить его в целом, как совершенную целостность? Или это только мечта смешного человека, и дробящий разум мечтателя сам всё разрушит? Не знаю. Почему-то мне кажется, что в полноте космоса все возможно, самое великое, небывалое чудо. И святому Духу, объемлющему космос и всюду находящему свой путь, этого довольно. А на Земле довольно того, что есть, то есть семи или тридцати шести праведников. Довольно тех немногих собеседников Бога, которых Святой Дух здесь находит.

И я обращаюсь к тем, кто колеблется: не стремитесь к успеху. Я был счастлив, не достигнув никакого успеха. Я счастливо прожил девяносто лет. Я любил и меня любили. То, что я говорил и писал, не встретило поощрения, но радовало какой-то узкий круг. Для этого круга я работал и не тужил, что за пределом узкого круга меня не знали. И я обращаюсь к своим

читателям: примыкайте к меньшинству, тянитесь за ним. Тянитесь к мудрости сосен, подымающихся вверх, не думая об успехе, к солнечному свету. Препятствия на вашем пути — только вызов человеческому духу. И человек рожден ответить на вызов и найти в созерцании силу сбросить всю грязь, налипшую на подошвы.

Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

Так кончает Рильке свое «созерцание».

Не надо отчаиваться, что семена, брошенные Рильке, не дошли до миллионов, и вряд ли больше дойдут семена, брошенные в стихах Зинаиды Миркиной (тем более, что угаснет язык этих стихов). Бог был прав, не отвечая на стенания Иова, почему мир таков, каким он был — и каков он есть. В иные минуты мир — тюрьма, и Дания один из худших застенков, но для духа нет преград, и дух создает страну Небывалию на пространстве величиной в ладонь.

Число звезд в вечности неизменно, — писал Рильке. — Этот порядок невозможно переменить никакому правительству. Вместо одной угасшей звезды вспыхивает новая. И незримый свет их доходит до нас и поддерживает нас. И поднявшись со своего гноища, Иов находит силы начать новую жизнь и говорит: прав ты, Господи! Я принимаю тебя со всем, что ты сотворил, со всеми вызовами, на которые я должен ответить. И если я не найду ответ, я, может быть, подтолкну к нему других.

Многое из того, что здесь сказано, подсказало стихотворение Зинаиды Миркиной, и я кончу этими стихами:

Пусть уймется мой плач, подогнутся колени,
Даже если над крышей безумствует гром.
Я хочу, чтобы мой Господин совершенный
Отразился, как в зеркале, в сердце моем.
Я хочу, чтобы Ель оставалась такою,
Как сейчас, — доносящей мне Божию весть.
Я хочу Твоего не нарушить покоя.
Я хочу, чтобы Ты был таким, как Ты есть.
Даже если... О Господи, снова и снова
Унимаю свою неуемную грусть.
Я люблю лишь Тебя. Мне не надо другого.
Хоть земной своей участи глухо страшусь.
Так пускай между нами исчезнет граница,
Перед бездной Твоею рассеется страх.
Я согласна с Тобой. Хоть с Тобой согласиться
Так же трудно, как небо держать на плечах.

Ирина РОДНЯНСКАЯ

НЕСКОЛЬКО ФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСОВ К СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ «ПРАВОСЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИЗМА»

Название этих размышлений рождалось мучительно, как и они сами. Уже придя к вроде бы окончательной формулировке, я поняла, что она не точна, ибо мои вопросы не имеют строго философского характера, а располагаются скорее в той проблематичной зоне «религиозной философии», которая фигурирует в текстах героя этих заметок Сергея Сергеевича Хоружего не иначе как в кавычках. Честней всего было бы сказать «несколько недоуменных вопросов», не квалифицируя их никаким другим образом.

Что привело меня к заявленной теме? Я, собственно, литератор, однако подсоветская жизнь с ее условиями пролезания в каждую не до конца законопаченную щель и личная вероисповедная позиция вовлекли меня в освоение так называемого *русского религиозно-философского ренессанса*; в первую очередь это относилось к Владимиру Соловьеву и в особенности — к Сергею Булгакову, чей личный образ, творческая гениальность и трагические перепутья мысли стали для меня очень важны. Вникая в них, я пришла к самостоятельному выводу, отчасти совпав с его яростными критиками, что Булгакову действительно не удалось согласовать свою софиологическую доктрину с догматическими положениями Церкви. Что платонизируя (помещая всеорганизм идей во внутрибожественную Троическую жизнь) и неоплатонизируя (мир — «творчески, инициативно направленная и осуществленная эманация» — «Свет Невечерний»[1]), Булгаков пытается описать экзистенциальную проблематику творческого акта — *fiat* — в категориях идеалистической онтологии и субстанциализма. Глубочайшим образом постигший «трагедию философии», трагедию идеалистического онтологизма как сплошной монистической дедукции, он сам подпал этой трагедии. Между тем поставить библейскую теологему творения на фундамент классической метафизики абсолютно невозможно. Для ее философского осмысления потребна была бы экзистенциальная и персоналистическая философия творческого акта, исключающая трактовку творчества как перенесения одного и того же субстанциального содержания от одной (выс-

[1] *Булгаков С.* Первообраз и образ. М.-СПб., 1999. Т. 1. С. 166.

Ирина РОДНЯНСКАЯ — родилась в Харькове. Окончила Библиографический факультет Московского библиотечного института. Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1994), двухтомника «Движение литературы» (2006) и многочисленных статей о текущей словесности, русской литературной классике и русской философии. Живет в Москве.

шей) инстанции к другой (низшей). Бог тогда уже не Творец, а Изводитель.

Конечно, я искала уточнения этих выводов в трудах оппонентов о. Сергия, в моем случае это были «Тварь и тварность» о. Г. Флоровского[2] и «Мистическое богословие» Вл. Лосского, у которого и было счастливо обнаружено патристическое указание на «идеи-воления»[3] в их отличии от неподвижных платоновских эйдосов. Булгаков, как известно, был обеспокоен тем, что творческие идеи Божества в таком случае «онтологически повисают в воздухе»[4]. Но, может быть, размышляла я, им и пристало в некотором смысле «висеть в воздухе», находясь в энергийной динамике?

Все это обдумывалось в 1980-х — начале 90-х годов, хотя вышло в свет позднее — в предисловии к составленному мной двухтомнику Булгакова «Первообраз и образ»[5] и в докладе на юбилейной булгаковской конференции в 2001 году[6]. Я полагала и полагаю, что Булгаков, по своему складу догматически ответственный мыслитель, сполна расплатился за, пользуясь выражением Сергея Хоружего, «родовую травму» русской мысли, каковая состояла не столько в ее западном понятийном языке (о чем замечено у Хоружего), сколько в «христианском платонизме», который еще до «отца нашего» Соловьева находим хоть бы и у Алексея Константиновича Толстого («Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений создатель...» и прочее) и который пришел скорее из Византии, чем с Запада.

Мне хотелось найти менее дилетантское, более глубокое и основательное развитие этого хода мыслей, и, набредя на одну из публикаций Хоружего, я ожидала, что здесь обнаружу нужное мне русло. А после основоположной для нашего автора книги «О старом и новом» (2000) и с выходом в свет его «Опытов из русской духовной традиции» (2005) у меня возродилась надежда на встречу с более подготовленным, чем я, единомышленником. Чтобы, подобно пушкинскому Сальери, пойти «бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную».

Но этого не произошло. Вместо доверительного следования — ряд недоумений.

Сначала — о самых общих сомнениях, идущих, так сказать, от окраски мысли. Рената Гальцева, с чьим откликом на капитальную книгу Н. Мотрошиловой[7] некоторые мои соображения, несомненно, перекликаются, назва-

---

[2] В кн.: *Флоровский Г., прот.* Догмат и история. М., 1998.

[3] *Лосский Вл.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. Сб. 8. М., 1972. С. 54, 55.

[4] *Булгаков С., прот.* Невеста Агнца. О Богочеловечестве. Ч. 3. Paris, 1945. С. 40. То же. М., 2005. С. 40

[5] *Роднянская И.* Чтитель и толмач замысла о мире // *Булгаков С.* Первообраз и образ. Т. 1. С. 5–16.

[6] *Роднянская И.* С. Н. Булгаков — отец Сергий: стиль мысли и формы мысли // Вестник русского христианского движения. 2001. № 1(182). С. 21–37. То же в сб.: *Булгаков С.* Религиозно-философский путь. М., 2003. С. 29–43.

[7] *Гальцева Р.* Новая книга по русской философии в современном контексте // Новый мир. 2007. № 2. С. 192–199.

ла этот стиль мышления (не упоминая его носителей или носителя) «футур-пассеизмом». Можно было бы назвать, — что то же самое, — и «археоавангардизмом» (тем более, что Хоружий ссылается и на «археологию мысли» Фуко, и на обращенность Флоровского и Хайдеггера к Истоку или Началу, разводя, но и сводя обоих этих мыслителей). Но почему — авангардизм? Да потому, что на первых же страницах книги 2005 года заявлено, что, в отличие от духовной традиции как энергийно-антропологического феномена и религиозной традиции как социального феномена, не вполне оторванного от энергийной динамики, культурная традиция — это эссенциальный и субстанциальный феномен, то есть, переводя на привычный язык, косное статичное образование, так что творчество в сфере культуры — всегда преодоление традиции[8]. Взгляд не просто авангардистский, а, я бы сказала, наивно, дорефлексивно авангардистский, вполне отвечающий по-своему плодотворной, но уже вполне исчерпавшей свою «энергию заблуждения»[9] эпохе ОПОЯЗа.

Этому взгляду Хоружий неукоснительно следует в собственном культурном творчестве (ибо его сочинения, независимо от его личной духовной и социально-церковной практики, о коей не домогаюсь ничего знать и не смею судить, относятся именно к области культурного творчества). Будучи послан «в сторону иную» неопатристическим направлением младших русских эмигрантов-богословов (по-хайдеггеровски именуя это поворотом вспять — Kehre), он не берет с собой ничего из предшествовавшего наследия. Между тем после первой, остро-односторонней и именно в свежести своей продуктивной реакции отвержения каких-либо проторенных путей мысли тот, кто идет *следом за отвергающими*, третий по счету, должен установить меру справедливости этого отвержения и попытаться спасти из его огня все что ни есть ценного. Иначе происходит то, что Ханс Зедльмайр удачно назвал «утратой середины» — характерный порок археo-авангардизма нашей культурной эпохи.

Как многократно повторено С. Хоружим, линию русской мысли начиная Владимиром Соловьевым и кончая массивным эмигрантским творчеством Булгакова или Франка, он отождествляет с кратким взлетом модернистского Серебряного века, с его «лунным блеском», не сулящим «много пользы»[10]. Это «частный, давно ушедший период...»; «сегодня весь этот мир мысли, блеснувший на недолгое время, уже миновал»[11]. И к этому «миру мысли» исследователь относится столь пренебрежительно, что даже не дает себе труда быть корректным в определениях и философских диагнозах. Примеров сколько угодно. Он отказывается понимать, что же такое «отвлеченные начала» в философии Соловьева, видя в них простые абстракции, между тем как для нашего славного мыслителя эти начала — уклоны от всеединой истины в абсолютизированную односторонность, которые мож-

---

[8] *Хоружий С.* Опыты из русской духовной традиции. М., 2005. С. 14–16.

[9] Выражение Л. Н. Толстого, которое Виктор Шкловский использовал для названия своей книги (1981).

[10] *Хоружий С.* О старом и новом. СПб., 2000. С. 7

[11] *Хоружий С.* Опыты из русской духовной традиции. С. 24.

но вернуть, *вовлечь* в лоно истинности, такую односторонность выявив и отшелушив. Метод критики отвлеченных начал — соловьевское открытие в икономии, хозяйстве мысли (кстати, применимое и в обсуждаемом нами случае: известный имперсонализм русской философии порождает другой уклон — хоружевское «богословие личности» как чисто экзистенциалистский «дискурс» — и то, и другое отвлеченные начала).

То, что описано Соловьевым в «Трех свиданиях» в качестве центрального визионерского опыта его жизни — когда весь мир предстает преображенным, освобождаясь от пространственно-временной раздельности («в одном луче» — как сказано у старого христианского мистика), каково бы здесь ни было истолкование женственного образа небесной Красоты, которым все объемлется, — опыт этот Хоружий квалифицирует как *спиритуалистический* и даже упрекает философского биографа Соловьева — А. Ф. Лосева — в неизобличении этакого спиритуализма. «Грубую кору вещества» — знак падшести мира, его *состояния* — Хоружий-критик отождествляет с самой материей мира, его природой, о спасении которой так печаловался «религиозный материалист» Соловьев. Что уж говорить о голых фактах — вроде того, что к моменту «Чтений о Богочеловечестве» наш мыслитель-поэт якобы уже был «папистом»...

Ну и разве сколько-то заинтересовало Хоружего, — а именно он готовил к печати републикацию этого труда, — что в «Трагедии философии» Булгаков дает критику классического философского монизма как своего рода ереси — *sub specie* тринитарного богословия? О такого рода «больших нарративах» говорится с легкой усмешкой: поезд ушел. А как вы думаете, кому принадлежат эти вот слова: «...Следует... возвратиться к отеческому богословствованию (на 1000 лет назад), к святоотеческому учению, творчески раскрыть и применить его для нашего времени»? Они принадлежат не Флоровскому или Мейендорфу, а о. Сергию, который в штудии «Евхаристический догмат» показывает искусственность и неуместность аристотелианских оснований томистской доктрины пресуществления[12]. Инициатива избавления от Аристотелевой метафизики, не дающей Хоружему покоя, Булгакову-то и принадлежит.

Еще одна, мягко говоря, непоследовательность деконструктора «больших нарраций». Не смущаясь, он утверждает, что прежде — то есть до нового духовного начала русской культуры, ныне возвращающейся в лоно патристики, — культура эта строилась «всецело вестернизированной». Я не стану приводить доказательств обратного, замечу только, что жалобы автора этих слов на то, что русская философия не смогла прийти на Запад со своим капиталом, а явилась в лучшем случае критическим комментарием к западному философскому развитию, выглядят натяжкой. Во всяком случае, они сильно преувеличены на фоне той обращенности к Западу, какую демонстрирует сам Хоружий. Все дело в том, о котором из Западов идет у критика речь. Если это философская классика Нового времени от Декарта до преимущественно немецкого XIX столетия включительно, тогда обращение к

[12] *Булгаков С, прот.* Евхаристический догмат // *Булгаков С, прот.* Евхаристия. Москва — Париж, 2005. С. 153.

ее понятийному аппарату расценивается нашим критиком как предательство родной патристической почвы, «христианского эллинизма». Если же это постклассическая философия, поднявшая бунт — скажем в духе Хоружего — против велеречивого дискурса мировой благоустроенности, то есть философия право-левого нигилизма от Ницше и Хайдеггера до все еще свеженьких для нас французов, тогда Хоружий не скупится на терминологические заимствования, аналогии и параллели между стратегией «умного делания» исихастов и стратегией разоблачения и опустошения «сущностей» (таких как Бог, человеческий субъект или созидатель-автор). Не всегда эти параллели превратны: например, ступени феноменологического вглядывания у Гуссерля и методики исихии действительно имеют нечто общее, и если ученик Гуссерля Роман Ингарден убедительно демонстрирует интенциональность художественного акта, то почему бы не отрефлексировать «умное художество» в тех же категориях?

Но как можно забывать, что вся эта философская линия начиная с Ницше боролась с классической метафизикой не столько из-за ее «эссенциализма» во имя экзистенциальных посылок, сколько из-за ее идеализма («вечной правды идеализма» как первичности духа — здесь Флоренский прав) во имя посюстороннего образа мира и человека? И поэтому в поисках союзников стоило бы быть разборчивее. Так, трагическая наоборотность Ницше христианству выносится Хоружим за скобки, в чулан непринципиальных оговорок, не мешая ликованию по поводу «плодотворной альтернативы» попранному дискурсу сущностей и субстанций. Ему не боязно заявить, что у Ницше аналогом «синергии» в практике безмолвников служит воля к власти (в терминах аскетики, напомню, «любоначалие») и что христианский отшельник постоянно служит спарринг-партнером ницшевскому Заратустре. Не собираюсь обижать блестящего писателя и мученика идеи Ницше, но хочу напомнить, что куча таких аналогий всегда найдется в запасниках обезьяны Бога: метанойя — перековка, а ленинские останки в мавзолее — мощи, — «партнерство» ли это?[13]

К сказанному можно добавить неожиданную, при демонстрируемом многознании и углубленности, неразборчивость аргументации. Не смею судить о родстве «православного энергетизма» с современными воззрениями квантовой физики (готова вериться математику Хоружему, хотя тип доводов «от Большого взрыва к Шестодневу» всегда меня смущал), но вот связь Эроса и Танатоса, пола и смерти как след в генетической памяти человеческого существа, оставшийся от возникновения по ходу эволюции «смертных» половых клеток[14], — здесь уж такой бросок из биологии в мистику,

[13] Когда же Хоружий все-таки идет по пути не аналогий, а разграничений, он дает критический комментарий к миру современного философа (как это сделано в финале книги «О старом и новом» по отношению к Хайдеггеру), оставаясь в границах этого мира; другими словами, его аналитика нисколько не менее «имманентна», чем методология Владимира Соловьева как автора «Кризиса западной философии» и всех русских авторов с их, по Хоружему, чисто негативным вкладом в западное философское дело.

[14] *Хоружий С.* Опыты из русской духовной традиции. С. 231–232.

что Соловьев с его мистифицированным дарвинизмом может, как теперь говорят, отдыхать.

Таков, простите за профанацию заветного для этих текстов термина, «энергийный контур» двух названых книг Хоружего, в особенности второй из них. Продолжая свои извинения, добавлю, что я не рвусь ставить под сомнение паламитское учение о Божественных энергиях, но понятие «энергия» используется у нашего современника столь навязчиво и в столь разных поворотах, что рождаются соблазнительные ассоциации. Слово это слишком подходит к пресловутому веку Водолея, наполнившему мир темными энергиями-кажимостями. Оно избыточно актуально, на грани попсы, когда об «энергетике» непрерывно судачат из «ящика».

Впрочем, все это не более, чем укоры в издержках увлеченности, не затрагивающие сути предлагаемых Хоружим построений. Пора перейти к ядру его, если можно так выразиться, опытного наукоучения. Из этого огромного пласта взаимоувязанных мыслей, своим объемом и проработкой вызывающего почтительную оторопь, я выберу только две темы. Одна из них — борьба с космической и органицистской интуицией русской мысли, ведущаяся под знаменем исихазма. Другая — противопоставление освящения и обóжения в духовной жизни.

Хоружий неоднократно подчеркивает, что богословие — это интерсубъективная рефлексия над свидетельствами опыта, что это, так сказать, опытное знание. Причем в надежде эксплицировать и офилософить это знание он обращается к наиболее радикальному, предельному, как он сам говорит, опыту исихазма — к уединенному молитвенному подвигу подвижников-безмолвников, ведущему через много ступеней «практики себя» к соединению с Божественными энергиями, обóжению (теозису). Наш автор составил бесценный лексикон основных понятий этой аскетической практики (в своей книге 1998 года «К феноменологии аскезы»). Дальнейшие его труды состоят по преимуществу в аналитическом истолковании этой практики и, в особенности, в вычленении ее из опыта русской духовной традиции и поставлении на царственное место в этой традиции — в противовес вольномыслию русских религиозных философов. (Тут сразу хочется заметить: хоть безумием было бы сомневаться в принадлежности величайших русских святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского к исихастскому корню, пришедшему к нам с юга, но русская святость в ее своеобразии, как известно, начинается с Бориса и Глеба, которые предпочли страстотерпчество и смерть братоненавидению, — и именно таков самый радикальный кенотический опыт по-русски, как напоминает о том Г. Федотов[15].)

Свою аналитику Хоружий относит к «богословию личности», то есть видит ее богословским коррелятом экзистенциальной философии: бытие-общение, — в данном случае, между Богом и взыскующим соединения с ним человеком. Прекрасно, но этим он сразу избавляется от любых «спекуля-

[15] См.: *Федотов Г.* Святые Древней Руси. М., 1990. (Работа написана в 1931 году.)

ций» на темы Творения, отношения Бога к миру, модусу присутствия Бога в мире, судеб мира в будущем веке — от всего того, что так волновало не приемлемый для нашего исследователя извод русского философствования и что (в одном месте он сам это признает) было характерно для русской ментальности еще до всякого обращения к западноевропейской метафизике. Нет, — только уединенный субъект, повернутый, по Гуссерлю, «к самим вещам», в данном случае — к вещам внемирным, Божественным. Богословие есть православная антропология, и только она.

Что ж, войдем в это русло аналитики. Опорный смысл всего процесса — «синергия», или соединение человеческой энергии с энергией Божественной, благодаря чему подвижник, усильно пройдя ступени умного делания, входит в иной порядок бытия, в Славу Божию, входит не только умозрительно, но и душевно-телесным своим составом в Богообщение, становясь «богом по благодати». При аналитическом истолковании этого процесса Хоружий преподносит дилеммы, которые я, например, не в силах разрешить.

Главное понятие, выдвинутое уже не его предшественниками по «православному энергетизму», а им самим, — это *деэссенциализация* человеческой энергии подвижника, то есть отрыв ее от собственной природы (эссенции, сущности) и динамическое устремление к сверхприродной цели. Термин «деэссенциализация» пронизывает все тексты Хоружего[16] как знамя борьбы с органицизмом, холизмом и прочими производными от эссенциального дискурса античной и новоевропейской философии, в рамках которого всякий процесс есть актуализация (развертывание, раскрытие) определенной сущности.

Однако сам наш мыслитель рассуждает здесь, что называется, по Аристотелю, оспаривая его в его же границах, — по Аристотелю, для которого еще не существовало вошедшего в оборот вместе с христианской мыслью понятия личности. Эта мысль научилась различать в человеке личность и природу, притом православное богословие относит человеческую волю вместе с ее энергиями («энергийный образ человека», как выражается Хоружий) именно к природе («сущности»), над которой работает человеческая *личность* подвижника, подчиняя природу возвышающейся над ней иной, личностной воле (о ней говорит св. Максим Исповедник, и она отдаленно напоминает категорический императив Канта) и возводя самую эту природу по милости Божьей к славе. Предшественники Хоружего как правило мыслят о соединении с Богом в *Его* энергиях (см., например, у Вл. Лосского[17]), а не о соединении двух энергий, одна из которых, человеческая, покидает свою «эссенцию», будучи притом ее частью. Устремляясь стать «богом по благодати», человек-подвижник не расстается со своей тварной природой, а *личным* подвигом и ответной на него милостью вовлекает ее в «зону» Божественной энергии, в Свет Фаворский.

---

[16] См., например: «лествица деэссенциализации человеческих энергий» (*Хоружий С.* Опыты из русской духовной традиции. С. 297).

[17] «Удостоенные блаженства *в полноте своей тварной природы* узрят Бога лицом к Лицу» (*Вл. Лосский.* Очерк мистического богословия... С. 117. Курсив мой. — *И. Р.*)

Для чего же понадобилась Хоружему доктрина «деэссенциализации»? Мне кажется, в этом случае им руководили собственно философские интересы. Ему импонировала «смерть субъекта», «смерть аристотелевского человека», «смерть человека» вообще, преодоление человека как всего лишь «моста» и «стрелы» в постклассической европейской философии. Но «аристотелевский человек» (как бы ни был он дорог западной схоластике) «умер» намного-намного раньше. Хоружий в одном месте пишет, что аскетическая практика — это альтернатива обычному порядку существования человека. Но для христианского понимания нет такого *обычного порядка*, нет «чистой» природы человека, о которой мыслил Аристотель: есть еще безгрешная эдемская природа в ее состоянии неустойчивого равновесия и выбора, есть падшая природа, помраченная грехом, и есть природа (в возможности, а для лучших — уже и в действительности) преображенная. И притом всегда остается вечно-длящийся человек, everlasting man, по слову Честертона и вопреки Ницше, ибо истинный Бог и истинный Человек увековечил человека в Своем нераздельном и неслиянном соединении с человечностью. «Деэссенциализация» — слишком философски злободневный, модно-направленческий термин, чтобы отсылать к этой вечности.

Приведу частный пример, сопредельный со знакомой мне областью. Хоружий несколько раз с энтузиазмом упоминает о «глагольном дискурсе»[18], каковым отмечены как «православный энергетизм», так и постклассическая мысль — в их противоположении «именному», эссенциальному дискурсу. Я наткнулась на эту черту применительно к русской модернистской поэтике и описала ее в маленьком исследовании «Свободно блуждающее слово»[19], вовсе не предполагая, какие высокие аналогии могут быть сюда встроены. Здесь Хоружий мог бы найти и деэссенциализацию слова-Психеи (по Мандельштаму[20]), покидающего свое сущностное тело, и перевес глагола над именем, практически манифестируемый постсимволистской поэзией, и орудийность, согласно мандельштамовскому «Разговору о Данте»[21] (у Хоружего, соответственно, *операциональность*), взамен эйдосной статики именования. Все это принесло великие открытия в искусстве, но уже, в общем, миновало, как всегда сменяют друг друга художественные направления. И прямо сейчас я нашла в заслуженно «модной» книге — Дневниках о. Александра Шмемана — мысль о том, как обстоит дело с этой самой «глагольностью» в свете вечной Истины: «Модернизм — это... явление *духовное*, то есть укорененное в каком-то глубоком духовном искривлении... Недаром ключом к искусству (словесному) Каммингс считал *глагол*, то есть что выражает движение, жизнь, то, что он называл «is». Это восстание против статики, но восстание внутренне пустое, ибо «is» без отнесенности к, с одной стороны, *кто* (who is...), а с другой — к *что* (is what...) остается пу-

---

[18] *Хоружий С.* О старом и новом. С. 280.

[19] См.: *Роднянская И.* Движение литературы. М. Языки славянских культур. 2006. Т. 1. С. 250–268.

[20] *Мандельштам О.* Слово и культура // *Мандельштам О.* Собр. соч. В 4-х тт. Т. 1. М., 1993. С. 215.

[21] *Мандельштам О.* Собр. соч. В 4-х тт. Т. 3. М., 1994. С. 217 и др.

стым <...> В пределе — бессмыслица и — что хуже — разложение самого *есть*<...> В модернизме *есть* разлагает то, что призвано оно "являть", ибо являет только само себя: "движение движения". Бог есть предельное, абсолютное совпадение *кто* (Аз), *есть* (Есмь), *что* (Сущий)»[22]. Короче, деэссенциализация грозит быть понята как чистая воля («воля воли» — Фуко о Ницше), как пресловутый *триумф воли* (Лени Рифеншталь), как развоплощение и опустошение, а обóжение — не как совлечение ветхого человека, а как совлечение тварной природы на пути к тому, что уже не есть человек.

Тема эта слишком удобопревратная, чтобы дальше на ней останавливаться без боязни согрешить мыслью. Если даже Вл. Лосский в одной и той же фразе говорит об обóжении, то как о «полном выходе за пределы тварного бытия», то, «с другой стороны» (он так и пишет: «с другой») о «скорее преображении тварной природы тела и духа»[23], становится ясно, что специфический понятийный язык для этих несказуемых опытных достижений до сих пор в так называемой неопатристике не установился.

Уточним лучше некие философские положения из тематического круга все той же деэссенциализации. Здесь господствует, скажем по Соловьеву, форменное восстание одних «отвлеченных начал» на другие. Организмичность, пафос целостности, телеологического развертывания возможностей из их сущностного кода — вся эта эссенциалистская «метафизика» сущего осуждается как противоречащая экзистенциальной динамике бытия. Хоружему, конечно, приходится иметь дело с Павловым учением о Церкви как о Теле Христовом, где лица, к ней принадлежащие, становятся ее членами отнюдь не в аллегорическом, а в органическом смысле; но он как бы ускользает от решительного ответа апостолу, предпочитая отчитывать за пресловутые органицизм и холизм Алексея Хомякова. Между тем в Евангелии среди притч о Царстве Божием есть притчи чисто организмического свойства: о закваске в трех мерах муки (Мф13:33) и о горчичном зерне, разрастающемся до развесистого дерева (Лк 13:19). Так что же, ими опровергнуто то, за что ратует Хоружий? Отнюдь нет. Потому что их следует понимать в единстве с притчей о пшеничном зерне, которое должно умереть, чтобы прорасти и стать той самой «закваской». Эволюционному процессу, органическому развертыванию предшествует разрыв, вносимый экзистенциальной тайной Креста, актом добровольной смерти. Внушаемый Евангелием стиль мысли понуждает принять и правду органической целостности, всеединства, если угодно, и правду экзистенциального прорыва сквозь них — принять и то, и другое в некоей антиномической сопряженности высшего порядка.

Мне недавно пришлось столкнуться с еще одним борцом против метафизики Целого, когда я вздумала отвечать на укоры В. Махлина Аверинцеву именно в этом интеллектуальном грехе[24]. Целое, пишет оппонент Аверинцева, — это идеальная «теоретизированная гармония», «христиански-средневеко-

---

[22] *Шмеман А., прот.* Дневники. 1973 — 1983. М., 2005. С. 519.

[23] *Лосский Вл.* «Видение Бога» в византийском богословии // Богословские труды. Сб. 8. С. 191.

[24] *Роднянская И.* Объект ВЛ: Человек словесный // Вопросы литературы. 2007, № 3. С. 110–111.

вая», «служащая объяснением и оправданием реального миропорядка с его жестокой иерархией власти и социальной стратификацией». В устах Махлина, сокрушающегося, что Аверинцев не вышел «за пределы метафизики», это естественная реакция на «теистическое благочестие» последнего. Вскоре увидим, насколько Хоружий совпадает с отнюдь не единоверным ему Махлиным при выдвижении оппозиции «освящение — обóжение».

Но прежде чем перейти к этому кардинальному вопросу, — еще один рельефный пример того, как работает инструмент «деэссенциализации». Речь пойдет о знаменитом имяславческом споре, породившем сразу три «философии имени» — Флоренского, Булгакова и Лосева. Хоружий полагает, что мыслители, защищавшие имяславцев и не согласившиеся с их церковным осуждением, впали, прости, Господи, в философский грех «эссенциально-энергийного неоплатонического дискурса»[25]. Они считали, что в Имени Божием содержится некая Божественная энергия, независимо от усилий тех, кто это имя призывает. А значит, пришли к космизации и натурализации Имени Божия (эссенциальный момент) и, по факту, — к магизму. И даже — к каббалистической ереси жидовствующих. Справедливо ли было определение Синода, исходившее из куда более элементарной аргументации, сейчас обсуждать не будем. Но и Хоружий со своим выискиванием неоплатонических примесей (кстати, мнение св. Иоанна Кронштадтского он обходит стороной) пошел куда-то не туда, а именно в сторону богословского релятивизма. По его мнению, только антропологический и личностный контекст аскетического усилия делает Имя Божие «местом» Божественного присутствия. Но не все ли это равно, что сказать: икона чудотворна, потому что она намолена (так и говорили иные славянофильствующие). Имя Божие — словесная икона Божества. И оно, хоть и «сделано» из звуков разноплеменной речи, как икона — из дерева и красочного слоя, то есть из относительных, земных материалов, хранит энергию места встречи небесного и земного. Чтобы верить, что произнесение Имени Божия всуе не остается без последствий, не надо быть «жидовствующим». Икона может быть скрыта от глаз и даже поругана, но она остается иконой, способной актуализировать свою энергию, источая дары с верою к ней притекающим; так же и Имя Божие: вспомним о человеке не из числа учеников Христовых, который изгонял этим Именем бесов — Именем, которому не смели противиться злые духи. Что касается магизма, чем и вправду грешили философы имени — Флоренский и Булгаков, он вкрался скорее в их понимание естественного языка, чем в богословие Имени (об этих чертах магизма писала однажды и я в этюде «Схватка о. Сергия Булгакова с Иммануилом Кантом на страницах “Философии имени”»[26]).

Удивительна, однако, вся эта борьба с «космизмом» и заодно с «гармонией» (не менее скомпрометированное слово) на фоне того, что об этом действительно думали великие церковные умы. По учению св. Григория Нисского, вселенная представляет собой единое тело. Тварный мир, по его

---

[25] *Хоружий С.* О старом и новом. С. 24.

[26] В кн.: *Булгаков С.* Первообраз и образ. Т. 2. С. 7–12.

же выражению, — «гармоническое расположение», «дивно составленная песнь в похвалу всемогущей Силе»[27]. Ощущение «космического» никогда не было чуждо духовному аспекту Восточной Церкви, пишет приводящий эти изречения Вл. Лосский и дальше цитирует знаменитые слова св. Исаака Сирина о «сердце милующем»[28]. Напоминаю это потому, что всякий раз, когда Хоружий заводит речь о противоположности «парадигмы освящения» (иератической, статичной, оязыченной и, конечно, «эссенциальной») и «парадигмы обóжения» (энергийной, динамически устремленной, истинно православной)[29], он, как и помянутый Махлин, подчеркивает в церковной космиургии скрытый репрессивный политический аспект, санкционирование и закрепление земного миропорядка.

Между тем само противоположение освящения и обóжения — мнимость, если говорить о внутреннем существе дела, а не об исторической эмпирике, от которой те, кто пламенно желал спасения, бежали в пустыню (тут нашему автору вспоминается статья «Империя и пустыня» о. Георгия Флоровского[30], действительно превосходная). Исихастское сознание никогда не признало «симфонии» и «гармонии», утверждает Хоружий, беря оба эти слова в кавычки. Очевидно, под симфонией понимаются взаимоотношения церковной и государственной власти, — но что понимается под гармонией? «Дивно составленная песнь в похвалу всемогущей Силе» по-прежнему звучит в мироздании сквозь какофонию падшести, и Церковь в своей сакраментальной практике освящает все, что помогает этой песни не заглохнуть. А главное — *освящает причащающихся* Тела и Крови Христовых. И это не предательство неотмирности, не закрепление ущербного порядка вещей, а приуготовление его к движению ввысь, к той самой цели обóжения, которую Хоружий так нарочито отъединяет от освящения вплоть до возведения к разным онтологическим принципам. Как всегда, вероучение Церкви задает нашему уму апорию. «Бог основал вселенную, и она не поколеблется» (1 Пар 16:30; в славянском переводе «не подвижется», возглас входит в православный богослужебный чин). И Бог же, устами тайнозрителя, говорит: «Се творю все новое» (Откр 21:15), — и мы узнаём, что поколеблются, подвижутся даже силы небесные, и в эсхатологической перспективе откроются новые, то есть обóженные, небо и земля. И тот, и другой член апории вмещает в себе Церковь как инобытийное в отношении к миру Тело Христово: в ней происходит освящение всего того, о чем Бог сказал свое «хорошо» и что не погибло в катастрофе грехопадения, — и в ней же совершается начаток обóжения ее членов, тех, кто приобщается к инобытийной жизни, стучится в дверь будущего века.

Хоружий цитирует слова о. Иоанна Мейендорфа о том, что путь молитвенного подвига исихастов и плоды этого подвига *в принципе* открыты для каждого христианина. Неоспоримо это, однако, в силу существования Церкви,

---

[27] Цит. по: *Лосский Вл.* Очерк мистического богословия... С. 53.

[28] Там же. С. 60.

[29] *Хоружий С.* О старом и новом. С. 10, 207–240 и др.

[30] В кн.: *Флоровский Г., прот.* Догмат и история. М., 1998. С. 256–291.

где каждому христианину такой путь только и открывается. Хоружий сокрушается по поводу «присущей Православию тенденции к гипертрофированию храмового и литургического символизма»[31] в его отличии от «непосредственной» исихастской установки на обóжение. Не знаю, что имел в виду автор под «литургическим символизмом», но сердце Церкви — литургия, а сердце литургии — Евхаристия, которая церковными христианами, — не мне же это Хоружему объяснять, — понимается и переживается не символически, а реально.

Сколь бы ни был прав исследователь в отношении Московской Руси, с досадой констатируя, что Стоглав (Собор 1551 года) «полностью подчинил парадигме освящения весь стиль, всю атмосферу русской церковности»[32], — прав он не до конца, ибо где продолжает совершаться преложение Св. Даров, там и освящение, и обóжение; и никакой стиль чинного обрядоверия, никакое ритуальное ярмо не может изменить этот факт. И пустынножительные подвиги были бы невозможны, если бы совершающие их прежде того, чтобы стать причастниками Божественного Света, не были бы причастниками Тела и Крови Христовых. Это именно они, из опыта своего, сложили те молитвы, которые мы твердим, готовясь к причащению — «во очищение и освящение души и тела и во обручение будущия жизни и Царствия», — то есть готовясь и к тому, и к другому из того, что в доктрине Хоружего онтологически разведено. Особенно же звучит трансляцией нам, грешным, интимно-личного, экзистенциального опыта — предпричастная молитва Симеона Нового Богослова, которую, даже очерствев, невозможно читать без волнения. Как не забывает отметить Вл. Лосский, св. Симеон «особо подчеркивает значение таинств в противоположность тому, что можно было бы ожидать»[33]. Читая Хоружего, который непроизвольно отделяет «полноту прямого богообщения» от евхаристической жизни Церкви, этого-то и ожидаешь — прежде всего в виду откровенного равнодушия к не нужной ему по существу экклезиологии. В отфильтрованном остатке оказывается, что передача аскетической традиции от учителя-старца к ученику становится, так сказать, «антропологически» существенней, чем цепь апостольского преемства. Впору снова процитировать Шмемана (запись 1980 года, современная выстраиванию хоружевской аналитики): «Молодые богословы в Сербии строчат диссертации — и все, почти без исключения, о паламизме, о спорах XIV века... Словно ничего другого в Православии и нет. <...> Не *Церковь*, не ее жизнь и не вызов этой жизнью — миру, а только вот этот духовный гнозис». И тут же в дневнике передается восклицание Карташева: «... где Христос, где апостолы, где Церковь? Все затмила собой огромная тень *Старца*»[34].

Возможно, за небрежение к миру, космосу — не только как к лежащему во зле, но и как доступному, под корой этого зла, освящению, совершаемо-

---

[31] *Хоружий С.* О старом и новом. С. 213.

[32] Там же. С. 224.

[33] *Лосский Вл.* «Видение Бога» в византийском богословии... С.193.

[34] *Прот. Александр Шмеман.* Дневники... С. 539.

му не в порядке лишь полуязыческого компромисса, — за этот уклон в богословии несет ответственность вместе с новейшей доктриной деэссенциализации вся та огромная — и философская, и богословская — лакуна, которая образовалась после радикальной критики софиологии Булгакова и близких к ней систем панентеизма. Мы пытаемся размышлять о Творце и творении, не вооружившись философией творчества, впрочем, и вообще у нас отсутствующей, не говоря уже о какой-либо ее догматической выверенности. Флоровский и младший Лосский, борясь с заблуждением относительно сущностной причастности мира Богу, акцентируют *случайность* возникновения мира по произволению Божию, то есть в силу чисто экзистенциального «жеста», «свободного акта Его желания»[35], и Лосский, я бы сказала, даже с некоторым садизмом бросает в лицо Булгакову: «Мира могло и не быть!»[36] (Кстати, о «случайности» сотворения мира, как можно прочитать у того же Лосского, говорит и томист Жильсон[37], то есть это не собственно (нео)патристический тезис.)

Между тем творчество, хоть человеческое, хоть Божественное, не может быть *чисто* экзистенциальным актом, проявлением дистиллированной воли, лишенной предсодержания. Короче, это экзистенциально-смысловой акт. Да, творение — новый сюжет, а не самоповторение творца (Творца) в ослабленной версии; но новый не абсолютно, ибо на этом сюжете начертан автограф творящего, его личная печать. В творчестве падает различение свободы и необходимости, закономерности и случайности. Тем более невозможно приписывать эти категории нашего ограниченного бытия действиям Бога: здесь, думаю, прав Булгаков, а не Флоровский. Акт творения, не понуждаемый никакой внутрибожественной «необходимостью», произволен, но, в силу своей содержательности, законосообразен (возникает «естества чин») и основоположен, — в этом, если угодно, правда «эссенциализма». Панентеизм как присутствие Творца, Вседержителя и Промыслителя в мировой жизни рано списывать на обанкротившийся счет «больших нарративов эссенциальной метафизики». Здесь, вероятно, нужна коррекция, опирающаяся на философию творчества, которая совсем не случайно отсутствует в современной философской атмосфере, заинтересованной скорее в методиках деконструкции и аннигиляции.

Конечно, написанное Хоружим — это тоже своего рода «большая нарация», имеющая, как и присуще таким построениям, — ибо человек слаб, — непременную утопическую грань. Автора остро волнует вопрос о соединении исихастской «практики себя», уединенного умного делания с социальным деланием в миру. И он ориентируется на «монастырь в миру» — общину, руководимую старцем («здесь роль Старца целиком вбирает в себя, объемлет роль Священника»[38]). Опыт подсоветских 1920-х годов, опыт по

---

[35] *Вл. Лосский.* Очерк мистического богословия. С 51.

[36] Там же. С. 42.

[37] Там же. С. 39.

[38] *С. С. Хоружий.* Опыты из русской духовной традиции. С. 49—50.

неизбежности потаенно-катакомбный, изолированный от охваченного ненавистью и отторгающего этот опыт мира, он хочет обратить в опыт всеобще-социального значения и масштаба. Он даже пишет, — как о надежде уже сбывающейся, — о «двуедином процессе» социализации исихазма и исихализации социума. При этом, — о чем я уже говорила, — многократно подчеркивается, что *единственным* обеспечением тут является «христианский эллинизм», соединение греческой патристики с аскетикой. Тем самым постулирован *опытный* (свободный от спекулятивной метафизики) характер грандиозной утопии «самотрансцендирования», пафосом которой охвачен наш автор.

Но если согласиться с тем, что богословие, в первую очередь, опытно (как, впрочем, и философия) и лишь во вторую — спекулятивно, то почему не идти от знакомого всем членам Церкви *евхаристического опыта*? Литургическое и евхаристическое богословие — именно в эту сторону пошел в конце жизни о. Сергий Булгаков, и этот его путь не был ни тупиковым, ни вместе с тем в должной мере пройденным. В Евхаристии предвкушается (и даже вкушается) жизнь будущего века: «...изменил мя еси Божественным твоим рачением, да, ликуя, возвеличаю два пришествия Твоя», — то есть участник Таинства получает благодатную возможность измениться в новую тварь и, что очевидно из формулы о двух пришествиях, выходит за пределы времени, за пределы оппозиции освящения и обóжения. В еще, думаю, не оцененном по достоинству сочинении «Евхаристический догмат» о. Сергий Булгаков пишет: «...Преображение твари, соответствующее Второму пришествию Спасителя, совершается в Божественной Евхаристии *таинственно* <...> То, что совершается в Таинстве, имеет в конце времен совершиться во всем мире, который есть тело человечества»[39]. О. Александр Шмеман, отнюдь не жаловавший в прочих отношениях булгаковское богословие, потратил массу сил и интеллектуальной страсти на раскрытие именно эсхатологического содержания Евхаристии: «Совершаемая *во времени*,.. она во времени являет, предвосхищает и дарует *Царство будущего века*», — и видел застарелое «зло» в «отрыве Евхаристии от ее эсхатологического, но потому и космического и исторического смысла»[40]. Он же пишет «об *опыте Церкви* как единственном “источнике” и “критерии” богословия»[41]. Здесь, как и у Хоружего, звучит слово «единственный», но это все же иная «единственность». «Богословие личности» и соборное богословие, экзистенциальное и органическое не противостоят здесь друг другу. По Хоружему (это из аналитики наследия Хомякова) церковная и соборная природа молитвы «несет характерную печать холизма»[42] — онтологически нежелательного, как легко понять. А ведь центральное евхаристическое событие преложения хлеба и вина совершается в ответ именно на *соборную* молитву, возносимую предстоятелем...

---

[39] *Прот. Сергий Булгаков.* Евхаристический догмат... С. 199.

[40] *Шмеман А., прот.* Дневники... С. 546, 616 соотв.

[41] Там же. С. 508.

[42] *Хоружий С.* Опыты из русской духовной традиции. С. 156.

В только что приведенном суждении о. Сергия верховное слово — *Преображение*. Оно не слишком характерно для текстов Хоружего, хотя входит в лексикон исихии, представленный им в книге «К феноменологии аскезы»[43]. Между тем оно наиболее таинственное и смыслонасыщенное из всех употребительных понятий с мистическим префиксом *пре* (*мета-*, *транс-*) — претворение, преодоление, трансцендирование и т. д. Если возможна и нужна философская рефлексия над догматически укорененными концептами, здесь ей самое место. Преображение, то есть изменение прежнего образа твари — без утраты этого самого образа, — в чем оно состоит? Ведь преображенный, выходящий за пределы пространства и времени причастник Света, он и весь мир созерцает преображенным — в том же Свете будущего эона. Мечта о финальном преображении мира — очень русская мечта, но не языческая и не архаико-мифологическая; взыскующий космизм русской религиозной мысли ничем здесь не провинился перед отеческой верой, и он вряд ли успокоится на учении о «деэссенциализации». (К слову, о. Сергий Булгаков, размышляя над природой «духовного тела» по Воскресении, употребляет выражение «энергетическая телесность»[44], предположительно милое слуху Хоружего.)

Напоследок — некая самодельная апория, почти сказочного свойства, — в связи с мыслями о Преображении. Пророчество Исаии: «... вот Я творю новое небо и новую землю <...> Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис 65:17, 25). Я бы, правда, по прихоти своего вкуса заменила волка или льва на тигра, одну из красивейших и гармоничнейших Божьих тварей (мистик Блейк в знаменитом своем стихотворении даже увидел в тигре что-то вроде аватары Христа). Но вот незадача: тигр — свирепый хищник, растерзает и олененка, и ягненка, коли тот попадется. Можно прочесть слова пророчества просто как аллегорию более совершенной жизни, обещанной социуму, сообществу людскому. Но именно истолкование факта взаимопоедания тварей как закона падшего мира, как ига, наложенного на него по вине человеческого грехопадения, побуждает увидеть в обещанном не риторическую фигуру в гиперболическом духе восточной поэтики, а парадигму Преображения. Не должен же стереться тигр, этот шедевр Божий, с карты нового бытия! Но и не должен же он в будущем веке кровавить и терзать свою невинную жертву! «А тогда это будет уже не тигр», — заметил мне мой собеседник, услышав это рассуждение. Да нет же, тигр, преображенное существо во образе тигра. А как? Это «тайна восьмого дня».

---

[43] *Хоружий С.* К феноменологии аскезы. М., 1998.

[44] *Булгаков С., прот.* Евхаристический догмат... С. 170.

У книжной полки

Евгений ПЛИМАК

КАК ПИСАЛСЯ И ПЕЧАТАЛСЯ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку...». Дневники. Письма.1941–1945 гг.

М.: Вагриус, 2005. — 392 с.

Памяти Марии Илларионовны Твардовской (1908–1991)

Александр Твардовский имел право считать поэму «Василий Теркин» своим вкладом в общую победу народа над врагом во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Эта знаменитая *Книга про бойца* — того самого бойца, который своею жизнью и кровью отвратил от страны страшную беду, — получила в стране небывалое, поистине всенародное признание.

Много сложнее было с отношением к ней со стороны властей.

Как свидетельствует сам Твардовский, поэма под таким заглавием была задумана еще во время войны СССР с Финляндией в 1939–1940 годах, когда Твардовский был на финском фронте военным корреспондентом. Но тогда поэма о русском солдате, о вояке-богатыре удалом, врагов повергающем (общая мечта и замысел многих тогдашних корреспондентов), так и не была написана — дела на фронте шли плохо. Однако наброски к ней, захваченные Твардовским из Москвы на фронт в 1942 году, пригодились для работы над «Василием Теркиным» в 1942–1945 годах. И по замыслу своему, и по исполнению это было совершенно иное произведение, чем то, которое замышлялось в дни «финской войны», — причем совершенно для времен культа Сталина необычное.

Помогала Твардовскому создавать поэму его жена — Мария Илларионовна Твардовская, находившаяся тогда в Чистополе в эвакуации с двумя маленькими дочерьми. Главы своей поэмы Александр Трифонович обычно посылал ей перед их публикацией, замечания ее ценил и учитывал. Письма и записи Марии Илларионовны органично вошли в состав изданной в 2005 году книги Твардовского ««Я в свою ходил атаку...». Дневники. Письма. 1941–1945 гг.». Фактически она эту книгу и создала, сохранив и упорядочив все

Евгений ПЛИМАК — родился в 1925 г. в Москве. С 1943 по 1945 гг. участник Великой Отечественной войны, воевал в пехоте и танковых войсках. После войны окончил Философский факультет МГУ, работал в ряде научно-исследовательских институтов. Доктор исторических наук, автор нескольких книг и многих статей по истории русской и зарубежной мысли. Живет в Москве.

военные материалы в те годы, когда дочери Твардовского были еще слишком малы, чтобы участвовать в ее заботе. А вот теперь обе они — и Валентина, и Ольга — продолжили дело своей матери.

Книга содержит небольшой очерк, из которого читатель узнаёт, что уже в августе-сентябре 1942 года в газете Западного фронта «Красноармейская правда» стали появляться первые главы поэмы «Василий Теркин». Весьма точно отмечена и «некоторая обособленность поэмы от основного содержания газеты». Обычно со страниц фронтовой печати не сходило имя Сталина, ведущего народ к победе; регулярно давалась и подробная информация о «политработе в войсках». Но «в главах "Василия Теркина", печатавшихся на фоне этих типовых материалов, нет упоминаний ни о Сталине, ни о партии. А "политбеседа", о которой герой поэмы рассказывает однажды на страницах той же газеты, исчерпывалась одним-единственным призывом — "Не унывай!"».

Отсутствие в поэме «ритуально-обязательных» упоминаний «о Великом Маршале» авторы очерка объясняют тем, что это «разрушало бы и замысел, и образный строй поэмы о народной войне»... Вместе с тем они считают, что Твардовский, вступивший в партию в дни финской войны, *Сталина в ту пору почитал.* Для него не могло не иметь значения и то, что орден Ленина, данный ему вождем за «Страну Муравию» (в 1939 году), *прервал травлю, которой он подвергался как «кулацкий подголосок»* (12)[1].

Мы согласны, что «ритуально обязательные» упоминания о Сталине разрушали бы и замысел, и образный строй поэмы. Но утверждение, что поэт *Сталина в ту пору почитал* и что *сталинские отличья прервали его травлю,* представляются нам сомнительными. Тот факт, что имя Сталина ни разу в поэме не упоминается, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что скорее всего его отношение к Сталину было уже и тогда весьма критическим. Ведь Твардовский в свои тридцать лет успел уже много повидать в жизни такого, что никак не могло способствовать «почтению» к «Великому вождю всех времен и народов».

Не будем спорить, — да, в годы «великого перелома» Твардовский был увлечен общим порывом молодежи к «переустройству» жизни. Но что крестьян-единоличников загоняли в колхозы силком, знал прекрасно — и вряд ли такой способ одобрял. Кстати, Ю. Буртину Твардовский прямо однажды заметил, что в «коммунию» идти единоличнику никакого резона не было — он без нее лет двести обошелся бы вполне, ибо получил от советской власти землицу, прирос к ней и вполне мог бы своими личными стараниями вести к благосостоянию собственное хозяйство. Но вот государству нужна была именно поголовная «коллективизация» — дабы побольше хлеба получать от деревни.

А. Турков, комментируя трехтомник избранных сочинений поэта, приводит характерный черновик из поэмы «Страна Муравия»:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.

[1] Здесь и далее в скобках указываются страницы книги «Я в свою ходил атаку...».

Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет[2].

В самой «Стране Муравии» поэт рассказал о бесконечных метаниях Моргунка со «своим» все же конем, а его встречу со Сталиным сопроводил даже просьбой своего героя к вождю — оставить ему «хоть один хуторок на всю страну в собственность»! Правда, тогда перед крестьянской болью автор поэмы все же не склонился. Думал, видимо, что «большой хлеб» единоличник не даст. А хлеб и на экспорт шел, и нужен был для пропитания городов, переполненных беженцами из деревень, да и для строителей новостроек. И не поддержал автор мечту Моргунка, сказав ему, полагаем, вполне искренне: иного пути, кроме колхозного, для тебя нет. И строфу написал, безусловно понравившуюся Сталину:

Страна родная велика.
Весна! Великий год!
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед...

Но потом была война с Финляндией, и после нее поэт не мог не ощутить ясное предвестье беды куда большей, чем даже «финская» с ее громадными потерями. Естественно, всех данных, нам ныне известных, он знать не мог[3], но *многих* из той сотни тысяч молодых парней, которых мы положили на финские снег и лед, Твардовский видел собственными глазами. И не мог этого забыть. Вот только одно стихотворение из времен «финской», в котором запечатлена эта горькая память. Но какое это стихотворение!

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...
Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,

---

[2] *Твардовский А.* Избранные произведения в трех томах.Т. 1. М., 1990.

[3] Генерал армии А. И. Грибков в книге «Исповедь лейтенанта. Встречи с полководцами» (М., 1999) приводит такие данные Госвоенархива по «финской»: наши безвозвратные потери — 126 875 человек, общие наши потери — чуть меньше 300 000 тысяч! Немало и финны потеряли: их общие потери дошли до 83 тысяч человек.

Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

И никак, сопережив эти страдальческие строки, не могу я совместить их с тем, что Твардовский *Сталина в ту пору почитал*!

А Великая Отечественная, в которой он участвовал с 1941-го по 1945-й?! Вряд ли добавила она ему почтения к сталинской политической системе — с ее бессчетными народными жертвами, с ее полным презрением к судьбе и личности любого человека. Вряд ли уже тогда не «просветила» она его в этом отношении...

Как мы знаем, поэт ушел на Отечественную войну на второй день после ее начала. Тысячекилометровый «драп» (как выражается Твардовский в записях) вместе с фронтом совершила и редакция его газеты, в окружении побывала вся его 6-я Армия... Все это время поэт воевал и работал одновременно (редакция потеряла несколько сотрудников), своими репортажами, фельетонами, стихами он старался поддержать дух отступавших бойцов. Свои записи 1941 года он утратил, дневник вести был не в состоянии и не выполнил даже «боевое задание», когда под Каневым стал свидетелем гибели Днепровской флотилии. От этого эпизода у него осталось «тяжелейшее впечатление на всю жизнь». Тяжело переживал он и вести о нашем отступлении на всех фронтах. И совершенно не был удовлетворен своей работой.

Но в 1942 году — после несостоявшейся переброски его на Западный фронт (вскоре он оказался на 3-м Белорусском) — Твардовский пришел к выводу: «Война всерьез, и поэзия должна быть всерьез» (90). Прихватил в одно из посещений Москвы наброски к поэме «Василий Теркин», начатой в войну с Финляндией, и приступил к ее коренной переработке. И вот в августе-сентябре 1942 года в «Красноармейской правде» стали появляться ее первые главы...

«О чем бы я ни думал, — записал как-то Твардовский, — я вновь возвращаюсь к мысли об Иване, на которого свалилась вся тяжесть войны» (48). Поэт чувствовал, что сможет написать о российском солдате по-новому, «в 100 раз лучше» (10). Мешали этому многие обстоятельства: газетная текучка, постоянные переезды на новые места, где приходилось както обустраиваться для работы, бомбежки, но прежде всего, — главные редакторы газет. Они требовали «писать в каждый номер» и были против всякого «новаторства». Тем не менее Твардовский сообщил жене, что твердо решил «идти против течения», «напрячь все силы, но делать свой подвиг» (90, 111).

Кредо свое он сформулировал в самом начале поэмы так:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

От этого своего убеждения поэт никогда не отступал. Вспомним главу «Переправа». Не раз редакторы хотели изъять эти горькие строфы. Но автор стоял на своем: война есть война, так ее и изображать надо.

А совсем небольшая история из главы «Кто стрелял?» — я ее правдивость собственным фронтовым опытом могу подтвердить. Хотя отрицать не буду: у нашего реального «*Теркина*» оружие посильнее было, чем у *Василия Теркина* в поэме...

В поэме Твардовского немецкий самолет со страшным ревом устремляется бомбить нашу часть. Раздается команда «ложись!». Но какой-то смельчак ложиться не захотел.

Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшны любой броне.

И одна из пуль смельчака попадает в удивительном этом поединке в нужную точку — немецкий самолет врезается в землю смертельным штопором.

Заслужил и орден Теркин
Это был, конечно, он.

А теперь наш случай. Колонну 973-го стрелкового полка (стрелковый батальон с минбатареей 120 мм), двигавшуюся по полевой дороге под Витебском, приметил «Мессер» — и начал расстреливать. Все из колонны бросились бежать в поле. Все, кроме одного пулеметчика. Он приладил свой пулемет к задней стенке телеги и дал очередь по «Мессеру». И попали его пули — попали немцу прямо в бензобак! Вспыхнул самолет над колонной вместе с летчиком, расстреливавшим нас с кривой ухмылкой, — его лицо ясно нам видно было. А потом взорвался!.. Обломки «Мессера» разбросало по лугу, чадили они дымом черным... Все мы, убежавшие от дороги подальше, бросились, естественно, героя с орденом поздравлять!..

Уже в 1942 году «Василий Теркин» вышел за пределы маленькой фронтовой газеты. «Теркина» стали перепечатывать другие газеты, столичные «Правда», «Известия», да и журналы. Стали по радио читать главы из поэмы, читал Левитан, очень хорошо читал Орлов, приглашали читать и автора. Когда это случалось, Мария Илларионовна в своем далеком Чистополе снимала со стены репродуктор, ставила перед собой на стол: ей казалось, что она разговаривает с мужем...

Поэма представила войну в такой ее правде, была так талантливо написана, что уже в 1942–1943 годах получила поистине всенародное признание. Твардовскому приходило много писем со всех концов страны, но особенно волновали его письма с фронта. Бойцы спрашивали, не живой ли Теркин человек, не может ли автор послать им адрес Теркина: кое-что хотелось бы у него уточнить.

Вскоре Твардовскому официально заявили, что готовится двухмиллионный тираж поэмы: один миллион для фронта, другой — для тыла. 18 сентября 1942-го он пишет Марии Илларионовне: «Теперь Теркин уже есть. Разно-

образнейшие люди проявляют к нему большой интерес... Различные люди, всевозможные голоса, но все говорят одно, что книга хороша. Я понимаю, на нашем безрыбье здесь возможна переоценка. Но факт налицо: я здесь что-то угадал. Есть что развивать, наращивать... Если война не сомнет меня (психически), если я одолею ее мучительным писанием, то я буду серьезный автор и смогу послужить Родине, которая до сих пор сохраняет мою жизнь и даже известный комфорт (поэту даже иногда давали отпуск — пару недель в Москве поработать. — *Е. П.*). За это надо будет платить всю жизнь» (131).

В общем настроение поэта было в конце 1942 — начале 1943 года приподнятым: он понимал, что «Теркин» помогает вести «святую войну, за Родину, за жизнь».

Но уже где-то с конца 1942 года в переписке Твардовского с женой появляются ноты, свидетельствующие о каких-то тревожных изменениях во внутреннем состоянии поэта. «Это чувство именно тревожное, я чувствую, что за этим может идти что-то для меня печальное», — пишет он Марии Илларионовне, отправляя ей письмо с оказией (133, 134).

В 1943 году в зените популярности его книги начинаются и усиливаются нападки на нее — за «недостаточную партийность». В поэме и Родина не обозначена как «социалистическая», и ни слова нет о «руководящей роли партии», и не сказано, что Теркин — солдат «советский». В ЦК поэму читает А. А. Жданов — и делает глупейшие замечания: нельзя, видите ли, в поэме о войне писать о «смерти» — это «обреченность». И о нелегкой жизни народа перед войной тоже нельзя писать; и даже пословица народная выброшена из поэмы — слишком «груба», мол : «Был штыком задет в атаке, зажило как на собаке»... В газетах и журналах редакторы умудряются выбрасывать лучшие строфы, бесконечно правят и правят...

9 сентября 1942 года Твардовский делает запись о последствиях тяжелейшего разговора с секретарем СП А. А. Фадеевым: «Упадок духа, нездоровье, плохой сон с кошмарами и пробуждением в поту. Иной раз так плохо, что уже кажется — будь мирное время — кончил бы все это» (126).

Позиция Фадеева отражена в примечании к текстам (время — весна 1943-го): «Выступая в СП, Фадеев признался, что “поэма отвечает его сердцу”, но, находясь в руководстве СП и будучи членом ЦК ВКП(б), “надо следовать не влечениям сердца, а партийным установкам”» (387).

Тот самый А. А. Пузин, который официально уведомил Твардовского 21–22 ноября 1942 года о «двухмиллионном тираже» для «Василия Теркина» (он был тогда начальником Отдела пропаганды ЦК ВКП(б)), в 1943-м становится руководящим лицом на Всесоюзном Радио и уже не допускает к микрофону лучшего чтеца «Теркина» Орлова, как и самого автора. Ему, видимо, известно кое-что о «мнении ЦК»: и «степень героизации героя» не та, и с «какой-то внутренней свободой он» у поэта вышел, да и говорят, что хватит твердить о солдате, — «солдат сейчас не в моде» (169, 189, 387).

29 января 1942 года Твардовский пишет жене: «С “Теркиным” у меня по-прежнему радости мешаются с огорчениями... Тупость и зловредная недоброжелательность чиновников окачивают меня, как холодной водой, разгоряченного похвалами друзей и благодарностью читателей. ...Потом кажется, что в сущности мое дело писать, а не по начальству ходить» (164).

В этом состоянии Твардовский начинает иногда заниматься даже самоцензурой. Убирает из раздела «От автора» прекрасную строфу о бездарном начальстве, выбрасывает из поэмы строчки о Василии Теркине: «В самый раз подходит он — На российского солдата — Всех кампаний и времен» (181, 178). Но сдавать принципиальных позиций поэт — теперь уже подполковник Твардовский — вовсе не собирается. И не просто продолжает писать «Василия Теркина» в своем духе, но совершает поступок для подполковника войск политических поистине невероятный: *вообще отлучает* Сталина от народной войны. Самого Верховного Главнокомандующего!

Впервые он это сделал, впрочем, еще в главе «Командир», никуда не пошедшей (поэт описывал наступление, когда наша армия повсюду отступала). Затем, когда с первыми нашими победами пришло время для публикации главы, он включил «Командира» в главу «В наступлении». И Мария Илларионовна сразу поняла значение такого переноса (он послал ей «Командира» раньше). Вот выписка из ее письма от 21 мая 1943 года: «Спасибо тебе за главу "В наступлении"... Прекрасно встал в этой главе знакомый мне ранее лейтенант... Очень хорошо стоят стихи "Взвод!", "За Родину!", "Вперед!". Это во всех трех случаях» (186, 187).

Рассмотрим эти *«три случая»*.

Первый — это когда генерал, «владыка боя», склоняется в своем блиндаже над картой и достает часы:

Хлопнул крышкой, точно дверкой
Поднял шапку, вытер пот ...
И дождался, слышит Теркин;
— Взвод! За Родину! Вперед!
И хотя слова он эти —
Клич у смерти на краю —
Сотни раз читал в газете
И не раз слыхал в бою, —
В душу вновь они вступали
С одинаковою той
Властью правды и печали,
Сладкой горечи святой;
С тою силой неизменной,
Что людей в огонь ведет,
Что за все ответ священный
На себя уже берет.
— Взвод! За Родину! Вперед!

Поднятый этим «кличем у смерти на краю, что людей в огонь ведет», бросается и Теркин вслед за своим лейтенантом, а когда тот вдруг падает, сраженный, и нет сомнений уже, что он не ранен, а убит, все та же «неизменная сила» заставляет Теркина «за все ответ священный на себя уже» взять:

И увидел, понял Теркин,
Что вести его черед.
— Взвод! За Родину! Вперед!

И доверчиво по знаку,
За товарищем спеша,
С места бросились в атаку
Сорок душ — одна душа.

Так завершается этот эпизод, когда Теркин своим призывом, своей безоглядной готовностью принять и на себя «за все ответ священный», поднимает в атаку свой взвод и первым врывается в село.

Но героический поступок совершает в этом эпизоде поэмы не только Теркин, но и подполковник Твардовский: он в призывном кличе лейтенанта, повторенном Теркиным, устраняет, убирает имя Сталина! Да еще представляет дело так, что именно те слова, что выкрикнул лейтенант — «Взвод! За Родину! Вперед!», — то есть слова призыва к атаке без всякого упоминания имени Сталина, Теркин именно и читал «сотни раз в газете», а потом «слыхал в бою». Так *официальный и абсолютно непреложный идеологический канон был начисто устранен из поэмы!*

Мы помним слова Твардовского о том, что ему нужна лишь «правда сущая». И вот что я, сам провоевавший два года Великой Отечественной в минометчиках и в танковой разведке, могу и должен засвидетельствовать. Цитированные строфы полностью отвечают этому кредо. Твардовский и в этой сцене абсолютно правдив и точен: именно так, как он рассказал, и было на фронте. За два года пребывания на передовой я вообще никогда не слышал ни среди солдат, ни среди офицеров каких-либо разговоров о Сталине. Разговаривать на эту тему все интуитивно боялись. С любой крамольной проговоркой о Сталине человек мог загреметь в штафбат или даже на тот свет. И в атаку бойцов поднимало не имя Сталина, а классический русский мат. Как засвидетельствовано это и у Твардовского — что мат и был на фронте «заменой стольких слов» (162). И —

Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

Партийные чиновники не могли пройти мимо вольностей, допущенных поэтом-подполковником политических войск Твардовским по отношению к имени Сталина. И вот 22 декабря 1943 года в письме Г. М. Маленкову, секретарю ЦК, кандидату в члены Политбюро, А. Т. Твардовский, вызванный в Москву, но так и не добившийся у Маленкова аудиенции, сообщает о своем «несчастье»: с поэмой, нашедшей «успех у читателя», произошло «нечто непонятное и не разъясненное мне до сих пор». На поэму пала тень неизвестного, но, видимо, столь авторитетного осуждения, что она вдруг запрещена к передаче на радио, вычеркнута из плана Воениздата, а «журналы, обращаясь ко мне, просят что-нибудь "не из «Теркина"!» И даже редактор фронтовой газеты, где главами печатался «Теркин», «попросту мне сказал: "Кончай"!» (214–216).

Мы не знаем точно, что происходило наверху, — то ли просто доложили Верховному о «вольностях» подполковника-поэта, то ли Верховный нашел

время сам поэму прочесть и вдобавок к крамольному «В наступлении» нашел в книге еще какие-то крамольные места, но, похоже, последовало распоряжение: «"Теркина" писать — повсюду запретить». Хотя конфликта с Твардовским раздувать Верховный не стал. Поэт все же выражал в поэме и советской власти, и ЦК полное почтение. К тому же отсутствие имени Сталина в главе «В наступлении» вовсе не означает, что Твардовский вообще во время войны о Сталине не писал. Писал, когда получал соответствующие указания.. Например, «Легенду о Москве» (ее превратили потом в «Балладу о Москве»). Правда, такое писание шло у него туго, в то время как писавшееся по вдохновению, — например, глава «Смерть и воин», — сочинялось быстро и споро.

После указания *запретить «Теркина» писать*, спущенного через Щербакова (над ним никто не стоял, кроме самого Сталина), никаких других указаний «сверху» не последовало. И поэт, так и не добившись приема у Маленкова и оказавшись в непонятном положении («Теркина» ему писать запретили, но не вообще же писать!), в Рабочей Тетради записал 19 января 1944 года: «Теркина до поры до времени мне не "рубать"» (226). И тут же приступил к работе именно над «Теркиным»! — в тетради тут же значится: «сегодняшний набросок главы "Теркин на том свете"»!

Так — еще во время войны — поэт начал писать антисталинскую сатиру, появились ее первые 5–6 строф: «В установленном порядке / Получив прямой билет, / Без единой пересадки /Теркин прибыл на тот свет...»

19 февраля, собираясь на совещание в Москву, Твардовский заносит в тетрадь: «Попробуем написать поэму о том свете...» (222). И 8 марта вроде бы появляется даже небольшой отрывок новой поэмы: «Но над каждым генералом, / Кто бы ни был он такой, / Есть другой — Большой над малым... / И над тем еще другой./ И над тем еще постарше, / В три шеренги ордена. / А над самым старшим — маршал. / И над маршалом — война» (230).

Эти строфы доказывают (да и некоторые литературоведы так считают), что «Теркина на том свете» Твардовский начал писать еще на фронте. В сущности, это неоспоримый факт. И даже можно предположить, что замысел новой поэмы начал вызревать еще до конфликта поэта с Верховным. Выяснить это нам поможет Главлит, а мы его поблагодарим...

Сталинская военная цензура, нюхом своим почуяв что-то неясное, но явно крамольное в поэме «Василий Теркин», еще 21 января 1943 года в Приказе № 3/52с уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати и начальника Главлита Н. Садчикова указала: «Запретить опубликование в печати текста из поэмы Твардовского "Василий Теркин" (часть вторая) "От автора" от строки: "Друг-читатель, не печалься..." до "Пушки к бою едут задом, — Это сказано не мной"»[4].

Но, как известно, именно эту крамольную присказку А. Твардовский повторит в поэме «Теркин на том свете», написанной уже после смерти Сталина. Причем повторит троекратно.

В начале поэмы: «Пушки к бою едут задом, — Это сказано давно...»

Ближе к концу — чуть в ином варианте:: «Пушки к бою едут задом. — Это верные слова...»

---

[4] Цит. по: *Буртин Ю.* Исповедь шестидесятника. М., 2003.

И, наконец, слова, венчающие «Теркина на том свете»: «Пушки к бою едут задом, — Было сказано не зря».

Характерно, что и во всех текстах более раннего «Василия Теркина» поэт самовольно восстанавливает эту присказку, которая была запрещена цензурой в начале 1943-го и которая тогда звучала так: «Пушки к бою едут задом, — Это сказано не мной».

Все это свидетельствует, несомненно, не только о том, что, восстанавливая эти слова, поэт явно издевался над цензурой, но и о том, что образ этот был очень ему важен. А. Л. Гришунин справедливо замечает в этой связи, что «озорной рефрен» «был с очевидным многозначным подтекстом в духе русского простонародного юмора». Любопытно и то, что «все старания найти источник этой шутки оказались, — как сообщает он же, — напрасными. По словам М. И. Твардовской, жены поэта, шуточная фраза ниоткуда не заимствована, сочинена самим Твардовским и снабжена неопределенно ложной отсылкой»[5].

Итак, идентичность строк, запрещенных цензурой в начале 1943-го в «Василии Теркине», со строками послевоенного «Теркина на том свете» тоже может свидетельствовать, на наш взгляд, о том, что замысел будущей сатирической поэмы, в качестве смыслового ключа к подтекстовому содержанию которой и предназначалась придуманная Твардовским присказка, возник уже во время работы над «Василием Теркиным».

Но почему же замысел поэмы от его реализации отделяет добрый десяток лет?

Думаем, что каким бы неоднозначным и критичным ни было отношение Твардовского к Верховному уже во время войны, особенно — после запрета писать «Теркина», поэт не мог не понимать: любая сатира на сталинские порядки в стране вряд ли могла способствовать в те годы Отечественной войны нашей победе над врагом. А это было для Твардовского главное. Да и сам автор такой сатиры был бы, конечно же, немедленно стерт с лица земли известными органами. Не принял бы сатиры на вождя и народ — культ Сталина еще не был расшатан.

И тем не менее в Рабочей Тетради Твардовского все время появляются характернейшие записи, свидетельствующие о том, что замысел «Теркина на том свете» не оставляет поэта.

Вот запись от 9 апреля 1944-го: «*Может быть, еще до конца войны напишу для себя "Теркина на том свете"*». Это существенно и сулит многие возможности» (235). Очень выразительно здесь это «*для себя*». Поэт отдает себе, стало быть, отчет в том, насколько *крамольна* должна была быть будущая поэма.

Аналогичная запись от 20 апреля: «*Для себя, может быть, удастся написать на том свете*» (256).

Потом вроде бы про «Теркина на том свете» поэт совсем забывает. Но вот запись 1945 года — она опять показывает: нет, не забыта поэма, просто работа над замыслом отодвинута: «*Может быть, и не сейчас — Теркин на том свете*» (курсив везде мой. — *Е. П.*) (326).

---

[5] *Гришунин А.* Творчество Твардовского. М., 1998.

В нашем литературоведении существует довольно устоявшееся представление об очень долгой эволюции поэта в отношении к Сталину. Но не возникает ли в свете приведенных текстов мысль о том, что критическое отрезвление в отношении Твардовского к Сталину и его системе, бессчетное число бойцов всех возрастов губившей уже с первых лет войны и на всем ее протяжении, началось у Твардовского много раньше, чем он познакомился со знаменитым докладом Хрущева на XX съезде партии? Неужели не видел и не понимал он, сколько народной крови было пролито из-за сталинских просчетов в 1941—1942 годах, да и из-за его преступных действий в 30-х и во времена коллективизации?! И не было ли все дальнейшее время жизни поэта временем ожидания, как и когда обо всем этом можно будет сказать во весь голос?

Поищем аргументы в пользу такого предположения. Но до этого рассмотрим последние, труднейшие годы пребывания поэта на фронте, а затем обратимся к самому интересному, пожалуй, в его книге моменту...

Последовавшее «сверху» указание Верховного прекратить писать «Василия Теркина» очень тяжело отразилось на дальнейшей фронтовой судьбе Твардовского. Только ныне, благодаря публикации фронтовых записей поэта, мы можем реально представить себе и понять драму поэта в 1943—1945 годы. О поэме Твардовского, такой нужной фронту, все сразу будто забыли: по радио ничего не передают, в печати нигде ничего нового не появляется. И письма фронтовиков к Твардовскому тоже уже не приходят. 18 января 1944 года он пишет Марии Илларионовне: «Так-таки ничего не слышно про Васю. А продолжать писать я как-то уже не мог»! (227).

Твардовского одолевает *депрессия,* он пытается с нею бороться чтением Томаса Манна, старается крепиться: «Не страшно, а даже приятно, что Теркин затягивается окончанием, что впереди еще и еще раз возможность над ним поработать будет, поискать чего-то»; не надо останавливаться на «прошлогодней полуусловной точке», которую себе «поставил было» (237).

И все же кое-что Твардовским написано и в этот нелегкий период: «Фронтовые наброски», глава «над Днепром». Но все наработанное он считает лишь «черновиками», которые потребуют переработки (227, 229 и др.). Делает какие-то наброски даже и «Теркина на том свете» (226). «Настроения, мысли (в начале 1944-го. — *Е. П.*) все исключительно грустные, как будто я уже совсем стар и ничего не успел...» Но надежда остается: «В работе, может быть, еще я воскресну» (225). Весной 1944-го он набрасывает несколько вариантов главы «Смерть и Теркин» (232—234) и 2 мая 1944 года снова пишет: «Незаконченность Теркина... не в тяжесть, а в радость... что-то дозревает в тебе, и это ему не во вред» (239).

Кой-какие просветы начинают появляться и на издательском горизонте. В результате «собственных скромных усилий» заключен договор с Воениздатом на издание «избранного Теркина». Но 3 мая 1944 года жена сообщает, что ей надо кое-что согласовывать с редакторами по отобранным главам, и она воюет с ними «в ужасе»: «лучшее выбрасывают из глав; был бы ты здесь — все бы сам исправил» (237, 245). Как вспоминала позже Мария Илларионовна, «изымалось всякое упоминание о гибели и смерти»; с точки зрения военной редакции, «советская армия представляла собой в полном

смысле слова коллектив бессмертных бойцов» (246). Так что все еще пока на ниточке висит, — да и денег у семьи нет, нет и полной определенности. А главное — у самого Твардовского «еще нет вполне уверенных, обязывающих строк» (248). Марии Илларионовне поэт пишет: «Поменьше ты убивайся над этими делами»; «Вся печаль в том, имеет ли все это серьезное значение или только предварительное, внутрииздательское» (249).

Правда, во главе газеты, где работает Твардовский, уже новый, «либеральный» редактор — сам литератор. Побывав в Политуправлении фронта, привозит хорошие вести: велели III часть «Теркина» печатать в газете, и будет дана даже передовая о «Василии Теркине»![6]

16 июня 1944 года Твардовский сообщает жене с оказией, что «ездил благополучно на передовую», но добавляет, что у него начался кризис творчества: усталость «то ли личная, то ли всеобщая», и «это все перешло все нормы» — «материал не дает прежней искры», если его берешь «в его прежнем военном плане». Хочется нормальной жизни, хотя кроме как о войне писать не выходит, а ее — «не могу понять до конца».

«Настроение у меня среднее, порой плохое... трудно... мучительный период в работе». «Ничего не пишется», — жалуется Твардовский. Ясно, что старого «Теркина» *менять как-то надо*, а как менять, — не знает. Хотя уверен, что Теркина нельзя делать «офицером» — он утратит главное: «свободу души, речи, поведения, характера» — то есть то, без чего «ему 15 коп. цена»! И обращается за помощью к своей постоянной наставнице: «Об этом *еще поговорим*, я только *даю тебе тему для размышления*. Это все работа в конечном счете...» (251–252).

И Мария Илларионовна пишет в ответ уже 17 июня 1944 года: «Ты мне дал непосильную задачу... Милое мое дитя, как ты не мог бы за меня родить, так я не могу за тебя решить». Но тут же и дает совет: все это тебе надо решать не в голове, а в работе, «*окунуться с головой в работу*». Только так прояснится, делать Теркина офицером или нет. И тут же добавляет свое твердое мнение: «Во мне говорит консервативное начало» — «пусть он останется до конца войны рядовым». Спрашивает у мужа и сама же отвечает: «Может ли человек, три года варившийся в огне и дыму... все с той же шуткой-прибауткой дожидаться конца войны? Может, но *поумнеть он должен, как другой за 10–20 лет*... Словом, *он тот же, да не тот*». А «офицерский чин — это внешний атрибут» — «посуди, *от офицерского ли чина зависит его облик*? Нет... Но что Теркин твой *должен постепенно меняться — это закон и поэтический и жизненный*» (253).

Бог ты мой, какую же мудрую советчицу обрел поэт в своей жене! И еще конкретнее указывает она ему, что надо делать: «пиши, что пишется, что хочется», «пиши новые главы, не прикидывая особенно». К каким-то частям ничего привязывать не надо, а «новый барьер» брать придется силой. Но «не обижен, брат, ты силой, мы признать должны», — цитирует Мария Илларионовна «Теркина». «Сам ты в эту болезнь вошел, сам из нее и выйдешь. Я твердо знаю одно: ты с делом справишься, ты замечательный поэт;

---

[6] На с. 242 книги — фото: 23 мая газета 3-го Белорусского фронта напечатала передовую «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН».

в твоей работе ты железный, терпения у тебя на сорок монастырей хватит. Больше веры в себя, меньше раздражения на окружающее, на мелочи, все постепенно войдет в норму, постепенно ты овладеешь материалом, сосредоточишься на нем, и он покориться тебе» (252–254).

Пока идет вся эта переписка, на фронте происходят гигантские изменения. В дополнение к Белорусским фронтам, нацеленным уже на Берлин, приходит в движение наступательное громада 1-го Украинского на Львовском направлении. И враг переживает теперь то, что русские пережили в 1941-м. С восхищением описывает Твардовский в Рабочей Тетради «школу самой войны», в которой и ему приходится учиться. Он вечно в движении, настроение поднимается, хотя работать очень и очень трудно. А тут еще «наградные огорчения» одолевают: в Москве плетутся интриги вокруг предстоящих литературных премий, а у Твардовского нет для поэмы конца! Впрочем, Мария Илларионовна, сообщая мужу обо всем происходящем в Москве, советует не унывать. Но он напоминает ей: «Все дело в том, как ты знаешь, будет ли на Теркина полное разрешение. Он ведь так и ходит *полуразрешенный*» (курсив везде мой. — *Е. П.*) (339).

Возвращаемся к середине 1944 года. Твардовский, видимо, получил письмо жены от 17 июня и в Рабочей Тетради своей записывает 30 июня: «Настроение — писать все, что идет под руку, — наступление обязывает так же, как некогда горестный и страшный отход». Кризис его явно проходит, и по существу об этом же он пишет и Марии Илларионовне: «Мне всерьез кажется теперь, что уже скоро, скоро! Я испытываю сейчас хороший подъем духа, беззастенчивость относительно планов и замыслов и желание только с доброй нагрузкой на своем посту служить, как положено в такие дни. Там будет видно... Как я хочу видеть наконец "Теркина" в книжке!» (260–264).

Рабочая Тетрадь, 7 июля 1944 года: «Уже очень далеко в глубине Белоруссии... Ощущение близости — немцы, окруженцы» (265).

15 июля: «Выход на гос. границу дело 2–3 дней» (267).

16 июля, Твардовский — Марии Илларионовне: «Я в таком непрерывном движении, что не нужно удивляться, если и подолгу не будет от меня ничего... от редакции всегда почти на 100–200 километров... дело близко к концу» (269–270).

В Москве, судя по письмам М. И., дела, хоть и не всегда, идут тоже к лучшему. Письмо от 17–18 июля: «Отправляю тебе первый экземпляр Теркина (Воениз)... В Детгизе изменения... книжка по каким-то причинам у них заморожена и заморожена прочно».

О Теркине в «Гослитиздате»: «...Книжка печатается, и с ней все благополучно... Я так думаю, что тебе прямо-таки необходимо прислать мне что-нибудь великолепное, пафосное... Только в этом случае пойдут и "Солдатка", и "Третье лето" — в "Знамени"» (270).

«Сказочно-успешное» наступление меж тем продолжается, — поэт посещает освобожденные Вильно, Гродно (270–271). 26 июля он пишет: буду ездить теперь не так много, думаю «написать здесь что-то из "Теркина"...», — это будут те две главы, которые после себя потребуют «лишь заключительной» (274–275).

Но — снова кризис!

Рабочая Тетрадь, 28 июля: «На столе... приятный беспорядок и умеренная захламленность... писать и писать, но *пишется мало и на очень заниженном уровне*». И еще: «*Почему так устала душа и не хочется писать, надоела война?*» (276).

Там же, 29 июля: «Опять к переезду... И это хорошо». И тут же: «*Вряд ли, кажется сейчас, можно будет вести Теркина в этот период и дать ему развернуться. Он родился в иной срок... М. б., все удастся, только уж это нельзя на ходу... И, конечно, он не офицер*» (278–279).

3 августа: «*Есть что записывать, от чего входить в работу, но еще нездоров*» (курсив мой. — *Е. П.*) (284).

13 августа: «Недомогание (не дизентерия ли?), помехи... В голове — о Теркине (вчера в бане; настоящая радость бани только в наступлении) и о миниатюрах "Из дневника" или в этом роде. На большее даже по размеру не хватит сил. А строчки, мысли, ходы подверстываются, и необходимо изучить новые размеры» (289–290).

И вот неожиданно проявляются мысли о предпоследней главе. 22 августа: «Хотя собирался развивать и улучшить стихи о границе, написал вдруг шуточную поэтическую зарисовку — "Теркин, Теркин, в самом деле /не пора ль давать отбой?/ Замечаешь, устарели, /Надоели мы с тобой... / Замечаешь, при отходе, как сдавали города, / Больше, Теркин был ты в моде, / Больше славился тогда. .../И по странности, бывало, /Одному тебе почет. / В отступленьи генералы / Как-то были все не в счет.../ Срок иной, иные даты. / Над Москвой гремит салют./ Города сдают солдаты, / Генералы их берут.../ Теркин, Теркин, век военный, / Поразмысли, рассуди, / И по службе непременно / В генералы выходи.../ Нынче речи о Берлине, / А тебя и нет в помине"».

Так нащупывается вроде бы концовка поэмы, поэт это понимает — и не понимает: «Очень черно, но близко к делу. Моя точка зрения не должна быть этой, но и этой и другой». А генералы — «в большинстве Теркины» (292–294).

4 сентября в Рабочей Тетради: «Все так не просто, что впору отчаяться, — нечем кончать начатое когда-то, в разное время!» (297).

Так проходит сентябрь, октябрь, пишется «Дом у дороги», а вот от окончания «Василия Теркина» поэт вроде бы вообще отказывается, его бросает куда-то в сторону и — в новый кризис!

Из записей поэта в Рабочей Тетради, 18 и 21 октября 1944-го. Снова «чувство близкой главы Теркина и опасности, что день за днем вылетают зря...» «Начал стихи о полном освобождении Советской земли. Какая отрада, если *получится что-то не теркинское* и не в заезженном духе отрывков "Дома". *А Теркин, бог весть, м. б., он написан и даже переписан (сверх), и не в логически-историческом его закруглении дело*» (курсив мой. — *Е. П.*) (305).

Но что-то «не теркинское» — тоже не получается! И идет «чтение всеядное, равнодушное, не глубокое» книг самых разнообразных — Айхенвальд, Мопассан, Ипполит Тэн, Суворин, воспоминания об Андрееве... Совсем не рабочее настроение: «Лень и тревога» (304–305).

Рабочая Тетрадь, от 4 ноября 1944-го, поэт в Москве наездом: «Отрадное чувство возвращения к себе, способности к труду и замыслам, к терпению и мечтам». Восхитительно это... Но пишется не Теркин, пишется но-

вый вариант стиха «Возмездие»! И происходит, видимо, какая-то ссора с женой, — она появилась в Москве при его наезде (не из-за отказа ли поэта продолжать «Теркина» была ссора?).

Из Рабочей Тетради 8 ноября: «Из этой поездки в Москву увожу, по-видимому, не только примирение с Машенькой». Из Москвы увозит поэт «и новое решение о работе, которое, даст бог, излечит меня от скуки и пьянства» (307).

В начале 1945 года выяснится, из-за чего поэт ездил в Москву, — хотел устроиться в редакцию «Красной звезды», а улетать пришлось с «неопределенным решением» и «запозданием».

Но письмо к жене от 17 декабря говорит, что с ним опять далеко не все в порядке: «Телеграммы все нет... выезжал на фронт... Сил нет, дух ослаблен, мысль притупилась, надоело все, что требуется, и нельзя того, что, может быть, хотелось бы. И писать тебе письма с такими жалобами тоже не хочется, у тебя своих тягот довольно» (310). Но письмо от 22 декабря приносит и некоторое успокоение: предыдущее письмо наполнил «всякими мрачностями. Сейчас спешу сообщить о некоем подъеме настроения в связи с сообщением о грибоедовской комиссии» (что за комиссия, неясно пока, но ясно, что поэта собираются вызвать в Москву. — *Е. П.*) (307).

Наступает год 1945, все решающий: и конец войны, и взятие Берлина, и вопрос о наградах, — ведь «Василий Теркин» находится пока в совершенно незавершенном состоянии! А поэта, который собрался было в Москву, туда не пускают. Его начальство, сообщает он Марии Илларионовне 5 января, приказывает «отъезд отложить». И еще добавлено в письме: «Становлюсь мнителен насчет здоровья: все кажется мне, что у меня что-то не в порядке, плохо сплю, легко простужаюсь и т. д.» (319–320).

9 января поэт, оставленный на фронте, пишет жене: «Не спрашивай меня о писании... может быть, что-нибудь получится... но я вновь переживаю мучительнейший период, как перед “Теркиным” в 1942 году». И объясняется жене в любви : «Ты моя единственная надежда и опора. Поцелуй крепко дочек...» (322).

Рабочая Тетрадь Твардовского, 10 января, снова: «Очень не пишется». А 14 января Мария Илларионовна сообщает Александру Трифоновичу, который не приехал в Москву, о каком-то звонке Молчановой, после которого «не могла уснуть и представляла, как быстро забудут автора неоконченной поэмы “Василий Теркин”, снисходительно отдав должную дань таланту автора в некрологе». Но все это позади, она твердо уверена, «ты жив. Случилось что-то, но ты жив» (324).

20 января Твардовский пишет: «Я никаких телеграмм уже не жду, ни на что не надеюсь... Если у меня сейчас глава “Теркина”, над которой я сижу, получится, то и не такие огорчения забуду» (325).

В Рабочей Тетради от 25 января (только для себя писано), поэт радостно подтверждает: «Вновь обратился к Теркину, точно к доброй и честной старой жене после попыток связаться с молодыми б...!» «Наконец, может быть и не сейчас, — Теркин на том свете! И заключение...» (326).

4 февраля от Марии Илларионовны — Александру Трифоновичу: «Чрезвычайно радует, что ты опять с “Теркиным”» (330).

Наконец, 20 февраля, после поездки в наступающие 5-ю и 31-ю армии и в города, очищенные от немецких войск, и после разных «анекдотов» о насилиях и ненасилиях, после Грюнвальда, появляются удивительные строки из предпоследней главы: «По дороге на Берлин / Вьется серый пух перин. / Пух клубится из перин!»

В письме Твардовского от 20 февраля содержится такое заверение: «Я все это выдюжу и очень хочу выдюжить, у меня есть самолюбивая мысль, что я о многом и многом могу сказать так, как другие не скажут, если со мной что случится» (333). А в примечании на стр. 336 сообщается, что 28 февраля и 3, 9, 14 марта пишутся наброски к главе «По дороге на Берлин». Более того, 16 марта Александр Трифонович сообщает жене: «Утром сегодня, вспоминая под впечатлением вчерашней бани всякие бани, где я мылся на войне, решил вдруг писать главу "В бане"». И дается разъяснение: «Голый народ в бане. И на всех — отметки, знаки, рубцы, что в боях прошли вояки» (349–350). А уже к концу месяца марта[7] — глава готовая «В бане»! (358). Заключительная в поэме? И обе — последняя и предпоследняя — посланы Марии Илларионовне.

Да нет, не последние это главы. 12 апреля Твардовский решает: «На том свете» «может быть главой дополнительной» — будет «лирикой и философией этой войны». Пишется некая заготовка, посвященная павшим и заканчивающаяся такой строфой: «Завещаю в той жизни / Вам счастливыми быть / И родимой отчизне / С честью дальше служить» И к этому: «Но я боюсь, что все это ахинея» (370, 373)...

Как в воду глядел: не получилось это новое заключение. О об этой задуманной, но несостоявшейся последней главе, потом переделанной и перенесенной из «Василия Теркина» в «Теркина на том свете», Мария Илларионовна знала и написала впоследствии, что глава «*трансформировалась в послевоенные годы*» как сатирическая, воплотившись в «Теркина на том свете» (курсив мой. — *Е. П.*) (371). Но так ли точна такая информация, всю ли правду она перед нами приоткрывает? Ведь Мария Илларионовна хранила наброски «Теркина на том свете» военных лет, и, значит, точнее было бы сказать, что в послевоенные годы поэт *вернулся* к своему замыслу военных лет.

Но, с другой стороны, легко представить себе, что стали бы говорить тогда о Твардовском: смотрите, в самые тяжелые годы войны он, оказывается, не усомнился замыслить что-то чуть ли не против самого Верховного! Твардовский и без того подвергался ведь самым ожесточенным нападкам и самой злобной травле до конца жизни. Вспомним хотя бы, как кочетовский журнал «Октябрь» предоставил в своем юбилейном номере слово поэту Владимиру Фирсову и тот, имея в виду «Новый мир» Твардовского, заявил на всю страну:

Власовцы духовные родятся!
Мужики об этом знать должны[8].

Но вернемся в весну 1945 года. «Василий Теркин» все еще не закончен, а в Москве между тем происходят заключительные заседания комитета по

[7] В книге публикуется снимок страницы из тетради.

[8] «Октябрь». 1966. № 6.

Сталинским премиям, и сам Сталин решает, что — кому. Литературно-партийные бюрократы пытаются воспользоваться неопределенностью с окончанием «Василия Теркина». Зная о конфликте Верховного с подполковником, определяют «Теркина» на сталинскую премию *второй степени*, а затем *вообще выбрасывают* Твардовского из списка награждаемых. Но не учли ретивые, что Сталин любил покуражиться — и с жизнью и смертью людей, и с наградами: великим актером был этот тиран.

И произошло нечто, о чем Твардовскому потом рассказал Фадеев. Как будто бы Сталин, сквозь контроль которого проходили кандидаты в лауреаты, именно им в конечном счете и утверждаемые, не обнаружив в списке за 1944–1945 годы Твардовского, высказал удивление. Ему объяснили, что автор еще не закончил поэму, главы которой продолжают печататься. «Не думаю, чтобы он слишком испортил ее при окончании», — сказал Сталин и своим карандашом вписал Твардовского в список представленных к премии 1-й степени. Постановлением СНК СССР от 26 января 1946 года А. Т. Твардовскому была присуждена Сталинская премия 1-й степени за поэму «Василий Теркин» (393).

Получилось все так, как предвидела Мария Илларионовна: «Его ("Василия Теркина". — *Е. П.*) ждет первое место»! (из письма мужу 11 апреля 1945).

Переписка 1945 года между Твардовским и его женой подводит как бы итог работе поэта над «Василием Теркиным». 4 марта и 15 апреля Александр Трифонович пишет: «Радостно сознавать мне, Машуня, что я сам все придумал и от начала и до конца, сам построил, и это есть... и вряд ли когда-нибудь, если честно говорить, можно будет писать о поэзии отечественной войны, не имея в виду "Теркина"... И все же я скоро поставлю точку... могу тебе сказать... книга неразрывно связана с ходом войны... Она, может быть, всего больше связана с тем периодом войны, а не с этим (зарубежным. — *Е. П.*). Но... худого в этом ничего не вижу... Так или иначе война, как год со всеми своими четырьмя временами, округлилась уже в ней... В ней ищут повесть, поэму и т. п., а это ни то ни пятое... Я не говорю, что это новый жанр, что так вот надо писать. Нет. Но так вот она написана, написалась глава за главой эта штука... Пусть она не будет иметь общелитературного значения, но она останется как некая форма поэтической службы на войне. В этом ее ни с чем не спутать» (369–378).

А Мария Илларионовна пишет из Москвы 19 апреля: «Ты, конечно, прав, что твоя книга кровно связана с первым периодом войны больше, чем с другими... Я как раз надеюсь, эта глава ("В бане". — *Е. П.*) удастся тебе, как удалась глава "Смерть и воин" и как удаются тебе вообще все размышления в очерках. При всей их простоте, доступной каждому, и тривиальности выводов они обладают важным свойством: они результат проверки того, что накоплено народной мудростью, народным опытом... Да, это русский человек, но русский человек сегодня» (376–377).

Талант поэта расцвел к концу войны и к концу работы над «Василием Теркиным». Я имею, в частности, в виду главу «По дороге на Берлин» с ее поразительной рифмовкой (не могу не засвидетельствовать попутно и то, что именно так, как описано в ней Твардовским движение наших войск к

столице Германии, шла «по дороге на Берлин» и 1-я гвардейская танковая армия, в которой я служил). И так же замечательно найден венец всего рассказа о Теркине на войне. Блаженствует солдат в главке «В бане», пару подбросить просит:

Человек поет и стонет,
Просит:
— Гуще нагнетай.
Стонет, стонет, а не донят:
— Дай! Дай! Дай! Дай!

А на теле у бойца отметины войны, не смываемые ни в какой «бане» — следы его постоянного участия в боях:

Знаки, точно письмена
Памятной страницы.
Тут и Ельня, и Десна,
И родная сторона
В строку с заграницей...

Какая простота! И какой выразительный и наглядный всему итог!..

«На всю оставшуюся жизнь мне хватит думать и выражать то, почти неповторимое, чем душа моя наполнилась за эти годы», — писал Твардовский в конце войны (378). И вот когда, вдумываясь в эти строки и пытаясь во всей полноте постичь их смысл, еще и еще раз перечитываешь книгу Твардовского, составленную Марией Илларионовной из его и своих записей и писем, невозможно не обратить внимания на такой поразительный факт. Не только в «Василии Теркине», но и в дневниках и письмах поэта *нет ни единого слова о Сталине!* И так — во всех записях военных лет! Про «бойцов» простых — сколько угодно самых разнообразных суждений, а вот о Верховном — абсолютное молчание.

О чем это говорит?

Да скорее всего все-таки ни о чем другом, как о том, что целый пласт своих сокровеннейших раздумий о Верховном Главнокомандующем и его системе, которых не могло не быть, Твардовский, войной «просветленный», носил, судя по всему, глубоко в себе, никому и никакой бумаге его не доверяя. И нам предстоит еще этот пласт попытаться раскрыть, опираясь на все военное и послевоенное его наследие, заново его исследуя.

Замечательный наш критик и публицист, ученик Твардовского Юрий Буртин, полжизни отдавший изучению творчества поэта, так размежевал позиции Верховного и подполковника в понимании самого смысла Отечественной: «Совершенно очевидно, что у Сталина, делившего мир сначала с Гитлером (1939—1940 гг.), а затем с Рузвельтом и Черчиллем (1944—1945 гг.), был иной подход к делу: его война и его военная политика никак не умещались в рамках Отечества. И слова "не ради славы, ради жизни на земле" никакого отношения не имели к тому, кто с удовольствием сменил знаменитую солдатскую шинель на парадный маршальский мундир и для кого человеческая жизнь никогда не была ценностью». В этом смысле, замечает Буртин, можно сказать, что солдат-защитник своей земли и его

Генералиссимус воевали как бы на двух разных войнах, лишь *отчасти* совпадавших между собой». И Твардовский своим «Василием Теркиным» выразил точку зрения именно солдатскую: в поэме нет ничего «от официальной идеологии советского государства», в ней есть только одна «народная философия войны», проступающая «в каждой клеточке ее художественной ткани»[9].

Именно такая — *народная* — точка зрения и на войну, и на предшествовавшие ей годы, и на годы хрущевской *Оттепели*, и на первые годы брежневского застоя, которые успел еще захватить Твардовский, всегда остается для него отправной и главной в его отношении к жизни страны, получая все более полное и глубокое развитие и воплощение в его послевоенном творчестве.

Вспомним поэму «За далью — даль», где поэт слагает своего рода гимн *свободному труду* по освоению Урала, Сибири с ее Байкалом и Дальнего Востока. Этот труд предстает, правда, в поэме в несколько идеализированном еще облике, но главное здесь то, что он противопоставлен *труду рабскому, ГУЛАГОВСКОМУ,* который становится в поэме своего рода опознавательным знаком и символом всей сталинской эпохи. Знаменательна здесь одна из главнейших сцен поэмы — сцена, где автор, который едет по просторам Востока России, воспевая величие разного рода строек коммунизма, встречает на перроне одного из попутных вокзалов друга своей молодости: тот, отбывший 17 лет каторги в Сибири, возвращается в Москву... Эта встреча с другом, чудом выкарабкавшимся из ада рабского каторжного труда, и становится смысловым контрапунктом поэмы, наполняя ее «тех годов глухой болью» и заставляя поэта вспомнить, что и его жизнь не обошла ни «тридцатым годом», ни катастрофическим «сорок первым» (поставленным по значимости в один ряд с «тридцатыми»), ни «иным», — как не обошла она в поэме ни тетку Дарью из «вдовьего» края смоленского, которая бредет побираться в Москву, ни мальцов, оставшихся без родителей в результате всех сталинских деяний, «великого перелома» и «дружбы» его с Гитлером, стоивших жизни миллионам и миллионам сыновей Родины — «бессчетных», как будет сказано в поэме «Теркин на том свете»...

Из Рабочей тетради мы знаем, что клеймо «сын кулака» не было снято с Твардовского даже и после смерти Сталина, при обмене партбилетов в 1954-м. Клеветали на него беспрестанно, даже А. Сурков включился в клевету. Придумали даже, что отец Твардовского держал «30 кузнецов» на своей махонькой кузнице.. И как показательно, что именно в это время Твардовский не побоялся представить на высший партийный суд своего «Василия Теркина на том свете»! Удивительно ли, что его тут же освободили от должности главного редактора «Нового мира»? Нетрудно поэтому предположить, что уже и за полтора–два года до доклада Н. С. Хрущева на XX съезде партии Твардовский выработал собственное и достаточно ясное представление «о культе личности и его последствиях», которое, если бы власти допустили «Теркина на том свете» к печати, мог уже в середине 1954 года представить общественности.

---

[9] *Буртин Ю.* Исповедь шестидесятника. М., 2003.

В этой поэме Твардовский возложил на любимого своего героя, всей Великой Отечественной проверенного, наитруднейшую задачу — проникнуть в сталинскую «преисподнюю», на *тот* «мертвый свет», и рассказать правду о нем всем живущим на *этом* свете.

Что же увидел там Теркин?

Прежде всего ту дорогу в эту преисподнюю, которая при Сталине именовалась обычно «столбовой дорогой к социализму». И вот чем была она на самом деле:

Впереди уходят вдаль,
В вечность коридоры —
Того света магистраль, —
Кверху — семафоры.
И видны за полверсты,
Чтоб тебе не сбиться,
Указателей персты,
Надписи, таблицы...
А дверей — не счесть дверей.
И какие двери!
Все плотны, заглушены
Способом особым,
Выступают из стены
Вертикальным гробом...

И этих гробов — «б е с с ч е т н о». А о «социализме», к коему вела преисподняя магистраль, сказано (через пару строф, помещенных для отвода глаз цензуре): «Нету. И не будет».

А потом Теркин встречает «друга-фронтовика», павшего еще в 1941-м, который уже все про «тот свет» должен знать. И вот этот друг и становится своего рода гидом Теркина по «тому свету» — гидом тем более надежным, что сделан он Твардовским многознающей «шишкой номенклатурной» потустороннего мира.

Что же этот гид показывает Теркину?

Сначала — «Отдел военный». Он, «понятно, образец», тогда как в «Отделе гражданском» — «разнобой» и жизнь какая-то бездумная: все только и делают, что «гоняют домино»...

Вот где самая отрада —
Уж за стол как сел, так сел,
Разговаривать не надо,
Думать незачем совсем.

«А чем же занят “тот свет”?» — спрашивает друга Теркин. И слышит в ответ:

В том-то вся и закавыка,
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас
Руководят...

И Теркин понимает:

Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.

А потом друг выводит Теркина и на главную тему:

Там Отдел у нас Особый,
Так что — лучше стороной...
— Посмотреть бы тоже ценно.
— Да нельзя, поскольку он
Ни гражданским, ни военным
Здесь властям не подчинен.
— Что ж, Особый есть Особый, —
И, вздохнув, примолкли оба...

А потом идут в поэме знаменитые строки, обращенные к результатам деятельности Особого Отдела:

...Там — рядами, по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом. <..>
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала<...>
Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века!

И вот, наконец, Теркин задает вопрос, всех советских людей терзавший:

— Кто же все-таки за гробом
Управляет тем Особым?

И получает тот самый ответ, который, наверное, и сам предугадывал:

— Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою <...>
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка? <...>
Теркин вовсе помрачнел.
— Невдомек мне словно,
Что Особый наш отдел
За самим Верховным.
— Все за ним, само собой,
Выше нету власти.
— Да, но сам-то он живой?
— И живой.
Отчасти.

Для живых родной отец,
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец, —
С ними он
И с нами.<...>
Теркин шапкой вытер лоб —
Сильно топят все же, —
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже.
И смекает голова,
Как ей быть в ответе,
Что слыхала те слова,
Хоть и на том свете.
Да и мы о том, былом,
Речь замнем покамест,
Чтоб не быть иным числом,
Задним, — смельчаками...

Так ставит Твардовский в поэме «Теркин на том свете» последнюю, предельно ясную точку в исповедании своего отношения к тому, кого он еще в годы народной войны за Родину отлучил от этой войны; того, кто верховодит в Отделе Особом страной, не контролируемый никакими органами государства или партии, ни тем более народом... Так завершает он в этом новом своем «Теркине» ту «свою атаку», в которою поднялся еще в «Теркине» первом.

И вот что еще нельзя не сказать насчет этой строки Твардовского — «Я в свою ходил атаку...» (недаром сестрами В. А. и О. А. Твардовскими строка эта дана красным цветом и повторена на каждом раскладе книги).

Из атаки на войне — высотки ли какой, деревеньки ли — боец (автор «Книги о бойце» знал это очень хорошо) невредимым почти никогда не возвращался. Ему или убитым или искалеченным почти всегда только и предстояло быть, продержаться целым он только час-другой и мог, а уж целый день жизнь в целости сохранить — считалось за великое везенье. А Твардовский со своей редакцией «Нового мира» столько раз ходил в атаку против сталинистов, власть предержащих, против Главлита да ЦК, что они его, великого народного поэта, превратили в конце-концов в тяжко раненого, полупарализованного человека, почти не стоявшего на больных ногах, да и с сознанием угасающим: Солженицын так и не смог ему показать свой «Архипелаг ГУЛаг»! Только вот Нобелевскую его премию полубольной Твардовский справедливо числил заслугой и «Нового мира».

А скольких других замечательных авторов он сделал знаменитыми на всю страну!

За то его и убили, наконец, негодяи просталинские...

Незадолго до своей смерти Твардовский закончил писать поэму «По праву памяти», в которой он по полному счету рассчитался не только с главным своим врагом — Сталиным (припомнив ему, в частности, его лицемерное «сын за отца не отвечает»), но и с неосталинистами, находившими-

ся у власти и еще с брежневских времен начавших свертывать критику сталинских преступлений:

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую боль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

Ту самую быль, когда призывом и приказом, обращенным к каждому, было:

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямиком,
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя...

Эту страшную *быль* Александр Твардовский и сегодня не позволяет нам забыть.

ПОЭТ И ЧЕРНЬ

Фрагменты

Чернь есть нечто, противоположное всякой обособленности. Это образование не арифметическое, а метафизическое, в котором всякая единица, если бы ее можно было вычленить, не являлась бы личностью. Чернь — не сумма Иванов и Петров, а мистический монолит. Если некий Иван «выйдет» из нее, Чернь не станет меньше на единицу.

Попадая в состав Черни, любая индивидуальность теряет свое лицо. Поэтому действия человека внутри толпы безотчетны: он «не ведает, что творит». По Евангелию, каждый человек заслуживает прощения, но в толпе нет отдельного человека. Чернь оказывается бесчеловечной в обоих смыслах слова: не все в толпе желали казни Иисуса, но вся толпа кричала: «Распни его!»

То, что у Пушкина в знаменитом стихотворении («Поэт и толпа») диалог с Поэтом ведет сразу вся Чернь, а не какой-либо ее представитель, обладающий индивидуальным голосом, как раз и иллюстрирует онтологическую цельность и безликость Черни.

Чернь как метафизическое образование, разумеется, не есть очевидное скопление народа, это — не обязательно толпа, собравшаяся на площади. В пушкинском стихотворении Чернь лишь для наглядности персонифицирована, в действительности она находится ***везде*** и голоса ее раздаются ***отовсюду***.

Либерализм, решительно отмежевываясь от коммунизма и фашизма, желает иметь благородные корни. Однако «несекулярному» человеку, скажем, XVI века Линкольн и Ленин, Черчилль и Гитлер одинаково показались бы порождением сатаны, который всего лишь «*разделился сам с собою*» (Мф 12:26). Коммунизм и фашизм («*злейшие духи*») — неминуемое следствие восторжествовавшей в мире безблагодатной свободы, тотальной эмансипации.

Произошло, по сути, вторичное грехопадение: новое, но на сей раз вполне осмысленное освобождение творения от Творца. Разнообразные гуманистически-просветительские доктрины, неслыханные прежде требования прав человека, свободы слова, совести и т. п. были, как выясняется, изначально тронуты порчей. Возвышенные идеалы потому оказываются столь мучительно несбыточны, что права человека становятся правами Черни, которая, обретая их, уничтожает иерархический миропорядок. Герцен увидел это в Европе и ужаснулся, но отступать уже было некуда.

Игорь МЕЛАМЕД — родился в 1961 г. во Львове. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи и статьи публиковались в «Континенте», «Новом мире», «Октябре», «Юности» и др. Автор книг «Бессонница» и «В черном раю». Живет в Москве.

Так называемый тоталитаризм, власть Черни, попирающая уже всякие права, — метафизическое возмездие либерализму, кошмарный ответ на его бездумные упования. Утопичными остаются вековые поиски справедливости для людей, на деле нуждающихся лишь в бесконечной милости, незаслуженной, а значит — несправедливой. Мы искуплены кровью Спасителя, а навязывание человечеству гуманистического «спасения» неминуемо приближает к Апокалипсису.

Торжество справедливости — дело Божье, процесс, растянутый в земном времени и уходящий за его видимую грань. Божья справедливость не совпадает с человеческими представлениями о ней, и попытки самовольно установить справедливость на земле ведут не только к социальным катаклизмам, но и к понижению духовного уровня жизни. Мы не можем ***здесь*** собрать эту «головоломку», потому что у нас нет ее другой, потусторонней половины. Очевидно, что справедливость (воздаяние) связана со смертью и воскресением и полностью торжествует лишь в ином мире. Посмертное признание гения (*«Они любить умеют только мертвых»*) — слабый отблеск такого торжества на земле.

Евангелие демократично лишь в том отношении, что все равны перед Богом, все должны иметь хлебы, каждому ***возможно*** спастись. Но вместе с тем оно глубоко аристократично. Это аристократизм избранничества и подвижничества: «Много званых, но мало избранных», «Кто может вместить — вместит» и т. д. А главное, из притч и проповеди Иисуса следуют весьма неутешительные выводы. Спасутся ***не*** все. Ад и рай (вопреки, например, благостным иллюзиям Бердяева) существуют на самом деле. И между богачом и Лазарем там — непреодолимая пропасть. Человеческим представлениям о равенстве с этим примириться нелегко. Но никакое «демократическое», всеобщее спасение нам, увы, не обещано.

В былые времена борьба с традицией казалась борьбой с чем-то косным, реакционным, буржуазным и т. п. Авангард, плывущий против течения, всегда смотрелся почти героически. Этим прекрасно воспользовались, например, футуристы. Таким же образом лет двадцать назад на фоне традиционного реализма (социалистического и несоциалистического) набирал очки и наш постмодернистский андеграунд. Сегодня все поменялось местами. При небывалом напоре ничем не сдерживаемого новаторства, пропагандируемого во всех областях искусства респектабельными, буржуазного склада идеологами, следовать традициям — значит плыть против течения, и для этого тоже требуется дерзание почти героическое. Традиция парадоксальным образом приобретает обаяние своего антипода, его бывшее психологическое преимущество.

Антииерархические идеи Бахтина стали неодолимым соблазном для нескольких поколений филологов. В его учении о смеховой культуре, где духовный «верх» уравнивается с материально-телесным «низом», уже содержится весь постмодернизм. Современное релятивистское и плюралистическое сознание может вполне опереться на бахтинскую модель отношений автора и героя, выстроенную в «Проблемах поэтики Достоевского».

С диалогом — в гипертрофированном бахтинском смысле — традиционная христианская культура никак не соотносима. Истина не рождается в диалоге, а открывается свыше. Она не полифонична, а благодатна. (И даже диалоги Сократа — почти всегда только предварительный разговор с учениками, необходимый для развертывания ***монолога*** учителя.)

Иисус, который и есть Истина, учит, а не спорит. Он не считается с чужими мнениями и не признаёт равноправия позиций. Его ответы фарисеям — не диалог вовсе, ибо почти все их вопросы — чистейшая провокация. Иисус также не вступает в прения с Пилатом относительно того, «*что есть истина*». Христианство полагает единственную Истину и одного Учителя. Это интуитивно чувствует пушкинский Поэт, когда отказывается от навязываемой ему Чернью учительской роли.

Благодатная истина не имеет ничего общего с истинами просветительскими. Христос приходит к неграмотным рыбакам, сатана является к Фаусту. Паскаль отвергает «Бога профессоров» во имя «Бога Авраама, Исаака и Иакова». Пушкин с горечью замечает: «*Где капля блага, там на страже / Уж просвещенье иль тиран*».

В терминологии нового времени самое, пожалуй, бессмысленное выражение — «поиски истины». Это всегда и наиболее бесплодное занятие.

Тому, кто обрел Христа, больше нечего искать. Самое трудное отныне — не потерять Его.

Даже мудрый Розанов постоянно пенял «сладчайшему Иисусу» за то, что христианство — религия страдания. Но он ***окончательно*** принял Христа не в умствованиях «за нумизматикой», а в нищете, голоде, предсмертной скорби. Либеральному сознанию и вовсе не понятно, отчего «блаженны плачущие». Поэты в этом отношении гораздо прозорливей: «*Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...*». Поэты интуитивно знают, что божественный свет лучше всего виден из черного туннеля.

«*Прекрасное должно быть величаво...*». На новейшем искусстве пагубно отражается исчезновение дистанции между художником и публикой. И предшествует этому отсутствие дистанции между художником и художником. Ахматова и Мандельштам были на «вы» и называли друг друга: Анна Андреевна и Осип Эмильевич. А сейчас все друг другу «в доску» свои. Только и слышно: «Женя Рейн», «Костя Райкин» (вообразите-ка на секунду «Женю Баратынского» или «Костю Станиславского»)... И только покойный Пригов объявил себя Дмитрием Александровичем (и то не из жажды дистанции, а выстраивая собственный затейливый имидж).

Изысканность стиля может быть своего рода плебейством. Бенедиктов и Северянин изъясняются в стихах как приказчики, желающие показать свою культурность. Псевдостаринный слог Ахмадулиной читателю XIX века показался бы варварским. По-настоящему аристократична только поэзия, «*лишенная условных украшений стихотворства*», если вспомнить знаменитую пушкинскую заметку о благородной простоте. А авангардные графо-

маны никогда в простоте слова не напишут: их сочинения ослепляют смердяковской цветистостью.

Две печальные крайности: отсутствие «искусства» в топором вырубленной советской поэзии (Твардовский, Смеляков, Винокуров и др.) и густая метафорическая патока нынешней.

Давя инакомыслие, авторитарный режим попутно давил и дурновкусие (во всяком случае, допускал его в умеренных дозах). Упразднившей цензуру либеральной власти последняя задача не под силу. Нынешнее апокалиптическое состояние культуры — очередной просчет интеллигенции в ее чаяниях свободы.

Тимур Кибиров объявил, что простодушная поэзия больше невозможна. Надо было лишь уточнить, для кого именно. Постмодернизм, например, вообще не интересуется душой, для него вся мировая литература только «слова, слова, слова...». В нем неподдельно лишь «*жадное стремление протолкаться к чужим столам*», как выразился по другому поводу Ницше.

У Георгия Иванова в стихотворении о поэте сказано: «*И черни, требующей новизны, он говорит: — Нет новизны, есть мера*». Пушкинские представления о «*соразмерности и сообразности*» чужды Черни, и Пушкин не случайно называл литературу «*благородным аристократическим поприщем*». Он же предупреждал, что поэту «*не до́лжно быть площадным по доброй воле*».

Еще пятнадцать лет назад наши авторитетные поэты (Левитанский, Окуджава и другие, помоложе) приветствовали тот факт, что поэзия осталась без массового читателя. Пресловутые стадионы (говорили они) в большинстве своем заполнялись теми, кому нужна была не поэзия, а фига в кармане. Наконец-то стихи станут читать истинные, пусть и немногочисленные ценители. На деле все оказалось и не совсем верно, и не так отрадно. Камерной идиллии поэта и читателя почему-то не случилось: каждая из сторон чувствует, что нечто существенное невосполнимо утрачено. Поэты, как выяснилось, радовались тому, что отрублен сук, на котором им так хорошо сиделось. Потеря какой бы то ни было аудитории — явление для литературы всегда печальное. Для формирования истинных ценителей необходима сложная питательная среда, возможная только в таком обществе, где поэзия — дело исключительной важности и значимости. Подобный статус искусство получает, увы, лишь в нелиберальные времена и в основном при недемократических режимах. В эгалитарной системе ценностей конфликт Поэта и Черни приобретает иной характер. Чернь перестает нуждаться в Поэте и творит собственную площадную «культуру». Необратимые мутации происходят и с самой поэзией. А истинные ценители уходят в филологию. Хорошо известно, что на Западе лучший ценитель стихов — университетский профессор.

В первых строфах стихотворении Пушкина «Поэт» образ поэта нарочито снижен: «*в заботы суетного света он малодушно погружен*», «*и меж де-*

тей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...». В последующих строфах поэт поднимается на надлежащую высоту «*божественным глаголом*», касающимся его «*чуткого слуха*». В «Поэте и толпе» образ Поэта романтически возвышен с начала и до конца. Пушкин не оставляет Черни ни малейшего шанса почувствовать себя равной Поэту.

Пушкин хорошо знал, какую злобную радость у толпы способно возбудить ощущение подобного равенства: «*Толпа <...> в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе*».

«*Цель поэзии — поэзия*», — говорил Пушкин. «*Поэт в России больше, чем поэт*» — с этой заносчивой формулировкой едва ли согласился бы герой пушкинского стихотворения. Быть больше, чем поэтом, — ведь именно этого от него и домогается Чернь: *сердца собратьев исправляй, давай нам смелые уроки* и т. п.

В знаменитой речи «О назначении поэта» Блок пытался определить, кого именно имел в виду Пушкин под Чернью. Это вряд ли «простонародье», утверждал Блок. По мнению Блока, это — придворная знать («светская чернь» — Бенкендорф и проч.), а также новая чиновничья бюрократия, стремительно занимавшая место родового дворянства.

Однако у Пушкина Чернь не имеет сословного статуса. Внутри нее в какой-то момент может оказаться и Бенкендорф, и Булгарин, и обыватель, для которого печной горшок дороже Бельведерского кумира, и, — цитирую Ходасевича, — «*любознательный кузнец, дуреющий над просветительной брошюрой*». Чернь — это «*народ непосвященный*», сборище профанов (не зря ведь стихотворению предпослан эпиграф из Вергилия «*Procul este, profani*»), для которых утилитарный или какой-либо иной интерес выше «*вдохновенья, звуков сладких и молитв*» и которые смеют судить Поэта и требовать от него служения собственным нуждам. Чернь — образование метафизическое (о чем уже говорилось выше), ее нельзя вычленить из какой-либо социальной группы.

Блок, как и большинство символистов, наследников идей Владимира Соловьева, был склонен ко всякого рода грандиозным утопиям. Уже в большевистскую эпоху он мечтал о «*великой и всемирной Революции, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества*». По сути же это была приспособленная к новому времени вариация старой, 1904 года, мысли Вячеслава Иванова, полагавшего, что «*истинный символизм должен примирить Поэта и Чернь в большом, всенародном искусстве*».

В статье «Выпад» (1923) Мандельштам выдвигает два противоположных тезиса. Первый: поэзия «*никому не должна, кредиторы у нее все фальшивые*». *Второй: «поэзия должна удовлетворять потребности <...> полуобразованной интеллигентской массы <...> этой деклассированной в языковом отношении*

среды». Первый тезис как будто родственен пушкинскому «*подите прочь!*», брошенному Поэтом настырной толпе, последний же трудно истолковать иначе, чем призыв к служению ей.

Пушкин отнюдь не всех «кредиторов» поэзии считал фальшивыми. И «*молитвы*», для которых рождены поэты, он ставил рядом с «*вдохновеньем*» и «*сладкими звуками*» не только ради рифмы к «битвам». И поэзию он называл «*благоговейным служением*» не для красоты слога. Надо ли объяснять, что объектом такого служения вовсе не является «читающая публика»? Что само вдохновенье отпускается поэту «в кредит» одним-единственным Кредитором? («*Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...*»)

Это, безусловно, понимал и Мандельштам. Но, во-первых, он был акмеистом, а в акмеизме и в его дочерних объединениях существенную роль играла филологическая «алгебра». Вспомним хотя бы теории Гумилева. Быть может, поэтому прирожденного филолога Мандельштама так заботили «*потребности деклассированной в языковом отношении среды*». Кроме того, из мемуаров современников и особенно Надежды Яковлевны известно, что мироощущение Мандельштама, несмотря на сложность и изысканность его произведений, всегда было в высшей степени демократично. Он не хотел предавать идеалы, ради которых «*разночинцы рассохлые топтали сапоги*», даже когда с ужасом увидел, во ***что*** выродились эти идеалы. Мандельштам написал в одном из стихотворений, что Шуберт и Моцарт «*считали пульс толпы и верили толпе*». Он сам хотел верить толпе и даже под конец пробовал заставить себя «*жить, дыша и большевея*». Аристократ Пушкин никогда толпе не верил и ничего, кроме презрения, к ней не испытывал. И, разумеется, вовсе не из классово-сословных побуждений: он ясно понимал, что Поэту ***нельзя*** идти с Чернью ни на какие компромиссы.

Пушкина невозможно вообразить интеллигентом. Мандельштам же, подобно Блоку, духовно принадлежал к тому жертвенному слою русской интеллигенции, который еще не так давно ходил в народ. Но Мандельштам не умел опрощаться, не желал отрекаться от сложности выпестовавшей его аристократической культуры. Какое-то время ему казалось, что толпу можно поднять до этой культуры, приручить к ней и облагородить ею. Но для «*полуобразованной массы*», потребности которой ему хотелось удовлетворять, Мандельштам так и не смог сделаться своим. Ясное пушкинское понимание невозможности союза с толпой пришло к нему слишком поздно. Противостояние Поэта и Черни вновь оказалось неизбежным, и мы помним, чем оно, к несчастью, закончилось для Мандельштама.

Несколько иначе, но в результате столь же трагически обернулся подобный конфликт для Пастернака. А он не просто хотел быть верен «идеалам», но и «чувствовал себя в долгу» перед народом, как признался однажды Лидии Чуковской.

«*Полуобразованная интеллигентская масса*» первое время даже благоволила к Пастернаку. В его не слишком доходчивых стихах ей нравились сложность инструментария, виртуозность исполнения, — это, видимо, и имел в виду Пастернак, когда парадоксально заметил: «*сложное понятней им*» (че-

рез четверть века после этого высказывания в сложности его стихов ***они*** обнаружили состав преступления). К гармонии и глубине Пастернак пришел иными путями, его опрощение связано с вещами духовного порядка, а не с каким бы то ни было приспособленчеством или компромиссом, в чем кое-кто то и дело пытается его обвинить (подобные же обвинения с маниакальным упорством повторяются в адрес позднего Заболоцкого).

В «Охранной грамоте» Пастернак заявляет о своем юношеском отказе от романтической манеры и романтического «мировосприятья» в целом. Не исключено, что и пушкинский конфликт Поэта и Черни казался ему в ту пору романтическим и неактуальным. Пастернаку всегда хотелось быть «*со всеми сообща и заодно с правопорядком*», даже когда он писал роман, поставивший этот правопорядок под сомнение. В стихах из «Доктора Живаго», точно дурное предчувствие, возникает нота разлада и противостояния, в высшей степени свойственная отвергнутому Пастернаком романтизму: «*Я один, все тонет в фарисействе...*» Он, очевидно, уже догадался, что художнику положено «*чувствовать себя в долгу*» только перед Небесами. Реакция «народа» на появление недоступного романа развеяла последние иллюзии. Многие из бывших ценителей поспешили присоединить свои голоса к яростному вою толпы. Пастернак вдруг ясно увидел обращенные на себя «*фотографические группы одних свиноподобных рож*», почувствовал, что он — «*зверь в загоне*».

Пушкин снова оказался прав.

Известна ненависть Ницше ко всему демократическому и эгалитарному. Из русских мыслителей на высоте такого бескомпромиссного неприятия стоял один лишь Константин Леонтьев. Но Леонтьев, — что бы там ни говорили о его эстетических приоритетах, — отвергал либеральный прогресс с позиций христианина. Те, кто обвиняли Леонтьева в недостаточной ***моральности*** его христианства, еще не знали, что действия, санкционированные «хорошей» моралью (освобождение крестьян, женская эмансипация, борьба за демократические права и т. п.), имели далеко идущие, видные, увы, только ему, ***аморальные*** последствия.

Ницше презирал толпу и мечтал о сверхчеловеке, но, если следовать его атеистической логике, сверхчеловек мог быть порожден лишь изнутри самой Черни. Ницше хотел, чтобы человек сам себя вытащил за волосы из болота, подобно Мюнхгаузену. Преображение человека должно было совершиться безблагодатным путем. Это путь Заратустры, а не Христа, к которому Ницше всю жизнь испытывал загадочную ревность (известно, что последние свои послания он подписывал: «Распятый»). Возможно, поэтому речи его Заратустры столь откровенно стилизованы под Евангелие. Завороженный дионисийским «*духом музыки*», Ницше не желал видеть, что демократия, которую он почему-то считал псевдоморфозой христианства, первоначально возникла на почве демонического многобожия Эллады.

Надо ли сегодня доказывать, что мучительное богоборчество бывает «святее» плоской религиозности, воюющей с дарвиновскими обезьянами и энгельсами? Об этом как нельзя лучше свидетельствуют книги и судьба Ницше. Вспоминаются также некоторые стихотворения Лермонтова (осо-

бенно «Благодарность»), Блока или Георгия Иванова. Такое богоборчество не идет ни в какое сравнение с эстетическими играми в дьявола на манер «Фауста». В писаниях атеиста Ницше, как это ни парадоксально, больше христианства, чем в «Мастере и Маргарите» Булгакова — с его благородным сатаной, романтизированным Пилатом и пародирующим апостола Павла эпиграфом из Гете. За кощунствами Ницше, за юношеским отчаянием Лермонтова угадывается страстная жажда веры, столь страстная, что ее ***нечем*** было утолить на земле (*«И звуков небес заменить не могли / Ей скучные песни земли...»*).

Безоглядная творческая свобода понижает качество самого творчества. Тому пример — поэзия, сбросившая с себя благое иго размера и рифмы, в которой тем меньше vers, чем больше libre. Даже Блок в своих редких верлибрах, лишенных его мощнейшего поэтического орудия — ритма, сбивается на плоские афоризмы: *«Только влюбленный имеет право на звание человека»*. Свободный стих фактически умертвил западную поэзию. Иван Жданов как-то довольно жестко заметил, что верлибр — узаконенная форма графомании.

Жозеф де Местр однажды с горечью воскликнул: *«Ах, зачем же мы так опрометчиво предоставили слово всякому человеку?! — ведь именно это нас и погубило»*.

В России, включая советские времена, доверие к слову всегда было очень высоким. Толпа, заявлявшая Поэту: *«А мы послушаем тебя»*, — говорила это совершенно искренно, без тени иронии. Свобода слова превратила само слово в объект филологического препарирования, в «текст», как теперь принято выражаться, утопило слово в помоях циничного «стёба».

Несмотря на ужасающее многоголосие, кругом царит невероятная глухота. Слово, чтобы быть услышанным, должно снова стать подцензурным (*«цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное»*. — Пушкин), а государство — иерархическим, не предоставляющим слово «всякому человеку».

Христианская культура Запада стала разрушаться после просветительских прививок. «Святая» русская интеллигенция в массе своей состояла из тех же просветителей, маленьких вольтеров и дидеротов.

Перефразируя набивший оскомину афоризм Евтушенко, можно сказать, что адвокат в России был больше, чем адвокат, врач — больше, чем врач, учитель — больше, чем учитель. Чехов, высмеявший в «Доме с мезонином» «больнички» и «библиотечки», вот уже целое столетие причисляется к интеллигентам по какому-то недоразумению, скорей всего из-за характерной внешности (бородка и пенсне).

Гуманистическая этика даже в наиболее благородном варианте фатально расходится с христианской. Помню, как я был поражен, когда покойный Астафьев, выступая по телевидению и коря российское разгильдяйство, вдруг сказал, что необязательного человека нельзя ***прощать*** (!) и не следует подавать ему руки.

У шестидесятников и их поклонников духовные ценности существовали в какой-то первобытной синкретичности, «нерасфасованности». Бог (писавшийся с маленькой буквы отнюдь не только из цензурных соображений), добро, правда, справедливость, красота — все эти понятия были практически синонимами (для некоторых это и по сей день так). Ценным казалось все, что мало-мальски отличалось от холуйской писанины грибачевых и долматовских. Это было время подмен и суррогатов. Вознесенский, в пору труднодоступности Пастернака и Цветаевой утрировавший и опошлявший их приемы, занимал авангардистскую нишу. Евтушенко, героически поднимавший планку дозволенного на полсантиметра, исполнял роль фрондирующего трибуна. Милые задушевные песенки Окуджавы, как нежданно-негаданно выясняется три десятилетия спустя, удовлетворяли «высокие духовные запросы» русской интеллигенции. Жеманная поэзия Ахмадулиной, имитирующая «старинный слог», создавала видимость преемственности классических традиций. А малоарнаутское ерничанье Жванецкого многим до сих пор кажется вышедшим не иначе как из гоголевской «Шинели».

Апокалипсис был и остается реальностью, несмотря на то, что его ожидают вот уже два тысячелетия, и во все времена он кажется близящимся и неотвратимым. Быть может, по великой милости к нам его то и дело отодвигают, но даже терпение Отодвигающего, вероятно, не бесконечно.

Неминуемость Апокалипсиса исключает какое бы то ни было «светлое будущее» как в тоталитарном, так и в либеральном варианте. При каждой смене исторической формации остается лишь светлое прошлое, которое тем светлее, чем дальше от неизбежного конца.

1998–2008

Послесловие от редакции

Мы сочли необходимым сопроводить текст Игоря Меламеда этим послесловием, поскольку нашего читателя вряд ли не удивит то обстоятельство, что текст этот, на наш взгляд, куда более подходящий совершенно другому изданию, — к примеру, журналу «Москва», — опубликован именно в «Континенте».

Объясняем.

Текст этот мы печатаем, во-первых, потому, что он принадлежит перу давнего и постоянного нашего автора, и мы, желающие видеть свой журнал журналом христианской демократии, не сочли себя в праве отказать Игорю Меламеду, предложившему нам свои заметки, на том лишь основании, что по некоторым важнейшим, принципиальным позициям совершенно не разделяем его точку зрения.

Второе же наше соображение таково. Мы не просто не разделяем точку зрения Игоря Меламеда, полагающего, что он освещает поднятую им тему с христианских позиций. Нам его точка зрения представляется, напротив, от

христианства очень далекой, крайне ошибочной, и мы сочли важным и полезным сказать об этом публично.

Перед нами, как нам кажется, красноречивейший пример того, как всякая попытка, — пусть бессознательная, — монополизировать истину неизбежно затемняет, а потом и вовсе подменяет истину.

Самое бессмысленное выражение,— пишет Меламед, — «*поиски истины*». *Тому, кто обрел Христа, больше нечего искать. Самое трудное отныне — не потерять Его.*

Но позволим себе повторить общеизвестное: *не потерять Его* невозможно, если ежедневно, ежечасно и ежеминутно Его не *искать*, — то есть если не искать Истину. А вот если признать себя раз и навсегда обретшим Христа, если вокруг себя повсеместно обнаруживать не человека, а прежде всего некую совокупную человеческую «Чернь» как отдельную *онтологическую силу* и *метафизического противника*, если к тому же походя отщелкать при этом по носу еще и решительно всех попавшихся под руку коллег по поэтическому цеху, подкрепляя свою решимость на такую расправу тем, что *по Евангелию, каждый человек заслуживает прощения, но в толпе нет отдельного человека*, то тогда не приходится уже удивляться тому, почему белое так быстро и незаметно превращается в черное, а истина — в собственную противоположность. Куда уж тут Бахтину с его амбивалентностью! И вряд ли правомерно звать в этом случае в союзники Пушкина. Он-то писал не христианские заметки, а стихи, где образы не претендуют на то, чтобы выступать в качестве метафизических категорий, — а заодно не стыдился, между прочим, и *чувства добрые лирой пробуждать* — совершенно в духе тех самых *вольтеров и дидеротов*, которым от Игоря Меламеда достается, увы, не меньше, чем какой-нибудь Ахмадулиной...

Не можем мы без удивления читать у автора «Континента» и о том, что *гуманистическая этика фатально расходится с христианской* и что Христос предпочитает неграмотных, ученые же *фаусты* удостаиваются лишь явлений сатаны, или: *Слово, чтобы быть услышанным, должно снова стать подцензурным*, потому что *божественный свет лучше всего виден из черного туннеля*...

Грустно признать, но перед нами, увы, очередной пример того охранительного народного православия (православия без Христовой Любви), которым сегодня тяжело больна Россия и о котором как раз и идет речь в статье Владимира Можегова, помещенной в этом же номере журнала в разделе «Религия». И вот ведь в чем парадокс: самое, пожалуй, опасное в этом «народном православии» — это как раз стремление слиться с массой, с толпой, снять с себя личную ответственность и тем самым превратиться в ту самую Чернь, которой от появления в ней новой единицы не прибудет и не убудет...

Евгений ЕРМОЛИН

ВЛАДИМИР КОРМЕР, ЕГО ВРЕМЯ И ЕГО ГЕРОИ

Владимир Кормер оставил не так много. Но это вещи высокого качества. Его лучший роман называется «Наследство». Наследство самого Кормера — проза и драматургия острого смысла, сильных идей и ярких образов.

Его роман «Наследство» я перечитывал с острым, непреходящим интересом. И хотелось бы дать отчет в первую очередь самому себе: в чем тут дело. Почему. Люблю такие литературные вещи, секрет которых нетривиален, которые нравятся «просто так», не из-за тенденции и не по сумме рассудочно выверенных причин. Чужие слова, далекая жизнь... Но роман засасывает в себя и при всей видимой своей дисгармоничности обладает гипнотическим эффектом: ты попадаешь в его мир, и ты в нем остаешься надолго даже и после того, как перевернута последняя страница. Может быть, навсегда. Нет, удивительно, что такая, на первый взгляд, разболтанная, путаная, не очень уже понятная и внятная история — скорее свободная панорама с реминисценциями — может так увлечь.

Когда-то, в момент создания, эта книга в основной своей части была предельно актуальной. Была обжигающе современной, с подтекстом и живыми прототипами. Так сказать, летопись современности, живая история неофициальной, малотрезвой, расхристанной, богемно-андеграундной, прицерковно-диссидентской Москвы начала 70-х (где-то так) годов. Есть легендарные свидетельства о том, как ее в рукописи читали тогда в Москве и какие страсти порой закипали. До меня тогда такие рукописи не доходили, а если б я ее и прочитал, то едва ли бы много понял по молодости и глупости. Хотя чуть позднее краешком своей жизни и коснулся той среды, которая была описана Кормером.

Книгой, в легальном режиме, «Наследство» вышло много позже, уже в другое время. А теперь уже впечатление новости так давно прошло и времена столько раз повернулись вокруг оси, что роман имеет характер отчасти любопытного исторического свидетельства. Как будто бы так. Но рискну внести уточнение: в нем есть, — и перечитывание показало мне это, — нечто неустаревающее, есть очевидные зерна вневременности. Есть даже что-то такое, что особенно значимо уже в наше время, в момент глубокого духовного обморока и декадентских завихрений, в момент, когда личная мобилизация на великое и святое особенно трудна (как, впрочем, трудна она и для многих, если не всех героев Кормера).

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в Архангельской области. Закончил Факультет журналистики МГУ. Как критик публикуется с 1981 г. Заместитель главного редактора «Континента». Дневник в Живом Журнале — erm_kontinent. Живет в Москве и Ярославле.

Кормеровское «Наследство» — не просто точная проза художественно трансформированного документа, социального свидетельства с детективной жилкой. Это и почти невероятный и совершенно исключительный, удивительный и удивляющий по сию пору роман гротескно-барочного стиля, полный странных героев и неожиданных положений, открывающий реальность по вертикали: от эмигрантских задворок, от канувших в небытие коммуналок и проходных дворов советской Москвы до храмового неба и нетленной вечности. Может быть, именно так: позднесоветское барокко, история жгучей тайны, история отщепенства и затерянности, бессмыслицы сущего и веры в чудо и в вечность (или жажды такой веры). Роман, начинающийся историей внезапного острого помешательства и попытки самоубийства одной из героинь — и кончающийся пасхальной храмовой службой.

От самоубийства — к воскресению, магистральный сюжет.

Впрочем, сюжет это ненатужный и реализуемый без насилия над жизнью. Жесткого сюжета вообще в принципе нет. Напомню канву истории. Молодой провинциал, Вирхов, пробующий себя в литературе, знакомится с персонами из круга неофициозной московской публики. Диссидент Хазин, мечтающий о священстве Мелик, священник отец Владимир, литератор с лагерным прошлым Лев Владимирович... Блуждание по Москве, поиски себя, встречи, новые и новые люди... У Вирхова завязывается роман с Таней Манн, переводчицей и богоискательницей, попутно возникают и некоторые другие романические осложнения; время от времени некоторые из названных героев выходят на первый план, и Кормер подробно вникает в их человеческое содержание. Параллельно идет рассказ о русских эмигрантах первой волны, возникают фигуры аристократа-публициста Муравьева, интеллектуала-редактора журнала Кондакова, тайного советского агента Проровнера, пропагандирующего «смену вех»... В итоге некоторыми персонажами эти истории из двух поколений отечественных вольнодумцев оказываются связаны. Таня Манн, как выяснится ближе к концу, — дочь Муравьева и унаследовала после его гибели немалое состояние... В момент самых острых драматических осложнений Кормер в финале сводит многих своих персонажей на пасхальной службе в храме.

Все так и не так. И помешательство немолодой дамы с богатым прошлым оказывается не совсем банальным, скорее героиню настигает, как вражеская погоня, сознание бессмысленности и бесперспективности ее бытия... И главная служба года в храме предстает не в слащавом облаке сусального хэппиэнда, а — отчасти — некоей очной ставкой героев с Богом, на которой многие из них обнаруживают, что вес их слишком мал или и вовсе под вопросом... И все в этом мире двоится, расстраивается. Нет или почти нет ничего надежного на плоскости здешнего (тогдашнего) бытия.

Это роман, где мистерия соседствует с фельетоном, с шаржем. Это вечная проза религиозных исканий и экзистенциального выбора. Но это и едкий фарс о московском богемном авангарде постоттепельных времен.

Ближе к финалу в романе пару раз возникает характерное словцо «амальгама». Так еще в эпоху Французской революции называли, оказывается, судебные процессы, на которых объединяли политических противников режима с уголовниками. Но что-то в этом роде происходит в душе и в жизни

чуть не каждого из главных героев кормеровского романа. Мир человека здесь — тоже своего рода амальгама, где противоестественно соединяются противоположности, несочетаемые вещи, мысли, слова и поступки.

По сути, роман держится предельным натяжением одной важнейшей мысли или интуиции о полярном устройстве бытия. Она имеет акцентировано религиозный характер и заключается в том, что мир насквозь и непоправимо поражен злом, человек изъеден и изъязвлен грехом, нет ни в мире, ни в человеке живого места, нет Дома (взамен его — коммуналки и психушки; разве что храм еще хранит свою сакральную ауру), нет сада, все сдано и заколочено, затоптано в прах, в упадке и развале, — но (НО!) и в этом вот мире есть не улавливаемое рассудком веяние Бога, и в человеке — дрянном, смешном, убогом — отпечатан Божий лик, есть у него тяга к иному, к высшему, к вечному.

Это роман о плаче и молитве (а отчасти просто роман-плач и роман-молитва) — из бездны, de profundis.

Человек — средоточие полярных начал, в его душе воистину дьявол с Богом борется. И он, человек, обрел в той среде и в тот момент, о которых идет у Кормера речь, беспредельную свободу, эмансипировался от любой азбучной морали, расковал свои мысль и плоть, он вольно болтается в мире, не связывая себя роковыми обязательствами, он часто безответственен и непредсказуем, нервен и истеричен, много пьет и странно любит, поступки его нередко сомнительны, поведение его заслуживает осуждения или вызывает смех. Но он знает минуты полета, минуты служения и самоотречения, минуты бескорыстной жертвы. И как-то так все завязано в нем, в его жизни, в его голове и в его сердце, что одно без другого немыслимо. Так говорит Кормер. И ему веришь. Поскольку, кстати, знаешь это по себе.

Кормеру удалось нащупать в мире и в человеке ту глубину, которая не снилась многим его писателям-современникам; мне приходилось об этом спорить в своем блоге, сравнивая Кормера с Юрием Трифоновым. Герои его — Таня Манн, Мелик, Лев Владимирович, Хазин, Вирхов — часто нелепы, странны и смешны. Однако были ли в тот момент люди лучше?

Они интересны. Не просто с ними что-то происходит, но они сами живут, на свой страх и риск, наотмашь, ошибаясь, разбиваясь, умирая и... воскресая. Какими бы они ни были, их социальная значимость и духовная значительность выше, чем у персонажей легальных прозаиков тогдашнего литературного мейнстрима. Прозаиков, правдоподобно, но скучно писавших о позднесоветском «среднем классе» как о классе никому теперь не интересных обывателей и гедонистов.

Они, эти значимость и значительность кормеровского персонажа, без сомнений существенно выше, чем у нынешнего среднемосковского человека из нашей богемы и тусовки бездарных, пошло и глупо прожитых нулевых годов. Время катится под уклон, и человек мельчает.

Конечно, эта книга, в отличие от прозы того же Трифонова, старательного и умелого бытописателя интеллигентской жизни, не имела ни одного шанса на публикацию в СССР. Но она пошла по рукам и имела, как уже сказано, резонанс. Многие, говорят, обиделись. Некоторые нашли в романе памфлет на интеллигенцию. В ход пошло характерное определение — *со-*

временные «Бесы»[1]. У прозаика Евгения Попова я нашел мысль: *Кормер написал тогда провидческий роман про новых «бесов», взыскующих социализма с пьяным человеческим лицом.*

Это так и не так. Да, издержки конспирации, тотальность подозрений в сексотстве и слабость грани, отделяющей здесь вроде б допустимое от невозможного, топос психушки и душевное нездоровье иных героев — это все есть. Но бесовщина у Кормера — это не особое качество отдельных людей, не болезнь, сконцентрировавшаяся в отдельно взятых «идеологах», в каком-то специфическом кружке или группе. Это, я бы сказал, характерная примета едва ли не каждого современного человека, и вот уж много лет как.

Внимательными читателями замечено, что важнейший источник вдохновения для Кормера в «Наследстве» — Достоевский[2]. Может быть, и он сам, и его герои совпадают со многими героями-интеллигентами Достоевского — по социальной формации.

С подачи Солженицына принято стало интеллигенцию позднесоветских времен обзывать «образованщиной». И сам наш автор, Кормер, написал суровую статью о двойном сознании интеллигенции. Однако я бы поостерегся ставить знак равенства между умозрительными концептами и живыми людьми, героями реального литературного произведения.

Все-таки пафос причастности, тоска по миссии — это то, что роднит героев кормеровского «Наследства» именно с интеллигенцией досоветской поры. Я б сказал, что роман — сам по себе свидетельство о социокультурном факте: в поколении 60–70-х годов на его вершинах воскресла интеллигенция как миссионистская духовная элита. Кормер смотрит на нее умным, отстраненно-остраняющим взглядом (как, впрочем, и на тогдашний клир, и на простонародье) и в то же время неудержимо ей сочувствует.

---

[1] «...толстенный роман "Наследство" на тот момент был настоящим бестселлером московского самиздата. Мне он достался в виде неудобочитаемых, переплетенных, как сейчас помню, в черный дерматин двух толстенных томов фотокопий с машинописи. И тем не менее я прочел роман одним духом, не отрываясь. Это и были советские "Бесы" — диккенсовской архитектоники классический разветвленный роман о жизни московских диссидентов, христианских компаний, стукачей, батюшек, иностранных авантюристов и гетер московского андерграунда, — с почти детективной интригой, многочисленными отступлениями в дореволюционные и довоенные годы, с клубком судеб персонажей». — *Климонтович Н.* «Метрополь» и подметрополье. Литературные игры нашего поколения // http://saturday.ng.ru/deeds/2000-09-23/1_metropol.html

[2] Например: «...немалый для отечественного прозаика соблазн существовал еще в недавние годы, когда ни писатели, ни читатели не боялись больших литературных объемов, — написать роман «о главном», скалькировав у Достоевского и горячечные исповеди, и сбивчивые многостраничные диалоги и монологи, и лихорадочно убыстряющуюся пружину сюжета. Лет тридцать назад такие романы наводняли самиздатскую Москву: огромные кипы бледной машинописи, — казалось, зрение потеряешь, читая. Ан нет, шли они нарасхват, передавались из рук в руки и имели своих горячих адептов». — *Кублановский Ю.* Чижик-пыжик и повертон// «Новый Мир», 2003, № 8. Цит. по: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2003/8/kublanov.html

С другой стороны, кормеровские персонажи и коллизии — это не копии, не эпигонские воспроизведения. И роман Кормера — не фантазия на тему Достоевского и о Достоевском, типа «Осени в Петербурге» Дж. Кутзее.

Не только автор «начитался» Достоевского, но и его герои тоже его «начитались». И еще много всякого, нужного и ненужного, прочитано ими наудачу. Да и живут они в той отчаянной горячке, которая близка атмосфере романов Достоевского. Есть тут совпадение в ментальном стиле жизни.

Однако когда начинаешь думать всерьез, то понимаешь, что в своем романе Кормер гораздо, наверное, ближе к Толстому: по способу свидетельства о мире героя и по той логике, в какую вписана история каждого персонажа. Как правило, персонажи Кормера отнюдь не люди фанатически реализуемого проекта, не люди одной, но пламенной страсти, идеи, которая организует все их существование. Это скорее люди пути, люди поиска, мятущиеся души, люди динамично и противоречиво развивающейся душевной жизни. У них есть характер, но существование их состоит из поисков, метаний, полетов и срывов.

Пожалуй что, в их брошенном на плоскость будней бытии немало мелкой неврастении, случайных падений — и меньше, чем могло бы быть, серьезности, сосредоточенности и ответственности. Иными словами, Кормер с любовью и с зоркостью пишет о современных людях. Людях, мало способных к четкой фиксации. Иногда совсем слабых, конформистах с нечистой совестью.

Когда он возвращается в романе к истории первой эмиграции, у него появляются и другие персонажи, те, кому в основном удается удержать себя, явить себя вовне относительно цельно и строго. Русская аристократия XX века, сочетавшая в личном опыте свободу и достоинство со служением и жертвой: Кондаков, Муравьев.

Они тоже не монолитные памятники. Но все-таки это несколько иная порода, с гораздо более развитой памятью о чести, долге, призвании... Она, очевидно, дорога Кормеру. В «Преданиях случайного семейства» один из героев в дни Второй мировой войны рассуждает сам с собой так: «Видит Бог, что если я и жалел когда-то, что не родился дворянином или вообще в какой-нибудь хорошей старой семье, то это не потому, что я кичлив и хотел бы еще кичиться своими предками, но потому лишь только, что хотел бы иметь возле себя человека с традициями, с достоинством. Такого, который бы незаметно, с детства, научил бы меня правильному взгляду на мир, сказал бы: это должно, этому следуй, а это презирай, не пристало тебе радоваться такому вздору... Вот примерно и все, ведь тут и не надо многого. И пусть бы меня не учили ни языкам, ни истории, ничему другому, пусть бы даже ничего не говорили, но только, чтобы я видел, что эти люди, мои близкие, что-то имеют внутри себя, какой-то стержень, что они в чем-то непреклонны, не сбиты с толку всеми этими событиями, не боятся ответить на недоумение ребенка...»

Треть века спустя об этих, о таких людях не остается даже внятных воспоминаний. А понятия чести и долга, нормы личной порядочности человеку приходится вырабатывать самостоятельно, не столько из живой традиции (которой, по Кормеру, уже практически нет за пределами храма), сколько по книжкам, читая писателей или философов и богословов иных времен, или

как следствие обретенной веры и личной рефлексии Евангелия. Таков у писателя даже лучший из духовного сословия, отец Владимир... Плохо, что этим людям не всегда удается остаться на приличном уровне или набрать нужную меру достоинства. Хорошо, что они лезут в эту гору и, даже срываясь, чаще всего понимают, где верх, а где низ. И если даже в этом иногда ошибаются, поддаваясь соблазнам[3], то — не потеряли саднящего чувства духовной неполноценности и способности к покаянию. Они могут быть слабы и смешны, лишены аристократизма, они в основном «полузнайки», но они — идеалисты и искатели, люди риска и беды, пытающиеся бороться не только с внешним врагом, но и — сначала — с собой, нащупать принципы конкретной, предметной этики (хотя бы так: «Это ведь очень важно, как вы себя ведете в очереди, *отталкиваете ли вы старушек*. Сколькие из наших знакомых, считающих себя твердыми христианами, отталкивают!»). И это для меня главное.

Вообще, Кормер в своей прозе искал подходы к жизни и интонацию, ориентируясь на русских классиков XIX века. Как художник-неоклассик он шел примерно тем же путем, каким шли его персонажи в поисках смысла собственного бытия. То есть — срезал дистанцию, пытаясь напрямик выйти к главным вершинам русской прозы. Не подражал, не эпигонствовал, а брал основные принципы повествования для того, чтобы дать форму новому содержанию, не меньше доверяя великой традиции, чем личному вкусу и произволу. Наиболее убедительно это получилось в «Наследстве». Очень неплохо — в «Кроте истории», где сплавлены Гоголь с Достоевским, и в «Преданиях случайного семейства» (матрица семейной хроники, слитая с душеведением по Толстому)... Но и в относительно скромной по задаче «Человеке плюс машине» есть любопытная проба такого рода: здесь Кормер, как мне кажется, остраняя и слегка пародируя научно-интеллигентскую прозу (типа гранинской книги «Иду на грозу»), привлекает логику и интонации гоголевского «Миргорода», гоголевский живой, легкий, безунывный сказ.

Итак, мы уже начали говорить о традиции. Возвращаясь к проблематике «Наследства», уместно спросить: что за «наследство» получают и делят в романе? Если оставить в стороне интригу, связанную с деньгами Муравьева, то выходит, что это наследство русской интеллигенции, противоречивой, непостоянной и все же всегда горящей и алчущей, стремящейся и не обретающей? Скорее всего.

Идейность задач и беспочвенность идей, по Георгию Федотову. Но что можно взять у тех, кому не принадлежит ничего?

Оказывается, можно. Не сами старые идеи, а скорее алгоритм поиска. В итоге у Кормера мы видим, что в двух поколениях развивается этот упорный, отчаянный поиск почвы. В поколении первой эмиграции он часто

---

[3] Из суждения Кормера, получившего одобрение А. Солженицына в его «Образованщине» («блестяще отграненные у Алтаева *шесть* соблазнов русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности». — Цит. по: http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/obrazovan.txt), уже пытались, как из пробирки, вывести смысл «Наследства». Очень возможно, что на каком-то этапе замысла автор романа имел эту типологию в виду.

заводил в «евразийский» тупик, в воспаленные мечты о возвращении на родину, оборачивающиеся советской ангажированностью и попаданием в чекистские сети. История агента ГПУ Проровнера и всей его компании в романе представлена блестяще. А в поколении шестидесятников этот поиск обусловил немалые разброд и шатания (если следовать кормеровской классификации соблазнов, то в оттепельно-нетрезвом, технократическом, а то и патриотическом духе).

Но здесь, в это время и в этом месте, в Москве рубежа 60–70-х годов, у Кормера (да и в принципе) особенно характерен и интересен вектор богоискательства, опора в небесной родине, которую ищут и находят лучшие его герои.

Некогда Кормер задавался вопросом, который не на шутку его тревожил и на который он имел право, как мало кто: «Что изобретет русская интеллигенция? Будет ли это новый русский мессианизм по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия, или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно. Ибо сказано уже давно: "Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят..."»[4].

Прошедшие с тех пор годы и сроки показали, что тревожный пафос писателя был вполне уместен. В 90-е годы интеллигенция как социальный и культурный авангард общества не выдержала, увы, исторического экзамена, а в итоге даже испугалась свободы и в значительном большинстве просто рассеялась без остатка, как пропали некогда все колена Израиля. Нельзя не говорить об этом без горечи. Но нельзя не говорить об этом. Да и ныне люди, претендующие на статус интеллектуалов, блуждают в каких угодно потемках, но зачастую далеки от элементарных понятий о человеческом предназначении и удобоваримом общественном устроении. Да, *должны придти соблазны, но горе тому...*

Однако нет смысла впадать здесь в дидактический тон. Замечу лишь еще, что атмосфера религиозных исканий, воссоздаваемая в «Наследстве», несет в себе освежающие заряды бескорыстия, свободы, любви. Из ничтожества и пошлости прорастают цветы новой общинной жизни. Они увядают, люди не могут нести бремя и ищут себе оправданий. Но в этом-то зыбком ничтожестве, в этой суете и даже лжи зарождается что-то, что случалось, случается и может случиться в России; то, что связано с личностным ростом, иногда мучительным, всегда ненапрасным, — и что соотносится нами с трудно утверждающим себя в умах и душах соотечественников социальным идеалом христианской демократии.

Неясно, впрочем, что нас ждет и на что мы окажемся способны в XXI веке. Ясно, что Кормер — сегодня писатель «для немногих счастливцев», как сказал бы Стендаль. Но если есть у России будущее, то оно за ними. И за ним.

---

[4] *Кормер В.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // «Вопросы философии», 1989, № 9. С. 79.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

(Третий квартал 2008 г.)

А. «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь»

Главная проза сезона (и один из лучших **романов** нового века) — **«Асан» Владимира Маканина** («Знамя», № 8–9), уже отмеченный премией «Большая книга». В порядке привычного мазохизма сообщество награждает книгу за приговор самому себе. Остановимся на романе подробнее. Асан — имя древнего жестокого кавказского божества. Но это и имя главного героя, вернее, так выговаривают имя русского офицера местные чеченцы, ужавшие до Асана паспортное «Александр Сергеевич» (*Чем чаще чеченский старик со мной общается, чем торопливее он обращается ко мне по имени-отчеству, тем скорее мое имя проделывает путь от Александра — к Асану*). А фамилия его — Жилин, как у известного героя Толстого (*Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин*). Ассоциации что-то дают, но не все. И еще: роман не про войну. Не просто про войну. (И потому в основном промахиваются те, кто ловят Маканина на фактических неточностях и хронологических неясностях, — как, скажем, исходящий из своего военного опыта А. Бабченко.) Роман — про жизнь, про «образ жизни», который просто заострен кавказской спецификой. Это тот общераспространенный у нас ныне образ жизни, для которого типична ситуация войны всех против всех — без окопов, но с жертвами. Роман Маканина — про современного человека, про то, чем была, но и, прежде всего, про то, чем стала Россия... Жилин — военный снабженец, распоряжающийся чуть ли не главным богатством, нужным всякому (и «федералам», и «боевикам», и просто крестьянам), — топливом, бензином-керосином-солярой. Наладил доставку, создал сеть осведомителей, чтоб избежать опасностей и потерь, — приторговывает и строит в России домик для своей семьи. Должность презренная — «торгаш». Делец, коммерсант — рядом с войной и бедой, с уверенно крепкими, лишенными сомнений парнями, отлично умеющими стрелять и убивать. Но своеобразие житейской да и исторической ситуации в том, что именно он и является тем человеком, который не позволяет миру рухнуть в холодную черную яму; тем, кто наводит хоть какой-то порядок в абсурдной реальности и привносит толику живой жалости в мертвечину злобной социальности. Тут в новых декорациях работает модель мамаши Кураж, представленная некогда Брехтом.

Вообще самые человечные у Маканина — это обычно самые неправильные: отщепенцы, маргиналы, изгои, всевозможные уроды. А те, кто хочет быть правильным, — самые жестокие и фанатичные. Все хотят жить, а выживают, как получится. Вспоминаешь трагических героев Владимова, стоиков Солженицына, безумцев и поэтов, мятущихся интеллигентов русской прозы XX века — тех, кто все-таки иногда были способны и на подвиг. Тех,

кто летели на огонь и сгорали навсегда. Люди, похожие на героев, есть и у Маканина. Но героизм, утверждает писатель, обессмыслился. Здесь и теперь бесшабашные и отважные воины выглядят придурковато. Глуповато. В лучшем случае им присуща детская игручесть; ею можно восхищаться, но недолго и не вполне всерьез. Они жалки. Это даже не донкихоты: нет великих целей, нет подлинного, большого смысла, ушло понятие о жертве и о настоящем служении... И *санчопанс* Жилин с веком не спорит, ни с обстоятельствами, ни с генеральными положениями. Он применился к ним и не думает ни о высоких материях, ни об общественных интересах. Ему немного смешно, что еще есть люди, которые продолжают строить химеры и измышлять проекты.

Пароль-позывной «Асан хочет крови», которым буйные чеченцы, выходя в эфир, пугают федералов, трансформируется в «Асан хочет денег». Уж лучше коррупция, чем бардак, — констатируют важные генералы, собравшиеся посовещаться и получившие компромат на Жилина. Жестокий горский бог уступает свои прерогативы торгашу. Скользкие карьеристы-штабисты, пахучие боевики, замурзанный разномастный народец — все они не могут обойтись без Жилина, который проведет переговоры и договорится, разрулит ситуацию, найдет в нужный момент бочку бензина, поможет вызволить из ямы солдатика-срочника, отыщет для родственников труп убитого полевого командира. Деньги любят честность. И если есть где-то честность в этом мире, то она вот тут, в дипломатии Жилина... *Майор торговался холодно. Майору не нужна их жалкая рублевая мелочовка, но она нужна Асану. Плевать на их гроши... Но, не возьми майор сейчас с них деньги, они бы не только удивились, но и насторожились бы. Они бы перестали Асана уважать и бояться.*

Однако проблема в том, что своим искусством Жилин создает условия и предпосылки для того, чтоб военная жизнь — именно такая, какова она есть, — все-таки продолжалась. Не будь Жилина, и подлая и пошлая, унылобессмысленная жизнь эта стала бы невозможна, оборвалась бы, сменившись, может статься, чем-то лучшим. Впрочем, лучшим ли? Да и способно ли что-либо стать лучше в этом падшем мире? Оставим этот вопрос открытым. Важно другое: Жилин спасает людей. Отчасти невольно, отчасти целенаправленно — и даже имея с этого доходец (быть может, сама по себе жизнь человека и бесценна, но у нас она стоит вполне конкретных денег). Однако иногда (и очень нередко) Асан делает это из жалости: у него жалостливая, бабья душа, какая иной раз случается у русского мужчины. Герой Маканина — добрый человек, умеющий любить других. Вот последняя возможность предъявить положительного героя, когда прежние доблести забыты или искажены социальной ложью. Но всей логикой повествования доказывается: эта самая жалость, эта скромная любовь — самоубийственны в современном мире. Жалость смертельна, она убивает. Жилин случайно, нелепо — и закономерно — гибнет от руки спасенного им контуженного дурачка.

Роман Маканина, как все его лучшие вещи, актуален. Он схватывает суть нашего момента и остро фиксирует его проблему, его этос. Роман очень точен в интонации повествования, хотя она несколько монотонна. Но однообразие здесь скорей всего неизбежно, как и композиционное кружение

вокруг одного и того же «заколдованного места»... Так устроена наша действительность. У нас вообще мало прозаиков, умеющих сказать что-то дельное о современности. Маканин умеет. Беда в другом. Выводы его безнадежны: безжалостная, равнодушная жизнь торжествует. И альтернативы нет.

Другая довольно значительная крупная вещь сезона — **роман Леонида Юзефовича «Журавли и карлики»** («Дружба народов», № 7–9). Монгольская экзотика примешана к истории о двух героях, в судьбах которых преломилось постсоветское время. Жизнь то сводит, то разводит героев, а на дворе девяностые годы — время бандитско-коммерческое, живописно-зловещее, а чаще пошлое и ничтожное; время, когда, чтобы выжить, нужно было без сантиментов бороться за существование. Один из героев подторговывает чем придется, и в какой-то момент его «ставят на счетчик». Другой на продажу пишет статьи про самозванцев. Момент самозванчества возникает и в жизни... Роман неровный и несколько рыхловатый, но интересный острым видением изнанки девяностых с их дикой свободой и упрощением человеческого типа.

Недельный роман **Ильдара Абузярова «Хуш»** («Октябрь», № 6–7) — про мусульманских террористов в Петербурге. История насквозь придуманная, чего автор и не скрывает. Начинается она с того, что герой-рассказчик делится заботой: ему нужно сдать в срок некий роман. Случайно телевизионный сюжет наталкивает его на мысль, что можно сыграть на модной теме: *И вдруг... восьмая кнопка пульта и восьмой канал натолкнули меня на мысль. А что если?.. Может, написать что-нибудь о теракте?..* Итак, горячий арапчонок Али в поисках возлюбленной приезжает в Питер. А тут как раз происходит некий важный саммит. *Сорок разбойников на саммите в шикарной пещере. В которую чудом проник бедный юноша Али. Али — сын своего Бабы.* И так много вообще в Питере социального зла, и так высокомерен и чванлив Запад, и так мало в мире справедливости, что смуглые и горячие мусульманские мальчики из Ташкента, Махачкалы и Нигерии начинают немедленно сублимировать свое либидо в жажду мщения. Абузяров представляет террористов и их мотивы довольно симпатичными, впадая в характерное леваческое слабоумие. Впрочем, не он первый. Роман затянут и поверхностен, в нем по мелочам немало всякого щегольства, различных красивостей, тонко схваченных подробностей. И все-таки больше, чем существенности, в нем паразитирования на важной теме.

Роман Елены Холмогоровой «Начальник воздуха» («Дружба народов», № 7) — отлично рассказанная семейная история. Постсоветские годы как время испытаний и невзгод, время соблазнов и сомнений. Но взгляд на мир Холмогоровой довольно оптимистичен: изображенная московская семья выстояла, не развалилась.

Справляется с жизнью и герой-рассказчик в **повести Аркадия Бабченко «Дизелятник»** («Новый мир», № 7). Солдат-срочник приехал из Чечни на похороны отца, заболел, просрочил отпуск, тут его и замели на губу в Москве. Далее в очерковой манере предъявлены как армейские абсурд, школа унижения, так и выделяющиеся на этом фоне светлые личности: люди, которые сохраняют правила или принципы, пытаются жить согласно им. Таков и сам герой-рассказчик этой исповедально-мемуарной в основе своей прозы.

Исповедально-мемуарный колорит присущ и повести **Олеси Николаевой «Тутти»** («Новый мир», № 7). Знакомый архиерей подарил рассказчице щенка. А тот хулиганит, гадит и отнимает время и силы, нужные для общения с коллегами, творчества и молитв. Вот как тут быть?.. Не иначе как Бог послал такое испытанье православной поэтессе. Неглубокая по сути вещь зато остроумна и тонка. Хороши церковные детали и подробности, из которых одна все-таки смущает: отзеркаленный (вложенный в уста одного из героев) рассказ о подвижничестве последнего советского патриарха, Пимена, представленного молитвенником и чуть ли не святым подвижником. Впрочем, существует и такое мнение.

Как всегда, мрачноват, но убедителен взгляд на современника у **Романа Сенчина**. В **рассказе «Сорокет»** («Новый мир», № 7) главный герой, средний москвич, по случаю юбилея собирает друзей и родственников, печалуется и скандалит, а попутно нам открываются и поверхностность социальных связей, и мелковатость душ, и фатальность обстоятельств.

Анатолий Клименко в **повести «Хлопоты в казенном доме»** («Москва», № 8) раскручивает ситуацию, в которой простой человек пытается откупить от суда-следствия родственника, привлеченного за провоз наркотиков из Казахстана в Россию. Тягомотная история кончается для героя успешно. Посыл же автора, вероятно, в том, что от судьбы никуда не деться, но друг дружку выручать нужно.

Фаталистична и пессимистична и **повесть Николая Евдокимова «Нелидово»** («Наш современник», № 8). Вымирает деревня. Жизнь каждого из персонажей заходит в тупик. Молодые бегут в города. Проза со слезой. Традиционная сентиментальная дидактика, стандартно сопутствующая этой теме, нет-нет да и разбавляется у Евдокимова тонким умением посмотреть на человека сквозь призму подлинного искусства. И тогда внезапно абзац-другой открывают новые возможности свидетельства о мире. Словно окна в иную реальность опыта и знания.

Гораздо более цельная проза на сельскую тему **Александра Антипина** из Мезени («Новый мир», № 8) подкупает тонко выписанной экзотикой северной крестьянской жизни, характеров и положений. Два отличных **рассказа**. Простые люди, простая, честная жизнь. Есть в лучших образцах северорусской прозы что-то особенное и по-особому волнующее. Может быть, потому что в героях ее совсем отсутствует рабское начало, они, как правило, не пеняют на обстоятельства, а сами отвечают за себя.

Александр Сегень в **повести «Есенин»** («Наш современник», № 7) представил современного литератора, который стеченьем обстоятельств оказался в фаворе у своих богатых сограждан. И вот модного писателя зовут на банкеты-праздники, — специально чтоб он там похулиганил, побуянил, явил мирным обывателям дерзкую поэтическую натуру. И даже псевдоним ему дали соответствующий — Есенин. Герой в душе ворчит, но баксы сшибает. Входит даже во вкус. А потом дебошир приедается публике, и звать его перестают. Затянутый банальный фельетон с дидактическим элементом.

А **Владимир Березин** безбашенный анекдот развернул в весьма приличную по объему **повесть «Кролик, или Вечер накануне Ивана Купалы»** («Новый мир», № 8). Веселая компания отправляется на дачу к приятелю и со

всякими приключениями добирается до места, где и предается веселью и дальше. Много остроумия и талантливых деталей при явном дефиците общего смысла.

Владимир Крупин в **«Повести для своих»** («Наш современник», № 9) излагает странноватую историю. Богомольно-елейный герой-рассказчик, отчасти альтер эго автора, задумал на старости лет бежать из городских содомов в тихий деревенский приют. Но попал из огня да в полымя. Теряя сходство с бытовой достоверностью, повествование переходит в разряд игровых умозрений. В деревне героя осаждает компания алкашей-философов, рассуждающих о самых разных предметах (надо заметить, что рассуждают эти персонажи по большей части в той же тональности и манере, что и автор, да и взгляды на жизнь у них в основном совпадают). Зато потом рассказчик попадает к неким идейным неприятелям, чей хитрый умысел, как выясняется, и подготовил его десантирование в странную деревню. Тут Крупин подпускает в повествование мутноватой «мистики». Однако ничто не страшно православному человеку, каким представляет себя герой. Опоясавшись крестным знамением, он идет себе вперед и дальше как ни в чем не бывало. В этой прозе отдельные выразительные детали тонут в море разливанном пустоватого балагурства и банальной разговорной публицистики в фирменном стиле «Нашего современника».

Более членораздельный замысел реализован в **романе Всеволода Бенигсена «ГенАцид»** («Знамя», № 7). *ГЕНАЦИД* — аббревиатура, означающая Государственную Единую Национальную Идею, которая призвана сплотить российский народ. В село Большие Ущеры по инстанциям спущена для реализации эта самая новая Национальная Идея — объединиться на почве любви к отечественной литературе, для чего каждому выучить определенный фрагмент классического текста и стать его живым хранилищем. Бюрократическое вырождение идеи литературоцентризма при реализации проекта оборачивается анекдотическими перипетиями. Социальная сатира в щедринской манере.

Рассказ Германа Садулаева «Бич Божий» («Знамя», № 7) — о том, как в старые времена русский простак прижился в чеченском селе. Далее история начинает напоминать собой тургеневскую «Муму» с поправкой на среду и эпоху, а к концу и вовсе уже отдает мистикой в духе финала гоголевской «Шинели»: потеряв любимую собачку, главный герой запил, а после смерти трансформировался в пса-мстителя...

Александр Карасев в подборке **рассказов «Дорога в облака»** («Октябрь», № 7) добирает по крохам материал по той теме, к которой он прикован, как раб к галере: армия и во́йны недавнего прошлого. Проблема в том, что Карасев плохо умеет выдумывать, он сугубый эмпирик. Писатель явно теряет значительную содержательность, старый опыт давно предъявлен, а ничего другого не появилось... Новые вещи довольно банальны.

«Три книги о городах и пригородах» Дениса Осокина («Октябрь», № 8) — поток лирических признаний молодого рассказчика о счастье зимней праздности: *...и я вот тоже — во фланелевой синей ночнушке — в высоких женских зеленых шерстяных гольфах с оленьим желтым орнаментом — я привез их из Коми — хотел кому-нибудь подарить. Обувная красная ложка висит на вход-*

ной двери — звенит как «поющий ветер» — караулит дни. Если сяду за письменный стол — ноги поставлю в таз с шишками. Таков мой дом в декабре.

У **Марии Лосевой** в **рассказе «Репетитор»** («Знамя», № 9) немолодой усталый мужчина стечением обстоятельств становится репетитором и учит математике неспособную девочку-замухрышку. А та возьми да и влюбись в него. Дело доходит аж до попытки совместного самоубийства. Но все выжили. И, наверное, к счастью. Казус чувств на фоне социальной безнадеги.

Два **рассказа Владимира Найдина** на медицинскую тему публикует «Новый мир» (№ 9). В одном герой-врач упорно борется с энцефалитом, становясь при этом чуть ли не суперменом; в другом студенты-практиканты наблюдают за первичным приемом у венеролога. Четкий слог, знание предмета и точно найденная дистанция несколько комического соучастия.

А врач **Максим Осипов** в **очерке «Непасхальная радость»** («Знамя», № 7) рассказывает о конфликте врачей тарусской больницы, решивших образцово наладить медицинское хозяйство, с местной властью. Сам Осипов принадлежит к числу этих врачей. Общий очерк ситуации (известный, кстати, по кампании в Рунете и публикациям прессы) переходит в обобщающие размышления о своеобразии современной российской жизни в провинции.

Повесть Маргариты Хемлин «Про Иону» («Знамя», № 7) — очередная у этого автора сентиментально-колоритная история из жизни простонародного еврейства советской поры. На сей раз герой писательницы — Иона Ибшман, фронтовик, которого мотает по жизни, а он смиренно терпит и выносит подвохи судьбы.

Евгений Попов в **рассказе «Или—или. Обо мне, летающей тарелке и коммунизме»** («Октябрь», № 9) ведет речь о происшествиях, некогда случившихся с рассказчиком, похожим на автора, в небольшом рабочем поселке на границе Мурманской области и Норвегии. *Я приехал в поселок Н. Мурманской области по командировке из города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, внедрять на руднике новые экспериментальные мероприятия по материальному стимулированию рабочих кадров Заполярья за выработку вырабатываемой ими продукции. Чтоб трудящиеся трудились еще лучше, чем могут.* Инопланетяне берут героя в коммунизм. Ностальгический соц-арт.

В **рассказе «Крик»** («Октябрь», № 7) **Юрий Петкевич** выпел свою очередную песню без склада и лада. Манера этого автора всегда одна и та же: ловить жизнь на хаосе, на невнятице, бессвязности, которые, однако, не вызывают ни какого-либо драматического переживания, ни абсурдистских догадок. Просто поток случайного бытия, описанного по поводу смерти сельского старика Яши. Сказать по правде, Петкевич это делает как-то свежо, поэтично и недлинно, так что не успеваешь напугаться и извиняешь ему то отсутствие явного смысла, которое в среде более молодых авторов стало просто эпидемией — и либо производит на свет образцы инфантилизма, либо такие чудовища премированной бессмыслицы, как пространный роман А. Иличевского «Матисс».

Рассказ Анатолия Наймана «Все мало» («Октябрь», № 7) — размышление, в частности, о природе собственного творчества. Проза поэта, говорит Найман, — это такая проза, которая в момент создания охватывается цели-

ком и видится автору, как стихотворение. Независимо от объема. В качестве иллюстрации предложена история из прошлого с актуальным продолжением. В советские времена некий Марк, эрудит и донжуан, попал в лагерь, в чем косвенно можно заподозрить участие Адриана, мужа дамы, за которой Марк ухаживал... Прошли годы. Марк тихо существует в эмиграции, Адриан получил известность как видный ученый-культуролог. И вот на некоем собрании в Англии научное сообщество проигнорировало Адриана ввиду слухов о его стукачестве... Зачем про все это рассказано? По логике лирических сцепок и настроений — чтоб обратить внимание на бренность и забвенность. То есть лишь наши мелочность и злокозненность заставляют нас помнить то, что относится к советскому опыту. А других оснований уже нет...

Еще один сугубо филологический проект — имитация перевода: «*роман-эхо*» **Андрея Битова «Преподаватель симметрии»** («Октябрь», № 8–9), авторство которого приписано некоему Э. Тайрд-Боффину. *Давным-давно, еще в дописательской молодости, в моем «геологическом» прошлом, мне попалась книжка неизвестного английского автора «The Teacher of Symmetry». Я прихватил ее с собой в экспедицию с благими намерениями самообразования, да по лени, тяжкой работе и под ироническими взглядами работяг так и не раскрыл. А тут — осень, ненастье, нет вертолета, ждем погоды... Все читано-перечитано, во все игры переиграно... На беду кто-то вспомнил, что видел у меня иностранную книгу, и пришлось мне ее без полного понятия как языка, так и смысла пересказывать под непрекращающимся дождем*, — так начинает Битов перекладывать на русский язык условного писателя Э. Тайрд-Боффина (то есть «*усталого исследователя*»), книг которого не нашлось даже в Библиотеке Конгресса. Содержательно — литературная игра в доведенном до крайности виде. Эссеистически изящное и необязательное производство слов.

Александр Жолковский также предлагает читателю изящный пустяк на филологическую тему (**«Гипсовая десничка, или Не всякая пословица при всяком молвится. Филологический случай»** — «Новый мир», №7). Это анекдот о супружеской чете московских пушкинистов. Литературные разговоры едва не становятся поводом раскрыть супружескую неверность...

НОН ФИКШН

В первую очередь нужно отметить две публикации историко-мемуарного характера.

В «Новом мире» (№ 9) публикуются фрагменты **дневника Лидии Чуковской «Счастливая духовная встреча. О Солженицыне»** — с середины 60-х годов по середину 90-х. В сентябре 1965 года после конфискации архива Солженицын по приглашению Корнея Чуковского жил некоторое время на его переделкинской даче. А после этого, с 60-х годов, приезжая на несколько дней из Рязани в Москву, останавливался в городской квартире Чуковских или на даче в Переделкине. Последнюю зиму 1973/1974 года перед высылкой из СССР Солженицын почти сплошь прожил на переделкинской даче. Записи Лидии Корнеевны и касаются непосредственных впечатлений от этих приездов. После высылки Солженицына связь с ним не прерывалась, о чем свидетельствуют и дневник Лидии Корнеевны, и сохранившаяся переписка. После возвращения писателя в Россию, как видно по

записям, эта *духовная встреча* продолжалась. Они виделись. Но главное в дневнике — это сочетание впечатлений от личности Солженицына и противоречивых реакций на его идеи и взгляды. В этой связи характерна одна из последних записей: *13/XI 95, понедельник. Читаю публицистику Солженицына. Удивительная книга! Столько ума, пророчеств — и столько безумия и злости не по адресу. Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов — и привкусу безвкусицы и безумия. Ну почему, например, А. И. утверждает, будто русский и украинский народы понесли наибольшие потери в войне против фашизма? А Белоруссия — не понесла? Ведь на нее первую накинулись гитлеровские войска. И таких «почему» очень много, хотя много и ошеломительных правд. И настойчивые призывы к «национальному сознанию», «национальному возрождению» — рядом с проклятиями — заслуженными и незаслуженными — по адресу интеллигенции. Как будто без интеллигенции возможно какое бы то ни было сознание. Интеллигенция и есть сознание. <...> «Образованщина» — «образованщиной», но интеллигенция и самого Солженицына вынесла, выпестовала, подвергая себя смертельной опасности — и самого Солженицына. Человек он благодарный и благородный — воспел своих спасителей в дополнениях к «Теленку», — но мыслитель? А что был Самиздат — разве не национальное самосознание России — интеллигентной России? — и Сахаров — при всех его политических неточностях? Я не знаю, был ли Сахаров верующим и православным (сомневаюсь!), но человеком великой нравственности был он, а не Шафаревич. И почему, в чем русский народ показал себя истинным христианином? Только в идеале, в поговорках, в любви некоторой его части к церквам? А как же католики — итальянцы, французы,— они разве не христиане — потому что не православные? Да ведь и читает-то Солженицына только интеллигенция. Отлученная от интеллигенции неинтеллигентная Россия вся — по предсказанию объехавшего всю Россию А. И. — будет голосовать сплошь за коммунистов. А ненавидимая и презираемая им интеллигенция снова будет вымирать, погибать или продаваться.*

«Новый мир» (№ 8) публикует и отличную **мемуарную прозу** покойного киноведа **Неи Зоркой «Шесть високосных месяцев»** — о том, как автора (подписантку коллективных писем в защиту подвергнутых репрессиям инакомыслящих) в конце шестидесятых годов исключали из партии в Московском институте истории искусств за упомянутые политические ошибки. Записки Зоркой — это даже не просто замечательное документальное свидетельство о быте и нравах подсоветской «культурной публики», развращенной соглашательством, относительным комфортом и удобствами квазиэлитарной жизни. Это и строгие, точные наблюдения автора над собой, с отлично найденной дистанции, которую дает новый опыт независимости и в свете которого былые метания и колыхания выглядят судорогой привычного рабства, а избавление от них — уроком и путем освобождения духа. Этот дух и пафос внутренней свободы, готовность помочь и поддержать человека отличали Нею Зоркую в более поздние времена, когда автор этих строк встречался с ней, будучи ее подшефным аспирантом.

Документальная повесть **Юрия Зобнина «В час гиены»** («Москва», № 8) — попытка расследовать обстоятельства гибели поэта Николая Гумилева. Зоб-

нин полагает, что расстрел Гумилева был личной инициативой чекиста Якова Агранова.

Свой **очерк «Вспоминая Ольгу Бешенковскую»** («Знамя», № 7) **Игорь Смирнов-Охтин** посвятил памяти поэтессы позднесоветского питерского андеграунда, человека талантливого, прямого и строгого. Оказавшись в эмиграции в Германии, Бешенковская написала исповедальную повесть, где поведала о своем разочаровании в людях, странах, нациях и нравах. Организующим началом этой книги оказалась эмоция неприятия, ненависти; и за это поэтесса заплатила общественным остракизмом, хотя были у нее и поклонники (их письменные отзывы цитируются). И вот эта яркая и трудная жизнь оборвалась...

«Медина» Сергея Костырко («Октябрь», № 9) — яркий, полный живописных наблюдений **очерк** о тунисском городе Сусе. *...Вот она, Медина — абсолютно живой город. И таким был он всегда, и триста, и пятьсот лет назад: мечети, торговые лавки, караван-сараи, колодцы в камне, пекарни...* <...> *И не нужно морочить себе голову словами типа «архаика» или «арабское средневековье». Ход времени здесь не имеет значения.*

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Аврора», «Звезда», «Нева»

Сначала — о литературе заметной, хотя и не бесспорной.

Повесть художницы **Натальи Червинской «Свалка истории»** («Звезда», № 7) — вещица с очевидным трагическим подтекстом. Автору, жительнице Нью-Йорка, Соединенные Штаты представляются именно такой, заявленной в заглавии, *свалкой истории*. Именно здесь и сталкивает автор тех, кого жизнь на родине мяла-мяла — да и выкинула за океан, где живут они словно бы жизнью уже не своей. Да и живут ли вообще?.. Уж не снятся ли им все эти перипетии своих (или чужих) браков-разводов, смертей-рождений? Странные совпадения в датах, таинственные пересечения судеб... Кого тут только нет, — здесь, по соседству с жертвами гитлеровского и сталинского режимов, находит себе место даже член немыслимо далекого Временного правительства. *Сюда приезжали отдыхать от истории, жить внеисторической, частной жизнью. Десятки лет, пока во всех других странах боролись с мещанином во славу различных идеологий, боролись с мещанской, человеческой, частной жизнью, улучшали людей, а не поддающихся улучшению уничтожали, — здесь, в этом городе, можно было спастись, не задаваясь никакими задачами, кроме своих личных. Здесь вместо истории происходил практический прогресс, местный, муниципальный прогресс. В основном экономический, часто кулинарный.* А вот дочь героини упрямо презирает потребительское общество, ей, видите ли, хочется, *чтобы при свободе слова никто не говорил ничего глупого или пошлого, чтобы свободное слово было все как есть культурное и хорошего вкуса.* И поди скажи, как совместить эти два по сути дела взаимоисключающих мира...

Герой **повести Владимира Кавторина «Веселый прозектор»** («Звезда», № 7) — тоже русский и тоже не прижившийся в Америке. По профессии он врач-патологоанатом, причем истинный маг своего дела. В Россию же

его тянет не только неискоренимая ностальгия, но и любовь к женщине. Со своей взбалмошной, но бесконечно обаятельной Ленкой он, правда, то сходится, то расходится, но дороже ее ничего у него в жизни нет. Однако лирическая составляющая повести крайне поверхностно связана с другой, криминально-публицистической. Дело в том, что герой по чистой случайности попадает в некий «Тайный патриотический легион», подлинное гнездо «патриотов»-садистов. Там от него под пытками требуют подписать лживую бумажку, будто бы убитая неизвестно кем узбекская девочка погибла не от бандитского ножа, а сама по себе. Убили же ее, разумеется, именно эти лжепатриоты, не то омоновцы, не то бандиты, — причем из соображений идеологических. Вот как разъясняет свою позицию один из легионеров: *Мы отравлены интернационализмом, химерою дружбы народов. Не умеем и не желаем стоять друг за друга. Поэтому настоящие патриоты и вынуждены действовать втайне. Им выпало быть поводырями слепых.* Словом, писателя со страшной силой несет в чистую публицистику, так что из-под пера у него выходит вместо заявленной первоначально лирической повести некий лирико-криминально-публицистический винегрет, самый неубедительный именно в последней своей части. Эдакие грубо-плакатные мазки, публицистическая тенденциозность, обширные психологические бреши. Хотя насчет благородства авторских намерений никаких сомнений нет.

Дмитрий Соломахин в **повести «Сокурсники. Поездка в Коктебель»** («Нева», № 9) предпринимает ностальгический экскурс в далекие шестидесятые. Чистое, романтическое время. И ленинградские студенты-электротехники, едущие в советский еще Крым, тоже молодцы, не чета нынешним: дружные, веселые, начитанные. Словом, что принято говорить о тогдашних молодых вольнолюбцах, — то здесь и говорится. Всякие крымские легкие приключения, любовь-морковь, колоритная, хоть и шаблонная еврейка-хозяйка дома (*ой, я как узнала, так сильно с вас удивляюсь,.. моя доня Яночка, как она готовит форшмак, это что-то, тушите свет*), отголоски чисто советского национализма, до которого влюбчивым студиозусам нет никакого дела... И — нынешнее время: пусть бывшие ребята обрюзгли, обзавелись брюшками и лысинами, но сильна в них коктебельская молодая закваска. Мы, словом, еще о-го-го. Такое советское, полукомсомольское бодрячество, слегка разбавленное нынешними реалиями. Трудненько же из нас выходит соцреализм...

Гоар Маркосян-Каспер в «Неве», № 9 представляет главы из **романа «Возвращение Агамемнона из Трои»** — весьма изящную стилизацию древнегреческих мифов. Античный мир переливается здесь живыми и теплыми красками, свидетельствуя об особом даровании писательницы, чуткой к текучим переливам и звукам окружающего мира. Этим особым дарованием объясняется и интерес к античности: чем копаться в бесстильной и грустной современности, лучше уж вспомнить Агамемнона с Менелаем, да и про Кассандру не забыть.

Весьма экзотична по материалу и **повесть Михаила Гиголашвили «Красный озноб Тингетаны»** («Нева», № 9), где рассказывается о путешествии некоего семейства по Марокко. Семейство-то наше, русское, дружное, но затесался в него родственничек-немец. А от этих немцев, американцев и

англичан — все зло, даром что они постоянно попадаются на пути наших героев. Довольно унылый текст сильно оживлен перебранкой главы семейства с несчастным баварцем. *Какие вы* (немцы. — *Е. Щ.*) *развитые?* — кричит немцу отец семейства. — *Вы прелые и гнилые! У вас нет понятия дружбы, гостеприимства, уважения к старшим, нет понятия «мы», а только «я», как сказал наш гид, который живет в этой медине с того времени, когда вы еще по деревьям лазили и разрушали все цивилизации подряд, не говоря уже о двадцатом веке, где вы постарались на славу! Вы зациклены на деньгах, а не на жизни... Ваши женщины мужеподобны, ваши шутки — на уровне унитаза, ваша цель — работать, как волы, чтобы заработать две недели солнца, на котором этот бербер лежит весь год бесплатно.* Тут же мелькают и *свиноподобные альбиносы-англичане, без единого волоска на теле*, в чьих *розовых глазах* читается только одна мысль — но мысль о русских: *«Кто пустил сюда к нам этих приматов, варваров, людоедов, плебеев?»*. Такой вот сплав этнографизма с ура-патриотизмом, густо замешанный на хамстве.

Можно сказать, экспериментальный характер носит **повесть** 22-летнего **Сергея Павловского** из Ухты **«Terror crew»** («Нева», № 7). Экспериментальный в том смысле, что печатную площадку наконец-то получили те, кто «по фене ботает». И, надо заметить, «феня» эта предстает во всем своем неприкрытом блеске. *Я во всю лобовуху сингл мочканул; фреску бацали; погоняло; дарова; родаки; да забей; хачики,* — так, главным образом, написан тридцатистраничный текст, преимущественно состоящий из диалогов неизвестно кого с неизвестно кем. Забавно, когда посередь такого мычания вдруг попадается сугубая канцелярщина: *Это который сидел еще за тяжкие телесные на почве разжигания межнациональной розни...* Кто-то кого-то бьет, кто-то сел в тюрьму, кто-то угодил в реанимацию. Вопрос: для кого это писалось и печаталось? Для пользователей «по фене»? Так они не замечены были в чтении журналов. Равно как и всего прочего. Выходит — для нас...

Зато подборка **рассказов** другого молодого автора, **Дмитрия Глебова**, озаглавленная **«Манчжурия — Венесуэла»** («Нева», № 7), написана, напротив, языком правильным и удивительно гладким. Прямо будто утюгом проглажено. Ни мысли, ни чувства, ни сучка, ни задоринки. О чем ведется речь? Да о пустяках, мусоре житейском, слегка разбавленном чем-то хармсовским. Вот фамилия собственная герою не нравится, *заурядно русская фамилия — Штакеншнейдер,* хочется ее сменить. Вот мчится прямой поезд «Манчжурия — Венесуэла»... А вот Муравьиная Голова заговорила... Сочетание безмятежной и унылой гладкописи с абсурдизмом... Не сказать, правда, что интересное.

Грустную историю из жизни обитателей безвестного НИИ рассказывает **Лидия Березнякова («ЧП»** — «Нева», № 7). Бедность, тоска, новых приборов нет, а на старых поди поработай. Зато водки — вдоволь. А где водка, там и пьяные происшествия.

О жутких, но все ж таки веселых временах советского абсурда вспоминает в своих **рассказах Юрий Кирпичев** («Звезда», № 9). В **«Роторном родео»** автор рассказывает о собственной работе на роторном экскаваторе в бескрайних русских степях, а в **«Белых аккордах»** воссоздает обстановку на нищей советской птицефабрике, откуда все работники воруют все, что можно

унести: яйца, ячмень для кормежки кур, оборудование, стройматериалы, кабель, заборы с колючей проволокой, наконец, самих кур. *Больно вспоминать тех несчастных, вечно голодных несушек почти без перьев. И фабрика уже тогда казалась мне образцом коммунизма по-советски: бараки без окон, обнесенные забором из бетона и колючей проволоки; внутри — многоярусные клетки, время суток — по команде, еда — по конвейеру, все голодные, крикливые, ощипанные и злые.*

Сентиментальную историю о любви представляет **Инга Петкевич** в **рассказе «Первый поцелуй»** («Звезда, № 8). Ромео здесь картинно красив: высокий, *в парадной форме морского офицера, с кортиком и прочими прибамбасами.* Джульетта — наоборот: *немытая, нечесаная, в старом линялом халате и рваных тапочках,* к тому же мысли у нее *после вчерашних возлияний* путаются. Героиня вовсю катится по наклонной плоскости — пьет, гуляет почерному и занимается *беспорядочным и бесцельным спариванием.* Она даже боится спьяну кого-нибудь убить. Но ее чистой любви к Ромео все это не мешает, — поскольку у нее вдруг *открывается некая створка души, давно замурованная и заваленная всяким хламом.* Однако нет повести печальнее на свете, и он — подводник, *только что вернувшийся из ада,* — умирает... Занавес.

Две довольно изящно сделанные **новеллы Аркадия Бартова** печатает «Нева» (№ 8). **«Записки графа де Монталона из цикла "Жизнь и подвиги Наполеона Бонапарта"»** — любопытная стилизация, воссоздающая облик страстного, ненасытного императора-любовника, не упускающего ни одной по-настоящему прекрасной дамы. **«Тривиальное убийство»** — новелла о старике, которого убивает любовник жены по наущению этой самой жены. Но следом наступает очередь уже самого любовника, убитого ненасытной дамой.

Тема **рассказов Александра Вергелиса** («Нева», № 7) — современная российская армия. Во **«Вздернувшемся»** речь идет о покончившем с собой солдате. Однако в центре внимания автора — не несчастный самоубийца, а эмоции рассказчика. Рассказчиком же владеет чистая детская радость: ведь повесился, оказывается, не знакомый солдат, а совсем другой — не из Нижнего Новгорода, а из Новгорода Великого! *Мне захотелось побежать к курилке и расцеловать долговязого ефрейтора в его конопатую физиономию. Я был спасен. Я мог жить дальше. Я мог снова пьянеть от весеннего воздуха и от мысли о скором перемещении на гражданку. Я мог читать книги, есть с аппетитом, лицедействовать и спокойно ждать увольнения.* Странноватый какой-то гуманизм... Рассказ **«Дворняги»** — о гибели под колесами электрички жалкого, смешного и несчастного офицера. Его жалеет только пригретая им псина.

Олег Губенко, побывавший на первой русско-чеченской войне в составе казачьего подразделения, не устает восхищаться казаками — единственной опорой и надеждой российской армии. Да что там армии — всей страны. К такому выводу недвусмысленно подводит его **рассказ «Негритята»** («Нева», № 8). Грязных, замученных, не знающих, за что они воюют, солдат казаки убеждают: война эта — дело крайне необходимое, и ведется она не менее как во имя Красоты и Добра. Имеется у Губенко и прямой публицистический выпад против чрезмерно распоясавшихся демократических

СМИ: *Антивоенная пропаганда обрушилась с телеэкранов и страниц газет, пытаясь раздавить русского солдата, приучая принимать за чистую воду потоки грязи и формируя в его сознании неистребимый комплекс необъяснимой вины.* И далее: *Мы, пришедшие в Чечню добровольцами, уже не раз сталкивались здесь с первыми повсеместно распространенными последствиями пропагандистских «промываний мозгов». Солдаты и офицеры в большинстве своем считали войну ненужной. И наблюдать этот процесс было для нас вдвойне больно: кто как не казаки хорошо помнили, что уже однажды Россия рухнула в кровавую бездну, когда армия в 1917 году ухватила ловко подсунутый врагами лозунг о ненужности войны с Германией.* Иными словами, сегодняшние демократы, а особенно солдатские матери, — такие же враги России. Но, к счастью, есть еще в России казаки, наша краса и гордость, они дурням-солдатам и мозги промоют, и как надобно родину любить, научат. Схож в идейном смысле с «Негритятами» и **рассказ «Вовка-маньяк»**. *Маньяком* этого героя называют любя: он настолько преисполнен ненависти к чеченцам, что может только убивать, — причем всех подряд. Автор недвусмысленно восхищен этой благородной страстью своего героя.

В этом году питерской литературы прибыло: возобновила свою жизнь «Аврора», влачившая в 90-е жалкое существование и понемногу сгинувшая. Ныне в эти старые мехи влито новое вино То, что главным редактором журнала стал православный националист Николай Коняев, отчетливо говорит об идейных предпочтениях старо-нового журнала. Разумеется, они легко прогнозируемы. Заглянем в те публикации, которые журнал представляет в качестве своей визитной карточки и аттестует как «повести номера».

Чечня — тема **повести Игоря Бойкова «Закованные в цепи»** («Аврора», № 5). Герои Бойкова — славяне (преимущественно русские, но есть и один украинец), томящиеся в чеченском рабстве. Рассказу об их страданиях (разумеется, по-настоящему жутких: рабство оно рабство и есть) предшествует краткий, но очень эмоциональный очерк русско-чеченских отношений: еще в дореволюционные годы *хищные шайки абреков нападали, грабили, жгли, резали.* Потом — революция, затем Гражданская война, в которой чеченцы опять играли самую гнусную роль по отношению к русским казакам, потом — война уже Отечественная. *Опять налетали с гор чеченцы, которые теперь «уверовали» в немецкий орднунг не менее яростно, чем в 18-м — в пролетарскую революцию.* Немцев, говорится далее, *прогнали навсегда, чеченцев — всего лишь выселили на 13 лет.* (Не уточняется, правда, откуда. Но и так понятно: нет на земле племени более страшного, нежели чеченцы, изгнанные с собственной своей земли.) На изображение зловещего племени чеченцев автор не жалеет красок: *кровожадные упыри; грузные, уродливые, с мохнатыми, жилистыми руками;* говорят они на *собачьем языке, рычат, взвизгивают, питаются исключительно русской кровью.* Слова одного из мерзавцев проливают свет на чеченские планы всеобщего порабощения: *У меня по всей России родственники. Одни ресторан держат, другие гостиницу, третьи наркоту продают, чтобы русские кололись и сдыхали. У меня и в милиции есть свои люди.* Да, времена меняются: раньше, помнится, планы по спаиванию России активно вынашивали евреи... Разумеется, есть в повести и свой чудо-богатырь — русский солдат Станислав, почти что тевтонский рыцарь. Как

его чеченцы ни бьют, он только крепче и сильнее делается. И разбрасывает вражье племя, как богатырю и положено. И сплачиваются вокруг него наши солдатики, — как водится, *русоволосые, широкоскулые,* единственная опора встающей с колен России. Бедняжка Россия: только и суждено ей — либо на коленях стоять, либо кулаками махать.

Повесть Андрея Коржова «Доброволец» («Аврора», № 3) — творение не менее идеологически выдержанное. Разве что действие здесь происходит не в Чечне, а в Сербии. Отсюда легко прогнозируемый расклад сил: высоконравственные, поэтически возвышенные, исключительно смелые сербы; ничтожные, трусливые американцы из «Штатишек» — и удальцы русские. Стоит одному из русских ляпнуть, что первыми на Луне побывали американцы, как из уст серба следует гневная тирада: *Да что ты придумываешь? Американцы — это же нация дегенератов. Они ведь ничего не могут. А ты... Может, ты и не русский вовсе, голову нам только морочишь...*

Как видим, обновленная «Аврора» вырулила на недвусмысленно ясный курс.

НОН ФИКШН

Самая потрясающая публикация сезона, а скорее всего и года — **записки Залмана Градовского**. «Звезда» опубликовала их под заголовками **«Письмо к потомкам»**, **«Дорога в ад»** и **«Посреди преисподней»** (№ 7–9). Написанные на идише и запрятанные во флягу, эти записные книжки и письма уцелели в печи Освенцима и были найдены при раскопках в одной из ям с пеплом. Сам З. Градовский работал в зондеркоманде, состоявшей из заключенных и обслуживавшей весь конвейер уничтожения, и погиб в 1944 году в перестрелке с фашистами. Вот фрагмент из записок, где описаны рутинные обязанности зондеркоманды после того, как открывались двери бункера с убитыми: *Мы приступили к работе. Нас несколько человек, и каждый занят своим делом. Мы отрываем тела от мертвой груды, тащим — за руку, за ногу, как удобнее. Кажется, они сейчас разорвутся от этого на части: их волокут по холодному и грязному цементному полу, чистое мраморное тело, как веник, собирает всю грязь, все нечистоты, по которым его тащат. После этого грязные тела поднимают и кладут лицом вверх... Три человека готовят труп. Один вырывает щипцами золотые зубы, другой срезает волосы, третий вырывает из ушей у женщин серьги, иногда из мочек льется кровь. Кольца, которые не удается снять, выдирают щипцами.*

В «Звезде», № 8 помещены отрывки из **дневников Леонида Пантелеева**, озаглавленные **«Пятая колонна в осажденном Ленинграде... активно действовала с первых же дней войны»**. Публикация (С. Князева) приурочена к столетию со дня рождения писателя. Во вступительной заметке С. Лурье пишет: *Л. Пантелеев был не советский писатель. Потому что Алексей Иванович Еремеев* (подлинное имя Пантелеева. — *Е. Щ.*) *был не советский человек. Поскольку презирал агитпроп, ненавидел Госбезопасность и веровал во Христа...* Сами заметки рассказывают о блокадном Ленинграде, откуда чуть живого писателя вывезли в 1942 году.

В подборке материалов, озаглавленной **«Перейти границу и взять под защиту жизнь и имущество населения»** («Звезда», № 9) и рассказывающей

об оккупации советскими войсками Восточной Польши в сентябре 1939 года, историк Юлия Кантор приводит слова В. Молотова на сессии Верховного Совета осенью 1939 года: *Если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира... Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов... Не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война «за уничтожение гитлеризма».*

Истоки и разновидности российского терроризма исследует историк **Феликс Лурье** в **очерке «Посеять страх»** («Звезда», № 9). Он, в частности, выделяет пять категорий террористов: *...лица с выраженными психическими отклонениями (Д. Каракозов), склонные к суициду (Е. С. Сазонов), преклоняющиеся перед смертью (З. В. Конопляникова, Б. В. Савинков), романтичные фанатики (С. М. Кравчинский, И. П. Каляев), жестокие расчетливые дельцы (С. П. Дегаев, Е. Ф. Азеф). Разумеется, большинство террористов убивали, будучи уверенными в правильности выбранного пути. На многих из них политическое убийство действовало как необходимое лекарство, как наркотик.*

Об интересных особенностях и противоречиях нынешнего молодого поколения размышляет экономист **Дмитрий Травин** в **очерке «Generation "ПУ"»** («Нева», № 7). Отмечает он, например, то, что *теория всемирного жидомасонского заговора* сейчас у молодых не особо популярна. А видеть во всем «руку Вашингтона» — это пожалуйста! И одновременно с этим американцы в глазах поколения «ПУ» — нормальные парни, а работать за океаном — очень даже хорошо.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

По следам наших публикаций

В прошлом номере «Континента» главный редактор журнала Игорь Виноградов вторую часть своего «Дневника редактора» посвятил воспоминаниям о скончавшемся нынешним летом Владимире Викторовиче Виноградове, бывшем в 90-х годах президентом «Инкомбанка», — человеке, чья память очень дорога нам, сотрудникам, «Континента», поскольку на протяжении семи лет, с 92-го по 98-й возглавляемый им банк совершенно бескорыстно поддерживал наш журнал. А уже после выхода в свет номера с этой публикацией на одном из сайтов интернета мы обнаружили статью, посвященную памяти В. В. Виноградова, которую, как показалось нам, необходимо представить нашим читателям, потому что в ней содержится важная и интересная информация, подтверждающая все то доброе, что знаем о В. В. Виноградове мы. Мы связались с автором этой статьи, который представился нам как Андрей Виктович, и получили разрешение на перепечатку.

«ЕСТЬ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»?

Однажды в телефонном разговоре с приятелем я коснулся печальной участи банкира Владимира Виноградова. Бывший создатель (затем председатель правления, президент) «Инкомбанка» умер этим летом. Последнее время постоянно болел, а семья (жена и трое детей) проживала практически в нищете, в банальной двухкомнатной панельной хрущобе. За невозможность далее оплачивать учебу из Московской Школы Экономики, организованной Виноградовым, выперли его сына.

Деньги на похороны Владимира Викторовича собирали бывшие сотрудники. Как-то в стороне остались и организованная Виноградовым же Ассоциация Российских Банков, и Лужков, чьим доверенным лицом на выборах мэра был Виноградов.

— А зачем ты все это мне рассказал? — разозлился приятель. — Потратил свое и мое время. Это судьба! Кто-то куршавелит, кого-то убивают, а кто-то умирает в нищете... Ну и что?! Бесполезная информация!..

Почему меня «не отпускает» фигура Виноградова? Жалость? Изрядно загогулистая синусоида судьбы? Единственный крупный русский банкир, да еще и умерший своей смертью?

Неровно дышащий по отношению ко всему русскому писатель Э. Тополь как-то спросил Березовского: «Куда же делись Саввы Морозовы, Третьяковы?», и БАБ ответил в таком ключе: «Талантливые банкиры есть и среди русских. Но в этой профессии второй главный фактор — наличие воли. Евреи умеют проигрывать и подниматься снова. Это, наверное, наш

исторический опыт. Но даже самые талантливые новые русские — нет, они не держат удар, они после первого проигрыша выпадают из игры навсегда. К сожалению...»[1]

Я знал про это высказывание и, если честно, в душе был согласен с «лондонским сидельцем». Но именно Виноградов всей своей жизнью опроверг постулат Березовского.

Владимир Викторович родом из Уфы. Вырос в бедной семье, рано умер отец. Доводилось реально голодать. Поступил в МАИ, после окончания должен был оказаться на семипалатинском ядерном полигоне, куда «по блату» отправлял его озлобленный партком в отместку за выступление против приема в партию сынка какой-то «шишки». Но (все-таки красный диплом!) в последний момент переиграли на волгодонский Атоммаш. Искренний и прямой, через какое-то время Владимир продвинулся по комсомольской линии и стал секретарем ВЛКСМ всего объединения. Через семь лет история повторилась: обком КПСС поначалу «срезал» поступление в Академию Внешторга, но затем гнев сменился милостью. И направлением в аспирантуру Плешки.

После такого разворота и переквалификации в экономиста Виноградов несколько лет служил в Промстройбанке. Во времена ельцинских реформ вместе с близкими друзьями пришел к идее создания частного банка, которая воплотилась внезапно и во многом случайно. На подмосковную экономическую конференцию «Нара» попал по чужому приглашению. Сжалившийся администратор подселил Виноградова и его товарища к Р. Хасбулатову, которого за чаем удалось заинтересовать идеей и планами. Академиком Абалкиным доклад Виноградова был срочно вписан в повестку дня конференции. Вскоре появился ВТК (временный творческий коллектив), и при участии ректора МИНХ Грошева был создан легендарный Московский инновационный коммерческий банк — Инкомбанк, который стремительно развивался, одно время по объему привлеченных средств «физиков» уступая только «Сберу».

Ну а потом случилась «семибанкирщина». Виноградов умудрился рассориться со многими олигархами. В кризисные времена ему не захотел помочь вице-премьер Потанин. Правда, «Черный квадрат» Малевича выкупил. За миллион $ (при цене 25 минимум).

А затем все «гавкнулось». Пошла череда партнеров-аферистов, полное фиаско, болезни, фактически — нищета. И смерть.

Часто я слышал про скверный характер Виноградова, — будто это та самая причина, которая сделала такой исход закономерным. Так ли это? Вздорность ли всему виной? А может, бескомпромиссность и нежелание мириться с несправедливостью? Свое понимание патриотизма?

Все олигархи, с которыми умудрился поссориться Виноградов, были первыми на раздаче у «корыта», при дележке «пирогов», умели «дружить», точнее, заставить коррумпировать. А Виноградов определял бизнес иначе — как «честную охоту».

Березовский, который, как мы помним, «сожалеет» об отсутствии воли у русских банкиров, дважды приезжал уговаривать Виноградова перед аук-

[1] См.: *Тополь Э.* Возлюбите Россию, Борис Абрамович! — АиФ, 1998, № 38.

ционом по «Сибнефти». Не добившись своего, пообещал: «Тогда мы с Гусинским будем тебя "мочить"!» Затем, после того, как «Инкомбанк» начали травить СМИ, предложил за 25% акций банка обеспечить «спокойную жизнь». И был отправлен «очень далеко».

Ходорковский хотел продать Виноградову пакет акций кондитерки, а за это «Инком» не должен был участвовать в сделках по «ЮКОСу». Не уломал. Позже они даже судились.

Отношения со Смоленским также были безнадежно испорчены.

Чубайс испытывал неприязнь к Виноградову из-за непримиримой позиции того по залоговым аукционам. Парамонова, Геращенко, Дубинин не простили «наездов» на Центробанк. Именно Геракл в период кризиса направил в Арбитраж письмо, которое помогло банк добить.

Да, Виноградов словно коллекционировал врагов, и они прибывали, как акционерный капитал (в лучшие времена). Но мне все-таки кажется, что в ссорах и спорах со смоленскими-березовскими-фридманами-ходорковскими-гусинскими (не на что не намекаю, случайное совпадение), он отстаивал не только и не столько интересы своей банковской империи, сколько интересы государства. Словно «просёк», что *эти* будут делать дальше. Вот и не сдавался: «*Залоговые аукционы показали, что в нашей стране можно жить не по законам, неправедно лоббировать. Залоговые аукционы — это "Титаник", столкнувшийся с айсбергом. Предприниматели решили, что бизнес — это воровство. Мужики, хватай мешки, вокзал приехал! Нормальная экономика — не хватать, а сносить в общую кучу. Именно этим мы отличаемся от США и Германии. Там все сносят на родину, а у нас выносят в оффшоры. Нужно поддержать ту политическую силу, которая готова исправить такую ошибку, как залоговые аукционы*»[2].

Возможно, главная причина раздалбливания «Инкома» и Виноградова лично — в этой политической направленности, «борзости». Знали: такого не купишь, этот «Верещагин» не уйдет с баркаса, он — всерьез.

И еще — не подпускали к нефти. «Чужие» тут не ходят, а он этого понимать не хотел!...

Банк безусловно нужно и должно было попытаться спасти, все-таки счета 10 000 предприятий, 350 000 (!) «физиков», западные кредиты. Но «отчего-то» желающих помочь во властных и банковских структурах не нашлось...

С. Алексашенко, в то время — зампред Банка России, диагностировал: «Инкомбанк рухнул из-за простейшей ошибки менеджмента — имея короткие пассивы, вкладывали деньги в длинные активы»[3]. Д. Любомудров, человек из ближайшего виноградовского круга, объяснил мне причину банкротства так: «...созданный в качестве инновационного спецбанка, он в погоне за прибылью нарушил собственную стратегию и в 1998 году пал жертвой кумулятивного эффекта разнородных рисков еще до начала знаменитого кризиса».

Сам Виноградов считал иначе: «*Я подобрал не тех людей, на которых можно было поставить в тяжелый момент. Были бы они понадежней, беды*

---

[2] Здесь и далее прямая речь В. Виноградова цитируется по: *Положевец Г.* Охота на вожака. — Российская газета, 03.11.2005.

[3] См.: Лента.Ру, 30.06.2008.

бы не произошло. Вина в том, что я подвел многих людей и немалую часть экономики страны».

Кто-то из топ-менеджеров обвиняет как раз Виноградова, в иных откровениях прослеживалась мысль: «Сверху никого не прикармливал, вот и получил!»

Когда на активы Инкомбанка набросились шакалы, Виноградов снова серьезно болел и реально управлять ситуацией не мог. «Вороватые управляющие» (так в СМИ) — это комплимент. 1,5 млрд $ исчезло! А пакеты «Магнитки», «Рот-Фронта», «Бабаевского», «Ленэнерго», АКБ Сухого, «Омского бекона», Северной верфи и Балтийского завода, самарской металлургии и др. в конечном итоге оказались в «более надежных руках», в т. ч. Семьи. Кто только не разевал свой рот на «каравай» — шикарный после свежего ремонта особняк Инкомбанка! Сегодня там Институт развития русского языка...

Мне Виноградов стал неинтересен сразу после смычки с Лужковым. Я разочаровался и злопыхал. Но... сентиментальности не прикажешь, иногда она подобна шампиньонам, пробивающим асфальт. Несколько лет назад я зачем-то (то есть — подспудно) попытался выяснить, как сложилась судьба девушки — *лица* «Инкомбанка». Той, из ролика, которая тепло улыбалась на фоне золотистого логотипа, превращавшегося в рубль, под оптимистичное закадровое: «Есть истинные ценности!» Здесь дело не в красоте девушки или в отсутствии ценника, который часто «витает» на лбу моделек, приглашенных сняться в рекламном споте. Мне почудилась в ней какая-то вовлеченность, и я не ошибся.

— Так это наша, сабуровская! — сказал один хороший знакомый. — Жена прапорщика. Сколько ей потом предлагали сниматься! За любые деньги! Могла озолотиться! Но ни разу не согласилась!

— И так и осталась женой прапорщика?

— Да! Так и осталась! Видел ее на днях в магазине. Раздалась, постарела. Конечно, уже совсем не то, но... Там другое! Принципы. Команда. Не все продается!

В промстройбанковский период Виноградову негде было жить. Поэтому когда организовывался первый хозрасчетный МЖК «Сабурово», он принимал в этом активнейшее участие. Именно под окна сабуровской квартиры впервые приехал «в должности», на служебной машине («москвиче»), и восторженная жена с балкона кричала: «Володя! Я тебя люблю!» И посылала воздушные поцелуи.

Вскоре к подъезду стали подавать еще редкий тогда «мерседес». И народ гордился: «Наш Володька! Слышал? Банк организовал! Первый частный! Реклама по ТВ вовсю идет!»

Действительно, несмотря на вспыльчивость (обусловленную еще и объективными причинами — страшной болью от почечных колик), Виноградов как-то умел сплачивать, собирать вокруг себя команду. Тот же «Инкомбанк» славился сильным корпоративным духом (к слову, после развала «Инкомбанка» его сотрудников охотно брали в другие московские банки).

ВВВ (прозвище в банке) иногда несколько дней подряд ночевал на рабочем месте. В обычные дни приезжал рано утром, а уезжал за полночь.

«Пахала» и команда. Да что свои, пресс-конференции для журналистов назначались на 5-6 часов утра (!)

Этот одержимый человек, ярчайший self-made-man, таки создал финансовую империю! Ну, почти. Холдинг. Если бы не болезни, неизвестно, как бы все повернулось!

«*В каком-то смысле "Инком" был преждевременным банком для страны. Мы старались не обращать внимания на российские реалии!*»

Тогда, может быть, Виноградов — преждевременный человек? Тот, из классики? Вряд ли. Но «российские реалии» точно стали еще страшнее.

«*У нас в стране господствует концепция придворного бизнеса. Считают, что попасть в десятку лучших отечественных банков можно только при расположении правительства. Мы же надеемся лишь на себя, на собственные средства, силы и возможности. Видите ли, с властью, как с огнем, — нужно соблюдать оптимальное расстояние. Не слишком отдаляясь, но и не слишком приближаясь. Потому что когда ты все время суетишься, заглядываешь в дверь, просишь: выслушайте меня, пожалуйста, выслушайте меня, — у того, к кому обращаешься, возникает непреодолимое желание снять ботинок и бросить в тебя. Да, мы являемся уполномоченным банком. Но нам от этого ни холодно, ни жарко. Потому что мы не обслуживали счета федерального бюджета или какие-либо другие серьезные государственные средства. Подобного у нас не было никогда. Статус уполномоченности способствует улучшению имиджа банка, но думаю, что мы как не пользовались халявными деньгами, так и не будем. Просто не хотим этого делать*».

Мне жаль Виноградова и его семью. Поначалу это была рефлекторная жалость, как общение ради общения. На самом деле, я задумался о предназначении. Что нужно сделать, чтобы про исход жизни не сказали: «бесполезная информация»?

Не уверен, что знаю ответ. Иногда мне кажется, что варианта два. «Высунулся» — тогда однозначно: «с волками жить, по-волчьи выть». А если понял, что порхать, «из тени в свет перелетая», — не твое, стоит попытаться притянуть к себе людей, для чего поступательно становиться человечнее и интереснее. И, главное, — уметь ценить людей.

Я не люблю равнодушных людей. А Виноградов был настоящим, противоречивым и, без сомнения, недооцененным. И в массовых добровольных взносах на похороны нет нестыковки, — несмотря на то, что легко от общения не было никому.

Безусловно, Виноградов в итоге проиграл: рулит, похоже, придворный бизнес...

Но, верится, Морозовы у нас еще будут...

*Письмо в редакцию**

«КТО ВИНОВАТ?» и «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

А была ль она, братие, эта Русь на Руси?
Эта — с щедрыми нивами,
Эта — в пене сирени,
Где родятся счастливыми
И отходят в смиреньи...

Александр Галич

Все приведенные здесь рассуждения уязвимы. Я не специалист ни в одной области, о которой идет речь. Руководствуюсь прочитанным, увиденным, услышанным, передуманным. И, тем не менее, уверен, что в главном прав. И, поверьте, это не гордыня...

Прошу извинить некоторый сумбур и невнятицу в изложении, которых, как ни старайся, полностью не избежать. Слишком больная и обширная тема.

* * *

Нашей страной и народом правит преступное государство, которое для простоты буду именовать Властью. Для меня преступность Власти — истина, самоочевидная до банальности. Однако, судя по происходящему в стране, она очевидна далеко не для всех. К сожалению.

Возможно, есть на Земле государства, которые любят свои народы, свои страны, служат им, заботятся о них. Что касается российской Власти, на каждую букву русской азбуки найдется — и не одно — ключевое слово, обозначающее ее, Власти, преступление против страны и народа России и других стран. Преступление политическое, экономическое, уголовное, экологическое... Афганистан, вторжение, война... Байкал, загрязнение уникального природного вместилища чистейшей воды... Беслан, нераскрытое убийство скрываемого количества заложников... Бежецк (Тверская область) и Благовещенск (Башкирия), зверства зондеркоманд ФСБ (2006 года)... Венгрия, вторжение, подавление силой политических прав граждан суверенной страны... Взрывы домов в Москве и других городах России... Грозный, уничтожение города в процессе восстановления конституционного порядка... «Норд-Ост»... Нераскрытые убийства о. Александра Меня, Галины Старовойтовой, Сергея Юшенкова, Анны Политковской...

Названа лишь малая часть самых гнусных, громких мерзостей, совершенных Властью, в том числе и в годы правления новой администрации, и их

* Обычно в этой рубрике мы печатаем выступления наших читателей, посвященные какому-либо конкретному поводу и, как правило, связанные с теми или иными нашими публикациями. Это письмо — исключение. Мы публикуем его не только потому, что оно подкупило нас своей предельной искренностью и тем, что, наш взгляд, в этом письме чрезвычайно точно выражено то, что думают и чувствуют многие россияне, но рассуждать о чем в печати сегодня не принято.

нельзя квалифицировать иначе, как преступления по отношению к народу своей страны. Иными словами, правящая верхушка России является государственным преступником, изменником, предателем родины.

Однако продолжу.

Милиция и другие правоохранительные структуры, представляющие опасность для народа... Нищая, небоеспособная армия... Да, собственно, чего, какого своего института нынешняя Власть может хотя бы не стыдиться? Медицины? Образования?! Культуры?!!

Не стану цитировать газеты, журналы и радио, подтверждающие то, что нашей страной и народом правит государство, которое ведет себя в своей стране Атиллой, Чингисханом, Батыем — разрушает, убивает, грабит, насилует...

По совокупности преступных деяний российская Власть вполне могла бы занять скамью подсудимых в, условно говоря, Нюрнберге, за международные преступления, а также быть судимой по 58-й статье (все пункты) — за преступления против своей страны и народа.

Нам, народу России, рано или поздно придется выбирать: быть ли раздавленными Властью до полного нашего уничтожения или стать гражданским обществом, поставить Власть на место. Причем, именно на русском как на самом многочисленном народе и лежит главная ответственность...

Не могу не коснуться еще одной вины Власти. В России все откровеннее и все наглее растет фашизм. Подходит на дрожжах попустительства сверху. Правители делают вид, что ничего такого нет. Убийства иноплеменников с Востока, Кавказа, с Кубы; разрешенные марш-парады националистов и запрет на выступления антифашистов... Я не думаю, что Власть совершенно слепа и глупа. Вероятно, она так боится нас, народ (знает кошка...), что готова на всё. А может, слуги Власти уверены, что договорятся с фашистами? С огнем играют! Швейк как-то раз закурил, сидя на пороховой бочке...

Что касается российских фашистов, то они так любят русский народ, так ненавидят все нерусское, что даже называют себя *скинхедами*, словом, не известным ни Далю, ни Ожегову, ни Ушакову, ни Евгеньевой...

Ни слова доброго не найду в адрес КПСС и всего, что творили коммунисты, начиная с 1917 года, но если вдуматься, новые правители не лучше предыдущих. Те истребляли людей в лагерях, при этих падает численность населения в стране. Смертность превышает рождаемость. Огромные пространства к востоку от Урала (или даже Волги!) становятся безлюдными. А если народ вымирает, — значит, виновата Власть.

То, что произошло с Россией после советской власти, кратко, но исчерпывающе изложено в притче Христовой о семи бесах. При всей бесовской бесчеловечности советской Власти, она была, по крайней мере, сильной. После свержения власти коммунистов, наши, pardon, демократы, как умели, то есть с огромными огрехами, вымели освободившееся от этого беса жилище, но не нашли, чем его заполнить. И вот, пожалуйте: семь бесов, еще более страшных...

* * *

Теперь зададимся вопросом, а была ль когда на свете Русь Святая? То есть, был ли в нашей истории период, протяженностью хотя бы в одно поколение, когда Власть проявляла заботу о своем народе?

С тех пор, как повелась земля Русская, Власть ведет с народом истребительную войну. По мере развития науки и промышленности технология истребления людей совершенствовалась. Изменились масштабы...

Кстати, принятие Русью христианства тоже было исполнено Властью. У меня нет доказательств, но я оставляю за собой право полагать, что христианизация Руси-России тоже проводилась насильственно, со всеми вытекающими из этого потоками крови. Во всяком случае, в «Повести временных лет» я не нашел свидетельств того, что в этом важнейшем духовном действии вместе с князем Христову Истину народу несли проповедники-христиане. И в дальнейшем дела Божии в нашей стране управлялись Властью. Особенно интенсивно Иоанном Грозным, Алексеем Тишайшим, Петром Великим, Владимиром Ульяновым, Иосифом Джугашвили, Никитой Хрущевым.

Власть всегда олицетворяет кто-то один. Иногда это личность, иногда бибабо на пальцах некоей закулисной группы. Вовсе неважно, как этот один называется: монарх, диктатор, вождь, президент... От этого его суть никак не зависит. В любом случае его власть от Бога. А Бог никогда не даст стране правителя хуже, чем народ заслуживает, по Своей любви к сотворенному Им. И никогда не даст — лучше, дабы бисер не был попран. Поэтому вздохи монархистов по поводу царя-батюшки мне представляются романтическими слюнями. Не было у нас, повторюсь, царя-батюшки. Все они (кроме, возможно, Феодора Иоанновича) пеклись только о делах Кесаревых...

В Книге Судей есть притча о том, как деревья выбирали себе царя. Предлагали самым уважаемым: смокве, маслине, лозе. Все три отказались: у каждой из них было свое чрезвычайно важное, общественно полезное, несовместимое с властью дело. Тогда встал колючий и безлистый терновник и сказал: Я стану вашим царем. Придите, растения, под тень мою (Суд 9:8–15). Все стало на свои места.

Творчество и власть не сочетаемы, возможно, даже абсолютно. Можно ли себе представить, чтобы личности масштаба А. Д. Сахарова, о. Александра Меня, Д. С. Лихачева, И. Е. Репина, А. С. Пушкина стремились стать президентом, царем, генсеком, каудильо, фюрером?!

Совершенно очевидно, что человек может прожить без государства (трудно ему будет, много неудобств, и жизнь примитивна, — взять, например, якутов, эвенков, другие малочисленные народы Севера)... Но человек без Власти обойдется. Тем более человек верующий, ходящий под Богом. Власть же без человека, без народа — ничто. По определению. И это должны понять и мы, и Власть. Для общей пользы...

Власть обязана служить человеку. И тогда человек станет поддерживать свою Власть, помогать ей служить себе. Но в любом случае сначала человек, а уж потом Власть. Она должно знать свое место.

Теперь извечный русский вопрос: кто виноват? Почему мы, русские, и другие народы России попались в западню нашей Власти? Для разгона повторюсь: каждый народ имеет то правительство, которое он заслужил. То есть мы сами и виноваты в том, что у нас в России происходит. Главная наша вина в том, что мы даже не понимаем, что положение России катастрофично.

Я русский. Во мне около половины украинской крови, не исключены следы польской и, возможно, еще какие-то, мне неведомые. Но, повторяю, я

человек русский. По языку, культуре, взглядам, вкусам, образу мышления. И я никогда не откажусь от моего народа. Это дает мне моральное право говорить о моем народе то, что я в нем вижу, то, что я о нем думаю. И буду я говорить то, чего не потерплю от сказавшего мне: «Вы, русские». Пусть они разбираются со *своим* народом. И вместе с тем, бывает чрезвычайно интересно узнать, что о нас думают другие.

...Года два назад мне попалась книжка «Немцы о русских», составленная каким-то, вероятнее всего, русским немцем по отрывкам из писем и дневников военнослужащих от рядового до генерала Вермахта, воевавших на Восточном фронте, то есть против нас. В этих записках не было оценки или анализа, — только факты, как они были поняты, что и ценно. Были страницы, где меня, русского, гордость брала, — когда немцы признавали нашу неприхотливость, выдержку, смекалку, изобретательность, позволявшие найти выход из самого сложного положения, починить, казалось бы, напрочь сломанную машину, оружие и так далее...

Но куда чаще мне было стыдно за нас.

Немцы пишут (не цитирую, а излагаю по памяти): если бы русские не пили так много, они бы нас «сделали» на два года раньше... Почему русские так много врут?! То, что они врут начальству, — понятно. Начальство для того и существует. Но для чего они врут друг другу, без причин и выгод для себя?!. Русские непредсказуемы. Русский без всякого перехода может от дикой ярости впасть в сентиментальность, улыбаться, похлопать по плечу. Русский может снять с тебя сапоги и тут же отдать последнюю щепотку табаку...

А теперь наблюденное.

...Лет шесть или семь назад в нашем храме стали кормить нуждающихся. Два раза в неделю. Каждый раз приходят 200—300 человек. Несложные подсчеты показывают, что за все время мы накормили около двухсот тысяч человек. Разумеется, значительная их часть — постоянные посетители. Но все равно получается для житейской статистики количество предостаточное. Так вот что говорит эта житейская статистика: порядка 90% кормимых — мужчины. Из них не меньше 75% вполне работоспособного возраста и без признаков увечья. Славянские лица преобладает, азиатские и кавказские — редкость. Ходил к нам один якут, его судьба мне неизвестна, и один полутувинец. Он мне рассказал свою историю, вполне незаурядную, я помог ему связаться с представительством Тувы, и он уехал домой. Приходил несколько раз и старичок-еврей. Наш храм — не единственный, где кормят, и я не думаю, что в других местах этнический состав сильно отличен от нашего. Соотношение русских — нерусских никак не соответствует национальному составу Москвы: иноплеменников в городе в десятки раз больше.

Так вот, глядя на молодых крепких парней, частенько не вполне трезвых, прилично одетых, пришедших не работу искать, а есть незаработанный хлеб, с ужасом думаешь: что происходит с моим народом!..

Но! Взять русские народные сказки, наши зеркало и свидетельство обвинения! Наш любимый герой — Иван-дурак, любимый сюжет — никчемушный лоботряс, поймав щуку, раздобыв двоих-из-сумы, скатерть-самобранку или женившись на принцессе, становится счастлив и богат. Не затратив никакого труда!!!

...Интересно, сколько голосов получил бы кандидат на пост высшего руководителя Германии, Великобритании, Канады, если бы он, обращаясь к избирателям, употребил выражения из воровского языка? Наш — 72 процента!!! Выбор народа — характеристика народа, а в нашем случае — свидетель обвинения.

...До чего же в нас, русских, силен Адамов грех! Если выражаться на современном уличном языке: а чего Ты ко мне, собственно, пристал?! Не жрал бы я Твое яблоко, если бы мне его не дала баба, которую Ты Сам же мне и подсунул!

И не в моей передаче библейского текста богохульство, а в сути ответа Адама. Главная беда в том, что в наших бедах мы ищем виноватых на стороне. У русского всегда нерусский виноват. Но если бы это касалось только простонародья! От одного московского священника на проповеди я своими ушами услышал, что, оказывается, в бедах русского народа виноваты подстрекатели, как правило, нерусской национальности. Как же надо презирать собственный народ, чтобы не считать его способным отвечать за себя и за свои беды!..

Картинка к сказанному.

...За окном автобуса неоглядные дали Клинско-Дмитровской возвышенности. Залюбуешься. Вдруг оскорблением оку куча мусора на обочине. Мой сосед, почтенный муж, бросает презрительно:

— Вон, видите. Это все Запад. Американцы нас научили.

Я на ходу придумываю притчу, не боясь самооговора:

— Помнится, лет двенадцать мне было. Застал меня отец за тем, что я выводил на стене нашего дома некое слово. Батя мой вскипел, аж жуть: «Как тебе не стыдно такие мерзости делать?» А я ему, мол, я-то причем?! Меня Витька научил. Батя как врежет мне по заднице. Да не один раз. Лупит и приговаривает: «А ты, скотина, на других-то не сваливай. Лучше бы от Витьки на гитаре учился играть!»

Сосед помолчал, потом недовольно пробурчал:

— Я не понял, к чему это вы.

На этом наше общение и завяло.

* * *

Выше я клеймил Власть за ее преступления. Однако кто их совершил? Чиновники, разумеется, кто же еще!

Да что же это за звери такие страшные, российские чиновники? С Марса прилетели, с Луны свалились, с проклятого Запада прокрались?

В 2001 году я проехал на автобусе от Москвы до Парижа и обратно. Ни в Польше, ни в Германии, ни далее везде не увидел я ни грязинки, ни мусоринки. Аж противно, плюнуть некуда! Но стоило мне, возвращаясь, въехать на родину, в глаза бросились кучи и того, и другого. Окраины наших городов, околицы деревень, овраги, придорожные канавы, берега речек завалены пластиком, стеклом, тряпками, металлом. Всё это — творчество народа. Из которого и вышли наши чиновники, которых мы (и я в том числе) так любим ругать, обличать, обвинять. Хотя они, как и сказки, — тоже наше зеркало и наше свидетельство обвинения...

...Мы ненавидим Запад и лебезим перед ним. Все вывески в Польше — по-польски, в Германии — по-немецки, во Франции — по-французски... Въезжаю в Россию, — над дверью какой-то задрипанной забегаловки готической вязью: «Bar-restaurant». Французы пользуются только своим языком, а мы напропалую пролонгируем консенсусы с эксклюзивным имиджем, ломаем язык об Башкортостан и Кыргызстан. Хорошо, хоть, обходимся без Ингланда, Суоми и Ниппон'а!

Мы обвиняем Запад в том, что он хочет распада и гибели России. Я сильно в этом сомневаюсь. С другой стороны, иметь соседом огромную, вооруженную допотопным, но страшным оружием страну, населенную диким (да-да, диким, это я о нас, о русских!), ненавидящим других народом и управляемую достойной такого народа верхушкой... Вас подобное пу́гало не пугáло бы? То-то...

Мы ненавидим всех: евреев, азиатов, кавказцев, африканцев... И при этом сильно обижаемся, что нас не любят другие. На это жалуются приехавшие из Прибалтики, из Средней Азии. Даже если допустить, что нелюбовь действительно имеет место и относится ко всем русским, она нас же и разоблачает. Не любят все, — значит, есть за что. Нормальному человеку свойственно любить себе подобных (имеется в виду не родственное подобие, а видовое). Чем менее цивилизован народ, тем сильнее в нем Творцом заложенная любовь к себе подобным. Об этом свидетельствуют все исследователи Азии, Африки, Полинезии, обеих Америк.

Нелюбовь надо заслужить.

Слишком часто мы, русские, приехав к другому народу, ведем себя с ним по-хамски. Можно ли уважать человека, который, живя среди другого народа, не удосужился хотя бы на бытовом уровне выучить его язык, — хотя бы слова вежливости?! Либо он полнейший, за гранью олигофрении, тупица, либо патологический лодырь, но, чаще всего, спесивец, считающий ниже своего достоинства учить язык всяких чурок...

Судя по тому, что мы вытворяем, по тому, как мы относимся к другим, мы сами себя ненавидим. Кто не умеет любить другого, себя не умеет любить...

Власть и ее слуги разворовывают страну, но это свойство народа, из которого они и происходят. Мы пьяницы, воры, лентяи и завистники. Наши девчонки начинают курить сызмала, не думая о том, кого они будут рожать... Мы раболепствуем перед Властью, не научились достойно отстаивать наши права, наше человеческое достоинство. Зато, если стало невмоготу или, особенно, если Власть, как нам показалось, дает слабину, взрываемся бунтом, жжем, крушим, убиваем безо всякого разбора. Бессмысленно и беспощадно...

Мы в массе своей дикий народ, народ-безбожник и всегда были народом-безбожником. Народу, который под Богом ходит, никакие Батый, Мамай, Баторий, Наполеон, Гитлер, Сталин и этот наш, теперешний, не страшны. Народ же, славящий Иоанна IV и тоскующий по Сталину, не минует катастрофы, если не будет глубочайшего всенародного покаяния. Нам есть, в чем каяться. Всего не перечислишь, но главное, я, думаю, все же назвал...

Выходит, я ненавижу народ мой? Да, я ненавижу народ мой за то, что он надругался, попрал и продолжает попирать лучшее, что в нем заложил Бог,

то, за что я люблю народ мой. И от этой ненависти моей к любимому народу моему плачет душа моя.

Непременно скажут (возражения не придуманы: все, о чем идет речь в этом тексте, я не один раз с кем-либо обсуждал): что ты к нам привязался! А вот американцы (немцы, японцы, евреи) то-то и то-то.

Отвечаю. Не мое дело вынимать сучец из чьего-то ока. Где бы мне раздобыть трелевочный трактор, чтобы разобрать бурелом в наших очесах! У меня за мой народ душа кровью переполнена.

Еще частое возражение-утешение: мы не пропадем! Мы — народ-богоносец, богоизбранный, нам Сама Богородица покровительствует.

Подлейший, кощунственнейший и опаснейший самообман, подсунутый нам врагом рода человеческого! *Нет мира нечестивым, говорит Бог* (Ис 57:21). И там же, где-то рядышком: *Нечестиво поступать против Божественных законов невозможно ненаказанно.* А во Второзаконии вся 28-я глава точнее некуда объясняет, что и почему у нас, у русских, происходит здесь и теперь. За длинноту цитаты прощения не прошу:

Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его... то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих (Не будет, а уже есть! — *К. С.*)... <...> *Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, — и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что оставил Меня...* <...> *И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим... и будешь рассеян по всем царствам земли...* <...> *Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже...*

Нет, больше не могу, хотя каждый пункт предупреждения Господня бьет по нам, бьет в десятку. Ни один из 68 стихов этой главы не дает промаха...

* * *

Конечно, ограничиться только вопросом «кто виноват?» как-то не по-русски, да и не по-каковски. Надо же ответить и на вопрос «что делать?».

Я знаю, что если бы наш народ был с Богом, ничто ему бы не грозило. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы наш народ пришел к Богу. Поэтому я не могу ответить на второй вопрос. Я не знаю, *что делать*...

Я не западник и не восточник. Я, если сконструировать слово по подобию, — россиянин. К Западу отношусь с доброжелательным любопытствующим нейтралитетом. К Востоку, в общем, почти так же, хотя и более отстраненно: меньше знаю. Но главная моя боль и забота из земного, после моей личной семьи, — это Россия. Меня, человека уже немолодого, мирского, судьба моей страны тревожит больше всего потому, что от нее зависят и судьбы моего сына, моих внуков, друзей, моего, наконец, народа. Все остальные стра-

ны-земли-государства интересуют только в той мере, в какой от них зависит жизнь моей России. Я совершенно согласен с Шота Руставели, который сказал: «кто себе друзей не ищет, самому себе тот враг», — и пребываю в уверенности в том, что мы должны находить взаимопонимание со всеми цивилизованными странами. В первую очередь, Европы. И не кормить оружием тех, кто противопоставляет свое мракобесие основным принципам человеколюбия, изложенным и в Библии, и в Коране. Как бы нам самим потом не пришлось погибнуть от этого оружия...

...События 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке показали, что мир на краю катастрофы. Только в том, фантастическом, сказочном, невозможном случае, если все цивилизованные страны, все народы осознают смертельность опасности, объединят свои усилия, человечество выживет. Осознать это — значит всем наиболее авторитетным силам всех мировых религий безоговорочно осудить терроризм. Государства должны выбросить из головы, что терроризм пресекается вторжением в какие-то страны или их бомбардировками. Все должны ясно понимать, что всякая бомба, упавшая на населенный пункт, — это пополнение рядов террористов...

О том, что нас ждет, страшно подумать. И это не уныние, а четкое осознание того, чего мы заслуживаем. Я не знаю, как теперь можно прекратить работу кавказской мясорубки. Знаю только, что при продолжении ее работы она пропустит через себя всю Россию.

Россия на грани крушения. Будет грохот на весь мир и большая кровь. Мне-то ладно, мне шестьдесят девять. Я прожил жизнь такую, что ни одна беда — война, голод, репрессии — меня жестко не коснулась. Господь милостив ко мне так, что просто стыдно. А за внуков душа стонет.

Так что теперь, может, нам и не рожать? Враг рода человеческого этого и ждет! Перестать рожать — значит, добровольно лечь под врага. Но ведь рожаем — почти наверняка на муки!

Значит, на муки...

Спаситель говорит, что в Него верующие — соль земли. Боюсь, мало их, в Него верующих по-настоящему, как бы Он хотел. Той соли, о которой идет речь, слишком много не бывает... В нашем приходе много молодых людей до тридцати лет. Думаю, не меньше половины. Смотрю на стенды, на фотографии лиц нашей приходской молодежи, птенцов гнезда Петрова (Петра Дмитриевского) — и просыпается надежда. Господи, помоги им! И точно знаю, наш приход не остров Пасхи в Тихом океане Русской Православной Церкви, а материк Обетования...

Самозабвенно бичевать свой народ и ничего не сказать о человеке как о виде несправедливо. Лучше всего человека разоблачает чванливое самодовольство, которое так и лезет из его самоназвания. Homo, видите ли, sapiens! Человек, всерьез провозглашающий себя *разумным*, смешон. Когда себя так называет биологический вид, — жди катастрофы. Если то, что мы, человечество, вытворяем на земле, созданной Творцом, — разум, то что же такое безумие?! Antropos oligofrenicus, Antropos monstruosus, Antropos criminalicus — вот наше видовое имя, на выбор! От грехов наших всякая тварь Божия стонет...

Константин Семенов

Корректор — *Ю. Н. Маслов*

ЛР № 066469
Подписано в печать 20.01.2009. Формат 60x90/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 29,00. Тираж 2800 экз.
Заказ № 58

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)*, **73218**

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

"BILINGUA" – Кривоколенный пер., 10 стр. 5; тел. 623.66.83

"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЖУРНАЛЬНЫЙ КИОСК "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" –
Страстной бульвар, 8 (рядом с выходом из метро «Чеховская»)

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –
Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

"ПИРОГИ" – Никольская, 19/21; тел. 621.58.27

"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 627.56.09

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.42.64

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –
ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

"УМНЫЕ КНИГИ" – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

"ФАЛАНСТЕР" – Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –
Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 962.05.63

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Аудиокнига Ольги СЕДАКОВОЙ «Две книги»

Издательство «АЗиЯ-ПЛЮС», СПб., 2008 г.

Аудиокнига включает в себя диск с авторским чтением стихов и музыкой композитора А. Вустина, а также книгу с текстами этих стихов, иллюстрированную фотографиями.

Книга Ольги СЕДАКОВОЙ «Музыка»

В книгу, изданную в «Русском міре» в 2006 году, вошли стихи, филологические и религиозно-философские эссе. Книга выпущена в серии «Литературная премия Александра Солженицына».

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Книга «ХРОНИКА КАЗНИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА (в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах)». *Составитель, автор вводной статьи и комментариев — Геннадий Кагановский.*

Книга выпущена издательством «Аграф». Поэт, мыслитель, подвижник Ю. Галансков погиб в мордовском лагере строгого режима в возрасте 33 лет на шестом году заключения. Его письма из-за колючей проволоки, а также другие материалы, сопряженные с кульминационным периодом жизни Галанскова (пребывание под следствием в Лефортовском изоляторе, судебный процесс, лагерные хождения по мукам), позволяют читателю составить представление об этой яркой неповторимой личности, о том времени и о том режиме, которые предопределили его мучительный путь.

Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!

Тел. (499) 248.62.35 **Адрес:** ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

2008
№ 4

«КОНТИНЕНТ» № 134, 464 стр., подписные индексы в каталоге Роспечати 73218, 71682